

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

5-6 (468)

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Владимир Голованов. «Русский романс» *и др. стихи*.....3
Владимир Аристов. Mater studiorum. *Роман*.....11
Денис Липатов. «Вот самовольное сиротство...» *и др. стихи*.....208
Анна Голубкова. Цикл о непишущихся стихах.....211
Евгения Некрасова. Несчастливая Москва. *Комедия в 7 действиях*.....217
Михаил Кузнецов. Зацеп. *Рассказ*.....239
Марта Антоничева. Тысяча третий свободный человек. *Рассказ*.....241
Евгений Стрелков. «Шлюз» *и др. стихи*.....244
Вадим Ярмолинец. *Три рассказа*.....248
Феликс Чечик. «здесь не был я давным-давно...» *и др. стихи*.....252
Рафаэль Шустерович. Теряющий время. *Стихи*.....255

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Прельщение простейших человек.....260

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Александр Романов. За пределами книги.....280

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Лев Оборин. Любовное неразличение цветов
Хельга Ольшванг. Голубое это белое.....283

Александр Котюсов. Моше хороший
Моше Шанин. Места не столь населенные.....284

Леонид Фишман. Это уже слишком
Ильф И. и др. Из черновиков, которые отыскал доктор филологических наук Р.С. Кац и опубликовал Роман Арбитман.....286

Александр Вергелис. Живое и мертвое
Александр Леонтьев. Пределы; Алексей Машевский. Живое; Алексей Пурин. Седьмая книга.....288

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Стелла Чеботарёва, Вячеслав Лопатин. Рассказывайте о себе.....293

АРХИВ

Георгий Квантришвили. «И проснуться им нельзя». *Литераторы Среднего Поволжья в тридцатые годы*.....297

© «Волга», 2017

Владимир ГОЛОВАНОВ

Русский романс

Уж снега почти не осталось,
Народ воробьиный галдит.
Проезжая девушка Старость
В горящую печку глядит.

И думает: этой весною,
Покуда ручьи холодны,
Пойду, запишусь крепостною,
К помещику этой страны.

Вначале прикинусь актриской
С девическим злым голоском,
А после – и тихой и близкой –
Во флигель войду босиком.

И, если удастся прокрасться,
Ему – удила закусить...
Ему это дорого дастся,
А дёшево – шапку сносить.

Смотаю его патронташи,
Борзых по оврагам сморю,
А ночи, судьбу довенчавши,
Допразднуют свадьбу мою.

И чашу, что выпить нам вместе,
До самого края нальют.
И он проворонит поместье,
А прах воробьи расклюют.

Музыка

В тощую грудь скрипачка скрипку вонзила,
В толстую грудь скрипачка скрипку вонзила,
И в идеальную грудь
Скрипачка скрипку вонзила.

Люди с лицом убийцы,
Люди с лицом таракана,

Владимир Голованов живёт в Москве. Закончил ВГИК, работает в кино. Основным занятием считает стихотворчество, «надеясь не потонуть в безбрежном море поэзии». Публикуется редко.

С маленькими глазами
И голубыми глазами
В бане сидят и слушают
Музыку из динамиков.

Пьяный директор бани –
Раз, два, три – марширует,
Раз, два, три – марширует,
Стой! – опускает ногу.

...Трезвый директор бани
Молча сидит и смотрит,
Как мозолистка Шура
Делает ловко дело.

Там, в отделенье напротив,
Полное сонных банщиц,
Входит скрипачка с зонтиком,
С веником и подругой.

Молча она раздевается
И, повернувши задом,
Пухленькую подружку
Веником бьёт по шее.

Тонкие пальцы скрипачки
Трут идеальные груди,
И – как смычок – предплечье
В пене скользит беззвучно.

Люди с лицом из пепла,
Шифера и гранита,
Чая, кефира и уксуса,
Водки и маргарина, –
Спины друг другу моют,
Волосы промывают.

Форточки все открыты
И облака проплывают.
И во всех отделениях
Бани, где есть динамики,
Скрипки с утра играют,
Головы вытирают,
И полотенца смятые
Банщики собирают.

***

Где Чичиков летит в безумной таратайке
И Гоголю легко очерчивать луну,

И черти по ночам откручивают гайки,
И ангелы кричат, избывши тишину.

Вот здесь я и живу. Выходишь по утрянке –
Морочит бороной по сердцу лунный след,
И попками блестят русалки на полянке,
И мельник вдруг бултых! Нырнул и больше нет.

А я и сам нырял. Душа, как щепка в Стиксе,
Болталась в полумгле, как кружка в молоке.
Не горек мёд пчеле, легки тропинки лисьи,
Где буду я брести, не встреченный никем.

А бесам невтерпёж, им в трубы дуй на выход.
Прочь из души, и пусть рванутся в пустоту.
Да, пусть себе летят, ведь им мирами двигать.
Пусть ангелы сидят – Господь там на посту.

Сыграю на своей самозабвенной лире,
В межзвёздной пустоте не зря же я возник.
И буду петь, доколь в подлунном этом мире
Жив будет хоть один калмык.

***

Что, сердце на стол положить?
Хоть жизнь увеличится вдвое,
Ведь море останется жить
Томимое волей прибоя.

И втрое – и всё же сметёт
Всё то, что в доступности рока,
И всё, что вокруг доцветёт,
Оставшись ещё недалёко.

Настигнет промозглая тьма,
Откинут копыта коняги,
И тайны смертей и ума
Пойдут разрешать бедолаги.

И в сердце звонок прозвонит,
Как школьникам в нужную смену.
Не слишком ли тихо звенит?
Вы лучше включите сирену.

Что сердце? Мешок и вода.
Что эти эклоги и стансы?
И не уходи никуда.
Останься, останься, останься.

Летний вальс

Ужо ему, деду Морозу,
Таиться в лесах меж коряг!
Овраги таят нам угрозу,
А мы не заходим в овраг.

Смешливы, как дети крестьянок,
Мы топчемся в брызгах ручья, –
Лукошко схватив спозаранок,
Ты мчишься сама не своя.

Вернёмся, неся обаянье
У лета добытых даров,
И что нам мольбы и рыданье
Оставленных ждать комаров.

Вот смеху-то будет, вот звуков
В проветренной дачной избе...
И выпил стакан Туголуков
И вот наливает тебе.

Томится в подвале окрошка,
Повсюду легла благодать,
И хочет красавица-кошка
Красавицу-мышку поймать.

Нищим философам

Мне что? Я что – я встал и вот он.
И всё со мной – живот и страсть.
А все встают единым фронтом
И за труды – ковать и прясть.

А я – хоть кости дать собакам,
А хоть мечтой лететь на Марс.
Считают денежки по банкам
И забирают их у нас.

Вот и на пиво еле собран
Мешочек маленьких монет.
Друзьям, бредущим, аки обрам,
Из глуби сердца мой совет:

Летите, голуби, летите!
Вам нет сетей, вам нет границ,
Но только падать прекратите,
А то всё меньше ваших лиц.

Бредите в глубь пространства мысли,
Штурмуйте истины редут!

Пускай сомнений морды рысьи
Вас даже в бездны заведут.

Взгляните, мир не равнодушен,
Хотя как будто и ничей, –
Не околачивайте груши
И сторонитесь сволочей.

Как вижу ваши я метанья!
Как было мало ваших прав!
А распрекрасная Наталья
С утра смотрела в зазеркалье,
Прелестный облик собирав.

Элегия шестого месяца

Зародыш, бодрый червячок
Шестого месяца,
Давленья выдержать не смог,
Решил повеситься.

Пускают дым и водку льют,
А по животику
Хватают лапой и суют –
Наводят оптику.

Я им бы сразу и сказал,
Чтоб не запутаться –
Мои зародыши – глаза,
А ваши – щупальцы.

Я слышу всё, что мне сквозит
Извне отверстия,
То чем-то новость поразит,
То снова версия.

Верша и завершая круг
Своею новостью,
Вы поражаете мой слух
Своей дерьмовостью.

И вот, где дней седьмого стук
Мне нынче месяца,
Я, знаешь, мама, милый друг,
Решил повеситься.

А тот, кто маму жав и мяв,
Сулил ей пряники,
Её недолго обожав,
Ушёл в нефтяники.

Элегия Аллеи Героев

На аллее с героями
Вьются медленно листья.
Как всё странно устроено –
Перхоть сыплется быстро...

Ветры дуют промозглые,
А камин согревает.
Снятся сны одиозные –
И такое бывает...

От царапин оскомина –
Нет уёма вандалам...
Всё судьбой обусловлено –
Вот малец со скандалом,
Что домой возвращается,
А хотел бы остаться,
Возле бюста Леонова
Начинает кусаться.

Отстоял и останется,
Мокнет нянечка скорбная.
Тот, кто в жизни кусается,
Тот дорвётся до ордена.

А кто в тягу каминную
Руки вытянет нехотя,
Жизнь прошествует длинную,
Осыпаемый перхотью.

***

В обозримых пределах жедудка
Рентгенолог не язву ль искал?
Как цветок.
Лучше б он так же чутко
Возбуждённую деву ласкал.

Жить не надо на самом пределе,
Так не думал ни ангел творящ –
Демиург кроветворной недели
В младогорло вправляющий хрящ,
И ни маленький шустрый пособник –
Сочинитель цыганских баллад,
Сочинивший и карты и сонник
И жены приоткрытый халат.

Так люблю я её, столь нагую,
Что и шпилек табун за углом.

Рентгенолог бы видел другую,
Но ему в темноте поделом.

Морской Пушкин

Проснулся Пушкин. Входит няня.
«Ну, что, закончен Годунов?»
«Ах, нянюшка, почти готов,
Да что-то, видно, Бог не с нами.
Вели седлать». Без лишних слов
Она выходит. Над холмами
Закат за окнами багров.

Без напряженья лишних сил
Скакун понёс лихую ношу.
Он нёс и думал: «Нет, не сброшу,
Хотя бы царь меня просил».

Ещё не зная ничего,
Спала Наталья Гончарова.
Сестра вбегает: «Ах, здорово!
Как?! Ты не знаешь ничего?

Тебе, в гаданье на суфле,
Судьба арапа насулила!»
Наташа села: «Это мило.
Проверь коленный мне рефлекс».

В порядке нервы у неё,
Лицо и тело. Стать прелестна.
И жизнь легка и интересна...
Ужо, французское жульё!

И поднимает пистолет
Наш светлый гений в снежный полдень, –
Дантесу судорога в морде
Свела всё лучшее на нет.
И за поруганных сирот,
За белорусские болота,
И за отторгнутый с чего-то
Наш Порт-Артур, за весь Морфлот,
И за введение цензуры,
И за обман на склоне лет
Отец родной литературы
Поднял ТТ на тет-а-тет.

Да, он любил Карамзину!
И Анну Керн, и ту Палашу
Лицейскую. Но в эту кашу

Не путай верную жену!
«Не трогайте мою жену, –
Сказал, – не трогайте Наташу».

За честь, за верность, за мечты,
За прелесть жизни вечно новой,
За тень случайной красоты
На бедной девке припортовой...

Иначе кто ещё за нас,
Как не поэт – питомец воли!
Любил он Родину до боли.
Обойму кончил и угас.

***

– Я плохо чувствую себя.
– Ты плохо чувствуешь себя.
– Но я зато люблю тебя.
– И я за то люблю тебя.

– Но как меня ты любишь, как?
Отпел мой дрозд, отпел мой мак.

– Люблю тебя
Как птица сеть,
Как птицу сеть.

– Как близко смерть.
Провал всех замыслов, любимая!
Люби меня.

– Любила я.

***

Не пей плохую водку, несравненная!
Она погубит прелесть несравненную.
А мне такую прелесть несравненную
Найти уж не удастся, несравненная.

Хорошей водки это не касается.
Поэтому давай нальём, красавица!
И в руки мне опустится вселенная,
Когда глаза поднимет несравненная.

Не пей плохую водку, несравненная!
Она такая гадость несравненная...

Владимир АРИСТОВ

MATER STUDIORUM

Роман

Repetitio est mater studiorum.

Повторенье – мать учения (лат.).

I

1.

Лишь только приближался сентябрь, он опять начинал чувствовать тревогу и печаль, и даже тоску. Опять те же несбыточные сны приходили, все те же неизбываемые, незабываемые сны. И упрек, что он не все сделал, что мог. Вернее, то, что он должен был совершить и не совершил. Он опять представлял 1-е сентября – все ту же умножаемую свою с каждым годом жажду и зависть, которую он испытывал на опустевших утренних улицах, когда молодые люди все уже скрылись за стенами школ, за дверями школы или института. Только он один будет вне. «Что тебе надо еще? – спрашивал он сам себя, – какого еще образования? У тебя же оно есть, уже есть одно». Однако не мог отбросить свое чувство осенней вины. Хотя раньше чувствовал всегда радость избавления от повинностей экзаменов, от постоянной угрозы решающего выбора. Но все переменилось в последние годы. Он увидел себя со стороны. Однажды увидел себя в зеркале, когда он не знал, что за ним наблюдают. И нелегко ему было теперь оставаться прежним.

Сны эти были об одном и том же: словно он в конце семестра видит, как много несданных, незачтенных предметов, дисциплин у него, но с легкомыслием продолжает не столько учиться, сколько проматывать время. Надвигается неизбежная развязка, но тут он выскальзывал в явь. Однако чувство какой-то неизбытой, незачтенной вины не уходило. Сон намекал ему на что-то важное, что он должен был еще совершить. И это важное можно было найти только там, откуда он давно уже ушел: из школы, из университета, которые он закончил уже столько лет назад. Но никакие ученые степени – их у него было уже две – не меняли его состояния вины и тихого, но властного указания.

Сам он хотел учиться, захотел, просто возжаждал, почувствовал прежний голод. Но ему хотелось не просто повысить или «возвысить» знание, но начинать, начать словно бы заново. Был он готов к этому – обновлением и молодостью веяло из школ. Но переступить порог университета

Владимир Аристов родился и живет в Москве. Стихи печатались в периодике, в журналах «Юность», «Волга», «Новый мир», «Знамя», «Комментарии», «Уральская новь», «Арион», «Воздух» и др., переводились на различные языки, входили в отечественные и зарубежные антологии («Строфы века», «Самиздат века» и др.) Рассказы, эссе, статьи публиковались в журналах и сборниках, в трудах литературоведческих конференций. Автор десяти изданных поэтических сборников, последняя вышедшая книга «Открытые дворы (избранное)» (НЛО, 2016). Опубликованы также роман «Предсказания очевидца» (2004), пьеса «Театр одного философа» (2013). Литературные премии: им. Алексея Крученых (1993), им. Андрея Белого (2008), «Различие» (2016). По образованию физик и математик, окончил МФТИ, доктор физико-математических наук.

или школы в качестве преподающего страшился. Представить себя в роли учителя, преподавателя не мог. Потому что начавший учить, – так он думал, – преподавать то, что преподавали ему самому, начинает умирать. Ведь тем самым он показывает, что уже выполнил свою миссию здесь – вот он наполнился знаниями, а теперь просто их проливает, передавая следующему безымянному ученику. Поэтому с таким ужасом он услышал предложение своего друга – как раз в конце августа прошлого года, – настоятельную просьбу того начать преподавать в новом университете. Вернее, сам гуманитарный университет был не такой уж новый, но там должны были возобновиться, в который уж раз, Высшие женские курсы, и именно туда, полагал друг, лежит его дорога учительская. «Новое сейчас именно женское, – не понимает это лишь осел», – говорил его друг, тайное имя которого было, впрочем, как раз Ослик (или Ойслик для совсем уж узкого круга друзей). Не потому что он был глуп, а как раз из-за своей склонности к неподвижным и долгим размышлениям. Он сказал Ослику, что пока не готов. Что ему надо обдумать все и подготовиться. Но причина истинная была в другом: он понял, что не может идти преподавать, не учась самому. Потому что, не начав заново каждодневно наполняться, он будет лишь иссякать. Не видел он выхода из такого безвыходного положения, пока среди года не осознал, что может разрешить такую антиномию, или дихотомию единственным образом: стать и учеником, и учителем одновременно. Тогда он сможет вернуться в молодость и вернуть себе молодость обновлением знания. И удержать их в равновесии на своих же руках. Тогда его присутствие в создающемся университете будет оправдано.

Так – он себя увидел сейчас в зеркале, где царила темная померкшая роза – оставшаяся со дня его рожденья – значит, розы рождает еще здешняя городская земля – так же как год назад в августе, когда он все это неясно еще обдумывал, – также перед зеркалом сидела и она, – он видел ее со спины, ее силуэт, но лицо свое в зеркале она заслоняла для него своим затылком, – многократно повторяя свое отражение, приближаясь и отклоняясь. Этот год – он сам называл его подготовительным, словно он должен был заново подготовиться к школе – пусть даже высшей – был посвящен непрерывным занятиям – его как преподавателя, но и как будущего студента, хотя состоится ли начинание, было неясно. Кроме того, он на всякий случай приобрел дополнительный аттестат зрелости – на лестнице перехода в метро на «Новокузнецкой». Собственно, он никого не обманывал, так он себе внушал, – просто он восстановил по памяти свой же аттестат, который уже наверняка сгинул и сгнил в архивах университета, который он давно закончил. Скрупулезно он восстановил все отметки со всеми болезненными отметинами памяти, – лишь год окончания сдвинул на 14 лет позже, было ему сейчас 42, а при его постоянной игре цифровыми соответствиями хотелось ему вернуться в хорошее четное число, и он выбрал 28, полагая, что при нынешней его моложавости и при гримерных способностях некоторых его друзей – были у него и такие – он сможет (почаще затаиваясь в тень), выдать себя за великовозрастного, но все же студента, который вот вдруг решился и поступил – в первый же набор – на эти самые заманчивые Высшие женские курсы, возрождавшиеся который уж раз. Куда принимали, понятно, в основном лиц женского пола, но все же для расцвечивания, так ему сказал Ослик, – предполагалось внедрить в каждую группу и несколько лиц пола противоположного. Именно там надеялся он затеряться в толпе замкнутых на себе юных молодых женских лиц, которые не будут так уж пристально вглядываться в мужское лицо, не будут слишком придирчивыми, будут довольны и тем малым, и, может быть, жалким, что в его лице им отпустила учебная судьба. Всё внимание всех будет уделено, несомненно, женскому контингенту, а на него будут только изредка обращать внимание. Не то что видя в нем подсадную утку, но все же дистанцируясь, что, в общем-то, хорошо для него.

В себе он чувствовал не просто стремление к умножению знания, – непрерывно читать и расти над собой входило в его круг повседневных обязанностей как философа по профессии (сомнительной профессии, конечно). Здесь было что-то более глубокое, чем желание получить второе, третье, невесть какое, высшее или сверхвысшее образование. И не только тоска об уходящей, скрывающейся за учебными дверями собственной молодости. Во всем он чувствовал разлитый, непроявленный упрек, смысл которого ему был неясен, но неуклонен.

Тот сон не был в точности повторяющимся, нет, это были весьма вольные вариации на тему, внешний смысл которой был понятен, но скрытый призыв ускользал. Но всегда то был сон о невыполненном задании. Вот он уже на старшем курсе какого-то (варианты были различными) весьма сложного вуза, но он не посещает цикл лекций или семинаров, правда, непонятно по какой причине, – ничто, казалось бы, не должно мешать ему присутствовать там, если он так переживает. Никакие внешние жизненные обстоятельства не преследовали его и не являлись препятствием. Но все же он сознавал, с каждой неделей неизбежней – а во сне проходили иногда буквально месяцы, – что он глухо приближается к финалу, – неотвратимо его путь учебы должен был прерваться. В таком сне ему виделось указание на то, что он чего-то важного в жизни не понял или не совершил. Он просыпался всегда с полным убеждением, что все произошло как в его сне и что ему опять надо начинать заново, и лишь после долгого самоубеждения, где присутствовали и логические доводы, чуть ли не предъявление себе диплома, – ему удавалось уверить себя, что все в порядке, ему не надо начинать заново учиться.

И он завидовал всем идущим в школы, особенно первоклассникам, но он не знал, куда бы ему сильнее хотелось устремиться: за школьниками или студентами, словно ему хотелось войти сразу в несколько классов и аудиторий, – его присутствие только в одной комнате не успокоит его жажду, а только усилит разочарование. Он начинал думать, что избавиться от навязчивого и, в общем-то, мучительного сна (хотя почему так уж надо избавляться от таких снов-упреков, представляющих собой пробуждение совести или вины во сне, – непонятно) можно лишь одним: действительно начать учиться заново. В буквальном смысле. Стать первоклассником (не второгодником, но во второй раз попробовать войти в ту же жизнь, в тот же, хотя и другой уже класс) или первокурсником. Пойти на унижение и самоумаление. Что совершить буквально представлялось невозможным, но мысленно он был к этому уже готов. Взглянуть на мир новыми глазами ребенка-дошкольника, которому сразу же начинают внушать небывалые истины, но ты взрослый внутри такого ребенка будешь сознавать, что все не так просто или вообще не так, но ты умалишь себя, ты заставишь писать себя под диктовку, хотя, конечно, это будет совсем не то, что тридцать – сорок лет назад. Все же истины немного изменились. Изменилась форма, сама форма школьников (ему хотелось сказать «униформа») изменилась. Но он понимал глупость своих рассуждений и чувствовал красноту стыда на лице, хотя понимал, что не видит себя и что «краснота» – такой же вымысел и заемное слово, как и его мысли о желании пойти в первый класс. «Подобный подвиг унижения (или уничижения) не для меня. Но можно попытаться стать молодым студентом, – в свои сорок два я выгляжу достаточно моложаво и даже молодо. Никто, конечно, за двадцатилетнего меня не примет, но при надлежащем гриме двадцать восемь лет я смогу себе дать. Такого вот нового студента, прошедшего уже сложный жизненный путь (даже если не говорить, легко представить, какой) и выглядящего старше своих двадцати восьми лет. Но пришедшего в университет по наивности. Полагая, что знания что-нибудь значат. А на самом деле совсем за другим пришедшего сюда, – чтобы в свои двадцать восемь не находиться в страшное первое сентябрьское утро на улице. Чтобы скрыться в тенистой аудитории».

«Если мне предлагают учить, значит, я не способен учиться, значит, я завершен?» – спрашивал он сам себя в который уж раз, потому что понимал, что обращаться с таким вопросом к своему практичному другу бесполезно. Все это вселяло в него старую тоску и тревогу. Он был изъеден рефлексией, как ледяная глыба весной. Хотя никто не требовал от него ничего и не понуждал. Но он знал, что только он сам может изменить свое состояние или движение свободы, к свободе. «Минет год, и никто не заметит, что со мной все могло быть иначе», – шептал он себе. «Никто не заметит изменений. Всем все равно. Все воспримут орнамент предметов как должное. Любой волен переставить, хотя бы мысленно, две фигуры людей на улице. Никто ничего не заметит. Но мне не близка такая свобода, хотя я чувствую себя в ней как птица в воздухе, – я хочу и чего-то иного».

«Стать первоклассником первоклассным». Так говорил он себе, сидя в своей квартире перед зеркалом (старинным темным зеркалом в прихожей – он задержался перед ним и стал вглядываться в свое лицо, словно пытаясь снять и увидеть все сразу слои и тени времени, покрывшие

его столь знакомое лицо), в двадцатых числах августа, когда душное августовское московское солнце изгоняло всякую мысль о каком-либо повторении. Тем днем он получил неожиданное подтвержденье, что его заявка на немыслимую, казалось бы, тему «Готфрид Лейбниц и проблема абсолютного нуля в математике», посланная в фантастический фонд «Зорро», получила одобрение. Что, казалось бы, надо было ему еще. Вероятно, его жизнь теперь как-то будет на три года обеспечена. Редкая удача. Все его товарищи-философы изощрялись в выдумывании невероятных предложений в этот призрачный фонд, – ведь было известно, что только безумные идеи там одобряются, но, кажется, лишь он удовлетворил скрытое в тумане секретности и конфиденциальности сообщество. Кто решал в этом Фонде, было неизвестно. Рецензент давал страшную клятву (поощряемую тоже страшным по величине гонораром) о неразглашении – в противном случае ему грозила чуть ли не опись имущества – бред, конечно, – никто не слышал ни о чем подобном, но и случаев разглашения тоже не было.

Он глядел в августовское зеркало и пытался вспомнить, как его зовут. Видел в зеркале оставшуюся от далекого уже праздника дня рождения темную высокую розу, померкшую, но все еще похожую на пагоду. Ему казалось, что во вглядывании в это прозрачное стекло он достиг такой степени отрешенности, что все слова и имена отошли от него. На самом деле он подозревал, что то была просто лень, ему удалось отдалить от себя звук и смысл своего имени и не хотелось приблизить его. В блаженной лености вместе с тем он вдруг осознал, что решение Фонда (если он не состоял всего из одного человека, который все решал по произволу) было определенным знаком ему. Прямым указанием, что надо что-то изменить в своей медленной и инерционной жизни. Сам он не понимал, почему он так решил. И почему осознал, что настало время перемены участи.

Фонд этот был основан неким некогда невероятно богатым человеком, который решил именно в России (хотя и не только здесь) открыть прииски по поиску идей. Собственно, основным его устремлением, неясно обозначенным, было возрождение средиземноморской мощи мысли и духа, утраченной во мгле веков. Вобрав в себе, казалось бы, все национальности из этой области мира, он отыскал в себе часть и русской крови, – не то 1/16 или 1/32 (о, это чисто космополитическое стремление найти музыкальные доли своего происхождения), что, по-видимому, побудило его бросить взор на Россию, хотя устремление российское в полдневную, средиземную сторону тоже было, наверное, ему известно. Человек этот поощрял только перспективные безумные идеи, но как найти это сочетание и, главное, как удовлетворить желание «Зорро», было неизвестно никому. В Москве в Угловом переулке (почему-то именно здесь) висел лишь единственный ящик, куда опускались конверты с заявками. Больше ничего не было известно. Заявки принимались в произвольном виде (впрочем, оговаривалось, что они не могут превышать тридцати страниц). Поговаривали, правда, что «Зорро» этот был знаком со вдовою Аристотеля Онассиса, но что скрывалось за подобным шифрованным сведением, было все равно не понять, как если бы сказали, что он был знаком с Осирисом или общался с философом Аристотелем.

Только сейчас, сидя перед тем же зеркалом, он понял вдруг, что название его заявки странным образом созвучно с названием самого Фонда. Но явилось ли это одной из причин, повлекших «неотказ», – так из странной предосторожности (чтобы произошедшее не исчезло из реальности) называл он решение Фонда, – он не знал. Может быть, сыграло время дня, которое он выбрал, чтобы опустить конверт там, в Угловом переулке. Наверняка всевидящее око, запрятанное где-то рядом, обратило на это внимание. Почему-то ему показалось, что надо приблизиться и опустить конверт в определенное время. Не в полночь, когда время обнуляется, и вроде бы все могло намекнуть на смысл совершающегося. Нет, должно было быть что-то иное. Смысл мог быть понят только при проникновении в глубину его гипотетической философской работы, которая почему-то связалась в его сознании с Лейбницем. Нуль абсолютный в математике здесь понимался как абсолютный нуль температуры в физике, то есть приближаемая, но недостижимая величина. Впрочем, на этот счет у него были сомнения. Но именно математический нуль, который всеми так легко писался, рисовался, обозначался и проходился во все стороны, представился ему вдруг точкой идеального и недостижимого предела. Того предела идеала, который знает лишь Ахилл,

замедляясь и проникая все глубже в раскрывающийся воздух в устремлении за своей черепахой. Соотносимого с бесконечностью, впрочем, здесь ничего нового не было – топологическое перекручивание нуля (так он выражал простую операцию со знаком) и низведение его в упавшую восьмерку и означало для него встречу, актуальную встречу с бесконечностью. Сама знаменательная любовь Готфрида Лейбница к созданию новых знаков и приданию такому действию мистического смысла породила отчасти название его работы.

Он сам не знал точно, что за таким названием может скрываться, зная только, что поиск этого смысла и есть цель работы, поскольку обозначение абсолюта в некоторой науке не предполагает обязательной недоступности его, – так Северный Полюс может быть достигнут, но останется, несмотря ни на что, порождающим смыслы понятием. Он полагал, что может определить что-то вообще доселе небывалое. Абсолютный нуль ему виделся даже более историческим смыслом, верстовым столбом, к которому может быть привязана за уздечку лошадь Мюнхгаузена, когда вокруг снежная пустыня. Он хотел, благодаря ему, увидеть самого Лейбница, задержавшимся во времени. Но когда он сказал о своей «нулевой удаче» Ослику, тот тут же призвал это включить в гипотетический курс лекций, которые, как предполагалось, он начнет читать для слушательниц, студенток курсов – и для себя самого, – поскольку он становился студентом женских курсов, – включить проблему достижимого-недостижимого. Теперь не обязательно идти в институт, где он работал, философствовать, – впрочем, он и так там редко бывал, – а начать новую трудовую и учебную жизнь, – стать профессором, – что было ему несомненно обещано, – и молодым, хотя уже и подержанным, потертым жизнью студентом.

Понятно, что курсы со сходным названием (как их не называй) открывали и закрывали за последнее время много раз, цитируя при этом Ключевского, – давнюю его речь, когда-то произнесенную при очередном закрытии Высших женских курсов, – говорил историк о них как о первых рассадниках высшего женского образования в нашей стране, и о том там было сказано, что впервые здесь отнеслись с полным доверием к уму русской женщины, признав, что он безопасно может подняться на высоту высшего образования, на которой и у мужчины нередко кружится голова. Что хотя все закрывается, но в будущем все еще скажется. Но сейчас затевалось действительно нечто неслыханное. Невиданное ни здесь, ни там. К организации были подключены, как говорили, лучшие умы. Но не всегда все можно создать умом, с чем тоже надо было считаться и что тоже надо было понимать.

Для себя-студента он уже присмотрел особенно острую опасную бритву, чтобы бриться начисто, набело, вернее, начерно, чтобы ни один седой волос бороды не проступил, для себя-профессора давно приглядел парик, затемненные очки и черную бороду, которая как облако должны была окутать его все еще молодое лицо. Так он хотел два образа развести, отвести подальше от своего возраста.

Он увидел ее еще раз перед зеркалом – перед своим (старинным маминым зеркалом, в которое он любил заглядывать в прихожей,– было еще оставшееся мамино трюмо – в комнате,– в которое он не любил заглядывать,– там он видел свой профиль – в боковой створке – таким, как видят его другие, – но себе, видимому другими, он не мог посмотреть прямо в глаза – вероятно, законы физики, которые он плохо знал, не позволяли, но почему он должен был принимать за свое лицо то, что предъявляло ему зеркало, а не тот огромный и темный мир его прихожей и дальше за пределами его квартиры – который он видел, и тот мир видел его) зеркалом он увидел еще раз ее – незнакомый юный девичий силуэт, он не мог увидеть ее лицо, потому что она вглядывалась в свое лицо в зеркале – решая важнейшую девичью и женскую свою задачу, а он не мог увидеть лицо, потому что был сзади, за ее затылком, он мог только различить отблеск ее темных волос, – вернее, запах отблеска, который, как ему показалось, он узнает. Он знал, что этот силуэт не похож на силуэты портретов его мамы, но то, что он увидел его в раме маминого зеркала, заставляло вглядываться в него.

Неслыханно сложная задача – так он думал – описать словами, вразумительными и образными словами то, что не видишь, а он ее не видел. Именно это надо сейчас сделать, потому что ее

контур – женственный контур со спины, сидящей перед зеркалом юной девушки. Он думал, что она молчалива, даже сама с собой она, кажется, не разговаривает в миг, когда вся погружена в свое отражение. Взгляд ее сумрачный и, как сказали бы, наверное, в XIX веке, туманный. Почти неразличимы и неразлучны (так ему хотелось сказать) ее глаза – самое ясное сейчас в облике. То, что ей предстоит, она знает, но это ничего не значит, если не совершить предназначенное. Но она хочет познать это не вовне себя. Какое имеет зеркальное отражение к самому человеку – сложный вопрос, но хочет узнать, вглядевшись в свое лицо. Женственный контур, женственный контур со спины, девушки у зеркала, и потому заграждавший ее лицо, он увидел на миг, – то не был его силуэт, хотя он думал о себе из-за этих Курсов отчасти в женском роде (если и не о курсистке, то о «курсисте»), – то был контур реальной девушки, которая не только убирает свои волосы, но и гадательно вглядывается в зеркало, чтобы обнаружить, что и кого принесет, привлечет ей новый учебный год, который, словно по допетровскому, почти допотопному календарю, должен был начаться с 1-го сентября.

2.

Совсем уж приблизилось 1-е сентября, и он стал задумываться, в какой студенческой тужурке явиться в первый праздничный день перед вратами университета. Ведь в этом универсуме будет особый мир, в котором он будет существовать, – незнакомый женский мир, где он надеялся укрыться до поры, сделаться незаметным, но примелькаться в глазах других, стать если не вечным, то хотя бы долговечным студентом, которого все знают и прощают слабости за то, что он есть, за то, что мозоля всем глаза, напоминает всем об их несомненном присутствии здесь, – так что его исчезновение было бы воспринято как потеря.

Все же к первому дню учебы надо было подготовиться основательно. Друг-гример заверил его, что первая неделя – самая важная в его внешнем облике. Надо запечатлеть себя во всех глазах. Дальше можно расслабиться, даже если ты будешь выглядеть старше своих мнимых лет, – впрочем, ничего нового: двадцатилетний Ломоносов среди учеников-детей – всегда свои мнимые лета можно списать на плохое самочувствие, непобритость, запущенность личной жизни, и даже вызвать жалость – но в меру – в глазах женского большинства, несмотря на их несомненный снобизм существ, попавших в исключительные условия небывалого внимания и ожидания. Поэтому требовалась особая тщательность первичной гримировки.

Поглядел он внимательно в свое новое внешне омоложенное лицо и понял, что не может смотреть в это неуловимо неузнаваемое неопознаваемое лицо, даже в циклопный единственный глаз компьютера, который возвращал ему в зрение образ лица, не в зеркальном, а прямом виде, так, как его могли наблюдать другие.

Волнение его было велико. Не философствовать надо было, идя в институт, рассуждая об отвлеченном понятии «другого», но самому ему предстояло стать неким другим. Но что же он за философ такой, если способен мудрость понимать лишь как список рассуждений, а сам не способен в жизни даже шаг сделать в сторону.

Необходимо было обдумать свой внешний облик, понять, в какую рубашку облачиться, в какие брюки ее заправить. Что может надеть нынешний молодой, но уже двадцативосьмилетний человек, он не знал. Спрашивать Осли было бесполезно. И так тот был занят его делами – помог ему сдать вступительные экзамены – некоторые как-то удалось даже перезачесть. Сочинение, правда, пришлось писать самому. Признали его если не блестящим, то все же сносным, достойным соответствовать положению студента Высших женских курсов. Но без помощи друга вряд ли бы он туда поступил, так что не стоило занимать того примитивными вопросами.

В первый свой день новой незнакомой жизни он не без нервного холодка, прихорошась и подправив грим, пошел осенними уже переулками в сторону нового своего учебного здания. «Заведения» не мог он без тени смеха произнесть, но слишком все же серьезно, торжественно и незнакомо было в этот день. Легкая тошнота, словно кайма недалекого моря, все время подступала

к горлу, но при этом он себя успокаивал. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но кто сказал – какой такой Гераклит доморощенный, что нельзя войти в нее трижды?» Так он придумывал для себя простенькие философские шуточки вроде того, что «нельзя сидеть между двумя стульями, но между тремя – можно». Все же он не отвлекался на рассуждения, больше он внимал тому, что происходило и не происходило вокруг. Почти летнее тепло еще было прижато в тенях дворов, и низкие одноэтажные и двухэтажные дома отрывали маленькие свои форточки, словно ладошки, ему навстречу в переулок.

Вспомнил он невольно тот ужас принужденья, который сопровождал его, идущего когда-то в школу, и подумал, что нынешняя его свобода – хочу иду, хочу не иду – несмотря ни на что таит в себе какой-то холодок отрешенности.

Проблема одежды сильно занимала его в преддверии 1-го сентября. Тужурку он мысленно себе уже присмотрел. Но надо было еще обдумать штаны, – ведь на Высших курсах («Высших девичьих курсах», как он их для себя обозначил и постоянно повторял) будет отделение – он знал это доподлинно и уже назвал его «Кройки и шитья» – на самом деле – «Моды и дизайна», – и он представил, прикинул, как будущие закройщицы-теоретики окинут критическим взором его ретро-штаны, если он задумает в них явиться, поэтому решил выбрать нечто нейтральное. «Не бросаться сразу в глаза, вот что должно быть главным», – шептал он себе.

Появился он перед дверями университета, но оказалось, что надо идти на задний двор, где ожидалось построение по факультетам и по группам. Встретило его нечто торжественное и как будто организованно-скомиканное: играл какой-то полковой – так ему показалось – оркестр, и маршировали ряды гусарских девушек в красной униформе, белых лосинах и, по-видимому, черных киверах (не старшекурсницы ли переодетые? – еще подумал он). Грозди воздушных шаров заслонили часть неба. В промежутках между музыкой выступали заслуженные люди, профессора и преподаватели университета, призывая студентов и студенток будущих особенно не напрягаться, но всем своим существом – вольно и свободно устремиться к учебе и в учение. Порадовался он, что не надо ему по ту сторону трибуны, потому что к своим профессорским обязанностям должен был приступить он лишь в конце недели. С верхних этажей из окон и с балконов выглядывали местные жители – обитатели зданий, в которые переходил тут же университет.

С Осли они довольно долго – минут пятнадцать – обсуждали его профессорское имя. «Ты ведь можешь носить научный псевдоним, – сказал ему Ослик. – Понятно, что как студент с документом ты обязан быть под своей фамилией, но в качестве профессора можешь присвоить себе нечто иное и звучное. Диогена мы уже с тобой обдумали, но взять фамилию Диогенский или Диогенов, или даже Диогенов-Лаэртов было бы вычурно и претенциозно. Почему бы тебе не попробовать взять фамилию Виноградов или Виноградский?»

– Тогда уж лучше Вертоградский... «Вертоград моей сестры»... возьму-ка я имя Вертоградов – в этом есть хорошая примесь «ретрограда», – это старое благородное вино имени, его приятно поднести ко рту.

– Профессор Вертоградов, или все-таки Вертоградский, – тут же серьезно произнес Осли, – как Вы назовете свой лекционный курс, да и вообще о чем он будет?

Хотел я сказать... назвать его «Взгляд и нечто»... и понял вдруг, что в этом суть... именно, именно так... назвать его «Зрение и ничто»... «Свет и бытие» – вот тема, которая все объединит.... «Consonantia et Claritas» – «Пропорция и сияние»... всё, всё осветится, все философские века... Зенона с его черепахой... достижение-недостижение... то, что ты хотел... но все эти проблемы бесконечности, может, перенесем на попозже?... взаимоотношения Зенона со своим старшим другом – так выразимся – Парменидом.... Платоническая традиция пиров, симпозиумов... а также Сапфо, Лесбос и т.д. ... перенесем на весенний семестр...

– Нет не перенесем, – заверил его Осли, – надо здесь раскрываться сразу, ничего не откладывая на полгода. Зачем? Да и Курсы могут закрыть в любой момент.

Только оказавшись на первом семинаре в своей студенческой группе, он понял, что новая учебная его жизнь будет наполнена неизвестными еще трудностями. С самого начала он выбрал

себе способ присутствия – в аудитории, почти сплошь состоящей из женщин. Впрочем, способ такой не отличался от его всегдашнего – в любой учебной комнате он тут же первым занимал задний ряд, – «быть на задней парте» (на Камчатке, Сахалине, Хохландии – он смутно помнил, что так в гимназические времена называли эти любимые учебные места), – хотя парт-то уже не было, были современные столы и легкие стулья, – занять сразу стратегический пункт, чтобы оттуда, оставаясь почти что («в меру», как он сам обозначил это) незаметным, наблюдать происходящие события. Там на заднем ряду, за одним столом он обнаружил и своего товарища – вечно спящего, как сразу он определил, инфантильного, почти подростка, юношу. Оказалось, что из двенадцати человек в группе их – представителей мужского пола – только двое. Тот сразу протянул ему вялую ладонь для рукопожатия, но больше никаких движений не совершал и участия в семинарском занятии не принимал. Это был какой-то сонный вундеркинд, почти ребенок, он почти все время почему-то дремал, затаившись на заднем ряду. С аутистом, как он для себя его сразу назвал, не было надежды найти хотя бы простые, не говоря о доверительных, отношения. Приходилось, к тому же, быть все время настороже, чтобы не выдать – излишними знаниями или невежеством – свой истинный возраст. «Понятное дело, – подумал он, – его одногруппник тоже попал сюда по протекции, да и как иначе попадают молодые люди на Высшие женские курсы. Наверное, отчаявшиеся родители решили, пусть уж женское получит образование, чем никакого», – так думал он о судьбе этого юноши.

Девушки лишь иногда оглядывались назад, причем некоторые с явным удивлением, – оглядывались на задний ряд, на котором расположились они. Студентки смотрели на них как на нечто инородное и подозрительное в их единой среде. Понятно, что юноши их влекли, хотя пока им надо было осмотреться и разобраться на новом учебном месте. Но чувствовал он, что, по сути, один здесь мужского пола – «рода», как он себя обозначал «грамматически», – один в своем роде и числе.

На первом ряду он сразу – и, странно, он не удивился факту – различил ее силуэт – так ему показалось, что это именно ее затылок темных волос – почему он так решил, непонятно, – этот контур, овал ее головы, который он видел сейчас с заднего ряда, почему-то напомнил тот силуэт, который виделся ему тогда в зеркале, и с тех пор не исчезал в его глазах. Сейчас, как и тогда, он не мог видеть ее лица. Она не оборачивалась, иногда только слегка поворачивала свое лицо, так что можно было увидеть лишь начальный силуэт носа и высокие надбровья («тес профиля» – как он для себя назвал и определил это).

Первое семинарское занятие был посвящено латыни, и он понял, что оказался профаном в девичьей просвещенной, далеко ускакавшей вперед аудитории. Многие девушки пришли, по-видимому, из гимназии, где уже изучали древние языки, которые в недавнем прошлом были мертвы, но, как оказалось, все же опять живые. Так что он и полусонный юноша оказались чуть ли не единственными, кто лишь понаслышке знал о латинском языке. Но преподавательница сразу заявила, что никаких поблажек не будет, делений на слабых и сильных не потерпит, и хотя они начинают изучать язык как бы с самых азов (что прозвучало странно применительно к латыни), но все будет настолько интенсивно и быстро, что, если кто-то не включится, то... – тут она сделала паузу и попыталась пробить взором дальний ряд, где затаился он и где дремал его новый товарищ по полу и образованию. Не получив никакого отклика, она приступила к занятиям, причем некоторые девушки разговаривали с ней на вполне сносной латыни, и она отвечала им так же, ничуть не беспокоясь, что некоторые могут не понять ни слова.

Он напрягал все свое чутье и интуицию, и некоторые надерганные сведения – в основном из латинских пословиц и поговорок, – которыми иногда любил сорить в кругу друзей, но, по правде, не понимал ничего или почти ничего. Повторяя кратко все, что было известно, они начали с фонетики, но все шло в таком бесперебойном и бойком ритме, и многие просто вновь входили в школьный материал, так что он почти ничего не улавливал. Причем эта грозная (так он почему-то решил) девушка с первой парты принимала самое непосредственное участие в беседе. Заметил он, что другие студентки прислушиваются к ее репликам и даже замолкают, когда она

что-то произносит. Стал он склоняться к мысли, что она является старостой группы. Возможно, это было для всех очевидно, но при первой перекличке он так волновался, что почти не слышал имен, да и свое-то с трудом разобрал. По-видимому, называли и ту, которая должна была быть старостой, но он ничего не запомнил.

Дошли они в своем повтореньи и до латинских падежей, и он еще раз увидел эту девушку их группы, которую сразу выделил вниманием из толпы первого ряда.

Показалось ему также, что некоторые девушки знают друг друга – не со школы ли? Или пришли сюда по согласию. Не привела ли их она? – подумал он. В какой-то момент напряженного разговора эта студентка повернулась вдруг к перешептывающимся подругам – по-видимому, подругам, и что-то произнесла по-латыни резко и достаточно громко. Девушки на секунду примолкли, затем тихо засмеялись, – потом одна подняла палец и произнесла тихо, но достаточно внятно:

– Ira magisteris!

Ничего он не понял, ему показалось, что эта девушка назвала имя Ira их грозной руководительницы. Лишь позже он узнал, что она сказала «Гнев учительницы», но уже не мог по-другому называть ту грозную девушку с первой парты, и теперь Ira стало для него ее именем (почудилось, впрочем, что настоящее ее имя Катя Горичева, но вскоре он узнал, что так зовут другую девушку их группы, совсем незаметную и тихую, а имя Irу, действительно, Ира).

В перерывах (ему хотелось сказать «переменах») между первыми занятиями он попытался пройти по странному огромному зданию, где, как вспоминалось ему, он бывал неоднократно, но как-то разрозненно и давно, так что он не узнавал этих мест. На высокой двери он прочел «Профессорская» и подумал «Мне туда», но, взявшись за ручку двери, спохватился и так и не решился дверь открыть, – ему почудилось, что все воззрятся на него, и профессорский женский, непременно женский голос альтом певуче и свысока тут же спросит его: «Мальчик, тебе что?»

Пошел он и в здешний буфет, расположенный, как в лесу, между стволами огромных порфировых колонн, должно быть, коринфского ордера. Что говорило о смутной и, по-видимому, хорошо забытой древности здания. Выпив чаю, он взял бумажную салфетку, но рука сама остановилась, едва он поднес салфетку к губам – была она какого-то изысканного кирпично-коричневого цвета и с узорами-тиснениями в виде серпа и молота. Вспомнилась ему одна фраза в их недавнем разговоре, вскользь брошенная Осли о том, что здесь раньше располагались Высшие парткурсы или партшкола. Тогда он еще не сразу понял, о чем идет речь: ему показалось, что «парт» – это сокращение от слово «парта», и в голове потом крутилась нелепая «Школа парт». Сейчас он понял наконец, о чем шла речь, и вдруг подумал, что в такой невольной преемственности есть незамечаемая никем символичность.

Хотелось ему, конечно, подружиться с кем-нибудь из студентов, но на своего одногруппника надежды было мало, а другие в первый сентябрьский день были заняты своими делами, у всех глаза были счастливые и не располагали к участью. С девушками он не знал, как начать разговаривать, – он чувствовал себя моложе их.

Да и надо было задуматься о своей первой лекции. Когда их всех первоначально собрали в огромной белой аудитории, он так же, верный себе, постарался забраться на самый верх, чтобы озирать спокойным взором всю округу. Здесь, как он понимал, ему предстояло в конце недели самому начать лекционный курс. Поэтому он словно бы выбирал диспозицию, забравшись на подходящий холм. Поверху по краям белой красивой аудитории шли написанные золотом изречения древних философов, и хотя понятно, в аудитории читали лекции самые разные гуманитарии, ему понравилось, что всё здесь настраивает на глубокомысленный лад. Однако не без содрогания занял он свое место на самой верхотуре овальных рядов (намекающих отдаленно на античный амфитеатр) среди студентов и в основном студенток. Это его волновало, но еще сильнее бодрила, как осеннее утро, неизвестность его новой работы – так он назвал свою профессорскую призрачную деятельность – и необходимость сосредоточиться, собрать всего себя в единое (но обозримо делимое – так он прошептал себе) целое.

3.

Стал он, готовясь к первой своей лекции, до которой, как считал, еще далеко – целых три дня – всматриваться в труды древних, тех, что пытались сказать, сами того не подозревая, о женском проникновенном начале в науках и искусствах, но нашел очень мало чего. Незримое было сильнее: сивиллы, пифии, музы и грации – они окружили его. Стал он читать в каком-то подозрительном переводе трактат Марциана Капеллы «Бракосочетание Филологии и Меркурия», где давался обзор семи свободных искусств, представленных в аллегорических образах юных невест. Вспомнилось – или только казалось, что помнится ему, – картина не средневекового уж времени, а даже послевозрожденческая, где Наука в виде прекрасной женщины обнажает истину, снимая часть своего покрова перед взором ученого. Это ему почему-то не понравилось, и он от посторонних, как ему показалось, видений погрузился в трактат. Там были тоже образы, гораздо более целомудренные, юных женщин, олицетворяющих – на незабываемых, хотя и поблекших цветовых миниатюрах, – семь свободных искусств. Именно об этом хотелось ему вначале сказать перед женской молодежью Высших курсов. Перед тем как пуститься в плавание по бесплановому своему пути, то есть по курсу лекций, не имеющему отчетливого маршрута, но зато имеющего определенное название «Свет и ничто», прикрывающее более популярный вариант «Взгляд и нечто».

Он хотел сказать слушательницам во вступительном слове о важности проникнуться, не возвращаясь, конечно, во времени, духом энтузиастических средних веков, постигавших науки через таинства. Впрочем, словесное искусство понималось там практически. Первая часть изучения, или тривиум – отсюда «тривиальный» (хотя часть была совсем не простой) посвящалась именно трем наукам о слове: грамматике, риторике и диалектике (сиречь философии). Вторая часть, или квадривиум (ему хотелось сказать «квадриум») была связана с гармоническим подключением к слову числа: «Арифметика, Геометрия, Музыка, Астрономия». Отсюда он повел бы их и к смыслу своего курса, который, как он сообщил Осли, будет именоваться «Пропорция и сияние».

Внешний облик тоже его беспокоил: надо было готовить – так он выражался – свое лицо самому, без помощи гримера, пользуясь только беглой поверхностной консультацией. Ну и, действительно, усы, бороду и брови он нашел по совету в магазине театрального реквизита. Волосы у него и так были густые и темные, так что они отлично подошли ко всей остальной инородной – или, лучше сказать, иновыросшей, иновыращенной – растительности. Очки скорее со слегка дымчатыми, чем затемненными, стеклами дополняли его облик из будущего – так ему хотелось думать. Взглянув на себя обновленного в зеркало, он представил в глубине еще одно зеркало – иное, где он являлся сегодня в своем омоложенном облике. Словно он оказался в световом коридоре, поддерживая сегодняшним своим образом своды призрачного прохода из прошлого в будущее и обратно. И сам он молодой и другой, более зрелый, чем сейчас, маячили где-то вдалеке, и все трое они двигались вместе в свету.

Надо было потренироваться в надевании и снимании нового обличья, поскольку ему предстояло видоизменять себя достаточно быстро в университете, переходя из себя молодого, минуя промежуточного, в себя будущего, уже основательно пожившего, – ветерана жизни. Возможно, так он подумал, свой туалет удастся менять в университетском туалете – на смену облика требовалась минута.

Несмотря на новые теперешние интересы и обрывочные разговоры студентов и студенток – разговоры, в которые он поневоле и радостно ввергался, – чувствовал он однако себя одиноким. Поэтому и представлял себе «тройной диалог» – разговор «трех возрастов»: себя «почти юноши», который только что пришел домой из университета, себя «пятидесятилетнего профессора Вертоградского» и «себя настоящего», которому на момент разговора вроде бы было все те же 42 его года. Но такой разговор быстро тускнел в его воображении. Ничего отдаленно похожего на представимый, допустим, разговор-триалог «Сократ-Платон-Теэтет» не получалось, поскольку тоска и постоянные бытовые заботы все перебивали, к тому же женские образы – видимые с задней парты – почему-то непрерывно перемещались перед глазами. Он сообщил об этом Осли

больше ради смеха. Но тот встревожился даже, услышав о возможности «тройного договора»: «Мы пошли с тобой на эксперимент не для того, чтобы ты продолжил когда-нибудь свои лекции в психбольнице». Ответный смех заставил Осли тоже улыбнуться, но все же они долго потом с ним говорили. «Тройной союз» был неизбежен, не мог же он появиться и читать лекции в своем обычном («гражданском», как он выразился про себя) облике, весь даже 42-летний и разгримированный, он не так уж сильно отличался от «себя-студента». Значит, надо было обряжаться в черную бороду, надевать лишние, но маскирующие очки и глухим голосом, о котором надо было постоянно помнить, демонстрировать такое глубокомыслие, чтобы ни у кого не было даже желания отрешиться и посмотреть, протерев глаза, кто же реально стоит перед тобой на кафедре и философствует, размахивая опыленными мелом пиджачными рукавами. Перед ними стоял их студент, отсутствующий на этой лекции.

Надо было обдумать хотя бы приблизительный план первой своей вступительной лекции перед слушательницами курсов. С одной стороны, он опасался, что его могут узнать даже сквозь профессорскую бороду, с другой стороны, не хотелось ему потерять себя, слишком увлекшись уклонением в другую роль.

Мысленно увидел он белый охват аудитории, куда под белые руки, казалось, вводила его судьба, и содрогнулся, поняв, что надо призвать все мужество, чтобы предстать поистине мужским пророком в женском пространстве, где к тому же будет ощущаться нехватка одного студента, – его самого, который мог бы поддержать его хотя бы своим присутствием.

Прошедшей ночью он видел сон, от которого осталась лишь одна искаженная и странная фраза: «По вторникам будешь догонять свою черепаху». Приложив немалые усилия, он убедился, что во сне не было угнетавшей его раньше вины перед экзаменаторами, и еще он вспомнил, что вроде бы, вот он, обогнал черепаху – так ему показалось, – опустился в изнеможении на пыльную дорогу, но черепахи сзади не видно, так что, может быть, она была все еще впереди него. «Да, – подумал он, – можно было бы студенткам на первой лекции предложить парадокс покруче зеноновского», – впрочем, как он тут же понял, что это тот же парадокс, давно уже разрешенный, причем разными способами, только высказанный прямее: «Ахиллес может обогнать свою черепаху, но догнать не может».

Неожиданно даже для себя самого вдумывание в смысл первой вводной лекции, которая и должна определять весь курс, все больше влекло его куда-то в «женскую сторону». Никогда особенно раньше он об этом не задумывался, но обстоятельства – впрочем, не случайные, а тайным его сознанием спланированные, – заставили всматриваться в сомнительную для многих тему. Стал он определять возможные проблемы или диалоги дилемм, как он выразился про себя: «Софистика и софийность», «Практическая софийность» и все в подобном духе. Представилось ему, что невольное попадание его на Высш.-Жен.-Кур. – ВЖК было давним неявным стремлением и тяготением его мысли: Ахилл пытался достичь недоступный женский идеал, гармонически звучащий и тихо тренькающий в дали в виде черепахи-лиры.

Подойдя к двери белой аудитории и взявшись за позлащенную ручку двери, он почувствовал вдруг такую охватившую его всего робость и при этом такую легкость в ногах, готовых повлечь его обратно и куда-то в сторону, что только немыслимым усилием сумел удержаться здесь. Только то, что он держался за спасительную дверную ручку, удержало его, чтобы не унес его ветер куда-то вспять. Он стоял перед дверью, осознав, хотя лучше было бы не чувствовать это сейчас, что вот первый раз переступает он порог в ранге учителя. Никогда, да, никогда до сих пор он не преподавал, и волнение было сильней, чем когда он вошел в университет в позабытой уже, но знакомой роли студента. Сейчас ему предстояло тоже играть себя самого, но не только его-другого, но и совсем незнакомого. За первые дни он на занятиях почти не промолвил ни слова, тщательно исполняя роль студента-послушника, а сейчас ему предстояло войти в роль профессора- резонера, не смолкающего ни на минуту. Поэтому он гадательно ждал, когда же рука сама повернет – правой рукой по часовой стрелке – заветную рукоять. На миг он почувствовал, наверное, ужас канатоходца-дебютанта, который, когда распахнет двери собственной рукой, должен ступить на сверка-

ющую нить над бездной. Но тут он почему-то ощутил прочность себя, стоящего на двух ногах на земле, и сделал первые шаги, хотя и мешковато как-то, в дверь своей новой и незнакомой судьбы. В последний миг он оглядел себя и с изумлением обнаружил, что у него не застегнуты брюки. Вступать так в аудиторию, полную девичьих глаз, было, пожалуй, слишком большим эпатажем. Молниеносно он восстановил замкнутость своего костюма и шагнул вперед. Впрочем, все произошло уже так быстро и по-бытовому, что не было времени и чувств переживать теперь каждое мгновение как что-то небывалое.

Вступив в аудиторию, он услышал легкий гул и шум голосов, который немного примолк, когда он всходил на кафедру, но потом шум возник опять, хотя, как ему показалось, стало больше тишины. Вначале он не смел поднять глаза, достав специально приготовленный список тех, кто должен был присутствовать на лекции – здесь было собрано несколько групп, включая и ту, к которой он принадлежал как студент. Но назвав первую фамилию – он сказал, что хочет устроить – всего-то один только первый раз – всеобщую перекличку – когда он произнес фамилию и имя, он поднял глаза. Он забыл поздороваться, но сейчас поздно было исправлять невежливость – надо было держаться уверенней. Море девичьих лиц – столь разнообразных и вместе – единых, услышавших звук его глуховатого голоса, предстало перед ним. Студентки его группы, чьи профили он видел лишь мимолетно, поскольку сидел всегда сзади, – очи студенток вдруг взглянули ему прямо в глаза, и он их не узнал. Он выкликал их имена и фамилии, и хотя раньше, конечно, слышал их на занятиях, но сейчас они предстали почти неизвестными: Дюкова, Филатова, Беренштейн, Скукогорева. Отдельно и дважды он произнес фамилии сестер-близнецов Евы и Люции из его группы. Каждая девушка – встречающийся двенадцатым по счету в списке, – не чаще, – юноша, – кивали головой или выбрасывали руку или даже привставали, некоторые пытались даже – неуклюже на тесных скамьях – делать подобие реверанса. Но когда он дошел до фамилии Iry, то никакого движения не возникло, и вдруг он почувствовал ее взор и увидел, что она неподвижно, несколько насмешливо даже и вместе с тем тяжело вглядывается прямо в него, – он почувствовал легкую дрожь, и сам неожиданно кивнул головою обозначая, что он заметил ее или, вернее, что заметили его.

Начал он лекцию как-то невпопад, так что даже не мог запомнить, что же он произносил. Потому что торопился поправить и словно бы зачеркнуть предыдущее и гнал вперед, вызвав некую оторопь аудитории. Очнулся он и услышал себя, когда произносил: «Ветхозаветная София, античная Афина. Мойры, Парки чем-то удивительно подходящи для созерцания, созерцания мужчиной. Самым важным в этом смысле для нас является загадочный образ Мнемозины. Вы помните, хотя вряд ли сами, – разве что по преданию, что прилежные ученицы (а возможно, и ученики) в советских школах созерцали, иногда ставя перед собой, бюст какого-нибудь вождя, – понятно, что мужчины. Чтобы видеть несомненный образец для подражания для прилежной учебы, учения. Такие бюсты можно было встретить везде: в классе, в домашней комнате, в красном уголке. Но все же это как-то не прижилось. Древние греки (преимущественно мужчины) на протяжении веков созерцали бюст какой-либо музы для вдохновения в искусстве. Живая женщина была в забвении, зато женские образы воссияли. Например, многие названия любви в иерархии от пандемос до агапе были известны и перешли понаслышке даже к нам. Символ мудрости Афины – сова – тоже женского рода. Но странно было бы, конечно, если бы легендарный ворон по Эдгару По вдруг слетел на мраморную сову. В этом могло быть что-то комичное, и потому поэт безошибочно утвердил своего черного ворона на бюст Паллады – римский повтор Афины-мудрости.

Все же он никак не мог преодолеть вступительной части лекции, казалось, окончание начала все дальше отступало, чем настойчивее он шел к нему. И чем дальше углублялся Вертоградский в запутанные дебри скрещений и сопоставлений женских и мужских, как он назвал их, философем, тем отчетливей он слышал нарастающий, хотя и тихий вначале гул аудитории. Он читал, почти не отрываясь от тетради, хотя произносил совсем не те слова, что были написаны, изредка поднимая все же глаза за дымчатыми своими очками к верхам аудитории. Вдруг белое угловатое пятнышко мелькнуло в высоте, и он увидел, что к нему навстречу летит белый бумажный голубь,

который опустился прямо на обшлаг пиджака. Хотелось ему произнести нечто высокопарное, вроде: «Голубка – символ мира, примирения, окончания бедствия потопа, но где же тогда оливковая ветвь?», но содрогнувшись, он промолчал. Он смахнул голубя, словно бы не заметив его, но тут появились новые. Они возникли одновременно из двух сторон аудитории, и тоже летели по направлению к нему. Он растерялся даже, поняв, что так его приветствует скука и отчужденность женских глаз и умов, но хотелось ему обратить свое приближающееся поражение в победу, и он метнул обратно одного из белых голубей, чем вызвал одобрительный девичий смех и даже аплодисменты.

Но голуби летели со всех сторон и огромной стаей. Среди голубей, летевших с амфитеатра белой аудитории, были теперь и цветные. Он различил уже на некоторых бумажных голубях надписи, и подумал вначале, что это вырванные страницы конспекта только что записанной его лекции, но потом понял, что здесь записки для него, начертанные прямо на крыльях. Некогда было ему читать записки, поскольку он продолжал монотонно механически читать лекцию, заглядывая в свои записи в тетради, но все же одного голубя поймал, потому что он летел прямо к нему в руку, и разобрал, что на одном крыле было написано «Aqua vitae», а на втором была изображена римская «VI». Некогда было ему вдумываться в смысл написанного на обоих крыльях, и только позже он догадался, вернее, как-то само сообразилось, что первое означало, конечно, вовсе не «живая вода», а «водка», а второе, немного зашифрованное – латинское «Sex», что созвучно произнесенной цифре «шесть». Еще один голубь, прилетевший к нему, был с длинным хвостиком нитки, и он невольно потянул за нее. Голубь дернулся в руке и пропищал голоском детского музыкального конверта с секретом: «Прочти меня». Раздался общий смех, и он уже вынужденно распрямил крылья и прочел: «В пьесе “Дачники” писатель Максим Алексеевич Горький устами одного из своих персонажей, писателя, кстати, тоже, утверждает: “Женщина – это низшая раса”. Прошло сто лет, а верится с трудом уже, не правда ли, Herr Professor?». Раздражили его больше всего некоторые неточности в письме, но надо было что-то отвечать на студенческий вопрос, и профессор Вертоградский, вдруг почувствовав, какие речи могли звучать в этой аудитории почти сто лет назад, стал отвечать не своим голосом, с ужасом осознав, что в голосе Вертоградского появилась сварливость, и даже чуть ли не истерический надрыв и какие-то кликушеские интонации: «Не читал пьесы и вам не советую, но раз уж такое с вами приключилось, то скажу, что пролетарский писатель устами своего, по-видимому, мещанского происхождения писателя является только рупором идей Ницше, Вейнингера, кого там еще. На самом деле, как выяснено уже давно, женщина не является низшей расой, а, как я вам твержу уже битый час, совсем наоборот».

Где-то выше сверкнула вспышка фотоаппарата (скрытого, наверное, в мобильный телефон), и он тут же представил, что в интернете сейчас же появится снимок с надписью «Профессор Вертоградский с голубями мира и любви», – видел он на одном голубином крыле написанное «Amor fati», что означает, конечно, «роковая любовь». Ему показалось даже, что именно этого голубя бросила Ira, но приглядевшись, он увидел, что она совершенно неподвижно сидит и без улыбки неподвижным же взором вглядывается в него. На самом деле он был буквально уже облеплен бумажными голубями. Он даже поднял рукав пиджака, с тремя голубями на нем, показывая, что как бы кормит этих голубей, спровоцировав неожиданный смех. Но он сбросил трех голубей с рукава и запустил их обратно вверх в аудиторию, чем вызвал окончательный уважительный, хотя и тихий свист. На этом закончил он свою первую лекцию.

4.

Первый раз метаморфоза с обратным переодеванием – опять в юношу-студента – заняла гораздо больше времени, чем он ожидал, так что на семинар после его лекции он существенно опоздал. Вбежал он, запыхавшись, в аудиторию, но там стояла полутьма – преподавательница показывала слайды, так что никто особого внимания не обратил.

Долго не мог он отдышаться, не сразу поняв, куда и зачем попал, потом все же догадавшись, что шло занятие по искусствоведению. Собственно его – вернее, Вертоградского – лекционный

курс официально назывался (так предложил Осли) «Ведение в эстетику», так что он не далеко ушел сейчас от предмета, хотя, понятно, что размеренность и разумность семинара контрастировала с импровизацией его лекции.

Думал он, что лучше бы обозначить свой курс как «Основы философии», но не чувствовал он себя сейчас философом, да и не дорос он еще до этого звания, и в своем стремлении вернуть молодость через живую и юную воду знания рядом с молодыми лицами он чувствовал, что погружается в забытые свои времена, откуда, как оказалось, он не ушел до конца. И сейчас, словно бы омывая лицо световыми картинками в затененной аудитории, не понимая толком после лекции, о чем идет речь, все же чувствовал, как входит ему в глаза незнакомое знание. Он совершенно не мог сосредоточиться и несколько минут совершенно не включался в суть разговора. Вдруг он что-то стал различать – и только потому, наверное, что неожиданно обнаружил в том, что говорилось и показывалось, продолжение неявное своей лекции. В этот момент показывали световые репродукции работ художника Валентина Серова. Вот мелькнул занавес к «Шахеразаде» и затем подряд – Навзикая, Европа, Ида Рубинштейн. Не сомневался он потом уже, что увидел и сумел различить только то, что способен был воспринимать после своего неудачного введения в «Эстетику женского», как он сам назвал свою первую лекцию, но, конечно, никто из слушательниц так это не воспринял. Только преподавательница процитировала слова Репина о работе своего ученика, – о том, что на картине, изображающей танцовщицу, представлен гальванизированный труп, только успела сказать, что плоскостность и условность модерна не соотносится уже даже с Матиссом, у которого тогда присутствовала все же рельефность, как раздался голос, – его голос, который он услышал словно бы со стороны:

– Здесь Серов совместил голубой и розовый периоды Пикассо, верхняя часть картины серо-розовая, нижняя – голубая, с морской синевой, а женская фигура контурно, но и нарядно обнажена, и она на самой границе двух сред.

Все девические лица первых рядов изумленно повернулись в его сторону – валаамова ослица заговорила. Прикусил он язык, но поздно – единственно, чему он порадовался сразу, что, охрипший после лекции, он выкрикнул свою – неожиданную да и непонятно зачем брошенную реплику – неким юношеским фальцетом, в котором дрожало волнение, так что никто, наверное, не заподозрил в нем присутствие профессорского баритона, хотя та немота, которую он себе прописал как студенту с первого дня, была нарушена. Преподавательница, помолчав немного, взвесив его слова, но не удостоив особым вниманием и ответом, продолжала свою невероятно отчетливую и, по-видимому, тщательно отрепетированную и повторенную речь. Все же он понял, что только одна голова не повернулась в его сторону – это была Ira, ей достаточно было слуха, а зрение могло бы, наверное, сбить ее в том, что она услышала в его голосе. Он подумал, что студент должен слушать, профессор говорить, но вот он нарушил зарок.

Его отсутствие в качестве студента на первой лекции профессора Вертоградского не прошло незамеченным. В перерыве после семинара староста их группы Ira (мысленно иначе он ее уже не называл) подошла к нему и спросила (причем его поразило, что обратилась запросто):

– Почему ты не был на лекции?

– На какой? Я считал, что мы учимся в самом свободном вузе.

Ничего она вначале не ответила, лишь внимательно, как на лекции, посмотрела на него, – хотя ему казалось, что он не повторяет некоторых мимических ужимок профессора, но не был в этом уверен.

– Деканат просил через меня как старосту все же передать... почти умолял... чтобы все посещали лекции, надо поддержать преподавателей... ведь все это незнакомое дело... особенно если курсы совсем новые. Отсутствие какой-нибудь девицы не так заметно, как юноши, – последнее слово она как-то особенно подчеркнула.

– Ну, вот у одной из девиц я и попрошу записи. Например, у Скукогоревой.

– Я запретила моим девицам данной мне властью, – тут она все же улыбнулась, – что-нибудь кому-нибудь передавать.

– Возьму в крайнем случае конспект у своего товарища по группе.

– Он проспал всю лекцию, – уже без улыбки сказала Ira.

«Я это заметил», – чуть было не произнес он, но вовремя остановился. Ira уходила в даль по коридору, а он не мог понять, кто смотрит ей вослед: неопытный студент-первокурсник или профессор, который читал свою лекцию монотонно, как пономарь, – так ему вспоминалось теперь, чувствуя странный и в чем-то чудесный взор Ira. Или смотрит он сам, не сознавая, что ощущает, отдав свои чувства и частично даже мысли своим не очень понятным пока другим своим личностям.

Понял он, что нелегко будет войти ему в свои роли, которые он выбрал сам, но, как он полагал, его туда втолкнула и чужая режиссура, которой явилась судьба. Роли учителя и ученика, при том что обе их он должен был изучать и исполнять прилежно, не забывая и о своей отчасти режиссерской участи, потому что все надо было направлять, координировать, а иногда прощать себе небольшие и даже грубые промахи. Пока он не мог понять своего состояния, но именно непонимание влекло его и все глубже затягивало.

5.

Новый день пришел, и за ним еще один, и он чувствовал, что втягивается в странную студенческую среду, словно и не желая того. Великовозрастный, он чувствовал себя совершенно зеленым рядом с молодыми студентами, изощренными в литературных и других гуманитарных предметах. К тому же он остерегался повторять свой опыт выступления после первой лекции, когда его могли узнать. А он хотел проделывать чистый опыт, пройти путь студента так же, как все остальные, не давая себе никаких поблажек и не разрушая опыт разоблачением. Поэтому он позволял себе только очень дозированные реплики. На семинарском занятии по литературе он выступил кратко – буквально несколькими словами. Опять как-то так получилось, что женская тема всплыла со всей ее неизбежностью – вернее, он понимал, что усваивает из окружающего только то, что соотносится с его лекционными планами и записками, с тем, что он хотел сказать и так толком не сказал на первой лекции. Пребывая в некоторой прострации на семинаре, уподобившись, наверное, своему сотоварищу, он вдруг уловил, что разбирают три драмы аристофановы, посвященные тому, как раз, о чем он размышлял. Расслышал он лишь, что произнесли их названия: «Лисистрата», «Женщины на празднестве» и «Законодательницы, или Екклесиасусы» и почему-то спросил:

– А почему не «Осы», «Лягушки» и «Птицы»?

Вопрос его, явно невпопад, вызвал такой же вымученный, словно бы подневольный, смех, – ясно было, что он вовсе не собирался обидеть женщин, которые и так довольно были обсмеяны в комедиях, а задал странный вопрос, потому что словно бы только проснулся. Однако он наказал себе как можно больше молчать.

Робко он пытался осваивать начала некоторых языков. Филологические разборы давались ему легче, но он не понимал еще, как надо перестроить все свое сознание на иной лад. Погружался он в ту науку, о которой и думать забыл, но которой вожделел непрерывно – ту латынь, древнегреческий и церковнославянский. Также он записался дополнительно на изучение иврита, китайского и санскрита, но понял, что вряд ли осилит все это, поэтому постепенно оставил себе в качестве дополнительного предмета, да и то эпизодического, лишь китайский. Может быть, потому лишь, что надо было вначале записывать части иероглифов на бумаге в клеточку, и эти повторяющиеся крюки и откидные напомнили прописи в тетрадях для чистописания первоклассника. Радостно бросился он заучивать снова то, что давно повыветрилось за его прошедшее время. Твердил он: «Vigilandum est semper» – «Надо быть бдительным всегда», а шептал «... вигилий городских», приплетая сюда зачем-то еще и имя Вергилия и напрягая память и всю ассоциативную сеть – мерещилась ему на веленевой бумаге какая-то искусственная фамилия, произошедшая от этого слова. Дальше – больше, – вторгался он в позабытый «Ерундий» (как он произносил про себя), шепча «Oscul non iterum repetenda» – «Поцелуи, которые еще раз не повторятся».

Новый для него язык, хотя многое из него вроде бы он знал, как будто молодил его изнутри. Думал он, что проникнув в тайну грамматики, сможет быстрее приблизиться к пониманию языка, даже без слов: поразило его, хотя он смутно об этом слышал, что в первоначальной латыни было два рода – активный и пассивный, и в активном были слиты будущие женский и мужской, а инертный был неопределенно среднего рода. Выдуманная грамматика ему чудилась, где все части речи сводились бы к действию и движению, но иногда представлялось – так на него воздействовало изучение идеальной, кристаллической латыни, – что частей речи, наоборот, недостаточно, что невозможно все свести к предмету – его качеству и глагольности, а надо что-то еще обозначить, хотя он не знал, что. Странно смутило его, и даже легкую дрожь предчувствия почувствовал он, когда понял, что нет в латинском местоимений третьего лица. Причем ему казалось, что обо всем этом он когда-то знал и забыл прочно, а сейчас постепенно восстанавливает бесконечными повторами в памяти.

Нелегко было ему, «за-сорокалетнему», сравниться в гибкости и свежести ума с 17-18-летними, даже если он изображал себя 28-летним. Все же надеялся он на свой опыт бессонных вечеров и даже ночей в непрерывной интеллектуальной работе, но опыт и знания здесь помочь не могли. Трудно давались ему новые языки, хотя он и рвался к их постижению, единственно, что он мог себе позволить и что должно было его продвинуть внутрь молодого сообщества – бесконечно твердить новые слова и фразы. Повторял он, закрыв глаза, с нарастающей скоростью, чтобы догнать, наверстать молодые юные девичьи и юношеские лопатки и нежные шеи, которые, казалось, двигались и летели где-то в осеннем воздухе далеко впереди него, словно это была какая-то велосипедная гонка, как представлялось ему,– по солнечным улицам Москвы все в том же районе его нынешнего университета – совершали они по квадрату квартала бесконечные круги, обходя огромную площадь, заполненную деревьями, и голова кружилась, а он все повторял с нарастающим наслаждением и частотой какой-нибудь учебный отрывок о волке и козе: «Sentit capra fraudem lupi et respondet: “Ipse ambula ibi, si placet, ego non habeo in animo voluptatem praeponere saluti”». Не помогало запоминанию ничего, – даже мнемонические попытки представить обычные латинские слова в виде русских эвфемизмов, и лишь повторение позволяло продвинуться по миллиметру вперед, и он переводил, понимая, что не точен, но все же играючи, повторял: «Чуяла коза, что обманывает волк, и ответствовала: “Сам там гуляй, коли хотца, я не поступлюсь благополучием ради жизненного удовольствия”».

И тут же подступали нелепые ассоциации, но не столько поддерживали, сколько уводили все дальше от сути изучаемых слов. Про волка нечто отрывочное вспоминалось, но не помогало, а создавало какой-то лихорадочный фон, поскольку, понятно, ассоциациями и метафорами нельзя было заменить подлинные знания. «Lupus est», повторял он, вернее сама фраза повторяла себя, закончив ее, он тут же начинал ее заново, и такое возвращение вводило его в полусон, и невольно вспоминая анекдот-страшилку про «съест КПСС», он заново впадал, словно река, в свое детство, хотя это слово произнеслось в нем вначале почему-то как «дедство». «Omne initium dificile est» – всплывало рядом предлагаемое изречение. «Всякое начало трудное есть» – упорно переводилось тут же. «Lupus in fibula» – не мог он понять простого утверждения, стараясь тупо произнести «Волк в басне», хотя все же потом после самопроизвольных повторов само всплывало «Об волке речь, а он навстречь». И коза из той же басни тут же появлялась навстречу и повела его глубже, глубоко во времени, и он вспомнил, вспоминал, – минуя литературный остров Капри – в островок памяти, когда среди лета они с отцом и сестрой вышли из электрички в Звенигороде, и тут к ним нежданно подошли два мальчика из соседнего школьного класса (с которыми он и в Москве-то разговаривал пару раз) и спросили их, где здесь находится казино. В советское время о казино знали только понаслышке, и недоумению не было предела, пока, наконец, путем долгих переспросов и подключения местных жителей не выяснилось, что речь шла о недалекой деревне Козино. Вдруг через звенигородскую реку и зелень свежепокрашенного купола полуразрушенной церкви – купола, поросшего по ободку свежей порослью берез – всплываемых сейчас через акварели отца – и жаркую душную зелень у реки – и вдруг он попал в какой-то эпизод своего детства,

из которого, как он понял, он не смог до сих пор выбраться, – в саду, летнем, рядом с заржавленной ванной, откуда лейкой черпали теплую воду для полива, ванной, наполняемой водой, и он понял, что только сейчас взглянул снаружи в окошко того отрывка детства, но понял, что остался там, там он еще есть.

Вспомнил он и свой первый класс, и вот он сейчас также записывает что-то усердно в тетрадку, сидя как всегда на задней парте, – то, что говорит преподавательница латыни. Речь шла о неличных неспрягаемых глагольных формах, – и уже невольно и подневольно начинал он искать профиль Iry, которая, конечно же, главенствовала и сидела в первом ряду, но профиль ее был заслонен многими лицами других прекрасных девиц, – он расслышал лишь, что форма iri не имеет конкретного значения, а служит лишь для выражения идеи будущего. Вспомнил он тут же почему-то песню санкюлотов «Ça ira», но там ударение было на последнем слоге, а в имени Ira, что значило «гнев», – на первом, и все пытался потом он уловить ее ускользающий высокомерный профиль, повернутый, так что не было видно глаз. Но тут совершенно случайно у него в памяти появились две первые строки той песни, – он французский знал плохо, даже хуже латыни, но здесь они возникли отчетливо: «Ah! ça ira, ça ira, ça ira, le peuple en ce jour sans cesse répète», что тут же он перевел нелепо: «Ах, Ira, Ira, Ira, народ этим днем повторяет без передышки».

6.

В аудитории, когда он бывал студентом, теперь он держался уверенней, и чаще позволял себе выставляться резонером с задней парты, со студенческой скамьи, с Камчатки. Но профессором, подходя к белой аудитории, робел опять, рука явственно колебалась в воздухе, когда поднимал он ее, поднося к ручке двери, и сердце иногда чувствовалось. Также легонько ёкала жидкая еда в маленьком термосе в его портфеле – первое время он не выдерживал напряжения и делал небольшой перерыв между половинками лекции, выходя в коридор и быстро выпивая у окна горячую кашу. За густыми, не своими бровями, сквозь маску бороды он видел снова девическую аудиторию, заикаясь, стараясь сгустить голос до баритона и по-профессорски почему-то картавя – чтобы инстинктивно удалиться от студенческого облика. И начинал свой витиеватый рассказ.

Все, что он узнавал как студент, старался он тут же пускать в дело, впервые столкнувшись лицом к лицу с китайским языком, по-неофитски восторженно говорил о преимуществах иероглифики перед европейским алфавитом, но с ужасом чувствуя, что внушает и нечто противоположное, и пытается совмещать уже два эти вида письма. Пытаясь, например, нелепо соотносить несопоставимое: слово «ПОЛЕ» он пытался увидеть в китайском иероглифе, означающем поле, который представлял собой окошко с перекрестием – он утверждал, что русское письмо представило последовательность букв, а китайское совместило эти же знаки, уложив друг на друга.

«Ты хоть и доктор наук, и должен следить за научной строгостью, но в своем курсе будь смелым, – внушал ему тогда Осли, – как замдекана обязую тебя раскрыть перед первым набором женских курсов все, на что способна невзнузданная мысль». Вспоминая эти слова и понимая, что отпускает узду и закусывает удила, он пускался во все тяжкие своей раскованной мыслью. Подслушанное и только помысленное – все шло в дело.

Хотя план лекций существовал в его воображении, каждая из них была вольной импровизацией на приблизительно заданную тему. Сразу он заявил своим слушательницам, что будет утешать их философией, вспомнив и тут же приведя по латыни (которую только начал узнавать) название труда Аниция Боэция «Consolatione Philosophiae», то есть «Утешение философией». Тут же и не к месту, а может быть, для него и к месту, еще раз он сказал о «Consonantia et claritas» – «Пропорции и сиянии».

Помнил он, конечно, и о своем научном задании про Лейбница и нуль и упрямо гнул в ту сторону, хотя, казалось бы, нуль тут при чем? Но вспоминая все на свете, вдруг он оживлялся и, соединяя банальность с непонятностью, рисовал – вначале в воздухе мгновенным движением пальцев, – ему хотелось зажечь спичку и прочертить ею знаки, – но спички не было, а потом на

доску – нуль и единицу. И он, даже нарисовав нуль в воздухе, сделал вращательное движение рукой, показав, как легко, перекрутив нуль, превратить его в восьмерку и, опрокинув на спинку, превратить в бесконечность. «Лейбниц был создателем двоичной арифметики, – внушал он слушательницам, – впрочем, все это было известно и до него, – то, что все вычисления можно опереть лишь на ноль и единицу, но он первый придал этому значение, связав немыслимым образом с какой-то китайщиной, с их философией, с "Книгой перемен" и тому подобное». Тут он совсем разошелся и стал размахивать руками, но охладил себя, потому что чуть не сбил парик и не разоблачил себя.

«Затем, – продолжал он, – эта двоичность проникла во все механические – нет, тут я неточен – во все электронные цифровые устройства, все компьютеры, кроме некоторых, которые основаны на триаде, на троичной системе исчисления, можно сказать, заражены этой двоичной болезнью, этим вирусом». Сказав о «цифре», он вдруг перешел к рассуждению о происхождении, об этимологии слова, и о том, что на самом деле «цифра», а тем самым и единица, и «нуль» недалеки в своем происхождении. Хотя в нашем воображении, да и в воображении электронной машины они разошлись на непредставимое расстояние. Тут он счел уместным, хотя вышло совсем неуместным, и даже многие спавшие во время лекции девушки пробудились и отчетливо улыбнулись: он сказал, что известно древнее изречение «я знаю, что ничего не знаю», а он бы хотел, оправдывая свое многоречие произнести «я не знаю, что все знаю», – но прозвучало это настолько ни к селу ни к городу, что все замерли, и даже в этой белой и монотонно гудевшей от тайных разговоров аудитории на мгновение воцарилась тишина. Он воспользовался паузой, чтобы попытаться привлечь к своим речам внимание, хотя понимал, что юное доверие заслужить гораздо трудней, чем, допустим, общества ученых дам. Он сказал, что слово «цифра», по-видимому, берет свое начало в индийском «сунья», что значит «пустота». И кто-то из философов или поэтов связал «Сайфер» (или вернее, арабское «сафира», означавшее «быть пустым») и «Зефир», что значит «западный ветер», он тут же оговорился, что так выразился тот мыслитель, но он, конечно же, ошибся, хотя в ошибке великих может быть скрыта великая мудрость, – на самом деле «Зефир», – конечно же, это «южный ветер», а западный ветер – это «Аквилон», – оду которому создал другой поэт – Перси Биши Шелли.

Но видя, что вновь утратил внимание половины аудитории, он сказал, что напрасно они скучают при слове «математика» или «арифметика», ведь Арифметика всегда в древности изображалась в виде женской фигуры, возвышающейся, допустим, над Пифагором и Боэцием, склонившимися над абаком и грудой арабских цифр соответственно. Не говоря уж про Гипатию Александрийскую – он велел им заглянуть в поисковую систему – что, к его изумлению, некоторые тут же и сделали – и найти ее в белом одеянии среди бородатых мужчин в «Афинской школе» Рафаэля. С мест раздались голоса, что никакой Гипатии там нет, но когда он сказал им «слева или справа от Пифагора, где-то там рядом», и они действительно нашли, то это хотя бы убедило некоторых из них, что он не несет полную отсебятину. «Взгляните на миниатюру в манускрипте Геррады Ландсбергской "Hortus deliciarum", то есть "Сад наслаждений" – можно было бы назвать его "Сад неземных наслаждений" – по аналогии, но и в противоположность с Босхом, – здесь в кольце вокруг малого круга, где царит София- премудрость над двумя учеными мужами, – в этом кольце по углам семилучевой звезды расположены семь женских образов по количеству семи свободных искусств». «Можете мне назвать хотя бы три?», обратился он к вновь задремавшей аудитории, пытаясь вернуть их к первой своей, наверняка забытой ими лекции. «Риторика», – тут же выкрикнул девичий голос издалека, и ему показалось, что он его узнал. «Блестяще, – громко и, как ему показалось, нагло заявил он, – вы будете первым ритором на женских курсах».

Он сказал о том, что не случайно и в «тривиальном» курсе, то есть в «Тривиуме», и в следующем «Квадриуме» все эти науки, – грамматика, логика (она же, по-видимому, философия) и риторика, и затем, как полагалось, более сложные арифметика, геометрия, музыка и астрономия связаны с женскими полубогинями, и – недаром – в русском языке – все науки эти женского рода – все эти женственные образы вращаются вокруг праматери всех наук и, возможно, искусств – Софии.

Он сказал о том, что от софийских соборов – от Софии константинопольской, киевской, новгородской, да и московского храма софийского на Кузнецком, – исходят как бы лучи премудрости, которые именно в женском образе витают над грубой, но действенной мужской оболочкой, которая воплощает эти незримые тонкие идеи.

Тут к нему откуда-то из глубины аудитории прилетел голубь, правда, в этот раз лишь один, и лег прямо на кафедру, он стал разворачивать его бумажное тельце, но увидев, что это записка, написанная по-латыни, засомневался в своей способности хоть что-то в ней понять, и поэтому призвал аудиторию сосредоточиться на последние десять минут. Время пробежало незаметно, и он понял, что толком ничего – а это была уже вторая лекция – не успел сказать. Вернулся к Лейбницу, но забыл, о чем говорил. Поэтому заскользил куда-то вглубь веков, вспомнив спор абакистов (сиречь абацистов) и арифметистов о том, какая система исчисления лучше и пригоднее в подсчетах. Те, которые считали при помощи абака, то есть, по сути, при помощи бухгалтерских счетов с их обточенными, обглоданными косточками, утверждали, что лучше, конечно, римская система чисел, и были по-своему правы. Но правее исторически оказались арифметисты, использовавшие арабские цифры, что было, несомненно, удобнее при вычислениях на бумаге. Бухгалтерия – а тогда ей занимались исключительно мужчины (зачем он привел эти недостоверные сведения, он сам не знал, ввернул, вероятно, чтобы польстить – сомнительная лесть – большей части аудитории), – так вот бухгалтеры проиграли, а победили канцелярские – назовем их так – то есть бумажные черви – вычислители на бумаге. В результате этот червь вычислений – проник во все вычислительные машины. Сама проблема, как получилось, что аналитика, вычисления, пусть и на бумаге, но в уме, и выше – в мировом уме – древние греки его иногда называли Нус, – как получилось, что отвлеченности, умозрительности и идеальности, связанные с числом – или даже нулем, кстати, арифметисты, пользовались активно нулем, и именно отчасти поэтому победили, – как получилось, что платоновско-плотиновская идея числа вдруг оказалась доверенной грубой материальности машины – такая проблема составит часть следующей лекции. Об этом поговорим в следующий раз.

Здесь он закончил и, постаравшись изобразить, что несусветно торопится, – а это было правдой, потому что он убегал от возможных комментариев и вопросов, он представлял, что после его слов к аудитории: «Будут ли вопросы?» вырастет вдруг какой-нибудь юноша и спросит: «И за эту...» – дальше следовал эвфемизм (да и то еще в лучшем случае) – «Вам платят деньги?» – и он не сможет ничего ответить, и бежит позорно, так что он предпочитал исчезнуть, раствориться в ином облике сам.

Хотел он еще добавить: «Нельзя ничему выучиться, не став учителем на мгновенье для самого себя», – но не успел или не посмел.

Вышел он из аудитории в совершенном смятении и так боялся, что его увидит кто-нибудь, и, может быть, подойдет с вопросом, что бежал из стен университета на улицу и постарался заблудиться в глубине лабиринта переулков. На семинар он не пошел в этот раз, – не было сил, и вернулся в университет, когда начинало уже темнеть.

Надеялся он, что все уже слушательницы разошлись, и никого он не увидит в этом своем облике, а он все же хотел вернуться в свой прежний. Переодевался он, как он это называл, в своей грим-уборной – то есть в мужском туалете. Перед и после лекции скрывался всегда в одну и ту же дальнюю кабину, чтобы не нарушить тайный порядок, ритуал, который он сам создавал с таким трудом, но который почему-то всегда вызывал у него удивление. Здесь в одной и той же деревянной кабине менял он облик, проходя от юноши через свой промежуточный сорокадвухлетний образ к более солидному, профессорскому, хотя и менее определенному по возрасту состоянию и обличью. Никому, конечно, не было никакого дела, что, допустим, в эту дверь вошел мужчина с бородой, а вышел безбородый, и наоборот. Черная борода почему-то казалась ему обжигающей. Все было ему знакомо и привычно: надписи на запертой деревянной двери, – они почти не менялись – надписи такие, как и везде, и все же все выдавало некий гуманитарный изыск. На этой неподцензурной двери можно было даже обнаружить дрожащим

чернильным шариком выведенные слова «Wo und Wann?», то есть привычный вопрос-призыв, вероятно гомосексуальный, «Где и когда?» писались здесь игровой тайнописью по-немецки, можно было увидеть полустертое изречение по-латыни, или уж совсем едва различимое – явно крик души отчаявшегося студента – не столько, конечно, имитируемая угроза, сколько последнее комически-безнадежное предчувствие своей судьбы перед сессией: «Мене, текел, перес».

Он вышел уже в темноте осенних сумерек из туалета, сняв бороду, но не перегримировавшись полностью в студента, казалось, что сейчас уже никого из знакомых нет, да и что-то его сбило с привычного хода, какая-то лишняя мысль, но уже идя по коридору, боковым зрением уловил он, что нагоняет его знакомая фигура – он понял, что то была Ira. Он понял, что оглядываться не надо, – она могла его узнать в незнакомом облике, поэтому он ускорил шаги. Но она его все же нагоняла своим обычным быстрым шагом. Бросился он, метнулся несколько вправо по какой-то неузнаваемой мраморной лестнице, которая полукругом поднималась вверх, но поднявшись на двадцать ступеней обнаружил, что лестница упирается в глухую стену – это была, во всяком случае, сейчас, декоративная лестница. Тупо он остановился у стены, не смея оглянуться. «Эта лестница никуда не ведет», – раздался снизу насмешливый голос Iry Magisteris. Он все же не смел обернуться, хотя на лестнице этой глухой было совсем уж темно, он стоял, не оглядываясь, перед стеной, словно пытаясь в нее заглянуть и войти. Когда он спустился вниз, Iry уже не было.

7·

В следующей лекции хотел он продолжить свой запутанный рассказ о смыслах и связи математики, музыки и гармонии, но не знал, как подступиться и с чего начать. И решил начать с простейшего, но основного инструмента – пифагорова монохорда.

На ходу, идя на лекцию (хотя и студентом, в профессора он должен был превратиться позже, в университете) он пытался представить, как будет говорить, и даже представлял в лицах реакцию студенток на его слова. Он вспомнил, что в конце прошлой лекции, когда он уж собрался совсем убежать, одна из студенток, сидящая ближе всех к нему в аудитории, довольно громко произнесла:

– Вы похожи на одного актера... только не помню, как его зовут.

Он вздрогнул, – почудилось ему, что она хочет намекнуть на его не очень хорошие способности как актера, при перемене из образа студента в профессора. Но быстро собрал свои мысли и чувства и произнес примиряющее:

– Все люди чем-то похожи друг на друга... все люди – братья и сестры.

– Я не хотела бы быть вашей сестрой, – загадочно сказала студентка.

– Да, не нужно фамильярности... – пробормотал он тогда и почти выбежал из аудитории.

Сойдя сейчас по лестнице в подземный переход, где он обычно переходил улицу, услышал он привычный струнный звук. Пожилой музыкант, сидевший всегда близко к середине перехода, обычно играл на гитаре монотонно, хотя и виртуозно, «Прощание славянки». Но на этот раз было нечто другое. Он увидел издали, что какая-то женщина подошла к музыканту, и тот после ее слов стал исполнять что-то знакомое, но забытое. Да это же «Домино» – сообразил он через несколько шагов, романс или песня конца 50-х, звучавшая везде и всюду, из всех уст, и часто вечерами в ресторанах, что он помнил по каким-то кинофильмам. Он бросил свою лепту в кожаный подол и спросил:

– В какой тональности Вы играете?

– В ми миноре.

– А можете сыграть «Домино» в до миноре?

Тот вначале не понял:

– Можно в любой тональности, – но потом улыбнулся и, подправив микроусилитель, начал играть, спросив на прощание:

– Вы музыкант?

Он не ответил и ушел вперед, сопровождаемый ностальгически-томной мелодией, и уже выходя по ступеням на свет, подумал, вспоминая слова из песни – это кажется, был перевод с французского – «Домино, Домино, а ведь ты же был Домиником...». Да, «Доминик», пробормотал он про себя, происходит от «Доминус дей» – «День Господень».

Ему показалось, что он знает теперь, как начать лекцию, но что будет потом, – о чем будет говорить дальше, все еще было в тумане. По пути он вспоминал ту последнюю фразу девушки о похожести его на актера. Можно было ее трактовать и так, что он только напоминает актера, но в своих устремлениях не достиг такого состояния. В чем был скрытый упрек. Актер по профессии играет разных людей, но выйдя из роли, переходит в иную роль – самого себя. Пусть он хранит в себе предыдущие роли, – а часто наверняка так, хотя некоторые из актеров с отвращением, наверное, свои прошлые превращения вспоминают, но они находятся в одном новом состоянии помимо того, что им надо иногда играть самих себя. В его случае все было серьезней. Он должен был играть, почти исполнять, три роли: ученика, учителя и себя самого. Думал он, что в своей непомерной жадности размноженности или умноженности жизней ему бы хотелось играть многих людей – если не всех, это отдавало бессмысленным утопизмом. Но как только речь – внутри него – заходила о конкретной возможности – он мысленно с ужасом отступался. Смог бы, например, он сыграть подземного музыканта? С кожаным фартуком для подаяния, которое лучше назвать вознаграждением? Нет, к этому он был не готов. Правда, считал, что если нужда заставит, то и на такое он решится, но ведь он спрашивал сам себя, смог ли бы он сыграть именно этого человека, как бы совпав с ним, не вытесняя его – и физически тоже, – с его насиженного места в подземном переходе, – не вытесняя его из него самого, но присутствуя в нем. И отвечал сам себе, что нет, не может. Пока нет.

Он подошел к дверям университета, но войти ему мешали два студента, что-то громко обсуждавшие. Они словно бы не замечали его. Но он не стал их раздвигать руками, а остановился, ожидая. Он подумал тут же, что вот сейчас не смог бы совпасть ни с одним из них. Подошла студентка и стала рядом, спор стал смолкать, и один – одинокий студент, наконец, как-то горько усмехнулся и сделал шаг назад, словно бы только сейчас, заметил его. Он сделал шаг вперед, и уже входя в двери, заметил, что отступивший студент поднял правую руку над своей макушкой и, сложив пальцы, сделал как бы перетирающее движение щепотью. Уже идя по коридору, он догадался о смысле жеста: тот показывал, что посыпает голову пеплом. И понял, что в таком движении он совпал на мгновение с отчаявшимся студентом.

Переодевшись, как подобает профессору, правда, парик как-то в этот раз сел на голову неровно, и, идя к белой аудитории, он подумал о различии слов «актер» и «артист». Синонимы они в узком смысле. Но если он пока актер никудышный, и все держится только на общественном договоре, все хотят видеть в нем того, и другого, и третьего, то артистизма ему уж точно не хватает. Он пока не профессор-артист.

Начал он лекцию словами будничными, но тем более, наверное, неожидаемыми:

– Давайте для начала – это займет семь секунд – пройдемся по основным нотам гаммы. Пожалуйста, произнесите вслух, но лучше та, у который – музыкальный слух.

Ну, конечно же, вызвалась тут же Скукогорева и, сопровождаемая другими, более тихими голосами, произнесла, пропела ноты отчетливо и красиво. Іга молчала.

– Смысл этих слогов помните?

Так как никто не ответил, то он продолжил:

– «До» в поздней интерпретации, конечно, это начальный слог «Dominus» – «Господь», «ре» –«rerum» – материя, «ми» – «miraculum» – «чудо» и так далее. Все это хорошо известные факты, вы их знаете, быть может, лучше меня. Но важно их сопоставить со всей историей музыки, астрономии, философии. И тогда в реальности вы услышите, почувствуете, даже узрите внутренними глазами музыку сфер.

– And heaven with diamonds, – отозвался насмешливый, но несколько звенящий от волнения девичий голос.

– Ну, небо в алмазах все же для более поздних времен, а древние слышали и видели музыкальные хрустальные сферы. Понятно, что то не был нам известный хрусталь, который был раньше почти у всех, хрусталь, поддающийся огранке и, кстати, треугольные грани называются как раз алмазными. То был хрусталь-кристалл-лед, ибо по-древнегречески «кристаллос» – «лед». То был горный хрусталь нерушимо-холодный, линзами, изготовленными из него, можно было прижигать раны и возжигать олимпийский огонь. Греки полагали, что хрусталь – особый вид льда, который невозможно растопить солнцем. Поэтому сферы планет, поющие, звучащие сферы созданы из такого незыблемого льда. Сквозь прозрачные сферы ясна прозрачная музыка.

Тут он на экране показал слайд – никогда прежде он ничего не демонстрировал так отвлеченно – лишь иногда рисовал что-то на доске – схему пифагорова монохорда.

– Вы понимаете, что это более поздний рисунок, Пифагор не знал латыни и не пользовался ею. А здесь звуки, соответствующие сферам – на рисунке окружностям – своих планет обозначены, например, «Proportia tripla». Видите, мы опять подошли к пропорциям. Мы сказали, что одной из наших главных тем будет «Пропорция и сияние» – «Consonantia et claritas» – этот девиз незримо пронизывал все Средневековье. Это основа эстетики в этике Августина и Псевдо-Дионисия – союз между пифагоровским, да и платоновским понятием стройности мира, пропорции и неоплатоническим представлением о свете. Свете как основе красоты. Тут можно вспомнить слова Леонардо о том, что глаз обнимает красоту мира, он и начальник астрономии и космографии, он дает советы всем искусствам и направляет их. Зримое – но и музыкальное тоже – значит существующее.

Он сделал паузу, протянул руку в поисках невидимого стакана с водой, чтобы смочить горло, и, надеясь, что никто не обратил на его странный жест, продолжал:

– Вы видите на этом позднем – по сравнению, конечно, с пифагорейскими временами, доску об одной струне – это и есть монохорд, – божественная рука из облаков натягивает колок, на дощечку нанесены деления с современными названиями нот, рядом подобающая звуку планета и сфера со своим латинским названием. Для Пифагора, а затем и Платона музыка и число были едиными, и астрономия появилась в согласии, в гармонии с ними. Вы знаете, наверное, о системе Птоломея, или Птолемея. О его «Альмагесте», – сильно искаженном переводе нашем с арабского, – что значит «Великое построение». Но помимо «Альмагеста» с его геоцентрикой и хрустальными сферами, Птолемей создал трехтомный труд о гармонии. Замечу, что понадобилось много веков, чтобы уже в гелиоцентрической теории Кеплер написал свою «Harmonicum Mundi» («Гармонию мира»). Так же, как через не одну тысячу лет Декарт воссоединил – конечно, на новом уровне – уже не арифметику, но алгебру и геометрию. Для древних греков арифметика и геометрия был едины. Вы слышали, возможно, о треугольных и квадратных числах. То, что нельзя было пощупать руками или мысленным взором, то, что нельзя было измерить, не представлялось реальным. Поэтому и треугольник, составленный из кругов, был реален. И треугольные числа были последовательно 1, 3, 6, 10. Гармония монохорда для Пифагора была гармонией Вселенной. Возвращаясь к тому, с чего мы начали: следующая нота «фа» трактуется сейчас как «familias planetarium», что значит семейство планет, семь планет, то есть солнечная система. В кратких названиях нот – происхождение их, возможно, вам известное, – отпечатались отголоски представлений древних. Это начальные слоги гимна святому Иоанну от слов соответственно «Ut», «Resonare», «Mira», «Famuli», «Solve», «Labii», «Sancte». В дальнейшем «Ut» заменили на более благозвучное «Do», что, как я говорил уже, связывают с именем Господа.

Тут он приостановился и прикрыл даже на несколько секунд глаза. После столь обильного цитирования рука опять невольно хотела потянуться за стаканом воды, которой не было, так что он приостановил ее. Он успел подумать – и его настроение упало – подумать в несколько секунд тишины, что вот он выступает как чистый переписчик сейчас перед слушательницами, и они – правда, немногие из них – записывают то, что он говорит. Он сейчас – простой фонограф, который воспроизводит чужие слова, и их учит тому же, правда, иногда незримая игла соскакивает с дорожки и дает сбой. Или движется, себя повторяя, по тому же кругу. Словно подземный

музыкант, с помощью которого кто-то исполняет одну и ту же мелодию, может быть, в до миноре. Но в сбое, в ошибке, в случайном искажении голоса может скрываться большая ценность. В нем можно разглядеть и вырастить новый, непредвиденный смысл. Все это он произнес про себя. Но вслух, конечно, им не сказал, словно предполагая, что по его едва уловимому движению век и ресниц они могут догадаться, что сам он называл себя рупором, громкоговорителем, который передает своим голосом чужие мысли, проточным перекрестком, по которому бежит полая вода, и заставляет верить на слово, что все происходило именно так, как написано в книгах, что не было всеобщего сговора полагать с какого-то числа, что все было именно так. Он понимал, что сейчас как никогда он невидим и неопознаваем, потому, что то, что он узнал буквально только вчера или даже сегодня утром, он тут же передает слушательницам, но где же он сам – он сам холоден, прозрачен и невидим, как линза горного хрусталя, правда, весьма сомнительной чистоты.

8.

Во время занятий здание казалось бы совсем опустелым, если бы не голоса тех, кто непрерывно спешил по коридорам – тех, кто, так он назвал их про себя, создавал мгновенье и был виден в этот миг, – бухгалтеры, секретари, секретарши, вахтеры, в то время как студенты и преподаватели были неприметны в своих скрытых помещениях.

Стены здания ему казались многозначительными своими слоями отпечатавшихся на них взглядов, некоторые из стен хранили мемориальные доски, но все предназначалось для долгого времени, а кто же запечатлеет настоящий миг с его неуловимостью, с его безымянностью – он думал, что они – секретарши, и есть те, кто своим несомненным явлением в открытых кабинетах и коридорах сохраняют секреты.

Никто об этом не задумывается, все знают их по имени, редко по фамилии, – ведь фамилия – нечто родовое и долговременное, а имя их Нина или Мила – имя мгновенное, настолько же, насколько насущное и несомненное. Их позабудут, когда они переведутся, допустим, через год в другое место. Но это останется – мемориальное мгновение.

Он заходил иногда в канцелярию, когда требовалось подписать какую-нибудь бумагу или поставить фиолетовую печать, хотя он стремился сократить официальные общения, ведь все сделал за него тогда Осли – и аттестат его поместил туда, минуя некоторые формальности, и безоговорочно утвердил его в должности профессора. Но ему приходилось заходить иногда в некоторые кабинеты и иногда ожидать в приемных, и он видел новые временные панели на стенах, в комнатах, где проведен ремонт, на тех древних стенах, которые сохраняли в себе некоторые молчаливые геологические слои.

Сейчас, идя на лекцию, почему-то вспомнил он тех партийцев и представил себя на мгновение лектором с большим стажем, который сейчас в реальности где-то вспоминал эту аудиторию и с отвращением думал, наверно, что входит в белые овальные пространства некий самозванец без партийной принадлежности.

На этой лекции он забыл, о чем говорил на предыдущей, – ведь столько произошло на неделе, так много нового он узнал как студент, столько новых мыслей родилось и роилось старых, что чувствовал он себя перед дверьми аудитории профессором-новичком.

Он часто, хотя и кратко – времени у него почти не было – думал о той несомненной власти, которая дается кем-то учителю над учеником, о скрытой жажде власти тех, кто идет в учителя. Пытался он, как мог, заглушить в себе тягу повелевать, ведь отчасти он и подался в студенты, чтобы смягчить такое стремление – много лет он сдерживался, но сейчас все-таки вырвался на простор, и когда бывал лектором, мысленно превращаясь в себя-студента, с ужасом взирал на себя-профессора с горы аудитории.

«О чем мы говорили в прошлый раз, – напомните, – обращался он к близ сидящей студентке, – последнюю фразу хотя бы, так я пойму, присутствовали ли вы на той лекции».

«Так вы говорите – о Лейбнице, – благодарил он девушку-студентку за подсказку, – сразу вид-

но, что вы были прошлый раз», – говорил он, чувствуя двусмысленность своего высказывания, потому что невольно все же ставил под сомнение свое присутствие на той памятной некоторым девическим умам лекции.

«Да», – он быстро и лихорадочно пробежал все, что было связано с лейбницианством, и вспомнил о триаде и тетраде, и о тривиуме и квадривиуме, он хотел даже предложить всем студенткам поделиться, разделиться на грамматиков, риторов, философов и богословов, но вышло бы, он понимал, в высшей степени неуместно, поэтому вдруг неожиданно для себя самого он сказал:

– Приведу вам одно древнекитайское высказывание. Один монах спросил Дуншаня: «Что такое Будда?» Дуншань ответил: «Три цзиня льна». Именно льном он в тот миг занимался. Так же и мы скажем о Лейбнице именно то, что мы думаем о нем и его мыслях именно в данный момент.

Но его высказывание, призванное затянуть время и вроде бы не говорить по существу, вернуло неожиданно его в какой-то из прежних каналов, и он вдруг стал говорить почти с того места, на котором закончил на прежней лекции, а на самом деле на лекции другой. При этом он вдруг обнаружил и отметил непроизвольно, что расположение студенток в аудитории странным образом поменялось. Он подумал, не начали ли они какую-то игру – нелепая, в общем-то, мысль, – пытаясь на что-то намекнуть своим расположением в белой аудитории.

«Итак, мы стали говорить о странном устремлении мысли, – и Лейбниц был один из важнейших адептов, а до него и Паскаль, что способствовали превращению числа в металл, в материю, уходу нуля вслед за единицей в машину. Ведь с тех пор началась гонка за быстродействием металлических, а потом электронных, но важно, что вполне материальных носителей абстрактных идей – самой абстрактной, казалось бы, – идеи числа. Многим идея понравилась, но большинство этого просто не заметили».

Вертоградский остановился, приостановил речь и взглянул в глаза аудитории. Немногие глядели на него ответно. Некоторые явственно пережидали время, – время лекции надо перетерпеть – читалось в их согбенных и склоненных фигурах. Но нельзя заинтересовать чужим, – думал он, – можно лишь своим, но незнакомым.

«Но я думаю, что мы должны учиться у машины, – вдруг неожиданно для себя продолжил он. – “Учись у дуба, у березы...” – вспоминая слова поэта, – научиться можно у любого предмета, а здесь мы можем учиться у машины, как считать, мы можем поставить цель через нее вернуть новое идеальное – то будет новое лейбницианство».

Снова он посмотрел в белую аудиторию, и теперь, хотя и первый раз была смутная тревога, ему казалось, что чьи-то глаза пристально смотрят ему прямо в глаза. Но он не мог сосредоточить свой взор, он видел множество взоров, которые отчасти были скрыты, – по ним проходила мгновенная рябь улыбки, запечатленного удивления или скуки.

И сейчас он видел внимательный взгляд Igy – вчера, когда он скромно что-то писал на семинарских занятиях, впервые она все же удостоила его поворотом своей головы, но он изобразил смирение и не поднял глаз, хотя сквозь опущенные ресницы видел ее мгновенный и грозный взор. Вспомнил он опять, что в первый день, не зная ее настоящего имени и фамилии, пытался предугадать их: мгновенно высветилось у него то сочетание – Катя Горичева, и он еще раз понял, что так явилось разделенное слово «категория».

Он вспомнил и это, и вдруг сказал в пустую гулкость аудитории, кой-где смягченную девичьими платьями: «Попробуйте на время, хотя бы на мгновенье забыть свое имя. Достаньте зеркальце, – здесь он сделал паузу, словно бы ожидая, что все раскроют свои сумочки, но никто не шелохнулся, – загляните в его глубину». Тут он перевел дыхание, но продолжал: «Взгляните и не пугайтесь, – попробуйте увидеть себя новую, – нет, слова неточны, и не “в первый раз”, как вам подскажет банальность – слово “первый”, который вы затаите в себе – само слово будет вам мешать – потому что нет здесь никакого числа и исчисления, словом “новый” мы можем лишь на что-то намекнуть. Просто попытайтесь увидеть себя, – удержитесь на грани ощущения знакомого и незнакомого. Так же и на вещи взгляните вокруг. Тогда без излишнего – то есть имени – вы не будете делить внешнее на привычные части, – тогда вы действительно “внешнее”, “окружающее”

(кавычки неизбежны, но мало помогают) сможете познавать, деля все заново, но помня, неизбежно помня, как мир был уже поделен, не надо отрешаться от прежнего деления мира на предметы, – так мир будет возрастать в своих смыслах, с благодарностью помня о прежних именах».

Приближаясь к концу лекции, он вдруг вспомнил об одном иероглифе, о котором узнал на последнем уроке китайского, и не смог не начать говорить о нем: «Если над иероглифом “нюи” – то есть “женщина”, – замечу, что “и” произносится в третьем тоне, что значит с понижением и затем с повышением, так вот, если к этому знаку сверху приписать иероглиф “э’р” – “нападать”, то мы получим иероглиф “шуа”, “а” опять же произносится в третьем тоне, – и такой иероглиф означает уже “повторять”. Надевать парик или женское платье означает “повторять”, – вы знаете, – хотя никто не высказал никакого признака знания, – что в древнем Китае женщины не могли появляться на сцене, поэтому мужчины играли и женщин, надевая женское платье, парик и маску».

Сказав это, он взглянул в аудиторию, – все слушательницы пробудились от сна и смотрели на него широко открытыми глазами неподвижно и молча.

– Тогда такая девушка могла бы сказать «Я давно уже не мальчик», – тихо, лениво, но отчетливо произнес чей-то девичий голос.

Он сбился, и торопливо сказал: «Вы должны повторить иероглиф как часть мира, ибо мир себя постоянно воспроизводит, повторяйте его, то есть иероглиф, а значит и мир, постоянно, как молитву, чтобы он непрерывно звучал в вас и был зрим вами».

Лекция подошла к концу, и он понял, что почти ничего не успел сказать слушательницам. Ему показалось, что он сказал даже меньше, чем в прошлый раз. «Буду действовать методом исчерпывания, – сказал он сам себе, – буду уменьшать сказанное, пока не сведу на нет, это и будет, может, решением проблемы о недостижении нуля».

Все же оставалось несколько минут, и он, словно торопясь, но и стесняясь сказать самое важное, проговорил почти скороговоркой: «Лейбниц жил внутри предыдущего тысячелетия. Нынешнее едва началось – прошло совсем немного лет, но люди словно об этом забыли, – что понятно – они опасаются и не понимают подобных масштабов. Век сопоставимее с их представлением о размерах времени. Они словно не понимают, в чем может быть новая суть нового тысячелетия. Причем они постоянно говорят об особенности наступившего века. Но век для них – не синоним вечности – что за дикое слово? Стоит вам его произнести – от вас отшатнутся. Перефразируя прозаически слова поэта, сказавшего “Подымите мне веки-века”, скажем, что познание... истинное начинается с масштаба тысячелетия. Помните, что вы находитесь не в стенах этого почетного здания, а в третьем тысячелетии, привыкайте там находиться и не бойтесь. Когда я ехал сегодня на лекцию на троллейбусе, то видел сандалию, застрявшую в железном водостоке, она, то есть сандалия, нелепо торчала, встав, можно сказать, поперек горла железной, чугунной, точнее, решетки в земле асфальта, – какой-то человек, возможно, студент, так спешил, что путь свой продолжал об одной сандалии. Видел ли я это? Да, я ясно это видел в сознании. Можно добавить, – и в своей памяти. Но не в твердой – то есть окаменевшей памяти, но в живой, постоянно обновляемой, пополняемой, но и воспроизводящей прежнее, – тем самым возрождающей постоянно саму себя – и тем живой – нашей памяти». Вертоградский не стал уточнять, что тот, кого он назвал ехавшим на троллейбусе, был он-студент, спешащий в свой Гум.-университет, в частности и на свою лекцию, и, закрыв глаза, увидевший то, о чем он сейчас рассказывал студенткам. Хотел он еще что-то добавить, чтобы связать воедино все свои последние фразы, но подумал, что, может быть, со временем кто-нибудь из них, а может быть, даже он сам догадается, зачем он все это говорил.

9.

Завтра должно было состояться заседание кафедры, и Осли сказал, что Вертоградскому надо, наконец, там появиться – познакомиться с другими преподавателями, да и вообще показать, что он не пустое место, не световой некий призрак, о котором только слышали, но никто не видел толком. Завкафедрой в том числе. Он не хотел, конечно, идти, но делать было нечего, тогда в

первый раз, во время первого заседания, он притворился больным, но сейчас, когда все знали, что недавно произошла его лекция и даже не одна, невозможно было уже придумывать что-то. Его беспокоило, конечно, не совпадет ли заседание с каким-нибудь семинаром, на котором он должен будет присутствовать как студент, но все вроде бы обошлось. Пользуясь своей «полуставочностью» он избегал общения с коллегами и старался не знать никого в лицо, чтобы и его при встрече не узнавали. Но сейчас он увидел всех, хотя по своему обыкновению попытался занять свое привычное и, как ему казалось, господствующее положение в заднем ряду.

Заведующий кафедрой сразу же сказал, что посещение лекций и других занятий для студенток и студентов 1-го курса обязательно. И посмотрел в его сторону, может быть, случайно, а может быть, и нет. Все же в собрании появилось неизвестное и новое лицо. Вертоградский подумал, что взгляд в его сторону и замечание можно понять двояко: как обращение к нему-профессору и к нему-студенту. И он не выдержал и произнес:

– Что же, лучше будет, если подневольные студенты будут присутствовать на лекции и там спать?

– Лучше, – слегка улыбнувшись, сказал зав, – ведь обучение во сне – весьма действенный метод. А что, на вашей лекции многие спят?

– Вы знаете, я не считал, – в тон заву ответствовал Вертоградский, – да и не замечаю я, не обращаю я внимания, я занят более важными делами.

Все повернулись на мгновение в его сторону, и он с удовлетворением увидел, что некоторые мужчины были с бородой, но сильнее его поразило матовое сияние женских лиц.

Дальше завкафедрой продолжал свою речь, а он, Вертоградский, почти не слушал его, говорившего о насущных делах, но между делом упомянувшего – Вертоградский не разобрал для чего – о многих знаменитых фигурах, мелькнувших когда-то в стенах здания, помянул, кажется, Цветаеву и Есенина, подымавшихся, правда недолго, по ступеням амфитеатра аудитории.

Вертоградский вдруг понял, что, действительно, почти половина студенток словно бы дремала в каком-то гипнотическом отчуждении на его лекции. «Все-таки мой курс называется “Введение в эстетику”, а не “Введение в транс”», – подумал он. Подумал он также, что ему могли бы предъявить гипотетическую статью какого-нибудь кодекса о доведении до транса несовершеннолетних. Да, среди его студенток много, наверное, было не достигших 18 лет. Но Ira была другой. Явно – он теперь это понял ясно – она была самой старшей в группе, а возможно, и на всем потоке. И старостой была не только по формальной обязанности. Никогда она не дремала на его лекциях. Она бодрствовала всегда – она ведь сидела постоянно в первом ряду, и он видел ее вблизи. И хотя не была самой внимательной слушательницей – он чувствовал, что она думает временами о своем, и мысль ее далеко – не вызывало сомнения, что она включена. Она не записывала лекции, впрочем, и для самой старательной студентки – он понимал – это было бы нелегко, но постоянно делала какие-то пометки в блокноте. Все же иногда он чувствовал ее пристальный и даже пронизывающий взгляд, когда она смотрела прямо в него. И вдруг, сейчас на монотонном заседании кафедры он подумал без всякого внешнего импульса или причины, что она могла бы стать его ученицей.

Не мог бы он сразу определить, что бы это могло означать. Никогда ни о ком он так не думал, был почти всегда одинок в изысканиях и в совместных работах тоже. У него никогда не было учеников, и вдруг сейчас он так подумал о ней. Роль практикующего философа была ему, вернее оказалась, по душе – он вышел из своего душного научного институтского кабинета, где провел долгие годы, на простор совершенно незнакомой, точнее, полузабытой и сейчас припоминаемой жизни. Есть, наверное, периферийные малодоступные, по сути, полярные области сознания и мысли, в которых обитают отдельные личности. Ими интересуются единицы. Он всегда почти пребывал в таких областях, и все же всегда он хотел поделиться мыслями. Он возжаждал – хотя бы на время – множественности. И вдруг сейчас понял почему-то, что только она – Ira – способна воспринять хотя бы малую долю того, что он хотел бы сказать.

Но она была совершенно независимой, более того, он заметил, что вокруг нее образовалось нечто вроде небольшого девического кружка, в котором все внимали ей. Это были его мимолет-

ные, хотя, возможно, и точные именно в силу своей летучести впечатления. Они собирались вначале где-то около подоконника у светлого окна и потом шли в какую-нибудь незанятую аудиторию. Все было так кратковременно, в перерывах между занятиями, что можно было не придавать этому значения. Но он все же однажды – студентом – пошел за ними следом, однако, когда он, словно бы по ошибке, зашел в аудиторию, все прекратили речи и разом замолчали. И Ira неумолимым взором смотрела и ждала, когда он удалится, и он за дверью понял, что там воцарилось молчание, ожидающее, что незваный гость удалится на расстояние тихого голоса.

Сегодня, когда он бежал по коридору, чтобы принять – в неочередной раз – профессорский облик, то есть для прихода на собрание кафедры в пристойном виде, его приостановила Ira. Собственно, он не прекращал бега, а только оглянулся и расслышал, как она спросила:

– И однако, когда ты появишься на своей лекции?

Он не стал отвечать, потому что торопился на заседание, и не сразу понял странность вопроса, хотя и сказанного почти в шутку, но, наверное, рассчитанного на его спонтанный ответ, возможно, тоже с улыбкой, но который выдаст его, показав, что он понимает, что она знает о его секрете Полишинеля – для нее Полишинеля. Может быть, такой вопрос был просто оговоркой, но обычно она была точна в высказываниях. Произнесла она фразу с улыбкой на устах, и можно было воспринять ее как шутку или провокацию. Но, задумавшись на бегу, он ощутил давно не испытываемое чувство отключения на мгновение от реальности происходящего. Ее вопрос он вдруг воспринял как скрытое задание, как загадку – о том, как разрешить ситуацию, – ведь она, ему почудилось, все поняла и знает о нем – каким образом он студентом может появиться на своей лекции, то есть на лекции профессора Вертоградского?

10.

После заседания кафедры он вдруг понял, что будет читать лекции именно для нее, только для нее, и тогда – он почувствовал – ему будет легче рассказывать что-то и другим. Ему представилась она неподвижной звездой, на которую устремлен его взгляд, в то время как другие звезды вращаются вкруг нее. Но он смог теперь различать эти другие звезды и целые созвездия, поскольку мог не перебегать взглядом хаотически с места на место, но, сосредоточившись на одном, найдя точку опоры в одной звезде, различить яснее и все другое. Он вспомнил и о созвездии близнецов, когда различил теперь неразлучных Еву и Люцию, и хотя настоящие близнецы-созвездие были мужского рода, все же эта новая система была сродни им. Еву все называли на польский манер – Эва, и он долго не мог понять почему, но потом в обрывке какого-то мимолетного разговора уловил суть: по паспорту она звалась Рева – так их отец захотел в сдвоенном имени-загадке своих дочерей запечатлеть слово «Революция». Но никто не хотел, чтобы в школе ее дразнили «рёвой», и поэтому имя в произнесении было изменено. И теперь сестры-близнецы своим созвездием прославляли «Эволюцию».

Все же центром его взгляда стала одна звезда, но черты реальной Igy стали странно расплываться в его памяти, и он подумал, что так приближается то чувство, которое он не испытывал давно – легкий приступ почти морской болезни, головокружение и потеря контроля – то, что можно было назвать влюбленностью.

Правда подумал он, что теперь сможет как раз более отрешенно запечатлеть черты реальной Igy, не той, что хранилась уже во внутреннем взоре, как в тайнике, но карандаш выпадал из его пальцев, когда он пытался слабым контуром наметить ее профиль, и даже словами не мог сказать, тонкий он или нет, а сделать ее фотографию он тем более не смог.

Теперь, когда он знал уже, что читать будет именно для нее, и она сосредоточилась в невидимом центре, словно бы весь курс выстроился, и ему показалось, что он знает, о чем будет говорить, – давние мысли, о которых он, казалось бы, думать забыл, появились вновь, и название тайное появилось «Антиномии познания – страх и любовь». Собственно, ведь он собирался читать курс по эстетике, а откуда появилась вдруг гносеологическая часть, откуда теория познания

какая-то приплелась, не от забытого ли и вспомненного вдруг Кьеркегора, он не сказал бы, но ему все же становилось ясным, что сможет он говорить отчетливее, хотя и не верил он своему сознанию по-настоящему, и предвидел, что оказавшись вновь в девичьей аудитории, впадет опять в радостный хаос.

Но придя на следующую лекцию, не успел он толком расположить свой портфель вблизи кафедры, а иногда он ставил его и на саму кафедру – в тех редких случаях, когда был уверен в своих силах, но это было не сейчас, не успел он толком собраться с мыслями и подумать, о чем говорить, как раздался уверенный и звонкий девический голос: «Я разгадала загадку».

Он искренне не понял и так же наивно спросил: «Какую загадку?» Он и думать забыл о том, что происходило на прошлой лекции, хотя сколько раз себе повторял: «Выйдя из аудитории, повтори все, что ты только что прочитал, – пусть это займет три минуты, но ты должен проследовать только что прошедшим путем, иначе ты, можно сказать, исчезнешь. Тогда ты словно бы и не существовал те два академических часа, что ты читал лекцию». Но то был какой-то внешний голос, а сам он не мог бороться с желанием скорее исчезнуть, удалиться как можно дальше от аудитории, и не то что забыть, – этого не было и в мыслях, – но оказаться на каком-то почти недосягаемом расстоянии от всего произошедшего.

Он видел Iru – но несомненно не она произнесла эти свои слова, он действительно не понимал, о чем идет речь и оглядывался на другие лица, ища в глазах подсказку, как ученик, который вышел к доске, несмотря на невыученный урок, и в отчаянии пытается к своим разрозненным мыслям подсоединить вихрь чужих неизвестных. Но никто ему не подсказывал, и он стоял с растерянным и даже потерянным видом.

«Я думаю, что речь идет о том, что у нас почти женская аудитория, и в этом ответ, вы ведь это имели в виду?» – словно помогая ему, продолжал тот же уверенный девичий голос. «Да, отчасти вы правы», – произнес он, уже обретая уверенность экзаменатора, надеющегося, что экзаменуемый все сам расскажет о вопросе в билете. Хотя и не помнил он своего вопроса, но надеялся на способность отвечающей, к тому же почти на все загадочные вопросы, которые возникали сейчас, можно было бы отвечать примерно так же, как она.

«Мне бы хотелось вызвать вас к доске, чтобы вы подробно все рассказали, но сейчас все же не семинарские занятия, поэтому отложим...», – произнес он для себя, спасающую его репутацию – так ему казалось – фразу, но что он имел в виду, когда произнес это «отложим», он не знал.

Все, о чем он хотел рассказать, вылетело, как птица, из его головы и долго не возвращалось, он опять говорил о чем-то достаточно беспорядочно и увидел лишь, как Ira раскрыла тетрадь, что было невиданной роскошью, и ему виделось, что это стеклянные створки окна в ее доме, где он не был никогда, но увидел и не мог оторвать взгляд.

Он не знал, с чего начать, потому что забыл то, о чем хотел говорить на лекции, и сказал почти первое, что смог промолвить:

– Перед тем как впасть в сон на лекции, попытайтесь представить, как много сейчас происходит за этими стенами, здесь мы, уединившись, переживаем не только радость сосредоточенности, но и скорбь от того, что мы не там, мы сгустили в своей посвященности то многое, что происходит сейчас не с нами, как будто не с нами...

– Вы что, предлагаете очистить нам помещение? – раздался опять тот же звонкий голос, неизвестно кому принадлежавший, – это была не Ira, он словно не мог поднять глаза на нее, но все же и сквозь опущенный свой взгляд видел, что она молчала, раскрыв перед собой ослепительно белые, как ему показалось, страницы огромной тетради.

– Нет, я предлагаю вам сосредоточиться, но сконцентрировав внимание в этом одном месте, понять, как много за его пределами происходит, за этими стенами без окон – бесконечность жизни, где мы сейчас как бы отсутствуем, но можно почувствовать возможность жить вблизи этого нуля, вблизи его очерченного отверстия-окна в мир.

На этот раз никто ничего не произнес, лишь легкий шелест бумажных страниц был ему ответом, и он увидел какую-то отрешенность на девичьих лицах, и вдруг понял, что действительно

они сейчас готовы его слушать, переходя в постепенный словно бы сон, и только ее глаза – он знал – были открыты в бодрствовании.

Он начал припоминать то, о чем хотел говорить на лекции и что было, по сути, тоже припоминанием его давних скрытных и смутных представлений. Он как будто спрашивал сейчас самого себя, правильно ли он понимает себя, того, кем он был когда-то и предложил странную эту антиномию. Впрочем, он не был уверен в таком определении. Ведь любить можно только то, что знакомо. А страх – глубинный страх познания – означает неизвестность. Можно тут же возразить, а как же любовь с первого взгляда? Но здесь можно и нужно отделаться банальностью: так называемая любовь с первого взгляда только приоткрывает нам мгновенно то, что мы знали в своей глубине до сих пор, то, что мы давно знали. Еще одно устоявшееся выражение «стерпится – слюбится». Да, именно идя от банальностей повседневной мудрости, мы приходим к тому, что любовь и познание идут рука об руку, в каком-то смысле – это одно. Приоткрывая другого человека – мы приоткрываем любовь к нему.

Он услышал, что и шелест страниц умолк, он слегка приподнял взгляд и увидел, что аудитория была словно бы в оцепенении, глаза у всех были полуприкрыты, и лишь она одна смотрела на него прямо и с какой-то почти отчаянной ясностью, и он подумал, что здесь они одни, и его слова могли звучать как самое странное признание в любви.

Но он продолжал, не мог не продолжать, будто бы речь его вела по краю обрыва, по самому лезвию его, и только говоря и двигаясь вперед, он мог удержать равновесие и удержать себя от падения. Он говорил о том, что страх изгоняется познанием, не тот инстинктивный страх... а впрочем, и тот страх тоже, – только действуя и преодолевая, можно его победить. Но надо создать инструмент, инструменты, чтобы можно было преодолевать его истинно, простой храбрости не достаточно, хотя и она необходима.

– Вы спросите, – сказал он, хотя спрашивать было некому – все погрузились в какое-то странное состояние отсутствия, а она не собиралась его ни о чем спрашивать, и только словно бы слушала его своим взглядом, – вы спросите, при чем здесь эстетика? Вы знаете... я сам не знаю... но я уверен, что при чем... мы должны сейчас, не сходя с этого места... такую связь отыскать... – он чувствовал, что начинает запинаться, топчась на месте... двигаясь кругами и повторяясь... и теряя свое профессорское лицо, но теряя лицо, он словно бы начинал восхождение своего иного лица – того, что было за бородой... и он, наполняясь абсолютной мимолетной уверенностью, продолжал:

– Такая связь несомненно есть – только внеся любовь в мир, мы увидим в познающем движении его красоту – гносеология и эстетика соединяются узким мостом или лучше сказать мостками, мостками зыбкими над опасным глубоким ручьем, по которым мы должны перебежать, чтобы соединить части мира. Только тогда мы увидим и услышим то алмазное небо, о котором я говорил вам. То, что вы меня сейчас не слышите, говорит именно о прочности моих слов в вас.

Последнюю фразу он произнес, надеясь и при этом не надеясь, что кто-то отзовется на его слова, – но никто не отозвался, – все красавицы аудитории были во сне. Лишь ее рука была в движении – она в каком-то точном ритме записывала на ослепительно белых, словно бы стеклянных страницах, и он, видя этот блеск, сам говорил как во сне.

И после окончания этой лекции, которую он прочел еще более путано и фантастично, чем предыдущие, и все же, как ему казалось, он что-то важное внушил им, – или только себе? – никто к нему не подошел. Он был даже отчасти рад – потому что пришлось бы обнаруживать свое беспамятство, но был и уязвлен, поскольку теперь становилось ясным, как к нему относятся слушательницы. Но они все встали со своего места в точно отмеченное время и почти в полном молчании покинули белую аудиторию.

II.

Перед следующей лекцией он столкнулся в белых дверях с ней, и так как не посмел поднять глаз, то впервые различил и увидел цвет, принадлежавший ей, связанный с ней, – мелькнувший

цвет ее платья – фиолетового с каким-то палево-огнистым шарфиком и, кажется, с сумочкой с серебристым ремешком наискось.

Но и начав лекцию, он все же не поднимал глаз на лицо Ігу, на лицо той, которую считал почему-то уже своей ученицей. Он видел смутно и всю аудиторию, которую он, казалось, привычным жестом, словно взмахом какого-то шелкового платка, погрузил в сон наяву и продолжал свою прошлую лекцию, которую прервал на полуслове, но никто этого не заметил. Он сквозь свою речь вдруг вспомнил давнее свое время, когда был студентом и считал себя учеником мира. Что он вкладывал в такое понятие, он точно не знал, но считал, что надо быть послушным и лучшим учеником, ведь каждый учится в этом мире, учится у мира, и каждый обращен к нему лицом, не оглядываясь на другого, и в таком смысле каждый – лучший ученик. Он вспоминал то состояние юношеской влюбленности ко всему на свете и к женскому в первую очередь, потому что, как он тогда представлял, без любви невозможно познание, любовь и есть истинное знание, только через нее можно опознать и узнать мир. Все это он в какой-то иной форме преподавал сейчас слушательницам, которые в несомненном сне памяти – ему казалось, что они прикоснулись к той давней его памяти – внимали ему. Он вспомнил неточно и, кажется, процитировал позабытые стихи, которые повторял в то время, обращаясь к той своей любимой тогда, но и к другим девушкам вокруг. Стихотворение называлось вроде бы «В морских гротах». Блуждающие блики от воды по стенам в пещерах, темных в глубину, светлых сквозь вход в ослепительные морские дали. Только несколько строк он помнил оттуда: «Весь день я смотрел в твои глаза, и я не узнал тебя, и ты меня не узнала». Потому что, так он думал тогда, невозможно узнать любимую, – она изменяется мгновенно, как сам мир, и мы познаем мир, вырастая в его изменении, вместе с ней и с ее лицом.

И сейчас равномерно что-то произнося, он не мог все же поднять глаза от тетради и понимал, что уже не различает цвета ее одежды, он говорил что-то о памяти как о вратах, о входе в эстетику, подводя их к самому важному моменту своего курса, но сам почти не знал, что говорил, да и они, безмолвно слушая, тоже вряд ли понимали, о чем он. Он увидел вдруг ясно перед своими глазами картинку, которую вчера различил отчетливо где-то в интернете. Вернее, кадр из какого-то отрывка одного современного фильма – и полуминутный эпизод он даже хотел показать сегодня студенткам – но почему-то не решился – там мирянка, но считающая себя монахиней – монахиней в миру – бичевала себя по плечам пунцовой розой – цвет розы, по-видимому, угасал с каждым ударом, но зато расцветал другой цвет на алых плечах послушницы. Все же ему показалось, что то, что он представил, или даже предвидел эту картину, изменило характер его речи на лекции. Он читал свою лекцию, но был мысленно там, пребывал в том далеком времени и не знал: может быть, он читает вслух раскрытую книгу тогда, перенесясь в будущее.

Он хотел показать на экране мельчайший фрагмент фильма как пример эстетизации самой возвышенной, можно сказать, верховной страсти. Когда он шел на лекцию, то неотвязный музыкальный отрывок кружился у него в голове, словно приставший по дороге пес, милый, но все же от которого не знаешь, как отвязаться. То была ария Орфея «Потерял я Эвридику», написанная Глюком, кажется, в мажоре, несмотря на, казалось бы, грустный смысл – один из популярных сейчас мотивов, который он вытянул с морского дна интернета, – он хотел ее представить на лекции, зачем, неизвестно, но к счастью, также не решился. Хотя думал о том, что если бы сам исполнил арию по-настоящему, то пробудил бы аудиторию, но усомнился. Он и здесь решил, что объяснимая сдержанность позволит сделать свое выступление более весомым, – забытая на время лекции мелодия отразится неизбежно – хотя и едва уловимо, может быть, в отсвете его улыбки. Но кто сможет увидеть все это сейчас, если он погрузил своих слушательниц в сон при свете дня, дня, царящего в белой аудитории.

Вдруг он вспомнил, что там же в интернете он, закидывая социальные сети, как он иногда называл такое действие, выловил некий мелькнувший отрывок записи какой-то лекции и вначале не понял, что это, но потом ужаснулся. Был показан минутный – буквально, или даже меньше эпизод выступления некоего профессора с кафедры, но так как профессор не поднимал глаз во

время довольно монотонного бормотания, то и было неясно, кто это. Но когда в какую-то секунду профессор поднял глаза, то он понял, кто. И даже отшатнулся от экрана компьютера, – сквозь черную бороду на него глянуло невероятно молодое и какое-то даже понравившееся ему, озаренное лицо, – то был Вертоградский. Моложавость сверкнула лишь на миг, и дальше борода своей темной пеной все скрыла, но он вдруг увидел себя не таким, каким хотел показаться, то есть заброшенным в далекое будущее, – наоборот, в этом заснятом студенткой мимолетном отрывке, – хотя он настрого запретил им снимать лекции, – здесь сверкнуло его лицо из более раннего прошлого, чем то время, которое он хотел представить всем окружающим его нынешним собой-студентом.

Не столько он испугался своего разоблачения, сколько того, что все его переодевания мало имеют отношения к реальности. Так же как его разговоры о вводе в эстетику отступают тут же при столкновении с действительностью, в которой несомненно грубая красота повседневного и мимолетного, но ослепительно правдивого, незаметна по сравнению с вроде бы тонкой эстетикой застывших и утвержденных форм. Все это он пытался рассказывать сейчас и студенткам, облекая в какие-то удобные для восприятия слова, но которые они во сне – пусть даже временами тревожном – воспринимали с улыбками на устах – чем бы дитя-профессор ни тешилось, лишь бы не нарушало сейчас их глубокого отрешения от происходящего на лекции.

После окончания он все же взглянул на Iru, и увидел, что она не смотрела на него, она была погружена в свои записи или что-то разглядывала – он почему-то подумал, что так она могла бы разглядывать камешки сквозь морскую воду на прибрежном дне – она долго так сидела, хотя другим студентки уже поднялись, и улыбка была на ее лице.

Уже уходя и еще раз оглянувшись на нее неподвижную, он вдруг ощутил, что все, что он рассказывал ей сегодня, хотя и не только ей, но ему показалось, что только, – было лишь признанием ей, которое она различила сквозь сон вокруг, – в том, что это он так ее слушал, он ей так внимал и стал различать то, что она ему внушает своим молчанием.

12.

Неведомо откуда взявшаяся фраза кружилась у него в голове последнее время: «Полая вода, бесполая любовь», отгонял он ее, – совершенно нелепое сочетание, хотелось даже ему сказать «совершенное в своей нелепости», и удалось вроде бы, и все же где-то летало оно поблизости. Задумал он на следующей лекции заняться разбором платоновского «Пира», то есть знаменитого диалога под названием «Пир», но понял, что не готов, и не только в силу незнания. Но потому, что не хватит сил ему, чтобы погрузить всех слушательниц в платоновское солнце, и стоит ли даже пробовать, разве чтобы ощутить привкус исчезнувшего винограда, кислоту его и в чужом пиру похмелье. Подумал он даже, что можно было бы устроить нечто вроде театра на лекции – получасовое представление, то есть поручить студентам и совсем редким студентам среди них разыграть диалог, но кого назначить Диотимой, он все равно не знал.

Грустил он оттого, что чувствовал, что курс его, найденный наконец и избранный, был наверное доктринальный, курс лекций получался слишком отвлеченным, и слушательницы не знали, наверное, буквально, что сказать. Возможно, поэтому в белой аудитории теперь царила тишина – такая, как он думал, царит лишь в больнице в тихий час. Почти никто не перебивал его, как раньше, не было слышно теперь тихого, но различимого птичьего гомона юных женских голосов. Готовясь к лекции, пытался он, по своему обыкновению, насытить свою слишком идеально выстраиваемую прямую линию чем-то из живой окружающей жизни – пытаясь обволакивать ее деталями, как электрический провод оболочкой. Понимая, что детали, которые он собирал вокруг – по способу «куда глаза глянут, куда рука потянется», – такие детали могут отвлечь его от генерального направления, но надеялся все же студенток развлечь и хоть на минуту отвлечь их от их завороженного состояния. Часто он и не знал, зачем прочитывает что-то, какие-то отрывки никак не укладывались в русло лекции, но все же он аккуратно иногда выписывал нечто из книг. И вот сейчас, понимая, что это его отвлекает, да и неизвестно, войдет ли даже каким-то упоминанием в

будущем, он все же последовательно выписал строки из какого-то рассказа 20-х годов недавно исчезнувшего столетья. Речь там шла о молодой комсомолке, которой велели снять икону в ее избе, и когда на следующий день пришли проверить, то оказалось, что она выполнила требование, но вместо того, чтобы повесить на это место портрет вождя, – что подразумевалось, – она повесила зеркало. Это настолько поразило проверяющих, что один из них в изумлении и ярости назвал ее красной ведьмой. Рассказ, кажется, так и назывался, но установить было точно невозможно, он обнаружил лишь одну пожелтевшую страницу из того журнала. Он полагал, что блуждая в своих поисках, придаст больше жизни своим застывающим в неукоснительной непреклонности воспоминаниям, – воспоминаниям не столько о мыслях и чувствах, но словно бы о самой памяти, словно свою нерушимую память давнего времени он наконец приоткрыл, но застыл при виде ее в радостном и вдохновляющем недоумении.

На следующий день в первый миг он ее не узнал, Ira пришла на семинар в темных очках – наверное, ее ослепило яркое осеннее солнце, которое усилилось в своем блеске первым выпавшим снегом, но снег почти растаял, а боль в глазах все же – даже и у него – осталась, он сам во время занятий прикрывал ненадолго глаза. Но на его лекцию она пришла уже без очков, однако три другие студентки были – впервые – в темных очках, словно она, сняв свои, размножила их и раздала своим покорным послушницам, как он их назвал, правда, он не смог точно увидеть, все ли они из ее «уоконного кружка», – так он назвал тех девушек, которые собирались временами у окна и шли покорно за Iroi, впрочем несомненно красавица Скукогорева была одной из тех, кто скрылся за темными очками.

Может быть, он подумал, Ira специально раздала им словно бы темные повязки, чтобы не было видно их спящих глаз? Они в своей отрешенности вдруг вызвали у него образ некой троящейся Фемиды. Которая не видит. Но кто в непроницаемо-прекрасные глаза самой Фемиды смог взглянуть? Ее глаза скрыты в своем глубоком желании правды.

Идя на лекцию, он думал совсем о другом и почувствовал вдруг, что, возможно, идет на последнюю свою лекцию, – почему он так подумал и что это значило, он не знал. Был он весь сейчас в своей памяти и благодарил Мнемозину, но почему-то строками «лишь музы девственную душу в пророческих тревожат боги снах».

Он подумал о том, что, наверное, именно этого он неясно желал – проникнуть и вернуться в то время, из которого он безвозвратно ушел, но сейчас вдруг то прежнее так пришло к нему, подступило и нахлынуло, что он просто не смог справиться с ним, – вторая волна его жизни словно превысила первую и влюбленность только подтверждала.

Теперь он мог бы соединиться, воссоединиться с тем прежним – ради этого он, наверное, не отдавая себе отчета, и пришел в здание университета, но как совершить в реальности такой шаг, он совершенно не представлял, да и страшился его. Он все более, как ему казалось, заходил в отвлеченности в своем курсе, но сопротивляться тоже не мог.

Терапией здорового послеобеденного сна – а его лекция происходила как раз после большой перемены, перерыва – вот чем ему представлялась теперь его миссия. Фарфоровый румянец на юных девичьих лицах после его лекции показывал, что они пробудились к новой жизни хорошо отдохнувшими и усвоившими все под гипнозом.

Сам он на своей лекции научился временно и прерывисто отсутствовать, и хотя произносил многочисленные слова, но пребывал в разных краях прежних своих времен и, видя прямо перед собой светило ее лица, мог внезапно переместиться на улицу в юную весеннюю ночь и почувствовать вкус газированной воды, выпитой из граненого стакана.

Все несколько последующих лекций он кружился вокруг своего тезиса «любимое нами – знакомое» и платоновского знания как узнавания и припоминания и его же эйдоса как единственно истинного эстетического объекта, но уж зима совсем приблизилась и глянула в глаза, а он был далек от раскрытия своей жизненной ситуации.

Помнил он непрерывно о той загадке, которую она ему задала, но не знал, как ее разрешить, надеясь все же на что-то чудесное, что поможет ему, потому что он хотел, чтобы только она по-

няла наконец все, но разрушать свои роли и образы он прямо не хотел, потому что считал, что создал их не случайно, а следуя своему пути.

13.

Но медлить и продолжать по-прежнему было уже нельзя. Ira сказала ему, что деканат прямо ее спросил (так ли было это на самом деле, он не знал), почему только один студент, а именно он, не был ни на одной лекции профессора Вертоградского? Хотел он ей ответить, что он был единственный, кто действительно был на всех лекциях. Но не стал, не потому только, что знал, что и она точно была на всех. Но и потому, что сомневался, а пребывал ли он сам на своих лекциях, или все же в ее словах была некая горькая доля правды. И когда она передала ему вопрос декана (был ли такой вопрос, или она усилила только намек) «хотелось бы знать, где он в это время находился?», то он чуть было не ответил ей: «мне тоже бы хотелось знать».

Приближалась его тринадцатая по счету лекция, и все шло к тому, что будет проверка, и тогда ситуация может разрешиться совсем не так, как ему хотелось бы. Действительно ли деканат был так уж заинтересован в неукоснительном его посещении лекций, или она сгустила краски, было непонятно.

Но понял, что надо что-то предпринимать. Само число «тринадцать» вначале его тоже смутило, но он даже перекрестился, чтобы отбросить свои суеверные страхи. За окном был уже снег, и все равно время его подводило к решению. Тема предстоящей лекции ему была неясна, но что, как он полагал, было и к лучшему.

Не зная, что делать, надеялся он опрометчиво на вдохновение. Все казалось ему, что во время лекции придет к нему прозрение, и сможет он познать то, что не приходило к нему-студенту. Но готовился к этой лекции своей по-особенному. Чувствовал волнение невероятное и прикрывал глаза, мысленно репетируя, но что, он не знал.

Никогда так влажно не жег его позор накладной профессорской бороды, и трогал он в то же мгновенье, – почти в то же, – юный, оголенный, как галька, подбородок. Когда он вошел в аудиторию, то увидел их всех, неподвижно и даже покорно и послушно смотревших на него и следящих глазами за каждым малым его движением. Он начал привычную слегка монотонную речь и все открыли тетради, но записывали, словно бы в одном движении, не отрывая глаз от него самого. Себя-студента он не увидел в аудитории, но вдруг мысленно перенес себя на переднюю скамью. Студент исчез, но он знал, что он сможет появиться сейчас опять и все его увидят, как видят сейчас его-профессора. Он сделал едва уловимое движение глазами в сторону белой двери, и он видел, что все тоже завороженно повернули туда лица. И вот он-студент вбежал запыхавшись в аудиторию и бросился на переднюю скамью недалеко от Iry. И все увидели его-студента, он-профессор сам увидел его своим внутренним взором, и он устремился к нему, и вдруг почувствовал, что видит его и в реальности. И он-студент вдруг увидел его-профессора. Он продолжал говорить и при этом чувствовал, что и записывает слова лекции за собой. Он понял, что так быстро – разве только мысленно – так быстро перелетает из одного образа своего в другой, что оба они здесь и для всех.

Это настолько его поразило в какой-то момент – это происходило словно бы помимо или даже поверх его воли, что он ощутил не только восторг, но даже и гнев – хотя непонятно на кого. Сдержал свой гнев сквозь очки и, шатаясь, едва уловимо в мысленном своем мареве перелета от одного себя к другому, понял, что только твердостью духа может смирить и соединить распад, он должен был в своей лекции перейти к ключевому «Consonantia et claritas» – «Пропорция и сияние», но неожиданно его стала смущать просека, разделявшая вверх амфитеатр белой, белевшей аудитории. Он пытался взглядом преодолеть его. Он даже смещал свое лицо, чтобы раздел, разрыв, словно бы двух страниц, не проходил сквозь его лицо. Лицо не менялось, но лишь слегка колебалось, как пламя, когда он совершал мгновенные, невидимые другим перелеты и был студентом в светлой рубашке и одновременно профессором и писал то, что говорил, нет, ему казалось,

что записывал даже раньше то, что произносил с заснеженной – так ему чудилось – белевшей кафедры в замкнутой огромной и несколько темноватой аудитории. Он оглянулся на вход или на выход – и ему показалось в этот миг, что прямоугольник светового контура двери исчез в тот же миг. «Гармонии эти, световые гармонии мира, подобные волнам», – произнес он обычную свою, несколько нелепую фразу, которую он иногда вставлял в ясную речь, чтобы взбодрить замирающую аудиторию, и тут его словно грубо подхватили подмышки, под эти горячие влажные, тлеющие пятна под пиджаком и галстуком и грубо бросили на студенческую скамью, где он был повернут лицом к самому себе и увидел стекла своих очков, за которыми глядели в него и справа от него огромные, неподобающе восторженные почти знакомые глаза, и ощутил тот же восторг, словно бы укол пера самой бумаги, и мысль его излилась на бумагу, которая на мгновение стала прозрачной и небесно-синей, след его ручки был ясен и белый, как и след невидимого самолета, и то, что он хотел высказать словами, стало невыразимо предметно и ясно, словно втянулось сквозь острие авторучки обратно в руку, которая наполнилась беглою жизнью мысли. И он увидел свои говорящие губы, которые почти неслышимо, потому что другие, по-видимому, слышали, только для него тихо, как колыбельную, шептали мирные эти слова. И он увидел боковым, – словно сквозь поперечный слой очков, – зрением далекое – светлое кружево, на рукаве, – той самой, той самой ли студентки, студенточки, и он знал, что это кружево, словно облако, видит сейчас его. Он обычно учил их раскованности речи самим строем своей речи. Но сейчас он был словно мотылек в коридоре перелетов. И скованностью своей он не мог ничего им иного, кроме внешнего не им придуманного строя и кроя речи, ничего передать. И он чувствовал вместе со всеми, вдвоем здесь он был неразделен, но всеми пятнами людей, брошенных по ступеням аудитории, что он в ботах и чоботах, дробно – со всеми – то была не работа мысли, но работа ног, шатунов и ударов, дробно спускается вниз по железному трапу, поправляя полы бушлата, отделяя черный бушлат от поручней, которые загородили по бокам выход, только вниз, где невидимо было, но пахло какое-то море, и при том он говорил так же разделенно правильные слова и знал, что это был сон вовне, сон, который явился перед всеми, а не только ему одному. Все видели и смотрели этот дробный сон. Все слышали, как работает и отдается в стенах этот ритм, хотя вроде бы все было об одном и том же, и неоткуда было взяться волнам. Лишь один – он сам – старательно записывал за собой свои же произнесенные слова, подчищая свои же следы ошибок. «Итак, ясность, – он говорил, – но не изначальная пустая ясность, которая означает отдельность и, следовательно, отделенность от всех мысли, которая пугается своего одиночества и тут же репрессирует других, пытаясь своей властью мнимо осветить свое одиночество, но ясность созданного, согласованного всех вспышек других мыслей, всех вершин деревьев, занявшихся, горящих уже в предрассветной тьме». Ему казалось, что его вынесло вовне, и он был вне себя. «Consonantia et claritas», заклинательно повторяя, запуганно взглядывая из-за очков в высоту амфитеатра аудитории. Он искал Iru и не находил. Не успевал он и студентом оглянуться вокруг, он в раскрытой рубашке – успел лишь развернуть он ворот рукой, только взглядывал он на лектора, на себя самого, не слыша себя, потому что голос также, казалось, пламенно трепетал, как и облик, одно лишь – он успевал быстро записывать слова на бумагу, но не конспект слышимого, но словно конспект для говорящего, так, что с трудом разбирал он свои записи сквозь очки. Перед ним разворачивалась гора, ему казалось, что студенческий пейзаж был сегодня несколько иной, чем обычно (и даже тогда, когда, давно уж, сколько недель прошло, с этой горы амфитеатра резко и яростно прозвучали слова Iгу, и он тогда потерялся, и не мог ничего сказать, и хотелось тогда ему бежать, сорвав ненавистную бороду), его товарищи и подруги сидели как-то отдельно, они образовывали группы, но это были какие-то молчаливые пятна, они вслушивались в его несвязную вскрикивающую речь напряженно, словно присутствуя на идущей внизу на сцене древнего театра драме, и не столько ждали финала, сколько не могли прервать напряжение такого времени, текущего в этой аудитории, даже сестры – одна из них была, как и всегда, в небрежно наброшенной словно бы тельняшке, и их приятели обычно шумные, – ничего не произносили. Тишина в аудитории стояла полная и гулкая, и ни звука, кроме своего голоса, он не слышал. «Пропорция и сияние», – в который уж раз он произнес, но странно,

никто не смеялся, как обычно, когда он путался и сбивался на повторы. Все были в гипнотическом сиянии, и уже не смеялись, как раньше, но улыбались какой-то общей единой улыбкой. Необходимость быть, необходимость быть в двух местах сразу не мешала ему, как ни странно, оставаться и третьим – неужели самим собой? – как тогда, когда он встретил Iru в сумерках в университете, выходя из своей грим-уборной, – рядом с лестницей, которая никуда не ведет. Время, казалось, убывало с каждым его словом, и при том ему надо было успеть сказать в измеренное его же словами время, чтобы успеть. Что успеть? И это слышали слушавшие, и тоже старались быстро и полно записать, будто от того, как они сумеют все запечатлеть, зависит их жизнь. Ему словно бы некуда будет деться после окончания лекции, кроме как в себя самого, но здесь виделась отнюдь не та свобода, которую он обычно предвкушал перед окончанием лекции, – так, вероятно, актер, как бы он ни был занят игрой, чувствует, что после окончания он сможет выйти на асфальт вечерней улицы под звездным небом, пусть даже звезды и не видны в сиреневом московском небе – ему будет куда податься, но сейчас он чувствовал, что спектакль нескончаем, но сам он закончится в замкнутом двухголовом теле своем. Он помещен был в него, оно уже не вдохновляло, он словно попробовал войти в домовину, во гроб и теперь хотел только одно – вырваться, вырваться, чего бы это ни стоило. Но он не знал как. Ему казалось, что это зависит от того порядка и тех слов, которые он сумеет произнести. Повторяясь и отклоняясь произвольно, он вспоминал, что термин этот «claritas», есть, кажется, у ареопагитиков, но больше не помнил ничего.

Вдруг что-то пролетело в воздухе мимо глаз, и он понял, – скосив глаза, что то был знакомый уже бумажный голубь, запущенный откуда-то с самой верхотуры, темневшей в высоте аудитории. Он мог бы по обычаю возмутиться, – такие голуби, обычно, означали недовольство и скуку аудитории. Но здесь в абсолютной тишине аудитории, он не обманулся, это был чей-то доброжелательный знак, который был послан, может быть даже Iroi, хотя ведь Ira всегда сидела впереди. Голубь лег на край кафедры, и он заметил, что сделан он из газеты с английскими буквами. Одно слово, одна фамилия прочитанная краем глаза, вызвали в нем какие-то новые ассоциации. И он почувствовал, что вышел из прежней зацикленности, хотя и вошел в новые, но иные дебри. «Льюис Мамфорд» и «Макс Пикард» замелькали в сознание какие-то случайные казалось бы имена, но с обильными цитатами из них – или то был в гипнотическом сне написанный им самим или кем-то ясно написанный новый текст. «Откуда нахватался-то», – думал он-студент, быстро конспектируя за профессором, который в этот миг, как ему показалось, как-то по-особенному сверкнул в его сторону очками. «Или знал?» – думал он. С ужасом он заметил, что пишет левой рукой, причем писал он этой рукой не менее бегло, чем всегда, как будто то была его обычная правая, так же, с такой же скоростью, как окружавшие его студенты и студентки-левши. «Мы же не зеркальны, – с некоторой быстрой тоской подумал он, – почему же тот на кафедре у доски рассуждает и машет правой, а я левой?» «Где зеркало, где граница, ее же нет», – успевал он проговорить про себя, перелетая в каком-то кинематографическом трепете словно бы незримых крыльев, который был явствен для его ушей, а для других не слышен. «Раздробленность, тождественность одинаковых атомарных частей, – вот что пришло на сцену, на смену прежней, пронизывающей все цельности, – так говорил или приблизительно так писал Макс Пикард» – мнимый, да был ли такой и кто это, он не знал, – едва успевал произносить профессор, едва улавливая быстро бегущие строки конспекта, которые приносил ему он-студент, «почему это написано другим наклоном, – кажется, – да, левой рукой», он взглянул в свою сторону, – «и кто такой Макс Пикард, и кто такой Льюис Мамфорд?». Он не успевал подумать, но надо было уже произносить имена и цитаты, и впитывать, и воспроизводить, и говорить в уши студенток, закрытые локонами, не снижая для себя самого непонятного драматизма. «Книгопечатание, правдоподобная, – именно, именно, только подобная правде, – живопись, фотография, ксерокс, искусство копии – так или приблизительно так писал Льюис Мамфорд – все это лишь способствовало атомарному дроблению в человеческом обществе. Все это точный частичный слепок частичного дробления и функциональности стандартизации в труде, во всей промышленности нового времени с ее нивелирующим порядком».

Вдруг он увидел себя, пишущего на доске, словно бы со стороны, и увидел свою руку, которая одновременно писала что-то в студенческой тетради, и вот тут же, почти тут же, потому что он не уловил перехода, он увидел себя-студента, склонившегося над тетрадью, – впервые увидел себя, сидящего на студенческой скамье в белой аудитории, пока правая рука видящего все же чертила мелом на доске какие-то знаки, и вот он уже видел себя оттуда и опять из глубины женской студенческой стройной толпы, он видел себя и глазами лектора Вертоградского и одновременно студента, он понял, что так быстро перелетал из одной сущности в другую, что никто этого не замечал, он сам не замечал этого перелета – или он был в коллективном сне, который сам всем внушил – но он видел себя и тем, и другим, и внушая что-то себе-студенту, в то же время – почти в то же время – видел поправки, которые невольно делал в тетради, и он-профессор поправлял вслед за собой на доске. Никто ничего не замечал, но и обычный гул в аудитории тоже прекратился, все усердно, в неком монотонном усердии следили за профессорскими руками и внимали ему как никогда – то был его час, – сон в безвременном времени, и он, перелетая из образа в образ, – или сам он только себе внушил это, чувствовал необыкновенную легкость, хотя ему казалось, что некое едва уловимое дрожание заметно в фигуре профессора, словно бы не совсем четкий контур был, и он-студент успевал понимать, что это было несомненно связано с некоторой неточностью попадания в контур своего образа его-профессора, когда он возвращался из студента. Никто не отрывал глаз от своих тетрадей, все писали, словно бы видели все происходящее внутренними очами, и только один раз, повернувшись в сторону, он-студент вдруг увидел, что лишь одна студентка ничего не пишет и смотрит напряженно и неподвижно на профессора. Он понял, что лишь она одна бодрствует и что-то различает. Легкость его движений и речи хотя и была несомненной, все же стала понемногу не совсем такой и прежней, он чувствовал, что напряжение, которого раньше не было, появилось, и словно бы какая-то тяжесть даже зародилась в той окрыленности, которую он даже не ощущал – просто она была. Он впервые посмотрел на часы на руке – что далось ему нелегко – слова еще лились, но с какими-то перебоями и сбоями, он увидел, что время лекции, к счастью, подходит к концу, и не понимая, как закончит и разрешит ситуацию, он, не договорив несколько минут до конца, в последний раз рухнул на студенческую скамью, понимая, что больше уже к доске не вернется, увидев все же, как профессор, не закончив фразы на доске, кивнул как-то нелепо и словно бы выбежал или исчез из аудитории, в дверях растворившись в светлом контуре. Он-студент не мог уже ничего делать, рука его не шевелилась, он чувствовал невероятную усталость. Все встали как-то разом и почти бесшумно вышли из аудитории, и лишь он, опустив голову на лежащие перед собой руки, не мог пошевелиться и не мог прийти в себя, хотя стал сейчас опять одним.

14.

Белая аудитория была пуста. Он даже успел – несмотря на свое состояние – позавидовать самому себе, тому, ушедшему, скрывшемуся за дверь – так быстро, что фалда (именно так произнес он про себя, странно, но он словесно все комментировал, словно не мог остановить в себе лектора) пиджака смазалась, словно бы исчезая – так тот – *он тот* – торопился – переместиться в свое теперь единственное тело. Перед ним стояла Ira. Смотрела она на него немигающе. Сейчас только он увидел, какие огромные у нее глаза – ведь обычно она смотрела прямо ему в глаза, но он не мог поднять ей свои глаза навстречу, и ему казалось, что на самом деле она смотрит куда-то вскользь, по сути, мимо него, видимо, зримо не придавая его персоне особого значения. Сейчас она смотрела почти торжественно, хотя совершенно серьезно и несколько мрачно, если бы не подобие какой-то отслоившейся улыбки, которая как подобие голограммы – все это зафиксировал, хотя почти плавал в жарком и остывавшем поту, – вдруг возникшей в ее взоре. Он понял, что нашел наконец ту, которая поняла его, но она смотрела на него так, как будто вот она только что сделала важное открытие, и оно принадлежит только ей, а он – лишь часть этого открытия. Обсуждать было нечего. Он чувствовал дрожь, которая усиливалась, чтобы сдержать ее, он пы-

тался даже приобнять, приобхватить себя руками. Никакого сочувствия или участия не было в ее глазах. И никакого любопытства тоже. Просто она обратила свой взор в эту сторону. И в этой стороне был он, так что их здесь и теперь было двое. Она просто ждала, она смотрела на него. Со вниманием и терпением исследователя. Наконец она усмехнулась и спросила, делая ударение на последнее слово:

– Ну, ты пришел в себя?

Он вышел из-за белых полукружных рядов, и когда подошел к ступеням, чтобы спуститься вниз, она сделала даже движение, чтобы помочь ему. Но это было настолько мимолетно и к тому же иронично, что он даже не отстранил ее руку рукой.

– Лекция была отличная, – вдруг произнесла она, – но как всегда, а сегодня особенно, никто ничего не понял...

– Кроме тебя?

Она медленно и слегка с поволокой посмотрела, точнее, осмотрела его:

– Да и я не все поняла. Хотя... видишь, я даже не задаю вопрос, зачем это все тебе нужно.

– А до сих пор ты... не понимала?

– Не уделяла этому... твоему... особого внимания, скажем так. Ценишь мою деликатность?

И он неожиданно для самого себя сказал:

– Ценю.

Вышли они с Iroi вместе поздно из дверей университета. В желтоватой полутьме зимнего вечера прочел он на стене улицы ее название, но разобрал только окончание, и показалось ему, что значится здесь женское имя, но только потом он понял, что это имя мужчины в родительном падеже.

– Наша красавица Скукогорева, – произнесла вдруг Iга, – сказала мне, что тяготится своей красотой.

– Это что, кокетство? Особый его подвид?

– Да... но тут есть и что-то иное... она тихо мне так сказала, что должна чем-то ответить матери-природе за такой дар, поэтому должна неистово работать и учиться... что сейчас одно и то же.

– У нас же есть другие красавицы записные... Беренштейн, Дюкова... она их тоже заразила своим... так скажем, инакомыслием?

– Не думаю... но это действительно тяжелая мысль.

– Совершенно чуждая женской породе... и природе.

– Да... это можно отнести и к мужчине... хотя, – тут она улыбнулась ему, – не думаю, что ты, например, сможешь понять глубина этой мысли... ведь она добавила тогда, что мы в красоте неповинны.... Неужели же надо оправдываться в своей красоте? Она, наверное, словно за занавеской паранджи, в работе пытается скрыть свое лицо.

– Не могу поверить, чтобы девушка в здравом уме могла так рассуждать. Она же не монашенка. И по виду не скажешь, что такие мысли могут ее посещать. Разве что с твоего позволения... посещают. Ведь она... Скукогорева... одна из твоих учениц?

– Учениц? Это сильно сказано. Просто еще в школе Вера Скукогорева посещала занятия, которые я вела, и некоторые лекции... но происходило это уже не в школе...

– Так ты привела в университет целую свиту... группу твоих единомышленниц?

– Никого насильно я не заставляла. Я сказала им, что собираюсь 1-го сентября пойти сюда... посетить этот университет и ВЖК... а дальше был их свободный выбор. Но не думай, что у них есть в мыслях избавляться от своей красоты... не говоря уж там о... половые увечья и все такое... Речь идет о более серьезном. Никакого отделения в этом вопросе от мужского нет – это было бы опять же отражением мужской культуры в ложном зеркале... еще одной формой феминизма. Речь идет об общечеловеческом понимании красоты, но только произносит его женщина... поэтому надо прислушаться, хотя она произносит слова про себя... и кажется, что не слышно никому, а на самом деле это громогласно...

– Зачем же вообще это надо тебе?

– Не только мне, – тихо сказала она, – и тебе надо, и всем. Сегодня на лекции ты думал, что ты был медиумом и внушал всем... и в этом есть доля правды... тем более, что я, наконец, тебя поняла сегодня, хотя и не до конца... и для меня все это было важно... но студентки, не произнося ни слова и не говоря про себя, были медиумами.

Вдруг – он только что слышал, что она говорила, и он отвечал – он оборвал свою речь на полуслове, что-то происходило с его головой, он почувствовал мгновенную слабость, потом прошло, но он искал глазами снег, он захотел опуститься в снег, почему-то именно в снег, он стал искать его между желто-черного декабрьского вечернего света в тенях и углах домов, но снег был скуден, и некуда было погрузиться. Она почувствовала, что он покачнулся. Вдруг он почувствовал ее нежданно сильную руку под своей рукой.

– Что ты? – он услышал ее какой-то странный и незнакомый голос, такой проникновенности он не слышал у нее. Он мог уже фиксировать чувства, но дурнота не проходила, и он искал инстинктивно глазами снег.

– И так понятно...

– Скорую не будем вызывать, – произнесла она. – То, что нужно тебе сейчас – горячего чаю. Дотянешь до моего дома? Недалеко, в Угловом переулке.

Он чувствовал, что его начинающийся зимний озноб передается в ее руке. Он смог подумать, что, оказывается, живет она в каких-нибудь девяти кварталах от университета.

15.

Наутро он не пошел в университет. Лекции его уже не значились на этой неделе, а как студент он не чувствовал в себе сил. Собственно, они еле-еле добрались вчера до ее дома. Он почти падал, и она уложила его на диван и накрыла голубым пледом. Дрожь не проходила. Но после горячего чая – она извинилась, что кроме засохших конфет и сухарей ничего нет – ему стало легче, и он впал в полусон, – ему казалось, что у него нет сил даже на то, чтобы уснуть. Возбуждение не покидало его, хотя все же постепенно замирало волнами. Ira, как сиделка, несколько часов просидела на стуле рядом с диваном, но потом, понимая, что его ужасная дрожь, сводившая все тело так, что стучали зубы, проходит, и он впал в благотворное забытье, ушла в другую комнату. Ей завтра надо было в университет.

Утром он не встал с дивана, – слабость была сильная, ничего не хотелось, он мог только дремать. Она принесла ему к завтраку горячего чаю и немного творога, который, как она сказала, завалялся в холодильнике. Творог на самом деле оказался удивительно свежим – каким-то утренним, – и он немного взбодрился. Но не хотел и думать о том, чтобы вылезать из-под пледа, единственное, что он сделал – снял свитер, а так спал в джинсах и рубашке. Настолько был пока без сил, вернее, ему ничего не хотелось делать. Ira ушла, оставив ему ключи. Он понял только из ее кратких слов, что это была большая квартира ее тетки, но тетка далеко и не в Москве, так что живет она здесь одна.

Три дня он пролежал на этом диване почти без сил, все же в конце первого дня застелив простыни и укрывшись настоящим одеялом. Ira кормила иногда его кашей, еще чем-то, но он оставался почти без участия. Она даже показывала ему конспекты лекций, на которых бывала в те дни, но он почти ничего не видел. Он привыкал к комнате, в которой лежал, к заснеженным крышам и словно бы постепенно проникал в ее дом.

Странным образом он не удивлялся, что оказался в ее доме, и она тоже. Они как будто бы узнали друг друга в миг после той лекции. И теперь просто обнаружили себя в одном месте в области близкого пребывания, как две планеты в состоянии, которое физики называют притяжением или тяготением.

Он ловил себя на ощущении, что они разговаривают как два родственника, хотя таковыми по природе не являлись. Но отмечал, что в таком своем слабом состоянии и положении смотрит на нее поневоле снизу вверх, при том, что раньше – только мысленно – все же смотрел на нее тоже

снизу вверх, отчасти потому что она была «начальницей», весьма условной, конечно, потому что значит староста группы – только некое формальное обозначение, но в случае Iry не совсем так – все в их группе – и невольно и он – принимали ее старшинство, если не по возрасту, хотя ему иногда казалось, что она старше всех девушек у них, то по некому тону, взятому ей с самого начала, но и такая микроскопическая власть была совершенно ощутимой всеми.

В субботу еще были занятия, но в воскресенье она была свободна. И он пришел в себя. И наконец, когда терпеливо и тихо она сидела на стуле рядом с ним, лежащим на диване, он спросил:

– Что это было?

– Я хотела у тебя узнать.

– Я не знаю.

– Приступ общего умопомрачения...

– Или просветления...

– Может быть, все же опыт коллективного гипноза?

– А я кем там был, медиумом? Или соучастником?

– В общем, если бы кто-нибудь кроме нас понял, что происходило там, тебя скорей всего подозревали бы в черной магии?

– Ну почему же не белой?

– А есть доказательства?

– Я пытался обратиться... с чем-то вроде молитвы... но по-моему меня не услышали... Но скажи, из студентов... студенток кто-то что-то заметил?

– Да нет, только спрашивали меня... как старосту... где ты? Вроде бы первый раз явился на нелюбимого лектора... и после этого как в воду канул...

– Ты им не говорила, что я совсем недалеко... неподалеку?

– Нет.

– Я после лекции был сам не в себе... лихорадка уже начиналась... возбуждение было дикое... и вылилось в тот никчемный разговор о женской красоте...

– И не только женской... или ты вспоминаешь лишь Скукогореву?

– Нет, ты все затмила собой.

Это было отчасти правдой, – он видел только Iru, возникающую изредка рядом с ним, да и думать и представлять что-то иное, помимо того, что было у него перед глазами, он не мог сейчас.

Они тихо говорили о многом, все же с перерывами, когда он впадал в дремоту, но пробуждался все более бодрым. Она как-то косвенно дала ему понять, что он может здесь, переодеваясь, преображаться из студента в профессора и обратно. Но сейчас его это почти не волновало – он как-то отдалился мыслями. Он вспоминал далекие дни, что-то из своего детства, хотя в последние годы туда не возвращался или просто не мог проникнуть. Он также блуждал в полусне в каких-то других землях, иногда ему полузнакомых – река, летний песчаный брег, железнодорожный мост и вечерний умиротворяющий свет, казалось, он сошел с каких-то внутренних его пейзажей, которые он хранил в себе как предчувствие, но только сейчас они появились в его глазах.

Из их разговоров он тоже потом не мог вспомнить почти ничего, но они не были во всем спокойными. Иногда она говорила, несмотря что явно щадила его нервы сейчас, весьма резко:

– Не помню уж, какому нынешнему эстрадному резонеру принадлежит высказывание: «Мужчина с точки зрения женщины – привлекательное, но опасное животное». Извини за низовую цитату, но все же в этом что-то есть... есть только то, что вообще указано на возможность взирать на мужчину с позиции женщины и что-то еще произносить. Феминистки боролись, например, с господством мужского взгляда на женщину, но где их взгляды? В буквальном, физическом смысле? Взгляд их на мужчин неопределен. Он неотличим от взгляда на любого из людей. Потому что ими, как, впрочем, и другими, предполагалось, что «мужское» равнозначно «человеческому».

Он слушал ее как бы с перерывами, иногда впадая в череду видений, – то не был бездонный и неконтролируемый сон, он мог, так ему казалось, всплыть, но образы шли один за одним. Вот он видит список женских фамилий, который видел много раз в аудитории, хотя для лекции это не

требовалось, но он просил старост групп специально для него написать. «Тоболина» или «Оболина» – пытался он разобрать расплывшиеся синие линии фамилий, и тут же появилась еще фамилия другой девушки – «Оболенская». Он читал и перечитывал список женских имен и фамилий, располагая их в некоем, как ему казалось, гармоническом порядке, редкие мужские фамилии он пропускал в призрачном, невидимом никому вовне перечне.

Ira временами все же уходила довольно надолго в свою комнату, – она говорила, что ей надо работать, но видя его печальный взор, перенесла свой компьютер в его комнату (так он про себя называл уже эту просторную комнату), и он много часов видел ее согбенную спину за столом, – пальцы ее на клавиатуре, казалось, отмечали некий ритм. Видимо, она вела необозримую переписку в интернете, и для нее ноутбук был не просто инструментом общения: ему чудилось, что она усаживается перед окном не за стол, а за клавиатуру незримого органа, и играет, исполняет на нем не просто импровизации, пусть и на заданную и придуманную тему, но что в этом есть некое музыкальное задание, предписанное ей, и она выполняет волю внушающего ей эту музыку слов, которые неслышимы постороннему, но можно распознать глубинный ритм.

Все это, конечно же, он внушал себе и пытался внушить и ей, не произнося ни слова, но она была непреклонной в непрерывной многочасовой работе своей. Временами она переходила в ту комнату, и было слышно, что там работает печатающий аппарат, и она приходила сюда с отпечатанными листами. К вечеру он встал совсем на ноги.

Он вышел на улицу, а она продолжала работать. В незнакомом дворе он огляделся по сторонам. Все было явно незнакомым, но поверх деревьев, машин, заснеженных гаражей словно бы скользила прозрачная пленка, на которой были отмечены образы, которые он знал, и поэтому здешние места были названы как узнанные.

Он не понимал, почему оказался дома у Iry, – причиной, конечно, была болезнь, но он как будто бы ничуть не удивился, что его студентка оказалась вдруг старше и сильнее его и смотрела на него – невольно, конечно, в силу его физического состояния – свысока. Она слушала его внимательно, но все время готова была сказать что-то сама. Более того, ему казалось, что он слышит те же – правда редкие – нотки и интонации, с которыми она обращалась, общалась со своими подругами в университете. Всегда в ее речах звучало дружество, но и оттенок все-таки учительский. По возрасту она была старше, хотя он не знал, сколько ей лет, но дело было не в каком-то только жизненном опыте.

Он воротился в ее дом – про себя он почти произнес «домой», – однако ему надо было все же вернуться в свою квартиру. Он жил один, и никто не беспокоился о его отсутствии – друзьям он раньше позвонил и сказал, что не будет дома. Но надо было собрать свои записи для предстоящих лекций и главное: собраться с мыслями. Он не понимал, как относится к Ire, хотя не сомневался, что вернется в ее дом. Даже если она не захочет его видеть, он представил, что будет ждать ее на ступенях лестницы у ее дверей, глядя на зимний заснеженный двор.

Она совершенно не удивилась, увидев, что он засобирался. Она оторвалась, чтобы проводить его к дверям.

– Ну, когда мы сможем услышать твою лекцию вновь?

Что-то его странным образом задело в таком простом ее вопросе, словно бы он уже не соберется на лекцию вообще, раз так неуверенно спрашивают или подразумевается, что он будет читать ту последнюю лекцию, повторяя и оттачивая одно и то же.

– Что же, ты уже и не надеешься меня увидеть на лекционной кафедре? Но я должен отслужить свою службу и читать, несмотря ни на что...

– Ничего такого не имела в виду... ты что-то уже придумываешь.

– Мне будет нелегко опять переключиться в два дополнительных возраста...

– Но я же увидела тебя истинного... хотя где ты во времени, на самом деле пока не знаю. Но это для меня пока не важно.

– Пока?

– Пока.

– Ты прощаешься?
Она улыбнулась, потихоньку подталкивая его к двери.
– Можно будет мне сюда прийти?
– Несомненно.
– Ты не удивишься, если я появлюсь завтра?
– Нет.
Он остановился в дверях и поцеловал ее на миг.

16.

Вернулся он в свой дом и призадумался. Бросил взгляд на запыленные уже листки своих научных изысканий – он к ним давно не обращался, хотя пора бы. На студенческие конспекты, бегло записанные почерком, слегка отличным от его профессорского – это выходило как-то само собой помимо его воли. На наброски будущей лекции, которую собирался читать на предстоящей неделе. Радостная смута после пребывания у Iry, которая излечила его, все перепутала у него в сознании. Он не очень хорошо понимал, кто же он сейчас, хотя ему казалось, что после воссоединения – про себя так он произносил – студента и учителя в нем одном, все должно было успокоиться и раствориться в гармонии. На самом деле в понедельник, когда он пошел на занятия как студент, то впервые обнаружил, что забыл загримироваться. Собственно, это был довольно-таки поверхностный и слабый грим, который однако позволял ему – во всяком случае в своих глазах, а может быть, и в глазах других быть лет на десять моложе. Причем он понял это случайно, поскольку шел в университет в рассеянных чувствах, думал об Ire, хотя и мыслью это было назвать сложно, – он просто пытался вызвать ее образ отчетливо, но ему не удавалось, и он с некоторой тревогой думал, что такое туманное и влекущее облако вместо лица означает несомненную влюбленность. К чему он не был готов, более того, последние недели, как никогда, он стремился сосредоточиться на своих необозримых занятиях в попытках играть сразу несколько ролей, но играть по-настоящему. Только так, он думал, можно достичь настоящего соединения самых разных сущностей в себе. Он вспомнил из недавнего времени, как в полутемном коридоре после семинара к нему подошла Вера Скукогорева, которой, как ему иногда казалось, судя по ее взглядам, он втайне нравился, и спросила:

– Ты не родственник Вертоградского?

– Нет, а что? – он быстро ответил, вздрогнув. Хотел он тут же добавить, что невозможно быть родственником самому себе, но вовремя прикусил язык.

– Голоса похожи... а иногда даже очень.

Он постарался как можно быстрей свернуть разговор, и он ускользнул от красивой студентки, стремясь скрыть свое отношение к Вертоградскому, а также к самому себе – хотя где он «сам», – но все же понял, что надо еще раз обратиться к незримому кузнецу, чтобы выковал ему новый голос, – утончил его, – как профессор он говорил естественным баритоном, но студенту пора было переходить на устойчивый фальцет.

Сейчас всю дорогу до университета он кружился в облаке одних и тех же впечатлений, отчасти приятных, отчасти пугающих, и все же завораживающих. Он совершенно забыл, что он сейчас студент, и только. И лишь его косвенный взгляд в зеркало в вестибюле университета остановил его. Благо у него были при себе некоторые принадлежности, и он наспех в туалете прихорошился и омолодил себя.

Придя в аудиторию на лекцию, которую собирался слушать как студент, – его лекция как профессора должна была состояться позже, – он думал о том, как они встретятся сейчас с Iroi, но она сама громогласно о себе заявила, – он увидел ее наверху аудитории, – ниже нее, повернувшись к ней, стояло несколько студенток, она говорила так, что голос слышен был далеко в гулкой аудитории, но слова было понять трудно. «Умная женщина подобна Семирамиде», неуместный афоризм вспомнился и явился ему.

Он устроился скромно на скамье в первом ряду аудитории, а Ira была на самом верху, на последней скамье, так что ей открывался весь амфитеатр и она не могла его не заметить, но она даже не кивнула ему, потому что была занята, по-видимому, важным разговором с однокурсницами, больше напоминавшим беседу с ними лектора.

Перед лекцией она так и не подошла к нему, и он ждал ее после, но она все не спускалась оттуда с вершины, и вдруг возникла перед ним, войдя через нижнюю дверь.

– Я не пойду на твою лекцию, – тихо сказала она, – но ты можешь переодеться у меня дома. Я буду там.

Она и тогда, когда он был в полузабытьи на диване, говорила то же, но сейчас эти слова были немного другие. После студенческих занятий, когда начался большой перерыв перед его лекцией, он быстро отправился туда, в Угловой переулок. Миновав девять кварталов, он достиг ее дома, хотя и забыл номер подъезда. Но она сама окликнула его через окно, – несмотря на зиму, она распахнула его, потому что его ждала и смотрела во двор. Вошел он в эту квартиру, из которой ушел вчера, все же незнакомыми шагами, все здесь казалось несколько иным. И она смотрела на него другим взором. Ему совершенно некогда было с ней разговаривать, и он попытался сразу пройти в ванную, чтобы начать гримироваться, но она его остановила:

– Ты же не в гримерную пришел, а ко мне домой.

– Но ты же сама меня позвала.

– Если надо, я сама тебя загримирую и сделаю лучше тебя. Но мне не хотелось, чтобы ты продолжал этот театр.

– Почему? Да и это не театр... для меня это жизнь.

– Ты же, кажется, соединил уже в себе ученика и учителя.

– Но ты их потом сама разделила... Прости.

– Да, ты сказал, не совсем подумав. Я тебя узнала тогда... не твою череду переодеваний... об этом я уже догадывалась... я о другом... мне показалось, и я не сомневаюсь, что так и есть, что ты иной, чем просто студент и профессор, которых играет некий провинциальный актер... Ты ищешь большего.

Но он не мог вступать сейчас с ней в спор или препирательство – надо было торопиться, – он уже пожалел даже, что согласился на переодевание в ее квартире, а не в своей привычной гримерной. Он решительно и быстро пошел к ванной, но она совершенно неожиданно подставила ему ножку, и он, падая, ухватился за ручку старого кресла и занозил руку. Она наклонилась, смеясь, к нему, поверженному:

– Больше так никогда не делай.

– Это я тебе должен сказать, – произнес он снизу вверх, понимая, что опять он оказался где-то глубоко внизу по сравнению с ней.

Все же она позволила ему надеть парик, помогла вытащить занозу и даже немного подправила грим, но все было сделано наспех, и он понимал, что сейчас он не очень на себя похож.

Миновал он бегом те же девять кварталов от Углового до университета, зализывая рану на руке, несясь и быстро передвигая юными ногами, хотя и понимая, что не пристало профессору, о котором уже сложился стереотипный образ, превращать его в нечто эфемерное. Вбежал он в двери, запыхавшись, понимая, что опаздывает, – раньше такого он себе никогда не позволял. Иногда и раньше – все же очень редко – он приходил в университет в профессорском облике, и не возникало помех, но сейчас, когда он пытался пройти сквозь турникеты, привычно взмахнув в воздухе удостоверением, его остановили:

– Ну-ка покажите, что это у вас!

Он показал. Вахтер – а ему почему-то хотелось назвать его «вахтенным» – вглядывался в его синий пропуск. И чем больше он вглядывался, тем больше Вертоградскому казалось знакомым лицо, вернее, затылок вахтенного, но где он его видел, вспомнить не мог. Он вглядывался в лицо человека на вахте, а тот вглядывался в документ:

– Что-то вы на себя не похожи, господин Ветроградский.

– Вертоградский.

– Верт... ферт... мне все равно, а вот фотография на вас не похожа.

У Вертоградского упало сердце. И вдруг он вспомнил, где и когда он видел вахтера, и тот, конечно же, его тоже бы вспомнил, если бы узнал:

– Да почему же не похожа?

– Тут, – вахтенный показал на пропуск, – вы больно молодо выглядите.

– Да я делал эту фотографию... раньше.

Вахтенный поднял на него глаза.

– А надо сейчас. – Вахтенный улыбнулся. – Хотите, прямо сейчас и сделаю. И шлепну на документ?

– Прямо сейчас не надо, – пробормотал Вертоградский, представив почему-то жаркий свет осветительного софита, от которого поплывет его грим, и вахтенный узнает его, – хотя тут же он трезво подумал, что сейчас фотографии делают без лишнего света. Но он чувствовал, что ему уже возвращают в ладонь его пропуск.

– Проходите, но я вас запомню, – с непонятно-отчетливым смыслом произнес вахтер.

Вертоградский ворвался в аудиторию на десять минут позже начала лекции, но дремлющие ряды студенток его несколько успокоили. Вглядывался он в лица, пытаясь узнать, поняли ли они и помнят ли, что произошло на последней лекции, но для студентов предыдущей лекции уже не существовало, они могли ее вспомнить лишь через много лет.

17.

Он вышел на улицу почему-то как и был, в парике. На вахте он оглянулся – там был другой, незнакомый. Он шел и чувствовал, что ноги сами несут его по прежнему следу, который он оставил здесь три часа назад. Сумерки постепенно проявлялись, а он думал, что курс его в университете заканчивается, – предстоит последняя лекция. Никто, кажется, кроме Ігу не заметил, что произошло на той лекции, да ему и самому представлялось, что он мог с достоверностью опереться только на ее свидетельства. Что действительно произошла вспышка воссоединения, как он это назвал.

Он медленно подымался по лестнице на ее четвертый этаж, дом ее был хороший, пятиэтажный, но без лифта. Он остановился на полпути одного лестничного пролета и оглянулся – ранние декабрьские сумерки были подсвечены снегом в окне на лестничной площадке. Он понимал, что неизбежно поднимется и позвонит в ее дверь, но ему хотелось замедлить себя, словно бы демонстрируя себе, что все же свобода воли присутствует в совершающемся и неизбежном и он что-то может изменить.

Она не удивилась совсем – открыла входную дверь и сразу ушла в комнату, показывая всем своим непреклонным видом, что сейчас погружена в работу. Он медленно отряхнул ноги от снега в прихожей и прошел в комнату: электрический свет не был включен, лишь скудный зимний день еще светился в прямоугольнике окна. Но ее лицо было освещено, озарено наклоненным окном ноутбука. Видно было, что Ira погружена в совсем другое пространство, и он с удивлением и даже изумлением смотрел, с какой быстротой летают ее пальцы над клавиатурой – он прикрыл глаза и опять представил, что она за клавиатурой некоего неизвестного инструмента – музыка скрыта внутри, но ритм отпечатков ударов пальцев слышен вовне. Она была погружена в тогда только начинавшиеся социальные сети – она говорила мельком ему об этом – и была уже в некотором смысле лоцманом, а может быть даже и капитаном в небольшом открытом для нее море. Он сидел на диване, просто смотря на ее озаренное и, в сущности, незнакомое лицо и любовался ею.

– Ну что было на твоей лекции? – она даже не повернула голову. – Ты расскажешь?

– Да, – просто ответил он, – и начал тихо и даже как-то сокровенно рассказывать ей то, что сегодня поведал слушательницам.

Она слушала, вначале не отрываясь от работы, не прекращая движения своих летающих пальцев, но затем замерла, повернулась к нему, и потом глядела ему в лицо, – он говорил полуприкрыв и опустив глаза, чтобы лучше видеть свои внутренние образы.

– Ну вот, у меня теперь личный учитель, – сказала она, когда он закончил говорить, он чувствовал, что устал.

Она села рядом на диван и стала постепенно снимать, отнимать от лица его бороду, и он почувствовал, как грим смазался и поплыл в месте ее поцелуя.

Погас свет зимнего дня, окно компьютера тоже постепенно померкло, и они лежали почти в полной темноте. Время было неопределимо. Они были на поверхности дивана, и ему и ей иногда казалось, что они плывут вровень с подоконником, где едва уловимо была обозначена световая кайма. Он тихо засмеялся, и она спросила:

– Что ты?

– Не знаю... но мне сейчас показалось, что мы наконец с тобой сравнялись... мы равны... я тебя всегда видел... воспринимал... или снизу... когда читал лекцию, а ты была где-то высоко там... но то физически, а как студент на задней парте я видел тебя на высоте мысленно... хотя все должно быть наоборот... да так и было отчасти... как профессор я должен был смотреть на тебя сверху вниз... а как студент в силу своего возраста тоже... я путано говорю...

– Да нет, – она лежала к нему лицо к лицу, – понятно... но ты, когда бывал профессором, все же недостаточно отчетливо играл свою роль... ты должен был предстать в большей степени мэтром для нас... что ли... а ты путался в словах... и стеснялся...

– Перед уходящей вверх горой аудитории... я чувствовал... ну если не страх, то нерешительность... а вы хотели отчетливости...

– Да, мы хотели все же точной системы координат, чтобы она где-то светилась в воздухе... пусть и неуловимо... ты должен был продемонстрировать такой эффект... а кроме последней лекции... тогда... у тебя не получалось... ты должен был вносить меру во все. Все ждали, ожидали, чтобы ты по-менторски считал, отмерял, чтобы у тебя в руках сверкала иногда невидимая линейка, чтобы ты этим метром бил учеников и учениц по пальцам. Чтобы ты вводил свою систему координат и, выражаясь математически, свою метрику. Чтобы была мера во всем... а ты расплывался мыслью... знаешь, в Древней Греции на агоре... были агораномы, которые ведали мерами и весами...

– Агора – это что-то вроде рынка?

– Память тебя подводит... как ты вообще осмелился лекции читать... рынок – только часть агоры... по смыслу... кстати, в ведомстве агораномов были и гетеры...

– Гетеры?

– Что тебя так удивляет? Гетеры были свободными женщинами... иногда и спутницами философов... но сейчас... это, к счастью, невозможно...

– Нет, меня само звучание слова что-то напомнило... произнесенное отдельно... «гетеры», «гетерам»... в каком произведении главный герой произносит, кажется, такие слова: «Что, Матери? Звучит так странно имя...»?

– Не помню...

– Я тоже... но все же... отдаленно... одно слово вдруг отозвалось в другом... я не знаю почему... да, я знаю, что у каждого философа была своя гетера... которая вдохновляла его... и все ее слова, возможно, отразились в его словах, например, Платона... но мы можем эти гетера-слова обнаружить сейчас по едва уловимым следам...

18.

Она была несколько выше среднего роста, но в прозрачной темноте, обнаженная, она казалась ему миниатюрной. Он вспоминал почему-то египетский затененный зал, и драгоценные древние косметические принадлежности, и среди них – из оникса? – изящную женскую фигурку, вытянутую во всю длину, лежащую или почти плывущую в воздухе, так что была видна лишь спина и поднятая голова, на руках своих держащую – также из полупрозрачного светлого камня – длинное ложе – очевидно, для ароматных снадобий. Но Іга лишь на миг могла показаться из-

ящной косметической вещицей – она опиралась на локти и начинала говорить в темноте, и он, лежащий рядом с ней, и, глядя на нее снизу вверх, видел грозный профиль, и ему казалось, что говорит женщина-сфинкс. И он не мог и думать сейчас о ее росте и высоте лица. Она говорила и называла имена и книги, – множество названий и имен, большую часть которых он даже не слышал. Он думал о том, что они почти ровесники, если сопоставить ее возраст, а ей было – по ее словам – 26 лет, а ему – студенту (не профессору Вертоградскому), почти столько же – 28. Но сейчас он чувствовал себя младше, вернее, ее старше.

– Ты была замужем? – в какой-то миг неожиданно – и для себя неожиданно – спросил он, странно вторгаясь в поток ее речи.

– Это не так важно, – сказала она и продолжала речь.

Речь ее была непрерывна, она обращалась к нему и поворачивала голову, и все же речь ее текла словно бы сама собой, превыше всех незримых, но видимых вероятно ей голов и лиц – он заслушивался журчанием тихого, но грозного временами голоса, не вслушиваясь в смысл, а улавливая лишь обертона, и засыпал, точнее, задремывал на время, и сколько проходило минут, он не знал. Она ласково клала руку на его волосы, но он просыпался вновь, словно выплывая, выныривая на поверхность из глубины, где тоже можно было дышать и жить, но там во сне он обычно не видел снов, а здесь он опять оказывался в течении, и иногда тоже пытался что-то сказать, и она ждала его в диалоге, но все он чувствовал в ее голосе несомненную властность.

Много раз он хотел ее спросить, но словно бы забывал, о том, кто были ее родители, – ведь она жила сейчас в довольно большой квартире одна, и были ли у нее сестры и братья, но не решался, а может быть, его так влек поток ее нескончаемых ночных речей, что он забывал обо всем, и вопрос о ее замужестве не был бестактностью, – хотя был совершенно естественным, – она этот неожиданный и лишний вопрос просто не заметила. Она улыбалась ему в темноте, и они лежали не разняв рук, но видно было, что голос ее переполнял ее, а он для нее был тем, к кому она наконец могла обратиться и не ждать, что он прервет ее нелепым вопросом. Он и не задавал ей вопросов, но иногда начинал сам говорить, и она тогда слушала его, одобрительно и даже утвердительно, – как ему казалось, – так кивает, слушая речь примерного ученика, его учительница.

Она иногда отворачивала немного в другую сторону голову и глядела за ночное окно, едва видимо освещенное снегом. Она говорила об университетах и о том, почему она сюда пришла, – не только ради опыта и испытания и для того, чтобы встретить здесь себе подобных, – но чтобы узнать и исчерпать до конца саму идею универсального знания в нынешнем понимании. Нынешнего знания. Что бесконечно расширилось. Но в узких плечах таких институтов, университетов ему уже тесно.

– Я уйду из университета, – вдруг сказала она.

И он, который почти перестал туда ходить как студент, а как профессор сказался больным после того эпизода, почувствовал страх и вместе с тем почти облегчение.

Собственно, он начинал смутно понимать ее неявный план, который, по сути, она переняла у него – сконспектировала, как он прошептал про себя, – выбежать из затверженного круга учебы, чтобы находиться в открытости и раскрытости – в этом и была часть ее плана, может быть, – о чем она не говорила – ее обучения и учения.

Но он не был, конечно, уверен ни в чем, она поразила его волю на время, и он, как он сам себе шептал, влюбленный временно, шел за ней слепо, но не спотыкаясь.

Именно ночью он стал с ней говорить о самом сокровенном и странном, связанном с его жизнью.

– Почему мы себя воспринимаем как одного человека? – как-то спросил он, пытаясь подобрать слова.

Он ожидал встречного вопроса, но она только смотрела на него светлыми, но темными в темноте глазами.

– Почему я тот же.... считаюсь тем же... что был в детстве, в юности, в молодости?

«Что» – правильное слово... не «кто». Да, я знаю, что я один и тот же, я связан непрерывной нитью через всю свою жизнь. Но я не понимаю. Не в юридическом смысле, понятно. Здесь-то

все ясно – надо же следовать определенности. Иначе старик, указывая на зеркало, скажет судьям: «Посмотрите, что общего между мной и тем, кем я был в тридцать лет, допустим»... Хотя и в юридическом тоже... есть же понятие «за давностью». Возможно, здесь скрытно указывается на разрывность личности, на невозможность установить ее идентичность... после многих лет. Я не понимаю, что общего между всеми теми, кто представлял мое «я» в разные годы. Не понимаю. Ты понимаешь?

– Поэтому ты пошел на... эксперимент с двумя своими возрастами... чтобы связать их?

– Хотя бы увидеть рядом... Соединить... пока не знаю, как... можно ли...

– Ты не болен, я знаю... но ты болен тем же, чем и остальные люди... просто в более острой форме.

– И ты тоже?

Но она не стала отвечать. Она смотрела на него, хотя в полной темноте, освещаемой слегка, как ему казалось, лишь заоконным снегом, были видны только контуры его лица. И он говорил дальше:

– Мне нечего рассказать, например, о своей юности, хотя я все помню. Но как прочитанное где-то... а чтобы понять, что эта юность моя, мне надо с ней... воссоединиться.

– Что-то сложно...

– Поэтому я и пошел в ученики...

– И в учителя...

– Да.

– Но где ты сам? Или пока тебя для тебя нет?

– Ты думаешь, я гоняюсь за какими-то абстракциями?

– Меня это не тревожит... но я не могу понять за *какими*...

– Но ты же, кажется, все можешь понять...

– Но именно отвлеченно. А мне надо ощутить твое как свое, тогда я тебе помогу, быть может...

Но она говорила всегда так, даже улыбаясь в темноте, даже улыбаясь во сне, что ему казалось, что она напряжена, настроена на какую-то ей ведомую задачу.

Лихорадочная и быстрая их влюбленность друг в друга все же напоминала ему радужное дождевое марево, сносимое ветром, и лишь зимняя прозрачная ночь со снежной невидимой землей внизу говорила ему о посторонней сейчас правде.

19.

– Ты, когда в тебе учитель и ученик соединились... буквально до искр из глаз... по сути закончил свой курс лекций. То, что ты читаешь дальше, не в счет... для меня не в счет. Я поняла, что смогу тебе помочь, если приоткрою тебя в твоем тупике... и выведу на новую путь-дорогу, – так говорил она и продолжала: – Тебе надо идти куда-то вовне... ты должен услышать других... не только меня... то, что я шепчу тебе на ухо... ты должен слышать голоса птиц... и людей, щебечущих, как птицы... Иди на улицу... пусть сейчас декабрь... и принеси мне в тетради записи человеческих разговоров... хотя бы отрывки их... но так и надо – это будет корм для тебя... Заслышав чью-то речь... на улице – к другому собеседнику рядом или в отдаленьи по телефону... услышь его... ты проходи мимо... пусть отрывок – ты никого не подслушиваешь... но ты именно его услышал... и заметил...

И вот в конце декабря он взял с собой тонкую зеленоватую ученическую тетрадь в клеточку, закутал горло шарфом и углубился в темноватые уже московские дворы, ориентируясь по облачкам пара, которые изредка вырывались из чьих-нибудь уст, все же их было не так уж мало по улицам, у входов в магазины, тех, кто, зазевавшись, разговаривал по мобильному – он проходил мимо, не задерживаясь, чтобы не нарушить, так сказать, конфиденциальность, но обнаружив все же осмысленный отрезок, обрывок речи, или короткую фразу, или даже восклицание, принадлежавшее во влажный морозный день именно этому прохожему и никому иному.

Первые записанные фразы в тетрадь – было не так уж легко на морозном воздухе – заносить бегло линии в тетрадь – шариковая рука замерзала, к тому же он не всегда, как ему казалось,

мог точно вспомнить то, что произносили, поэтому повторял помногу раз одно и то же, прежде чем, остановившись где-нибудь у замерзшего дерева, заносил это в тетрадь – первая фраза была непонятна своей эмоциональной значимостью для той девицы, которая, раскрыв свои светло-сиреневые глаза, произносила:

– Такая тишина была... просто... ребенок спит, и они спят.

Он не пытался вдумываться, да это было и не надо... если даже не запрещено... он полагал, что Ira разберется... что надо понимать в подобных отрывках неизвестной жизни, а что не надо и можно пропустить.

Следующая принадлежала двум юношам, разговаривающим на ступенях подъезда друг с другом:

– ... мы с тобой в одном дворе...

Здесь было явно оборвано начало и конец, словно на отрезке магнитофонной ленты, но он совершенно не вдумывался в возможный смысл – глубокомысленный или незначительный для всех кроме них и для него самого разговор. И зафиксировать нечто за пределами его желания и памяти, – не хотелось, чтобы записи стали научными полевыми исследованиями или отразили что-то личное.

Декабрьской поземкой, легкой походкой шел он, в снегу теряя свой след и погружаясь почему-то в забытую реку какой-то песни из своего детства: «Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная». Задания Iry, ее настоятельный и даже непреложный тон не то что парализовали его самостоятельность, но повели по каким-то знакомым, однажды пройденным, но забытым путям, и шел он и вглядываясь в встречных, в их незнакомые лица, узнавал в них сам себя, видя себя в глубоком детстве. Словно вдруг он отделил себя-подростка от нынешнего себя, но, не узнавая себя самого прежнего, он вдруг понял, что так и можно начать соединение истинное самого себя с самим собой прежним – только увидев и не узнав вначале, прозреть в них различных единого себя.

Песни, кажется, Бахмутова, забытые совсем, всплыли вдруг в памяти, и полузабытые, но неразрывные эстрадные пары вроде Гребенникова и Добронравова, Кобзона и Кахно появились.

Застыл он, остановился на перекрестке двух улиц, хотя машин не было видно, – это был воскресный день, стоял он и повторял слова песни, про которую давно уже думать забыл: «Метель над городом метет... та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра... и каждый ждет свою снегурочку... та-ра-ра-ра... под Новый год».

Чувствовал, что она своими заданиями и неявными действиями привела его даже уже не в школьное, а какое-то дошкольное состояние, но при этом он все же вглядывался в очертания улиц и отметил, что вот пробежала одна заснеженная машина, и прошел пешеход, не поглядев на него и ничего не произнеся, так что нечего было записывать.

Он чувствовал себя школьником на внеклассном задании и стремился еще приблизить себя к земле и подчиниться Ire, чтобы можно было отчитаться перед ней, даже если она и не заглянет в его записи и даже не кивнет милостиво головой.

«Ты думаешь, что репетиция – это только подготовка к чему-то истинному, – сказала Ira ему, – нет, все по-настоящему с самого начала, мы в жизни, не в театре... как заметил один писатель, правда, при других обстоятельствах... но это и репетиция чего-то высшего и иного.

Ira велела, поручила ему бродить, а не просто ходить, – вкладывала она в эти слова особый смысл, – и собирать сведения мира. «Но это что же, подслушивать?» – пытался он возразить и узнать. «Нет, – это обрывки фраз случайных людей. Это как голоса птиц. Что-то мы слышим, но смысл до нас не доходит. Но это и не нужно – мы чувствуем мир».

Он вспомнил и произнес какие-то прежде слышанные фразы. В аэропорту:

– Пассажиры Портнов и Ткачев, вылетающие в Гонконг, посадка закончена, выход сорок два.

На вокзале:

– Женщина с тремя детьми и мешком чая, подойдите к бюро информации.

Но Ire они не понравились, она их забраковала, сказав, что раз он их помнит, значит, они выделены из остальных разговоров, они как бы уже специально приготовлены, а это не то. Она сказала:

– Ты не припоминай, а записывай то, что сейчас услышишь.
И он шел и записывал.
И нечто являлось из разговоров на улицах:

– Я его спросила в письме: «Ты еще не женат?»
– И что он ответил?
– Нет, абсолютно не женат.

– Неужели мы поедим салатик какой-нибудь на свадьбу?

– По поводу дверей: когда привозить, сегодня или завтра?
– Они мне уже отзвонили.

– Подумай, там будет сама Маргарета Матер, фотограф, дочь мормонов.

– Они ведь не смогут юридически...

– А прошлогодние грибы ты куда дела?

– Он любой только лучше делает. Как можно портить?

– А гипотенуза у тебя какая получилась?

– Благим матом прошу тебя: «Приезжай скорей».

– Да... в нашем государстве, да.

– Да они в жизни не видели живого компьютера.

– Ты же Женьку знаешь
– Нет
– Да ладно
– Прохладно.

– Суп итальянский, царский салат...

– Тогда я торговал по квартирам гербалайфом...

– Там такие дела... там просто...

– Занимаюсь благотворительностью, милосердием...

– Рожа лечится плохо, а заговаривается хорошо, но у нас не стало экстрасенсов, ясновидящих...

– Что ты ставишь против монстров плюс девять?

«Не думай, что ты кому-то навредишь, – говорила ему Ira, – даже если запомнишь все это. Разве самому себе... навредишь, но это тебя не должно волновать. Хотя чтобы слушать и слышать голоса вокруг, надо быть взволнованным. Взволнуй себя, – продолжила она и улыбнулась, – эти голоса – свидетельства здешнего и мирского... но и чудесного». «Только ради тебя я готов даже на это», – произнес он тоже с улыбкой, но улыбкой искусственной. «Ну, если ради... – с мирной

улыбкой заключила она, – но только ничего не придумывай от себя». «От кого же мне придумывать?» – спросил он. «От меня», – тихо сказала она.

Он, ободренный ею, пошел со своей тетрадью в клеточку и записывал то, что слышал, хотя понимал, что отбор неизбежен, что другой бы услышал и запомнил другое, – ведь ему поневоле приходилось что-то запоминать, на морозе шариковая ручка работала плохо, так что приходилось терпеть и запоминать до ближайшей станции метро.

Он шел и записывал, продолжая:

– Полюса к полюсам, минуса к минусам.

– Я образно говоря, Вань... ты не понимай это...

– Она выберет чего там... потому что давление

– ... из трех слов...

– Видала вчера певцов наших? Хари все отъетые...
– А голоса отпетые...

– Одно и то же, одно и то же...
– Если бы я учил бы...
– Нет, понимаешь...

– Мы пожалели ее по отдельности и с Юздой Бутовой отправились в цирк...

– Погода там вообще непредсказуемая...

– Сегодня так день быстро прошел, тебе не кажется?

– Просто папа твой упертый, он постоянно с открытой дверью лежит...

– вот с высшим образованием... самое последнее... свежак...

– Намажь пятку лимоном... сразу почувствуешь...

Ira прочла его записи и сказала ему: «Ты, очевидно, поставил какие-то фильтры и выбирал то, что тебе понравилось... а может быть даже приписал от себя что-нибудь, что совсем уж не допустимо. Я просила тебя слушать бесхитростные голоса улицы. Но ты, видимо, еще не совсем готов к этому».

Он попытался следовать ее советам, но у него мало что получалось, к тому же он не мог сразу по горячим следам все записывать, чтобы не смущать говорящих, а использовать бездушный магнитофон ему не хотелось. Он понимал, что все равно потонет в хаосе голосов, мнений, советов, восклицаний, жалоб, просьб, невероятных признаний по мобильному телефону. Ведь сейчас улица представляла собой как бы птичий двор, где людские голоса, перебивая друг друга, соединялись в неразборчивый и все же немного различимый в своих смыслах хор. Некоторые говорили, конечно, таясь и шепотом в самое ухо телефону, но многие кричали, так что было слышно на другом берегу улицы.

Он просто шел и записывал:

– Я на ее крик: «На полтона ниже!»

– Да здесь можно только шифон или объемный шелк...

– Он морит себя голодом, я спрашиваю: «Зачем?»

– Как будет по-испански «тубаретка»?

– Я тоже архитектор... системный...

– Вернешься, будешь смотреть «Троянскую войну»... всю!

– Что позволяешь себе... деловой... у кого храбрости набрался?

– Он хотел учиться на халяву, но не вышло...

– Так и сказала ей: «Будь счастлива на всю катушку!»

Ira осталась явно недовольна, когда он предъявил ей свои записи. Она недолго, хотя внимательно прочитала их и сказала:

– Ты их, конечно, сохрани, но они все же малоценны, они больше свидетельствуют о твоем непослушании.

– В смысле?

– Я тебе сказала записывать как есть, а здесь чувствуется цензура.

– То, что мата нет?

– Не в этом дело... хотя и в этом, возможно, тоже... тут твоя, так скажем, эстетическая цензура, ты отбираешь, кроишь и располагаешь, так, как тебе представляется, хотя и не контролируешь себя.

– Располагает кое-кто иной.

– Но ты возомнил, что ты лучше знаешь, что к чему... я хотела и велела тебе войти как бы впервые в наш мир... и в гул голосов... войти, как в первый класс, ты ведь этого хотел... а ты вторгся туда высокомерно... как уже закончивший школу... как первый ученик... а не ученик впервые... Разве что, может быть, потом получится.

Выйдя на декабрьскую московскую улицу и приготовившись слушать голоса вокруг, он вдруг различил музыку, звучавшую постоянно в его ушах и которая могла бы ему помешать. Собственно, он всегда, если не был болен, ее слышал, а лучше сказать, слушал, но не обращал на нее внимание и не придавал ей значения. В основном это были повторяющиеся в нем мелодии или их отрывки из самых разных областей: там была и классическая, и рок, и поп-музыка, и советская эстрада. Но он почти не фиксировал ее, это было приглушенное, но постоянно работающее радио, как было раньше почти в каждом доме.

Сейчас он его расслышал в наступившей тишине вокруг, к которой он стал прислушиваться, постаравшись отключить на время все мысли. Непроизвольно все же музыка прокручивалась в нем, и единственное, что он мог, попытаться включить ту музыку, которую ему хотелось сейчас слышать. Привычно завел он давно уже заезженную пластинку в себе с известным романсом. Он напевал его постоянно про себя, надоев себе. Хотел он переиначить, сменив ми-мажорную на ми-минорную гамму, изменив первое слово на «Ночь ли царит...», но ничего из этого не вышло, отчасти потому, что следующие слова канонического текста были «тишина ли ночная» – заменять их на «тишина ли дневная» было бы нелепо. Но он вспомнил почему-то микеланджеловскую «Ночь» (которую какой-то поэт – он забыл, кто) сравнил с мышеловкой. Но не столько даже контур скульптуры он вспомнил, сколько поверхность и структуру видимого мрамора отшлифованного, холодного и прекрасного тела.

Ira показывала ему уже кое-что из записей своих, – там было несметное количество черновиков, выписок из книг и отдельных цитат, – авторство было уже установить невозможно. Но этот фрагмент принадлежал видимому, различимому еще автору – Теодору Адорно, чье имя раз-

местилось на последнем клочке вырванного и забытого из блокнота листка. То был финальный отрывок фразы, не позволявший восстановить все предложение: «... той чудесной, любящей женщине, коей является музыка».

20.

Принес он ей следующую тетрадь с уличными записями, она долго их разбирала, внимательно смотрела, иногда прикрывала глаза, но иногда улыбалась и, наконец, сказала:

– Похоже, что некоторые слова внушены или даже написаны Переулковым.

– Кто это?

– Поэт Переулков или слитно поэт-Переулков, или пиита Переулков.

– Странное имя или фамилия, никогда такой не слышал, она что, вымышленная?

– Он так давно известен под таким именем, что никто толком уже не помнит его настоящего. Странный и малоприятный тип, но встречи с ним нам с тобой, по-видимому, не миновать.

– Почему?

– Это ты скоро поймешь.

– И что, он пишет в таком же духе, как то, что записано в тетради?

– Он бы *хотел* так писать, впрочем, иногда ему почти удается.

– Так он, по твоим словам, поэт и певец городских переулков?

– Не так прямо... но его новое имя появилось примерно с таким заданием... он всегда был со странностями... ему хотелось стать современным юродивым, что ли... пытались объяснить ему, что сложно стать юродивым или научиться им быть – им надо уродиться, но он верил с трудом. Собственно окончательный сдвиг и перемена имени произошла с ним после того эпизода на площади.

– На какой площади?

– На Красной.

– Что же произошло?

– Он считал, что как истинный юродивый он должен быть там. Наконец он пошел на площадь и сел возле Лобного места на каменную землю, на мостовую, на брусчатку. Он стал выкрикивать, вначале тихо, потом громче свои довольно бессвязные стихи или вернее какие-то полустихи, они, по-видимому, должны были изобличать неправых правителей, но народ вокруг не привык воспринимать невнятицу, и поэтому шел мимо. На него косились, но что было обидно для него – хотя истинному юродивому должно было быть все равно – даже не фотографировали его. Своим приятелям он запретил подходить близко, и снимали они его издалека, поэтому на снимках он был размером не больше голубя. Тогда интернет был еще не развит, соцсети только зарождались, так что и там, в том пространстве, куда все же что-то попало из фотографий, оно не привлекло внимания. Наконец к будущему Переулкову подошли и – что особенно было обидно для него, хотя можно ли обидеть истинного юродивого – не задержали даже, а просто вытолкали с Красной площади. «Меня отделали легким испугом», – как потом он сам о себе говорил. Хотел он вернуться на площадь, но, действительно, не столько испугался, сколько заскучал. Получить административный арест он бы счел почетным, но все же хотел большего. После того эпизода он начал пить и ушел, как он сам говорил, удаляясь в переулки, в воспевание малых дел и малых сих. «Даже когда тело мое трезвеет, душа моя пьяна, – так говорил он, – а она чиста, как алкоголь, не замутненная трудом», – и это была правда, – Переулков никогда и нигде не работал. Не было у него в биографии пункта, которым гордятся по праву многие писатели, которые кем только ни были: грузчиком, лесничим, курьером и так далее. Переулков нигде и никогда не служил и добывал пищу, как он считал и говорил всем, прямо из воздуха.

Вспоминал теперь он слова Iry, когда блуждал в окрестностях Углового переулка (он всегда думал о странном совпадении, приведшим дважды его в это место). Однажды, когда он, прислушиваясь к голосам прохожих, шел и записывал в тетрадь в клеточку очередное услышанное изре-

чение, кто-то остановился перед ним и назвал его по имени. Он поднял глаза, и не сразу, но почти сразу узнал: это был Юрий, его троюродный брат. Из-за дали круглых очков блестели веселые знакомые глаза:

– Ты что, стихи записываешь?

– Нет, мысли вслух... причем не мои.

– Интересно...

– Юра, сколько зим?

– Да я начну считать, собьюсь со счета.

– Ты ведь где-то в этих краях обитаешь?

– Ну конечно... – Юрий показал рукой на название на стене «Вадковский переулок», – зайдем ко мне чаю выпить?

– Ну, разве что на десять минут, – он чувствовал, что промерз, да и страшно рад был найти среди незнакомых родное, хотя и полузабытое лицо.

– Ты где работаешь? – спросил Юрий, когда они двинулись к его дому.

– Там же. А ты?

– Тоже.

Они поднялись по запыленной холодной лестнице на второй этаж, и он вспомнил, конечно, лестницу с отшлифованными руками перилами, дверь, – в которую он входил, но очень давно. Когда они вошли в большую комнату, которую он тоже постепенно узнавал, то спросил:

– А где же тетя Глика? – так он называл всегда бабушку Юры.

– Ее нет... уже несколько лет.

Он подошел к старинному серванту, за стеклянными гранями которого поблескивали тонкие стенки чайного сервиза.

– Это ведь те чашки?

– Хочешь, будем пить чай из них? Мы их достаем только по великим праздникам. – И Юра открыл стеклянную дверцу.

Он узнал блюдце, из которого пил когда-то чай здесь.

– Это ведь ее?

– Да... именно ее... чашка разбилась, а блюдце осталось... неужели ты помнишь?

– Да... и сразу вспомнил тетю Глику... точно на дне ее отпечаток лица. – Он взглянул сквозь чайное блюдечко на свет. Электрическая лампочка била несильно, но тонкий фарфор был полупрозрачен, – там было скрыто чье-то женское лицо, – все это знали и всегда смотрели на просвет, но сейчас образ потускнел, и нельзя было отчетливо распознать черты лица, – но он мог думать, что там скрыто молодое лицо тети Глики.

– Знаешь, – Юра некоторое время думал, – возьми его себе... будет для тебя память о ней.

– А тебе?

– У нас много других ее вещей осталось... фотографии...

Странно, это маленькое плоское блюдечко волновало его и, хотя он положил его к себе в сумку, ему хотелось поместить его под свитер на грудь, прямо против сердца, как маленький щит.

Они недолго проговорили с Юрой, – не было у него времени долго пить чай, да и Юра торопился.

Он вернулся в дом, в Угловой с каким-то новым, но все же, казалось ему, уже знакомым, а лишь только позабытым чувством, которое где-то существовало здесь в городе, в рассеянности, а он сейчас просто его собрал, поместив неожиданно в некий световой фокус, и лучи вновь разошлись, но все же что-то осталось. Он словно бы попал в иную и сильно волнующую область его жизни, в которой он не был очень давно и не подозревал, что она существует на карте его позабытого города.

– Ты сегодня долго, – встретила она его, – полевые работы, наверное, приносят богатые плоды?

– Не очень... я немного сегодня записал... но вот нашел нечто другое... не меньшее...

И он достал из сумки блюдце, держа его близко к груди. Он казалось ему теплым, хотя он пришел с мороза, он протянул его ей осторожно, – оно было маленькое и цветное. Он рассказал ей всю историю этого предмета.

Ira слушала неподвижно. Затем, подойдя к окну, взяла блюдечко и посмотрела на просвет, так же, как и он, заметил он, и затем, – он увидел это словно в замедленном сне – распахнула зимнее окно и резким броском от груди метнула блюдце далеко в окно – ему казалось потом, что все происходило страшно медленно, и он смог бы удержать ее руку. Но он бросился первым делом не к ней, а к окну. Она наверно думала, что блюдце разобьется, упав на твердый асфальт, но бросок был столь сильным, что блюдце долетело до гаража и плоско упало на снежную крышу. Во время своего броска Ira издала резкий крик и мгновенно ушла, почти исчезла из комнаты. И когда он кинулся за ней, она заперлась в своей комнате и на его крики и стук не откликалась.

Он впервые увидел ее в таком мгновенном приступе ярости. Он смотрел на блюдечко, ясно виденное еще на снегу, его перламутровый блеск под прощальным вечерним солнцем. Потом стало быстро темнеть, и тихо пошел снег. Он думал, что достать блюдце можно, если подставить деревянную лестницу к гаражу, но пока он стоял в некотором оцепенении, снег постепенно скрыл на крыше маленькое блюдце.

Мгновенная ярость и желание ее ударить прошли, и он сам не знал, были ли они, – на их место пришла какая-то отвлеченная растерянность и даже рассеянность, он хотел уйти из ее дома или только думал, что хотел уйти. Он ощущал холодное одиночество, ему не на кого было опереться кроме себя – встреча с Юрой сегодняшняя, которую он так быстро прекратил, торопясь на встречу с ней, только подтвердила, что в последние месяцы его друзья – довольно многочисленные – отдалились от него, вернее, он сам их как бы переместил в дальнюю область сознания, находясь в диалоге с самим собой, правда, многочисленным. А последние недели Ira вообще затмила собой все.

Он опустился на диван и прилег. Он просто не знал, что делать, и находился в общей неподвижности. Он думал, что надо просто пережить сейчас свое отсутствие среди людей, а может быть даже и среди вещей, предметов, которые не видят его.

– Ты отклонился, ты уклонился, – он задремал и не сразу понял, что это говорит она. Ira стояла у оконного косяка и в зимних сумерках была почти не видна. Он открыл глаза, но вставать, подниматься не хотел, он только немного сдвинул лицо, чтобы видеть ее, и видел ее лишь отчасти, смотря вперед, почти в темноту, где были еще различимы контуры шкафа и других комнатных предметов. Она медлила и не произносила ничего больше, возможно, давая понять ему, что тихий и ровный голос ее сейчас дает им возможность примирения – «перемирия»? – подумал он. Он подумал также, что ее крик не был истерическим воплем, скорее, это был краткий боевой клич. Но он на него не ответил, а может быть, подчинился ему, и не то что испугался ее, но перешел в какое-то состояние, незнакомое ему самому.

– Ты не понял, что я от тебя хотела, – после долгого молчания произнесла она, чувствуя, наверное, что он пробудился и, возможно, увидев в сумерках комнаты блеск его открытых глаз.

– То, что я говорю, совершенно простая констатация фактов... ты стал опять заниматься своими фантазиями... ты отклонился от пути, о котором мы говорили, пусть и неявно... но я думала, что ты понимаешь... ты и в записях твоих... и я тебе намекала на это... невольно следуешь тому, что тебе хочется или видится... ты отбирал только что-то благозвучное или шуточное... Так что будем считать, – тут голос ее стал мягким, но все же сохранял строгость, – что твой опыт не удался или почти не удался, ты не способен к полевым исследованиям, назовем это так... Но ты можешь обнаружить многое, если последуешь моим словам.

– Ты диктор? Ты мне диктуешь?

– Что? – она не расслышала или хотела показать, что не расслышала. – Говори громче.

– Ты диктуешь мне? Ты хочешь, чтобы я все записывал на скрижалях своего сердца?

– Опять высокопарность... – произнесла она, не понимая или давая понять, что не хочет понять его неуклюжей иронии. – Все, что я говорю, очень просто и конкретно. Но может быть, надо

просто отложить твои полевые занятия, как ты на время отложил, – тут он почувствовал, что она улыбнулась, – свои способности. Скоро ведь Новый год, и я ритуально встречаю его с друзьями. Пойдем вместе – не для того, чтобы тебя с кем-то знакомить, а чтобы ты встряхнулся и вышел из затверженного круга твоих мыслей и занятий, которые ты сам – героически отчасти – внушил сам себе.

Он подумал, что, действительно, какой-то период миновал, – вот и последняя лекция его прошла, – он попрощался со своими слушательницами, – а на этой лекции присутствовала и Ira, – попрощался, понятно, только до экзамена, который предстоял в январе, – там он предвидел и встречу с самим собой-студентом – или тот притворится больным? – но будет ли продолжение весной, он не знал.

21.

Попал он теперь в какое-то совершенно неопределенное состояние – возможно, он и стремился к чему-то такому, но все же не ожидал, что все будет так резко, почти безнадежно неотвратимо, что надо принимать решения безотлагательно. Он был все еще в радостном пространстве влюбленности, а надо было уже понимать, что же произошло.

Пыталась Ira спросить его о его работах и изысканиях, о его научных устремлениях как философа, но он сам уже не всегда помнил, чем же он занимался несколько месяцев назад. Надо было ремонтировать память, и он по утрам просыпался с желанием начать прежнюю и все же новую жизнь, но так как он уже находился в этой новой, однако незнакомой жизни, то опознать себя прежнего удавалось с трудом. Лекции закончились, наступило время зачетов, и как студент он совершал какие-то попытки что-то зачесть, но, приходя в университет, понимал, что сам себя не понимает, не то что предмет, который шел зачитывать. Его иногда жалели как представителя сексменьшинства. Временами он сам смотрел в глаза преподавательницам с мольбой о политкорректности, и ему шли навстречу, но предупреждали, что в последний раз. Невероятными усилиями и удачей ему удалось получить многие зачеты, и все же не все. Латынь была камнем преткновения. Думал он даже попросить Iru, переодевшись в мужское платье, прийти сдавать за него, но она высмеяла его, да и внешне они были не столь похожи, чтобы на что-то надеяться. Приснилось ему, что можно выставить себя родственником профессора Вертоградского и попросить о снисхождении. Но проснувшись, он понял, что не способен он на такой совсем уж фантастичный поступок, да и какие-такие заслуги Вертоградского перед ВЖК, чтобы чего-то требовать для себя-студента. Да и не мог он установить степень родства предположительного с профессором. Выставить себя сыном, но тогда спросят, почему фамилия другая. Хотел он даже назвать себя потомком в некотором идеальном, возвышенном смысле, но тогда бы ему сразу указали на дверь. И отнюдь не в идеальном каком-то смысле. Племянником тоже не получалось, поскольку надо было бы сочинять легенду о своей тетке, жене Вертоградского, например. Но все знали, что он не женат, как и было записано в анкете. Врать он не хотел, – раздвоенность же свою в студента и преподавателя он не считал выдумкой, а, наоборот, следованием правде – настоящей истине его жизни, которую он только приоткрывал для других. Так что его зачетная ведомость еще зияла пробелами, хотя он надеялся, что по первому разу его все же допустят до экзаменов, что было, конечно, нарушением всех распорядков. Но он считал, что в сохранении баланса между мужским и женским здесь заинтересованы в большей степени, чем в его отличных знаниях.

Ira, которая давным-давно сдала все зачеты, даже как бы не заметив их, видела его мучения, но помогать ему не спешила, полагая, что раз он пошел во студенты, то должен работать по-настоящему. Он чувствовал, что она все время, пусть и улыбаясь, смотрит на него оценивающе: годится ли он вообще в ученики или нет. Она спросила как-то о теме его работы, за которую он незримо получает средства от таинственного фонда. Он ответил, что непрерывно думает о ней. Но подсознанием, так что результаты не совсем заметны. Даже для него самого. Но они есть. В частности, он размышляет неявно о проблеме дробного нуля. Можно подумать, что здесь что-то

безумное. Он сам так подумал вначале. Но потом решил исследовать такую сложную и трудновыразимую идею.

Она спросила его:

– И в чем твоя идея?

– Я думаю о третьем начале термодинамике, можно ли его применить в математике?

– Для меня все твои слова пока ничего не значат.

– Одно из следствий третьего начала, или постулата... физического... в том, что нуль температуры... абсолютной... недостижим. Я пытаюсь понять, может ли такое быть в математике. Не знаю, почему думаю о том, можно ли раздробить, разделить ноль. Тогда бы я мог выйти за границу его круга.

– Зачем тебе это?

– Не знаю...

Он действительно не понимал, зачем думает о таком абстрактном круге, но все происходило помимо его воли и почти не связанным с ожидаемой ежемесячной зарплатой. Предположил он, что слово «круг» всплыло где-то в глубине, может быть, потому что она намекнула ему, что на встрече Нового года познакомит его со многими ее друзьями, и он невольно представил, что она хочет ввести его в круг своих, если не подчиненных, то посвященных. Хотя она пыталась сказать, что там просто соберется ее старая и довольно многочисленная компания. Некоторых, как она уверяла, она не видела уже год. Но как бы то ни было, он чувствовал, что в дате перехода в новый год для нее что-то было значимое.

Однако, как бы то ни было, от отвлеченности надо было переходить к реальности. Оставалось лишь несколько дней. Он обратился к ней: «Мизерикордная Ira!», и она смилостивилась и стала ему помогать в латыни и других предметах. Учителя в нем они временно усыпили, и так усопший по-зимнему до Нового года профессор временно не мешал им своими амбициями. Что дало плоды – он сдал все зачеты, и оставался лишь латинский язык, на который она торжественно его сопровождала.

Она довела его до стен и дверей университета и здесь с ним рассталась, словно родитель, провожающий свое дитя в школу.

– Пожелай мне что-нибудь, – робко произнес он.

Ему показалось, что она мысленно гадательно открыла незримую книгу и, улыбнувшись, произнесла:

– Будь aere perennius.

Что-то знакомое почти всплыло в его детском сейчас сознании и он вопросительно остановился:

– И выше пирамид?

Она кивнула, и он вошел в здание. Там он ответил на все вопросы и лишь остановился, когда преподавательница, занеся уже перо над зачеткой, спросила: «синтетический ли язык латинский?», и он наугад ответил «да».

22.

Новый год приблизился, и она поставила его перед неизбежностью идти в то место, о котором давно говорила. Все было так настоятельно, что он чувствовал себя перед каким-то новым заданием. Она звала и тянула его, можно сказать, ошеломленного, на новогоднюю встречу к своим многочисленным друзьям, хотя он совершенно не хотел идти туда. Предвидел он и даже знал, что ничего не ждет его у врат нового года, куда он пробирался с ней по тающим следам людей в переулках где-то вблизи Садового кольца.

– Но кем мне лучше предстать в твоей компании: студентом, профессором великовозрастным или молодящимся самим собой? Хотя кто такой этот «самый»? – спросил он ее.

– Никого в новогодней толкотне не будет интересовать твой возраст. Достаточно, что ты мой спутник.

– Ну конечно, спутник такого светила как ты, достаточное определение, чтобы никого не интересовал спутник сам по себе.

Она слегка улыбнулась ему, и он поинтересовался, не сморозил ли он какую-нибудь неделикатную глупость, но она не ответила.

Не помнил он, как они поднялись и на какой этаж, – возможно, не очень высокий, и вошли в незапертую дверь квартиры, на кожаной неновой поверхности которой было что-то даже намалевано и написано крупными призывными буквами, но он не разглядел, что. Сразу показалось, что вошли они в темноту – это с полутемной лестницы, и он вначале слышал только слабый треск то ли коптящих свечей, то ли бенгальских огней. Из коридора, так он понял, его втолкнули вправо в огромную, как ему показалось, комнату, хотя он не видел стен, – может быть, потому вокруг по краям стояли в темноте молодые, судя по голосам и движениям, люди, которые непрерывно курили, или пили, или разговаривали, но что, он, конечно, не мог разобрать. И однако все двигались и даже кружились вкруг него.

Не мог прийти в себя он сразу после одиноких последних декабрьских дней, темной пустынной лестницы, по которой они поднялись сюда, – он оказался сразу в новогоднем гомоне и словно бы, как ему показалось, в темпе какого-то ненормального вальса. Все кружилось, хотя вроде бы никто не раскручивал маховик заведенного праздника, но он почувствовал уже тяжесть инерции движения. И не успел он прошептать Ire: «Предупреждать надо», как ее уже завлекли в вихрь многочисленных объятий.

Понял он только, что Ira оказалась в родной стихии и среде, и она его покинула, где-то здороваясь в отдаленьи почти со всеми, а он стоял, по-видимому, посредине комнаты, как будто после игры в жмурки ему сняли повязку с глаз, но вокруг было по-прежнему темно, и он никого не мог узнать, хотя вокруг скользили их тела.

Она говорила ему, что здесь соберется самая продвинутая компания из московских философов, художников, архитекторов, режиссеров, но пока в темноте он видел только мелькание лиц, обрывки фраз, нестройное пение, доносящееся из разных краев комнаты – «углов» – нельзя было сказать, и негде было укрыться, кроме шума из коридора ничего и никого нельзя было различить. Казалось ему, он чувствовал, что попал он в душную интеллектуальную атмосферу, – помимо ароматических воскурений и табачных незнакомых запахов в воздухе было то несколько искусственное и застойное напряжение мысли и чувства, выдержать длительно которое трудно.

При свете свечи он видел какой-то только что нарисованный нетвердой рукой знак, причем рука тут же и исчезла вместе с ее обладателем, которого утянули в темноту несколько женских рук. По-видимому, художник, если это действительно был таковой, а не новогодний самозванец, пытался в едином символе совместить буквы A и Ω, то есть фактически «альфу» и «омегу», но вышло что-то в высшей степени невыразительное. Он увидел вращающиеся промельки на полу и, подняв глаза, разглядел наверху нечто серое, переливающееся и подсвеченное изнутри, как фонарь. По-видимому, там вращался еще один замысел того же художника. То была странная книга, серая поблескивающая шаровая книга под потолком. «Это что, осиное гнездо?» – отворачиваясь в отвращении, успел подумать он.

В цилиндрической комнате, в которой из-за огромности стены только угадывались в полутьме, собралось несметное сообщество. Пытался он скрыться в какой-то свет свечи из почти полной темноты, в которой существовали молодые бородатые лица, но не было ни угла в комнате, – она была безуглая. Потом по случайным разговорам он понял, что раньше когда-то, в начале двадцатого века, до революции здесь была огромная бильярдная. Потому-то в кружащейся комнате в каких-то отрывочных танцах и перебеганиях представилось ему, что он и они – в барабане огромного револьвера. В комнате бильярдно-револьверной он и блуждал, маясь, не находя, где остановиться. Хотелось выйти и уйти, но долго не удавалось, казалось, что и дверей не было здесь – в кружащейся комнате, – или они закончились, но свечи не выхватывали, не высвечивали огромной комнаты, которая вращаясь в темноте, выбрасывала, словно патроны, каких-то отдельных людей, которые выпадали из гнезд или вспышками света выстреливались в коридор. Чтобы вернуться оттуда уже другими лицами.

Так появились вдруг из освещенной двери и почти сразу скрылись в свечной темноте трое, по-видимому, друзей, – что подтвердилось поочередно и порознь – она ему шепнула во тьме – он узнал имена друзей, которые, рассыпавшись по комнате, все же привлекали внимание и перекликались голосами – их лица были похожи, хотя у одного была обрамляющая контур плоская бородка, – то были Бутягин, Лисицкий и Переулков.

23.

Он, конечно, поразился последней фамилии, показалось ему, что никогда такой не слышал, но ему пояснили, что Переулков – псевдоним одного известного в своем роде поэта, и тут же он вспомнил, что именно о Переулкове рассказывала ему Ira, и понял, почему их встреча с ним была неизбежной, и стал по-особому прислушиваться к резким и достаточно глуповатым репликам этого персонажа новогоднего действа, которое не имело сценария, и тем, возможно, сильнее тяготило.

Ira, представляя ему Переулкова издалека, сказала: «А вот это поэт Переулков – то есть он поэт исключительно переулков и ничего кроме». Переулков, по-видимому, не был согласен, но в темном шуме, царившем вокруг, сказанные слова тут же исчезали и забывались, и никто ни на кого не обращал внимания.

Переулков лез ко всем целоваться, и к нему, незнакомому, Переулков тоже порывался, но он успел отшатнуться, и поцелуй пришелся частично в пустоту. И в темноту, которой было в изобилии, правда, она прерывалась вспышками неверного света.

Поэт Переулков непрерывно бормотал что-то, и там различались старинные и весьма потертые от времени чьи-то шутки, но больше бросались и лезли в глаза, хотя так в полутемноте сказать, наверное, было нельзя, его личные неостроумные каламбуры.

Все переулковы каламбуры, даже тройные, были не привязаны ко времени и глуповаты, вроде: «Если брезжит в итоге сума, значит, сумма свела вас с ума», афоризмы были дешевого пошиба: «три к носу, два к уху» или «днем согнем, а ночью разогнем», «его дневная выручка была миллион, но на выручку к нему пришли люди», было и что-то более внятное, вроде, «остановись, прохожий, ты прекрасен», но тоже достаточно двусмысленное.

Иногда как резонер Переулков пытался изрекать что-то глубокомысленное: «Все идут в ногу со временем, один я не в ногу». Из угла, очерченного тенью и светом, безуглой комнаты спросили вдруг: «А если это шаги Командора?» «Да нет, просто шум», – ответил непонятливым Переулков.

Тем не менее будучи и значась, наверное, записным афористером, временами Переулков пытался что-то вещать, как он говорил, «не остроумное, но умное». Его не слушали, перебивали и исчезали в темноту, но временами насильственно ему удавалось собрать группу лиц, хотя и полупьяных, но временно покорных, и что-то им в их уши в течение трех минут внушить.

Переулков собрал наконец вкруг себя несколько случайных и сменявшихся в свете свечей женских в основном лиц и произносил что-то, торопясь, но важно-пародийным тоном, – понятно было, что долго никто здесь слушать не будет:

– Теккерей – сочинитель известный – сказал когда-то: «Романист знает все». Но я отвечу ему, хотя он меня не спрашивал: да нет, далеко не все, но все же автор уверен, что имеет право знать все. Пользуясь тем, что персонаж не может дать ему под дых за то, что тот лезет в чужую жизнь. Чем же может ответить реально персонаж? Он может ответно изображать своего творца и мучителя. Хотя бы с проблесками и отсветами в осколках зеркала увидеть его бородатое или бритое лицо. Легко представить, что Анна Каренина может попытаться описать, рассказать личную жизнь Льва Толстого.

И почти сразу было слышно, как Переулков в другом уже месте говорил, но непонятно кому, потому что вокруг было в основном темно: «Сон приснился мне: Керенский в женском платье вместе с женским батальоном, одетым в гимнастерки, обороняет баррикаду у Зимнего дворца». Никто Переулкову не ответил, впрочем, разрозненный шум стоял такой, что не мудрено.

Слышно его было урывками, и непонятно было, обращается ли он к кому-то или продолжает сам с собой свою беспрерывную болтовню: «Вы спросите, в честь чего назвали когда-то Горную академию именем И.В. Сталина? Отвечу: в честь того, что он был уроженцем города Гори и горный был человек вообще... да к тому же ректором там был Терпигорев, и от академии отделился с неизбежностью институт стали...». Никто не слышал его, а если и улавливал, то придавал не больше внимания, чем шуму вина, льющегося рекой.

Переулков иногда просто говорил куда-то в темноту, что-то бормоча оскорбительно-бессвязное. В углу стола уже пьяно произносил нарочито заплетающимся языком один из своих ворова-то-двусмысленных афоризмов, что-то вроде: «Да она умна до мозга костей». Хотел он переспросить Переулкова, чтобы понять, о чем он, но Бутягин и Лисицкий его опередили, хором заявив, что Переулков сейчас просто врет, впрочем, как и всегда.

Все же он зачем-то спросил Переулкова:

– Вы правда поэт, то есть певец только переулков?

– Не понимай лихом, – пробормотал Переулков, нетвердой походкой удаляясь в соседнюю темноту, в темный проем без двери, осыпанный бенгальскими искрами. Но долго был слышан сквозь шум толпы его удалявшийся голос, напевавший что-то вроде:

– Мы едем, едем в Э́дем...

И кроме громкого, но довольно бессмысленного Переулкова ничего и никого нельзя было различить.

Переулков, завидя проходившую Iru, в последний раз встрепенулся, переходя с шепота на громкий возглас: «Красна девица, выдь на крыльцо, у меня для тебя есть красно словцо». «Мать всех богинь, нас ты в беде не покинь», – доборматывал свое Переулков, явно стремясь произнести в слове «беде» первое «е» как «и». Ira вздрогнула и отвернулась. Он замахнулся на Переулкова, но рука его в резком движении почему-то пожалела пьяного, и он просто толкнул того. Переулков как-то нелепо перекатился через стул, свалился на пол, намеревался подняться и что-то сказать, но мгновенно уснул. Мало кто из окружающих что-то слышал или придал значение, но Ira сказала:

– Пойдем, мне уже хватило, да и голова от вина разболелась.

Они разыскали свою одежду в прихожей – не без труда: все шубы лежали вповалку, и незамеченные никем и никем не остановленные вышли на новогоднюю улицу. Выйти на улицу по скользкой лестнице оказалось почти невозможно, – не успев перекрестить рукава шарфа на горле, выпихнув себя сквозь дверь подъезда на слякотную и морозную новогоднюю московскую ночь. Зимняя влажная свежесть отдавала новизной и почему-то прелью и прелестью осенних листьев. Рядом с ними оказалась и часть их новогодней компании, тоже не сговариваясь выбежавшая на улицу. Они все шли какой-то дружелюбной гурьбой, распевая обрывочные песни, а он думал, что так давно не бывал среди людей не как тот, кто ставит непонятные эксперименты на себе и других, но один среди возможных друзей. И с друзьями Iry он все же брел сквозь брызги новогодней слякоти, каждая блестка которой переливалась и угасала под галошами такси, и не было острей этой тупой тяжелой боли без времени.

Но Ira быстро уходила вперед, и они теряли связь с остатками компании. Еще из переулка доносилось нестройное – пел молодой («новогодний» – сказал он сам себе) незнакомый голос снизу из глубины ледяного переулка, не Переулков ли очнулся? – «Гимназистки румяныя, отморозки чуть пьяныя», но они уже миновали Садовую и шли наискосок через ослепительные, хотя и редкие взрывы петард, пробираясь и выходя к Угловому.

Он хотел позвонить по мобильному и поздравить хотя бы Осли с праздником, но Ira стремилась так же прямо вперед, и он боялся отстать от нее. Новогодняя карусель в круглой огромной комнате словно бы выбросила их на улицу, и они центробежно удалялись от всех, причем он едва поспевал за обгонявшей все время его Iroi.

Он вспомнил вдруг смутно отрывок из «Войны и мира», где говорилось о некоем Билибине, разговор которого постоянно пересыпался оригинально-остроумными фразами, да и говорил он

лишь тогда, когда потом могли бы сказать les mots de Bilibine. Но сравнение с Переулковым было лишь отдаленным, потому что самозваный поэт сам постоянно нарывался на скандал и рвал постоянно то, что только-только устанавливалось где бы то ни было. Пытался он сказать об этом Ire, но она его не слушала, да и говорил он ей как-то в бок, постоянно отставая от нее, стремившуюся по ночным, но полнолюдным снежным улицам.

Все же он смог произнести ей вдогонку:

– Знаешь, я увидел в Переулкове свое отражение.

Она не повернулась и сказала ему на ходу:

– Но если зеркало кривое, что ты там увидишь? И думать забудь.

Они достигли ее дома уже в четвертом часу. В прихожей она вдруг повернулась и обняла его, – он подумал: «обняла мое пальто», – и долго смотрела ему в глаза своими темными в полутьме очами, словно припоминая, кто он.

Она замерзла, и он поставил чай, но еды почти не было, холодильник был пуст. Все же она принесла ему что-нибудь поесть, и он ел вместе с ней, хотя почти один, – она ничего даже не попробовала, – из плошки винегрет, политый каким-то простым маслом, ему хотелось назвать его древесным или деревянным, и тонкий прямоугольник черного хлеба с темной каймой. После шампанского простая вода и чай действовали отрезвляюще и унимали холод этой новогодней, но несколько бестолковой ночи. Привыкший во всем разыскивать какой-то смысл – может быть, мнимый, – искал он его и здесь, но не находил.

Вдруг Ira произнесла:

– Не поверишь, но буквально вчера я обнаружила обрывок окончания своей давней статьи – рецензии на вышедшую книгу стихов Переулкова, я помню отрывок по памяти, хотя и засомневалась вчера, я ли все это писала: «Критически мыслить – святая обязанность интеллигента. Но надо видеть просветы во всем, иначе связь с будущим будет утеряна, утрачена. Поэт П. радоваться бытию не умеет, он и в раю будет Богу делать замечания».

24.

Зимняя сессия наступила. Надо было сдавать и принимать экзамены, и самое сложное, хотя все казалось теперь легким, как ему-Вертоградскому принимать экзамен у себя-студента? Можно было, конечно, проставить неявку, что он, собственно, и собирался сделать, а потом как-то так боком сдать в пересдачу или даже напроситься, что вообще-то запрещалось, напроситься сдавать экзамен в дом к самому профессору.

Все же удалось кое-как сдать с помощью Iry большую часть предметов, оставив за собой несколько тянущихся по земле хвостов. Оставался последний экзамен – именного его курса лекций. Но все миновало как-то неожиданно просто. Он-студент покружился в толпе студенток, пришедших сдавать экзамен, а потом исчез на мгновенье и уже явился в образе профессора Вертоградского. Все были настолько озабочены своими делами, что никто не замечал исчезновения или внезапного появления какого-нибудь студента. Поэтому, когда все разошлись, Вертоградский просто проставил себе отметку в студенческую зачетку незнакомым или слегка изменившимся почерком. Не долго он думал, какую поставить отметку, и поставил осторожную «четверку», – здесь была несомненная правда: именно на «хорошо» он оценил знание своего предмета самим собой. Что не требовало пояснений, поскольку курс его был настолько спонтанно созданный, временами угасавший, но все же возрождавшийся, что нельзя было его зачесть как нечто вполне состоявшееся. Но и как небывшее тоже нельзя. Со студентками во время экзамена Вертоградский вел пространные беседы, задавал философские вопросы, которые не подразумевали прямого ответа, ставя их иногда в недоумение. Некоторые студентки демонстрировали удивительные познания в эстетике и искусстве, так что ему приходилось порой скрываться как бы из виду за туманным занавесом из каких-то футуристических заявлений или заданий. С некоторыми он обсуждал всерьез возможность написания здесь на экзамене небольшую книгу воспоминаний о вчерашнем

прошедшем дне – в свете представлений лекционного курса. Тем самым ставя некоторых в тупик, но милостиво подсказывая, какими штрихами можно это создать, – при этом он апеллировал к своим словам, которые он якобы произносил на лекции, и ему доверяли, поскольку запомнить их было сложно, а конспектов лекций как таковых не существовало. Когда ему отвечала Ira и еще одна студентка, он задал им один и тот же дополнительный вопрос: что означал исторический повтор – через много веков, – а именно изгнание музыки Платоном и разрыв Ницше с Вагнером. Он думал, что они откажутся отвечать, и он с облегчением поставит им вполне заслуженные «пятерки», но они отвечать начали, и он с изумлением обнаружил, что не знает и сотой доли того, о чем говорили они, перебивая друг другу и в то же время словно помогая своими голосами.

Но после всех уже экзаменов и тревог друг его Осли, запинаясь и извиняясь, спросил его, не попробовать ли ему взять нечто вроде семестрового отпуска? «Твой курс оказался слишком заоблачным... – смягчал он свою речь, – и поэтому непонятным». «Да, именно к чему-то подобному я тебя и призывал, но все же не настолько». «Может быть, студенткам надо подрасти... и тебе подумать и через год продолжить уже на новом уровне и с совершенно новыми силами».

Такая весть совпала со словами Ira, которая однажды произнесла то, что говорила когда-то ночью, но сейчас совершенно спокойно и при свете дня: «Я ухожу из университета». Верт – так она его однажды назвала, но больше не повторяла, с надеждой спросил: «В знак протеста против моей отставки?», но она его разочаровала: «Ну, во-первых тебя не отставили, а лишь отправили собраться с мыслями. Что полезно тебе: будешь ходить по лесу и, как грибы, собирать в одно лукошко разбросанные мысли. Но самое главное – я сама собиралась уйти оттуда». – «Уйти оттуда, но куда?» – «В большой мир – в настоящий универсум – там мои университеты, и там я буду основывать свой новый университет». Все это звучало высокопарно и совсем не похоже на нее, о чем он ей и сказал. «У тебя научилась, – отвечала она, – но вообще это ты меня настропалил, ты мне указал путь-дорогу, за что тебе благодарна, кое-какие мои мысли ты подтвердил, и я решила – пора». – «Но куда же ты двинешься? Что ты умеешь? Я ведь этого не знаю». – «Я сама про себя многое не знаю, ну а ты тем более. Знаешь, например, сколько мне реальных, а не кажущихся лет, только не говори ерунды вроде “на сколько кажется, значит столько и есть”». Вертоградский осторожно произнес: «Знаю, что ты уже где-то училась», – здесь он напряг память и вспомнил какие-то разговоры, перешептывания еще тогда на первых занятиях в Гум.университете, – «года двадцать два, наверное», – он произнес это искренне, потому что видел, что Ira давно уже ушла из школы, но выглядела свежо и можно сказать зелено. «Мне двадцать восемь, как и тебе в твоем нынешнем фальшивом студенчестве». Это число как-то удивило его – такое совпадение, если она говорила правду, а она тут же ему предъявила паспорт, хотя он совсем не просил, – некоторым образом они оказались ровесниками, но, главное, она оказалось гораздо старше, хотя внешне никак предположить это было нельзя. Вдруг он увидел перед собой женщину, которая многое пережила и, главное, передумала, а в том, что она думает и мыслит быстрее и интенсивнее, чем он, он усомниться не мог. «Зачем же ты вообще вступила в этот университет?» – все же спросил он. «Чтобы найти единомышленников, наверное». – «Ну и нашла» – «Одного, да, – улыбнувшись, сказала она – Но в основном все же единомышленниц». – «Где же они?» – «До времени тебе не надо их видеть», – сказала она. «Что же это, тайное сообщество?» – «Вроде того, но те, кто входит в него, не подозревают об этом. Я не собираюсь всех собирать в какую-то партию или даже кружок. Все единомышленницы должны сами почувствовать, где их место. Это ненасильственное притяжение». Он все же мало что понял и спросил ее. «Я сама не все понимаю. Но я должна совершить некоторые действия. Мне, по-видимому, придется двинуться с насиженного места. Не знаю, может быть, и тебе придется что-то совершить не совсем привычное. Ведь ты, как я поняла, хотя почти не знаю ничего о тебе, – впрочем, как и ты сам, – по натуре домосед. Но предстоит стать другим».

В разрозненных чувствах подходил он к концу января. Жизнь его еще раз менялась, и он не знал, что делать с ней. Ел он иногда, как во сне. Чем-то занимался и что-то писал. Но начинал понимать, что чем бы он не пробовал заняться, по первому ее зову он сменит тему и вообще готов изменить свою жизнь еще и еще раз по мановению ее руки.

25.

Он думал о том, что Ira легко разгадала его загадку: она поняла, что хотя ученик и учитель в нем разделились, но в белой аудитории стали одним. Теперь она сама загадала иную и по-другому: кем могут они стать друг для друга? И куда надо пойти, чтобы найти это? Можно было ее понимать как прямое задание, но также и как тему для разработки неслыханной проблемы, которую он бы поставил перед ней как перед своей ученицей. Еще в декабре слово «роща» пронеслось и прошумело перед его мысленным слухом. Сейчас, возвращаясь, к нему, он представлял его как заснеженное огромное дерево, составленное из многих деревьев, но знал, что с первой оттепелью она направит его разыскивать траву или еще что-то. Ему казалось почему-то, что в сельхозакадемию, хотя она не говорила этого. Задание выглядело нелепым, она сама не могла ответить на его вопрос, в чем состоит задача, что она от него хочет. Она и сама этого не знала, во всяком случае, не знала, что ему надо оттуда принести. Задание «пойти туда, не знаю куда», хотя она почему-то отчетливо его описала, сказав что-то о зеленой траве, но и только. Было совершенно непонятно – и ей в том числе, – почему она так определенно все говорила.

Пытался он выведать у ней, что же ему делать, но она при всей своей премудрости призналась, что не знает, действительно не знает. Что все может проясниться только, когда он пойдет туда и потом расскажет ей. «Что расскажет?» – спрашивал он. Но Ira отчетливо дала ему понять, что невозможно всего предугадать заранее и распознать, что означает след интуиции, которым она руководствовалась.

И вот, как только пригрело солнце и снег стал постепенно сходить, он решился выйти на задание (он поглядывал и – не откроется ли то перламутровое блюдце на крыше, хотя бы краем, но там снег был глубокий и был в основном целый день в тени, так что февральское солнце было для него еще слишком слабым). Но внизу местами снег протаял и глянулась прошлогодняя трава, кое-где казалась даже с травинками зелени. Он пошел туда пешком, благо что они тоже жили ближе к северному полюсу Москвы. Так что до Тимирязевской академии он рассчитывал добраться засветло. Про свои студенческие обязанности он словно бы забыл сейчас, полагая, наверно, неявно, что есть более важные жизненные упражнения, которые он не может не выполнить. Почему он шел на Irino задание, он не знал.

Шел он вначале строго на северо-запад, ориентируясь по солнцу, которое в тот еще зимний, но теплый день сияло. Приходилось, конечно, учитывать кривизну улиц и обходить углы. Он полагал почему-то, что такие препятствия, хотя и мелкие, входят в сложность задания. Где-то после полудня – быстрее, чем он ожидал, он достиг места своего назначения. Он почти не сомневался, что он находится именно здесь, не решаясь, впрочем, спросить. Но многочисленные памятники людей говорили сами за себя.

Мог он подумать, что это ее каприз, но он и каприз ее сейчас бы исполнил.

Шел он сейчас по прямой аллее меж лиственниц, и вдруг подумал, что, может быть, это улица «Лиственничная аллея», – он знал, что такая улица есть, но не знал где, и вот, наконец, возможно, он попал именно сюда. Некуда было посмотреть, чтобы увидеть название. Да и некого было спросить, хотя людей прогуливалось во все стороны довольно много, но все были заняты собой, и он не решался спросить. Некоторые переговаривались между собой, но у него сейчас было другое задание. Поэтому он старался не отвлекаться на разговоры, а разгадывать и вглядываться в смысл неизвестного задания. Только одну фразу он запомнил – человек с элегантной бородой сказал двум сопровождавшим его дамам: «Не помню, в котором веке это было».

Дойдя до конца аллеи, – путь был неблизкий, он повернул назад и стал прогуливаться в обратном направлении, – он решил, что будет и дальше так поступать, пока случайно не натолкнется или не набредет на смысл. Дорога обратно шла немного в гору, и он мог легче оглядываться по сторонам. День был светлый и теплый, повсюду пробивалась из-под снега прошлогодняя трава, и везде встречались ему одиночки и целые группы студентов и студенток, которые время от времени исчезали среди сельскохозяйских угодий и различных зданий института.

Так дошел он до места, откуда он начал свой первый путь, и хотел уже повернуть назад в аллею среди лиственниц, как вдруг внимательно взглянул на довольно большой памятник, который видел и первый раз, но как-то не придал ему значения и не обратил особого внимания. Сейчас он подошел к самому постаменту. Листья и колосья, каменные, но гибкие на барельефе склонялись к ногам высокого человека. Но не это вначале привлекло его взгляд. Само имя на памятнике прозвучало странным отголоском, – оно звучало откуда-то издалека, но вначале из недавнего прошлого, можно даже сказать недавнего настоящего. Среди проходящего компьютерного мусора, сквозь который он иногда сознательно летел в пространстве и даже в некотором роде космоса интернета (так он иногда сам определял это темное, почти черное, но влекущее пространство) он случайно натолкнулся на какое-то объявление. Там говорилось о совместном российско-японском проекте «Совершенствование технологии выращивания гречихи», – там было много участников от японской и взаимно с российской стороны, но он запомнил только одного, вернее, только один, потому что речь шла об институте: «Всероссийский НИИ фуражных культур им. Вильямса». Особенно его вначале поразило слово «им» – и он подумал тогда: «кому это им», и только потом разглядел точку в конце и понял простейшую вещь, что это просто означало сокращение слова «имени». Но имя запало в память, и теперь вглядываясь в памятник, он, кажется, понимал и кому «им» это было. Памятник был посвящен создателю травопольной системы, – полузабытое название, – то есть ему, но «им» появилось как ошибка, – быть может, в знак признательности от многих культур земледелия. Благодарные травы и другие растения склонялись к его ногам. Стоял этот огромный памятник, но в оставшейся с осени листве, сперва незаметный, и словно травы на постаменте склонились к манжетам его брюк, у самых каменных башмаков в знак бесшумной благодарности.

Он сделал несколько шагов в сторону и очутился среди редких сейчас растений, среди белых еще от снега яблонь и вишневых деревьев и почему-то вспомнил прочитанную еще в школьные годы, но почему-то затверженную тогда наизусть выдержку из произведений Мичурина: «Сорт вишни Надежда Крупская произошел от скрещивания вишни Идеал с вишней Краса севера». Подумал он, что Ira посылала его куда-то на север Москвы, чтобы он видел эти растения, эти травы и ветви. Вспоминал он невольно о зимнестойких сортах груш с женскими именами, о которых помнил смутно. «Дочь Бланковой» – одно было из таких, хотя он не был уверен. И даже, кажется, «Кармен», рожденная от скрещения этой самой груши «Дочь Бланковой» и английского сорта «Вильямс». Он вспомнил даже определение качества этой первой груши – «с полутающей мякотью».

Он снял мягкий снег с ветки одной яблони и сжал в руке. Этот комок стал каким-то белым текучим плодом в его руке. «Весна на носу, – думал он, – все вокруг теплеет», а наши отношения с Iroi становятся странно-прохладными. Она не приходила больше в университет и не сопровождала его, хотя ведь и он-студент тоже появлялся там все реже и реже. Как учитель он исчез оттуда окончательно, все же попытавшись еще раз поговорить об этом с Осли. Но тот при всей дружбе не мог ничего поделать. Единственно, тот обещал, что если уляжется несколько скандальная ситуация с его преподаванием, можно будет опять спросить, надеясь, что все немного обо всем забудут.

Сейчас он, несмотря ни на что, немного тосковал без той профессорской трибуны, без девичьих взглядов, которые он ловил иногда на себе, – словно солнечные зайчики, они были неуловимы, и все-таки теплый осенний свет оставался от них на лице. Теперь он был только студент, Ira ушла оттуда и, подражая ей, постепенно оттуда уходил и он.

Ira все больше погружалась в неведомую ему деятельность, причем интенсивность ее работы становилась все больше. Она вначале брала его на некоторые собрания, но там были в основном, а потом и полностью девушки и женщины, и его присутствие само собой становилось неуместным. Он помнил то отчетливо прочитанное им этой осенью высказывание о римской богине, которую называли Доброй, а в других странах по-другому, и на тайные собрания, посвященные ей, мужчины не допускались. Греки говорили, что она та из матерей Диониса, имя которой нельзя называть.

26.

Наступила весна, и он понял, что вслед за Iroi окончательно ушел из университета. «Подался в мир», – как он прошептал сам себе. Но что значил для него этот мир? Он даже не решался войти в свободный мир интернета. Соцсети казались ему ловушкой. Хотя он их просто не знал. Он знал только, что Ira находится там постоянно, и чуть ли не миллион друзей – мнимых, конечно, и виртуальных у нее там есть. Но для себя – он не мог туда войти, словно опасаясь за свою эзотеричность – как он говорил про себя. Выдаст секреты Полишинеля, о которых, ему казалось, знали только Ira, Осли и он.

С Женскими курсами он расстался, и все же жалел. Лица слушательниц являлись ему явственней, и он мог различить их черты. Он мог бы даже лицо Iry, как ему казалось иногда, описать, но все же он не мог к этому подступиться. У него теперь было больше времени, и он мог что-то делать и по своей работе. И продолжить «эстетические заметки», как он их называл, рассматривая с изумлением свои наброски, иногда с трудом разбирая их, которые он делал впопыхах, готовясь к лекциям. Студент и профессор, которыми он был, стали теперь призрачными фигурами, но все же он чувствовал их присутствие, они неподвижно стояли по сторонам его стола вроде почетного караула, пока он что-то и не поднимая головы быстро писал за столом.

Он больше времени теперь проводил в квартире. Ira с утра до вечера отсутствовала, хотя почти не говорила ему, где она бывала. Лишь один раз спросила вскользь как бы в ответ на его вопрос, есть ли у него паспорт для заграничных поездок. Он часто смотрел за окно, когда поднимал взгляд от своих заметок. И видел, что снег уже сошел. И почти без сожаления – он сам поразился такому спокойствию – увидел однажды, что крыша гаража очищена от снега, – тусклая темная крыша под солнцем, но блюдца там уже нет. Где-то в снегах исчезла, наверное, разбившись, тонкая перламутровая скорлупа, но он и это простил Ire, вернее, он почти не думал о перламутровом блюдце, а если и думал, то без сожаления.

Он мог иногда теперь даже фиксировать свою мысль, чего последние полгода ему почти не удавалось делать – настолько он был погружен в хаотические разрозненные действия. На кухне сквозь стеклянные створки шкафа сверкнула как-то на солнце новая сковородка – сверкнула, потому что на ней никогда ничего не жарили. И появилось невольно имя Сковороды. И словно поджидало его это изречение Григория Сковороды: «Любовь – порождение Софиино». Но его тут же повлекло другое высказывание этого мыслителя – известное настолько, что пародийно переиначено было много раз, он помнил только один вариант, неизвестно кому уже принадлежавший: «Мир меня ловил и поймал».

Однажды утром неожиданно зазвонил его мобильный телефон. И он почти сразу узнал голос Скукогоревой и приложил все усилия в начале разговора, чтобы не выдать свое удивление, – откуда она только узнала его телефонный номер? Она звала его на какой-то студенческий вечер, и ему было немного лестно, что красавица Вера Скукогорева, которой он, кажется, нравился, вспомнила о нем. Но он был сейчас в совершенно другом пространстве, и он как-то невнятно мял разговор, говоря о том, что попробует, но не может прямо сейчас, чуть не добавив «по семейным обстоятельствам». Она спросила, не болен ли он, и он сказал, что да, немного болен, и это было отчасти правдой, – все утро у него болел зуб мудрости, и он подумывал, что с ним делать.

В это время раздался входной звонок, что было совсем уж редкостью. Скукогорева тоже услышала звук звонка в телефоне и немного заторопилась, хотя ей не хотелось прощаться. Он обещал звонить на ее просьбы, хотя туманно, и пошел открывать дверь. При открывании мелодично и тихо прозвучал фарфоровый колокольчик, который слегка задевала дверь. Оказалось, что пришел запыхавшийся курьер, который все еще не мог уровнять дыхание, взбегая наверное по лестнице. В руках его было письмо для Iry.

В том конверте – он почувствовал сквозь плотную закрытую оболочку – была, вероятно, какая-то книга, притом, по-видимому, толстая и из разряда умных. Он подумал, что вот пришла весть из широкого мира о том, что Iroi интересуются и, быть может, зовут куда-то, так что стены этой квартиры для нее становятся тоже тесны, но что же будет с ним?

Она ничего ему тогда не сказала о его том задании, и сам он не спросил. Он так и не понял, сумел ли он выполнить то, что она и сама не могла выразить. Все же ему показалось, что она осталась им не совсем довольна. Но она ничего не говорила, да и чувствовалось, что не смогла бы определить точно, что ей хотелось сказать.

Он пытался ей предложить свою помощь и по хозяйству и в каких-то мелочах, но она как будто ни в чем не нуждалась. Он даже спрашивал, не нужны ли ей деньги, но она только повела головой. Ему было ясно, что средства ее не оскудевали. Участвовала в этом ее полумифическая тетка или непонятные фонды способствовали, – она о них иногда и вскользь упоминала, – связаны были они с поддержкой женского движения и гендерных исследований. Или, может быть, все вместе как-то складывалось, но она никогда ни о чем материальном не упомянула. Он сам со стыдом обнаруживал себя просящим у ней – правда, самую малость до ближайшего ежемесячного поступления.

Последнее время она приходила домой чрезвычайно поздно, – так поздно, что он ждал ее уже в полной темноте. Они встречались, словно тени, в его комнате. И только ночью он знал, что она с ним. Но свет разгонял эти иллюзии, – она вставала необычно рано и уходила словно бы на работу из дома и от него. Он пытался все же как-то удержать ее вопросами, но она часто уже почти не отвечала. Все же один раз она сказала, что раз он большую часть времени проводит дома, то может помочь разобрать ее архив.

Произошло это после утреннего, редкого теперь разговора. Она утром не ушла из дома, и он, стоя против апрельского уже солнца из окна, спросил:

– Что-то изменилось?

– Что? – она ответила не сразу, взглянув на него в какой-то полуулыбке.

– Почему ты со мной не разговариваешь?

– Я разговариваю.

– Но тогда в чем дело?

– Я должна что-то говорить?

Апрельское солнце било ему в глаза, но он как-то не решался сдвинуться, – она стояла прямо перед ним и смотрела ему в глаза.

Это утро было сразу после его сновидения, которое он попытался сейчас кратко ей пересказать, но понял, что она почти не слушает его. Ему снилось, что они с Iroi шли по ночному музею и шли не вместе, а как будто параллельно по идущим рядом галереям, которые иногда приоткрывались друг другу сводчатыми проходами. Они видели поэтому время от времени друг друга, но в полутьме, и каждый раз лицо ее немного менялось. Стены музея были увешаны картинами, – они были едва различимы из глубины теней на стенах, но несомненно, что здесь были шедевры, хотя и ни одной картины он раньше не видел. Он знал, что все эти картины одного художника Ван Рейна, но к Рембрандту художник не имел прямого отношения, знание было выше всяких слов, а так как дается во сне с несомненностью, но без объяснений. То был какой-то нескончаемый музей, и сон был также нескончаемый, но его разбудил банальным звонком будильник Iry, которая вставала очень рано. Но в то утро она работала за компьютером, потом подошла к одному из шкафов, которые были всегда закрыты. И тогда она вдруг предложила ему посмотреть ее старые бумаги.

Он был рад даже этому, потому что она давно его ни о чем не просила. Он сказала, что надо начать смотреть только один, только первый шкаф, и открыла нижние створки маленьким ключом, который был у нее в сумочке, вероятно, она носила его всегда с собой. Ira просила просмотреть и разобрать все ее старые бумаги – в этом шкафу хранились ее самые старые, древние – как она сказала – бумаги и записи. «Здесь много случайных вещей», но ты рассортируй все по папкам, очевидный мусор тоже в отдельную папку – она будет наверняка самая большая, но без меня ничего не выбрасывай. Я сама потом быстро взгляну и, если надо, – почти наверняка, – выброшу.

Она ушла днем, и он решился открыть этот шкаф – нижнее отделение, которое оказалось заполненными уже местами пожелтелыми бумагами, какими-то вырезками из журналов, газет, случайными объявлениями других времен, почему-то схваченными ее рукой и перенесенными

сюда. Это были даже ее некоторые школьные тетради, какие-то робкие ученические рисунки. Оторванная обложка книжки советских времен под названием «Идолы и идеалы». Несколько последних страниц из одного из первых переведенных у нас дамских романов. Листовка, наверное, поднятая с пола вагона метро, потому что на ней, как отпечаток доисторического папоротника, смутно проступал рифленый ботиночный след – листовка с изображением Марии-Дэви-Христос. Объявления более молодых времен, многие из которых попали из интернета: реклама женских часов «Пандора»; средство, позволяющее, как было напечатано, «избавиться от храпа навсегда», что заставляло вспомнить о лучшем средстве от перхоти; объявление о самогонном аппарате «Добрыня» и т.д., и т.п. Были там и совсем уж странные материалы, распечатанные из электронной почты (не Переулков ли их фабриковал и рассылал?): анонс об открытии молодежного интернет-театра “blin@com”, реклама театрального же кафе «Синяя пицца МХАТ», еще одного кафе «Амур да Марья» и многое другое.

Последнее название показалось ему почему-то знакомым, он не встречал такое кафе, но подобное парное мужское и женское имя где-то существовало, и потом в памяти явилась пара Дунай и Настасья – начало двух рек (или один из них стал кипарисом?) в том месте, где встретились и, может быть, вместе погибли герой и героиня древних преданий.

27.

Несколько дней он на полу занимался разбором ее бумаг, наконец, он оторвался от пола и огляделся по сторонам. И увидел, чуть ли не впервые, слегка запыленное пианино. Он потрогал его и смахнул с него пыль фланелью. И увидел другие шкафы, которые были замкнуты. Выходя из комнаты, подумал, что и пианино, наверное, закрыто на ключ.

Ira намекнула ему, что поскольку вечером дома ожидается исключительно женское собрание, то лучше бы ему куда-нибудь вечером удалиться. Хотя бы на время. Он даже рад был появиться вновь на улице, поскольку последние дни совершенно стал архивным юношей, хотя и выйдя сейчас временно из студенческого возраста. Может быть, потому что он увидел сегодня фортепьяно с закрытой крышкой, ему захотелось услышать музыку. И он поехал в консерваторию наобум, совершенно не представляя, какой концерт там сегодня ожидается, да и ожидается ли что-то.

Оказалось, что вечером в консерватории должен был выступать известный пианист. Русского происхождения, московского музыкального образования, но живущий давно за границей. За билетами в кассу, он сразу почувствовал, подходить было бессмысленно. Всюду спрашивали лишний билет. Отрешенный, он стоял молча у памятника, понимая, что и так в апрельский вечер хорошо стоять на свободном воздухе, и можно просто и долго молча простоять рядом с музыкальным дворцом. Молодая женщина подошла к нему, и немного вглядевшись в него, вдруг спросила:

– Вы не лишнего билета ждете?

– Да, именно его, – ответил он, невольно улыбнувшись, в такт вопроса.

– Я ждала подругу, но оказалось, что она сегодня не может. Так что возьмите.

И она оторвала от пары билетов один.

– Сколько я вам должен? – спросил он, поняв, что вряд ли осилит эту цену, потому что, судя по всему, билеты были не дешевые, а дешевых не было совсем.

– Нисколько. Это второй амфитеатр. Уж какие смогла достать.

Он почувствовал благодарность за ее слова, потому что понял, что даже если бы вынул все свои средства и добирался бы потом домой пешком, не смог бы купить билет. Никого из знакомых он не разглядел в огромной толпе внизу, на лестнице, и выше на площадках перед входами в зал. Девушка, подарившая ему билет, спросила сразу, как только они оказались рядом:

– Как к вам можно обратиться?

– По имени?

– Да.

Он сказал, и она назвала свое имя. И затем перед началом концерта она, вначале робея, но потом все увлеченнее, стала с ним говорить – то есть говорила в основном она – о музыке, о заезжем музыканте и о многом другом. Во время концерта он время от времени подымал взгляд и видел за высоким окном большого зала вечерние крыши и дальше высокую квадратную башню, на которой меняла цвет, наверное, рекламная кайма: белая, оранжевая, лазоревая, зеленая. Во время антракта он, сказав благодетельнице и соседке, что хочет выйти на улицу, подышать, понял, что с несомненностью должен торопиться и вернуться домой.

Собирался он уже двинуться вбок по улице, как его окликнули из толпы зрителей, вышедших покурить на теплый воздух. Он оглянулся и узнал, правда, не сразу, потому что не видел давно, знакомого регента из Илии Обыденного. Они обнялись троекратно. Тот обрадовался встрече и сразу попытался с ним обсуждать пианиста, мол – виртуоз, который высыпал в зал гору музыки, для этого и репертуар специальный подобрал вроде листовских трансцендентных этюдов. Сказал он, что торопится, но регент на прощанье все же успел произнести:

– Не доходишь, наверное, до Обыденских переулков. Что-то я тебя давно у нас на службе не видел.

Он, уже уходя, склонил немного повинно голову в сторону регента на прощанье.

Идя знакомыми, но забытыми уже переулками, он вдруг понял на минуту, что забыл, какое время года сейчас, и с трудом внушил себе, что сейчас его любимый апрель. Почему-то с равной вероятностью ему представилась и осень, и что он в юности и в октябре, и в апреле проходит опять по тем же своим следам на асфальте.

Придя в квартиру и осторожно открыв входную дверь своим ключом, он постарался, чтобы не звякнул, не прозвонил фарфоровый колокольчик у двери. Он сразу услышал приглушенный ее голос, шедший из ее комнаты. Сквозь вертикальную узкую щель едва приоткрытой двери в комнату был виден горевший экран компьютера, освещавший в полутьме силуэты сидевших на полу слушательниц. Іга говорила прямо в экран, так что ее речь была обращена, видимо, не только к находившимся здесь, но и по ту сторону экрана, возможно, многочисленным другим слушательницам, с которыми, наверное, связь поддерживалась по скайпу.

Он, стараясь не прошуметь, прошел в свою комнату и оставил дверь немного приоткрытой, так что некоторые слова и фразы все же долетали до его слуха. Он лег на диван и, смотря сквозь незакрытое шторами окно на светлый весенний вечер, слушал ее речь, доносившуюся как бы издалека и, как он подумал почему-то, не только из отдаленного пространства, но и времени. Отрывки предложений и слов слагались в некую повторяющуюся и монотонную череду, которая действовала на него умиротворяющее: «Универс... здание из воздуха... по всей земле... материнское право... строительство в движении... земля... женское сейчас опережает мужское... гибель неизбежна... если... не станет общечеловеческим пониманием...». Слова и слоги текли перерывистым, но все возобновляемым потоком, ему казалось, что некоторые отрывки он слышал раньше в ее речах или придумывал сейчас, все это журчание звучало как музыка, и он уснул.

Проснулся он среди ночи оттого, что ему показалось, что в квартире кто-то тихо рыдает. Он спал, как и прилег, в одежде, – сейчас он бесшумно поднялся и пошел, не зажигая света, к комнате Ігу. Дверь была полуотворена, и он понял. То, что он принял за рыдание, было тихой музыкой – Іга сидела в темноте за пианино и тихо, но внятно играла. Она не замечала его, стоящего у двери, – это была импровизация, – временами она немного сбивалась, видимо, давно не играла, но сейчас играла проникновенно и для себя.

Он стоял долго в дверях, зная, что она не слышит его присутствия, затем бесшумно вернулся. Этой ночью она впервые не пришла в его комнату.

28.

Не мог он заснуть и ждал ее и не знал уже, не болен ли он, холод проникал к нему, хотя вроде было вокруг тепло. Чувствовал он озноб даже под одеялом, и забылся лишь под утро. Снилась ему

аудитория под открытым небом, Ira в светло-зеленой блузе и прямой белоснежной юбке до земли, на песке у ее ног были красавицы-ученицы Скукогорева, Беренштейн и Дюкова. Временами ему казалось, что лица их соединялись, – то было одно лицо в огромных детских очках, сквозь которые смотрели глаза снизу вверх, на фигуру Iry, находившуюся над ними в вышине. В руке у ней было нечто вроде дирижерской палочки, которой она диктовала безмолвно ученицам, которые стилосом что-то чертили на песке. Он сам находился в отдаленьи, но взгляд его приближал к нему любое лицо. Самое удивительное было в том, что он не слышал, что говорила Ira, но все понимал несомненно, точнее, она движением своей правой руки внушала своим слушательницам и ему это знание. Не все он мог уловить, хотя речь ее неслышимая была плавна и гармонична и подобна музыке. Он внушала им, что Эрос (тут она подчеркивала, что надо понимать его как бы «с большой буквы») призван соединить множественность. Но вначале эту множественность надо создать. «Идите по земле, – внушала она своим несколько испуганным слушательницам, – их огромным и прекрасным очам, – иначе вам не создать множественность». Все же речи ее для него были странны, особенно поражало его, что он и присутствовал в большом воздушном пространстве, где происходило учеба, и в то же время никто его не замечал. Он пытался понять, и голос Iry, – причем она не прерывалась в своей основной речи, – вдруг властно проговорил, почти приказал, что надо покаяться ему в своей красоте. Он не понимал, что она имела в виду, но вот он уже на улицах ночной Москвы разыскивает храм сурового Ильи-пророка, чтобы попытаться исповедаться в грехе своей красоты. Он блуждал по Обыденским переулкам – 1-й, 2-й, 3-й – и не мог найти правильного пути, а спросить в пустынных этих местах было не у кого. Наконец он все же добрался до церкви, но ночные ворота были уже на запоре. Понял он, что надо дождаться утра, но шел холод с близкой реки, и он начал замерзать. Дрожь била его все сильнее, и он опустился на землю. Тут из одного из Обыденских появился Переулков и уверенными шагами, но словно бы ухмыляясь, подошел к нему, взял его руку, якобы проверяя пульс, потом положил руку на его лоб и в притворном ужасе воскликнул: «Да только посмотрите. Огонь – лоб у больного». Последнюю фразу повторил несколько раз, и затем достал из-за пазухи заготовленный заранее плакат, на котором были выведены эти слова, поворачивая его всячески, показывая, что с какого конца не читай, будет одно и то же: «огонь лоб у больного». И скорее от отвращения, чем от озноба, он проснулся.

Первое, что он увидел, – матовый свет, идущий сквозь стекло, и он подумал, что сейчас он в больнице с ее матовыми стеклянными дверями и окнами. Но потом стал понимать, что сейчас уже утро, и за окном такой плотный туман, что не видно ничего. Он чувствовал холод. И он увидел, что рядом с ним в ногах его сидит Ira.

– Ты кричал во сне, – тихо сказала она.

– Что же?

– Довольно бессвязно... по-моему, что-то о том, что тебе не в чем каяться... Но мне кажется, что ты болен... Да?

– Похоже на то... холодно... может, температура...

Она предложила вызвать врача, но он отказался, попросив лишь принести еще одно одеяло. Она закутала его или, лучше сказать, окутала новым одеялом, приготовила чай с лимоном, принесла разные лекарства. Он был благодарен ей, но попросил не касаться его и сесть подальше от него на диван, чтобы самой не заболеть.

Она не пошла сегодня никуда и сидела у его постели. Потом все же спросила о его сне, потому что раньше никогда не слышала, чтобы он разговаривал во сне. Он рассказал ей все в подробных деталях, потому что сон был необычайно ярким и стоял у него до сих пор в глазах. Она отнеслась к происходившему в сновидении серьезней, чем это наверное заслуживало. Только сразу и решительно отделила, буквально отстригла выход и выходки Переулкова. Он попытался ее спросить, хотя уже временами впадал в полусон, что же происходило вчера у ней. Но Ira почти ничего не рассказала ему, лишь намекнув, что были некоторые студентки из их общей группы, и поэтому ей не очень хотелось, чтобы они с ним встретились. Были и также и новые («вновьобращенные»,

как он произнес про себя, но не вслух), например, одна новая девушка Зина, но она только появившись тут же исчезла, ее даже пытались искать по квартире, но она, по-видимому, в страхе бежала. «Мнимая Зина», – подумал он и спросил ее:

– Зинаида – это ведь, кажется, дар Зевса? От «Зеус-эйдос»?

Ira ничего не ответила. Но у него, наверное, под воздействием образа обиженного Переулкова, которого исключили из сна, стали кружиться какие-то каламбурные варианты вроде «Мнимо-Зина», и наконец он впал в короткий сон, который сам назвал «Сон о Мнемозине». Он проснулся быстро, и она подтвердила это, но за эту минуту, буквально, ему привиделась фигура Мнемозины. К ней – главной хранительнице памяти, он обратился с просьбой, почти мольбой рассказать о пропавших без вести во время войны. Он сам не знал, почему был такой вопрос. Величественная и грозная фигура ничего ему не ответила, но словно бы пообещала ответить, но потом, дав понять, что лучше к ней обратиться в ночное время сна. Он проснулся и рассказал обо всем Ire. Она опять отнеслась к короткому его сновидению серьезно и сказала, что надо дождаться ночи, чтобы досмотреть сон до финала, потому что невероятно важно все же, что же скажет Мнемозина, а он, быть может, вновь обратится к ней – Ire – во сне.

Чувствовал он все же, что страшится немного своего сновидения, и даже не столько прошедшего, но страшится того, что сновидение повторится вновь. И сейчас, постоянно впадая в дневную дремоту, спускаясь словно бы по ступеням в сон, но никогда не уходя туда окончательно, ожидал он приближения этой призрачной фигуры.

Ira весь день работала в своей комнате, но время от времени приходила к нему. Он не видел никогда столь озабоченного и заботливого ее лица. Но все же ему казалось, что в ее внимании не только понятная обеспокоенность его здоровьем, но и не высказанное предложение о каком-то новом задании. Все предыдущие, как он предполагал, он не слишком успешно исполнил, если исполнил вообще. Возможно, именно неясный его разговор во сне направил ее устремление в эту сторону. Чтобы расслышать сквозь пифийскую сновидческую речь нечто важное. Хотя он думал, что его прерывистая ночная речь была отчасти робким подражанием тому речевому пунктиру, который он слышал приходящим из комнаты Iry во время девического вечернего бдения.

Вспомнил он и что-то из своего уже отдаленного опыта. Когда он еще бывал в своем научном институте и иногда засиживался там допоздна. И совсем поздно, когда все уже разошлись, он слышал иногда из коридора ритмичное неразборчивое бормотанье. Он знал, кто это был, – на верхней площадке лестницы на их этаже возникала приплясывавшая фигура человека, который с портфелем подмышкой, раскачиваясь на одном месте, что-то вдохновенно произносил, но отдельных слов в потоке речи было не разобрать. Да никто и не пытался, – то был сотрудник, невероятно одаренный, доктор наук, но все ученые заслуги были в прошлом, – его удерживали на работе, не увольняя, зная, что он иначе он лишится средств к существованию, пропадет. Сейчас тот пребывал в своем мире, но все же считал своим долгом приходить в урочный вечерний час и читать свою одному ему ведомую проникновенную речь в пустоту. Был безобиден – когда он проходил мимо него на лестницу, тот, улыбаясь, здоровался за руку и продолжал свою ему одному внятную лекцию, обращаясь только к миру и не надеясь на скорый отклик.

Неужели Ira хочет разобрать в его ночных невольных разговорах – они ведь вызваны мимолетной болезнью – что-то важное? Он подумал, что сам на лекциях временами уподоблялся бормочущему, который, вероятно, считает себя проводником какой-то благой силы и действует по ее внушению. Только на своих лекциях на ВЖК он чувствовал себя проводником и каналом отвлеченной человеческой оформленной, но не своей мысли. Он считал, что знания могут передаваться, как зараза, и, в частности, как он называл, воздушно-капельным путем, – думал, что так он передает знания слушательницам, когда в экстазе с кафедры видел в воздухе брызги своей слюны. Наверное, кто-то считал это благой инфекцией. Ведь утром он что-то прочитывал новое, а днем уже рассказывал это другим. «Утром в газете – вечером в куплете».

Но вдруг иная мысль его посетила – вызванная отчасти болезненным состоянием: можно ли другого заразить своим сном? Нельзя, но Ira, возможно, думала по-другому. Весь день она про-

была рядом с ним, уходя ненадолго в свою комнату, чтобы поработать и отправить письма. Под вечер она хотела прилечь рядом с ним, но он не позволил, опасаясь, что его болезнь перейдет к ней, – она и так уже набросила шаль себе на плечи, видно было, что ей холодно. Она, улыбнувшись, предложила даже лечь на диване валетом, – головой к его ногам только, чтобы быть рядом с ним, но он представил ее в странном отражении, – все невинные детали сейчас болезненно усиливались, – ведь когда она писала что-нибудь левой рукой, – а она писала в основном левой, хотя могла и правой, – ему казалось, что она отражается в зеркале, и голова немного кружилась, – сейчас в болезни, когда представил, что она будет его непрямым отражением в поверхности воды, разрезающим его пополам, и он попросил не делать так. Он на короткое время забывался сном, и короткие видения тут же отражали его мысли и образы на поверхности реальности: ему приснилось, что он Нарцисс, которому запрещено под страхом ужасного наказания глядеться в свое отражение, у него отобрали все зеркала и зеркальца, – вдруг он видит, что Ira режет зеркалом, словно ножом, режет правой рукой поверхность воды, и он думает, что видит ее отражение в зеркале, и в страхе просыпается.

– ...лучший способ исчезнуть из глаз современников, буквально надеть плащ-невидимку – это создать нечто новое, истинно новое... – он услышал только такой обрывок ее фразы, – Ira, наверное, не почувствовала, что он заснул на минуту, потому что тихо говорила в темноту, сидя в кресле, которое она пододвинула к дивану.

– Значит, ты полагаешь, что открытие не есть припоминание платоновское? – попытался он после паузы включиться в ее монолог, не показывая, что только что выплыл из сна.

– Да... либо это уж действительно настолько хорошо забытое старое, что стоит устремиться назад... за предел, чтобы обнаружить его.

– Тогда мы приходим к тому, что сумма знаний всегда существовала одной и той же, и нам надо только очнуться, чтобы ее узнать...

29.

Она сидела в кресле рядом с ним в глубокой вечерней темноте, он попробовал взять ее руку – она была холодна. Ira была укрыта шалью, и все же ей, по-видимому, легкий озноб словно бы передался от него. Он видел едва уловимый блеск ее глаз в скудном весеннем ночном свете, доходящим с улицы. И вдруг он испытал такой приступ какого-то проникновенного чувства – хотя шептал сам себе, что и так в эти дни он впал в пафос и в сентиментальность одновременно. Но не мог остановить себя. Почему-то ему представилось, что он должен раскрыться незримо в мир и пообещать ему свою открытость, и все клятвы: клятва Гиппократа, клятва Горациев, клятва Герцена и Огарева на Воробьевых горах вспомнились ему как оправдание.

Но вдруг, вот он идет по улицам пустынного интернета – идет с какой-то целью, но она все время ускользает от него. Ему кажется, что – в поисках какой-то вещи, дорогой для него вещи, которую потерял и утратил давно, но что это за вещь, он не помнит. И ему кажется, что он идет, чтобы вспомнить и узнать, что за вещь он потерял. В городе, необозримом, по которому он движется, нет никого из людей, лишь временами, когда он пересекает поперечные улицы, ему кажется, что кто-то быстро мелькает в других параллельных таких же улицах, но он движется неостановимо и не может задержаться, чтобы понять, какие люди или кто-то еще движется и живет в параллельных улицах и проспектах. Наконец перед ним вырастает огромное здание, похожее на гору, которое преграждает ему дорогу, и ему кажется, что это и есть цель пути. На здании начертаны буквы, которые он видит издалека, но разобрать не может, что написано, хотя каждую букву различает. Наконец неожиданно они соединяются в слова «Театр Памяти». Он понимает, что слышал когда-то давно это название, и пришло оно тоже из древних времен, и радостно идет к дверям, и видит начертанное изречение на входе: «Периметр звука – тишина, периметр света – пустота». Что-то знакомое ему чудится, и он понимает, что это слова, которые он произносил когда-то слушательницам на лекции, что это его слова, так что он чувствует, что это именно то место, куда он

стремился, хотя эти слова и написаны, словно они тоже пришли из давнего времени и существовали всегда. Он подходит к дверям, хочет взяться за ручку двери, чтобы открыть, но видит вдруг, что и ручка двери, и дверь, и сам фасад здания – только нарисованы, начертаны, словно буквы на какой-то огромной скале, которую он принял за дом, и тут же просыпается.

Он увидел на фоне ночного окна неподвижный контур ее лица и коснулся рукой ее руки.

– Зачем ты меня разбудил? – тихо спросила она.

– Чтобы узнать и увидеть свой сон, – сказал он совершенно неожиданно для себя. Она ничего не ответила, лишь пошевелилась немного в кресле, и лицо ее вновь стало неподвижным. Он захотел войти в ее сон и тоже почти сразу уснул.

Сон его был также болезненно-отчетлив, как и предыдущие, что он объяснял своей внезапной болезнью, потому что не помнил, когда видел такие яркие сны. Вот он сейчас пускается на поиски Iry или, вернее, в поисках ее сна, чтобы встретить ее там. На пути в другом уже, призрачном городе появляется фигура какого-то фокусника – что это фокусник, нет сомнений – в пестром халате. В руке у него пара темно-зеленых металлических шаров – такие, что привозят из Китая. Шары, перекатываемые, издают мелодичный звон, и фокусник говорит:

– Слышишь? «Инь» и отзывается «ань». «Ань и отзывается «инь». Женское – мужское, мужское – женское. А ты где?

Он хочет произнести, что он «между», но не может, но фокусник и так словно бы знал ответ и говорит тоже без слов, но так, что становится ясно: «Между нельзя».

Миновал он фокусника и пошел дальше на поиски Iry, ему почему-то казалось, что встретит он Мнемозину, как утренним сегодняшним сном, а она несомненно точно знает обо всем. Город был тот же, и все же не тот, – он искал театр, который встретил в предыдущем сне, но не находил сейчас. Странно, но ему казалось, что он может управлять своим сновидением, но, возможно, это была иллюзия сна, такая же, как виденные им временами в огромных окнах здешних домов просветы в дневную реальность. Он видел временами сквозь стеклянные прозрачные просветы витрины обычных московских магазинов, и это его успокаивало. Но было ясно ему, что обратно пока он не может вернуться. Он шел все дальше, улица стала медленно спускаться в городскую долину, и дома раздвигались, а впереди стал постепенно вырастать огромный светящийся холм. Он видел этот холм, который при приближении к нему медленно менял очертания и проступал в глазах огромным женовидным монументом. Вокруг которого – вокруг всего холма кружились полупрозрачные женские фигуры. На вершине сверкнуло нечто, похожее на знамя, но он подумал, что это обман здешнего зрения, потому что солнце из-за холма ослепляло. По мере его продвижения монументальный силуэт вырастал перед ним, – ему казалось, что это живая женская фигура, но совершенно статуарная и неподвижная, и он не знал, как к ней обратиться, ему казалось, что он не сможет докричаться до ее слуха отсюда, с такой глубины перед нею. Хоровод других женских фигур, словно малых планет, вращался вокруг этого центрального монумента, но хоровод – это кольцо тоже было на высоте, и нечего было и думать туда добраться или тоже докричаться до них.

Вдруг он заметил на плече Мнемозины – то, что это была она, он не сомневался, хотя убежденность была просто дана ему во сне и не требовала как будто подтверждения – еще один малый силуэт, который он принял вначале издалека за флаг или знамя, потому что солнце било из-за живого памятника богини Памяти и мешало что-то различить. Фигурка была столь малой, что вначале он, конечно, не мог различить ее черт лица. Но сейчас, почти у самых ног статуи, закутанных в хитон, он с изумлением стал узнавать ее лицо, – это была несомненно Ira, которая также несомненно узнала его, но смотрела все же вдаль, словно соблюдая предписанную ей обязанность быть также неподвижной и являть собой малое подобие Мнемозине, породившей муз, кружившихся где-то, словно диск Сатурна, у ее груди. Он опустил глаза, понимая, что не нашел Iru, и проснулся.

Солнце светило ему в глаза из-за окна, было уже утро. Он очнулся тревожный, но все же бодрый, но увидел, что Iry нет. Кресло было пустым, и он не сразу заметил белевшую на кресле записку на сложенном двое листке:

«Я тебя видела во сне, но ты был так далеко внизу, что до тебя было не докричаться, или ты не захотел меня увидеть».

Он подумал о невозможном: о том, что они встретились в одно и том же сне, который снился им обоим, но словно бы с разных сторон.

Утром он чувствовал себя лучше, хотя болезнь не уходила. Целый день он ждал Iru, но она не приходила. Вечером он забылся сном без сновидений. Среди ночи он пробудился, потому что ему показалось, что звякнул фарфоровый колокольчик у двери, и потом долго лежал без сна. Кресло было пусто, – он видел ночное стекло окна, но профиль ее не был на нем обозначен.

Утром следующего дня, когда он проснулся, то увидел ее, стоящую в дверях.

– Я вчера очень поздно пришла и не хотела тебя будить, сейчас мне надо уходить, если что-то срочно понадобится, то звони.

Она ушла. Он не понимал, что происходит с ней, что происходит с ним, но что-то сдвинулось и совершилось. Но он был слаб, чтобы думать сейчас.

И следующие дни она возвращалась так поздно, что он уже спал или почти спал и слышал только некоторые единичные звуки в квартире и в соседней комнате, – ему казалось, что здесь остался только ее звуковой контур, а она сама уже где-то не здесь. Утром она уходила, но заглядывала в комнату, иногда он притворялся, что спит.

Прошла неделя, его болезнь отступала, но медленно, пульсируя, иногда возвращалась, – наверное, это было какое-то осложнение. За окном уже длился май, и он не хотел, чтобы этот май уходил, потому что она все же была здесь. Она приносила ему еду и лекарство. Он уже даже немного работал за столом, но из дома не выходил.

Она появлялась из своей комнаты утром и недолго стояла в дверях.

Раньше, теперь когда-то давно она говорила иногда ему при своем уходе, улыбаясь: «Сиди тихо и не рыпайся», запирая его в комнате на ключ, чтобы он работал. Через несколько часов она возвращалась и требовала показать, сколько он страниц написал за это время. Сейчас она ничего не говорила и не требовала.

Он заходил в ее комнату, когда ее не было дома, и просто сидел, чтобы почувствовать ее едва уловимый запах – запах отсутствия. После того сна они не проговорили и пяти минут. Однажды, заглянув утром в ее комнату, он заметил в углу новый рюкзачок, словно бы приготовленный для путешествия.

На следующий день привычно сел он за стол и стал сперва что-то писать, но потом, вспомнив ее тихий уход, подошел к белой двери. Вначале он прислушался, но ничего не было слышно в квартире. Потом прикоснулся к двери и почувствовал, что она подалась. Но он не вышел из комнаты, хотя и не удивлялся уже, – все же какое-то печальное чувство появилось, – и он не смог уже работать за столом. Пытался он звонить Ire, но телефон ее был отключен. Выйдя на кухню, он не смог почти ничего есть. К вечеру почему-то он не зажег света, все ожидая ее. Он не мог ни читать, ни думать. Хотя понимал, что такое состояние ему знакомо, и он мог бы его предвидеть, но все же пытался ей позвонить. Но бесполезно. Телефон его тоже молчал, – никто не позвонил ему в тот вечер. Наконец, когда совсем стемнело, он, не зажигая света, прилег на ее застеленную темным покрывалом с тусклым узором кровать и задремал.

Его, наверное, мутило. За стеной, как ему казалось, колыхались глухие голоса и звучала музыка, возможно, меланхолическая мандолина. Ему чудилось, что вода попала в мандолину, и переливалась и звучала. И снилось, что он был на корабле? и кузов этого судна качается вместе с ним с боку на бок. В кузове, в надтреснутом кузове качается, качается черноморская или средиземная вода. И звучит и звенит за стеной под гитару и мандолину лирический голос: «Посажу я на земле сады весенние!» Поет водой рассохшаяся мандолина, солнце видно изнутри, и тревожащий и обещающий будущее голос убаюкивает его в детском сне: «Зашумят они по всей стране». Но не дает забыться полуобморочная полуночная тоска. Солнце видно изнутри, из трюма, из тюрьмы, и он еще совсем маленький спит и слышит на родительском диване: «А когда придет пора цветения, пусть они тебе расскажут обо мне», – на родительском кожаном диване с откинутыми валиками в ногах и в изголовье.

II

1.

Прозвонил фарфоровый колокольчик у входной двери, и он проснулся. Слышал он также словно бы еще сквозь сон легкий звук колес – телега ли где-то скользила по песку? «Наверное, надо подняться во сне», – подумал он и действительно проснулся и поднялся с дивана. Выглянув в коридор, заметил он краешек колеса, скрывшегося за угол. И пойдя вслед за ним, вдруг увидал дальше пространство, которое, казалось, здесь никогда не подразумевалось. Дверь, почти неотличимая от стен коридора, была неожиданно распахнута, и он успел увидеть последний поворот колеса походного чемодана, затормозившего в сером ковролине. Потом он сделал несколько неуверенных шагов и остановился в проеме этой обширной просторной комнаты, которая была полутемной и напомнила ему камеру-обскура, потому что солнечный свет проходил лишь через щелку между задернутыми шторами. «Наверное, в проеме я могу показаться перевернутым изображением антипода, который находится за окном», – успела прийти ему нелепая мысль.

– Да, Ира говорила мне... писала... и звонила... о вас, – раздался голос, и только сейчас он увидел, приглядевшись к этой полутьме, очень красивую пожилую женщину, сидящую на диване. Походный большой ее чемодан на колесиках и сумочка стояли на самой середине огромной комнаты. Он не подозревал, что в квартире есть еще такое пространство.

Непривычное и даже нездешнее почудилось ему в контуре, в силуэте женском, и, нет, не только запахи, правда, едва, уловимые, но шорохи и даже мельчайшее шелестение иноземных одежд, – да, он вспомнил, это была несомненно та мифическая тетка из Аргентины, – он и думать о ней забыл, не аргентинка, но тетя Iry, проведшая год в Аргентине. Почему-то вместе со словом «Аргентина» лезло в голову не смысловое «серебро» от химического «argentum», но «тина», почему? – рифмующийся хвост? или потому что в комнате пахло тиной, – здесь действительно был годичной давности воздух, но окно не было открыто. Эта женщина в каком-то едва заметно переливающемся платье, серовато-коричневом, почти неотличимом от темноты комнаты, всем видом говорила, что руку приподнять не в силах, – настолько она устала. Все же указала она ему глазами на край дивана, и так они сидели долго, он, не пытаясь заговорить, и она с полузакрытыми глазами, очень прямо и неподвижно.

Вспомнил он, что читал – тогда невнимательно – то, что ему давала Ira, – мемуарные записи своей тети, было там о том, как в начале 50-х она – юная аспирантка, отправилась – их провожал тогда с Киевского (или Брянского?) вокзала будущий президент академии наук, – поехала вместе с другими на Украину, чтобы там, в засекреченном уединенном месте проводить расчеты на небывало быстрой, самой сильной тогда у нас вычислительной машине. Сейчас она сидела совершенно спокойно, не чувствуя, по-видимому, никакой неловкости от присутствия незнакомого человека, показывая, что выше всяких условностей, но то, что они для нее много значили, говорил весь ее внешний вид, именно поэтому она могла их различить и ими управлять.

Он подумал, что ей, конечно, далеко за семьдесят, но она казалось удивительно моложавой в этой – ему не сразу удалось найти определение – в первой молодости своей старости (или молодости своей первой старости), – вся она являла и даже излучала, приносила собой какой-то покой энергии, которая неслась, перенеслась из-за моря, и какими-то тонкими духами, неразличимыми почти в полутьме ароматами, наполняла комнату, – словно для того она здесь возникла и осталась в неподвижности, чтобы наполнить комнату собой и возвратить себя сюда всю, но неузнаваемую и новую, чтобы стены комнаты и он, новый для нее человек, постепенно узнавали и вспоминали ее, но для этого надо было вот так остановиться, замереть в усталой неподвижности в почти неразличимой полутьме летней дневной комнаты с задернутыми шторами.

– Знаете, что Ира уехала? – вдруг спросила она, все так же устало, но уже обращаясь к нему прямо и глядя на него, правда, еще полуприкрытыми, как бы непробудившимися глазами, и он

ответил, но даже раньше, чем ответил, – хотя осознал это после своего ответа, – он почувствовал вдруг невероятную благодарность к этой совсем не из здешних мест женщине, которая вдруг обратила на него внимание и принимает участие во всех его горестях, и вот прекрасная женщина, дышащая многими ароматами, многими оттенками запахов, – многими слоями их, – так ему хотелось сказать, – запахов, которые впитала не за один миг, но за многие месяцы или даже годы иноземной жизни, – он подумал, что так может поглядеть повернувшееся к нему море, и незнакомое чувство, которое он бы мог испытать к Ire, вдруг ему представилось и назвалось – благоговение – при том, что в ее едва уловимом дыхании, выдохе при ее словах почудилось на мгновенье что-то нечистое (запах ли изо рта?) – так пахнет весенняя могильная земля, – но все покрывало, заглушало запахом свежести, идущим, казалось, отовсюду – от одежды ли, тонких цепочек вокруг шеи, светлых колец на пальцах – все вместе говорило ему, шептало о прошедшей, многослойной и многолетней ее жизни, которая не спрессовалась в одно неразличимое целое, но именно были слои и листы, и страницы ее жизни, проведенной на земле, над землей, потому что в самолете, в аэроплане провела она наверняка много дней, если не месяцев, – ему вдруг представились все эти давние ее чувства, запах пота от ее ладоней при взлетах и при посадках, те сны в самолетных креслах, молнии, отдаленно виденные через самолетные иллюминаторы, болтанка, провалы в воздушные ямы, – то, что потом если и не вычеркивают, но оставляют за маргинальной, за вертикальной красной чертой полей, как на этой школьной тетради, на которой я пишу черновик романа, почти не различая в полутьме молчаливых персонажей.

– Да... нет, она сказала, что вернется к вечеру, но вот второй день не возвращается.

– Значит не сумела сообщить... до меня она дозвонилась, когда я была в Каракасе, и просила и вам передать...

– Мне она тоже сказала... как-то странно сказала, чтобы я ее особо не ждал... Где она?

– Сообщит позже... – тут она ему слегка (ему хотелось бы сказать даже «немного») улыбнулась и снова прикрыла веки. В ней не было никакой томности, но лишь усталость, постоянное сопротивление которой, по-видимому, придавало ей силу, и эта сила чувствовалась во всем ее облике – этой женщины среднего роста, и которая могла, по-видимому, казаться небольшой, но временами вдруг вырастать до грозных размеров.

Вспомнил он опять записи, где она вспоминала, как они, тогда молодые сотрудницы, сотрудники, работали над безумным проектом, но деться было некуда, и к тому же им внушили – и в том была правда – так они думали тогда, и так это представлялось сейчас – пусть эта правда была теперь лишь частичной, – мера этой правды была неясна, и это мучило многих, – им говорили тогда, что от того, правильно ли они и точно ли и в срок посчитают, и пересчитают, и перепроверят все, – зависят их жизни, жизнь всех в стране, а может быть, – да не может быть, а точно, – жизнь всех все еще живущих на земле. Их было много в том огромном зале – в основном девушки и почему-то почти все, хотя и не все, – в белых блузках и темных юбках, хотя были и мужчины, но все же все основное доверялось девушкам и молодым женщинам как самым кропотливым существам. Перед каждой на столе стояло устройство, вычислительное устройство с ручкой справа – тяжелая металлическая машина – «Мерседес»... или «Феликс», нет, все-таки «Мерседес». И они крутили рукояти этих машин, и дробный звон стоял во всем безграничном пространстве – тот звон, напоминающий звон рукояти тогдашнего трамвая, соединенный с дребезжанием его на повороте, рукояти, которую переводит вагоновожатая на повороте, замедляясь или ускоряясь. Здесь все было чисто, лишь листы белой или, вернее, серой бумаги были перед глазами в этом цеху чисел и цифр, в этой слаженной работе девушек, смотрящих всех в одну сторону, словно в гигантском цеху швейных машинок – та же слаженность, но устремленность должна была быть и была иной, чем у швей-мотористок. Этот едва ли не единственный цех – нет, конечно, не единственный, – дублирование, проверка, самопроверка, тройная проверка – это было основное, написав колонку, колонну цифр, ты должен был быть уверен – мгновенно уверен, и тут же не поверить себе – обыскать себя, свой ум, свой мозг взглядом, как проверяет тебя на входе сквозь воздушный просвет в стекле охранник на входе, когда его глаза... раскрыв на ширину его взгляда...

в стекле его головы, тела, когда в них нет ничего, кроме многого того, что случится с ним, с его деревенскими родственниками, с той дорогой на косогор, которая хранится в его глазах, навсегда, если он позволит себе – невозможно – улыбнуться и заметить *тебя*, а не ту сумму, куда включен ты, и он в вычислении всех твоих частей, включая дозволенную сумочку с одним отделением, которую могут вывернуть, вывалить на стол одним мановением взгляда, и все запахи оттуда, которые быстро исчезнут, и останутся лишь платочки, – на этом столе, на *предметном* столе, – лишь губная помада, которую тоже можно и нужно раскрыть и закрыть – предъявить. Перед ней, перед ее столом – так же, как и перед многими – стояла ширма с бумажным листом на ней, и это было необходимо, потому что брызги чернил из-под пера – почему чернила сейчас вспоминались красными? – так же, как и из-под перьев других быстро пишущих, записывающих колонки цифр девушек – летели вперед и покрывали быстрыми звездами висящую вертикальную бумагу, так что к вечеру она была испещрена, заполнена, как звездная новая карта.

Тогда и на Украину они поехали, чтобы считать и потом проверять себя, но уже не вручную, надеясь – и веря, что получится – на сверхсильную машину там, под Киевом, – в местности с названием, кажется, Феофания – живописные края, но они не очень видели этот край, они прошли в особо охраняемую зону, принадлежащую новой небывалой силы только что изобретенной и созданной машине. Потом она уже устно говорила Ire, что отчетность и секретность была строгой, – не то слово – строжайшей, – любая исписанная бумажка отмечалась и брошюровалась и подшивалась в тайную книгу, которую все они вели. Один раз пропал листок программы, – с машинной программой, им так показалось, – и их всех стали проверять, а затем медленно раздевать, мужчин и женщин разделили, и специальные женщины в военной форме стали медленно раздевать всех девушек, и тут раздался крик – это был знаменитый... знаменитая «эврика» – «нашел», «я нашел», – ничего он пока не нашел, этот юноша – безбородый идиот, но вспомнил, что бросил смятый этот лист с программой, бросил – что было строжайше запрещено – в корзину для бумаг, – и все, содрогаясь, вдруг эта «эврика» окажется очередной ошибкой – а сколько их было – таких ошибок – от основания мира, – и все опрокинули эту корзину для бумаг на пол – и, о чудо, – словно белоснежного кролика из-под шляпы фокусника, чья-то запыленная рука извлекла смятый до неузнаваемости лист бумаги. Его расправили на свету, и многие мысленно перекрестились, а некоторые даже явно, и им в тот день это простили, – то был несомненно тот, именно тот – не подделка, а кто мог усомниться – тот несчастный, но сейчас самый счастливый – в этот самый счастливый миг в этом дне их жизни – листок бумаги. Феофания – так они называли место своего полугодичного заточения, радостного заточения, потому что такое больше с ними никогда не повторится – такая безумная и почти безответственная в этой дико ответственной работе – безответственная, потому что за гранью возможного напряжения, которое, впрочем, все время разряжалось остроумными и не очень остроумными шутками. Феофания – их Феофания – потому что, вообще-то, это место обширно там – находилось в дубовом лесу, в роще – светлой – так ей казалось – потому что была осень, и сухой и шуршащий лес – этот лог, куда надо было спуститься и потом по лесной тропинке подняться к их месту, это была незаметная дорога на плавный, невысокий холм в лесу – осенние дубовые листья были просвечены солнцем, как желтые витражи, и шуршали внизу под ногами, и там на затененный невысокий холм в лесу, внутри леса они поднимались, когда шли туда каждый день без выходных, за исключением некоторых праздников. Там за деревьями темнело длинное деревянное – впрочем, может быть, так ей казалось по прошествии лет, – здание, нет, хочется сказать, помещение, напоминающее ей деревенскую избу, – тут надо было пройти через некоторые преграды, через легкие воротца у входа на территорию, воротца, все в линиях колючей проволоки, которые, как дикий виноград, обвивали ограду и это помещение в дубовом лесу. Они входили, поднимались на порог избы, там была небольшая дверь, перед которой стоял солдат, проверявший их документы и лица и впускавший их внутрь невиданного доселе святилища науки через деревянный тамбур. Там находилась та скромная на вид, большая, очень большая в размерах, огромная машина, которая превышала все представимые тогда масштабы – тысячи – реально – тысячи арифметических операций в секунду, – тогда ей казалось, что сама секунда – эта секунда

уплотнилась и стала в том небывалом неповторимом никогда прежде мире – стала весить, стоить, значить больше – да, в этом никогда не бывалом, неповторимом мире.

Все это он вспоминал спокойно, глядя на неподвижно сидящую тетю Iry, понимая, что Ira что-то унесла с собой, взяв навсегда, безвозвратно у своей тетки, но сейчас она исчезла именно в этот момент, захватив с собой его самого, но не спросив его, и он не может чувствовать к другим, к другим женщинам ничего, кроме влечения к Ire.

2.

Тихий звоночек компьютера как бы вскользь известил, что пришло новое письмо. Бросился он к нему. Не скрыл и своей радости от себя: это была Ira. Правда, написано было все в каком-то телеграфном стиле: «Жду тебя 15-го в Вологде в Кремле у Св.Софии в 3 часа дня. I.». Более неожиданного и странного послания он не мог представить: думая о тех вариантах, которые она предложит ему (если предложит вообще – мобильный ее был отключен третий день), – такого предположить он не мог. Почему Вологда, почему ему надо рваться куда-то на север, и причем надо уже собираться, чтобы успеть на вечерний поезд. А если не достанешь билета, то вообще непонятно, как добираться, самолеты туда из Москвы давно уже не летают.

Туда? А вот подымитесь от реки, – сказал студенческого вида человек, когда он наконец оказался в Вологде, – там как раз будет памятник лошади и Батюшкову... а там уже рядом. Взошел он на холм, и действительно разглядел поднявшиеся вблизи поновленные серебристо-приземистого цвета шлемовые купола, прошел и мимо лошади и поэта Батюшкова – местного жителя, приближающегося к своему бескрылому (почему-то) пегасу в ботфортах, на каменной площадке, на одном углу диагонали которой – Афина, на другом – русалка. Но на площади перед Софийским собором никого не было. Было ровно три. Жаркое июньское солнце и северный холодок с реки – и все, площадь за исключением редких лотошников, торговавших сувенирами, была пуста. Оглядывался он вокруг, озирался, пытаясь увидеть хотя бы издали Iru, но ничего, даже стройные деревья вдали, ничего даже отдаленно не напоминало Irin стройный силуэт, который он, казалось бы, узнал и за версту. Вдруг сумка его под рукой задрожала, и он тотчас же услышал звонок мобильного. Дрогнувшей, задрожавшей от радости (радости он не мог сдержать от себя) рукой он, путаясь в молниях, достал телефон: «Я на машине... – довольно бесстрастно произнес Irin голос, – ночую в деревне Рыпы, что на реке Пеленга, – где-то пятьдесят километров от Вологды. Утром жду тебя здесь. Доберешься на автобусе. Найдешь...» И все, голос отключился. Попытался было он перезвонить, но чей-то голос как всегда ответил на двух языках, что телефон отключен или находится вне зоны действия сети. Хотел было он написать ей sms, но что писать, он не знал, хотел было пошутить, написав что-то, вспомнив нечто старинное, в викторианском примиряющем духе: «St. Sophie, Vologda, June, 200..., Dear Ira, – I hope you are quite well. I should be much obliged to you to send me a cake and five shillings», но понял, что ни к чему хорошему такое письмо не приведет, – чувствовалось это по ее суровому голосу, – недаром, видно, забралась она в такой суровый край. В названии деревни почудилась ему некоторая ирония, – вспомнил он ее обычную последнюю фразу, когда уходила она из комнаты и запирала за собой дверь. Но это могло быть просто совпадением, хотя и многозначительным. Она говорила тем самым ему неявно, что он абсолютно свободен, но, если хочет увидеть ее, то передвигаться по земле будет именно так, как предпишет и сообщит ему она. Но денег действительно у него было в обрез. Однако понимал он, что никаких денег она ему никогда не пришлет, даже если он будет по-настоящему нуждаться. Дело в ее особой гордости, которая не позволяла ей вникать глубоко в его житейские проблемы, напоминая все время ему, что надо быстрей их преодолевать, не задерживаясь, и двигаться вверх.

Проведя полубессонную ночь в недорогой вологодской гостинице, наутро добрался он, хотя и с большим трудом – на перекладных автобусах – до Irinoi деревни. «Как она сюда доползла? – думал он по дороге, – на вездеходе, на джипе каком-нибудь, иначе невозможно, значит, замечу ее сразу, вряд ли все там ездят на лендроверах». Но что ей там было нужно, совершенно было не-

понятно. Утро было уже довольно позднее – подбиралось время к полудню, когда он все же вылез на деревенской улице. Iry не было.

Стоял он долго на пустой деревенской улице, хотя прошел ее туда и обратно, но ничего не нашел. Вновь, как и вчера, раздался внезапно звонок, но ему показалось, тише обычного. Вообще странно, что сюда доходят сигналы, хоть какие-то, – думал он. Голос был ее, но совсем плохо различимый: «Говорю быстро, у меня сотовый может разрядиться, если ты на месте, иди на северную околицу, там по дороге, в лесу мой джип, ключи там, поезжай по этой дороге, она ведет на север, там в лесу километров через десять я буду ждать теб...». Тут Irin голос прервался. Перезванивать было бесполезно, но он все же попробовал, но понял, что все так же. Быстро прошел он еще раз деревенскую единственную улицу, хотел спросить женщину, идущую навстречу ему с ведрами за водой, но понял, что не знает, что спросить. Удивленно посмотрела она на незнакомого, но его и след простыл, – почти бежал он к лесу. Дорога сделала поворот, и вот за ближними молодыми соснами, действительно, стояла иностранная, правда довольно потертая, большая машина. Он давно уже не водил машину, и поэтому волновался, но подумал, что все равно сбить тут никого невозможно, – уж очень пустынные места вокруг. Действительно, ключи были в замке, оставалось только завести машину, и тут только он подумал, что как смело она оставила готовую к поездке машину, но быстро понял, что в этом краю никто чужого никогда не возьмет, и двинулся внутрь леса. Вначале дорога была сравнительно ровная, но дальше пошли такие глубокие колдобины, наполненные никогда, наверное, не высыхающей водой, что приходилось даже на этом джипе с огромным просветом до земли следить все время, чтобы не сесть на брюхо и не застрять здесь навсегда до прихода невероятного трактора. Такая напряженная езда утомила его, к тому же он понимал, что связи с Iroi по телефону уже не будет, и надо, конечно, добраться до места воображаемой встречи с ней, хотя где и когда это может произойти, – машина пробиралась со скоростью, конечно, меньшей, чем любой средний пешеход, странник в таком лесу. Вокруг проходили деревья, которые он видел отчетливо в этой тихой езде. Гигантские «патрули», так называл он всегда с детства трубчатые борщевики, подступали к самой дороге. Мелколиственные деревья трепетали едва заметно, иногда за деревьями появлялись поля с зацветающим уже иван-чаем, но все скрывалось снова в лесу. На одном повороте лесной дороги он остановился и вышел.

Дорога шла дальше, и потом скрывалась направо за ближайшим лесным поворотом. Он остановился. Было неподвижное солнце, и тени деревьев и листьев, почти неподвижные, лежащие на лесной дороге. Он смотрел на эти пыльные желтоватые и травянистые колеи, и вдруг почувствовал, что видел и предвидел это состояние свое где-то. Не только во сне, но въяве много лет назад, – он вспомнил (и это не было неявно представшее перед ним d j vu – прежде виденное), он сам вызвал и вызывал не раз это непонятное видение: незнакомая летняя лесная дорога, где-то на глухом севере, дорога, немного уменьшающаяся в ближней дали, и этот поворот ее, который уходит в темноту направо. Он сейчас совпал со своим воспоминанием и понял, что может провести так неизвестно сколько времени, – он словно застыл в своем изваянии этого мига, который создал он сам когда-то, не зная зачем. Но что-то шевельнулась в повороте дороге, словно дальняя былинка качнулась, и он вдруг заметил тонкий силуэт, вначале почти неотличимый от темных и белесых теней и бликов, около дальних деревьев. Это была она, несомненно Ira, кто же еще мог быть в этом глухом лесу, – это она, тихо, но довольно быстро шедшая к нему навстречу.

– Ты что, застрял? – громко и, как показалось, весело крикнула она издалека.

– Да нет, я... смотрю на тебя, – как-то неуклюже пробормотал он тоже довольно громко.

– Я не предмет для изучения, – сказала она уже довольно мрачно и остановилась. – Давай, едем, времени не так много. Она быстро отстранилась от него, когда он пытался ее обнять, взглянув как на незнакомого, и быстро поднялась в водительское кресло. С места она рванула с совершенно невозможной для лесной дороги скоростью, мчась по краям, там рытвины были не столь глубокими.

– Нам еще сто километров надо проехать, до монастыря, – она произнесла известное название.

– Ты что... туда собралась?

– Именно туда, – она усмехнулась, – а что?

– Я имею в виду... в монастырь собралась?

Она долго смотрела на быстро меняющуюся дорогу.

– Именно в монастырь... но не в том смысле... Не трогай меня, – она резко качнула локтем, когда он пытался коснуться ее рукой. – Ты привез то, что я просила?

– Что ты просила? Я ничего от тебя не получал... кроме последнего письма.

– Я послала тебе четыре.

– Значит не дошло... так что кроме себя я тебе ничего не привез... или я тебе не пригожусь?

– Может, и пригодишься, – сказала она после долгого молчания, при этом непрестанно вращая рулем, потому что лесная дорога не улучшилась, – но то, что я просила, ты мне все-таки найдешь.

Много часов они мчались (по такому лесу и тридцать километров в час – огромная скорость), и все-таки ему удалось понять, что она оказалась в этих северных краях из-за иконы или икон, которые ей надо было непременно увидеть, – к приобретению у ней не было пристрастия, – он знал, но здесь, возможно, она готова была выложить любые деньги, хотя ни в городе, ни в Рыпах хозяина не оказалось, и ее повели по тропинкам к лесничеству, где он был и должна была быть икона, однако Ira нашла только копию, которую покупать не захотела (да хозяин и не отдал бы), а сделала лишь фотографии.

Лишь к вечеру они подъехали к монастырю с его древними знаменитыми фресками. Внизу через мостик, через речку, бегущую к широкому озеру, дальше на холме был виден белостенный монастырь. Здесь у гостиницы они оставили машины и пошли в гостиницу.

– Одноместных номеров нет, – сказали им там.

– Тогда два двухместных, – быстро произнесла Ira, и он не смог возразить.

Горничная повела их по лестнице вниз куда-то.

– Не ударьтесь о балку, – сказала она. – Гостиница только что построена, и все здесь не так, как надо.

У них оказались соседние комнаты. Ira смотрела строго и спокойно:

– Я очень устала. Не делай попыток стучаться ко мне в дверь или ломиться через балкон.

– Зачем я тебе нужен? Чтобы мучить меня?

Она ничего не ответила и ушла в свой номер. Затем за стеной своей комнаты он прислушивался к любому звуку, идущему из Irinoi комнаты, даже прикладывал ухо, но все было непроницаемо тихо.

Пытался он взглянуть на свою ситуацию как бы извне, чтобы успокоиться, – увидеть себя, сидящего на кровати, где-то затерянного в мире, в месте, где еще вчера никак не ожидал себя обнаружить. Понимал он, что она не то чтобы играет с ним, но играет на нем, как на неизвестном инструменте, который, может быть, один из самых важных в ее будущем оркестре. Сформулировав это в таких музыкальных терминах, он улыбнулся простоватости и неточности определения. Хотя что-то здесь было, – он сам мог представить себя инструментом-дирижером, который не только потакает прихотям маэстро, но сам ведет его руки и поддакивает ему и кивает в такт, – так он видел себя в тонких руках, может быть, виолончелистки, которая пока лишь настраивает его для исполнения неизвестного великого произведения.

Но знал он совершенно точно, что куда бы она ни сказала, в какую бы даль мира ни позвала, он поедет, пойдет за ней. Потому что она – его создание. Не было у него детей, он всегда пугался этого и откладывал в будущее, потому же почему так устрашился своего педагогического облика, – самой необходимости преподавать и учить кого-то, – потому что все тогда и здесь – в этой деятельности – говорило ему, что он преходящ, что новое поколение, учась у него, вытесняет его потихоньку из мира. «Все должны учиться у всех», – такой он провозгласил давно еще лозунг. Но вот не удержался и стал учительствовать, профессорствовать, хотя оправдывался тем, что компенсирует это своим студенчеством и учебой у самого себя. Но Ira – то было другое дело. Находясь у нее как бы в подчинении и даже в унижении, он пытался представить, что такое уни-

чижение и означает равновесие для него желанное, когда он не только учительствует и властвует, но подчиняется и даже может с ней двигаться куда-то во времени. А теперь, оказывается, и в пространстве. Хотя такое продвижение и было мучительным.

Всегда почти с самого начала того, как они действительно увидели и узнали друг друга, Ira спрашивала его, правда, по большей части смеясь: «С кем я разговариваю, с кем целуюсь, – со студентом, с профессором с накладной бородой или с тобой настоящим, – с кем из троих, или со всеми, хотя что значит “настоящий”? Не паспортные данные ведь важны». Он не знал, что ответить. Хотя и говорил, что она и хотела именно, чтобы он появлялся разный и единый перед ней. «Но ведь не актер мне нужен в тебе, – тогда говорила она, – она взяла тогда его голову и положила себе на колени, – это было как-то раз светлой апрельской еще ночью, – мне хочется иногда тебя, всех вас – многих, живущих в тебе, тех, кем ты был, – всех вас-тебя убаюкать и пожалеть, приласкать, чтобы никто из вас никуда не исчез и был здесь хотя бы этой ночью».

3.

Утром она не очень внятно и не очень охотно посвятила его в свои планы. Она должна была идти сейчас в монастырь, где у нее работала во внешних службах знакомая. Росписи и фрески, так он понял, были не главное, но все же тоже для нее много значили. Потом она хотела доехать до довольно далекого женского монастыря, чтобы поговорить с настоятельницей. Потом двигаться дальше на север. Все же о смысле своих действий и планов она ему по сути ничего не говорила. С кем она встречается, откуда черпает деньги, переговаривается по телефону, – здесь связь вновь наладилась, – она наполнила вновь энергией свой телефон и беспрерывно разговаривала, видимо не считаясь ни с какими затратами.

– Зачем тебе на север? – пытался спросить он.

– Ты можешь уехать в любой момент... Но если хочешь помочь, то можешь сопровождать меня... Но только... о прежних отношениях забудь...

Пытался он возразить, напомнить о том, что было совсем недавно, но она смотрела непонимающе.

– Я ничего не забыла... и может быть, вспомню яснее... но сейчас не в этом дело... все изменилось... нельзя терять времени... у меня его мало.

Он, почему-то предполагавший, что всегда времени хоть пруд пруди, не пытался даже заикнуться сейчас об этом, потому что медленное его поспешание в погоне за вечностью (как он выражался) совершенно, видимо, ее не устраивало – ей хотелось, наверное, быстро нестись к *ее* бесконечному, и поэтому сейчас она рвалась в путь.

Пошли они к монастырю, но было так рано, что все службы еще были закрыты, и они спустились к озеру у самых монастырских стен. Была середина июля, но прохладный и отчетливый сильный ветер дул через озеро с севера. Ira шла по тропинке впереди, и он увидел, что она достала маникюрные ножницы и стала подрезать ногти. Видел он, как маленькие сверкающие отрезки ногтей быстро уносились вслед за ней ветром. Через много месяцев, когда он рассказал об этом эпизоде льву-поэту, тот почти сразу сочинил трехстишие – подобие хокку:

Ты подстригала ногти у озера
Под стенами монастыря –
Обрезки ногтей, уносимые северным ветром.

Затем Ira пошла одна, – ему она велела остановиться – в деревянную церковь, которая виднелась за деревьями в отдалении, сверкая и переливаясь на солнце своей прекрасной кровлей, как бы чешуей, куполов. Он не посмел спросить, почему ему нельзя с ней.

Зашли они и в монастырь, но не задержались там. Потом она отправилась одна на машине в далекий женский монастырь, велев ему к вечеру быть готовым, потому что до ночи они должны

отсюда уехать. Долго он бродил по благодатным окрестностям, произнося как заклинание, как мантру: «Быть при ней безоружным, обезоруженным оруженосцем», хотя никакого явного смысла фраза не имела.

Ближе к вечеру все же направился он снова через мостик через реку на холм в монастырь. Но прежде чем войти через портал в храм Рождества Богородицы, где находились и поддерживались знаменитые росписи, он присел на деревянную скамью, не потому что так уж устал, сколько пытаясь услышать все, что было вокруг. Вспомнил он те задания, которые он выполнял по Irinoi просьбе, когда на улицах Москвы, да и везде ловил отрывки случайных слов прохожих. Он слушал говор редких посетителей, неясную речь служительниц на другом конце скамьи, туманный шум разговора сквозь дверь слева и неприятный, словно бы звякнувший смех, скрип петель и тихий удар дверей. Затем он услышал отчетливо, как кто-то прочел вслух подпись под фотографией с фрески: «Бурю внутрь имея помышлений сумнительных...». Что-то знакомое припомнилось, и тут же тот же взрослый мужской голос прочел пояснения: «Акафист Богородице, кондак четыре... сомнения Иосифа...».

Дальше он не слышал и решил войти в портал. То, что он утром увидел здесь бегло, не произвело на него впечатления. Но сейчас он остановился, он никуда не спешил, он остановился среди четырех столбов – храмовых колонн – и поднял глаза. Многое ему показалось знакомым, но главное сильным и грозным, хотя мог он видеть сейчас лишь эти колонны, квадратного, по-видимому, сечения. Вот три всадника скачут вверху, указуя друг другу наверх, на высокую и почти невидимую звезду. Но не это его остановило, остановило его взор. Он увидел воинов, написанных нежно и сильно по сторонам столбов. С мечом, или копьем, или стрелой в руке, – то были наверное земные воины – мученики за веру, – не архангелы. Он не мог вспомнить их имена, ни одного (разве что Дмитрий Солунский предположительно мог быть тоже среди них), но если бы ему кто-то подсказал, то вспомнил бы несомненно. Здесь он стоял, отойдя от западной стены и став ближе к северо-западному столбу. Он поднял глаза вверх. Солнце пробивалось вертикальной нитью, сверкающая паутинка провисала с одной наклонной балки к другой, и редкая пыль, сверкая, летала в вечернем солнце – пылинки, словно звезды, если кто-нибудь смог бы их всех собрать на небе и поместить сюда взглядом.

Поздно вечером появилась Ira, и наскоро перекусив самой простой едой – той, что была здесь в изобилии – помидорами, огурцами, капустой и хлебом, сыр у ней был с собой, – они двинулись дальше. Ira не хотела, чтобы он сменял ее за рулем, но он настоял, и тут она согласилась. Всю ночь они ехали на север.

Они гнали на север с бешеной скоростью, но он не решался спросить Iru, куда они так спешат, он подозревал, что она сама этого точно не знает, – желание ее изменить все в себе и вокруг вылилось сейчас в бешеную ночную гонку, чтобы выбежать за пределы, но, хотя он бы не смог сказать наверняка, у ней не было точной цели сейчас. Всю ночь они сменяли друг друга, взбадривая кофе из термоса, – конечно, он как менее опытный водитель сбавлял скорость и боялся заснуть, когда Ira дремала рядом. Миновали вначале долгое и угрюмое Кубенское озеро, но это было еще засветло, но потом, когда проехали быстро Вологду, когда повернули на северо-восток, стало совсем темно, несмотря на северные уже широты. К утру, часам к десяти, они обнаружили себя в пределах Архангельска. Тут Ira велела остановиться и велела ему спать, и сама тоже задремала. Через два часа она разбудила его бодрая и заявила, что у нее билет на отходящий сегодня из Архангельска корабль. Он не мог понять, почему она не сказала об этом раньше, но вряд ли она сейчас смогла бы смотаться в архангельский порт и вернуться назад. Он был совершенно подавлен, и Ira поняла, что должна его утешить:

– Ты вернешься в Москву поездом, найдешь то, что мне нужно там, и потом я тебя вызову.

И она дала ему запечатанный конверт.

– Но обещай мне, что откроешь только в Москве. Там сказано, что ты должен найти среди моих вещей и бумаг и потом привести мне... прочтешь еще... там я написала для тебя... не прощаемся, потому что, надеюсь, что увидимся... но пойми, у меня срочные дела, которые невозможно решать где-то... и нельзя отложить... самые важные для меня.

Она села за руль, и они поехали прямо в Архангельск. Попросила она его достать атлас дорог, чтобы следить по карте за маршрутом. Он достал из перчаточного отделения атлас и раскрыл его там, где была заложена закладка. Это были как раз окрестности города уже, мелькнули названия: Беломорье, Марковская, Чевакино, Заозерье, Катунино, Северодвинск, но смотрел он сейчас на то, что было написано, выписано на бумажной закладке Irinoi рукой. Он прочел:

«Но в этот вечер долготерпенья и долголетья, что выпал мне в этом лете, тягучем, как одурь опиата, как сок столетника, чтоб выпустить из мрака толпы ламп, пойду я в кварталы общества слепых мимо сухих фонтанов в саванах, лужаек в гробах оград и итальянских садов...».

Ему показалось, что это перевод из какого-то современного поэта. Он спросил, и Ira подтвердила, но не сказала, чьи это стихи.

– Ты сама-то опий пробовала? – спросил он вдруг ее неожиданно для самого себя.

– Не опий, но нечто сходное... посильней... но сейчас совершенно меня это не интересует... совершенно не в том дело сейчас.

– А когда ты выписала стихи?

– Довольно давно уже... но сейчас перед отъездом, взглянув в старые бумаги, вдруг увидела запись и почему-то решила положить сюда.

Он взглянул в атлас, закладка, действительно, была уже немного пожелтевшей.

В Архангельске они миновали мост через огромную Двину, она довезла его до железнодорожного вокзала и сказала, что провожать ее дальше не стоит. Машину, которую она вроде бы брала напрокат, она отдаст, а дальше ее путь лежал в морской порт. Пытался он спросить, куда она поплывет, но она уверила, что это совершенно не его дело и вообще не важно, а важна цель... но тут зазвонил ее мобильный, она стала отвечать, и прощальный его поцелуй в щеку через открытое окно машины как-то смазался, она подняла стекло и рванула вперед, так что машина быстро скрылась из виду.

Билет на вечерний поезд он купил без проблем (должен он был признать, что если бы не деньги, которые ему в последний момент вручила Ira, сделать было бы это гораздо сложнее, потому что оставались только самые дорогие билеты). В ожидании поезда он слонялся по городу, ничего, по сути, не замечая и не различая вокруг. Перешел он, идя на восток, через шоссе, вышел в какой-то смутный пригород. Вечерело, но было абсолютно светло. Присел он отдохнуть на скамью у забора, рядом подступало поле с редкой травой. Заслышал он тихое приближающееся пение и повернул голову. Между низких берез видел он, что по полю, по дорожке в густой траве шли к нему три женщины и пели старинную песню:

Там вдали за рекой дом высокий стоит, –
Холм зеленый, покрытый травою,
А под этим холмом красна девица спит,
Что взяла мою жизню с собою.

В поезде он не мог ничего ни читать, ни думать, но только следить, стоя в коридоре, за вертикальными деревьями, столбами, иногда мостиками вдали, линиями обрывочными горизонта, – он пытался только, не зная зачем, запомнить пейзаж, каждое деревце, каждый лист, хотя понимал, что это вряд ли возможно ему сейчас.

4.

«Откроешь конверт в Москве», – наказала ему Ira, и он, слушаясь ее, пытался все же взвесить в руках это письмо, посмотреть его на просвет. Там был небольшой, сложенный, по-видимому, пополам листок и что-то еще плотное между страницами. Хотелось ему поверить, что напишет она ему что-то теплое и сердечное, но не верил он этому. Слишком суровые и серьезные вещи она затевала, и не было там места сантиментам и мужской разнеженности.

В Москве, в Irinoi квартире (вернее, ее тетки, но ее как раз не было там) он разорвал конверт. Там был действительно сложенный вдвое лист бумаги и вложенный в него маленький плоский ключ. Ira писала безо всякого обращения:

«С тех пор, как я поняла, что ты больше, чем 1 человек, я почувствовала к тебе влечение и интерес. Но сейчас все немного изменилось. Дело не в тебе, а во мне. Мне уже 28 лет, – скоро будет 29, а я толком ничего не сделала из того, что могу и должна сделать. И это не какое-то великое произведение, которое пишешь долго, и можно сказать, что написал 10, 20%. Тут либо ты делаешь его, либо нет, – подготовка не в счет. Поэтому я решилась, что было нелегко, но я решилась изменить всю жизнь. Я начинаю путь, это долгая дорога, может быть, я вернусь сюда, но не знаю когда. Сейчас мне важны некоторые образы, которые я должна увидеть, видения, озарения и земля, вся земля, которую можно охватить. Для этого мне надо увидеть много мест и стран. Если сможешь помочь, буду рада. Ключ в конверте – от нижнего отделения шкафа (другого, не того, в который ты тогда заглядывал, а в дальнем краю теткиной комнаты) – там двустворчатая дверца. За ней важные для меня бумаги, у меня не было времени их разобрать и взять с собой. Посмотри, найди серую папку, там мои записи за несколько лет. Могут быть листы оттуда и среди других бумаг. Тогда привезешь».

Никакой подписи также не стояло. Вспомнил он вдруг фразу на том новогоднем собрании, откуда сбежал. «Ну что, уже написала свою “Явную доктрину”», – между выпивками, весело, но довольно грубо спросил Iru тогда Переулков.

В теткиной комнате, которая была теперь открыта, он отыскал все же – хотя и не сразу – тот шкаф, а вернее сервант, нижнее отделение которого было заперто. Ключ действительно подошел, и он открыл, хотя и не без труда, эти нижние створки. Ворох каких-то разрозненных белых листков, конвертов, рукописей тотчас же хлынул ему на руки. Вся эта нижняя часть была доверху забита записями Igy. Вероятно, то был ее еще один, но более давний и сокровенный архив, который она прятала от чужих (а может быть, и от своих, вдруг подумал он, глаз). Тут были, судя по всему, и весьма древние записи, и сравнительно новые письма с помеченными датами. Была даже машинопись, – напечатанные на машинке страницы, но вряд ли это делала сама Ira – она выросла уже в безмашинную эру. Он взял один листик, на котором Irinoi рукой было написано несколько предложений, каждое как новый абзац. Возможно, писавшихся в разное время. Он прочел:

«“Любите ж каждое мгновенье – его не встретишь никогда потом”, – так писал, кажется, Омар Хаям или кто-то еще – все они так писали, но я хочу встретить это – то мгновенье – чтобы мы встретили его многократно».

«“Еще раз, еще раз”, – сказал Хлебников, а до него Григорьев Аполлон, но не уныние цыганское в этом должно быть, не ницшеанская тоска от вечного возвращения, когда вот все вернется, все со всем прежним совпадет и все пойдет по кругу. Нет? мы должны различать себя новых и прежних – закон сознания».

«Надо любить каждое мгновенье, как друга или как встречного, – знакомого, которого неизбежно встретишь вновь когда-нибудь, и надо быть готовым к радостной встрече, чтобы узнать его».

Он вспомнил то Irino слово, два слова – «закон сознания», которые не сразу понял сейчас, – она говорила ему, что сознание всегда предполагает две части – разделение. Но не успел он додумать все и дочитать листок, потому что боковым зрением – и левым, и правым глазом увидел что-то на распахнутых створках серванта. Он поглядел внимательно вначале на правую, а затем на левую створку. Они были покрыты рисунками, как створки алтаря, – он не сразу понял, что там изображено, но понял, что это волнует его. Ira мимолетно говорила, что училась живописи, и много лет, но, кажется, не закончила художественное училище или институт. Но, он понял, Ira была художница.

Тут среди ее бумаг раскрылись многие листы ее художественных работ, тут была графика, гуашь и пастель, а в глубине серванта он обнаружил и несколько свернутых холстов ее работы маслом. Среди огромных графических, хотя немного даже стершихся листов он нашел какие-то

ее вариации на темы известных авторов. Особенно его поразил большой лист картона, который был зарисован с двух сторон. Он понял, что это перерисованное, но, несомненно, видоизмененное медальное изображение какого-то старого мастера, которого он не знал. На одной стороне был изображен прихотливый женский профиль с надписью, которую он не без труда разобрал, – то был действительно медальный профиль Цецилии Гонзага. На обратной стороне картона, то есть, по-видимому, на обратной стороне медали был изображен единорог, склонившийся пред коленами юной женщины, возможно, музы. Светлые спутанные власы его гривы хотелось назвать космами. Над ее головой сиял лунный серп.

Надо было поторапливаться: он не достиг цели своих поисков, а Irina тетя могла появиться в любой момент. Но развернув один из холстов, он долго не мог от него оторваться. Ему подумалось, что это наверное самая сильная ее работа. Хотя и незаконченная – были видны следы переделки. Он сразу назвал ее про себя «Автопортрет со спины» или «Автопортрет с затылка». Там было изображено широкое окно, раскрытое в сад, которое было дано из глубины комнаты. В саду перед окном, повернувшись затылком к наблюдателю, стояла молодая женщина. Он несомненно узнал в ней Iru, он бы узнал ее, даже если бы не были видны следы переделки, – вначале она несомненно хотела изобразить свое лицо в фас, лицо, которое смотрит сквозь окно в комнату. Также на подоконнике угадывался след от замазанной, закрашенной свечи, вероятно, ей показался неуместным в столь строгой работе какой-то явно романтический образ. Все же слева угадывалась ваза с белыми цветами, возможно хризантемами, но они заглядывали слева в раму картины только своими лепестками и были видны не полностью. Вдали за деревьями неясными линиями проступала река. Он понял, что самое главное в незаконченной, но удивительной картине было окно, точнее, его найденный размер – немногим меньше, и окно становилось почти окошком, и на нас переставало так действовать происходящее или просто существующее за окном. Немногим больше и рама окна приближалась к раме картины, и связь внутреннего и внешнего пространства терялась. Тогда картина приближалась по значимости к зеркалу, в котором он еще тогда распознал для себя черты Iry, которую он тогда не знал. Найденный размер – широта и высота окна были именно такими, что заставляло это окно словно бы дышать и по мере вглядывания в картину менять очертания, – то было словно бы дышащее зеркало.

Прошло несколько минут, он отвернулся к окну. Среди ее бумаг выпал листок, на котором он прочитал записанный Irinoi рукой обрывок молитвы (он не мог понять ее смысл, потому что текст был оборван, молитва ли за детей?), и вдруг прошептал про себя эти слова без начала и конца, думая об Ire: «...отжени их от всякого врага и супостата и отверзи им уши и очи сердечныя...». Он долго сидел на полу, затем встал и вышел на улицу. Он вышел на улицу, понял, что не может смотреть на груду писем и бумаг ее, оставшихся там, на полу, хотя надо было их собрать. И искать ее серую... нет, голубую? нет, серую папку. «Не бросила она тебя, а опередила», так попытался прошептать он себе, внушить. Что он еще мог? Прошедшее за неделю было так странно, тяжело для него и неожиданно («как же неожиданно, если ты это предвидел и пытался даже управлять, ты сам готовил для этого почву, сам ждал, когда твоя ученица перерастет учителя и будет побивать камнями...», так пытался он себя успокаивать, но лишь сильнее растравлял), – произошедшее было настолько болезненно, что утешения вроде, что «ты врач, ставящий на себе опасный опыт», – никак не помогали. Да и как ты можешь что-то уловить, если не будешь чувствовать боли? Но к такой боли он был не готов. Весь предыдущий в чем-то схожий опыт ничего не значил. «Надо выйти за пределы самого себя... самих себя», – пытался он повторять. Но повторять не очень получалось. Лишь обрывочное что-то неслось мимо него. «Самих себя...» – пытался он внушить, что их, то есть *его* – несколько. Но не мог уже разделить, отделить в себе никого. «Ты же понимаешь, что только очень одинокий человек хочет раздво́иться, раздвои́ться», – вспомнилась Irina фраза, обращенная к нему, вспомнилась и тут же исчезла. Сплошной темный и тихий гул стоял в нем, который он лишь невероятным усилием мог услышать, слышал временами, когда все же выходил как-то за пределы себя. Внешних предметов не различал или что-то все-таки видел, когда усилием воли заставлял называть нечто постороннее. «Двоюродная сестра моя помимо этого

очень организованный человек...» – вдруг расслышал он, как произнесла какая-то посторонняя женщина другой – своей подруге, когда он шел по переулку в беспамятстве, и обрадовался, что слышит и улавливает что-то внешнее, – вспомнив тут же зимние задания, которые давала ему Ira, и он слышал город, слушал людей, слушал мир, не подслушивая, но ловя и связывая в некую воздушную сеть отрывки их разговоров на улице. Обрадовался он, и тут же по ассоциации вспомнил, что у Igy была двоюродная сестра – дочь ее тети и (отбросив все те же навязчивые эротические повторы), пытался вспомнить, что говорила о ней ему Ira. Ничего точного, тетина дочь, как и многие сейчас, скиталась где-то по миру. Тут он вспомнил и о своей сестре, но постарался прекратить воспоминание. Вспомнил еще, что среди Irinyh бумаг успел увидеть название какого-то рассказа или повести, написанного Irinoi рукой, «Встреча Анны Шмидт и Владимира Соловьева во Владимире», но больше ничего не мог, да и не хотел (если можно было говорить о хотении в этом потоке) ничего вспоминать. Видел он впереди себя в просвете переулка только свернутые белые ватные облака на синем фоне, остальное вокруг словно бы не имело названия. «Внешних предметов я не различаю», – не без некоторого кокетства отметил он, – ведь даже сам факт рефлексии, что он «не различает», означает, что он, пусть на мгновенье, может выходить из того потока, в котором несет его жизнь без Igy. Все же это совсем не то, когда без лишних разговоров, шутя с друзьями за столом в своем дому, его приятель вышел на балкон еще за вином и перешагнул балкон девятого этажа. «Значит, все-таки детали мира ты узнаешь, – шептал он себе, – значит не полностью я еще в этой горной реке, которая несет меня, не исчез в ней, не разбился о камни, не стал сам неразличимой уже водой».

Пытался дозвониться он Ослику и другим приятелям. С изумлением обнаружил, когда его стали поздравлять, что миновал очередной его день рождения. Отметил лишь, что исполнилось ему 43, но какому ему и кому из них, хотя сейчас вообще не было никого, вообще, а не то что 1-го, 2-х, 3-х... вообще не было никаких границ, и холодной обычно головы его тоже не было. Даже боли не было, нечего было бы отмечать в путевом дневнике. Но все же иногда с той же решимостью врача-экспериментатора, пытался он выбраться, выброситься хотя бы на миг за пределы себя, – зная, что почти тут же будет втянут внутрь – чтобы увидеть себя. Решился он даже позвонить сестре, с которой не разговаривал больше года, – они были в тяжелом конфликте после того, как ушли из жизни родители. Сестра считала, что он не помог им ничем во время их болезни. Но сейчас ему надо было позвонить ей, чтобы услышать – пусть гневный – голос посторонний, посторонней теперь для него женщины, чтобы разбить внутренний, неотвязный образ Igy. Первый раз ее домашний телефон долго не отвечал, и он почувствовал бьющееся сердце. Даже без человеческого голоса телефон обладает своим собственным голосом и звуком, и он узнал его – тот глухой, затаенный, с долгими протяжными звонками телефонный голос, который он слышал много раз – в бывшей квартире родителей, где сейчас жила сестра. Второй раз он позвонил через несколько часов, и на этот раз чувствовал себя спокойнее, и тут трубка была снята, и после знакомой паузы раздался голос:

– Алле.

Он мгновенно узнал, и узнал даже раньше, чем услышал произнесенное, отчетливый и звонкий даже голос, произносящий это короткое слово с короткой цезурой, промежутком между двумя «л», и он опять с радостью – значит, он может чувствовать себя – почувствовал сердцебиение, и он длил паузу перед своим ответом, чтобы услышать удивление на той стороне провода, – молчать, но не затягивать, чтобы не стало появляться раздражение, и с точностью до мига произнес:

– Привет...

– Кто это? – спросила она, но по небольшой паузе перед ее вопросом он понял, что она уже догадалась, кто.

– Это я... Как ты? – спросил он, понимая, что между ними не нужно сейчас многих слов, достаточно и десятка букв, соединенных в некоторые условные отрезки, поскольку промежутки молчания, умолчания значат больше. Последовала довольно долгая пауза с той стороны, – гораздо больше предыдущей, и просевший как-то глуховатый голос сестры произнес:

– Ну что же, теперь ты получил то, что заслуживал... – и последующая пауза уже была несомненна – то был уловимый шелест движения руки, кладущей трубку.

Секунду он стоял, замерев, а потом неожиданно для себя вдруг засмеялся, почти расхохотался. «Это то, что и было нужно мне», – все же с горечью подумал он. «Я получил пощечину от оракула, к которому обратился». Но почувствовал он себя несомненно легче. Прежде всего – сестра с ним заговорила, больше года вообще не разговаривала. Помимо этого (хотя здесь-то можно было усомниться) она знает хотя бы в общих чертах историю его нынешней жизни – неважно от кого – знакомых и друзей много – но важно, что все-таки кто-то им интересуется и, пусть даже злорадствуя, соучаствует в нем. Он испытал облегчение и поддержку и мог снова думать об Ire и смотреть ее бумаги.

Среди холмов и груд ее бумаг можно было различить все же подобие некоторого порядка: виделись какие-то геологические слои, что-то было даже разложено в папки. Некоторые с разрозненными вырезками из давних газет и журналов. Встретил он пожелтевшую клеенчатую тетрадь, куда ровными строками были вписаны названия прочитанных Iroi книг, поразился обширности списка и понял, что половины из него точно не читал, а о некоторых даже не слышал или не имел ясного понятия.

5.

«Жду тебя в Стокгольме через две недели. Подробности позже», – прочел он тупо, после компьютерного звоночка, извещающего о прибытии письма. Он не удивился, – закончилось удивление. Но только отметил, что подписи не было. Значит, она чувствует, что их связь настолько сильна, что не надо подтверждать. «Это который же Стокгольм?» – только успел он подумать.

Вечером пришло еще сообщение. «Я договорилась с председателем конференции по философии, твоя тема ему понравилась, так что приглашение тебе уже выслано. Получишь годовой шенген быстро, и дальше все границы открыты. Подъедешь на пароме из СПб». Дело становилось серьезным. Надо было решаться на поворот в своей жизни, к которому она, по-видимому, подготовилась, а ему надо мгновенно двигаться вслед за ней. Он не сомневался, что готов идти за ней хоть на край света – она в этом не сомневалась и легко, без слов внушила и ему, – но необходимо было совершить некоторые формальные действия.

Надо было занять денег, у кого только и сколько можно, написать заявление об отпуске – который накопился неиспользованный за много лет. Надо попытаться прощально выпотрошить Фонд – не «вперед», конечно, но хотя бы взять, что ему причитается. Шведская конференция пришлась, он должен был признать, пришлась как нельзя кстати – отчитываться за свою работу, вернее, безделье, за год было нечем. Перебрать подробно Iriny записи уже не было времени. Он сумел их лишь как-то расположить хронологически, понятно, что все было весьма приблизительно – под большинством даты не стояли – и возможно, что она поступала так сознательно, надеясь, что кто-нибудь когда-нибудь будет с трепетом разбирать ее драгоценные записки, пытаясь вычислить время создания их. Но в некоторых бумагах был проставлены не только год и месяц, но и число. Можно было понять, что свои дневники и записки вела она уже около десяти лет. Собственные мысли и вопросы шли вперемешку с цитатами из философов и писателей, причем, по-видимому, не всегда она ставила кавычки, но не потому, что хотела присвоить чужие изречения, но, скорее, чтобы свои соображения приписать некоему авторитетному, хотя и анонимному или явно не помеченному автору.

Перед самым отъездом отметил он свой сон. Снилось ему, что встретила его Ira на городском перекрестке, откуда отходили не четыре, не восемь, но гораздо больше улиц во все стороны. Они идут представляться Irinym родственникам. И хотя никто не говорит, что они жених и невеста, Ira, подразумевает это, отвечая почему-то всем на скрытый вопрос о его внешности:

– Он, конечно, не киноартист, но...

Так она представляет его каждому, они поднимаются по лестницам большого дворца, полного ее родственниками и просто гостями. И дикторский как бы голос сопровождает их и звучит:

– Он не артист...

Наконец она подводит его к своей лучшей подруге, невероятно красивой – это словно бы буквально написано на ее лице, так что предполагается, что можно прочитать – лица не очень видно, но подразумевается, что всем все понятно и так. Прошептала подруга:

– Он не актер...

Она потянула его за руку к себе, он оглянулся, ища глазами Iru, но Iry нигде нет, а девушка упала навзничь на мозаичный пол, превращаясь в мраморную реку с зубчатыми мозаичными краями. Он старался не наступить на эту мраморную воду, оглядывается и просыпается с чувством горечи и вины.

На пароме под утро он уловил тонкий сигнал в кармане, значит, пришла sms. Ira была лаконичной, как всегда и без подписи: «в час на холме у кентавра (где обсерватория)». Подплывая медленно на пароме к Стокгольму, сквозь утренний туман, который они словно бы раздвигали, распихивали локтями, он никак не думал, что приморский Стокгольм – среди шхер может содержать в себе – где-то посередине – холм, то есть не город стоит на холмах, но холмы стоят в городе. Все же вооруженный картами, он достал одну и спросил на палубе утреннего улыбающегося шведа – тот указательным пальцем тут же пометил место – рядом с одной из центральных лучевых улиц, ведущих на север. Понял он, что назначила она ему тот пункт, который покажет здесь любой. Пасмурность перешла в мелкий дождь, но он не хотел ехать на метро, и идти к месту встречи пешком, чтобы почувствовать лучше места, где встретится с Iroi. Встречи он жаждал, но не очень почему-то верил, что она возможно. Ira становилась не совсем реальной, к тому же ему казалось (возможно, она и хотела именно это внушить), что она где-то далеко впереди, и просто он не в силах ее догнать. Но как это сделать, не знал. Никакого диалога между ними не было.

Путь туда – прямой на карте – оказался не очень близким и все время в гору. Так что он, проведя полубессонную ночь, сильно устал, когда подошел к холму. Вначале он лучника – козерога или стрельца? (астрономические образы навеялись словом «обсерватория»?) – увидал сквозь стеклянную шахту лифта, ведущего прямо вертикально в здешнее метро. По запутанным дорожкам среди мелкой и мокрой листвы поднялся он постепенно на холм, – время приближалось к назначенному часу, но чем ближе было время их встречи, тем меньше он в нее верил. Дождь сеялся и закрывал нежной и неясной пеленой город, лежащий у его ног и у ног кентавра-лучника, который поднимался перед ним над городом. Впрочем, статуя кентавра была по случаю ремонта или реставрации затянута строительным целлофаном, так что сама скульптура виднелась через некоторую туманную поверхность. Достал он глянцевитую свою карту, пытаясь отыскать улицы и пути, которые указывали бы ему направление к университету на местности. Похлопал он мокрый от дождя, но скрытый под пленкой бронзовый круп кентавра. Положив на него свою водонепроницаемую карту, смотрел сквозь дождь на незнакомый приморский город. Чтобы найти направление улиц: Tule-gaten или как там, Валгалла-gaten? Прочел он, хотя мог и ошибиться в блестящем под дождевой водой петите на карте. Там был путь к университету.

На открытие конференции он не успел. Его выступление было запланировано по программе на три часа дня. Уже было начало второго. Телефон Iry был отключен, как всегда. Бросать ей sms-ки с заведомо безответными, риторическими вопросами бесполезно. Но Iry не было, и нарастающая злость все же сменилась вдруг смирением. Он был готов принять все, пусть даже она не придет на его доклад. Беспокоиться за нее тоже не надо: в здешнем цивилизованном городе она не пропадет. Оставалось только отключить свои чувства и ждать.

Почти никого не было в праздный дневной час на вершине холма в парке, где скрещивались и расходились протоптанные дорожки. Он глядел на карту, следя за ближайшими отмеченными пунктами. Где-то рядом, почти под ним находилась квартира Стриндберга, дальше слева был обозначен дом Астрид Линдгрен, причем он вспомнил, что прочел в путеводителе, что жила она в простой городской квартире – представил он, что поднявшись сейчас по лестнице к ней, он увидит на двери список жильцов, как в прежних (да и нынешних) московских коммуналках, – и вот оказывается, что комнатку Линдгрен занимает некто по фамилии Карлсон. Нашел он в при-

мечаниях на карте упоминание о том, что здесь, в Стокгольме, похоронена Софья Ковалевская, но где, понять было нельзя. Время приближалось к двум, но Igy не было. Достал он из сумки ту серую папку, довольно объемную и тяжелую, которая всегда теперь была с ним и которую он должен был вручить Ire. Он открыл папку, поскольку все равно приходилось ждать. Перечень всевозможных сведений был там, но особенно его поразили разрозненные, но упорно устремленные в одном направлении данные. Он прочел, и ему показалось, что частично уже встречал раньше: «У римлян есть богиня, которою они называют Доброю, а греки – Женскою. Фригийцы выдают ее за свою, считая супругою их царя Мидаса. Римляне утверждают, что это нимфа Дриада, жена Фавна, по словам же греков – она та из матерей Диониса, имя которой нельзя называть». Не все он понял в записях (хотя вспомнил, что и раньше, кажется, читал), но, представив, что Ira поняла не больше его, оглянувшись вокруг в дождливое безлюдье на вершине холма, продолжал читать: «Поэтому женщины, участвующие в ее празднике, покрывают шатер виноградными лозами, и у ног богини помещается священная змея. Ни одному мужчине нельзя присутствовать на их празднике и даже находиться в доме, где справляется торжество, лишь женщины творят священные обряды, во многом похожие на орфические». Никакого указания на источник не было, хотя представить, что это нечто апокрифическое, тоже было трудно. Дальше были перечисления странных и незнакомых имен богинь, которые встречались в беспорядке, так что, прочтя их все, повторял он уже, как завороженный: «Матер, Матута, Матит, Эпона – мать этрусков». Были они богинями женщин в римской или какой-то другой мифологии, а матит – богиня-львица. Встретилась и «Метер» – «матерь богов», чье святилище на западном склоне Агоры использовалось, вроде бы, как государственный архив. Матер Матута – покровительница женщин, ведавшая родами, была отождествлена с Ино-Левкотеей и сделалась также покровительницей мореплавателей. Была еще Матри – индийское божество матери. Понятно, что папка Ire была нужна сейчас, но она была уверена, что он всегда, в любую минуту окажется рядом. Всегда, вроде верного оруженосца. Ждать больше не было времени. Спускаясь с холма, получил он новое извещение: «Вечером на банкете в ратуше».

Доклад, который он лихорадочно и урывками пытался готовить в Москве и с перебоями повторять на холме у кентавра, на конференции прошел в несколько недоуменном молчании. Он понял, что говорит о том, что, конечно, не является темой самых горячих нынешних дискуссий. Председателю – чувствовалось – все, что он говорил, было интересно, но когда председатель, ведущий эти секционные выступления, обратился к аудитории, а было там человек двадцать, то наступила долгая пауза. Председатель все же сказал:

– Тогда я задам вопрос: в своих теоретических поисках вы разыскиваете прафеномен операций, действий с математическими структурами, с числом? То есть обычный нуль вас не устраивает?

Заглянул он в свою память и ничего там не обнаружил, но все же стал отвечать быстро, чтобы не поддерживать дополнительной паузой и так воцарившееся было молчание, – отвечать стал быстрее, чем что-то смог сформулировать – сознание вывезет:

– Ну, если говорить о прафеноме, как понимал его, допустим, Гете, для которого все живое, все растения сводятся к зеленому листу, – тут он почему-то показал свою ладонь, – то, да, для меня есть некоторый абсолют – Ultima Tule, – и тут почему-то он посмотрел за окно в дождливый город, – который, как мне кажется, искал Лейбниц, когда говорил о монаде, но, вообще-то, это нечто большее.

Тут он начал пространно разглагольствовать о своих изысканиях и частично повторил доклад, так что аудитория вторично заскучала, и хотя европейская корректность не позволила им произнести ни слова, все же вежливый председатель попросил всех прервать его затянувшуюся речь аплодисментами.

Вечером он направился на банкет по случаю конференции, в ратушу он опоздал, не веря, что Ira придет туда вовремя. По боковой торжественной лестнице поднялся он в зал, где каждый год в декабрьские дни, чествуют нобелеатов. Сейчас на банкете время коротких речей, к счастью, уже

закончилось, и царило ходячее винное застолье. Бродил он между группами философов вокруг празднично накрытых столов с разными яствами, но Iry не находил. Решил он спросить одну молодую устроительницу конференции – он еще приметил в университете – она говорила со всеми и, по-видимому, на всех языках, хотя, впрочем, как ему показалось, – достаточно было английского. Спросил он ее об Ira, она стала напряженно думать, но в этот момент взгляд его упал на боковую стену, он сделал непроизвольный жест, и бокал вина, который он держал в пальцах, выскользнул и полетел к каменному полу. Раздалось общее «Ах», бокал разбился на множество осколков, и красное вино потекло рекой по каменному полу. Темные брызги хлестнули, но, кажется, никого не задели по ногам. Устроительница уверила его, что ничего страшного, и тотчас же служители стали сметать стеклянные брызги вместе с вином, и скоро не было даже пятна. Он смотрел на торцовую стену – там были Iriny глаза, вернее, картина, на которой была изображена молодая царица мира, – только сейчас он заметил явственно, что все стены расписаны в особой необычной и современной манере, что странно было для такого чинного места, – но эта женская фигура удивительным образом напомнила ему те фигуры, которые Ira изобразила на створках того шкафа, что он открыл тогда. Лицо было незнакомо, но глаза были несомненно ее. Она не писала на внутренних створках свой автопортрет, но выражение глаз было несомненно ее, словно сквозь забинтованное чужое лицо глянули истинные ее зрачки. Здешняя молодая правительница, а именно к ней сходились все лучи внимания, все зрение всех персонажей на всех росписях других стен, сидела на троне (страны, города, мира?), в золотистой короне, на подоле платья она держала город, и что это было – Стокгольм? Или иной неземной город? Слева и справа с ней подходили владыки и цари других мест, преклоняя мечи и знамена. И она поверх их даров – кораблей, земель – глядела отрешенно вдаль лиц тех, кто стоял в этом зале, но на нее не смотрел. Никто, кроме него, не глядел на нее, или взглядывали украдкой, словно опасаясь показать, что придают какой-то большой смысл этих светским фрескам, слишком экспрессивным, чтобы быть вневременными, слишком возвышенным, чтобы быть воспринятым в месте, где земные блага так отчетливо видны и нельзя терять времени, чтобы их упустить. Он вспомнил почему-то отрывок из какого-то посвящения, который прочитал в Irinyh записях: «Владычица червонно-пламенная! Владычица Знамени мира! К Тебе, Владычица мы прибегаем. Рука Твоя разве не строит, легко прикасаясь к созидательным камням творенья? Помоги Владычица Знамени Мира!» Не мог он не поразиться своей памяти, которая в беспорядочности вдруг показывала ему отчетливые несомненные отрезки. «Ясно, что это совсем из другой оперы», – прошептал он сам себе. Но что-то несомненно объединяло молодую правительницу с глазами, открытыми куда-то превыше всех и с той глубиной жалости, которую он видел в том внутреннем образе Iry, что был перед ним, но самой Iry он нигде не находил.

Распорядительница философского пира вспомнила, что, да, конечно, она видела Iru на симпозиуме, но сегодняшним вечером уже не встречала.

6.

Тут кто-то тронул его за левый локоть. Тут же этот кто-то – а был то молодой человек в пиджачке – передал ему белый конверт, вручив буквально как повестку, – подумал он, – и скрылся тут же во взбудораженной (хотелось сказать ему «взбитой»), возбужденной речами и алкоголем банкетной толпе философов. «Вот, когда захотят, когда захочет, найдет в любом месте», – подумал он, кроме улыбки не запомнил он от вестника ничего. Да глаза еще так ярко взблеснули, что не мог он теперь запомнить, были ли это просто глаза или большие очки без оправы, да еще вельветовый пиджачок, несмотря на лето. Он взял конверт правой рукой, в которой у него был бокал с вином, уловил взглядом на конверте букву I., решил поднести к губам вино, но конверт стал выскальзывать, попытался его поймать, и тут же выскользнул из руки бокал, но он мгновенно его поймал, не дав повториться звуковому скандалу. Но все же красное вино расплеснулось по мраморному полу, и снова разлетелись темные брызги.

Он сфотографировал стену торца, где незнакомая королевна с Irinymi глазами проникновенно, со смиренной улыбкой смотрела в наш огромный мир, но снимок почему-то не получился. Это он понял уже в гостинице. Вечером в гостинице вдруг почувствовал он острую ревность к мимолетному вестнику, гонцу, передавшему ему письмо, тому, кто, возможно, последним коснулся ее пальцев. Или хотя бы через белый конверт прикоснулся. Долго он пытался уловить какие-то запахи, идущие от конверта и письма, те знакомые ароматы, разбирая, как волокна, раздвигая, как струны, то, что он пытался услышать, – едва уловимые струения, идущие от конверта, принюхиваясь к абсолютно белой бумаге. Казалось ему, что он чувствует то трудноуловимое знакомое, что и означает ее прелесть и индивидуальность, хотя понимал, что ароматический и совершенно отдаленный едва уловимый фантом он сам внушил себе, словно он выдохом своим перенес на конверт то воспоминание о горьковатом ее, едва уловимом запахе ее тепла.

Понимал он, – говорил он себе, что все понимает, – что гонится за призраком, который сам породил. Хотя вроде бы и без его участия Ira (в которую, как ему казалось, он был сейчас опять, но на этот раз тщетно, влюблен) все равно совершила бы то, что ей предназначено. Но ему все же представлялось, что именно он внушил ей тот образ мысли и действия, которые теперь вроде бы и не подразумевали его участия или она просто еще не подобрала ему подобающей роли.

Среди ночи его разбудил звонок. Не понял он сразу в темноте, который уже это был по счету гудок мобильного. На малом экране мобильного телефона горели нули и цифры: «03:04». С радостью и мгновенной злостью он понял, что только Ira может позвонить ему в три часа ночи:

– Я так и знала, что ты не спишь, – голос ее, и так певучий и проникновенный, был сейчас как-то особенно завораживающе глубок. Он подумал, что она, наверное, немного пьяна. – Обстоятельства так сложились, что мне пришлось срочно уехать в Польшу. Ты мне нужен будешь здесь. С консулом я разговаривала, никаких проблем с визами не будет. Свяжусь с тобой позже, сейчас здесь прием, и мне неудобно говорить. – Голос ее пропал, различил он за ним легкий говор толпы.

Что оставалось ему делать? Подчиниться. «Смотреть эту драму, – сказал он себе, – ту, что ты вместе с ней сочиняешь... или она за тебя все сочиняет... или вы вместе в тяжелом конфликте пишете сценарий и живой текст». Становилось понятным ему, прояснялось: звала она его за собой, с собой, чтобы внушить каждым душным вечером новую женственную картину, чтобы начать обучать его по-своему, показывая образы на облаках. Но не все детали были ему ясны. Почему этот конверт и звонок с ее живым голосом? Или она хотела, чтобы он сам вчитал, вписал смыслы, как покорный ученик, в те ее действия, которые вначале и не имели смысла?

Спать он уже не мог. Зачерпнул – можно так было сказать – он рукою страничку наугад из ее папки – серой, вернее, серовато-голубой папки, изрисованной какими-то полустертыми и поэтому туманными вензелями и отрывками записей, но тоже затертых или зачеркнутых. Наверху листка был заголовок «Что думала Анна Каренина об Арманд Инессе». Знака вопроса не было. Да и зачем, риторический вопрос. Заголовок заставил его задуматься, но не над самой темой – от Iry можно было ожидать чего угодно в суждениях, – эксцентричностью и независимостью суждений (иногда, правда, близких к истерике) она отличалась всегда – пусть в даже неопределенно-юном возрасте, когда, по-видимому, был написан данный отрывок размером в страницу. Он задумался, почему в таком порядке поставлены слова, почему «Анна Каренина» в обычном порядке слов, а Инесса Арманд инверсным, то есть почему здесь фамилия шла на первом месте?

В промежутках размышлений непонятно почему вспомнил он об одной полузабытой уже энтузиастической знакомой, которая своей новорожденной дочери хотела даровать странное имя Ленинесса, но ее вовремя отговорили.

Сразу сказав себе, что истинной причины он все равно не поймет, – она могла быть связана с какой-то мелочью, деталью Irinoi жизни и обстановки, о которой он не знал, – вдруг у него возникло желание спросить ее именно сейчас, среди ночи, когда она – вызывающе, – так он подумал, – не спит. Но дозвониться ей – слегка опьяненной, вином ли или ночным общением, с ее не совсем знакомым, хотя узнаваемым голосом сейчас было нельзя. Это он мог сказать наверняка, даже не проверяя. Все же основная причина такого написания была связана с – он знал, поскольк-

ку узнал Iru за это время, – связана с произнесением, со звучанием совместным этих слов. Лучше латинскими: «Anna» –«Armand» и «Karenine» – «Inessa», звук одного слова перетекал в другой. Может быть, соединяло их то, что были они в неразрывной паре «виртуальное» – «настоящее» и «реальность – мнимость адюльтера», во всяком случае, эти персонажи общего сознания своими образами (через посредство такого сознания) как-то взаимодействовали. «Каренина Анна» сказать невозможно, – так сказать дворянке могли в XX веке – «выйти из строя» (да и использовал кто-то такой прием), а «Арманд Инесса» звучало несколько странно и разбивало привычное уже сочетание со всеми привычными и поверхностными ассоциациями. Смысл отрывка ему представился ясным, хотя он не прочел в нем ни строки кроме заголовка, – он был в стремлении связать, стянуть разрозненные факты и черты женских образов разных времен, несовместимых эпох. Ему даже захотелось сказать: «соединить их сапожной дратвой». Хотя как могли бы сделать это ее слабые пальцы? Но то была бы особая прозрачная дратва, соединяющая утонченную женщину, погруженную во мрак, и прелесть, и трепет своей личной («неэмансипированной» жизни), и революционерку, о революционерках Ira непрерывно думала – он знал это точно, не потому что она ему об этом говорила, а потому что не говорила, – так некоторые фразы проскальзывали, так о самом интимном, сокровенном почти никогда не говорят, потому что это и есть мысли и чувства, а говорить – значит выворачивать наружу и нарушить весь строй существа. Все действия подтверждали, что это именно так. Да и в разрозненных записях ее в серой папке, где-то в глубине, в пазухе сверкнуло вдруг несколько имен, так что он извлек на мгновение серый и старый листок, на котором прочел имена эсеровских революционерок: Ирина Каховская, Мария Школьник, Александра Измайлович, Мария Спиридонова.

Но сейчас не мог он заставить себя взглянуть в Iriny записи. Отложил он листок и думал о том, что могла бы она здесь написать, – то был, по его мнению, лучший способ понять, что там окажется написанным. Создать мысленно свой отрывок, чтобы на нем, как на основе, можно было легко различить ее текст. Пытался он уловить внешнее общее: Каренина, погибшая где-то на вокзальных рельсах, и Арманд, возможно, тоже погибшая от холеры на вокзале на носилках (во Владикавказе, в Беслане? – где-то на северном Кавказе), когда ее перевозили из госпиталя в госпиталь. Вся ее жизнь, неизвестная ему, как-то представилась разом, вспомнил он ее талантливо отретушированную фотографию, где из-под шляпы, но без всякой вуали глядели ее прекрасные глаза, а у Анны была ли вуаль? чтобы сквозь эту туманную, прозрачную паранджу еще явственней были видны ее живые черты, скульптурные скулы и впалые темные щеки. Ее взгляд, который выискивал в будущем мечту о свободной женщине. И другая вполне свободная, «сжигающая себе в огне революции женщина» – именно такие полузабытые и затверженные фразы произносила Ira, – именно это в женщинах, подобных Armand, так влекло Iru, и это она так ненавидела. Войти во все учебники, застрять в мыслях всех, как в ветвях, но любую мысль о личной вечности уничтожить.

Не мог он читать этот листок. И тут же пришла от нее новая весть: «Сегодня в 2 в Лазенках у Шопена». Тяжело засыпая, он понял, что не удивляется любым ее посланиям и словам. Желание увидеть ее от этого не уменьшалось, а возрастало, словно она пробуждала в нем какой-то азарт догнать ее. Но она ускользала, и, засыпая, он видел отсвет от зеркальца, зайчик, бегущий по земле, который, как известно, легко может превысить и скорость света.

После изматывающего утреннего перелета из Стокгольма в Варшаву он не получил от нее нового сообщения и днем добрался до парка Лазенки, где она должна была его ждать. На аллее, удаляясь и приближаясь к памятнику Шопена, он находился, как и было ему предписано. Тихо и медленно он проходил туда и сюда. Слыша шуршание гравия под ногой. Ira не появлялась. Улыбка какой-то женщины на краю скамьи стала заметна и тревожила его, как постороннее сияние. Она смотрела на него долго:

– Вы по́эт? – спросила она.

– Нет, – ответил он, не боясь срифмовать.

– Тогда философ, – утвердительно сказала она, и он вынужден был подтвердить, хотя таковым не являлся, а только числился.

– Что-нибудь покажите из ваших писаний, – она говорила по-русски почти чисто, но чувствовался ее польский акцент. И он, неожиданно подчиняясь, достал из сумки через плечо свой измятый доклад со шведской конференции. К его удивлению, она все внимательно прочитала, на что ушло минут двадцать. Он вглядывался в это время в даль расходящихся аллей, но Iry нигде не было.

– Вы та́лант... Я хочу познакомить вас с друзьями...

Он мог только усмехнуться, но сейчас так устал, что покорно пошел за ней... ему хотелось просто передохнуть где-нибудь.

Все же он успел спросить, как ее зовут, и она сказала:

– Майя.

В огромной комнате, когда они вошли, было двое – молодой и пожилой. Горела огромная белая свеча. То, что он заметил еще – дымная змейка какого-то воскурения. Они довольно долго говорили о разных философских вопросах, но он тут же забывал то, что говорил. Майя улыбалась ему в полутемноте, но он все воспринимал смутно.

И тут же пришла от нее новая весть: «Сегодня вечером в 8 у варшавской Сирены».

Он обещал Майе, что позвонит, хотя не был в этом уверен. Смутность этой встречи в комнате при свече не проходила и в вечернем чистом варшавском воздухе. Все же подошел он за мостом к женственной статуе с застывшим плавным движением руки, с мечом и хвостом. Было начало девятого. Iry не было. Звонок тихий и нежный, – пришла Irina записка: «Переночуешь в "Доме научетеля". Это рядом. Номер на тебя заказан». Тоска захватила его. Ему нравилось подчиняться Ire настолько, насколько он полагал, что это он породил ее стремления, ее образ, убегающий от него, но влекущий. Однако физически он был сейчас разбит. Вдруг он почувствовал, что уже не может внутренне вести диалог с самим собой, и мужество его покинуло. Он понял, что надо выбраться за пределы самого себя, – ведь он путешествовал «без друга и сестры», положившись на то, что ускользающая от него возлюбленная будет говорить с ним и тем поддерживать силы. Но он не понимал ее. И он решил вдруг позвонить Ослику, хотя совершенно не надеялся его услышать. К радости, неожиданно услышал гудки на той стороне:

– «Дом научетеля», – это, кажется, «Дом учителя», такая гостиница, – произнес голос Осли, совершенно не удивившегося его звонку, хотя они не разговаривали больше месяца, – не знаю, где находится, но сейчас посмотрю на карту местности, – он явно был рядом с компьютером, – пойдешь вдоль Вислы к Аллеям Ерузалимским, справа найдешь этот странноприимный учительский дом. Не пропадай!

Пошел он вдоль левого берега Вислы, вверх по ее течению. «Вверх по течению речи», – вдруг прошептал он всплывшую чью-то строку, он так и сказал себе «всплывшую», подумав, что так всплывает русалка на этой реке. Вечерело, но было совершенно светло. В высоком, хотя тесном и душном здании гостиницы, в номере почувствовал он себя плохо. Распахнул балконную дверь, но была лишь решетка, преграждавшая путь вовне, самого балкона не было, и воздух слабо входил. Сердце билось неровно, и пульс подтвердил это, аритмия случалась у него очень редко, но сейчас, кажется, наступающий приступ был несомненен. Ire звонить было бесполезно. Вспомнил он о лекарстве, которое ему посоветовали пить в таких случаях и которое он всегда носил с собой, и выпил с водой из кувшина одну таблетку и затем еще одну. Сердцебиение вроде бы стало ровнее, но чувствовал он непонятную слабость. Чтобы избавиться от нее, ему хотелось куда-то бежать, словно можно оставить свою боль, убежав от нее. Накинул он куртку, взял сумку и быстро покинул номер. В глазах что-то происходило, не то чтобы потемнело в глазах, но что-то происходило с ним. Внизу он сдал ключ и вышел на улицу. На воздухе стало легче, и он пошел направо к мосту, затем свернул направо в переулок. Прошел мимо театра «Атенеум», – это еще он заметил, но дальше ему стало совсем плохо. Он чувствовал, что ноги не то чтобы подкашиваются, но исчезают под ним. «Так, наверное, оседает весной снежная баба», – успел он подумать и порадоваться, что сознание его еще не покинуло, и все еще не так страшно, хотя ему было уже по-настоящему страшно. Он чувствовал только, что действительно оседает на мостовую, ни застонать, ни вскрик-

нуть он словно бы уже не мог, – но проходившая мимо пара оглянулась на него и подхватила его, уже падающего. Они быстро позвонили по мобильному, и почти сразу подъехала скорая помощь, которая тут же доставила его в больницу, находившуюся где-то рядом, почти за углом. Его спросили по-русски (взглянув в паспорт), может ли он идти, и он подтвердил. Все же в палату его сопровождали двое санитаров и медсестра.

В палате было многолюдно, и он никого не мог разглядеть, но когда его подвели к свободной койке, он, хотя чувствовал глубокую слабость, все же увидел тех, кто был слева и справа. Слева (а когда он подходил – по правую руку) лежал, как ему показалось, в марлевой колыбели старичок – светлый, и белый, и бледный, который глядел на него глазами безумного младенца, хотя разве может быть младенец безумным? Справа лежал навытяжку иссеро-коричневый, исхудавший до крайности, черноты древнего дерева, погруженный в напряженный сон мужчина. «За что мне такое испытание?» – спросил он себя. «Pan Paras», – все же смог он прочесть справа и «Pan Serjant» – слева. Полная медсестра, которая подвела его к постели, взяла его за руку, считая пульс и гладя другую руку, ласково и тихо приговаривала, намекая, наверное, на его русское происхождение:

– У, пся крев...

Тут же в палату быстро вбежала молодая женщина-врач. Она посмотрела ему в глаза, померила давление, побледнела, – это он отметил, видя происходящее как бы со стороны, и стала считать пульс, – она смотрела на свои большие, просто огромные часы на левой руке, и он почувствовал, что в часах с синим циферблатом и золотыми цифрами что-то странное, но из-за слабости не смог сразу понять, и вдруг понял, что стрелки неподвижны, неподвижны относительно ее руки, его самого, стен палаты, а движется, вращается в обратную сторону, то есть против часовой стрелки, синий прекрасный циферблат, как звездный небосклон. Это его заворожило, хотя он подумал, не галлюцинация ли, и он, несмотря на слабость, отметил, что может что-то еще чувствовать. Затем он лежал под капельницей, и все в палате, кроме соседей слева и справа, следили за ним, и грузный человек, лежащий напротив у окна, спросил:

– Что у вас?

Он ничего не ответил, и человек произнес:

– А у меня «завал»... как сказать по-русски: «инфаркт»? Мне нельзя смолить, но попробую, – и, оглядываясь, стал тайно курить в приоткрытое окно.

Снова вошла та врач, она посчитала пульс, померила давление, и он увидел, как бледность ее стала проходить:

– Я мыслялам... что все трагично... Вам... не можно пить anaprilini, сердцебиение не так страшно... может упасть давление... и коллапс...

Раздался Irin звоночек. Под взглядом врача он прочел: «Завтра встретимся в Кракове».

– Что вам напишут?

– Завтра я должен быть в Кракове.

– Не можно.

– Надо.

– Несчастна любов?

Поразился он этому вопросу, но вдруг ответил польским утверждением:

– Так.

Днем следующего дня он выехал поездом в Краков. Все же удалось ему убежать, по сути, сбежать из больницы, где ему было приказано только лежать, и нельзя было выходить даже в коридор («не можно ходзичь до коридажу»). Но он не мог быть больше между умирающими паном Парасом и паном Сержантом, проведя эту ночь между ними, которые всю ночь слева и справа тихо и прощально стонали возле его постели. Пришлось подписать бумагу, о том, что вся ответственность, если что-то произойдет, лежит на нем. Но чувствовал он себя гораздо бодрее.

В поезде в купе светлая и веселая, красивая пожилая полька расспрашивала, куда он едет. Из того, что она говорила ему, запомнилось только, что едет она в Краков, где работает ее «цурка», собственно только это и запомнилось, потому что он не мог понять значение слова. Вдруг он

осознал, что оценивает ее как пожилую, при том, что ей точно уж не больше лет, чем ему истинному. Но что настоящее в нем было, и кто настоящий был в нем сейчас? Сейчас он скорее чувствовал себя опять студентом, студентом, который едет куда-то в университет, в университеты в другие страны, или для наполнения своего слабого образования в кругосветное путешествие. Симпатичная эта женщина, как и другие красивые женщины, встречающиеся сейчас на его пути, вызывали легкое головокружение и тошноту, – потому что сквозь них где-то виделось в удалении недоступное Irino лицо. Лишь подъезжая уже к Кракову, он понял, что слово то означало «дочка».

Написал он Ire sms-письмо о времени прибытия своего поезда в Краков, – ответа никакого не последовало. Но в Кракове стоило ему выйти на привокзальную площадь, как пришло по телефону ее письмо с единственным словом «Закопане». Вначале он не смог понять смысл, думая, что, может, она ошиблась и надо читать «Закопано», нелепо предположив, что речь идет о записке для него, которая закопана где-то здесь. Понимая абсурдность предположения, стал он все же оглядываться по сторонам, ища глазами невесть что, но затем каким-то судорожным движением воли он заставил себя думать, ругая ее за постоянные загадки, которые она предлагала ему на пути, и наконец догадался, что имела она в виду город Закопане. Тут же узнал он, что автобус в горный этот город отходит через десять минут, и даже не взглянув на Краков, – лишила она его времени разглядеть еще один осколок Европы, – вскоре ехал дальше на юг.

7·

Взглянув бегло на карту, он отметил, или ему показалось, что до Закопане от Кракова рукой подать, или, вернее, только ноготь по карте передвинуть, – ан нет – вся красивейшая дорога между холмов и гор превратилась в двухчасовую муторную автобусную болтанку, так что его, вроде бы никогда не страдавшего морскою болезнью, стало подташнивать, и он за окном почти ничего не запомнил. Сойдя наконец на твердую землю, он увидал закатное солнце на склоне гор, и хотя то были Татры, вспомнил он давнюю – из детства – тирольскую песню: «На склонах Альмы светлый луч...», – или все же там женский голос пел «... светлый луг?» – и ему захотелось остаться в курортном неподвижном месте, где все неизменно повторяется каждый день, – остаться хотя бы на день, хотя бы на два дня. Но тут поджидало его sms-послание, увидел он тут же и упоминание о непринятом звонке, звонила она ему, но он не услышал за шумом автобуса, она писала: «Мы едем на машине в Словакию. Садись на автобус. Границу перейдешь в Лысой Поляне». Добрался он до местной автобусной станции и узнал, что автобус отправится через час. Опустился на деревянную скамью, и затем лег и поставил сандалии рядом со скамейкой. Он лег, подложив руки под голову, так, чтобы видеть вершину горы. «Где там эта Лысая Поляна? На какой вершине, или, верней, перевале? Что, еще раз перейти границу, словно контрабандист, как той далекой уже прошлой осенью, когда ты тайно проник в университет, но ты или не ты уже тогда поступил туда?»

Задремал он, но буквально на десять минут, и проснулся освеженным. Десять минут – и он снова был бодр. «Наполеоновский краткий сон, и вот ты снова готов для наполеоновских планов», – подумал он, – не совсем это твои планы, но ты и не несешь ответственность за их чудовищность или грандиозность». Заметил он, что на соседней скамейке за время его сна появилась, возникла молодая девушка, которая быстро что-то писала, подложив на колени книгу. Обратился он к ней почему-то на слегка ломаном языке:

– Не скажите, где здесь Лысая Поляна?

– Лыса Поляна? – переспросила она и рассказала, что да, есть такое место там на горе, – она плохо говорила по-русски, и поэтому он не был уверен, что правильно ее понимает. Она, собственно, оттуда, возвращается она в Краков, где работает на факультете психологии в ягеллонском университете, – возвращается с конференции, которая была там, в Словакии, в Высоких Татрах, в Штрбске Плесо.

Почувствовал он вдруг угрызения совести, что вот девушка настолько увлеклась своими мыслями, что не торопится покинуть здешнюю автостанцию и пишет нечто важное, а он давно уже

ничего не писал и в общем-то бездельничал. Не хотелось ему покидать умную девушку, но путь его лежал в ином направлении, маленький женственный вектор с гор был направлен прямо в противоположную ему сторону, и через десять или двадцать минут они распрощались.

Местный автобус-экспресс, дребезжа на каждом повороте, медленными кругами, мимо просек и пастбищ поднялся к перевалу – путь занял больше часа. Видел он сухие овраги, покрытые хвоей, и думал, что так легко выйти на ближайшей остановке и перейти границу, – там за оврагом лежала другая страна, – так его уверила девушка на станции. Перейти границу без всяких пограничных пунктов, а там будь что будет. Но, повинуясь, по-видимому, не своему, а Irinomu голосу, он добрался до конечного пункта. Никого, кроме него, уже не было, под огромными деревьями было полутемно и прохладно. Многочисленные трайлеры стояли впереди, но людей не было видно, наверное, ожидая таможенного контроля, все разошлись на ночь. Один он подошел к избе с порогом и сквозным проходом, за которым обозначалась другая страна. Пограничник сквозь окно спросил лишь о количестве алкоголя и табака, переносимого на эту сторону. Но так как ни того, ни другого у него почти не было, то он не представил большого интереса.

Однако за пройденной границей его ожидало новое сообщение: «Мы едем дальше в Венгрию. Встретимся в Будапеште у моих друзей. Дима Ледерман математик, его жена Ольга писательница». Были приписан их телефон. Понял он, что теряет нить своего пути: только утром сегодняшним он вышел из дверей варшавской больницы, а сейчас надо было круто менять все понимание окружающего и настраиваться совсем на другое место и время. Решился он и все же написал ей sms: «Почему ты убегаешь от меня?» Неожиданно быстро пришел ответ: «Я не убегаю, – ты опаздываешь». Он написал «Могу я тебя упредить?» Пришел ответ: «Упредить нет, потому что не знаю сама, где окажусь, но догнать можешь».

Переночевал он в плохом номере, – устроиться в курортных местах в Высоких Татрах оказалось непросто по причине летнего сезона. Утром добрался он до Попрада автостопом, а затем оттуда до Кошице на поезде, и потом еще дальше на поезде уже через границу – еще одну границу – прямо в Будапешт. Там он думал, что застанет Iru – позвонил по указанному телефону, и ее знакомый Дима сказал, чтобы он немедленно приезжал, потому что Ira собиралась быть у них в крайнем случае к вечеру. Не увидев толком венгерской столицы, он доехал до их дома, расположенного в равнинном Пеште.

– Давай сразу на ты будем, – с порога приветствовал его Дима, – слишком мало времени на церемонии, а поговорить, чувствую, будет о чем. Как развернулась Ира-то. Ты знаешь, конечно, что своей ассоциацией она охватила аж пол-Европы.

О чем идет речь, он не понял, но быстро кивнул, полагая, что если слишком сильно выразить утвердительность, то ему говорить ничего не будут – и так все знает, но если изобразить удивление, то как с непосвященным тоже, возможно, не захотят говорить и обсуждать подробности.

– Свалилась на нас как снег в летний день. Но мы ее столько не видели, что сами жаждем повидать. Так что появится сама, все подробно расскажет. Интересно, что Ира сказала тебе про нас, как представила?

– Написала что ты математик, а Ольга – писательница.

– Она сказала неправду, моя жена – бездельница, а я – сапожник. Мой дед был сапожником, и я считаю, что пошел по его стопам, как, прости за каламбур, моя дочь прошлась по моим. Но он был настоящим сапожником, не таким, о которых кричали в кино «Сапожники». По основному образованию я тополог, но потом кое-что усложнил в своей специализации, так что я, действительно, чувствую себя сапожником. «Шью я толстою иглой тонкие сандалии» или как там, ну ты знаешь, «тонкою иглой толстые сандалии»? Вот уж много лет тачаю такие математические сапоги, иногда получается красиво. А чем ты занимаешься? А, ну да, Ира сказала, что ты философ-математик. Первую часть такого конгломерата мы отбросим – для меня философия – непонятная мерехлюндия, а вот о второй части можем поговорить особо, как в бородатом советском анекдоте.

– Каком? Я не знаю.

– Ну как же: в одном большом учреждении появилось объявление о том, что вечером состоится доклад на тему «О четырех видах любви». Понятно, что в актовый зал набилось людей немыслимо. Пожилой опытный лектор начал так: «Науке известны четыре вида любви. Первый вид – любовь между мужчиной и женщиной, второй – между мужчиной и мужчиной, третий – между женщиной и женщиной и четвертый – любовь народа к своей партии. Ну, первые три вида вы знаете лучше меня, а вот о четвертом поговорим подробно».

– Наверное, чтобы быть политкорректным сейчас, следовало бы подробнее говорить о втором и третьем типах.

– Он прав, – сказал Дима, взглянув на жену, – ты, чувствую, можешь повернуть как-то... повернуть так разговор... в нужном тебе направлении... прям как моя дочь, кстати, давно отсутствующая... что меня беспокоит... вообще она молодец... я уже сказал, что она прошлась по моим стопам... чуть все ноги не отдавила... она вошла в венгерскую сборную, которая поедет на международную олимпиаду по математике... мне в ее возрасте такие успехи не снились... но сейчас по случаю окончания школы... она как-то вдруг встрепенулась... стала думать и о своей внешности... вот сейчас исчезла с подругами... напомадилась, накрасилась, стала красивой, как... как не знаю что...

– Как будапештская синагога, – произнесла Ольга.

– Молчи, женщина, – смеясь, повернулся к ней Дима, – не пристало такое говорить... тем более тебе произносить такие вещи... но вообще, она права, здесь множество красивейших мест и зданий. Скажу, что и оказался и живу здесь уж который год по чисто эстетическим мотивам. Меня вначале пригласили в Амстердам в университет, потом был в Париже, Марселе, где мы потом были? В Швейцарии, и вот сейчас в Будапеште. Почему? Во-первых, потому что Будапешт – самый красивый город Европы.

– После Москвы, – вставила Ольга.

Дима только головой мотнул:

– А во-вторых... а во-вторых... потому же, что и во-первых, Мое эстетическое чувство, если оно есть у сапожника-математика, тут процветает. Кстати, это я тебе могу... понятно, что небольшую часть показать... Пойдем, пошукаем дочь мою Юлию... Сдается... она где-то на Геллерте сейчас...

Они вышли на улицу в невероятно жаркий день.

– Поедем на трамвае. Для прогулок не очень все сейчас... оборудовано. Наверняка где-нибудь рядом с девушкой-свободой... монумент такой, отовсюду видимый... или невидимый... на вершине Геллерта тусуются, на роликах, на велосипедах, хотя, может, в бассейне... но вряд ли, зачем, спрашивается, тогда было ей раскрашиваться... скорей всего, в кафе сидят.... Поедешь без билета, – строго обратился он к нему, – тебе как гостю полагается, контролеров почти нет, тут даже в метро их почти не бывает, так что езди бесплатно... меня это всегда почему-то возмущало... в бесплатности я видел отсутствие порядка, и думал, что хорошим не кончится... и действительно, когда время наступило отмечать пятидесятилетие вхождения танков... тут началось свое... свои внутренние дела... демонстрации.... Недовольство правительством... баррикады и все такое... полыхало так, что ночью в Пеште было светло, как днем.

Они вырвались на трамвае в солнечный городской приречный простор, и трамвай вышел на Цепной мост на ширину Дуная, там вдали, выше по течению едва были видны голубые контуры далеких гор, справа оставался низкий Пешт, слева поднималась высокая Буда. Вдруг он почувствовал, что река, невероятно широкая струящаяся река Дунай обе части города уносит куда-то в неведомую сторону, во время, быть может, хотя все остается здесь.

Они промчались по Цепному мосту и оказались у подножия холма Геллерт, и пошли вверх по крутой дороге. Он сразу почувствовал, как изменился пейзаж, и город на глазах становился другим, превращаясь в незнакомый южный город с бассейнами на крышах отелей, переполненными плещущимися людьми, но это быстро прошло, и пошли виллы за сплошными каменными и сквозными железными оградами, увитыми лозой. Сквозь мелкую лиственную зелень виден был далекий уже Пешт.

– Что увидит студент, если подымется на вершину горы Геллерт и взглянет на Будапешт? – спросил Дима. – Правильный ответ: «объекты и субъекты права». Так говорил первокурсникам на юрфакультете здешнего университета один знаменитый профессор. Но мы, я думаю, разглядим и кое-что другое. Хоть философию и не люблю, но некоторых философов, вернее, мистиков, почему-то уважаю. Все говорят, что в центральной Европе самый мистический и загадочный город – это Прага, а я скажу – Будапешт. Не люблю философию, мистику не понимаю, – это по вашей с Олей части, – но здесь что-то есть... не буду говорить о всяких религиозных деятелях... скажу только о близком: по этим улицам ходил... отсюда вышел Янош, больше потом известный как Джон, фон Нейман, кто-то, может, и назовет его математическим мистиком компьютерного мира... тогда еще нерожденного... здесь жил Габор... пусть не он один все это придумал... но именно здесь он впервые увидел... прозрел... нет, провидел голограмму, где сразу все соединилось, где в плотности невероятной можно представить соединенными многие времена... хотя это пока носит пространственный смысл, где по фрагменту восстановимо целое... Вот именно здесь мы гуляли с Олей, в первый день наш в Будапеште... отсюда она взглянула на город и сказала, что мы остаемся здесь.

В это время тихо как-то запел его телефон.

– Кто рядом с тобой, – без предисловий произнес Irin голос, – Дима? Передай ему трубку.

Дима с изумлением взял телефон из его рук и долго слушал, потом произнес:

– Ну ты, мать, даешь... Такие пируэты закладываешь... Не успел человек прийти в себя, как опять бежать... Да... понял... Не кричи только... Как не кричишь, по-моему, очень даже кричишь... Все понял... Хорошо. Слушаюсь, мэм.

Дима грустно повернулся к нему и отключил телефон:

– Велено тебя собирать в путь-дорогу. Ты должен срочно на ночном поезде отбыть в Белград. Видишь, какое дело. Мы сами Иру не увидели, и думаю, долго еще не повидаем. Не знаю, что тебе надо делать в Бело-городе этом, но такова твоя судьба.

В поезде на Белград, уже ночью он подумал, что Ira все время нарушает каждый эпизод его путешествия (хотя наверняка в том не было предварительного умысла) и зовет его к следующему, словно бы указывая, что нечто важное уже произошло или произнесено, и он может разрешить эту загадку – что же важное совершилось – загадку каждый раз новую, но что произошло или было сказано в этот раз, он, как ни бился, не смог сразу понять.

Поезд Будапешт – Белград отходил поздно вечером, и из-за ранней темноты он не сразу разглядел, что потертые стены вагонов размалеваны огненными граффити. Ночью в поезде он продрог, несмотря на лето. Был у него спутник, или попутчик, выливший из фляжки тепловатый чай, смешанный с коньяком, и предложивший ему глоток. Сойдя с поезда, увидел он, полуголодный, выход в утренний город под каменной аркой с часами и надписью «Beograd (Београд)». Такси взять не решился, и дорого было, да не было времени валюту менять в столь раннее утро. Будить Iru в столь ранний час в ее гостинице он не хотел, поэтому решил пойти по утреннему незнакомому городу пешком. Пошел по трамвайным путям налево, решив двигаться вдоль них, которые, как помнил он, должны были, словно двойная нить, привести его к цели пути. Помня смутно карту в вагоне, говорящую, что мимо слияния двух рек, на котором стоит этот раненый город, никак не пройти. В междуречье неизбежно упрешься. Ранее теплое утро было благостно и пустынно, и он, не понимая, почему так тихо и пусто, не сразу сообразил, что сегодня выходной день, а он в своем путешествии непрерывном забыл, что есть суббота и воскресенье. Ira наметила ему встречу у гостиницы на улице Краля Петра, но он понимал, что в любой момент планы могли поменяться, и поэтому держал телефон свой включенным и наготове, и вздрагивал, если слышал отдаленный звонок трамвая, принимая его буквально близко к сердцу, потому что его телефон обычно похоже звенел.

Шел он по улицам вдоль трамвайных нитей, казалось, вдоль них он мог идти и закрыв глаза, видя красивые здания, некоторые еще явно австро-венгерской эпохи, надпись на банке с барочными завитками бросилась ему в глаза, но он уворачивался, зазевавшись, от грузовика, и поэто-

му почти ничего не запомнил. Руководствуясь больше наитием, чем трамвайной руководящей нитью, он приблизился к мосту, большому путепроводу, который влево наверняка уходил через реку, но какую, Саву или Дунай, он представить не мог, а спросить было не у кого. Под коричнево-серым огромным широким мостом был полутемно, и только машины постоянным гулом пробуждали, казалось, древнее пространство – действительно, остатки колонн хранили здесь какое-то давно ушедшее время. Не было времени задерживаться в узком и страшноватом месте, – ему хотелось прилечь на тихий песок здесь и заснуть на время, несмотря на гул грузовиков, – почти бессонная ночь в вагоне сказывалась.

Вышел он наконец на простор, и сразу же увидел по левую руку утреннюю широкую реку, а по правую – дома, наполовину забитые и нежилые, но в высоте вдали за ними открывались красоты террас огромных домов, удивительных в своей смешанности всех стилей, между которыми виднелись как бы пинии, и пробитые части зданий – неужели еще остались следы бомбардировок? – были не менее величественны, восходя лестницей. Вышел он ближе к реке и увидел, что трамвайный путь – один из путей – идет вдоль воды и дальше скрывается в тоннель, но видно было, что по этой дороге давно никто не ездил.

На улице Краля Петра в гостинице он думал, что будет ее еще долго ждать, пока она проснется, – было все же утро, хотя и не очень раннее уже, но на рецепции, когда он спросил, в каком номере она остановилась, ему передали записку: Ira сообщала, что уехала в Сербске Митровице – место святой Анастасии.

Туда не было никаких сил добираться, и он просто сел в кресло в маленьком холле и просто смотрел на улицу, на двойные отблески стекол – гостиницы и магазинов на другой стороне улицы, там в затемненной глубине виднелись высокие стройные женственные манекены, и в незнакомой стране он мог сейчас наконец не думать ни о чем. Но все же отрешенно поглядывал на экран телефона и на часы на нем, и словно бы пробудился, когда увидел сообщение от нее: Varna. Некогда было размышлять, отсюда из холла он заказал билет на самолет – прямого рейса не было, и чтобы добраться от Белграда до болгарской Варны, пришлось лететь через Стамбул, проведя несколько часов в зале ожидания транзитом.

В Варне он долго ждал в аэропорту, находясь, как он сам определил себя, «в листе ожидания». Но напрасно, вестей от нее не было. Тогда он поехал в город, надеясь найти ее – хотя сам не знал где – там. В центре города вошел он в собор и долго стоял, закрыв глаза, перед иконой, посвященной Петке, как он понял, болгарской Параскевы Пятницы. Свечи стояли в воде, и он тоже зажег свечу и погрузил ее в песок в глубине воды. Какой-то человек подошел к нему, назвал по имени, и когда он кивнул, передал записку и тут же отдалился. Он поразился такой прозорливости – записка была явно от Irу, но подумал, что, входя в собор, он не выключил телефон и значит был опознаваем и здесь, хотя зачем такой сложный путь она предприняла? Ira просила его двигаться немедленно на север, в Балчик. Что это такое, он не знал, но сразу решил узнать. По вопросу отправили его на берег моря, и там он довольно быстро нашел катер, который мог отвести его в знаменитое здесь место. Выходя на берег моря, он увидел низкое солнце над горизонтом и почему-то не сразу понял, что оно над Черным морем находится в правильном месте, ему почудился вечер, а ведь был восход. Сейчас с западного берега моря, прежде недоступного, можно было увидеть солнце над морем лишь на востоке, а те прежние места – Абхазия и Колхида, откуда когда-то он видел черноморский закат, теперь казались невидимыми и недоступными. В море на палубе маленького катера под утренним солнцем он задремал, и очнувшись на мгновенье, вдруг увидел – как нечто незнакомое и впервые открытое – с высоты глаз далекую свою ногу, – некоторое время он смотрел на себя, почти не узнавая, и снова впал в дрему, не проходившую до прибытия к берегу Балчика.

8.

Балчик, – он представлял, что похоже будет на Балчуг, а здесь открылась огромная меланхолическая длина аллеи, выходящей в открытое море. В Балчике несомненно Ira была, но след ее

простыл, и все же ему казалось, что он ощущает следы прикосновения ее взора к аллее невероятного парка и черноморской вечерней глади, залитой незнакомым западным солнцем. Сейчас, ближе к вечеру, солнце в парке было почти не видимо за непроницаемым узором стеблей и листьев растений, собранных сюда со всего света. Ira наверное, провела здесь много часов, но он опоздал.

Он чувствовал, она не хотела отсюда уходить – странного места, неповторимого во времени и пространстве, но часть его, коснувшись, она наверняка унесла с собой и сейчас где-нибудь на далекой дороге, в быстрой машине повторяет в своем взоре, как сон, который удалось запомнить и запечатлеть и унести с собой в свою жизнь. Это место на спорной территории Добруджи, принадлежавшей тогда Румынии, до сих пор иногда упоминается (о чем сообщала полустертая надпись на стене ограды) как Micul Paradis al Romaniei Mari, то есть Маленький Рай Великой Румынии. Оно просуществовало во времени между двумя войнами, и румынская королева Мария создала его здесь и погибла здесь перед самой Второй мировой, которая захлестнула своим морем всю эту территорию мечты одной женщины.

Имя Марии соединялось в своем звуке с румынским именем моря и величия. Подумал он, что своим взором Мария словно бы размечала это пространство – клумбы, деревья, цветы, боковые каменные лестницы, ведущие к морю, минарет, немыслимо вырастающий из православного храма, соединяя в едином теле несовместимые религии – видимо, вспоминала она и цареградскую Софию, ставшую Айя-Софией, где от прежнего христианского мира остались лишь нерушимые устои-образы. Но здесь не было следов завоевания и подчинения, здесь была попытка – возможно, больше предназначенная для будущих воспоминаний – королевы, облаченной в белые одеяния, взаимно пронизать и примирить несовместимое – проект, не столь уж ближний во времени, – объединить все религии в одном всеобъемлющем, всеобнимающем учении – то есть она была последовательницей или из скромности называла себя таковой – кого – он не мог вспомнить это имя. Бахаяны? – тут он скрестил – и понимал это – разнородные понятия, возможно, Махаяна и бихевиоризм – но в таком гибриде слов ему чудился отголосок реального замысла Балчика – невозможного места.

Некого было спросить. Название города тоже что-то напоминало. Балчуг? По-тюркски, кажется, «грязь»? Тюркские и мусульманские отпечатки и образы из прошлого в рассеянной идее присутствовали здесь везде.

Всего у него оставался час с небольшим времени – паром ждать не будет. Пытался все же он вникнуть и проникнуть в это многослойное создание, недоступное ему сейчас. Влекло Iru сюда, влекла, наверняка, совместность, хотя вряд ли совместимость всех слоев культур, принесенных сюда. По замыслу они, наверное, должны были стать и всегда пребывать прозрачными, но сейчас, по прошествии многих лет, они потемнели, сплотнились и словно бы не пропускали света.

Но он вошел в дом. Комнаты Марии, ее книги, предметы созерцания сохранились, как уверяли, почти в прежнем виде. Белая веранда, полуротонда с колоннами, с заостренными арками была вознесена над морем. В ней королева в белом проводила многие дневные и вечерние часы – сохранилось несколько фотографий, причем одна была представлена в двух видах – прямом и зеркальном, но какая истинная, а какая в зеркале, понять сейчас не представлялось возможным. И еще один на стене ее фотопортрет с посвящением: «À notre très précieux maire de Balčic» – очевидно, подарок мэру Балчика Джордже Фотино (хотя вначале подумалось ему иллюзорно, что это посвящение мэра: «матери Балчика») с подписью ее Marie 1937.

Два ряда белых ниспадающих бус на ее груди образовывали как бы двойную перевернутую арку. Было и фото другое: она, Мария, перед Stella Maris. Это была церковь? Где ее отпевали в 38-м. Вспомнил он смутно и католический гимн «Ave Maris Stella», обработанный разными авторами, среди них и вроде бы Лео Делибом.

И еще одна фотография: женщина в черном, словно бы монашеском одеянии, – поверх белой обычной одежды – в профиль над морем, на черной деревянной террасе, впрочем с кирпичными квадратными колоннами-устоями с подписью по-румынски: «Privind spre mare din studioul Ilenei». Пришлось ему напрячь все свои скудные познания в романских языках, чтоб примерно

понять, что речь здесь о том, что здесь королева над морем – из студио, то есть из комнаты Иленей – которая, как он с трудом и косвенно понял, была ее невестка. Тут же на фотографии он с трудом разглядел едва уловимую подпись, сделанную, по-видимому, самой Марией по-английски: «at Ilena's studio». Вероятно, английский был для Марии самым простым, ведь она была внучкой английской королевы Виктории.

Создала она свой мир, равный или даже превышающий мир зримый в приморском, черноморском захолустье, в невероятно красивом краю Добруджи, где жило две тысячи болгар, тысяча румын и две тысячи турок на берегу Моря Нягрэ. Журчание ниспадающих по ступеням к морю ручьев, редкое пение птиц слышалось и в глубине парка. Здесь в темнозеленой полутьме приморского парка он вспоминал и фотографию двух ее сыновей Кароля и Николае в военной форме с саблей на эфесе, именно он застрелил ее, когда она встала между сыновьями, чтобы защитить одного из них от другого. Она прожила потом еще один день. Вот королева в белом одеянии долу рядом с кирпичной стеной, из которой ниспадает разделенный на пряди и волокна водопад, а источник (izvor) здесь рядом за стеной. Все те события происходили там, на верандах, террасах, скрещенных лестницах, ведущих к источнику, где была всегда живая вода – она и сейчас изливалась в каменное ложе, ведущее к морю.

Но он отдалился уже от них сквозь парк, пройдя в приморский вечереющий сад. Он только сейчас понял, что все время был в темных очках, и снял их. Мог он только остановиться взглядом на одном из диковинных цветов, цветков, взращенных здесь, кажется, бывшим садоводом из российского царского дворца. Вспомнил он, что Мария была двоюродною сестрою последнего российского императора. Понимая, что опаздывает уже на свой корабль, он вглядывался все же в лепестки с многолучевой звездой в блестках и бахроме, разбрызнутой из глубокого центра цветка, в котором хранилась драгоценная завязь, от которого фиолетовый, сиреневый и огнистый цвет темного бархата цветка расходился во все стороны, но многолучевая мягкая пятерня хотя и была словно бы наступательной и победительной, но между лучами был светлый еще воздух.

Он оторвался от своего взгляда и по узкой аллее между двух вазонов, между стенами кипарисов, по аллее, освещенной в конце вечерним солнцем, быстрым, но бесшумным бегом пронесся прощально мимо всех деревьев по сходням ждущего его корабля.

В Софии болгарской явление города представилось ему как открытие мира, где не было Iry, но сам он стал на мгновение этим городом.

9.

От Софии дальше на запад открывались многие пути, и конечно она могла следовать сразу по нескольким дорогам – он теперь нисколько не сомневался в ее возможностях. Но после того как он добрался от Софии до Афин, минуя греческие полуострова и острова, ее путь дальнейший был все же неясен.

Шлейф этих возможностей он собирался ловить и подхватывать по всей Европе. Сейчас она направлялась в некую удивительную точку на границе Словении и Италии – бывший захолустный европейский чулан, куда раньше не доставал даже веник, – добраться туда не было никакой возможности. Наверняка она двинется или на юг – в основную Италию, или на север в Германию. Ему ловить ее придется сразу по всем путям. Он представлял примерно область ее интересов здесь, и хотя усталость была уже велика, все же после софийского опыта мог передвигаться в бодрости.

Вначале все же надо было перелететь в словенскую столицу, ориентируясь по Irinym указаниям и инструкциям, он следовал им почти неукоснительно, замечая за собой уже покорность школьника, возвращающегося в материнский дом с покорностью и безропотностью на зимние каникулы. Прямого воздушного пути туда не было, и пришлось вначале перелететь в Прагу. Но выйти из аэропорта не удалось, потому что рейс должен был быть уже вскорости. На винто-моторном самолете он из Праги поднялся, чтобы лететь в Любляну. В аэропорту пражском заметил

он на стенах ретроспекцию фотографий Зигмунда и Ганзелки – полузабытых сейчас чехословацких путешественников, которые когда-то с фотокамерами и машинами «Татры» изъездили буквально весь мир, и то, что хранилось в немногих глазах дипломатов и других немногих, которым дозволено созерцать самим мировые просторы, оказалось вдруг предъявленным для любого. Сейчас он чувствовал, что не было сил палец поднести к спусковому курку фотокамеры, да и никто бы не поверил, что он один обошел все эти просторы и тропы – невозможно было бы объяснить, зачем он гонится за ней по миру, как будто на самом деле убегая от кого-то, может быть, убегал от нее же самой.

По легким воздушным ямам и волнам винтовой самолет быстро летел над полями, которые потом теневой полосой сменились присутствием гор, и Дунай завиднелся в своих глубоких петлях. Он думал о тех возможных персонах, которые влекли к себе Iru, которая не могла, не совершив к ним паломничества, наверное, остановиться: святая Екатерина, упокоенная у самой горы Синай, но туда она собиралась, наверное, потом, святая Анастасия узорешительница, которая была в Вероне, и, конечно же, Елизавета Тюрингская, которую раньше больше все величали Венгерской, основавшая в Марбурге свое духовное владычество, и мимо него не смогла пройти, пролететь Ira.

За Альпами, над горами словенскими стало легче качать и укачивать, с замиранием забытым сердца в новых огромным воздушных автобусах, где непроходима стена между воздухом и человеком, и чувство тревоги стало нарастающим, когда головокружительно бросились вниз к маленькому аэродрому. Там в аэропорту никто его не встретил, но ждала на земле его уже телефонная sms-ка от одной из Irinyh секретарш, иногда сопровождавших ее теперь, как оруженосцы в дороге, о том, что Ira едет на машине на северо-запад, минуя озеро Блед (зачем это ей понадобилось-то, недоумевал он), а затем повернет к югу к границе с Италией. Был полдень, время оставалось, но чтобы добраться туда, надо было успеть зарезервировать машину, причем все могло обойтись недешево, поскольку наверняка придется где-нибудь бросить машину у границы – волочить ее на соседнюю территорию представлялось совсем неразумным.

Выехал он из Любляны уже за полдень, представляя, что как бы он ни торопился, все равно Igy ему не догнать – она имела перед ним полусуточный запас времени. По горным дорогам, через город Крань, к озеру Блед он подъехал, когда уже начало темнеть. В том ресторане, который был отмечен в сообщении, конечно же, Igy не было, и он опустился в кресло, чтобы наконец перекусить, здесь, над прекрасным видом знаменитого озера (впрочем, названием своим заставлявшим вспомнить такие слова и названия, как «бред» и «конь блед»), но это место, благословенное и многим неизвестное, ему предстояло тут же покинуть, ни о какой передышке и речи не могло идти, он рисковал застрять здесь до утра, если не тронется почти сразу – дальше бороться со сном было бы невозможно. Вина для ободрения тоже нельзя было принимать из-за машины, но он решился на бокал для бодрости, впрочем, которая могла его вскоре и усыпить: и все время, пока он ожидал официанта, он посвятил на то, чтобы разобраться на карте в запутанных нитях здешних дорог, ведущих к итальянским землям. Телефон мелодично отбил ему одно слово «Ведана», и он увидел тотчас же на подробной карте эту маленькую точку, отмеченную винной зеленой бутылкой, на самой пунктирной границе итальянской страны, недалеко уже и от Адриатического моря. Вокруг сидели праздные медленные, почти неподвижные компании, составленные в основном из представительниц одного пола, все были расположены к созерцанию уже вечереющего озера, лежащего прямо за оградой веранды, но ему было не до наблюдения, отдыха или отвлечения. Он мысленно уже двигался по горной дороге к этой Ведане, к которой оставалось около сотни километров.

Поэтому он поторопил счет и отбыл, понимая, что никогда еще не вел машину вечерней гористой дорогой. Но когда он попытался подняться с места из-за стола, то понял, что не может встать. Он слышал разноязыкую речь и видел огни на том берегу прекрасного узкого, помещенного между горами озера Блед. Почему-то вспомнилось валдайское озеро Ужи́н, такое же узкое. У́жин между прекрасных и незнакомых женских лиц неизвестных компаний, рядом с людьми в полосатых футболках, на полосатых от света креслах. Все же он встал, пошатываясь, и добрел до

машины, брошенной на покривившуюся на склоне обочину. Он сел за руль, и засыпая, чтобы, наверное, не упасть, пристегнул себя ремнем безопасности.

Проснулся он уже засветло от страшной неподвижности сведенного почти до судороги замерзшего тела. С трудом отстегнулся он, вышел из машины, чтобы размяться. Вокруг был утренний приозерный туман, и озера не было видно, можно было подумать, что его сейчас нет или за ночь оно исчезло. Вернувшись, взглянул на карту, завел машину и поехал, минуя снова Крань и повернув направо в Скофья Лока, чтобы направиться затем в Нова-Горицу и к цели своего назначения. В Скофья Лока, однако, – городке среди гор – он заблудился в путанице улиц, попадая все время на одно и то же место. Когда третий раз он выехал к тому же самому мосту через местную быструю речку, он остановил машину и решил спросить у жителей дорогу. «Попросить дорогу как подаяние», – подумалось ему. Он увидел статую на парапете, распростершую руки над рекой, но так как смотрел против солнца, то лица не видел, а видел лишь сияние и остроконечные звезды вокруг сияния лица, звезды были вплетены в золотой нимб. Он поразился, почему скульптура богородицы стоит на мосту, на парапете, но когда приблизился, то понял, что это было несомненно мужское лицо.

И тут же он заметил рядом женскую фигуру, – на мосту, опершись на перила и глядя на воду реки, стояла какая-то женщина, – и он подошел к ней с вопросом. Она повернулась к нему, быстро взглянула, потом как-то странно опустила голову и вдруг обратилась к нему на русском языке:

– Ты, видимо, первый раз здесь?

Он настолько был обескуражен вопросом, что ответил автоматически:

– Да, первый.

После своего ответа он уже понимал, что голос ее ему знаком, он узнал его раньше, чем ее саму. Он узнал ее раньше, чем вспомнил ее имя, хотя это имя из его жизни пятнадцатилетней давности было ему несомненно знакомо, но его не хотелось вспоминать. Он почувствовал, что больше всего ему не хочется расспрашивать ее, как она оказалась в этом месте, на мосту, потому что придется поневоле симметрично отвечать о том, что он делает здесь, а он сам для себя не знал, что ответить. Валюша или Алюша – девушка эта – была одной из основ той прежней, полностью рассыпавшейся теперь тесной компании, которая в начале 90-х разлетелась во все стороны света. Она повернулась лицом опять к реке и сказала:

– Понимаю, что тебе не хочется о себе говорить.

И быстро и бегло как-то сообщила, что давно работает в Швейцарии, но муж ее словенец, и много времени они проводят в Любляне, а в Скофья Лока она подрабатывает в гимназии, учительствуя, и сейчас небольшой перерыв в занятиях, и она вот пришла сюда, куда обычно приходит. Она смотрела на статую на парапете, распростершую руки над рекой, звезды были вплетены в золотой нимб. «Это Ян Непомуцкий», – произнесла она. Он увидел на опоре смутный полустертый сине-зеленый барельеф и герб, вероятно, города или местности, была лишь отчетливо видна позолоченная корона, а под ней темное, странное почти негритянское то ли женское, то ли мужское лицо с выпуклыми губами. Она увидела его взгляд и усмехнулась: «Это мавр-слуга, он спас когда-то здешнего епископа от медведя, и тот в благодарность вписал негра в герб епископства». Он слушал ее спокойно, совершенно не пытаясь дать отчет, сколько прошло лет, и что все годы он отсутствовал здесь и в ее сознании, той, в которую он был когда-то даже влюблен, но не было никакого желания заново все вспоминать. Он спросил ее, как ему выбраться отсюда, но она не знала, как достигнуть Веданы, и лишь рассказала про городскую дорогу, что выведет на основное шоссе. Предложила зайти в кафе, выпить кофе, но он с сожалением должен быть тотчас же расстаться, в зеркальца он увидел ее на мосту, думая, что хотел бы встретить не через пятнадцать лет в будущем, а в прошлом, там, где не только она, но и он сам был более узнаваемый.

10.

Несмотря на то что он быстро продвигался, все же незнакомый путь сказывался, ему все время приходилось расспрашивать путь на Нова-Горицу и дальше к Ведане, вглядываться в карту

небольшой, но пересеченной долинами и речками страны и поэтому огромной, так что до цели он добрался лишь к вечеру.

Бросил он машину на обочине и увидел освещенный прожектором плакат «Vedana. Dnevi glasba in vina». Вызвав по ассоциации из памяти, несколько фраз: «Довлеет дневи злоба его» и «In vino veritas», он мало что понял, поскольку не знал, что такое «glasba». Вряд ли здесь был английский «стакан», да и стояли все с бутылками вокруг, скорее, славянский «глас», но значило ли оно «песня»? Во всяком случае что-то звучащее, и услышав плавные звуки, решил, что «музыка».

Собственно, Ведана была, судя по всему, большим винодельческим селом на холмах. Так он окончательно заключил, увидев большой плакат об этом празднике вина и музыки, который несомненно проходил сейчас здесь. Среди множества разнообразных лиц обнаружить ее было непростым делом.

Среди других песенников опознал он даже одного соотечественника, который пил, возможно, не только вино и дурным, хотя и тихим голосом пел некогда популярное: «Сигарета, сигарета, ты одна не изменяешь, я люблю тебя за это...». Бокал его был наполнен светлым веданским вином.

Почему-то песня расстроила его, и он стал еще поспешнее разыскивать Iru, даже крикнув неожиданно для себя: «Ira», так что многие, несмотря на общий гвалт и музыкальный шум, доносившийся из-за кустов, повернулись в его сторону. Он и пошел по направлению к центру музыки.

Направо уходила земляная дорожка, обставленная по сторонам горящими низкими свечами, так что она напоминала посадочную самолетную полосу. В темноте он сделал несколько поворотов и вышел неожиданно к сцене, окруженной металлическими легкими трибунами и подсвеченной прожекторами из кустов.

На сцене расположился местный джаз-оркестр, и певец с тремя микрофонами в руках и в распахнутой цветной рубашке пел, вдыхая в ночную сельскую аудиторию под невидимым звездным небом полузнакомую славянскую мелодию, сопровождая ее балканским синкопическим переплясом.

Быстро оглядел он трибуны, ему показалось, что Iry не могло быть здесь сейчас, слишком все стало расслабленным здесь и, скользнув дальше в кусты, он попал в объятья целой молодой толпы, которая пела и пила независимо от сцены, и его вовлекло в те же обстоятельные и обязательные действия.

Множество людей с вином в руках окружило его. Подумалось ему, что, наверное, Ira именно отсюда хотела проникнуть на итальянскую территорию, повидав в Ведане каких-то своих знакомых, несомненно, тоже нетрезвых, хотя наверняка менее пьяных, чем вся природа вокруг, включая людей.

Через какое-то время он понял, что с бутылью драгоценного и не ценимого им сейчас, потому что бесплатного, вина спускается он, пританцовывая, по дороге между холмов Веданы. Заканчивались редкие фонари, и открывалось шоссе, которое виясь, по-видимому, уводило в Италию. Под крутую гору он шел, и границу прошел, почти не заметив.

Только венец золотых звезд нового европейского союза на синем квадрате осветился, и сразу словно бы Ян Непомуцкий с того моста ласково на него смотрел, и негр в короне улыбнулся ему сбоку своим профилем. Завидел он в полуотсвете от дорожного фонаря синий квадрат евросоюза с венцом золотых звезд и надписью: Italia. Некая темная полоса пересекала асфальт шоссе. То было граница, и это было все. Рядом с дорогой была ветхая пограничная хижина, давно, наверное, заброшенная. Стоя одной ногой в Словении, а другой в Италии, он допил вино и поставил пустую бутыль на границу.

Надо было, однако, добираться до станции. Железная дорога, на которую он вышел, а вернее, набрел с бутылью вина, вывела тут же его к станции, у которой было три низких платформы, и он заметил огни поезда, ему пришлось быстро соображать, куда ехать: в Горицию ли, в Удине, иль в Мофальконе и дальше через Дуино в Триест, или все же в Местре-Венецию.

На полустанке с низкими платформами стояли автоматы для билетов, но он сразу запутался в их устройстве и прекратил попытки. Билетная касса уже не работала. Последний поезд под-

ходил, но куда шел поезд, в Удино или в Дуино, он сразу сообразить спьяну не мог, без дневного света не разобравшись в сторонах света. Решил он все же сесть в поезд, рискнув, ведь шанс все же был велик: один из двух. Времени почти не оставалось, увидел он надпись «Partenza», но понять в многострочном расписании, куда отбывает последний поезд, не мог. Нырять под землю в глубочайший переход и бежать на другую платформу было уже поздно. Решил он перейти железнодорожные пути, как он сам сказал себе, вброд. «Не пьяный ты, а лишь подражаешь счастливым людям», – зачем-то прошептал он сам себе.

Чтобы понять, куда же движется Ira, решил почему-то он прибегнуть к последнему из возможных средству – заснуть, хотя это был самый простой в его ситуации выход, с пьяных глаз его и так туда уклоняло. Сон подошел, как путевой обходчик с фонарем, и высветил какое-то слово, которое он не сразу узнал.

Проснувшись, скорей, от неподвижности, потому что его убаюкало покачивание плавного тихого поезда, он понял, что его вежливо трясет за плечо кондуктор. Вспомнив об отсутствии билета, он хотел изобразить пьяного, тем более что это соответствовало истине, но кондуктор просто вежливо сообщил ему, что он на конечной станции и что он приехал в град итальянский Удине.

«Мне же совсем в другую сторону надо», – стал бормотать он по-английски, мешая с некоторыми словами, которые, как казалось ему, походили хотя бы внешне на итальянские. Думал он, что тот переспросит «Unde?» (хотя сам себя поправил: «Какое “Unde”? – “Donde”»), но тот спросил «Куда?». Оказалось, что проводник-словенец понимает не только по-русски, но понял и вошел в его ситуацию.

Стал он зачем-то пересказывать ему свой сон, хотя все же пытаясь перейти к сути, потому что во сне Ira по бревенчатому мосту направилась в страну, которая называлась «Марбург» и располагалась на реке, через которую она как раз переходила.

Словенец призадумался, а затем сказал, что, кажется, разгадал эту загадку. Но когда он спросил его: «Ведь здесь же нет поблизости никакого такого города», кондуктор сказал, что город такой есть – это Марбург на Драве.

«Никогда не слышал о таком», – сказал он, но словенец, который, по-видимому, знал не только близлежащие места, сообщил с улыбкой, что, конечно же, во сне ему в зашифрованном виде приснился словенский город, который и носил такое название, но был переназван по-словенски, а сейчас называется Марибор. Надо было дождаться утра, чтобы двигаться затем обратно на Любляну – он вышел, поблагодарив отгадчика, – в ночной вокзал в Удине, но тут от Iry пришла разгадка другого рода, – Ira загадала заново его путь: «Venezia Padova Verona Genova». Не сразу он понял, однако все же постиг: свернув в Венецию, и заехав, наверное в Падую, и затем в Верону, она направляется к другой владычице морей – Генуе.

Взял он машину, но запутался в переплетении автострад в Монфальконе. Заблудился и попал на машине в глубокий тупик. Развилка дорог вела в две стороны. На вершинах холмов даже к ночи ветер совсем не утихал. Дальняя грозовая зарница заслонила собой звездное небо.

Наутро, повернувшись к лицом к югу, он направился на поезде в обратный путь, миновал свой ночной полустанок, взяв курс на Монфальконе, и минуя Венецию, почти не взглянув на ее каналы из-за завесы дождя, затем через ее пригород Местре добрался до ближней Падуи. Никаких вестей и следов Iry там он не нашел, и все же он не сомневался, что она там была, когда безошибочно направился в церковь Скровеньи и недолго, но пристально смотрел на созданный Джотто образ Iry-гнева, не понимая, что он может для себя из него извлечь. Дальше путь Iry лежал в Верону, и он не сомневался, что к мощам Анастасии Узорешительницы.

В Вероне он так же, не раздумывая, направился на такси к церкви святой Анастасии. До отхода его поезда оставалось сорок минут, поэтому он понимал, что времени, чтобы найти ее там, хотя она сильно его опережала, будет немного. Диск Арены ди Вероны пронесся где-то в отдаленьи за стеклом такси. Он понял, что искать другое такси в этих скрещенных узких улицах будет непросто и поэтому, дав 20 евро водителю, вспомнив только одно итальянское нужное сейчас слово «attesto», попросил его подождать 6 минут у собора. Тот согласился. Там он безошибочно,

но все же вначале спросив, направился под парус дальнего свода, где была в воздушной вышине полуразрушенная временем фреска Пизанелло. И смотрел несколько минут из отпущенного им самому себе времени, представляя, что она своим взглядом собирала осколки сиреневой фрески, – принцессу, Георгия перед боем, круп белого огромного коня, город на холме, кружок властительных горожан, виселицу с двумя повешенными, и слева выгнутый в немыслимую дугу парус, и дальше, еще левее – через пробел на стене – дракона, победа над которым была неизбежна. Он знал, что Ira здесь была, для такого суждения было несколько признаков, но ему некогда было раздумывать, он вышел быстрым шагом из церкви святой Анастасии и вместе с водителем в такси быстро направился на вокзал.

В многочасовом пути на поезде у него было время, чтобы прийти в себя, побриться даже электрической бритвой, сообщить в Любляну, что его арендованная машина оставлена на обочине у четвертого столба, если отсчитывать от гостиницы «Ведана», и обдумать смыслы столь неожиданного ее пути. Затем, минуя Милан, направился он прямиком к лигурийской дуге, спрашивая непрерывно по sms Iru, где она может быть, но она не отвечала.

Стремление ее в бывшую морскую метрополию было для него смутно понятно – колумбово происхождение и тяга в новый неоткрытый свет, более того, все образы прежнего водного владычества, постоянный спор с другой женственной метрополией – Венецией – вероятно побуждали в ней движение сюда.

«Царица морей» эта ему была совершенно незнакома, и кроме сведений о том, что здесь, кажется, родился Паганини, и кроме образов генуэзских трущоб из советских энциклопедий, не представало перед лицом его ничего. Вдруг от нее пришло одно слово, причем по-русски: «Порт». И выйдя на вокзале, он отправился в порт.

От высотных автострад переместился он ближе к центру и начал спускаться к морю, проходя по многочисленным узким улочкам, которые, как струйки, расходились и спускались к гавани, прошел он мимо собора Сан Леонардо с величественными каменными львами у входа и шел все ниже и ниже.

На стене того собора он, приостановившись, сумел разобрать накорябанное изречение не по-итальянски, а по латыни: «Verba volant, scripta manent», пожалел он, что нет с ним Iry, чтобы спросить, но все же с трудом вспомнил свои давние уж штудии и предположил: «Слова улетают (или улетучиваются?), написанное остается». Принял он слова близко к сердцу, потому что в последнее время записывал в тетрадь лишь все сообщения, приходившие от Iry к нему в телефон, а ничего лапидарного, того, к чему все время призывала его Ira, не запечатлел, хотя и помнил, что просила она его записывать всегда.

Вечером он получил от нее короткое сообщение – и направился вслед за ней по горячим следам в Рим.

II.

Ночной поезд Рим-Бремен проходил через Марбург рано утром. Он, опасаясь, что не проснется так рано, пытался попросить проводника разбудить его, но никого не нашел, а кондуктора, проверявшего билеты, просить было бесполезно. Но все же усилием утренней воли он пробудился вовремя.

Вспомнил он при пробуждении и Рим, но только, скорее, как имя, – время, в которое он пробыл в поисках ее в Риме, прошло как нечто постороннее, и сейчас, сколько он не озирался в своей памяти – там возникало в основном что-то незримое – просто как название.

Ночью он жалел, что они не проедут через Марибор – словенский Марбург на Драве. Если бы он не узнал от проводника в Удине, что Марибор – переиначенный на славянский язык Марбург, то думал бы, наверное, что это связано с именем Мария, потому что знал, что «бор» по-словенски – «сосна». Или имя города, звучавшее как восточное заклинание, повело бы его к волшебному слову «Мутабор», которое мешало обратно превратиться в халифа сказочному аисту. Но все было

гораздо проще и вместе с тем непонятнее, он пытался уловить связь с тем городом, куда он пробирался с ночным поездом и где хотел встретить Iru: в Марбург на Лане, как его везде называли.

На вокзале в Марбурге он спросил о гостинице, и ему сказали, что в университете сейчас проходит какой-то мировой конгресс, – все городские гостиницы заполнены, так что лучше ему поехать в предместье Марбурга Кёльбе – всего восемь минут на пригородном поезде.

Он так и сделал и скоро нашел недорогой частный отель в Кёльбе, где быстро оставил вещи в номере на втором этаже, немного поплутав в узких переходах и коридорчиках в доме, где, по-видимому, для жильцов со всего света была устроена маленькая выставка об обитателях постоянных и хозяевах гостиницы – ряд потемневших фотографий, повешенные по стенам сельскохозяйственные и ремесленные инструменты и орудия, а также швейная машинка «FAFF».

Он увидел по расписанию, что надо ждать полчаса пригородного, чтобы вернуться обратно в Марбург, и решил дойти до города пешком. Было свежее утро, и спускаясь с холмов к городу, он видел открывающиеся перед ним небывалые пейзажи и думал, где он найдет ее и ее ли вообще он здесь ищет.

Он видел поднимавшиеся горы и горы от самой реки Лан, к которой он шел, в повороте раскрывался город, лежащий в долине речки, и дальняя гора, на которой располагался замок, и старый университет постепенно проступали впереди. Он шел в незнакомый город студентов и студенток.

Он думал, что может где-то случайно встретить Iru, поэтому бродил по торговому центру, поднимался к замку, читая бесчисленные мемориальные надписи на стенах, почти сразу их забывая, но от Iгу пока не было никаких вестей, и телефон ее не отвечал.

Утомленный, он присел на пешеходной улице на парапет городского фонтана, изображавшего пьющую лошадь, из половины туловища которой и вытекала вода, напоминая, конечно, лошадь Мюнхгаузена, вокруг были и другие диковинные водяные сооружения, но он устал и не все замечал.

Рядом с ним появилась какая-то женщина в смятой шляпке неопределенного возраста, как и сама женщина. Она зачерпнула воды из фонтана, выпила и присела рядом с ним на гранитный парапет. Она что-то проговорила, обращаясь к нему, по-немецки, он пытался тоже ответить по-немецки, что не понимает, но она сказала по-русски, заговорив вдруг чудесным образом на знакомом ему языке:

– Чувствую, что из России, тут много таких, как вы, ходит. Думаете, наверное, про меня, что городская сумасшедшая, раз пью воду пригоршней из фонтана. Да здесь чистейшая вода, доложу вам. Муж мой тоже где-то рядом ходит, мы пенсионеры, но еще активны, как мало кто. Я, например, помимо всего прочего, помогаю в здешней библиотеке. Чувствую, что вы впервые в нашем городе. Мы приехали сюда с Украины, хотя раньше жили в России. Но это вам неинтересно, а вот что для вас важно может быть, чувствую, то, что история этого города создана женщинами, не шучу, сама я слабая женщина, и мне это особенно приятно.

Разговор и выговор выдавал в ней женщину со странностями, но и, видимо, с еще живой и огромной когда-то библиотекой памяти, поэтому рассказу хотелось верить, несмотря ни на что.

– Марбург наш – университетский город, переполненный страстями.

Он спросил, в каком смысле страстями. Она ответила:

– В самом натуральном смысле... иногда возвышенном, иногда приниженном... но страстями... между женщиной и мужчиной... а не только страстью к знанию, узнаванию, познаванию... не знаю еще как назвать... Город основан женщиной... тут царили безумные и гениальные женщины... иногда известные... иногда безвестные...

Он не знал, что ей сказать в ответ, да и времени она ему не дала. Она говорила быстро, захлебываясь речью. Так, словно произносила и открывала все это для себя впервые, хотя было ясно, что произносит такие слова, проповедуя, неизвестно какой уж раз. Причем она иногда взглядывала на него из-под шляпки с сомнением, подозрением и даже словно бы презрением и продолжала:

– Город такой, возможно, единственный в мире основан женщиной, духом, дуновением ее... и

все, что связано с женскими чувствами... пусть даже безымянными, держит, поддерживает город... как каркас готического собора... своды университета держатся на страстях.

Он вспомнил почему-то, как десять минут назад, проходя мимо одного из зданий замка на самой горе, – здания, отданного, наверное, под университетское помещение, может быть, университетского факультета или какого-то института, – он услышал сквозь раскрытое, но зарешеченное окно аплодисменты и голоса – ему показалось, что там чествовали какую-то женщину, к ней особенно часто обращались с приветствиями, и женский смех и звон наполненных, по-видимому вином, бокалов говорил о том же.

Его собеседница или проповедница уловила, что он отвлекся на миг, и несколько скосила глаза и повернула в сторону голову:

– Там, откуда вы пришли и куда сейчас посмотрели, за подъемом спуск крутой к реке, там за рыночной площадью стоит небольшая статуя женщины с мальчиком на руках. Но то не монумент материнству, а скульптура настоящей женщины – Софии Брабантской, основательницы Марбурга, а мальчик – ее сын Генрих Первый – первый ландграф здесь. Можно, конечно, аллегорически понимать памятник как монумент основательнице всего здешнего мира и ее детищу, мужскому, юному еще духу, который возмужает в будущем, откроет университет, создаст неслыханные труды, напишет книги.

При слове «аллегорический» у него перед глазами предстал сон, который он видел сегодня в ночном поезде из Рима в Бремен. Ему приснилось уже под самое утро, и станция Марбург, собственно, его и разбудила, что они играют с братом – а его вживе он не видел уже много лет – в шахматы. Он играет белыми, играет быстро и рассеянно и скоро обнаруживает, что попадает в тяжелую позицию. Его король расположен на задней линии, его королева находится в далеком каком-то шахматном поле, не угрожая совсем сопернику и не оказывая помощи своему королю, перед которым стоит вражеская пешка, готовая превратиться в нового ферзя, если король сойдет со своей позиции. Но уйти необходимо, иначе ему грозит неизбежный мат после простого хода черного ферзя. Фигуры белых разрозненны и находятся в растерянности. Он думал над последним своим ходом очень долго, как ему показалось, но проснулся все же не от безвыходности положения – шахматный выход, возможно, существовал, – а потому, что надо было выходить в Марбурге. Сейчас он подумал о том, надо ли обязательно сон понимать аллегорически, или как свободное, не зависящее ни от чего творчество, способное создать, например, новую шахматную партию.

Его собеседница уловила опять, что он на миг отвлекся. Он, не отойдя еще от воспоминания о своем сне, отвечал как-то невпопад, что ему интересно смотреть на живых проходящих людей, в том числе и женщин. Она вскочила и махнула даже рукой на него:

– «В том числе»... суконно выражаетесь... хотите быть вежливым, а чушь какая-то получается...

Она махнула рукой, отошла на некоторое расстояние, но описав круг, снова вернулась к фонтану. Цвет ее шляпки наконец стал ему различим (то был какой-то темнозеленый, болотный, но красивый материал с переливами, но назвать бы его он затруднился). Присела на парапет, некоторое время молчала, а потом произнесла:

– Все же расскажу... Пусть вам и неинтересно... Но что-то останется... Потом передадите кому-нибудь.

Он сказал опять не совсем впопад, что ему, напротив, очень интересно, но передавать некому.

– Не кокетничайте... Некому... Расскажете той, о которой сейчас думаете, а я вижу по глазам, что думаете... Итак, с чего начнем и чем закончим? Да мы и начали уже... Да и не закончишь... история эта никак не кончается... Я вот двадцать лет как в Марбурге, а все время что-то новое всплывает или происходит... появляется... что мне как женщине приятно и важно. Вспомним хотя бы ландграфиню пятнадцатого века Анну фон Кацнельбоген. Ее рельеф, то есть барельеф хранится в нашем замке. О споре Лютера и Цвингли вам расскажет тут всякий. О том, кто такой Филипп Меланхтон, тоже могут порассказать. О трудах университетских марбургских профес-

соров – почти любой знает. А вот женщин будут замалчивать. О том, что Ида побудила Бориса создавать, шататься по городу и репетировать именно ее, равную шекспировой драме. Вам покажут тут дорожку Наторпа, тропу Когена и других философов... тех, что называли неокантианцами, а кем они вдохновлены были? То-то и оно... та-та и она... Вы скажете – пустые слова... так везде и всегда... Нет, только здесь это все подтверждено... документально зафиксировано заверено подписями... страсть Ломоносова к своей Марте... впрочем, не только к ней... его вдохновляла на подвиги студенческие и научные. Ханна фон Арендт жила здесь на взгорье... на подъеме к замку... на улице Мартина Лютера... тому не только устное свидетельство... предание... но мемориальная надпись на стене того здания есть... Мартин Хайдеггер, когда писал «Sein und Zeit» приходил к ней туда... и не только как профессор приходит к своей студентке... перечитайте «Бытие и время»... да вы наверняка его и разу-то не читали... и найдете следы этой страсти там. Пастернак и Ортега-и-Гассет жили в соседних домах... там дальше на Гиссельштрассе... не думаю, что были знакомы... но испанец, который встречал обуянного страстью Бориса... тоже проникался одержимостью... он же написал здесь в десятые годы философский труд, который предшествовал хайдегерровскому «Бытию и времени»... это правда... я сама пробовала читать... правда, кто поверит... Здесь все отражено, уподоблено... все отразилось в отвлеченнейших философиях... Думаю, недаром здесь жил Ауэрбах, будущий создатель «Мимезиса», – а ведь это от античности идущее понятие... о том, что вся поэзия – подобие и подражание.

Она остановила речь, передохнула, снова подставила пригоршню под чистую перевитую струйку воды, вытекавшей из фонтанной лошади, и продолжала:

– А взять романтическое время... вы мне возразите, что в любой точке земного шара таких женщин было пруд пруди... а вот и нет... резко возражу... только здесь появились такие воистину небывалые фигуры, – фигуры, замечу и в буквальном смысле... которые своим вдохновением... литературным... даже философским... вдохновением любви и страсти создали славу здешних мест... только мало кто помнит... приходится напоминать... тыкать носом... учитесь... а потом говорите...

Дикая мысль вдруг посетила его: не Ira ли переодетая вдруг появилась перед ним, но шутовство ей было совершенно не свойственно, да и надо было так нарядиться и переродиться до неузнаваемости, чтобы предстать в новом, совершенно незнакомом облике, на такое актерство даже она бы не решилась, хотя речи женщины в шляпке и могли бы в чем-то понравиться ей.

– Понятно, что все романтическое здесь, – продолжала та, – было инспирировано духовной основательницей, Елизаветой Тюрингской, или Венгерской, как вам угодно. Будущая святая Елизавета, как все знают, родилась в одном венгерском городе. Затем с отцом, известным ландграфом, переехала в Германию. Прославилась подвигами милосердия, чему, конечно, способствовала ее встреча с Франциском Ассизским. Ее дочь, о которой я уже говорила, по праву считается основательницей города Марбурга. «Бург», как можно догадаться, означает «крепость», но это к слову. Быстрая канонизация Елизаветы – а умерла она еще молодой, ей было двадцать четыре – произвела столь сильное впечатление на рыцарей тевтонцев, что Марбург – «марка» – «граница» – между Тюрингией и Гессеном – стал важнейшим городом и духовным центром здешних мест. Елизавету Святую почитают же везде в мире. Так что, зная или не зная, но все женщины здешних мест обязаны ей. И женщины семьи Брентано. Все они перебывали или даже жили тут. У отца Брентано – был он итальянцем и очень богатым – было двадцать три ребенка – не пугайтесь – от трех разных браков. Среди них было девять дочерей. Многие из них обладали чуть ли не гениальными способностями. Чего стоит хотя бы Беттина фон Арним, урожденная Брентано, жена Людвига фон Арнима. Гунда фон Савиньи, урожденная Брентано, жена философа Савиньи – друга и учителя братьев Гримм. Вот пример вопиющий: все знают, что здесь жили братья Гримм, не сказочные вовсе персонажи, их было трое, включая того, кто был художником, все про это знают, а про женщин Брентано? Хотя уж про Доротею Вейт, казалось бы, каждый должен знать о ее роли в истории литературы... А вот про Гертруду Брентано вы знаете? Наверняка нет... Беднейшая из бедных... но невероятно такая... гордая Гертруда была безответно влюблена в Крейцера... причем он обещал ей многократно уйти от своей жены, на которой вынужден был жениться... как честный

человек после смерти своего профессора... то есть он женился на его вдове... таков был обычай, не знаю, кто его выдумал... не мог он нарушить его... и вот теперь он разрывался между Гертрудой, невестой его в мечтах, и пожилой женой – она была старше его на пятнадцать лет... и в результате долг победил, а невеста закололась кинжалом...

Торопливая и несколько бессвязная речь женщины в шляпке начинала его утомлять, к тому же он высматривал непроизвольно Iru вокруг, но ее не было. Мелькнула даже нелепая мысль спросить шляпку об Ire, раз та уверяет, что знает всех женщин окрест, но он быстро отогнал эту мысль.

– Также большую роль играла, – продолжала женщина в шляпке, – бабушка Брентано, Софья фон ла Рош. Также жена поэта Клеменса Брентано – София Меро была невероятных способностей и зарабатывала на жизнь чисто литературным трудом, что по тем временам было почти невозможно. Женщины эти не только пробуждали литературные, поэтические мужские способности, но сами были потрясающими литераторами. Но особенно одна... я расскажу о ней особо... создательница женского эпистолярного жанра... сама мадам де Сталь завидовала этой особе, когда спасалась от преследований Наполеона...

Не мог он – вспомнив тут же неудержимого на язык в своей глупости поэта Переулкова – не пробормотать про себя его новогодний афоризм: «Так закалялась мадам де Сталь в своей войне с Наполеоном».

Тревожно взглянула на него шляпка, но, видимо, было не удержать ее, поскольку нечасто ей попадался благодарный, хотя и подозрительный слушатель, который битый час мог слушать ее оглушительную – а она говорила очень громко временами – так что прохожие оглядывались, а некоторые останавливались послушать – речь.

– София – имя знаменательное... но знаете, стоило мужчине к нему прикоснуться, почему-то ничего не получалось... приезжал сюда однажды с лекцией один известный писатель... Шипфлингер... Слышали о таком? Нет, конечно... а он ведь автор известнейшей в свое время книги «София-Мария»... вот и попытался он ее здесь пересказывать – о соединении ветхозаветной Софии – Хакмот Ягве и новозаветной, уже отчасти земной, богородицы... думаете, получился у него рассказ? ничего у него не получилось... половина слушающих, а были в основном женщины, ушла с середины лекции, некоторые почувствовав, наверное, в речах его ересь, а половина от скуки... рассказывать в Германии о Якове Бёме... это, знаете ли... и что, мы не знаем о софийских соборах царьградском, киевском и новгородском? и не читали Соловьева и Флоренского?... в общем, опыт его выступления здесь закончился провалом...

Она замолчала и потом, встряхнув головой, все же продолжала:

– Так вот, о чем я? Да об этой фантастической женщине... имя которой нелегко сразу все произнести: Каролина Михаэлис-Бёмер-Шлегель-Шеллинг... это не выдуманный персонаж... не подумайте, что плод больного мужского воображения... Романтичнейшая была эпоха, доложу я вам... Все ее фамилия от ее мужей... она не только была замужем за этим философом известнейшим... Шеллингом... но и за одним из братьев Шлегелей замужем побывала... и еще за двумя литераторами... так вот, она прославилась невероятно своими письмами... так, что, как я сказала, сама де Сталь... просвещеннейшая, умнейшая женщина своей эпохи... и та ей завидовала. Одна профессорша из местного университета... вроде бы Метц Беккер ее имя... делала доклад... название легко запомнить: «Madam Luzifer Lebenden Caroline Mechaelis-Boemer-Schlegel-Schelling»... что в переводе на русский... впрочем, не требуется перевода... и так ясно: «Мадам Люцифер, жизнь Каролины Михаэлис-Бёмер-Шлегель-Шеллинг»... все приставки в ее фамилии отражают последовательность ее мужей... хотя других мужей не отражают... Вот какие женщины бывают здесь... Романтическая эпоха все спишет...

Тут она на мгновенье отвлеклась, и он вслед за ней взглядом повел, туда, где в конце улице был стоящий на земле памятник почтальону, там показалась фигура растрепанного мужчины с двумя женщинами по краям, фигура издалека махала руками, как флагами.

– А вот и он... мой муж с моими двумя подругами... пойдемте, познакомлю.

Но он отказался, испугавшись, да и день уже давно клонился к закату. Надо было успеть многое в этом городе.

Бродил он и искал безрезультатно. Стоял в магазинах, разглядывая книги, словно в глянце обложек увидеть вдруг ее, зашедшую в тот же магазин, когда он разглядывал фотографии Tamary de Lempicka. Под вечер зашел в бар, познакомился с местной студенткой и студентом и впервые за много месяцев напился. То есть выпил водки немного, но достаточно, чтобы заблудиться в улицах небольшого Марбурга. Вышел он к вокзалу поздно и еле успел на последний поезд.

После, много позже лев-поэт с его слов пересказал произошедшее с ним в стихах, понятно, что немыслимо приукрашая и преустрашая.

Эпизод, переложенный стихами (по его просьбе) львом:

Я выехал из Марбурга на север
На местном двухвагонном поезде –
В Кёльбе – не пригород, но городок
туда, где я остановился
Миновали речку местную Ланн
По-видимому я задремал,
задремал по-видимому

Помнил, что поехал в правильном
направлении:
Colbe – Wetter – Munchhausen – Richtberger, кажется (тут память отказала) –
конечный пункт
Все правильно – мне и нужно было Кёльбе
всего-то ничего
от Марбурга три километра
Но показалось, что во сне уж миновали Wetter
Я выбежал на станцию – последний
поезд – уверенный, что Кёльбе
Ан нет, написано “Munchhausen”
Глазам не верю
но поезд двухвагонный уже ушел
с этого разъезда, где раздвоились пути,
назад не надо... как назад?
Туда мне и надо, но
дороги нет – нет поездов,
ни взад и ни вперед,
Полночь – какая полночь?
гораздо позже
Ты пьян?... нет, кажется... ты спишь?
на станции... не сплю
куда пойти – вперед, назад?

Вышел на пути, с разъезда
рельсы вновь соединились
Преграждает путь запретная фигура жестяная в виде
человека –
охранный знак
какое там, другого нет пути

все тускло... звезды не начищены... сего дня – ночи
по путям я двинулся
как самый тихий поезд
справа на вершинах обрыва
речки Ланн
этот городок безлунный
без огня
слева осветилось поле небольшой
невероятно яркая зелень
Подсолнухи сразу поникли при появлении луны
вперед идти – так проще и яснее – по
двум освещенным луною рельсам, но
понял, что удаляюсь от Кёльбе
идти назад, – попробовал
пошли вокруг холмы
и горы, горки
над речкою, рекою Ланн
одинокий то ль человек, то ль
тополь незнакомый
на косогоре прямо в небо
ночное
путь изогнулся, рельсы сблизились
почти что превратясь в ручей из
тонкого железа
рыдать хотелось или пить
немочь, немоту незнакомой
ночи
пробормотать ее, не зная по-немецки

куда – назад? вперед? как
поезда товарные на сцепках
стоять... идти... не мерзнуть
мимо здания вокзала
туда – сюда по рельсам
во сто крат, чем нужно было,
я прошел
красовался при свете
местной, не очень блестящей
луны
мимо насыпей нелепых из песка, оставленных
наверное назавтра
катушек с кабелем огромных
брошенных в беспорядке
на одной из куч пологих, из
насыпей песка
успокоился на полчаса, но
понял, что сыра и холодна земля
и перешел на голую скамейку
в открывшийся сквозь дверь – так
неожиданно что сверкнули и взгремели негромко стекла –
в здание вокзала

но недолго ждал там, ждал
первой капли рассвета
чтобы войти в туман, заблудившись
где-то в германской глубинке
зачем сам не знал
проспал, проспал то время
когда
как колокол на заре
на корабле,
уходящем от реки местной Ланн
корабль отчалит – вначале тихо

я из вокзала вышел
и словно двое
по рельсам двинулся на
юг
по направленью к Кёльбе
не миновать его, минуя речку Ланн
не проскочить бы Марбург
где судьба – мне понятье незнакомое
подстерегала не меня...

Наутро добрался он до гостиницы, и тотчас же заснул крепким сном. Разбудил его тихий, казалось бы, звоночек, телефона, возвещавший о пришедшей sms. В нем значилось Colone. Не сразу разобрал он значенье слова, звуком похожего на звонок. Но когда понял, то начал собираться, чтобы направиться в Кёльн. На вокзале в Марбурге он узнал, что нужный ему поезд будет через несколько часов. Захотелось ему взглянуть еще раз на город, посмотреть на него своими глазами, с тех высот, откуда смотрят местные жительницы и жители и куда вряд ли добираются студентки и студенты, да и Ira вряд ли.

Взошел он на холмы с другой стороны реки от замка и университета, долго взбираясь между домов и вилл. Увидел он силуэт небывалого города на закате, и по улице Дюрера, минуя улицу Ленау, спустился с горы к вокзалу и по железной дороге покинул внятный его сердцу, но непонятный его уму Марбург.

Поезд пошел в начале на юг, но в Гиссене повернул на запад, чтобы через Зиген двигаться в Кельн. Железнодорожный путь был словно бы перевит попутной речкой Sieg, которая все время пересекала полотно и показывалась с другой стороны пути. Так они достигли станции Sinn, что значит «смысл», и он заснул.

12.

Во всех городах, во всех местах, в которых он бывал вслед за Iroi, для него не составляло труда осознать, что она ищет там, какие смыслы женственности пытается найти или в какие проникнуть. Собственно, она прекрасно это тоже знала, и он, как прилежный ученик, пытался разрабатывать то, на что она намекала.

Но Кёльн сам по себе предстал перед ним загадочным. Здесь она как бы с самого начала давала понять, что загадка состоит даже в смысле такого ее путешествия. Свою передвижную кафедру она проносила в пространстве, но появившись на ней, была молчалива и делала паузу, надеясь на ум студента.

В поезде в полусне он почему-то считал для себя важным понять это, хотя можно было бы довериться событиям, направляясь в новое для себя место, расслабиться, забыть на время о при-

зрачных лекциях, которые ему предлагает его возлюбленная-профессор, и начать просто жить не по ее подсказке.

Все же ему показалось, что он стал лучше понимать ее замысел, когда припомнил еще ряд ее записей в серой папке, где были выдержки перевода с латыни трактата одного мага и даже чернокнижника, хотя некоторые считали его одним из первых гуманистов: труд назывался «О превосходстве женского существа» и принадлежал довольно известной в истории личности, отчасти легендарной – некоему Агриппе Неттесгеймскому, родившемуся именно в Кёльне. Понятно было, что она стремилась сюда не только поклониться месту – такое действие оставляла она, вероятно, ему, но, скорее, чтобы встретиться со здешними учеными мужами или женами и разыскать в библиотеках и архивах некоторые документы.

На его долю доставались ее отрывочные записи и переводы, сделанные отчасти, по-видимому, ею самой, а отчасти использованные переводы других. Были среди прочих там документы вроде письма Маргарите Австрийской. Он вспомнил, что даже первый раз, когда рассеянно смотрел этот трактат апологии женского начала, его поразила та основа, роднящая трактат с нынешней политкорректностью, та утрированность, почти пародирующая столь известные всем труды, восхваляющие мужское по сравнению с женским. Здесь все представало как бы в волшебном зеркале, где списки женских добродетелей и самих добродетельниц терялись в веках. Особенно веским, насколько он помнил, для автора был аргумент о том, что Адам означает землю, ибо он рожден из праха, из красной глины, а Ева, – что значит жизнь, – рождена из живого – из ребра Адамова. Все здесь было переставлено с ног на голову по сравнению с традиционной точкой зрения, и с позиций маскулинности злостно искажено. Наттингсеймский Агриппа, превознося женские добродетели, вроде бы говорил: «Кто превзошел Соломона в мудрости? Но женщина обманула его». Что же, неужели в этом могло быть превосходство женского над мужским? Вспомнилось ему наставление отца своему сыну из другой книги: «Соломон в юности своей наполнися разумом, яко река исполнен притчами гадания, яко звезда утренняя посреди облак... и умудри его жена лукавая, и мудрость его пресуши, аки реку многотекущую».

К тому же, он не мог сразу предположить, как все это сочеталось с материнским и женским, идущим от Матери-земли. Что для Iry, как он представлял, значило очень много. Впрочем, библейские предания спокойно уживались с язычеством. Решив, что все дело в Агриппе, он уже не сомневался. Хотя Ira отнюдь не подтверждала его догадки и вообще молчала уже долго.

В Кёльне он сразу взял напрокат машину, предчувствуя, что этим городом все не ограничится и придется по агриппиным следам двигаться во все стороны, поскольку тот отличался непредсказуемостью и подвижностью, соответствуя имени, которое значило, что из чрева матери вынесли его вперед ногами. Помня, что окончил дни свои Агриппа в Гренобле, чувствовал он, что, возможно, Ira достигнет Франции, но достигнет ли он ее?

Из Эйндховена, куда переместился из Кёльна, перебирался он через ближнюю границу в Антверпен, памятуя, что там тоже бывал и жил этот Агриппа. Который писал Божественной августе Маргарите, милосерднейшей государыне австрийцев и бургундцев: «Хотя немногие и пытались писать похвальное слово женщине, однако никто (сие мне достоверно известно) не осмелился признать ее превосходство над мужчиной».

Он вглядывался в страницы из серо-голубой папки, что надо было делать быстро, времени, как всегда, было в обрез, но сквозь апологию женщины в голове почему-то кружились строки из все того же наставления из «Повести о женской злобе». Перешел он затем к записям самой Iry, где она пыталась уравновесить на весах аргументы превосходства женского и мужского начал. Но в нынешнем времени видела, – и здесь он отметил, что не зря она присутствовала на всех его лекциях, – она видела первенство женского мироощущения и ума. Не потому, что женщина в чем-то превосходит мужчину изначально, но потому что нынешний мир надо менять, именно менять, а не разрушать, а мужское первенство подвело мир к черте разрушения. Он вспомнил уже давний, январский разговор с Iroi, когда сказал, что в жалости к женщине он пытался представить себя в роли самой нижайшей, он готов был представить себя проституткой, чтобы, спустившись

туда, можно было о чем-то говорить от имени женщины. Но она ему возразила, сказав, что тоже об этом думала, но ему легко говорить, потому что все для него останется в воображении, где есть дорога назад, а она, если бы попробовала, – однажды она даже готова была пойти на этот шаг в познании, – то снизу можно было бы не вернуться наверх. «Это часть вашего мужского мира, – сказала она, – познать его можно только для того, чтобы изменить, но изменить, не изменив человеческую природу, невозможно».

Сейчас он пытался понять, что она предлагает негласно ему, войти ли в красную зону городов, чтобы испытать себя, или только представить.

В движении на машине он включал радио и где-то в глубине диапазона нащупал какую-то радиоволну, не радио ли Ватикана? и расслышал издалека, что сейчас будет ария из оперы Георга Фридриха Генделя «Орландо», и снова сопрано заполнило своим звуком кабину, и с какой-то яблочной кислотой и горечью, с оскоминой он вдруг который уже раз почувствовал заглохшие было угрызения оттого, что забыл своего Готфрида Лейбница – не по созвучию ли имен вдруг пробудилось все? и надо, надо было бы сейчас уже писать годовой отчет, а он вместо того находится все еще в странном обучении у своей же студентки, которая стала учительницей и придумывает все новые загадки и испытания, посылая его сейчас в красный квартал, откуда нелегко выбраться.

Вооружившись женским журналом «Playgirl» как бы для противовеса ожидаемым и подразумеваемым своим желаниям, он проник в запретную зону, вдруг с легким ужасом поняв и тут же почувствовав облегчение, что Ira не оставила ему средств, чтобы можно было сейчас войти в витрину к паре подруг, читающих книги в ожидании.

В машине музыка постоянно его сопровождала. И он легко сменял города, да и страны тоже теперь, не пытаясь везде за Iroi поспеть, понимая, что кое-где ее опережает. И может оглянуться, ожидая ее уже у какого-нибудь верстового столба. Голоса, женские оперные голоса сопровождали его в машине в дороге, он даже дуэты приглушал, ну а теноров вообще не переносил, и тотчас же отводил движок радиоприемника на новости, предпочитая слушать диковинных политиков, не ища в них фальши. Но женское он не мог забыть, иногда даже записывал, и тут же повторял в машине, видя в зеркальце отблеск своих слез и понимая, что Чечилия Бартоли, допустим, так же недостижима, как Ira. Или даже песнопение дивы несусветной, непредставимой в красоте своего незаемного, но выращенного в чистоте голоса из «Dies Irae». Слышались там сквозь шумы и помехи неточно ловимой в автомобильном движении радиостанции: «Cum Sibilla». «Из прокофьевского “Огненного ангела” не хватало только увертюры», – думал он, нет его ни в моих записях, которые я принес в нутро этой арендованной машины, ни в эфире, который прорывается сюда из разных стран. Бродил он по разным волнам, частотам, но нигде не слышал то, что искал.

Новые неизвестные аккорды сюиты Сальери «Морская буря», – и вот он в автомобиле перенесся из Гента в Брюгге. После «Неоконченная» Шуберта, затем «Прощальная» Гайдна. Под бравурные звуки бернстайновой оперы «Кандид» въехал он на машине в пределы Нидерландов, устремляясь дальше в Дельфт, а может, Гаагу.

Вдруг пришло от нее internet-письмо, поразившее своей протяженностью: «ты понял, наверное об A.N., смотри мои записи дальше в папке», он тут же открыл серовато-голубую ее папку и действительно нашел ее рукописные строчки, которые и раньше видел, но не мог разобрать. Теперь он попытался все-таки понять написанное, – пробираясь через мелкий и неровный, нервный Irin почерк.

Здесь, на углу европейской игры истории и географии – Бельгии, Германии, Голландии и Франции – он потерял ее след, но обрел какую-то школярскую легкость. Не могла его даже отяжелить ее решимость двигаться к югу, в Карлсруэ, он последовал за ней и через границу к Собору Страсбургской Богоматери.

Сопрано он слышал из «Мадам Баттерфляй», тот голос: «Un bel de vedreno», а чего стоит момент, когда новая жена Пинкертона требует сына Чио-Чио-Сан?

Он припоминал свои розыски музыкального магазина в одном большом немецком городе, то было, кажется, во Франкфурте. Он искал записи пленившей его по радио пианистки, но вместо

магазина грамзаписей отыскал магазин музыкальных инструментов – две девушки не поняли, что он ищет, а он не понял их – и долго он смотрел сквозь стеклянные запертые двери на недоступное, но ненужное ему сейчас совсем фортепьяно, на электронное пианино «Ямаха», на котором можно было только в мечтах умчать в неведомую даль.

Нуль – единая, недробимая величина? Такая же, как бесконечность, которая представляется значком перевитого в ленте Мебиуса нуля, уробороса, змея, кусающего свой хвост, или все же скрытая потенция, так легко достижимая или проходимая, потому что ненаблюдаемая вне некоторой новой точки зрения?

Женственная философия и математика поможет нам раскрыть его и те новые теоретические инструменты, которые надо выработать в женственной философии и науке – тут он вспомнил почему-то сельскохозяйственные орудия из магазина, которые бросились ему в глаза своими формами, но также именами, а что как не новые знаки, значки, знакоформы для нуля мог бы он предложить, размножить семантику для нуля, и затем раздробить, разделить его смыслы, но чтобы они не улетали далеко, оставив новое пространство промежутка, тоннеля, сияющего входа для него и для нее – инструментов было много, но он запомнил названия лишь нескольких: мотыга радиусная, вилы копальные, да коса-серп кованая с черенком. Так новые знаки, иероглифы для обозначения, казалось бы, единственного нуля могут помочь обрести множественность так необходимую, чтобы достичь наконец предел, этот истинный нуль, но достичь значит не провалиться через этот зияющий проход сразу на другую сторону числовой оси, но – обнаружить и обрести сияние от множества дробей нуля, от новой, пока немыслимой, но истинно умосозерцательной женственной математики. Так тяга наша, стремление к женственности обретает равновесие, и обнаженный Ахиллес достигнет наконец своей черепахи-лиры, и Аполлон сыграет на ней песнь торжественную – сама черепаха станет Афиной-Аполлоном в музыке.

Так писал он, понимая, что быстро и бегло не сможет передать все теснившиеся эти месяцы в нем чувства и не покроет своей немоты косноязычьем. «Музыка, музыка, только она одна способна передать, вобрать это все, возгреметь по всей Европе, недаром я по ней с заплечным мешком прошел, но то должна быть иная музыка, – она, конечно, слышит нынешнюю музыку, как галлюцинацию в ушах, но уши созданы ею и свитые уши уже иные». «Женственное, музыка и математика – не единицы неделимого атома, но нежно делимого нуля, – вот что даст нам надежду».

Его спутники, попутчики, которых он взялся подвезти до Антверпена, не поворачивались в его сторону, – юношу он видел в зеркальце на заднем сидении, а спутница сидела рядом, – он видел ее сияющий профиль, – правда, и тот и другой улыбались, он неожиданно для себя и слыша музыку, о которой он говорил, обнял правой рукой ее за плечо, она не сбросила его руки, но сказала ему, что им надо выходить, он остановился у первой бензоколонки, как только они въехали в Антверпен. Он ожидал, что студент и студентка в ужасе бегут от него, но они, как-то странно остановившись, переглянулись и разом склонились к нему через окна в машине, улыбаясь. Они сказали, что не все поняли по-русски, но хотели бы, чтобы он услышал их музыку, потому что она композитор, а он юный исполнитель на многих инструментах, она быстро назвала свою фамилию и сказала, что он сможет в любом магазине отыскать диск с ее композициями и их записями, она быстро произнесла свой электронный адрес, и он запомнил, но когда тронул машину, забыл, и хотя повторял имя ее нараспев, но адрес ее не явился.

Он говорил себе: «Поздно ты бросился на розыски музыки, словесной математики, множественного радужного нуля, который предстает все ясней по мере приближения Ахиллеса к своей цели, но в результате ты совсем потерял свою цель». Подумал он даже вернуться в Москву, но не было денег на авиабилет.

13.

В ожидании вестей от нее он пытался гадательно блуждать по сетям своих ассоциаций, надеясь, что они выведут его на ее след. Мог бы он что-нибудь сам написать или хотя бы сказать о

романтической иронии? Вряд ли. Но он зашел в интернет в ближайшем кафе, и у него зарябило в глазах – ничего толком не открывалось – лишь система квадратиков заполнила поля текста, словно кто-то специально зашифровал от него волнующее понятие. Только одно слово или просто одно бросилось в глаза – нерусское, вероятно латинское – да, конечно же, латинское – как он мог забыть сочетание некоторых слов: Dies irae, а дальше, а ниже шли в непробудном порядке ссылки на многие и многие источники, правда, перед этим были еще l'ordre, desordre и laterne magique и еще почему-то Fulle и еще dicke feurig Vernunft. Но и der beste Witz ist der dynamische: где главными все же были: Bourgeois R. L'ironie romantique.

Где-то она была рядом, может, в Бельгии или в Голландии, чтобы туда добраться, требовалось арендовать машину, но средств почти не было, либо встать с табло на груди рядом с бензоколонкой с просьбой автостопа, но сколько простоишь? Все же именно так он и поступил, понимая всю глупость поступка, потому что не знал еще, куда надо ехать. Все поглядывал он на экран телефона, ожидая, как в волшебном сне, что загорится он и придет к нему телеграмма с донесением от принцессы, с сообщением о ее месте и с требованием явиться туда-то и туда-то. Но «ирония» и «Ира» все кружились в голове, когда вдруг затормозил рядом с ним длинный трайлер, и усатый огромный поляк – он сразу понял это опытным уже ухом путешественника – на отличном быстром английском, так что он почти не мог угнаться за смыслом, проговорил, что пусть садится – трайлер идет в Голландию, но он должен будет ему, то есть водителю, мешать заснуть. Выбирать и ждать не было смысла, и он запрыгнул с рюкзаком в кабину.

Водитель так быстро говорил – видимо, давно не видел людей, – что он почти ничего не понимал, лишь тупо успевал кивать головой, разобрал лишь, что едет тот из Польши с грузом малины, которую надо срочно доставить. «Питаться будем малиной, вернее, малиновым соком, который натечет в поддон, но главное не заснуть». Поляк непрерывно включал и выключал радио, переводил станции – и толкал его в бок, так понимал он, чтобы он не заснул, и толкал в ответ, и он иногда отвечал. Ночь надвигалась, и приближалась граница Германии, а он не знал еще, зачем ехать ему в Голландию.

Но в миг, когда они уже, судя по всему, пересекали эту границу, вдруг озарился мгновенным светом экран, и пришла весть: «Я в Дельфте», – в тот же миг, по-видимому, они проникли в Голландию, и то ли по радио, то в его голове женский мощный голос пропел отчетливо (и он вспомнил, что недавно слышал уже тот же голос, когда сам вел машину): «Teste David, cum Sibylla». В полусне подумалось ему, что «cum Sybilla» – это должно быть, Кумская сивилла, хотя в ясном уме он решил бы, что «cum» – союз, но почудилось тут же почему-то, что происхождение здесь от «кумы», а «кума», – что он уж последним ассоциативным усилием выудил из латинского опыта женственных своих курсов – пришла из «com-mater».

Во всяком случае, тут он действительно заснул, потому что вспомнил себя, когда его будил ударами в бок его водитель, – шла уже разгрузка груза – вокруг была ночь – и вероятно, Голландия, и ему предложили выпить втекающую сюда откуда-то из дна гигантского подноса под машиной алую жидкость. Это была чистая малиновая вода, слегка разбавленная алкоголем, то есть польской водкой. Поляк сообщил ему, что они в Гааге, что он проспал почти всю ночь, а если ему надо в Дельфт, то достаточно встать на трамвайные рельсы и идти вдоль них, никуда не сворачивая, прямо на юг, и до всяких трамваев он несомненно дойдет до пригорода, которым и является необходимый ему город Дельфт.

Так и сделал он и, поблагодарив доброго водителя, как мог, отправился он по путям, видя слева, глубоко вдали светлую полоску восхода. Он чувствовал странную свежесть и бодрость, видимо, он немало проспал в автомобильной кабине и думал, что он странствующий бродячий школяр. Вспомнил он почему-то, как, изображая профессора, пытался он читать среди прочего и начала медиевистики. Было там – почему он вспомнил сейчас? – и про Иоанна Буридана, и о том, что осел его сдвинется все же с мертвой точки и вкусит сена земного, но дальше на этом не становится, хотя и качнется назад – к другому снопу, и пойдет странствовать по свету, и на спине этого осла будет именно он восседать – осел в другом смысле.

Так он шел почти в темноте, почти не видя слегка сверкающих далеко под ним рельсов, и чувствовал себя попеременно то ослом, то трамваем, и казалось, что не будет конца пути вдоль возникающих и отходящих в сторону каналов, пока четырехлепестковый (на самом деле было видно три) силуэт мельницы не возник.

Тут он понял, что пришел в другой город, тот, который ему был нужен, – рассвет был уже со всех сторон. Можно было еще пройти некоторое время по путям, и он вдруг вспомнил приснившуюся сегодня ночью в кабине малинового трайлера фразу «Уйду в партийный монастырь». Кому она принадлежала? Еще он подумал сейчас, что во сне успел подумать, что вот человек партии – он его не видел или не разобрал во сне, – который в коммунистической своей отрешенности хочет уйти в монастырь, хотя, казалось бы, невозможно! – не в Польше же! – и сейчас подумал, что сон и был навеян неявно национальностью водителя малинового трейлера. Но там, во сне, он успел еще подумать, что это он вдруг от отчаяния решил уйти в монастырь, хотя ясно, что никуда не уйдет, – и именно такая уверенность может привести его туда так же, как рельсы ведут его в город Дельфт.

Стоял он теперь на трамвайных путях, слыша слабый звон первого догонявшего его трамвая, и глядел сквозь строительные леса и ремонтные сетки на покрытое светлыми пятнами восхода солнца здание старинного вокзала. Наверное, город должен быть сзади, и он, повернувшись вокруг своей оси, направился в центр утреннего города.

Зачем она приехала сюда? – задаваться таким вопросом было бесполезно. Было ясно, понятно, что перемещение ее по миру с полной сумкой своих идей было поиском спонсоров, то есть отчасти хождением с пустою сумой, но, наверное, наверняка она хотела ощутить всю Землю как землю, познать ее.

Тут увидел он в узком просвете между отчетливо кирпичными домами и тенями голубоватую гофру незнакомых крыш, и вдруг понял, что это и есть само небо здесь.

14.

Письмо ее из интернета было как никогда (или как всегда) кратким: «Жду в Мадриде. Все оплачу. I.». По-видимому, это был уже край, последний край Европы, рядом с бискайскими волнами. И он надеялся на окончание. Чего? Бега своего по земле вслед за ней? Вот он сейчас в Москве (или ему только мнится, что он там), но уже ночь подступает, а он по первому зову готов, опасаясь не успеть, опоздать (куда?) рваться за ней. Оказаться там, не застав, конечно, и ждать дальнейших указаний. Она уже в другом месте, откуда поступят столь же комически-краткие и почти угрожающие в своей непреложности инструкции. И обещания о «расплате» (не оплакивать же все она хотела). Он прекрасно понимал, что без ее средств, оставленных где-нибудь в белом конверте в отеле, он не смог бы сдвинуться с места в новой стране, но это его уже теперь даже не смущало. Он знал, что будет поступать так, как она велит или даже подумает, потому что не властен сейчас над самим собой. Ничего он не смог бы сделать сейчас, и бесполезно было пытаться даже экспериментировать.

Вот он уже лихорадочно собирает свой рюкзак, голова была еще где-то в интернете, а рука уже в темноте ванной ощутила гладкий полувыжатый тюбик пасты и что-то другое, привычное и мгновенно опознаваемое для сборов. Ближайший самолет ночной, под утро, и неудобный – транзитом через Мюнхен, но сравнительно недорогой, так что, собрав остаток всех своих средств, он мог еще надеяться дотянуть до этого края Европы. Хватит только на самолет, и то в обрез. О ночном такси и думать не приходилось. Оно в такое время – он знал – стоило 1200, непомерная уже сумма, чтобы добраться до аэропорта к югу от Москвы. Но у него в машине плескалось еще где-то 10 литров, и этого с натягом (если ехать экономно со скоростью 70) должно было хватить. «Брошу машину где-нибудь на обочине у леса», – подумал с трезвостью он, на стоянку денег нет, пусть даже машину уберут потом, но это по возвращении, а сейчас его влекла только та страна, где была она.

Он выехал в 3 ночи и поразился, сколько машин вокруг этой жаркой летней ночью. На перекрестках у светофоров образовывались подлинные заторы. Он не гнал машину, помня о бензине, но поторапливался все же, чтобы успеть на отходящий самолет, – билет он приобрел в интернет-кассе. На пересечении проспектов светофор не горел, а он уже разогнал машину, но впереди моргал зеленый крестик аптеки, и он смело направил машину вперед.

Знал он, что не останется она там, откуда прислала свою интернет-телеграмму, но куда направится и насколько, надо было ему догадаться и решить. Хотя и это не помогало. Мог он только представить. Захватив с собой в последний миг малый атлас мира, мог он в самолете взглянуть на карту незнакомой страны, чтобы хотя бы понять, что могло повлечь ее и в какие города. На испанской карте его сразу привлекло название, которое он знал – Сантьяго-де-Компостела. Но все же он отклонил этот ее возможный план, потому что не совсем совпадало это святилище с ее целями. Что-то влекло ее, вероятно, иное.

Знал он, что идет она за своей интуицией, хотя всегда есть и предварительный план, но обычно он так перевивался и расцветал в различных возможностях и вариантах, что не стоило пытаться его угадывать. Но все же надо было пробовать что-то предположить. Пока никаких иных, кроме той ночной, вестей от нее не было.

Надеялся он получить план Мадрида в аэропорту, так что сейчас он мог только смутно представить некоторые образы, которые могли бы ее повлечь сюда, и так он понимал, были некоторым прощальным для Европы, которую она почти всю охватила и прошла, действием. Бег ее здесь, по-видимому, если не прекращался, то иссякал.

В самолете полузакрыл он глаза, пытаясь дремать, но все же видеть окружающее, чтобы не терять трезвость рассудка (летел ли он сейчас действительно из Москвы или откуда-то из Голландии, а Москва ему только виделась в самолетном сне, он не знал). Но это ему не удалось, и он ушел в короткий, но освежающий сон, напоследок все же подумав, что она толкает его в этих бесконечных перелетах на стирание границы между сном и явью, и отнюдь не в фигуральном смысле.

Проснувшись, он пытался представить то, что он знал из испанской столицы, – это были образы некоторых картин Прадо, в котором он не был никогда. С удивлением он обнаружил, что окружен в основном многочисленными женственными образами – он понимал, что веласкесовские «Менины» совсем не такие в реальности, как в его сознании сейчас, но не сомневался, что там, на картине, столько же или почти столько же этих маленьких, детских или низкорослых женских силуэтов. Следующие появились «Пряхи», почти целиком заполненные женщинами – античными и нынешними. Потом явилась Венера перед зеркалом, но он с уверенностью отвел ее за край сознания, потому что она была, несомненно, из другого музея. Неожиданно из уголков памяти возникла какая-то картина, кажется Эль Греко, с тремя лицами, она называлась, вроде бы, «Fabula», что означало, возможно, «Басня», или «Сказка», в центре – женское лицо, освещенное вспыхнувшей лучиной, слева – обезьяна, а справа, кажется, мужское. Потом появился Гойя, не столько со своими махами, сколько с тревожными и смутными темными образами, о которых он почти забыл, но сейчас после сна и перед сном новым они возникли. Он не помнил точно, но, кажется, именно в Прадо находилась одна его картина, на которой две парящие женские фигуры соединялись в странный угрожающий комок, чтобы отрицать и ведать. То есть это были – да, он был в этом уверен – летящие ведьмы – к утесу, в который целились или в них целились тоже – наклонившиеся к ружьям так, что не было видно глаз и лиц, французские солдаты. Не этого ли знания, – чтобы оттолкнуться от него – его отрицая, но все же запоминая, – жаждала Ira, устремившись зачем-то в эту столицу живописи?

После тяжелой перелетной ночи и утра он оказался в Мадриде и, включив телефон, тут же увидел, что от нее пришло сообщение: «Жду в Прадо». Он знал, что ее там уже нет, с какой бы скоростью туда не переместился, какие бы сандалии-скороходы он ни надел, – наверняка она была уже в другом месте, рядом ли с Прадо или далеко, но в другом.

Он быстро получил в экскурсбюро карты, и проспекты, и планы Мадрида и как был налегке, с легким походным рюкзаком устремился в центр города – благо желтый автобус уходил сразу. По

дороге он смотрел еще и еще раз на карты и объяснения и быстро понял, что она наверняка сейчас где-то в треугольнике между тремя центральными музеями, а потом, он подозревал, переместится на рядом расположенный вокзал Аточа, чтобы устремиться куда-то внутрь страны.

На карте увидел он название «Pl. de Cibeles», закралось некоторое подозрение, но он не мог его сразу проверить. Все же прочтя подробно объяснение в комментариях к описанию города Мадрида, он понял, что простое подозрение его не обмануло: именно отсюда она хотела начать свой быстрый бег по городу – то была площадь Кибелы.

Да, прямо там, рядом с ней, с площадью, автобус и сделал остановку, и он выбежал, словно надеясь увидеть ее рядом с колесницей богини, колесницей, запряженной двойкой сухопарых львов, но путь к этому каменному монументу был недоступен, туда не было пешеходной тропы, и дорогу закрывал непрерывный поток машин.

Но он был уверен, что именно отсюда, видя перед собой огромный образ Кибелы, она и начала свой путь здесь, понятно, что времени, как всегда, у нее почти не было. Но тем самым его она ставила в совершенно невыносимый цейтнот, он должен был совершать ходы в условиях, когда соперница совершила уже много будущих ходов.

На автобусной остановке, на которой он стоял и пытался понять, с какой стороны огибать эту круглую площадь, человек, развернувший газету, тихо, но отчетливо проговорил своему соседу «Матэ эн трэс». Он даже почему-то представил это короткое высказывание латиницей «Mate en tres», но не понял, о чем оно.

Взглянув на карту, решил он из духа противоречия направиться вначале не в Прадо, а в музей Тиссен-Борнемиса, впрочем, застать там Iru можно было бы с такой же малой долей вероятия. Ведь что-то и здесь могло ее привлечь. Определив себе 20 минут, чтобы за это время определить, там она или нет, он устремился туда.

Закинув за плечи рюкзак, он бросился ко входу, но юная служительница не поддалась ни на какие уговоры и велела отнести заплечный мешок в Consiglia, а кроме того, купить билет. Он понял, что точно не попадет в музеи, пытался звонить Ire, но телефон ее привычно молчал. Точно уж на последнее он купил за 15 билет во все 3.

Поначалу кроме Лихтенштайновой «Девушки в ванной» и «Моего юного друга» Уайеса он не увидел ничего, что могло бы привлечь ее внимание, но потом он поднялся на второй этаж и бегом – иногда буквально – минуя полулабиринт этих залов, нашел караваджеву «Св. Екатерину», но Igy рядом с ней уже не было.

Он думал, что может встретить Iru где угодно в окрестности дворца Прадо или не встретить совсем. Обегая здание в поисках входа, он увидел 12 женских фигур в нишах на фасаде, из-за жары немыслимой вокруг она могла подойти сюда в тень, чтобы разглядеть их, он тоже подошел, но, оглядывая их слева направо, успел увидеть только три боковых, подписи под которыми были «Victoria», «Architectura», «Fama», что несомненно значило «Победа», «Архитектура», «Слава». Она тоже искала их.

!Que hermoso! – прошептал он неожиданно для себя единственное испанское выражение, которое помнил зачем-то с незапямятных времен и означавшее «Как прекрасно!» – здесь он его прошептал, вероятно, имея в виду Iru, поскольку никого рядом не было в раскаленный полдень, только перевернутую каплю восклицания нельзя было поставить впереди, как того требовала испанская грамматика, даже мысленно, «Как красиво!» – зачем-то еще раз прошептал он, хотя ему не было уже красиво и прекрасно. Поднявшись по внешним торжественным лестницам вслед за другими на второй этаж и войдя в прохладу музея, он понял вдруг, что ищет ее не только среди других людей, но всматривается пристально в картины, быстро перемещаясь из зала в зал, выглядывая словно и пытаясь за фигурами, особенно женскими, увидеть ее. Не найдя ее на верхнем этаже, он спустился по небольшой лестнице вниз, где и было хронологическое, наверное, начало осмотра, но он, проходя уже не в первый раз по одним и тем же залам, потому что запутался в череде их, – и вглядываясь в одни и те же лица на картинах, все же стремился к какому-то итогу.

Ему показалось вдруг, что это было и ее целью – наполнить его видениями картин, может быть, повторяющимися.

Миновал он залы Босха, скользнув по миниатюрным лицам Адама и Евы так же, как раньше по лицам большим на картине Дюрера, – не здесь он ее искал, – он прошел уже все, как ему казалось, не в первый раз, когда попал в зал, не имевший выхода.

Тут ему показалось, что самолетные смутные видения наконец обрели реальность, и даже захотелось присесть, хотя бы на пол, – все скамьи были заняты другими: возможно, она хотела, чтобы он закончил свои видения именно здесь, и особенно пристально он стал вглядываться здесь в лица посетителей, словно она была среди них.

Гойевские черные картины из «Дома глухого», перенесенные сюда на полотна, казалось, реяли в воздухе, и он понял, что она хотела наполниться этой силой, чтобы преодолеть темноту и двигаться к чему-то иному, но главное хотела ему это внушить и заставить, именно заставить, как тогда в университете, нечто избыть и понять.

Да, рядом с входом там парила над землею парная та фигура, которая явилась ему в видении в самолете, но она была, конечно, совершенно иная – реальность представлялась в своем незабываемом уже новом свете, воображение его словно было одним из ее вариантов, да, она называлась «Асмодей», но эти воздушные безумные жесты двух женских смутных летящих фигур были сильнее воздуха и даже горы, к которой они летели, и, конечно, мощнее невидимых выстрелов земных оккупантов.

Наполниться и этой силой – совершенного в своей отрешенности искусства, но если не открыться иному, – он понимал, кажется, ее замысел теперь здесь, – то все останется прахом воспоминаний частного сознания, – он не сомневался, что она покинет сегодня же столицу, чтобы двигаться в иной, важнейший пункт.

На выходе почти уже его настигла sms-ка: «Reina Sofia», и он почти и не раздумывал, потому что именно туда и направлялся – несомненно в «Центр искусств королевы Софии», где была сейчас она, но в этом можно было усомниться, потому что рядом находился вокзал, куда она без сомнения тоже стремилась.

Не сразу нашел он вход в застекленный современный дворец искусства, описав полукруг и видя недалеко через площадь кирпичные остовы железнодорожного вокзала «Аточа». Стеклянное здание искусств Королевы Софии было многоэтажно, он лихорадочно читал внизу описание этажей, мелькали анонсы современных выставок, среди которых значилась экспозиция направления «Масс-турбо», нового, но, впрочем, обозначенно вдохновленного образами Дали.

На нижнем этаже среди инсталляций он ее не нашел, да и не могла она среди них затеряться. Поднявшись по металлической лесенке на следующий этаж, он понял, что здесь, разумеется, она была или даже есть, потому что он получил проспект о том, что все залы тут посвящены так или иначе «feminism».

Правда, особенного феминизма он не нашел, если не считать картины Пикассо «Mujer en azul», что он расшифровал как «Девушка в голубом», и картины неизвестного ему художника «Афина Паллада представляет музам на Парнасе десятую музу – философию» – он понимал, что все это вряд ли могло ее заинтересовать.

На этом этаже была огромная квадратная галерея с множеством боковых углублений-комнат, в которые он быстро входил, но не находил ее нигде. Вероятно, от бессонной ночи, усталости он стал терять ощущение связной реальности и вынужден был останавливаться, встряхивая головою, чтобы понимать, куда двигаться дальше. Накопившиеся образы вокруг начинали некоторое самостоятельное движение. Он понимал, что, видимо, надо покинуть круговую, вернее, замкнутую квадратом галерею, но не мог найти выхода, то есть вход, через который он попал сюда. Понимая, что ее здесь уже нет, он все же искал ее особенно в затемненных и прохладных углах отдельных пространств, где даже крутилось кино начала двадцатого века, кажется, одно было «Perro de Andaluz», что он связал с Бунюэлем. Но особенно его остановил другой киносвет, вернее полутьма, в которой мелькало что-то уж совсем раннее. Он решил, что этим залом

закончит свое кружение здесь и обязательно найдет выход, чтобы бежать за ней на вокзал, – он не сомневался, что она все-то в трехстах метрах от него через заполненную солнцем площадь, но остановился, вероятно, от предельной усталости. «Братья-Свет» – вдруг буквально прочел он имя первых кинорежиссеров, вернувшись к той своей лекции, когда говорил о световых подмножествах мира. Сюжет назывался, по-видимому, «Выходящие с фабрики». Вот начинается хроника – конец того, еще того века, и из отодвигающихся тяжелых ворот выходят быстрым, немного раздерганным шагом (эффект кинотехники, но хочется думать, что и люди тогда были быстрее, хотя в чем-то и суетливее), начинают выходить работницы и работники. Вот одна, первая, появляется в длинном, как и все, темном платье и пытается скрыться в поле зрения направо, взмахивая и размахивая руками весело и почти свободно, она на взмахе руки поправляет свою большую шляпку, – огромное темное поле своей шляпки. Другие – в две стороны растекаясь. Выезжает работник на велосипеде, виляя колесом, к нему под ногу бросается собака, он почти падает, и другой перебегает поле зрения, смеясь, устремляется за собакой. Вот они, чинно, весело и благородно скрываются, пытаются скрыться из глаз в обе стороны, и когда ворота начинают заезжать слева направо, чтобы закрыться, кто-то последний, темный вбегает в ворота, и за ним успевает еще вбежать собака, прежде чем прервется зрение. Такое короткое кино закончилось, пора было уходить, даже бежать, но он стоял, словно приколотый мимолетным зонтиком из позапрошлого века, и тут кино началось вновь. Застрекотало опять бесшумно что-то, замелькал первый снежок кинобликов, и из открывающихся ворот фабрики опять появились они и она, веселым быстрым движением рук наразмашку, опять используя маятниковый взмах руки, чтобы поправить свою огромную по неизменной почти моде того времени шляпку, и вот она скрылась, но появились другие, уходившие вправо и влево, но большая часть в поле зрения влево, и он не мог прервать этот сеанс, – так ему казалось. Что если он прервет его до конца, то что-то важное прервется, и он не сможет ее догнать или даже понять. И вот сеанс заканчивался, и человек в темных штанах успел вбежать в закрывающиеся ворота, и за ним еще быстрей та собака. Он посмотрел на часы, которые предварительно обнажил, кино продолжалось 39 секунд. Но прежде чем он сдвинулся с места, облегченно вздохнув, сеанс начался вновь, и он уже не мог сдвинуться с места, почти завидуя работникам и работницам, которые так свободно двигались, ни от кого не завися. Вот и она появилась первой, была видна лишь нижняя часть лица, остальную часть кокетливо закрывала шляпка, которая была и зонтиком от солнца. Вот она ее изящно и молодо поправила, использовав молодую силу руки, которой взмахнула, выходя из темного неизвестного нутра фабрики, какой фабрики? – тогда кинофабрики еще не было, – и другой рукой, и все они, их было довольно много, только двое выехали на велосипедах, выходили привычным и повторяющимся потоком, отнимая живое время – он понимал это, но сделать ничего не мог – у живущих сейчас, у живущего у него сейчас. Он понял, что впал в некий ритм, который его баюкал и завораживал, и он даже начал немного раскачиваться, чувствуя, что через несколько киносеансов упадет, уже не считая эти короткие, но с каждым разом наполнявшиеся все большим смыслом периоды. Ему казалось, что некоторых он уже узнает, что эти французские лица – его знакомые, особенно та первая девушка, которую, чей облик, вернее, он знал почти наизусть, хотя видел только нижнюю часть юного, как ему казалось, лица. Вокруг звучала иногда испанская или иноземная речь, он к ней привык, она была частью струения света на экране стены зала музея. Вдруг он понял, что понимает, о чем говорят двое рядом с ним. Он не мог понять, как это произошло, и лишь через некоторый миг он понял, что говорят по-русски, и он оглянулся, закрыв глаза.

Молодой человек что-то по-русски объяснял своей спутнице, теперь он уже не вслушивался в смысл и просто двигался к ним, понимая. Что они его заставили повернуться затылком к тем повторяющимся образам, где, казалось, навсегда останется его лицо. Он вышел за ними в другой зал и остановился рядом с ними.

«Вы по-испански понимаете?» – спросил он. «Немного», – вежливо ответил соотечественник. «Что значит “Матэ эн трэс”?» – спросил он, вдруг, только в эту секунду поняв, что эти слова

содержат по созвучию нечто много большее, чем намек на южноамериканское опьяняющее зелье. «Мат в три хода», – сказал вежливый голос.

Зазвонил кратко телефон, сообщая о ее сообщении – там значилось: «В Сарагосу. Билет в информац. бюро. Аточа». Значит, она, возможно, была еще на вокзале, он побежал через площадь – не снятый со спины рюкзак – в новом центре искусств – этого не требовали – уже обжигал спину горячим потом, – бросился вначале вниз, где были парковки машин в кирпичном раскаленном на солнце котловане, возможно, там был вход в долгожданный вокзал – он видел через многослойные стекла его пальмы – даже пунктирные струйки воды, невидимо непрерывно бьющие откуда-то, но вход не находил и побежал назад, описав дугу. Вбежал наконец в прохладу вокзала, но увидел, что совсем недавно скоростной поезд «Ave» ушел на Барселону, как раз через Сарагосу, так что наверняка она уехала именно с ним. Можно было не торопиться – следующий такой же поезд отправлялся через час, но он пытался найти указанное ей бюро, но, не зная языка, только через полчаса его обнаружил, как раз в самом низу вокзала, на нижнем этаже в виду вечнополиваемых пальм, рядом с которыми дремали вечные пассажиры, получив билеты по своему имени, ему тоже хотелось присесть, прилечь рядом с ними, но он понял, что тогда вообще не тронется отсюда, – почти бессонная ночь и голодный почти день сказывались.

«Почему Сарагоса?» – у него было почти полтора часа в быстролетящем поезде «Ave», чтобы ответить себе на этот вопрос. Вспомнил, что в Прадо он увидел в биографических данных о Франциско Гойе, что тот родился именно в Сарагосе и даже учился там, но вряд ли только ради этого факта Ira так быстро устремилась туда.

Помимо нескольких кадров ничего не мелькнуло у него, но все же что-то он слышал об этом месте и его соборе. «Hotel Melia» – значилось в ее кратком сообщении. Он получил его, когда уже подъезжал к городу, так что он вышел с вокзала в Сарагосу, имея определенную цель, но не имея буквально ни евроцента в кармане. Спрашивая и переспрашивая молодых людей, как понимающих по-английски, он вышел все же на верный путь и через час был на подступах.

Свернув с пассео Марии Флорес налево, мимо арки, стоявшей в центре небольшой площади, он вышел на Авенидо Сесара Аугусты, где и должна была быть гостиница. В отеле его ждало сообщение о том, что гостиница оплачена на три дня вперед (две ночи) и 50 евро в конверте.

В номере он упал на постель, но все же нашел в себе еще силы, чтобы включить легкий свой notebook и войти в сеть. Он сам не знал, на что надеяться, но обнаружил вдруг краткое ее письмо трехдневной уж давности, видимо, с запозданием дошедшее. В нем была даже какая-то небольшая звуковая картинка, он нажал треугольник, под которым мелькнула надпись Couimbra, и он услышал поющий голос, который слышал много раз, но очень давно. Он сообразил, что это была весть из Португалии, где Ira была прежде, чем отправиться окончательно в Испанию. Не Куимбра, понятно, была ее цель, хотя и не случайно, вероятно, она в этот университетский город заглянула, и даже отправила ему – неслыханная щедрость – несколько отпечатков своего зрения, – ступени, террасы, порталы, входы и двери – весь перечень архитектурных градаций, но голос пел, и заворожено он повторил его снова, ничего не разбирая из слов, и скользя дальше по письму, где она указывала, что направилась в недалекий порт Авейру на Атлантическом океане, хотя он подозревал – она, конечно, об этом не писала, – что главной ее целью было расположенное неподалеку селение Фатима. Голос повторялся, картины возникали вновь и вновь, он даже смутно начал разбирать начальные слова, так что даже он понял, о чем идет речь, первую строку, кажется, он расслышал наконец: «Куимбра сьюдад де дивина», так что мог даже транскрибировать на испанский «Couimbra siudad de divina», и ему показалось, что даже он может понять, о чем течет речь: «Куимбра, божественный город». Он даже понял, что, кажется, может восстановить имя певицы, которое, собственно, всегда связывалось с этой песней, но он не знал, о чем она пела тогда в древности еще тех 60-х или, вероятно, даже 50-х годов про Португалию с другого материка: Лолита Торрес.

Наутро, попросив план в гостинице, он пошел вниз к реке вдоль строящихся трамвайных путей, слыша иноземную речь, не доходя до центрального рынка, он отчетливо расслышал: «По-

едем в Одессу», – вдруг произнес тотчас же исчезнувший голос. На карте он увидел то, что уже знал – Базилику de Nuestra Senora del Pilar – храм богоматери, которая явилась здесь на яшмовой колонне здесь в Цезарьавгусте в 40 году нашей эры апостолу Джеймсу. Наверное, это апостол Иаков (Сант-Яго), которому поклоняются в Компостеле.

Пройдя огромную солнечную площадь, оставив за спиной искусственный наклонный водопад, который обрывался здесь же под землю с шумом многих фонтанов, он вышел к самому храму, в котором хранилась эта колонна, пилон, или столб из яшмы – золотистый, даже зеленоватый свет исходил из нее, сопровождаемый неустанной речью проповедника, из которой он не понимал почти ничего. Но не было у него даже евро, чтобы бросить в прорезь и зажечь электрическую свечу. Он не сомневался, что Ira была здесь тем же утром или даже сейчас здесь, но сквозь множество лиц он не мог ее узнать. Он вышел на площадь, заполненную уже не по-утреннему беспощадным солнцем, и свернул на мост к реке.

Река Эбро была здесь широкой, но ее вид был провинциально-неухоженный, может быть, вода отступила от набережных и обнажила галечные отмели. Он взошел на мост, увернувшись от множества блестящих мотоциклистов, между двумя львами, смотрящими в город, выходить на ту сторону реки между хвостами других львов не имело смысла.

На середине моста он услышал двойной звоночек в телефоне и прочел сообщение «Monasterio de Veruela». Где это могло быть, он совершенно не представлял, на карте и в обозначениях ничего подобного не было, решил он вернуться в гостиницу, вверх по Сесара Аугуста, уже по сильной жаре. Там ему сказали, что это в 60 километрах отсюда. «Это женский монастырь?» – спросил он по-английски, и служитель что-то стал быстро ему по-английски же отвечать, так что он не все понимал, но все же уловил, что монастырь сейчас заброшен, лишь изредка кем-то посещаемый, что раньше там были очень строгие порядки, можно сказать, все хранили обет молчания, и в монастыре существовала единственная комната, где можно было разговаривать или вести переговоры. Понял он, что туда ему не добраться, те 50 евро, что у него оставались, он решил не разменивать, да и не хватило бы все равно туда доехать. Он обошелся лишь утренним завтраком в гостинице, и голод уже чувствовался. Вдруг он подумал, что ради того, чтобы побывать в этой комнате, она и поехала в монастырь. Чтобы увидеть те слабые голоса.

Он вновь вышел из гостиницы, и увидев на плане, решил зайти в местный музей Гойи – в бесплатный, поэтому он смог и захотел туда попасть, решив скрыться от жары. В темной прохладе музея он прошел мимо светящихся на стенах четырех циклов офортов. Пытаясь понять, что могло ее здесь привлечь, он почти не сомневался, что она мелькнула здесь. «Тавромахия», где матадором был почти всегда бык, а не человек? Или последние «Диспаратос», что приблизительно можно было, наверное, перевести как «Сумасбродства», «Отклонения» или даже «Безумства» одной «Disparate feminine», где девушки вместе подбрасывали на круге полотна паяца.

Вдруг появились женственные образы с картин, которые он видел накануне. Вначале застывшие, как портрет графини (или герцогини?) Чинчон, нимфа Касталия на пуссеновском Парнасе, другая нимфа Омфала на картине внутри картины придворного коллективного портрета, вакханки, потом словно бы ищущие в порывах движения – Магдалина, Гера, порождающая из груди Млечный путь, Даная, отплывающие за море Святая Паула и дочь ее Евстохия, наклонившаяся за золотым яблоком, бегущая Аталанта и преследуемая Лукреция Бини на всех картинах Боттичелли и его учеников.

Но это был лишь первый приступ образов: неостановимая песня Торрес кружилась по кругу, и он чувствовал, что она вилась словно бы по ободу женской шляпы, от которой он не мог оторваться в том прохладном зале, ему представилось вдруг, что остался лишь неровный заржавленный край, лишь обод, по которому неровной иглой скользила эта песня, и нельзя было поднять тонкий заржавленный нимб над головой, над лицом, которое было в тени. Но темные образы залов уходили куда-то вниз, и он почувствовал облегчение. «Из какой страны?» – спросили его служительницы по-испански, он ничего не понял, и лишь с четвертого раза, когда они предположительно поочередно стали называть европейские страны, назвал свою. Он вышел опять в рас-

каленную, душную узкую улицу и побрел к реке, куда несут ноги. Он, опять поднимаясь по Сесара, прошел мимо арки, по карте он знал, что она называется аркой Кармен, – древность сохранила два каменных шара – один справа как бы на боку, а другой слева выше на плече этой арки, – и снова свернул на уже знакомую Passeo Flores и дальше к площади Европы у самой реки. Он взглянул на карту и увидел, что за рекой находится Torre del Agua, что, по-видимому, означало «Башню воды», он видел ее дальний высокий край, но до нее было далеко. А дальше левее, должно быть, находился Parque Metropolitano del Agua, но добраться до зеленого, наверное, парка не было уже сил. Он побрел налево по тенистой вначале улице, понимая, что ноги несут его в сторону вокзала, но ехать куда-нибудь за ней он не мог.

Он свернул налево в боковую улицу, солнце било в лицо, и не было теневой стороны, все же он прижимался к правому краю, таким было короткое подобие тени. Слева впереди он увидел цифру 37, сразу сменившуюся на 15:00, он понял, что была уже середина дня. Он вышел к обширному пространству, куда невозможно было выйти из-под деревьев от ослепительного отражавшегося солнца. Далеко на пустыре бил какой-то дикий фонтан из земли. И он вдоль деревьев, прижимаясь к домам, шел, следя за ним. Он увидел и насчитал семь струй воды, бивших фонтаном на пустыре. Маленькая девочка стояла рядом со струями, протягивая правую руку. Но он был в густой тени дерева, рядом с кафе и пустыми столиками, выставленными на улицу. Он хотел опуститься на стул, но тяжесть усталости была велика, так что, казалось, он не мог сделать шага. Вместе с тем откуда-то из глубины его зрения появилась легкость и быстрота перемещения образов. Он почувствовал освобождение – и вдруг вспомнил то чувство, которое явилось тогда на лекции, когда увидел себя изнутри и извне. Сейчас он вдруг тоже увидел себя извне, но понимал, что смотрит на себя иными глазами. Ему казалось, что то были другие глаза, он кружился по какой-то орбите, не сдвигаясь, но лишь повторяя раз за разом орбиты. Темные женские образы были где-то там внизу, а здесь появилось ее лицо, но он словно бы не видел его, он просто знал о его присутствии. И он смотрел на себя ее глазами. Он видел себя застывшего, не понимающего, где он находится, но пытающегося увидеть ее и ее как себя. Все женственные образы, которые он увидел за эти дни, прилегали к его глазам, и темное отпадало и падало вниз, а светлое лечило его глаза.

Ранним утром он привычно прошел еще раз мимо арки святой Кармен, стремясь снова на поезд Ave, чтобы догнать Iru в Барселоне. Выйдя на станции Saint, он не представлял, куда двигаться, – у него не было даже простейшей карты, и именно чтобы получить план города, он вошел в красный открытый автобус, истратив последние деньги, он ехал на открытой платформе, пытаясь представить, где она может оказаться, он понял, что оказался на высоте над городом, и с этой горы, что-то припоминая, раскинув руки, взглянул в город, он увидел порт и застывшие темные корабли рядом с горизонтом, он спускался к порту, думая, что она могла бы взойти на теплоход. В прибрежных улицах автобус запутался в поворотах, и застыл в пробках, когда пришло ее сообщение: «Mila». Ничего он не понял, и спустился на первый этаж застывшего автобуса, не найдя лучшего чем показать экран с сообщением водительнице. Та долго смотрела, и потом сказала: «Casa Mila». Тут уже он стал по ассоциации понимать, и быстро спросив, сошел с подножки. Не собирался он вовсе погружаться в Барселоне в подземку, но так был единственный способ успеть, сквозь душные трубы переходов он бросился на желтую линию и через пятнадцать минут выбежал на Passeo de la Grasia и, минуя один дом Гауди слева, пересек улицу, двигаясь на север на противоположную сторону. Увидев приближающиеся номера домов, он подбежал к Каса Мила, узнав его только по людской очереди вокруг. Взглянув вверх, он увидел на крыше женскую фигуру рядом с крестообразным дымоходом, а в правом его глазу застрял зеленый мальтийский крестик аптеки, и он понял, что не она это наверху, и подняться ему туда не суждено. И тут же пришло от нее новое сообщение: «Sagrada». Тут уже у него не было сомнения – он вспомнил карту, в которую всмотрелся на верхней палубе автобуса. Бросился он по поперечной улице Rossello, которая выводила к церкви Саграда Фамилиа, почти не заглядывая в карту. На сложном пересечении он все же взглянул в карту, и тут же огромный, как гора, автобус прозрачной тенью пролетел в полушаге пред ним – он не видел красный свет перед собой. Подбежал он через десять минут к ожидаемому

месту, окруженный черно-желтым роем такси, – не было у него уже никаких средств, чтобы отдохнуть хотя бы несколько минут в прохладе такси.

Некогда было что-то видеть или разглядывать, он только скорее почувствовал всем существом что-то сиреневое и грандиозное, и все же увидел, – два желтых подъемных крана своими клювами с двух сторон прикасались к недостроенному храму, и внизу людской водоворот у оград, и понял, что здесь не подняться ему наверх. Тут же пришел словно бы ее ответ: «Estacio de Sanct». Понял он, что путь его теперь обратно на вокзал, и по улице, параллельной Rossello, бросился к железнодорожному вокзалу Барселоны. На вокзале его ждало окончательное сообщение, добивавшее его здешние надежды. «Rent a car. A Paris». Были, правда, переданы привычным путем некоторые деньги, так что он мог впервые за много часов что-то поесть. Потом уже между низкорослых вначале гор Пиренеев он едва успевал вписываться в повороты, на пределе сил, замечая лишь надписи, которые он инстинктивно понимал: «Curva peligrosa» – «Крутой поворот», и затем было много часов этой гонки во Франции, но в Париже его ждало последнее указание: «Я в Лондоне», – и той же ночью он вылетел в Лондон.

15.

Вечером поселился он в отеле возле Кенсингтон-роуд. Вечером не было никаких сил, но утром все же попробовал позвонить. Знал, что безнадежно, но неожиданно телефон отозвался долгими глубокими звонками. На восьмой – он считал с бьющимся сердцем – ее голос сказал:

– Теперь мы можем встретиться.

– Где мы смогли бы увидеться?

– Увидеться? – Тут последовала пауза. – Я остановилась в гостинице, – она произнесла название отеля, – это недалеко от Гайд-парка.

– Я тоже... неподалеку. Тогда в парке... у памятника Питеру Пэну?

– Нет.

– Ну, тогда у фонтана Дианы... принцессы Дианы... это такой кольцевой ручей.

– Ты не понял. У меня нет времени для романтических свиданий. Через час подойдешь сюда и подымешься ко мне в номер.

Через час, когда он тихо и робко как-то (хотелось отложить ему почему-то в последний момент встречу, о которой он долго мечтал) постучал в дверь названного номера, почувствовал он, что сердце стучит сильнее, чем его рука. Но и от легкого стука его пальцев дверь подалась – она была не заперта. Вошел он в просторную солнечную комнату, правда, менее роскошную, чем он мог ожидать, когда шел сюда по мягким коврам коридора гостиницы и поднимался в ослепительно-зеркальном осьмиугольном лифте. Но все же номер был огромен, потолки терялись, казалось, в высоте. Но никого в комнате не было. Он сделал шаг и увидел колыхавшийся занавес слева в проеме, ведущем, по-видимому, в смежное пространство.

– Ты принес то, что должен был мне передать? – раздался из-за колышущихся сомкнутых створок занавеса ее голос. Он отметил, что за время, что они не виделись, Irin голос немного изменился, – или был немного и искусно изменен. Впрочем, голос проходил сквозь материю занавеса, сомкнутые створки которого приглушали звук.

Он вышел на середину комнаты и выдержал паузу, словно подчеркнув некоторую свою независимость, но получилось так, словно он слегка оробел перед ее строгим голосом и вопросом:

– Да, ты знаешь, что она всегда со мной.

– Хорошо, передай мне папку.

Он достал из сумки серую папку, чувствуя, что ему жаль отдавать ее, тем более что он далеко не все успел там посмотреть.

– Зачем такие церемонии... или таинства... можно я войду к тебе?

Он собирался шагнуть между зыбкими высокими створками полупрозрачной завесы, туда, где, по-видимому, присутствовала Ira и где было полутемно.

– Если попробуешь войти, то больше меня не увидишь.

Он остановился у самого края завесы, слегка трепетавшей от ветра, входившего из той комнаты от приоткрытого окна, но шторы были почти задернуты, и почти ничего не было видно.

– Ну почему? Разве я тебе не нужен? Разве между нами ничего не было? Зачем тебе нужно было, чтобы я таскал твои бумаги за тобой по всей Европе?

– Слишком много вопросов сразу...

– Зачем надо было таскать эту папку... можно было просто переслать куда-нибудь.

– Ты что, не понял? Думаю, что ты все прекрасно понимаешь... Ты должен был прочитать и изучить ее, и, думаю, ты это сделал. Сам ты что-нибудь написал за это время? Писал ли ты вообще?

– Очень мало.

– Ты должен был это делать везде. Недаром я указывала тебе, где и как ехать. Ты знал маршруты и мог быть спокоен за направление пути, но ты должен был продолжать то, что ты начал тогда в Москве – в автобусе, в поезде, может быть, в самолете, – то, что ты должен был делать, когда сбежал из Москвы.

– Как сбежал? Я сбежал?

– Так. Тетя мне написала тогда, что ты почти в панике... я тебя пожалела и написала тебе, что ты можешь приехать в Стокгольм, что ты и сделал... вместо того, чтобы быть спокойным и заниматься в Москве нашим общим делом, о котором мы так много говорили.

– Но ты меня... покинула... ничего не сказав.

– Я много раз тебе говорила, намекала. Но ты ничего не понимал или, вернее, не хотел понимать... имеющий уши да слышит...

– Я в Польше попал в больницу.

– Знаю.

– Ты говоришь так, словно все контролируешь и знаешь обо всем, что происходило или произойдет со мной.

– Не все... ты свободный человек... то есть пока ты совершенно не свободный... но можешь им стать... Я поняла, что ты можешь следовать за мной, помогать мне в пути... но следовать не значит преследовать... Сейчас ты оказался рядом со мной в одном месте, но не догнал меня.

– Ты знала, что мы не встретимся в Стокгольме и других городах?

– Ничего я точно не знала... Просто ты не поспевал за мной. Но дело не в физическом отставании. Ты должен достичь меня в другом смысле. И тогда мы совпадем. Поэтому сейчас видеть меня не имеет смысла... более того, это было бы плохо. Потому что породило бы иллюзию, что мы видим друг друга... тогда наша встреча была бы иллюзорной.

– Так ты хочешь, чтобы мы вообще даже не увидели друг друга сейчас?

– Я тебя вижу сейчас. Может быть позже ты сможешь достичь меня... Но все зависит от твоей силы... силы твоего свободного выбора, – тут ему показалось, что она припоминает нечто прочитанное, возможно, написанное только что ею самой, – сегодня я улетаю в Москву, и затем, возможно, дальше... если хочешь, следуй за мной, если хочешь мне помочь, то попробуй. Но все-таки помни, что встретишь меня или нет, зависит от тебя самого... Почему ты мне не писал?

– Это физически было невозможно.

– Неправда, вполне возможно. Ты путешествовал по центральной Европе... если бы ты захотел, если бы тебе было что мне написать, кроме восклицаний и упреков, конечно, написал бы... я даже хотела этого, но ты прервал свою... нашу работу, хотя она должна быть непрерывной... Я давно тебе внушала, но ты не понимал или делал вид, что не понимаешь: ты свободен и я свободна или пытаюсь стать такой.

– Раньше ты по-другому говорила.

Нет, просто ты не слышал... Не надо ревновать меня к идеям или людям... ты должен меняться... иначе ты не замечаешь, как я меняюсь... я меняюсь быстрее, чем...

– Мне нужна ты.

– Но какая? Эта? Или та, что была полгода назад?

– Ты же знаешь, что надо всех их соединить.

– Да... и я тебе благодарна за то, что ты мне это сказал... подсказал... это совпало с моими чувствами... Но не надо меня преследовать... Если хочешь следовать за мной, то да... Мы еще встретимся, но позже... Но не надо меня расспрашивать, где я, с кем встречаюсь... Я тебя не спрашиваю, где ты был, с кем виделся, входил ли в красную зону где-нибудь в Генте, в Аахене.

– Я там не был.

– Не надо мне исповедоваться. Мне все равно... Есть цели столь высокие... и ты это знаешь.... что плоть отступает... становится неважной...

– Мне нужна ты... ты и никто другой...

– Но какая... мы идем по кругу... опять приходится повторять то, что только произнесла... да, к тому же, я за прошедшее время так изменилась... я имею в виду не только внешний вид... хотя и его тоже... что ты меня, может, и не узнал бы, если бы увидел.

– Но дай мне тебя увидеть. Можно я войду?

– Нет. Передай мне папку.

За занавесом почувствовалось легкое движение, как бы мерцание: ему почудилось, что так – пусть и при неясном свете – удивительно переливается ее платье. Между створок занавеса протянулась длинная ее ладонь и кисть, и он поднес ладонь к глазам, перевернув ее и снизив лицо, он узнал неповторимый рисунок этих голубых рек – рисунок ее вен на тыльной стороне руки, и он мгновенно поцеловал эту руку. Рука была прохладная и, не дрогнув, оставалась так же холодна. Он вложил в ее руку тяжелую папку, и рука скрылась.

– Я думала, как лучше сделать, – тихо произнесла затем она, – думала перевести на твой счет... но это задержит... будут издержки... Я оставлю деньги на столике здесь, когда я уйду... не беспокойся... это деньги нашей ассоциации... понимаю, что тебе они необходимы... хотя не думаю, что твои затраты были очень велики...

– Но можно хотя бы взглянуть на тебя сейчас?

– Мне надо уходить, я тороплюсь на самолет. Сделаем так... Тебе надо зайти в эту комнату... Ты знаешь зачем... Но я сейчас уйду отсюда... Ты повернись к окну... ты не должен сейчас меня видеть.

Он отвернулся к окну, пытаясь уловить хотя бы призрак отражения в оконном стекле, но светлое дневное стекло позволяло видеть лишь то, что было за окном, но и этого он сейчас словно бы не видел.

Что-то прошелестело позади него, он уловил дуновение воздуха, и входная дверь захлопнулась сама, – он почувствовал, когда она уже отпустила ее с той стороны, – с тихим щелчком.

Он вошел в ту закрытую прежде для него половину номера, он хотел уловить ее запах, он сел на ее уже застеленную – неровно – постель, он захотел заплакать и не смог.

16.

Надо было возвращаться на родину, где найти теперь Iru ему представлялось труднее, чем где бы то ни было в мире, – так он думал, хотя она обещала подавать вести, но он не верил ей. «Dura mater», – повторял он после Лондона застрявшие в уме слова, означавшие вроде бы твердую внешнюю оболочку мозга, и он представлял ее такой преградой, через которую сейчас он не мог бы никак перейти. «Материя мозга»? Или, может, точнее – твердая его оболочка? Он понимал, о чем идет речь, и тут же представлял, что указывая неявно на словесные формулы, ведет его она в звуковые повторения, чтобы отрешать от плотского повторения, в вожделении неизбежном, но в словесных путях «материи», «матери» и «метро» он запутался, и новый культ земной-земляной-неземной богини был столь же просветлен, сколь и темен и неясен. Даже в метро по возвращении в Москву он не мог спуститься теперь – что было впервые с ним – без некоего содрогания и страха. Чудилось ему, что летний привычный холодок подземный неизбежен, потому что должен вызывать благоговение в святилище, посвященном отчасти и ей теперь. «Пока ты блуждаешь по

словесным формулам, пока, мантрически повторяя, не можешь выбраться из словесных углов, она тебя совсем опередила, – думал он, но странно, без капли ожидаемой им самим ненависти к ней, – она тебя обогнала, вот что главное, она в познании мира впереди, а ты отстал, – вот что главное». «Мне оставила только суррогаты какие-то молитв, обрывки фраз, вроде “Мати, Матроно”», – вспомнил он слова ее из серой папки, выписанные ее рукой из акафиста обращения к святой московской Матроне-Матрёне.

Должна она была – так он представлял – после короткой передышки в Москве направиться на юг в своей погоне за женственными ускользающими образами. В Москве она – он во время не успел вслед за ней в храм Софии в центре – добралась до Сокольников, в Воскресенскую церковь, где, как он знал, находится частица мощей Параскевы Пятницы, и затем тут же скрылась из Москвы, – он ее не догнал и на следующее утро выехал на машине за ней.

Не знал он толком, куда направляется. Собственно несколько путей и предполагаемых ее маршрутов он предполагал. Первый лежал через Владимир, Боголюбово, Нерль, Вязники и дальше через Муром, Шацк, Моршанск, – все по ненадежным, хотя отмеченным на карте дорогам, – и дальше на Тамбов, минуя Мичуринск, где она почему-то хотела остановиться, поклониться какой-то чудесной яблоне. Что представлялось ему совсем уж наваждением и бредом. Второй путь проходил – неужто она хотела двигаться сразу по двум или трем? – задавался он часто вопросом – через Серпухов и дальше к Туле, – минуя ее, и возможно, с заездом тоже в Рязань – через угольные районы, туда, где Кимовск переходил незаметно в бывшую купеческую Епифань, и через Богородицк и Куликово поле в какие-то центральные паломнические места на Воронеж. Был еще вроде бы третий намеченный ею путь – через Нару, Калугу, Жиздру, Оптину, Козельск, но думал он, вряд успеет он в эти сосновые леса.

Перед отъездом из Москве ему пришлось все же еще немного задержаться, чтобы получить, оформить разные визы – тут, действительно, она помогала на расстоянии через своих посредников, рассылавших его полуфилософские, фантастические короткие проекты, которые он писал впопыхах и которые, однако, находили почему-то иногда отклик в миру. Но в результате он опять не успевал, опаздывал за ней. Сразу по выезде из Москвы он получил длинное sms-сообщение и даже остановил машину, чтобы прочесть спокойно, хотя и волновался по-прежнему. Но оказалось, что сообщение было не от Iгу, а от ее тетки: «Знаю, что Ира была в Москве, но ко мне не заезжала. Где она?». Он сам не знал и не ответил.

Выбрал он второй путь. Двигался он по ее горячим, но уже остывающим следам. За рулем машины вспоминал он почти годичной давности сентябрь. Все, что было с ним и с ней, он воспроизводил в памяти много раз. Так что все эти видения приближались в своей законченности к личным шедеврам его памяти. Теперь он словно бы перешел на второй курс, но то был другой университет, «Не мои это, ее университеты, университет, – твердил он за рулем машины, – вот она на верху аудитории, на вершине лесистой горы, она подает мне сигнал, мне надо бы сломя голову бежать прочь, а я тянусь к ней». Никогда бы не подумал он раньше, что можно так беспрерывно проходить по одним и тем же дорогам сознания. Все, что она ему говорила, внушала зимой и весной, теперь превратилось в непрерывные мысли о ней самой. Он словно бы омывал своим внутренним взглядом ее обнаженный ночной контур, тот матовый контур египетской древней фигурки.

На юг из Москвы вело много путей, и куда устремилась Ira, было не ясно. Но он все же решил двигаться, потому что оставаться в неподвижности в Москве не было сил, к тому же он думал отыскать ее следы. Попросил он, вернее, просто взял машину у Ослика – доверенность на нее у него была, – сам Осли был где-то в далекой командировке, впрочем, скоро должен был вернуться в Москву. Но он не стал его дожидаться и просто послал короткое сообщение по электронной почте. Выехал он ясным и уже жарким предосенним днем, напутствуемый, словно бы осененный ночным сном, смутную истину которого пытался восстановить по фрагментам. Хотя логика сна ускользала. Вроде бы он вел машину, в которой рядом с ним сидела Ira. В реальности такое было лишь раз, когда они мчались на север в Архангельск. Но здесь он правил в неизвестном

направлении, тем не менее повинуясь едва заметным движениям Iry, которая только глазами указывала, куда надо стремиться. На выезде из огромного города – была ли это Москва, осталось неизвестно, – они попали в неслыханный затор, причем машины странно разбредались, и хотя двигались примерно в одном направлении, все же блуждали и рыскали, и удивительным образом сталкивались и прозрачно проникали друг сквозь друга, или как бывает во сне, тут присутствовала двойная и тройная логика – происходили взаимопротиворечащие друг другу в обычной жизни события. Поэтому он не удивлялся, видя где-то далеко слева прямой столб черного дыма. Что там было – столкновение? – он понять не мог, – все стремились вперед, – «может, это столб дыма от горящих покрышек?» – так он вспоминал фразу во сне. Все же ему каким-то способом удалось прижаться к самому правому краю, где течение потока машин было быстрее – быстрее только по отношению к середине – на самом деле они еле двигались. Но видел где-то вдали настоящую стремнину – там и без того широкое пространство расширялось, и машины вырывались на простор, – он видел все странным образом: и изнутри машины и как будто бы поднявшись вверх, – с высоты над всем стадом машин. Ira хранила какое-то совершенное спокойствие – он видел лишь ее профиль, – причем, как он ни пытался заглянуть к ней в глаза, – все равно он мог видеть ее лицо лишь сбоку. Они уже миновали выезд из Москвы – или то был другой условный город, – уже на последнем парапете справа видели сидящих молодых таджиков-сезонников, ожидающих, когда кто-нибудь их позовет на строительные работы, уже последний из них приветливо улыбнулся им в машину своими золотыми зубами, – и уже выходили они на простор, а им от основной трассы надо было свернуть почему-то направо, но им мешал необычайно длинный фургон, который двигался медленно, – пропускать его не имело смысла, и он решил его обогнать, медленно, гораздо медленней, чем это должно было бы в реальности происходить, справа проплывала надпись, которую они бы могли прочесть справа налево, могли бы прочесть, если бы оба повернули головы, но Ira сидела совершенно неподвижно, устремив глаза вперед, – вернее, лишь один ее прекрасный глаз он мог видеть, – уже медленно проплывала надпись на фургоне «Karlsberg», которую он читал в обратном порядке букв, уже он прочел «breg» или «greb» и начал заводить свою машину за оскалившуюся морду длиннейшей машины, когда вдруг увидел, как из-за нее справа неотвратимо летит откуда-то – невесть откуда – справа не было никакой полосы – огромная черная машина, – он даже разглядел, потому что времени не было измениться в выражении, – молодое лицо в дымных очках, – и понял, что именно сейчас в Iru придется удар, и он резко, хотя понимал, что уже бесполезно – влево отвернул руль, – он взглянул влево на миг, – когда он взглянул обратно вправо, то увидел, что Ira уносится совершенно непонятным образом вперед, – отделившись от машины, она опередила его, – он видел уже ее затылок, – черной машины уже не было – она исчезла, но Ira летела вперед, он не мог ее догнать, даже когда проснулся.

Все это странно отчетливо, хотя и по разрозненным частям всплыло, когда он правил машину по Симферопольскому шоссе строго на юг, стремясь быстрее достигнуть Серпухова. Предполагал он, что там она прежде всего устремится к знаменитой иконе, к образу «Неупиваемой чаши». И потом он сможет отыскать ее след в гостинице там, хотя вряд ли она надолго задержится. Некоторые ее забытые высказывания говорили ему сейчас, куда она могла устремиться дальше. Путь ее всегда вроде бы шел в русле известных, очевидных и даже банальных представлений – она не отрицала желоба общего потока, по которому двигались все, но вдруг она оказывалась в совершенно непредсказуемом месте или в нескольких местах – так ему иногда казалось – сразу. Все же думалось ему, что стремится она на юг в центральную Россию, где есть незаметные женские монастыри, – именно этим воздухом она, наверное, хотела вздохнуть, а другие города и веси с важными иконами, преданиями и легендами она хотела лишь миновать на своем пути. Поэтому ему казалось, что не будет она посещать Любовь рязанскую, – память ее, – тогда бы ему пришлось поворачивать от Серпухова налево, на восток, хотя, кто знает, может быть, она двинулась бы и туда в сознании невероятной важности своей незаметной миссии, но он должен был все же выбрать общее направление, а оно гадательно указывало ему в южную сторону вслед за ней. Вспомнилась

ему – или только помни́лась – давняя эта блаженная Любовь рязанская святая – тут явился ему и отрывок из жития ее, который он запомнил из записей Iry: «переехала в дом на улице Затинной... дух Любы горел, тело же было расслаблено» – святая та гадала по бумаге, разрезая бумагу ножницами и вырезая внятные ей образы. Сейчас его путь по карте тоже был словно бы волнообразный и гладкий, хотя и с неровными, но плавными контурами, которые определяла ее рука – рука Iry, и все же ему иногда казалось, что эти ножницы режут другую, мягкую речную волну.

Серпухов он миновал, не найдя следов Iry нигде, побывав у той иконы и пытаясь расспрашивать местных жителей. Дальше пошли живописные холмы, которые уводили левее, на юго-восток к Туле. Но он все же решил представить отчетливее ее возможный маршрут и остановился, чтобы взглянуть в очень подробный атлас средней полосы, который приобрел за небольшие деньги в магазине в Серпухове. Атлас говорил, что можно двигаться разными путями. Вряд ли она выбрала Мценск как промежуточный пункт, хотя исключить нельзя было ничего. Все же его взгляд устремился вправо, а мысленно он представил, что надо править машину влево, – где на карте за Тулой, ниже и южнее виделись Богородицк, Кимовск и Епифань – то есть один из предвиденных им маршрутов.

Почему-то почудилось ему, что не миновать ей тех мест, от которых к югу, в путанице бездорожья можно выбраться к краю Куликова поля, где в междуречьи тогда явился светлый женский образ. Глазами блуждал он по карте, по которой – он был уверен – скользил и ее взгляд, выбирая те названия, которые могли отозваться странно и в ней и повлечь к себе: река Розка, река Нугрь или истоки Оки. Там где речка Гоголь впадает в Красивую Мечу, он увидел, пересек речку Панику, не свернул, хотя хотел, с трассы на Грунин Воргол. Имена, женственные имена рек – он видел их положенными на эту землю, по которой он проходил, пролетал.

После Серпухова возникла и началась холмистая красивая дорога к Туле и дальше, еще дальше двигался он, когда началась свободная и ровная дорога на Богородицк. Не доезжая города, он проник на машине в сплошную рощу, которая шла несколько километров. Потом последовал поворот на угольный Кимовск. Затем путь на юг. Пролетел он небольшую памятную Епифань, хотел остановиться у музея купечеству, но не было времени, не было сил. Цели были сейчас совсем иные – он понимал, что безнадежно опаздывает за ней, что след давно уже простыл ее, но все же тешил себя надеждой, что не напрасно будет его путешествие такое, своего рода паломничество по тем местам, где она побывала, и тем самым сделала эти места такими значимыми и дорогими для него.

Дальше он попытался найти среди полевых дорог путь к Непрядве и Куликову полю. Позже лев-поэт попытался своими словами передать описанное им чувство, которое он испытал, стоя под ивами рядом с быстро текущей Непрядвой, слева за солнечным поворотом должен был обозначиться Дон, здесь было место впадения рядом с полем знаменитой битвы, хотя лев, конечно, многого не понял. Все символы, явление Богородицы незадолго перед решающим столкновением лев не смог понять не в силу своего неглубокого ума, но из-за отсутствия исторической глубины, поэтому то, что он передал, было чисто лирическим произведением, не лишенным, правда, дилетантских красот.

Как неправда в чистом свете тонет,
Пропадая в безымянном дне,
Как Непрядва исчезает в Доне,
Так ты растворяешься во мне.

Там скользя под бесконечной ивой,
Моя и лаская валуны,
Так на встречу с самой справедливой
Лучшие текут умы страны.

Плавниками проблестит Непрядва,
Не подозревая о своем
Воссоединеньи с близкой правдой
В водяной сливаясь окоем.

Двинулся он дальше на юг, но машина его стала странно терять скорость, он увидел в зеркальце, что сзади за ним зазмеился по шоссе по асфальту темный след, по-видимому, от вытекающей жидкости, и пришлось ему остановиться, дотянув все же до автостанции. Бросил он здесь сломанную машину, но добрые люди за хорошие деньги обещали починить ее и пригнать дальше на юг. Пришлось пересесть на местные поезда. При этом он увидел, наконец, многое словно бы своими глазами, но еще сильнее отставал он от опережавшей его Iry.

Понимал он, что после Лондона, когда она отказалась явить свое лицо, все сильнее влечется она к каким-то не светским уже женским духовным истокам. Поезд со станции Жданки в Богородицке шел на Ефремов, судя по всему, она немного его опережала, и сообщение, полученное им в полутьме вагона, звучало как приказ, почти слышимый невдалеке: «Пересаживайся на поезд Волово-Богоявленск». Уже в полной темноте, путаясь в ногах пассажиров, успел он выбежать на промежуточной станции Волово, но до поезда на Богоявленск надо было подождать, к счастью, немного. Однако в пути, когда они проехали уже километров сто, где-то посередине дороги объявили, что впереди оборваны провода или размыты пути и поезд не пойдет.

Стал он выяснять, как добраться дальше. Ему объяснили, что впереди товарный состав сошел с рельсов, так что на Богоявленск прямого пути сейчас нет. Правда, через некоторое время отправится другой поезд – в сторону, на Троекурово, а оттуда, повернув на Раненбург и там пересев, можно добраться до желанного пункта. Тут только он понял, что станция, на которой он сошел, называлась Лев Толстой.

Он сел в обещанный поезд на Троекурово, помня о дальнейшей цели. В предутренней полутьме кружились у него обрывки каких-то фраз, фрагменты какого-то диалога, может быть, Платонова: «Религия должна караться по закону... Это через почему ж это по закону-то? – встрял неизвестный человек, ранее рассказывавший о ценах на пшено в Саратове и Раненбурге». Могла ли Ira направиться тем же путем, что и он, он не знал. Да и что она могла искать в этих почти неизвестных путях и станциях? С Раненбургом было связано что-то, возможно, повлекшее ее сюда, но что, он вспомнить не мог. Все же какой-то молодой, почти юный женственный образ появился перед ним. Наверняка какая-то тайная знаменитость, подумал он с досадой, – нет, чтобы ей вызвать из этой темноты некое неизвестное ни ей, ни мне простое женское лицо. Мы бы умыли его нашим зрением, как это ни странно звучит, и пробудили бы. А то в который раз тасовать ту же самую колоду карт, где дамы стерты до неузнаваемости лиц. Никто их не воспринимает уже как когда-то живых и живших, они все перешли в разряд знаков, значений, весов и вряд ли станут живее от наших прикосновений.

Не у кого было спросить, куда же двигаться дальше, можно было бы написать Ire, но ответ бы не пришел, он был в этом – особенно после Лондона – уверен несомненно. Но ясно было, что на пути в Богоявленск она так или иначе должна была миновать Раненбург. В Троекурово он пересел на местный поезд и добрался все-таки до этой станции Раненбург, что в нынешнем Чаплыгине и находится у слияния двух рек, о которых он раньше никогда не слышал: Становая Ряса и Ягодная Ряса.

С Раненбургом было связано еще что-то для него и, по-видимому, и для нее, раз она решила проехать через этот пункт, важное, – какой-то молодой, почти юный образ туманным матовым яйцом представал, ему казалось, что он скорее его создает в памяти, чем вызывает оттуда, но что, сразу вспомнить не смог и стал искать на путях ассоциаций. Раненбург повлек далекий и вроде бы не связанный с ним далекий Ораниенбаум, как он сейчас зовется, кем он сейчас стал? Да, Ломоносов. И сразу же Холмогоры возникли. Меншиков – назвал Ораниенбаум и Раненбург, он был сюда сослан, а скончался уже в далекой сибирской ссылке. Меншиков в Березове, Кто был сослан

в Раненбург и скончался в Холмогорах? да она, Анна Леопольдовна. Здесь он понял, что угадал, но сколько не гадал, это женственный образ с несчастной судьбой не появился.

Треугольник этот замкнулся, мыслью он мог блуждать по треугольникам имен, неотделимых уже от земли. Попав в железнодорожный треугольник Троекурово-Раненбург-Астапово, он пытался понять, куда дальше двигаться, на станции Астапово левтолстовцы показали ему столетней давности карту на стене (музея), которая почти не отличалась от нынешней. Карту синеватых, словно бы узловатых дорог он сохранил в памяти, – то был рисунок, похожий на неповторимый рисунок вен на тыльной стороне руки, – и он вспоминал то, что он видел в млечной темноте и запомнил на руке Iгу, – те линии, которые можно увидеть везде, даже в метро, где руки держатся за поручни, при том, что сокровенные линии рук скрыты обычно от глаз. На обоях музея последнего пристанища Льва Толстого сохранился контур карандаша, когда кто-то обвел профиль лежащего на постели.

Поняв, что местный поезд №6666 Елец – Лев Толстой пришел, но обратный уже ушел, он стал прикидывать возможности, как двигаться на юг, было понятно, что Iга собирается достичь центров женской религиозности здесь, в самой сердцевине страны. Двинется она через Богоявленск на юг через станции Иловай – Хоботы – Кочетовка и дальше через Мичуринск на Усмань, но не минует, конечно, Елец, где, по преданию, явился когда-то образ Богоматери перед Тамерланом и остановил его поход на Москву.

Дальше маршрут Iгу, по-видимому, шел по нынешним действующим женским монастырям. Три монастыря он прошел один за одним этим днем. Богородице-Тихоновский Тюнинский женский, Свято-Троицкий Тихоновский женский, Свято-Тихоновский Преображенский. Преображенский женский монастырь самый главный, расположенный в лесу, в месте, которое все называли Скитом, был первым на его пути. Недавно возник он, говорили, что некий монах Петр (Кучер) после событий перестройки привел за собой послушниц, и, о диво, высшее духовенство разрешило здесь – у лесного источника – основать женский монастырь. Однако поставило во главе его свою настоятельницу Дорофею, которая со временем неизбежно стала ссориться с Петром, и тот увел за собой половину послушниц. Однако настоятельница была через несколько лет заменена на новую, ибо Дорофея отказалась вместе с частью послушниц участвовать в переписи населения. Под руководством настоятельницы монахини Дорофеи велась строительная деятельность, чему немало, по всей видимости, способствовало то обстоятельство, что матушка Дорофея в миру получила высшее строительное образование. Говорили, что даже патриарх посетил сию лесную обитель в самом конце двадцатого века. Потом матушка Дорофея была награждена званием игумении. Настоятельнице вручен был также жезл в ознаменование успешности в управлении вверенными ее попечению сестрами. Но затем в Свято-Тихоновском Преображенском монастыре вновь случились нестроения внутри общины. Игумения Дорофея, не выполнив благословения правящего архиерея, уклонилась от участия во Всероссийской переписи населения сама и увлекла за собой часть сестер. Игумения Дорофея (Ермачкова) была освобождена от должности настоятельницы. Настоятельницей была утверждена монахиня Зинона (Деева), бывшая до того старшей над сестрами обители.

Сейчас эти бурные события лет становления остались отчасти, по-видимому, в прошлом, и его взгляду, когда он, пройдя мимо нескольких тракторов и комбайнов на краю дороги, вошел в монастырские ворота, предстал возделанный сад. С непрерывно поливаемыми из леек монахинями клумбами ярких и неописуемо разнообразных цветов, с голубыми елями и глубокими тенями от этих голубых елей. Монастырский же огород, как он понял, был вне каменной ограды рядом с теми тракторами, которые он уже видел. Iга несомненно была в монастыре, – это он выяснил, поговорив с несколькими послушницами и монахинями, хотел поговорить и с настоятельницей, но она была сейчас занята с важной гостьей. Стоял он во внутреннем приделе главного храма. Бабочка павлиний глаз, раскинув крылья неподвижно, трепетала, но не взлетала пока на полу у бокового входа.

Дальше двинулся он и посетил другие места. Побывал и у «матушек странноприимниц». Там, где был создан тихоновский дом сестер милосердия. История этого приюта ему тоже стала известна. Не понимал он, почему углубился в монастырские подробности, изучая здешние документы и книги, но казалось ему, что в такой пристальности следует за Irinym нынешним внимательным взором. Не утвердили Белокопытову, и руководительницами стали Поволяева и Журавлева. Однако «нестроения» среди сестер по-прежнему продолжались, на освободившееся место из Воронежа была тут же направлена рясофорная послушница Воронежского Покровского женского монастыря Порфирия (Алисова).

Странная мысль посетила его и захолонула даже: не собирается ли Ira остаться в одном из женских монастырей, здесь, в самой глубине страны, правда, он тогда бы несомненно догнал ее, но точно уж не достиг.

В числе тех, кто пожертвовал землю этой Тихоновской женской общине с странноприимным при ней доме, назывались мещане Кирилл и Марфа Добычины, протоирей Петр Алексеевский, вдова иностранца Мария Бремель и надворная советница Вера Акатова. Прочитал он затем в уставе: «странноприимный дом для успокоения трудов в пути, или же для врачевания недугов душевных и телесных, лица женского пола принимаются в странноприимный дом из всех сословий, по предварительном испытании, не моложе 20 лет». Затем он прочел ходатайство о возведении Тихоновской общины в общежительный монастырь. Затем по докладу Св. Синода Тихоновская община была возведена в Свято-Троицкий Тихоновский женский монастырь со странноприимным при нем доме. Монашествующих в монастыре тогда насчитывалось 26, послушниц 118. Позже в монастыре числилось 50 монахинь, 54 послушницы по указу и 79 живущих на испытании, а всего – 183. Потом в 1921 году по решению местного уездного исполкома здание скорбященского храма передали под столовую и клуб уженотдела.

Так он вчитывался в незнакомые женские судьбы, но прервал его как раз за чтением звонок мобильного – это пригнали его исправленную машину, и она ждала уже его неподалеку. Оторвался он от чтения даже с некоторым сожалением, но надо было наверстывать отставание, и он устремился за Iroi опять.

Через Синие Липяги, свернув с трассы Воронеж – Курск, достиг он Старой Потудани и через боковое шоссе ринулся на Старый Оскол (свернув с трассы Воронеж –Курск, через Синие Липяги и Сухую Потудань, достиг он Старого Оскола) и дальше еще на Новый Оскол – так она ему указала и еще дальше почти добрался до пограничной реки, – он знал, что за рекою Украина, знал он, что для него сейчас недостижима она.

Наутро из Старого Оскола направился он через Губкин на запад, куда двигалась Ira. В курской области он шел по ее остывшим (остывающим ее) следам, к вечеру добрался почти до границы с Украиной. Проехал Коренево, Глушково и Теткино. Там, где течет Сейм, он остановился. За рекою виднелась дорога, идущая вдоль воды, уходящая, как почему-то он подумал, на Глухов.

Слышалась вечерняя песня из-за реки, что-то несомненно популярное и знакомое ему, но слов было не разобрать, и музыка звучала смутно, но ему слышалось что-то свое, другое, послышавшееся словно бы из-за своей далекой реки памяти, откуда-то из самых сокровенных недр, о чем он и думать забыл:

Гаю, гаю, темний гаю,
Тихенький Дунаю!
Ой у га погуляю,
В Дуна скупаюсь.
В зеленому баговинні
Трохи одпочину...
Та, може, ще хоч каліку
Приведу дитину...

Не вспомнил он, откуда это ему послышалось, из какой давней, но, несомненно, его памяти, и почему Дунай возник, если он его давно миновал.

Знал он, что Ira недостижима сейчас, ушла, улетела она далеко на юг, опередив его намного. Слышал он потом, что полетела она в Киев и затем в Стамбул, затем на Кипр и в Иерусалим, и к горе Синай к мощам святой Екатерины, а дальше совсем уж в далекие страны, в Аддис-Абебу и дальше, кажется, в Дурбан.

Но написала ему, что может он ее увидеть, что ждет его в Австралии.

Не было сил, деньги подходили к концу, хотя она ему что-то ссужала со своего потайного счета. Видимо, решила она направиться на Восток, туда, где женские образы еще не захвачены западным равнодушным или агрессивным сознанием. Не сомневался он в этом, помня многие ее слова.

В темноватой гостинице, вечером, тогда в Старом Осколе он развернул страницы ее записей – смутные копии ксероксов, что когда-то он сделал по ее просьбе, и они сохранились, хотя сероголубой оригинал он отдал в ее руки. Записей, посвященных привычным ее мыслям и образам женственности. Среди них натолкнулся на что-то несомненно восточное, были там и такие слова о женских божествах: «На Западе ими могут восхищаться или любить, здесь мы им принадлежим».

17.

Промелькнуло как-то почти мгновенно в его глазах Южное полушарие, оставив в глазах цветной смазанный след, и он обнаружил себя вновь, лишь оказавшись в Азии.

Что она стремится именно в Калькутту, стало ему понятно не сразу, потому что вначале она миновала Ауровиль – как он понимал – это собрание земных хижин, а город, возвышенный дворец духа, существовал там на высотах воображения, хотела она поговорить с последовательницами Матери – сподвижницы Ауробиндо и основательницы города Ауровиля, но неизвестно, удалось ли. Но она прислала ему sms с указанием литературного источника, в который он должен был проникнуть и, по-видимому, отозваться, но он предпочел письменному упражнению, которое она ему задала, просто прочтение и погружение в сон, который отозвался сновидением о бдении в аудитории, переходящем в коллективную молитву.

Пожалуй, не было еще от нее столь ясного и прямого указания на столь несомненный и правдивый текст, подтвержденный многими свидетельствами в письменной речи. Причем указанные Iroi тексты начинались не с Рамакришны и Вивекананды, а именно с более поздних прозрений Ауробиндо. Тексты, правда, были напечатаны с опечатками, так что не совсем внушали доверие. Там говорилось, что в 1905 году Шри Ауробиндо пережил живое присутствие богини Кали в храме на берегу Нарайады. «Сама работа выполняется Кали-Богом, выстукивающим, как Шакти», – писал Ауробиндо.

Вспомнился почему-то опять Владимир Соловьев с его видением Софии Египетской, что стало одной из причин, почему он вдруг принял Анну Шмидт за одно из Софийных земных воплощений, – было это, вероятно, на миг, лишь на миг, – во время их встречи во Владимире.

Но дальше шел текст, который, по-видимому, искаженно, назывался «Рамакришна. Танцующая Кали». Там говорилось (источник был то ли анонимен, то ли очевиден тому, кто приводил отрывки): «Рамакришна убедил Сараду Деви в том, что она была не только матерью его молодых учеников, но также всего человечества». О ком шла речь, было все же не совсем понятно. Дальше шли такие слова: «Рамакришна практиковал ислам со всеми его методами... Он перестал ходить в храм Кали, храм своей Божественной Матери... Он не мог читать. Он позвал человека, чтобы тот каждый день читал ему Библию. И на этой основе он стал медитировать, творя молитву Христу. Однажды сидя перед изображением Мадонны с Младенцем и концентрируясь на нем, он увидел, что картина ожила. У него было видение Матери и Божественного Дитя. Рамакришна пришел к выводу, что все пути ведут к Богу. Рамакришна решил: если нет видения Матери, тогда и нет смысла жить. Он выхватил меч, находившийся у изваяния Матери, и попытался перерезать себе

горло. Немедленно появилась Божественная Мать и схватила его за руку. Рамакришна сам рассказывал об этом: “какие-то волны света нахлынули на меня и охватили со всех сторон, я потерял сознание и оставался без сознания долгое время”. Таков был его первый опыт Божественной Матери. После этого Мать стала играть с ним. Иногда Она появлялась и опять исчезала. Она играла с ним, как со своим ребенком». Прочтя все это, он, как и ожидал, погрузился в самолете в сон. Он видел себя, сидящего на задней парте аудитории, среди множества студентов и студенток. Лицо преподавателя за дальностью он видел неясно. Может быть, то была женщина. Вдруг эта преподавательница отложила бумаги, по которым она что-то монотонно читала, сложила руки и все сразу как-то всколыхнулись, так что легкий ветер – он почувствовал освежающий ветерок буквально, что редко бывает во сне – прошел по аудитории, все слушательницы и слушатели сложили руки у груди, наклонили головы и стали в такт откуда-то появившейся музыке стали читать какие-то молитвенные слова, причем ему казалось, что это какое-то католическое незнакомое совсем песнопение, где повторяющиеся слова «Аминь, аминь» перекликались со словом «Domine», он единственный из всех, кто не крестился, потому что все делали движение слева направо, а он внутренне сопротивлялся и хотел сделать движение справа налево, но словно бы упал в глубокий провал и очнулся – это самолет – он не сразу понял, провалился в глубокую воздушную яму перед посадкой в Калькутте.

«Ramakrishna Mission» – значилось в ее послании. Расспросил он служителей в аэропорту, поговорил с местными жителями и быстро понял, что слова означают отнюдь не послание или задание извне, а вполне определенное здание в центре Калькутты, где, по-видимому, и могла ожидать его Ira.

Миновали они уже на автобусе множество домов, здания университета с темными потеками на светлых стенах – вероятно, неистребимые следы воды в периоды ливней, – тут кто-то сказал на промелькнувшее за окном низкорослые белые здания «Мать Тереза», и он понял, что, наверное, – там ее миссия. Но они пронеслись мимо.

В номере «Ramakrishna Mission», который ему отвели, он выпил воды из привезенной с собой бутылки – строго-настрого было наказано даже зубы не чистить водою из-под крана, – запахнул голубую противомоскитную сетку на деревянной раме кровати, увидел за косо решетчатым окном в переулке лежащую корову и исчез во сне.

Наутро выйдя в замкнутой двор миссии – напоминавший форт или закрытую со всех сторон крепость, – выходя и за шлагбаум охраняемых ворот, он пытался выяснить, где Ira, но никто ничего не знал, однако то, что его беспрекословно приняли, говорило о том, что она несомненно была здесь.

Можно было ждать, но хотел все же пойти на поиски. Но выглянув в переулок и увидев ту же, лежащую на асфальте задом к нему корову, он почувствовал некоторую робость. Чтобы решиться на что-то, он открыл здесь же в переулке присланные ею записи и прочел среди множества строк английские стихи Вивекананды, обращенные несомненно к богине Кали:

Who dares misery love,
And hug the form of Death.
Dance in Destruction’s dance,
To him the Mother comes.

О чем здесь, подумал он: «Кто вызывает несчастья любовь?»

Почему-то эти напряженные, вдохновенные и даже страшные строки странно развеселили его – почувствовал он себя совсем другим, не тем, о ком говорилось в этой строфе, и с этой легкостью в горле, которая заставляла его что-то неясное, но привычное петь, он вышел из ворот «Миссии Рамакришны».

Тогда-то, по-видимому, впервые прозвучало для него слово «Формоза», – сам он не знал, откуда оно родилось, может быть, потому что услышал он в стихотворении слово «form», или по-

тому что непрерывно блуждая в своем сознании, как по незнакомому городу, он в который уж раз раздумывал о материи и форме, и о том, какие немыслимые формы принимает его стремление к ней, к Ire. Не имело это название ни к чему никакого отношения, да и с трудом вспомнил он, что оно значит, но если он шел приблизительно по тем путям, которые прокладывала она, то путь ее был обозначен. Не сомневался он, как во всем случайном на своем пути, что случайный найденный камешек или ножичек пригодятся в его дороге.

Прошел он калькуттские дворы поблизости – так похожие на прежние московские, – если бы не торчали бы пучки низкорослых пальм, – он решил направиться к ближайшей станции метро – ему казалось, что не миновать ему ритуала погружения в землю в любой незнакомой стране. Станция, правда, оказалась еще закрытой – было утро выходного дня, и он подождал некоторое время, пока служитель не подошел, не снял тяжелый замок и не поднял полукруглую железную кулису, как на витрине магазина. Здесь был небольшой какой-то домашний ход под землю, и он даже попятился вначале назад, увидев столь узкий вход в привычно торжественное подземное пространство. Конечно, он хотел проехать ближе к центру к центру королевы Виктории, чтобы оттуда взять такси и двигаться в пригород, к святилищам на берегу Ганга, которые не могла миновать Ira.

Он понимал, что в места Рамакришны и Вивекананды она двинется несомненно, но не добраться туда на велорикше, на наемном скутере не доедешь, придется либо войти в железные автобусы без стеклянных окон, а с решетками, потому что жары не выдержал бы никто, как в Калькуттской яме, – припомнил он что-то историческое, либо брать такси, которое могло стоить немыслимых, конечно, денег.

Он оказался в садах Калькутты, среди всех религий, пришедших сюда. «O great great Mother – so great that all this big world is her Baby». Слова эти из серой папки он прочел среди других на единственной линии калькуттского метро. Не случайно, конечно, Ira делала эти выписки о богине из анонимного произведения «The Story of Kali», но сейчас, выйдя на поверхность земли, он видел перед собой огромный купол с вращающейся женской окрыленной фигурой на вершине. Наверное, то была сама богиня победы, – олицетворение королевы, которая полагала себя без сомнения матерью этой земли. Никакого сомнения не было, что сейчас это не культовая фигура, но декоративная деталь, но она странно вписывалась в площади Калькутты, где сикхи, индуисты, буддисты, православные, иудеи и мусульмане находились на одной территории. В магазине на него смотрели устрашающие образы богини Кали. Но он смотрел только в строки, написанные ее рукой. «God is playing with Her world, and She shuts Her eyes».

Да, – подумал он, – здесь она, конечно, действует так, как записано в этих строках неизвестной поэмы: «Remember, little one, if any need anything you can give, your Mother is calling you to find Her!». Но где ее обнаружить? Везде, стало быть нигде. То, чем он занимался последнее время, когда Ira непрерывно играла в прятки с ним.

Процессии студенток прошли по парку с непонятными лозунгами, дети обвивали его ноги, прося о подаянии, но что он мог им дать, нищие выбирались утром из своих небольших ниш из стен, и все безумно цвело во все стороны, «Майя», – смог он лишь прошептать женственное имя, означавшее ничто.

И потом на такси через сорокоградусную жару, так что нигде не было видно ни одной фигуры, ни облачка, он заметил, пронесшись, на каменном на мосту, на асфальте пятно женщины, укрывшейся от жары одеждой и прикрывшей с головой ребенка, словно эти нищие хотели закрыть глаза и скрыться от их богини.

Дальше можно было не смотреть: из-за ослепляющего солнца, – исчерна-высохший нищий на крыше киоска, красная одинокая свастика на стене храма богини Кали, человек, отвернувшийся и мочащийся в тени у глухой стены, воды Ганга, в которые он не решился сойти, и он видел, что и рядом с сидящим в позе лотоса Вивекананды ее нет. Здесь в Темпл-Гарден в Дукинешваре учительствовал Рамакришна, не знавший имени «Я», но говоривший обычно «Моя святая Мать».

Вспомнил он почему-то обрывок слов Igy, на которые она расщедрилась в своем письме из Африке, где он не был, – она написала ему, и он представил сейчас пальмы над капустными грядами на берегу древнего Нила, вспомнил он их, глядя на воду Ганга, где правил длинною лодкой голый гребец, помогая веслу темной ногой.

18.

Дальше было очень много дорог, выбрать она могла любую, и он не думал, что она остановится и осядет в Индии, путь ее, вероятно, лежал в китайскую сторону.

Словно гонг во сне прозвучало это слово «Гонконг».

От Калькутты до Гонконга на самолете было по его представлениям не больше времени, чем на местном поезде от Волово до Богоявленска. Но тогда ему пришлось сойти на промежуточной станции Лев Толстой, чтобы потом вслед за ее прихотливым путем, запутавшись, кружиться в треугольнике станций Троекурово, Раненбург и опять Лев Толстой, Астапово тож.

Получив от нее однословное сообщение «Гонконг» после короткого звоночка телефона, он даже обрадовался, потому что в этом новом ее указании почудилось что-то светлое – лететь на восток от темной Калькутты. Сейчас уже в ночном самолете Калькутта-Гонконг он погрузился хотя и в тяжкий, но просветленный мыслью сон. Тяжкий не потому, что он воспринимал сновидения как тяжелую работу, а потому что очень устал. Он привык уже почти сразу засыпать на перекладных в этих полетах и воспринимал перерывы в воздухе – между бегом по земле – скорей как отдохновение, но усталость была слишком велика.

Перед тем, как перейти в самолетный сон, он прошел сквозь ряд видений и звуковых образов, и само слово «Гонконг» отдалось последним отзвуком гонга, который словно прощально дарил Ганг, и он вспомнил тот мощный незримый и смутный шум реки, и более, чем шум, этот гул, который, может быть, можно было назвать даже стоном, идущим из реки, от Ганга, который он различил тогда в сумерках за стеною святилища Рамакришны или Вивекананды, он не запомнил.

Сейчас в самолетном сне погрузился он почему-то в какое-то детское свое воспоминание, – словно эта мимолетная музыка от тяжести удара «Ганг» переходила во что-то легкое, детское колокольчиком «Гонконг». Дальше он не знал уже, наяву ли он вспоминал, или сном своим звал кого-то другого, иного, иного мальчика, дошкольника – этот звоночек тихий – дошкольный, не школьный еще звонок, – через тот ли фарфоровый колокольчик двери, – вдруг так печально прозвенел о несовершившемся, и о том, что совершилось в его жизни единственный раз, и в несомненной единственности он не усомнился, но повторение этого сейчас вдруг вывело в такое смятение – он ведь не создал что-то важное, нет, не то, что он ничего не создал, об этом созданном им он сейчас не помнил, словно бы то была не его заслуга, но он отклонился от множественности путей в своей жизни – нет, не от раздвоенности, но от полноты, – понимаете ли вы? – даже произнес он про себя, – то, что он не смог броситься по иному пути в жизни.

Он вдруг – даже не подумал, а ясно представил, что тогда, дошкольником он совсем по-другому смотрел на свой будущий взрослый мир, так же его идеализируя, как взрослый человек идеализирует свое детство, но все же это было по-другому, потому что это была мечта о несовершившемся, а взрослый мечтает о детстве – часто внушенно – как о потерянном рае, совершенно забыв о взгляде ребенка в свое будущее.

Он вспомнил вдруг и свою детскую влюбленность, вернее, словно бы очертание чувства, светящийся контур и силуэт лица девочки и ее фигуры, хотя саму ее вспомнить не мог. Детское время постоянной влюбленности, ему было тогда, по-видимому, пять лет. После обеда его водили в группу на два часа, вместе с братом, переводили через самую шумную и быстротекущую улицу города, вводили под арку в иной огромный двор. А потом приходила мама и забирала его и вела на урок музыки к учительнице. И он временно забывал о своей влюбленности – к девочке, к которой, кажется, ни разу не приблизился и не сказал ни слова, – точнее, не забывал, а переносил светящийся контур на любые предметы – на белые страницы с нотами. В тот вечер он расстался

опять на расстоянии с той девочкой, он был взрослее ее, а она несколько младше, и он нисходил словно бы, чтобы играть, но не с ней, а в отдаленьи – потому что он не решался к ней подойти – вернее, он понимал, что опасается разрушить образ – тот контур влюбленности, который был в нем, но сиял словно бы вне его. В тот вечер, когда они проходили по сырому песку или асфальту, на него из полутьмы налетела взрослая уже девочка – хотя всего-то ей было лет десять – она, по-видимому, играла в прятки и бежала, чтобы опередить водящую и выручиться. Сбитый на землю, он сразу почувствовал сильную острую боль в руке, в самом верху, где рука уходит в плечо и еще выше. Встать он не мог, ему помогли, и он, старчески согбенный, пошел с мамой под арку во мрак на ночную улицу с огнями. Про музыку в тот вечер пришлось забыть, но когда потом он видел гипс руки, то контур влюбленности с какой-то желтоватой каймой, пахнущий, как мазь под бинтом, на мгновенье появился. Была сломана ключица, и сейчас в этом индийском самолете, подозрительно закопченном, который он видел на взлетной полосе, он вспомнил почему-то, что волшебному царю обезьян Сунь Укуну сломали ключицу, чтобы тот не мог ни в кого превращаться. Тогда та взрослая девочка из темноты играла в прятки и бежала со всех ног, не видя никого и его не заметив.

Образ обезьяны появился вроде бы случайно, но он подумал, что внушен он не столько самой ситуацией, сколько инспирирован Iroi, свое движение сейчас он невольно назвал путешествием на восток, а сейчас всплыло классическое название «Путешествие на Запад», так что осталось ждать-ожидать, когда появится богиня Гуаньинь.

Собственно, это было целью той, по чьим следам он сейчас летел над облаками, достичь владений властительной китайской богини милосердия – Гуаньинь. Почему ее потянуло именно в Гонконг, он не очень понимал, вероятно, там был лишь начальный пункт ее устремлений. Взяв такси, он направился по холмам на полуостров без определенного направления, но вмиг пришло ее письмо «Univers.», забеспокоился он и тут же спросил таксиста, благо тот свободно говорил по-английски, но тот не понял, о каком именно университете идет речь? И предложил вначале направиться в новый на берегу океана почти за городом. Мелькали столбы и эстакады, от ячеек, сот, окошек, черных кондиционеров на них рябило в глазах, когда пришло от нее сообщение «My lecture at 15:00». Надо было понимать, что у нее какое-то публичное выступление в университете, но пока они расспрашивали дорогу, пока выезжали на загородное шоссе, время начала выступления видимо миновало. Такси затормозило у поворотного круга – дальше без специального пропуска было нельзя. Он выбежал на взгорье, перед ним расстилался огромный океан, вокруг на склонах в глубоких лощинах были университетские здания, но в котором из них могла быть она, было совершенно непонятно. Под сводами на площадке, куда были входы со многих факультетов, бросился он в одни раздвижные двери, в другие, наконец в третьих увидел на стене ее лицо. Давно он не видал ее изображения, но поразила его надпись, гласившая, что российский профессор представит свой проект будущего мироустройства «New Forms of the World». Не то его поразило, что мысль, запечатленная в названии, почти совпадала с тем, что он преподносил ей, – это его даже втайне обрадовало, хотя ученица совершенно заслонила своей тенью своего учителя, не оставив для него даже щели в огромном мире, но то, что он с некоторым содроганием понял, что именно в такой же сентябрьский день, почти час в час, если учесть шестичасовой сдвиг по времени, он читал год назад Ire то, что она собиралась прочесть сейчас, и хотела, чтобы он тоже был среди слушателей и студентов.

Прочел он под объявлением и анонс ее будущей лекции, мысленно быстро и неуклюже переведя на русский одну из пышных фраз: «Но если ты не прошел еще раз, не повторил то, что ты совершил, то тебя как будто и нет – ты растворился в мире, – только если ты станешь воплощенной памятью, ты утвердишься в бытии».

Бросился он вверх по эскалаторам и лестницам, но запутался, заплутал в коридорах, вспомнив многоходовые пространства годовой (он произнес про себя «годовалой») почти давности женских курсов, и когда нашел и вбежал в нужную аудиторию, то увидел, что в огромном амфитеатре никого уже нет, он нашел на полу лишь несколько листовок с ее изображением. Он сел на

ступеньке аудитории, спускающейся вниз, и попытался представить образ ее за кафедрой, как ни странно, это ему не удалось, все время сознание подставляло образ нервного бородатого профессора, который, казалось, быстротой своих ужимок хотел что-то скрыть от слушателей, понял он, что пародирует на университетской сцене сам себя. Да и показалось ему, что он заболевает, бессонные ночные часы в продуваемом ветром вентиляторов самолете сказались, к тому же болели глаза. Не было сил за ней сейчас уже бежать, хотя она была, несомненно, где-то рядом.

Он поднял листовку: на него смотрели ее фотографически огромные глаза, ниже в нескольких строках говорилось о преобразовании мира женским началом и новом возрождении духа, где мужское и женское перестанут бороться за первенство.

«До этого еще далеко, – подумал он, – вот ведь насколько она меня опередила, даже если я ее обгоню, то вынужден буду вернуться назад и начать все снова».

«Макао», – гласила новая ее загадка на телефонном экране, он совершенно не понял, о чем идет речь, приближался вечер, тем более он чувствовал сильный озноб, несмотря на жару, и не было сил что-то соображать. Можно будет спросить таксиста, – это последняя и, по-видимому, оправданная надежда. Тем более, что ему встретилась женщина-таксист. Ее имя значилось на карточке, и рядом с быстро бегущей строкой денежных цифр он увидел англо-китайское имя Сильвия Лань. «Макао?» – она долго пыталась понять его произношение и переспрашивала, и наконец кивнула куда-то далеко вправо от островов, наполненных небоскребами. Это, как он понял, было за морем, и испугался, но потом разобрал, что лишь за заливом.

Паром отходил на Макао вечером, а он сидел, дрожа, в машине, не понимая уже ничего. «Госпиталь святой Терезы», – произнесла Сильвия. «Я подожду вас у гостиницы», – сказала она. Он вошел в освещенный подъезд, открытый для всех, кто был в марлевых масках, и почувствовал вдруг, что дальше уходит в глубину мира.

Он вошел туда и затем незаметно вышел – он не знал, сколько может стоить лечение, что могло истощить его последние средства. Он стоял в вестибюле, с удивлением глядя на поток людей здесь даже в этот выходной день, он сделал несколько шагов вперед, потом обратно: среди входящих уже немало было в масках, но дальше сидела девушка, выдававшая голубовато-зеленоватые маски буквально всем. «Вы находитесь в центре зоны птичьего поветрия», – перевел он надпись по-английски. Не поверил он, что он подхватил птичий грипп, но озноб все же, и без того ощутимый, усилился. Заболеть, остаться здесь, в этом госпитале, выйти, когда ее след, и так едва уловимый, совсем простынет, – думал быстро он. Он вернулся обратно к такси и отдал девушке нужную сумму гонкогских долларов. «Я выключила счетчик, – сказала Сильвия, – я довезу вас до ближайшей гостиницы, – вечерний паром все равно уже ушел на Макао». Они проехали несколько кварталов. «Я вас подожду здесь», – сказала она. Он выбрал самый дешевый номер в отеле, название которого он перевел «У бухты», и вернулся обратно. «Все же вам надо в госпиталь», – сказала Сильвия Лань, – глядя ему в глаза (вернее, на его глаза). Он чувствовал, что еще немного, и он согласится. Поехать в госпиталь с ней, потом с ней в гостиницу, затем остаться, подхватить действительно птичье это поветрие, заболеть надолго, и через полгода обрести английское имя и китайскую фамилию. «Спасибо», – прошептал он ласково, глядя в ее огромные, суженные только у самых уголков китайские черные глаза. И скользнул в ближний переулок. Чувствуя, как поднимается температура, как болят и слипаются, но не от сна, глаза. Путь он примерно запомнил, но пересекая чередующиеся английские и китайские имена улиц, все же спрашивал дорогу. Видя вечнозеленые – только вечнозеленые согбенные старые деревья, похожие на карагач. Стало ему казаться, что он попал в какой-то зазор между именем данным английским, и семейным глубинным китайским, и не может выбраться из этого темного переулка. На самом деле он стоял вместе с другими у светофора, хотя машин не было видно вокруг. Он оглянулся, огромный вечнозеленый лист незнакомого дерева был почти у самого его лица. Тронутый ржавчиной уже с одной стороны и даже с отверстием посередине, этот лист был затерян среди других, но он вглядывался в его грубоватые прожилки и линии, расходящиеся и видимые на просвет фонарей. Он пропустил зеленый свет перехода, все вокруг ушли от него, и опять горел зеленый свет, а он все вглядывался

в незнакомый лист, который еще не отпал от вечнозеленого древа своего и сам еще был вечнозеленым. Выгнутый, он был похож на лодку, слегка выдолбленную посредине, он был один и был неповторимый. Здесь он почувствовал сильнее то, что раньше мимолетно ощутил, – он уходил вместе с взглядом все дальше в глубину незнакомого мира, – этот лист расширялся к своему концу, как огромная капля, и плавно переходил в воздух, но граница была несомненна. «Вот граница листа», – но что она означает, что описывает это неописуемое место? Нелепое стояние здесь, у этого листа, ему самому стало казаться странным, хотя никто не обращал на него внимания. Восемь смен людей сменилось у светофора, а он все стоял, как будто пригвожденный взглядом этого листа, который и не смотрел на него, – у этого места. Не сойти, видно, мне с этого места, хотя проживу я здесь столько, сколько вечнозеленый лист, похожий на лист табака, но совсем другой, незнакомый, но я его запомнил и погрузил в себя. Как карту неизвестного острова, который уже не потонет. Очертание ржавчины, эта кайма, неповторимый, неизвестный совершенно в родной стране цвет, эта грубость контура, переходящая в плавность окончания округлого контура, и это отверстие малое посредине.

Все же он оторвался потом и двинулся дальше, хотя ему казалось, что он видит людей иными и вообще видит иных людей вокруг, которых раньше бы не разглядел. Вот прошел молодой человек, в очках, по-видимому, студент, он перебирал что-то на клавиатуре ноутбука, который был подвешен у него на груди на тонкой лямке. Он был бы похож на гусляра, – подумал он, если бы не голубоватая маска, закрывавшая нижнюю часть лица. Но он тихо, почти неслышимо что-то играл для других. Музыка тихая текла от его груди, он не был в наушниках, как почти все молодые люди вокруг. Можно было подумать, что он играл на своем компьютере на груди для других. Но никто, казалось, его не слышал, хотя музыка все же не исчезала совсем.

Все дальше ему казалось, что он сам как будто не только помогает окружающему миру, но сам его создает. Пройдя по большой улице Mok Cheong и затем по тихой Sung Wong Toi Road, он достиг Argyl Street и наконец Prince Edward Road. Но даже он поразился своему воображению, когда вошел в этот бессонный непрерывный госпиталь Св. Терезы. Мгновенно надели на него черный рукав, через секунду определив температуру и давление. Офтальмолог сразу определил его глазную болезнь, и он не мог уже уследить за грудой лекарств, которые ему пришлось сразу же выпить. Но тем самым он избавлялся от необходимости лежать в гостинице, теряя совместно деньги и время. Наутро глаза его раскрылись в буквальном смысле.

Он отправился в порт на первый же паром, чтобы, хотя и почти безнадежно, плыть за нею в Макао. То было действительно краткое путешествие на Запад через пролив. Всего-то морских миль сорок, пятьдесят, не больше. Ночью он лежал, сомкнув глаза, потому что не мог их разлепить из-за внезапной болезни, но не спал. Сейчас в колыбельном укачивании на волнах он, наконец, мог по-настоящему закрыть глаза и заснуть, увидев только, как светло-зеленые волны закрывают быстро и плавно уходящие за иллюминаторами последние темно-зеленые острова Гонконга. Он загадал, какой сон хотел бы увидеть, но спал весь путь без сновидений. Очнулся он, когда его корабль медленно входил в огромную бухту незнакомого города-страны, которая сама была теперь частью Китая, а не Португалии, как раньше. Он подумал, что загаданный сон появился в другом обличьи наяву, – в совершенно другом, каком-то по-птичьи пестром, сверкающем и незнакомо-зловещем облаченьи.

Небоскребы и башни стояли на холмах среди множества разновысоких домов, среди которых фантастическими цветами вырастали лепестки сиявших несомненных золоченых дворцов. Он вспомнил, что Макао чуть ли не первый или второй мировой игорный центр. Мелькнул железный резной петушок на вершине башенки виллы-казино. На набережной, куда они сошли, он увидел лишь солнце над ослепительно-ровным заливом и ввинтившуюся в небо женоподобную медную, сияющую солнечным дождем статую. Что-то стало проясняться в его выздоравливающей голове и глазах. Несомненно, это была ее короткая цель на полуострове. Кто это был, он еще не знал, но по мере продвижения к статуе он стал ее постепенно узнавать.

На расстоянии в своей угрожающей мощи, она по мере приближения все сильнее являла свое доброе и, несмотря на мощь, милосердное и всепроникающее лицо. Он не решался поверить, что это была она, потому что современные контуры статуи превращали ее на глазах то в вихрь, то в сверток, свиток или расплав безумно сверкающего под солнцем и, кажется, самим солнцем металла. Он обошел ее вокруг и мысленно даже запечатлел внутри себя несколькими мгновенными снимками, прежде чем войти в ее стеклянное подножье.

Это была несомненно она, хотя имя ее не было записано нигде вокруг в сияющем воздухе – богиня, бодхисатва, бодисатва Гуаньинь. Внутри нее, в ее подножье, в стеклянном пространстве он видел море вокруг через стекло. Наверх, выше внутри богини вели лестницы и пандусы, но путь туда был, возможно, закрыт, да и не подумал он подниматься, потому что увидел книгу среди других, лежащих здесь. «Читай», – он расслышал голос Iry, хотя и не думал, что он сам может создать все вокруг здесь, – он не такое хотел увидеть во сне и сейчас вовсе не хотел такое создавать во сне. Перед ним лежала поэма, зеленая книга, записанная китайскими иероглифами, написанная, созданная странствующим португальским монахом-поэтом и посвященная русской женщине (по имени Ирина), оказавшейся в середине двадцатого, кажется, века здесь на одной из окраин земли и вдохновившего его на огромный и безнадежно-беспримерный труд.

Прервал его тишину – и он впервые с досадой услышал его – легкий звон ее сообщения. Он не сразу взглянул в окошко телефона, словно невольно ожидая увидеть там несколько загадочных иероглифов. Но там было неожиданно подробное сообщение от нее: «Если ты еще здесь, то можешь догнать меня в храме Гуаньинь в городе».

Первый раз ему никуда не хотелось идти и бежать вслед за ней, он подумал, что она сама неизбежно вернется сюда, внутрь открытой полой статуи богини. А так, где ее искать? Забраться на местную телевышку, возможно, одну из высочайших в мире? Зачем? Чтобы увидеть мир в миниатюре и там огромный лик незнакомой богини? Войти еще в храмы над океаном, многих незнакомых божеств, следя сквозь улыбки бесчисленных будд, как курятся и исчезают благоуханные спирали?

План города был ему почти ясен теперь, как только он взглянул на него, но все же, чтобы не запутаться, он решил взять за пункт отсчета позолоченный гигантский ананас казино, возможно, высочайший в восточном полушарии, который, по-видимому, был виден из многих мест этого холмистого города. Дальше он пошел к католическому храму, сгоревшему еще давно и от которого осталась одна стена фасада, пробитая входами и окнами. Перед ним на ступенях лестниц были волны туристов (то есть таких же, как и он, по его мнению, посторонних лиц, занесенных сюда случайно из другого времени и места), но когда он сошел вниз и налево в переулок, то улицы быстро обезлюдели. Все же он немного заблудился, хотя, казалось, двигался по строгому маршруту и плану, и извилистая дорожка завела его в парк Камоэнса, где тот начинал здесь свои «Лузиады». Поднимаясь невольно все выше по тропинке, чтобы взглянуть на город и свериться еще раз с планом, он прошел мимо групп пожилых китайцев, игравших в маджонг рядом со стенами, где были на двух языках начертаны строки той незабываемой поэмы. Дальше все же извилистая дорожка вывела его через парк на улицу Фуэнтес дел Сол – так ему показалось – и через череду португальских названий улиц, стремительно проходящих одна под углом к другой, он вышел к тихому храму. Сняв обувь, вошел он в пространство первого здания. Все было тихо. Ни голосов, ни музыки, ни шума листьев не доходило сюда. Было полное безветрие и ни одна мысль, по-видимому, не могла зародиться здесь, минуя его голову. Он почувствовал неловкость, что не может совсем сосредоточиться, а вносит какой-то иной порядок в здешнюю бесформенность, отрешенность и высшую форму. Iry не было ни здесь, и нигде здесь. «Здесь нигде», – повторил он несколько раз бессмысленную и бесполезную фразу, но ему стало легче.

В порт, к своему парому он все же боялся опоздать, потому что без денег застревать в незнакомом месте ему не хотелось. Под курительный дымок, где он вновь ощутил свое обоняние, он мгновенно раздумывал в храме и вскоре ушел по направлению, как ему казалось, к океану. Но в череде многократно пересекавшихся улиц он все же заплутал. «Ведь она может уехать и не на

пароме, а на каком-нибудь катере, и я ее не достигну», – он подумал. Он побежал вдоль улицы и увидел, что его обгоняет автобус, вскочил в переднюю дверь, водительница в зеленоватой полумаске повернула к нему лицо. Он стал рыться в кармане, пытаясь достать центы, нашел только полудоллар. Она качала головой, – что означало, сдачи нет, он махнул рукой и втиснулся вглубь автобуса. Он не понимал, куда он едет, но спросить не решался, понимая, что по-английски вряд ли поймут его. Наконец на остановке вошла молодая светлая женщина с мальчиком, он обратился к ней с китайским приветствием «Ни хао», а потом спросил по-английски, правильно ли держит путь к главному казино и порту. Она засмеялась, она говорила по-английски и тут же сообщила, что она одна из немногих португалок, еще живущих здесь, Что путь правильный, что все почти пути тут ведут вниз к порту. Она не хотела уходить, но мальчик тянул ее за руку, и она сошла. Времени оставалось в обрез, но он заглянул все же на полторы минуты в это здание, мерцающее поддельным блеском золота, почти не надеясь увидеть ее там, но все же на что-то рассчитывая. Но ни одного европейского лица он не встретил за круглыми столами казино, лишь отрешенные восточно-китайские и малайские лица, все почему-то в черных расшитых рубашках – так ему показалось тогда – смотрели в своей возбужденной отрешенности на центр сверкающего стола, как будто именно там были источники света и временный центр мира. Потом на пароме он, задремав почти без снов, – это был словно бы легкий штиль на море, – он не сомневался, что она его вновь позовет.

19.

Несомненно она стремилась в Китай, куда же еще, но вдруг от нее пришло сообщение, сильно удивившее его: «Ненадолго заеду в Киото». Пока он болел и приходил в себя, не выходя из номера в гостинице в Гонконге, она, как он понял, побывала уже на острове Хайнань и на материковом Китае. Теперь новая периферия мира ее влекла.

Пока он выправлял японскую визу, что было сделать, несмотря на ее незримую большую помощь, все же непросто, она, конечно же, успела переместиться в Японию. Но дальше она ему сообщила, что, по-видимому, направится на Тайвань, так что его маршрут круто изламывался вниз. Но не даром же, думая о форме, он мысленно набрел на Формозу. «Кто там живет?» – подумал он, неужели формозоны? Словесные свои поиски, ища «формозону», он завершил, поняв, что по-португальски «формоза» – «красивая» или даже «прекрасная», так что это место еще сильней повлекло его.

В Киото среди немногих бомжей, живущих на берегу местной реки в картонных коробках, он пытался узнать рядом с их вечерним костром, где находится зоопарк и сад камней. Он знал, что Іга остановилась в гостинице на той стороне пересохшей речки. Стояла влажная жара, несмотря на приближающуюся осень, и он перешел по камешкам на ту сторону. Ігу не было в номере, ее ключ висел внизу на рецепции. Он подумал почему-то, что она может быть либо в недалеком зоопарке, либо в одном из садов созерцаний, их было здесь много, или в одном из святилищ. Собственно про зоопарк он подумал, потому что она сама ему об этом написала, и поразила его воображение. Где угодно, только не здесь он ожидал бы ее увидеть. И вот, заслонившись черным зонтиком от солнца, – при этом горы, кольцом окружавшие город, не закрывали никак солнца, – он опять перешел по плотине из разрозненных камешков через речку и направился на юг в сторону зоопарка. Был будний день, и кроме дошкольных детей и их родителей, никого там не было видно. Неподвижные звери были едва различимы сквозь металлические раскаленные сетки. На свободных пространствах не было видно никого. Все попрятались в черные отверстия искусственных нор.

«Что она ищет или искала здесь?» – думал он, выходя к пространству водного заповедника, где действительно было много живого, много трепещущих птиц, розовых и почти красных фламинго и пеликанов, и другой, но уже незнакомой водоплавающей птичьей мелочи. Но Ігу нигде не было видно вокруг.

Несомненно, она была здесь неслучайно, но что она могла найти среди детских устремлений и родительской ласковой снисходительности. Он стоял у густо зарешеченной клетки под палящим прямым солнцем, и кто-то темный стоял с другой стороны сети, он видел его неподвижного, как гора, но тот молчал, и кто это, он понять не мог.

«Сад камней», – пришло от нее несомненное сообщение, а он все стоял неподвижно рядом со зверем неизвестным, который был выше его ростом и молчал или еле слышно дышал, как огромное нечто. Именно за этим она и приехала сюда, чтобы стоять – или чтобы он стоял – рядом с этим зверем, чтобы его созерцать, а не камни, – подумал он.

Но все же, сколько бы он ни стоял неподвижно, видя как-то сбоку едва уловимо дышащую гору этого зверя, надо было подумать, хотя и не хотелось, о саде камней.

Солнце сдвинулось ощутимо. На автобусной остановке все стояли под прозрачными зонтиками, даже мужчины в костюмах и галстуках. Затем он ехал через весь город, который автобус хотел покрыть своими прямыми поворотами, почти повторяя путь через прежние кварталы. Автобус как будто бы прошел мимо всех святилищ и храмов Киото, но конечная станция была его именно там, в северо-западной части, где находился самый знаменитый парк.

Он подумал, что долго будет искать это место, но редкие посетители все, по-видимому, двигались туда, даже семейная пара с маленьким ребенком, он узнал обрывки русской речи, – огромный торс мужчины со спины рядом с невероятно тонкой женщиной, по-видимому, они переругивались, но все же продвигались в одном направлении по аллее, куда шли редкие пары с биноклями, с часами и зонтиками, все поднимались по спирали, минуя менее значимые места.

На деревянных помостах все снимали обувь, пряча их в ячейки, и в носках или босиком проходили к местам созерцания. Но он не хотел погружаться в знакомые по образам картины камней и песка. Он искал глазами, боковым зрением Iru на трибунах созерцания, но не было ее здесь. Прошел он до края помоста, завернул за угол и, сев на деревянные доски, свесил ноги. Здесь был зеленый мох и корни деревьев. Немыслимо красиво ли было здесь, он не знал, он тупо смотрел в корни. Почудилось ему, что он ищет миниатюрную Iru, что она скрылась среди корней, затаилась во мху, приняв зеленый незабываемый и невыразимый цвет. Туда, в этот мох, слегка приподнимаемый корнями, он смотрел, понимая, что она ускользает от него.

Потом в обратном пути на плавном автобусе, повторяющем все прежние повороты, и затем в самолете на Формозу он думал, что она его, наверное, как подростка, отпускает в жизнь, посылая за собой в головокружительное кругосветное путешествие, чтобы, создав один раз, совершив, по ее мнению, его перерождение, указывать на новые повторения.

В столице, в Тайбее, он узнал, что она направляется куда-то вглубь острова и предполагает, по-видимому, что он последует вслед за ней. В гостинице, раздумывая об этом путешествии, он открыл ящик стола и обнаружил помимо библии на английском перевод «Дхаммапады». Ему захотелось захватить книгу в дорогу, но он удержал себя, полагая, что больше, быть может, постигнет, если погрузится в самосозерцание в дороге. Но образ колеса-штурвала с восьмью выростами сохранил.

Чтобы попасть в самую сердцевину острова через долину Тороку, оказалось, что надо вначале на поезде проделать путь на север, и затем по восточному краю добраться почти до тропика Рака, почти до середины острова, там, где жили, как он предполагал, еще древние племена аборигенов, и куда она тоже двигалась.

Возможно, она хотела попасть в само племя, там, где, по слухам, еще сохранился матриархат, так же, как брала интервью – он знал из ее краткого письма – у жены вождя племени на Новой Гвинеи. Слева бежала вдалеке угольно-черная нить-кайма Тихого океана, справа мелькали в беспорядке пальмовые перелески, иногда казавшиеся заброшенными химкомбинаты, разъезды, шлагбаумы и редкие станции. От города, куда он стремился и должен был достичь через несколько часов, путь лежал в глубь острова к буддийскому монастырю. Там, за ущельем Тороку, в самой древней сердцевине находился женский буддийский монастырь, именно туда она двигалась с упорством.

Зачем ей надо было узнавать об остатках матриархата, вряд ли существовавшего в реальности сейчас, он не знал. Попытался он расспросить свою соседку по поезду, молодую китайскую девушку, но она даже отшатнулась от такого вопроса. Сказала лишь, что слышала, что право наследства квартиры в племени передается по женской линии.

Почему-то он тут же подумал о том, что забыл почти своих друзей – и они его, – что он не пишет Осли и свою работу конкурсную почти забросил, – лихорадочные отрывочные записи вряд ли могли считаться философскими обоснованными трудами, хотя весь нынешний свой бег по земле он полагал истинным вкладом в свой труд.

Хотел он заснуть – оставалось ехать еще час с четвертью, – «войти в сон» или даже «впасть в сон», как сам он говорил себе, про себя, – чтобы все сохранить, соединить и разрешить, но не смог. Заснуть, уснуть, чтобы словно нырнуть в глубину своего бытия, отыскивая или пересоздавая то, что было когда-то утрачено, то, что сохранилось в жизни лишь раз и исчезло за ближайшим поворотом, то, что не было повторено, не было поэтому вблизи самих глаз, а лишь в призрачном состоянии, так что без сновидения – которое он мог и не вызвать во сне – нельзя сказать, произошло ли оно вообще.

Мысль о полинезийском здешнем матриархате навела его еще раз на привычную уже мысль о своем бездельи, – и вот под стук колес, – так он сказал себе, хотя никакого стука, конечно, не было, а лишь скольжение, так что нельзя было понять, на колесах ли движется поезд или просто непрерывно летит через эти места, казавшиеся почти необитаемыми, – он вернулся опять к постоянной своей мысли о том, что вот, как Ахиллес, он все же не мог достичь свою черепаху – что там лиру или музу? – хотя и обгонял ее, видимо, несколько раз. Даже в Лондоне он не смог на самом деле достичь ее. Странно, что никто не поставил доскональный реальный эксперимент по сравнению бега Ахилла и черепахи, измеряя тщательно промежутки времени и пространства и деля их пополам. А в теории – теперь каждый может сказать о нелепости зеноновского парадокса, – еще в четырнадцатом веке Николай Орезмский доказал, но при этом ушел в бесконечность.

Он все эти месяцы делал какие-то записи по той теме, которая и определила тогда, по сути, его дальнейший жизненный путь. Полагая довольно нелепо, что нынешнее его перемещение по земле это и есть исполнение, выполнение той темы и задания.

Матриархат призрачный здешний – истинный или мнимый, хотя кто же мог усомниться в реальности жизни в племени, – заставил его думать о том популярном сейчас вопросе – был ли матриархат вообще. Но ведь был книга Бахофена «Материнское право», да и привычно ведь полагали, что тысячелетия матриархата привели к бесправному положению женщины в греческом античном полисе. Подумал также о том, что давно не перечитывал платоновский «Пир», попытался войти в интернет, но в поезде это было сделать невозможно. Пришлось восстанавливать отрывки диалога по фрагментам в памяти. Почему-то всплыла только одна фраза из диалога прославления Эроса-Эрота: «Что же такое, Сократ и Диотима, любовь к прекрасному?»

Больше ничего он вспомнить не мог, и прежняя мысль – не являвшаяся уже месяц – о том, что надо было писать о нуле у Лейбница, вновь вошла, и почему-то в его уме, отчасти зараженным сном, появились два слова «половина нуля», – давняя его мечта – будто бы можно было дробить нуль на части, но не дойти до предела.

Перебила его постоянные мысли приблизительная фраза из того же платонова диалога, впрочем, ему казалось, близкая к одному из переводов, ибо из оригинала по занятиям в университете прошлой осенью он помнил лишь несколько слов: ...любовь умеренных... – это прекрасная, небесная любовь... это Эрот музы Урании, Эрот же Полигимнии – музы, поющей гимны для всех, – пошл, и прибегать к нему, если уж дело дошло до этого, следует с осторожностью, чтобы он принес удовольствие, и не породил невоздержанности. Также о Диотиме-мантинеянке, прорицательнице, что-то еще было, о том, что Эрот – великий гений, посредник между богами и смертными.

Но здесь объявили его станцию назначения – Хайлань, и вскоре дождливым пасмурным днем он уже пробирался на машине по извилистой дороге в сером мраморном ущелье, где до горной

реки в глубине было столько же, сколько до краев скал, откуда словно прозрачные нити и полотна свисали падающие вниз водопады.

В храм ли Весны, как его все называли вокруг, он стремился, или в безымянный женский монастырь в центре острова, было неясно, – Ira не подавала вестей. Они замедляли ход перед опасными поворотами, где нависали камни, или выжидательно останавливались перед тоннелями, если видели встречный свет, бивший по стенам гротов. В пещере девяти поворотов они особенно долго ехали в полутьме, когда резкими разрывами появлялся отрывок неба и встречная скала на той стороне ущелья. Нынешний путь был несравненно легче того, что много лет назад надо было преодолевать монахиням, которые стремились к монастырю, но все равно они пробирались по этой дороге очень долго. Наконец в бессолнечное время они достигли цели.

Деревянная огромная пагода возвышалась на холме, откуда, когда он туда поднялся, были видны дороги – одна, по которой он добрался сюда, приходила через нависшие над обрывом к глубокой реке гроты и пещеры, другая дорога уходила в горный тоннель, так что он с высоты почувствовал себя в центре мира этого острова.

Рядом был монастырь – именно тот буддийский женский монастырь, куда стремилась Ira, где она несомненно была, но сейчас ее здесь не было – ее мобильный молчал. Подойдя поближе к самому монастырю, он пытался увидеть его послушниц, хотя бы одну, но никого не было, лишь обритый буддийский монах в оранжевом одеянии быстро прошел перед ним, не взглянув. Он стоял совершенно один, лишь далеко внизу у моста через реку он увидел несколько человек, вероятно, туристов, потому что несколько раз там сверкнула их оптика. Он подошел поближе к длинным зеленоватым галереям, наверное, которые цветом и светом своим подражали нефриту, он увидел небольшой и тихий фонтан, в середине которого стояла каменная женская фигура.

Это была Гуаньинь, фонтан омывал ее ноги, словно бы переливаясь через край, рядом плескался, изливая воду из клюва, окаменевший дельфин. Ira несомненно видела все это. Но он понял, что она отсюда исчезла, – туда, куда она, он знал, стремилась, через столицу Тайбей, в портовый город на самом севере острова.

Гуаньинь – он погнался за ней, в темном метро он ехал из столицы на север и вышел в дождливый день на самом севере острова в портовом городе. Все было пасмурно, и вокруг была повисшая вода, за контурами людей он видел портовые темные краны, и вдруг справа на холме – белую почти сверкающую фигуру, царящую над городом.

Он повернул левее, в сторону порта, но путей к ней не было. Он видел ее отовсюду, она в серых и зеленых завесах дождя и листьев белела над городом, слегка накреняясь над ним. Но он не видел ни одной дороги, выводившей к ее подножью на холме. Она была словно статуя на носу корабля, а кораблем был сейчас остров.

Он преодолел большой уже путь под дождем, обогнул чуть не четверть города, но видел, что не было здесь пути. Он остановился передохнуть у самой подошвы горы, взгляд его скользил, скользнул и остановился на мемориальной надписи о том, что здесь в тридцатые годы погиб японский принц. Но надо было искать путь наверх, и он решил вернуться. Он возвратился к тому месту у вокзала, с которого начал, поворачивая теперь направо и обходя фигуру на холме со спины. Он потерял ее из виду, потому что улица нависала над мостовой выступами домов, пошли какие-то галереи, арки у самой мостовой, под которыми существовала своя непрерывная и важная жизнь. Мастерские, магазины, какие-то китайские кафе – правда, все это было сейчас закрыто и загрязнено дождем, и людей под низкими сплошными галереями, ведущими вдоль улицы, почти не было. Он увидал вдруг двух маленьких девочек, по-видимому, школьниц, что быстро шли ему навстречу, взявшись за руки. Он их окликнул, как ему показалось, по-китайски. Они его явно не поняли, и тогда он обратился к ним по-английски и спросил их, как ему найти дорогу к Гуаньинь. Тут они закивали, улыбнулись и, повернув назад, побежали, оглядываясь и показывая дорогу. Какой-то старый китаец в соломенной шляпе под дождем странно и пристально, укоризненно улыбаясь, смотрел им вослед.

Девочки оборачивались, и подбегали к нему, думая, что он отстает, хотя он шел быстро, – они прошли уже километр, и когда он стал подозревать, что он вместе с ними опишет круг, они неожиданно остановились и указали ему на неприметную асфальтовую дорогу, которая вилась вглубь зеленого и темного парка, уходящего на холм. Он бы сам никогда ее не нашел или не придал бы значения. Он поблагодарил девочек, как мог, и стал медленно подниматься по мокрой асфальтовой дороге, на которой никого не было.

Он не видел никаких следов Iry, и здесь наверху, где гигантская белая статуя возвышалась над узким заливом Тихого океана, Гуаньинь уже не представлялась ему столь величественной и отрешенной от здешнего города. Он вышел все же на дождливую площадку перед лицом огромной статуи, богини, отсюда не казавшейся столь большой. Два чудовища с разверстыми пастями охраняли ее по двум сторонам, а она была неподвижной и отрешенной, как бы даже не принадлежавшей этому парку и холму и милосердно отсутствуя. Но когда внутри статуи по винтовой лестницы он взошел в самую голову богини, то понял, что Ira была здесь, но ее уже нет: сквозь круглое окошко, пробитое в теле богини, над дождевой поверхностью повернутого плоскостью горизонтального стекла иллюминатора, он увидел в дожде восьмиконечный штурвал буддийского колеса на гребне пестрой загнутой крыши храма, и вдали в заливе корабль, который, как он представил, уносит Iru в Америку.

Тем же вечером он вылетел из Тайбея в Сан-Франциско.

В самолете, уже среди ночи он раскрыл электронную книгу, куда были перенесены некоторые ее записи из серой папки. Он случайно раскрыл ее где-то посередине, в том месте, куда никогда не заглядывал. Он увидел ее, Irin почерк – не так уж много было записей, перенесенных прямо с рукописных страниц, так что он не мог оторваться, хотя устал очень сильно и стал читать. То был фрагмент поэмы какого-то древнегреческого автора. Не сразу он увидел его имя и не сразу поверил. Парменид? Мудрец брадатый, что не верил в движение? А также, кажется, учитель и любовник Зенона Элейского, придумавшего притчу об Ахиллесе, который много раз обгонял черепаху, но все же так и не смог ее догнать. Он стал читать, не веря своим глазам:

Кони, несущи меня, куда только мысль достигает
Мчали, вступивши со мной на путь божества многовещий.
Что на крылах по Вселенной ведет познавшего мужа.
Этим путем я летел, по нему меня мудрые кони,
Мча колесницу, влекли, а Девы вожатыми были.
Ось, накалившись в ступицах, со скрежетом терлась о втулку,
(Ибо с обеих сторон ее подгоняли два круга,
Взверченных вихрем), как только Девы, Дочери Солнца,
Ночи покинув чертог, ускоряли бег колесницы
К Свету, откинувши прочь руками с голов покрывала
Там – Ворота путей Дня и Ночи, объемлемы прочно
Притолокой наверху и порогом каменным снизу,
Сами же в горнем эфире – закрыты громадами створов,
Грозновозмездная Правда ключи стережет к ним двойные.
Стали Девы ее уговаривать ласковой речью.
И убедили толково засов, щеколдой замкнутый,
Вмиг отпереть от ворот. И они тотчас распахнулись
Прямо направили Девы упряжку по торной дороге.
И богиня меня приняла благосклонно...

Так он читал про себя и, шевеля губами, переходил в сон-полет над тихим и темным океаном.

III

1.

В Америке в Сан-Франциско вылез он из такси в самом центре города, захотелось ему посмотреть многолюдные холмы незнакомого знаменитого города, ан нет, пришло от нее непреложное указание: «Metro – Berkeley», так что пришлось сразу лезть под землю в «BART» и двигаться на этом метро на северо-восток в университет Беркли.

Довольно долгой дорогой он думал, что вот, как и день назад, он движется вослед за ней, он ее почти догнал, побывал в голове богини, но взгляд его в открытый мир оттуда, из несомненной полости рассеялся под дождем, и вот теперь он в солнце опять, но он не чувствовал, что чему-то научился за эти сутки.

Вышел он из-под земли из стеклянного торгового цилиндра, наполненного солнечными отсветами, и тут же заслышал звон, – то ли местного Биг Бена, отбивавшего полдень, то ли церковного колокола, и тотчас же увидел поток студентов, переходящих дорогу и устремлявшихся в город. Он сразу понял, куда ему идти.

Вливался и он в студенческий поток, оставляя где-то сзади сияющие магазины, рядом с которым в солнечный этот полдень можно было увидеть диковины со всего света, встретить даже торгующих соотечественников; молодые голоса по-русски с малороссийским акцентом предлагали отличные футболки из конопли, рядом стояли почти неподвижные кореянки, рекламируя красивыми лицами косметику своей страны, как то: масло брокколи и би би крем с грибами.

Он просто вошел в юный поток и заскользил в том же темпе, что и они, спеша, но и сохраняя достоинства обретающего знания, – мимо магазинчиков и студенческих кафе в зеленое неопределенное, но с очерченными лиственными контурами, – вперед. Он чувствовал себя в своей среде и казался себе со стороны таким же юным. Устремленным в знание, в зеленое знание, которое способно тебя пересоздать, и снова мгновенно, как год назад, он ощутил восторг от входа в повторяющееся познание. Понимая, что опять сентябрь и можно почувствовать себя опять вечнозеленым юнцом.

От Igy сообщений не было, и он мог остановиться, ослабить напряжение, зная, что она непременно здесь, и он даже стал искать глазами ее лицо среди лиц студенток, – их, ему показалось, было даже больше, чем студентов. Взглянул он и мысленно опустился в зеленую сентябрьскую траву, не имеющую подданства. Отовсюду доносились птичьи молодые голоса новых учеников и студентов. Он стоял на полукруглом углу кафе, просто впуская в себя всю разноликость эту со всего света.

Он зашел в кафе, взял из металлического сетчатого корытца у входа местную студенческую газету и, встав в очередь, стал читать. Говорилось о студенческих волнениях и выступлениях – здесь в Беркли – за свои права. Но вокруг каждый, казалось, был погружен в свой ум, и хотя замечал другого, и даже переговаривался с ним на разных языках, но не придавал ему значения. Не отрываясь от положенного на стол ноутбука и иногда перелистывая рядом лежащий ксерокс какого-нибудь конспекта. Взял он булочку и чай в большом конусовидном картонном стакане, покрытом крышкой с прорезью, через которую можно было пить через трубочку, но крышку снял, чтобы можно было пить полными глотками и впивать при этом студенческие лица в своей отрешенности, в вежливой и деликатной по отношению к другому своей напряженности и стремлении не терять ни одной, а может быть даже приобрести две-три дополнительные секунды.

Он еле нашел свое свободное место на уголку и уместил свой хлеб и чай как бы на длинную изогнутую белую полку рядом со студентками и студентами, большинство которых были, по-видимому, из Индии, из Азии или других сопредельных стран. Он поместился на высоком качающемся табурете, положил рядом с чаем газету и подумал, что впервые за много месяцев,

как честный обыватель, может расслабиться за завтраком, глядя на солнечное беззаботное утро. Здесь он чувствовал себя, как у себя дома.

Но тут звонок sms в его сумке заставил дернуться его руку непроизвольно и радостно по направлению к ней, и мизинцем задел свой картонный стакан, и половина дымящегося чая вылилась на мраморную полку-стол, и мгновенный стон или вздох пронесся из вежливых голов, все в отчаянии сразу подняли на руки свои ноутбуки, чтобы не промочить самое ценное дно, он пытался нелепо страницами газеты почти безуспешно промокнуть горячие озера на столе, свертывая обрывки газеты в серые комки и собрав их все, как мячи, бежал из кафе, еще не зная куда.

Смеясь и чуть не плача, он бежал, досадуя больше на себя, но и ее почему-то проклиная тихо, но какие-то обрывки фраз, причем не по-английски, а по-русски, не вырывались, причем вокруг некоторые недоуменно останавливались и смотрели на него, так что было видно, что они понимают. Наконец он открыл сумку и прочел ее телефонное послание: «Wind temple».

Он даже приоткрыл рот, чтобы понять, что это такое, спросил на бегу одного, другого китайского студента и студентку, никто ничего не знал. Пробежав по инерции несколько зданий кампуса, он остановился все же у корпуса Сантаяны, тронув по обыкновению колючий вечнозеленый кустарник и даже тихо вскрикнув от боли, вонзив себе в безымянный палец острый и твердый темно-зеленый шип. Пока он вытаскивал занозу, оглядываясь все же по сторонам и блуждая глазами, ища посторонние надписи и стрелки указателей, рядом с ним остановилась женщина с необыкновенно умным лицом и спросила участливо, хотя и несколько подозрительно, что он ищет здесь в это утро. Он сказал и назвал место, она призадумалась и сказала, что знает, но там никогда не бывала, и показала глазами неопределенно в сторону горы на северо-востоке, покрытой темно-зеленым лесом.

Он пошел примерно в ту сторону, здесь уже кончался беспорядок разбросанных учебных корпусов, на землю была уже набросана американская прямоугольная сеть улиц, та, что – он знал – на Манхеттене – на той стороне здешнего света отвечает пересекающимся «стритам» и «авеню». Чтобы взойти наверх, приходилось идти по одной улице, потом сворачивать под прямым углом в другую. Остановился он на крутом уже подъеме на Euclid Avenu (авеню Евклида) и Spring Street, вокруг было уже пустынно и почти некого было спросить. Повернул торопливо с Евклида на Спринг молодой человек, держа за ушки голенищ пару прорезиненных сапог, но был так сосредоточен и быстр, что он не решился его спросить. Наконец он двинулся вверх по евклидовой авеню и заметил взглядом велосипедистку на противоположной стороне. Косо перейдя ей навстречу, он спросил о храме ветров. Она вежливо остановила движение и, не слезая с седла, сказала, что сама никогда не бывала там, но туда вверх по горному шоссе немного миль. Он забирался все выше по этой извилистой дороге среди белых вилл, изредка оглядываясь на видимый уже средь просветов разнообразной зелени океанский залив.

Вдруг на мгновенье он остро позавидовал тем оставленным им в кафе молодым студентам, которые вглядываются сейчас в цифры и буквы на экране или в рытвинки белой бумаги, а не пытаются прочесть совсем незнакомый зеленый текст в этой хвойной или лиственной вечнозеленой зелени, что она ему предлагает увидеть. «Ничто не вечно, кроме студента», – пытался он обдумать невесть откуда появившуюся максиму, когда всходил по шоссе и приближался к белым раскрытым воротам с надписью «Private property» – «Частное владение».

На сухой лозе, обвивавшей колонну, была маленькая белая записка «Я здесь тоже была, спускайся». Он видел с этой террасы, где когда-то сто лет назад кружилась тогда безвестная, а потом прославленная многими танцовщица, ту же точку в просвете сосен над далеким сизым океаническим цветом залива. Он оставался здесь еще долго.

Но стоя здесь между коринфских колонн, почти закрытых иссохшей лозой, вьющимися нежными стеблями, пробивающимся снизу плющом, он чувствовал, что вот ее кафедра, вот откуда она захотела вещать миру и городу, примеряя это место на высотах универсума для обращения к тем, кто внизу в университете.

«Если человек глуп, то это надолго, но не обязательно навсегда, – и такие слова можно сказать именно про меня», – произнес он про себя, но услышал свои слова, потому что понял, что произносит их вслух, словно вспомнив свои годичной давности выступления в белой аудитории или мысленно уподобившись той, которая в немом танце изображала «кафедру добродетели», та далекая уже во времени поклонница Бетховена и Ницше. Он снова вспомнил профессорскую кафедру, с которой говорил, обращаясь к студенткам. Сейчас он слышал себя, произносящего вслух, не боясь, что кто-то услышит кроме него самого: «Да, моя долгая глупость достигла той долготы, даже, можно сказать, и географической долготы, действительно “время-деньги-пространство”, что она перешла во что-то другое». Дальше он так говорил про себя. В погоне за своей безумной возлюбленной ты достиг той меры отрешенности, которая вызывает уже не жалость, но уважение – хотя где эти зрители и слушательницы? – и даже – восторг, всеобщий восторг, экстаз. Но это не похвала глупости твоя и тебе, забывшего всех друзей, всех, кроме нее. Ты подошел к какой-то границе, где твои студентки и студийки с вниманием, любопытством и жалостью – со всем вместе, словно с охапками роз, собрались у подножья этой кафедры.

Он вспомнил почему-то Люцию и Еву – ведь несколько месяцев назад они с другими девушками его группы прислали ему по интернету нечто вроде коллективного письма с просьбой вернуться – обращались они, конечно, к профессору Вертоградскому, – но все же было и иное в том письме, что заставляло его подозревать, они и его-студента, их товарища по группе, тоже имеют в виду. Но он тогда в своей гордыне, вернее, в каком-то ужасе, не зная, как себя подать и представить, им тогда не ответил. Да и не видел он тогда никого другого, кроме нее. Хотя то была, возможно, абстракция, но не любовь, – абстрактное и призрачное искусство познания. В науке о познании, – шептал он себе и вспоминал, припоминал, что такие же слова пытался ей тихо произносить, ей, почти уже спящей, – в этой гносеологии «любви противостоит страх». Ты, стремясь любить, на самом деле бежал по миру от страха.

Он понял, что очень долго задержался на этой террасе и в этом месте, которое, как ни странно, было чьей-то собственностью, хотя ни одна душа не промелькнула перед ним за этот час. Он вышел в раскрытые белые ворота, думая, что надо бы спуститься скорее, но почему-то не торопился. И тут пришел ответ-разгадка sms, там было две буквы NY.

Написала она ему потом – было это поистине неслыханной щедростью, что набрела здесь, в Беркли, – или ей указал кто-то – на одного молодого ученого, бывшего российского подданного, кстати, который открыл, навроде нового Гарвея, систему мыслеобращения. «Наверняка выгнали его отовсюду, – подумал он, – бомжует здесь».

2.

На долгом пути в Нью-Йорк он увидел многое сквозь экран неба, – еще когда подлетал к Сан-Франциско, над Кремниевой долиной он увидел огни внизу как тонкую микросхему действительно неземного устройства – она ведь могла быть увидена только с глубокой высоты, – словно кто-то отразил в линиях и огнях послание вверх от каждого созданного прибора. Сейчас в этом многочасовом полете он словно бы открывал глаза самому себе, – и день предзакатный – он летел на восток – был чистый и ясный, – лишь иногда облака быстро проходили по темному слою как будто бы амальгамы, внутри которой были зримы на небывалой глубине рельефы, темноты, провалы и горы земли, он видел, как менялось само лицо красоты земли под ним.

«Не становиться, – он твердил себе, – да она и не позволит мне в беге своем безумном по земле, не становиться туристом, собирающим сувениры со всего мира, – но для которого они бесполезные безделушки в праздности». Для него праздностью, праздничной работой всегда была учеба, сама возможность беспрерывно – он подумал, что слово сходно с «беспробудно», – учиться. Сейчас над облаками вспомнил он свои те юные первые годы – много лет назад – с учебой в институте, с жаждой и голодом знания. Жажда знания, голод познания – вот эликсир молодости, – думал он, – который он снова может впивать здесь – над разреженными облаками,

сквозь зеленоватые в вечернем свете иллюминаторы. Тот молодой голод он ощутил вдруг вновь с невероятной силой даже сейчас, несмотря на многомесячную усталость в погоне за своей призрачной возлюбленной, которая раскрывала перед ним все новые дали. Куда он сам вряд ли бы устремился отчасти – так думал он – из-за некоторой природной робости, если бы она не вела его световой точкой впереди.

Ему почудилось, что он смотрит ее глазами, – сквозь ее глаза – вниз, где проходили, отставая или почти не отставая на разной высоте облака, сквозь которые была видна земля. Показалось ему, что он понял ее чувство, с каким в прошлый сентябрь она вглядывалась в пространства, да и во времена университета. Он помнил ее взгляд, он думал о том, что она с легкостью – хотя за этим были внушенные ею буквально титанические усилия – вглядывалась в эти каменные стены, в эти исторические камни, ставшие прозрачными, она различала там всех сидевших за одной партой, но в разных эпохах. И тех – еще в дореволюционное время – слово «дореволюционное» звучало сейчас, подумал он, почти как «допотопное», вспомнил он также, что о совсем недавнем нашем прошлом она сказала как-то «доэволюционное время». Но он еще раз отчетливо понял – непреложно, – что ей просто стало тесно в стенах университета и, чтобы по-настоящему соединить времена она вырвалась за предел. Но ее бег все же имел какую-то цель, которую он мог только предположить.

Вспомнил он еще раз отчетливо прошлогодний сентябрь и пространства университета, которые он, несмотря ни на что, успел полюбить, – лестницы, в площадках и поворотах, где пронизанные, а кажется, что созданные осенним светом, стояли неподвижно высокие окна.

В Нью-Йорке он раньше не был никогда, и поэтому не знал, сможет ли вообще пытаться ее искать, хотя прекрасно представлял в уме решетчатый план Манхеттена, и знал, где север и юг здесь. Написала она ему: «Встретимся на 23-й улице». Он не мог сомневаться, что сможет найти ее, хотя вылез из подземки в районе 53-й.

Она назначила ему строгое время, и хотя он понимал, что она может ускользнуть в новом направлении, но казалось, что она хочет ему сообщить нечто действительно важное, ему казалось, что, в самом деле, ее планы приобрели наконец законченные очертания, – именно здесь в Америке она собирается остановиться в своем беге.

Был полдень – и это было северное полушарие – никакого сомнения, хотя он еще раз проверил свою память и еще раз подтвердил себе, что находится в своем уме, так что можно было смело ориентироваться по солнцу, – он взглянул: тени людей указывали на север, раз солнце на юге, и побежал в противоположном направлении от тени.

Сам себе он сказал о северном полушарии, потому что напомнил себе, как разминулся с ней – роковым почти, как он внушил себе потом, образом – из-за своего временного помрачения в Австралии. Тогда на северо-востоке материка, где она обещала ему, что они встретятся, – в городе Кернсе, он вышел из гостиницы, как только получил от нее ясное сообщение (так же, как и сейчас) о встрече. У него была ясная схема города, которую он получил в отеле, она ждала его через полчаса на юге на побережье. Не могло быть никакой ошибки, солнце светило ясно. На карте были указаны стороны света, и улица, по которой он шел, вела строго по меридиану. Он шел небыстро, потому что был запас времени, но все же поторапливался, стремясь к ней навстречу и все же немного робея. Он все время взглядывал на солнце, приподнимая поля своей белой шляпы, – все же здесь были тропики, он взглядывал, словно бы еще и еще раз проверяя, куда он идет, но он, как считал, шел точно на полудень, – точно на солнце. Мимо проходили невысокие одноэтажные белые дома курортного города, он пересекал перекрестки, взглядывая на всякий случай на стены домов, но почему-то не видя названия улиц. Однако он не сомневался, что идет правильно, ошибки быть не могло, скоро слева в промежутке встречных улиц должен был показаться залив океана, и он все время искал его взглядом. Но почему-то не находил. Там сквозь невысокие пальмы – вдалеке виднелись неблизкие пологие холмы с микроскопическими крошками иных домов где-то далеко. Он стал чувствовать, что что-то не то, и прибавил шагу, но что, понять не мог. Вскоре вместо ожидаемого многолюдья прибрежной курортной зоны белый этот город стал странно

пустеть, словно мелеть. Некий холодок стал пробирать его, несмотря на жаркое солнце, он стал догадываться, правда, не зная еще о чем. Он взглянул на солнце, и ему показалось, что оно сдвинулось справа налево, то есть против часовой стрелки. Тут уж город стал совсем подходить к концу, и он на последнем перекрестке, озираясь кругом и не находя нигде моря, заметил наконец названия встречных улиц, – они были на скрещенных стрелках посредине перекрестка. Он, уже поняв, что оказался совсем не там, взглянул на карту и обнаружил, что этот перекресток находится на северной оконечности города. Он взглянул на солнце, и у него закружилась голова, он увидел, что оно и правда сдвинулось справа налево. Тут мгновенно ему стало ясно его географическое заблуждение – слишком быстро он переместился из Северного полушария в Южное, забыв, что солнце здесь хотя и восходит на востоке, но движется в противоположном нашему направлении. Бросился он по той же улице назад, успев впрочем, напугав местного жителя, переспросить, к югу ли он теперь бежит. Он знал, что опаздывает, но надеялся на ее вечное опоздание или на то, что она его подождет. Но когда он бежал по деревянному настилу, по длинному деревянному настилу променада курортной зоны, то увидел, как с залива поднялся гидросамолет,– она в точное время их встречи улетела в Новую Гвинею.

Сейчас в Нью-Йорке он бежал, не оглядываясь, по 8-й авеню, только иногда на мгновенье взглядывая в боковые улицы (стриты), шедшие по бокам в широтном направлении. Он не сомневался, что бежит в сторону уменьшающихся номеров улиц, то есть к югу. Собственно, он знал, что ему потребуется около получаса пути, но времени должно было хватить почти с избытком к ею назначенному сроку. По пути – некоторая опрометчивость – он даже купил соленый крендель, словно бравируя своим знанием города, в котором не был ни разу, он держался все увереннее по мере своего бега, хотя что-то стало его тревожить. По его представлениям, справа должен был быть Гудзон, хотя до него все же было не близко. Он уверял себя, что он и не может увидеть залив, раз до него не рукой подать, хотя все же что-то его стало настораживать, – какая-то даль улиц, – насколько это можно было почувствовать на бегу, тем более все время увертываясь от встречных и заглядывая при этом в их приветливые лица и витрины проносящихся мимо него магазинов.

На стрелки с номерами улиц он не смотрел – в этом не было необходимости, он решил, что впервые поглядит, когда отсчитает улиц двадцать-двадцать пять, так что он мог находиться как бы в полете, больше обдумывая, как он увидит и узнает ее после уже многих месяцев невидения, неведения и по сути отсутствия ее. Все же, когда прошло почти полчаса по его подсчету, он решился взглянуть на название, вернее, на номер улицы-стрита, потому что по подсчетам он приближался к цели и чувствовал усиливающееся волнение, – он был уверен, что встреча произойдет буднично, – она сбросит хотя бы временно маску богини и два слова скажет просто.

Не мог он относительно долго все же обнаружить стрелку, на которой обозначены номера, и, наконец, увидел. Вначале ему показалось, что просто ошибка: ведь может быть цифры так загрязнены, что вместо ожидаемой 31 он увидел 81, но потом протер глаза и понял, взглянув по сторонам, что это правда.

Он стоял, абсолютно ничего не понимая, – если это была правда, то бежать обратно, да даже брать такси было уже бесполезно, он взглянул еще раз на тени – они смотрели почти в том же направлении, что и раньше, но он взглянул вверх и понял: солнце отражалось от верхних окон небоскребов и указывало новой тенью в прямо противоположном направлении.

Бесполезно было что-то менять, он только подумал, что природные неизвестные эффекты и явления словно бы морочат его и сопротивляются его нынешней встрече с ней, что надо прислушаться к этому, что здесь не злой рок, но подсказка, тихая поправка на его нынешнем пути, что если он не послушается, то совсем собьется с пути.

Побрел он прежним путем, ему не хотелось возвращаться, он шел на север, медленно теперь минуя поперечные улицы, не считая шагов, и через два часа достиг он, по-видимому, 93-ей уже улицы. Вдруг, миновав очередной выход из метро, он увидел впереди себя женскую фигурку, которая быстро шла с колесным чемоданчиком.

Он почему-то ускорил шаг, он слышал уже стук колес чемоданчика по торцам нью-йоркской мостовой, авеню стала спускаться, дальше был виден подъем на холм, и хотя он шел быстро, но женская фигурку шла не медленнее его, – она была от него метрах в ста вперед, и он сам не знал, зачем гонится за ней, но волнение его усиливалось. Не мог он сам сказать почему, но был уверен, что впереди идет несомненно она, хотя она была в незнакомом плаще, да и странная косынка на ней, – все казалось неизвестным, и все же ужас, легкий, но несомненный, подсказывал, что это Ira, но он, как школьник, боялся подойти на улице к учительнице. Все же он начал постепенно нагонять, заходя слева и сбоку, так что можно было даже почти разглядеть и разгадать ее профиль, но край косынки мешал ее увидеть, и множество людей на улице тоже все время прерывали его взгляд. Наконец он понял, что она заметила его боковым зрением, и даже замедлила на миг шаг, но потом ускорила.

Он все еще не видел ее лица, но не сомневался, что это была она. То, что они не виделись много месяцев, разом куда-то ушло, и осталось лишь немыслимое какое-то, почти невесомое влечение к ней, он просто летел теперь рядом с ней, он словно бы подлетал к ней, пытаясь только заглянуть в лицо. «Ira», – прошептал он, хотя, возможно, проговорил это все же достаточно громко, но на улице было шумно. Она не остановилась и не повернула головы. Он попытался дотянуться до нее рукой, хотя, казалось, воздух стал неживой и онемел, как немеет рука после тяжкого сна. Он пытался дотронуться хотя бы до рукояти чемоданчика.

Но это ему почему-то не удалось. Она резко затормозила, и повернула вполоборота лицо, которое все же было неясно видно сквозь полупрозрачную косынку:

– Что?

Он не знал, что говорить, и сделал нелепую паузу, которая тянулась и тянулась, он понимал весь странный комизм положения и, словно бы желая развеселить ее, тянул и тянул время, хотя это было, конечно, не в его пользу, но он будто бы оробел, разом став моложе на много лет. Она двинулась с прежней скоростью вперед.

Он понял, что упустил важный момент, что теперь придется ее догонять, заглядывать ей в глаза и просить ее промолвить слово, словно бы заискивая, как перед начальством, хотя он не чувствовал никого над собою начальником, – он не знал, что может у нее попросить сейчас, – о встрече наедине сейчас не могло быть и речи.

Но он все же на что-то надеялся и, догоняя ее опять слева, прошептал громко:

– Прости, я опоздал на встречу, я запутался.

Она ничего не ответила и продолжала быстро и упорно идти вперед. Вдруг на очередном перекрестке она резко повернула и пошла вправо в одну из стритов. Он понял, что она не испугалась его, а просто ей надо было идти именно в эту улицу, возможно к гостинице. Он наконец догнал Iru и поймал ее за руку:

– Давай я тебе помогу.

Она не стала даже сбрасывать его руку со своей руки, она просто обогнала его руку своей рукой, но, повернувшись опять вполоборота, проговорила в ярости, хотя ему показалось, что сквозь косынку ее лицо изменилось в подобие странной улыбки:

– Я позову полицию.

Он шел рядом с ней еще недолго, понимая нелепость такого конвоя, он хотел даже забежать несколько вперед, но она словно бы не позволила, отворачивая в другую сторону лицо. Наконец она достигла сверкающих дверей отеля, быстро и решительно вошла под высокий козырек и скрылась там, куда он уже не решился шагнуть вслед за ней.

3.

Прошло три дня, и он проживал последние гроши в нью-йоркском хостеле, когда пришло от нее сообщение: «Жди указаний».

Новая осень шла, и ему надо было все же понять, что для него значил этот «осенний семестр» и «летние каникулы», которые он вспоминал с трудом, поскольку все записи, все «конспекты», которые он вел по следам фактически кругосветного путешествия – путешествия души, – не слагались в болезненный шедевр.

Показалось ему, что в своей боли достиг он некоего предела, но сильней было ощущение, что цикл обучения какой-то завершен. Но почему-то та ария и музыка, которую он слышал тогда в Европе где-то на границах Бельгии, Германии, Голландии, вновь звучала в его ушах: «...David cum Sibylla». Да, это был «Dies Irae». Только некие отдельные слова прорывались сквозь грозные и нежные интонации женского голоса: «Lacrimosa, dies illa...».

Не мог он все же оторваться от тех улиц и мест, где увидел, но не догнал – так он говорил себе – Iru. Он проходил утром по этим обухоженным, но пустым в дождливые эти дни местам. Забрел он, идя на восток в какой-то парк или сад и только потом понял, что это и есть Центральный парк. Быстро как-то отодвинулась кайма высоких домов на краю, и он оказался среди прудов и камней. Но тут приблизились дома с другой стороны, и почему-то почудилось, что видит он высокие восьмиэтажные дома, глядя от пруда на Патриарших прудах. Он вышел в какой-то боковой переулок и увидел вдруг православную церковь, это был храм Святого Николая. Почему-то ему показалось, что она может быть там или придет сюда. Он долго стоял там с зажженной свечой в руке, не зная, к какой иконе подойти, словно бы ожидая Iru, хотя вряд ли она могла сюда прийти в такое раннее утро.

Входя в церковь, он повиновался надписи и выключил телефон, и когда вышел, то увидел сообщение от нее, как указание на ее присутствие здесь: «Тебе надо будет вылететь в Хантерсвилл через Цинциннати. Подробности позже». Он понял, что она его зовет куда-то совсем уж в провинцию, в американскую глубинку, куда-нибудь дальше самого заштатного штата, названия которого он и не знал, какой-нибудь Огайовы. Но он был по сути готов, он понимал, что что-то изменилось. Наступает другое время, и она направлена и нацелена на что-то иное.

На следующий день, когда его денежный ресурс совсем иссяк, он получил от нее указание ехать в аэропорт, где его ожидал билет на самолет и некоторая порция денежного довольствия, как сам он это называл. Давно уже он жил за чужой, то есть ее счет, и стыдился отчасти поэтому выходить на связь с друзьями и коллегами. То есть для них он был кем-то без вести пропавшим – ранее в Европе, потом в Австралии, в Азии и теперь в Америке.

С некоторой робостью, но и долей радости он думал о своем полете в неизвестные америки, в глубину страны, которая была достаточно туманна в его воображении, хотя ему хотелось на время передохнуть после нескончаемого бега по земле. Надеялся, что можно будет обрести хоть временный покой и с Iroi найти новый союз, где не будет постоянного чувства вины, которое сменялось вспышками быстро затухающей ярости или отчаяния. Он все еще находился в ее ареале воздействия и сам не понимал, как можно так безропотно следовать по пятам за ней, по ее следам, не пытаясь даже уклониться в сторону, даже подумать о других женщинах. При том, что она прямо или косвенно, вольно или невольно только и призывала его, что думать и мечтать о женственности, разлитой по земле, которую она призвана собрать, а он должен словно бы подхватывать падающие капли. Но сейчас он понимал, что ее планы обретали совсем другой смысл, но какой, он не знал.

В аэропорту Кеннеди он снова прошел босым через рамку мино- и металлоискателя и вылетел на вечернем самолете в сторону Цинциннати. Ровный полет с легкими волнами покачивания уклонял его в сон, но он все же смотрел на незнакомую землю, пытаясь по темным, уже едва уловимым краскам понять, найти пути и смыслы Iry, что она хотела здесь узнать и сделать. Было темно, когда они подлетели к городу, который предстал вблизи самого лица голубоватыми и белыми сияющими кольцами и ожерельями огней на земле. Он и все летели в самолете над положенными и оставленными на земле ночными драгоценностями, которые при приближении, по мере того как все ближе их подносили к лицу, становились грубее, расходились в огнях и обнаруживали

свою человеческую природу. Снова пройдя сквозь контроль, сквозь все рамки и детекторы, сняв обувь и снова надев, он взошел по трапу местного, буквально на двенадцать мест самолета.

В аэропорт Хантерсвилла он прилетел, когда вокруг уже стояла ночь. Здесь на выходе его ждал человек с табличкой в руках, на которой трогательно была выведена его профессорская фамилия, несколько искаженная и почему-то с немецким как бы окончанием «Wertogradoff», – он даже отшатнулся от этого указания, хотя понял, что речь несомненно идет о нем, о ком же еще? Но все же покружил по пустынному маленькому залу прилета прежде, чем подойти к этому человеку с табличкой. Тот, ни слова не говоря, протянул руку, взял его сумку и повел к своему автомобилю. Быстро и молча, хотя он пытался завести разговор об Ire, домчали до города и, проехав несколько одноэтажных кварталов, вырвались в простор каких-то шоссе, пересечений эстакад, небольших вилл у обочины и больших домов, которые редкими огнями мелькали в лесистых холмах по сторонам. Машина взбежала на один такой холм и остановилась у двухэтажного здания. По виду это была либо дешевая гостиница, либо хостел улучшенного типа, не тот, конечно, в котором он жил в NY. Быстро человек внес его сумку по ступенями железной лестницы к двери, открыв дверь ключом, передал ключ ему в руку, зажег свет и, указав на стол, где лежала белая записка, тихо, почти бесшумно удалился.

Понял он почти сразу, что записка была от Iry. Там значился только американский номер телефона. Он тут же набрал этот номер, но тот не отозвался. Голос скороговоркой произнес некую фразу, и он понял, что надо подождать до утра, а может быть, ждать больше, что по опыту своему он знал, но тут было все же что-то другое, не было привычных указаний ее в новый путь. Он осмотрелся вокруг, чтобы понять, где оказался, и увидел, что это так называемая квартира studio, где лишь одна огромная комната, плавно переходящая в глубину в кухню и отделенная тяжелой деревянной дверью от ванной. Он подошел к плите, левой рукой взялся за ручку кастрюли, машинально перевернув ее и прочитав на днище «Made in USA», а правой открыв дверцу большого холодильника, который оказался абсолютно пуст. Выпив на ночь воды и зачем-то почистив зубы, он лег на широкую кровать и включил тихо кондиционер, чтобы был хотя бы один какой-то звук в этой глуши.

Наутро он пытался опять звонить и опять безрезультатно, но потом в полдень пришло короткое указание: «Жди».

4.

День прошел, а за ним следом еще один, а он не получал никаких сообщений, усталость, правда, постепенно проходила, но появилась усталость от ожидания, главное, непонимание полное, чего она хочет от него, а может быть, и от себя. Первое время он вообще почти не выходил из дому – только в ближайший магазин, хотя остававшиеся его средства были столь скудны, что чаще ходить и не имело смысла. Расстояния в этом городе были велики, но людей он на обочинах почти не видел, – все передвигались на колесах, словно бы это был мир до изобретения ног. Все же он иногда выходил на небольшие расстояния, оглядываясь на полицейские машины, которые могли и остановиться, чтобы поинтересоваться документами у подозрительного пешехода. Водительское удостоверение, первый раз выйдя на улицу, он забыл в studio, так что его могли вполне задержать до выяснения. Ссылаться на Iru тогда было бы бесполезно, даже смешно, поскольку ни один сейчас человек, наверное, не смог бы до нее дозвониться.

Добраться в центр города в первые дни не представлялось возможным, – автобусы здесь почти не ходили, да и жалко было тратить последние деньги. Он все же думал достичь центра и понять, где же он оказался, хотя смотрел на свое пребывание здесь исключительно как на временное, но заторможенность его состояния говорила о многом. Был уже декабрь, но здесь было по-осеннему тепло, в этом южном месте, и можно было выходить без куртки на улицу. Он изменил свой уже привычный маршрут и пошел немного в гору от своей гостиницы. Он попал на тихую улицу, где по сторонам были все же редкие дома. Слева был католический храм, он подошел ближе к нему,

бабочка пролетела на фоне собора. Справа была, наверное, методистская церковь, он повернул туда и вошел в дверь, откуда раздавался разрозненный шум. Он увидел широкое помещение и столы, наполненные горячей и дымящейся едой, – многочисленные люди сидели на скамьях; стоило ему войти, как тут же подбежал к нему румяный, радушный, пожилой, улыбающийся человек и спросил, есть ли у него проблемы и не сядет ли он с ними, чтобы разделить трапезу – было ведь воскресенье. Но он почему-то, может быть, от непонимания, а может быть, из-за ложного чувства одиночества поблагодарил и вышел через ту же дверь, в которую вошел.

Низкие голубоватые холмы на горизонте окружали город, и он понимал, что она где-то там, может быть, недалеко за холмами, но в какую сторону двигаться к ней, он не знал, интуиция здесь у него не работала. Он даже сел на теплый от солнца камень при дороге, чтобы обдумать свое положение. Он надеялся, что, вернувшись домой, обнаружит какое-то сообщение в глубине мобильного телефона, – он нарочно его оставлял сейчас дома, чтобы надеяться найти неожиданный подарок по возвращении в свое studio.

Но пока от нее ничего нового не было, и он подумал, что она приглашает его, хотя и не особенно вежливо и участливо, к новому созерцанию, к неподвижному взгляду, она хочет сменить и промыть ему оптику, укрупнить детали и изменить вообще восприятие света, то, к чему он призывал и ее, а не только Еву и Люцию, в своих лекциях.

Но одновременно он также понял, что выбраться отсюда никуда не может, не говоря о том, чтобы добровольно вернуться на родину, денежных средств было едва только чтобы прожить от силу неделю, и то экономя на всем. Хотя он также понимал, что за гостиницу ему, по-видимому, платить было не надо, и этот дар ее он оценил.

Он гулял вокруг своего нового дома, предаваясь ничего не значащим созерцаниям. Осенняя небесная синева появлялась в разрывах ветвей деревьев и напомнила какой-то яркий обрывок материи платья, который он видел вдалеке за деревьями когда-то очень давно. «Ситец и парча», подсказала память, и он мысленно перенесся за океан, но стал почему-то думать о романтическом герое, чье путешествие так и не состоялось, хотя вроде бы было намечено. Почему-то путешествие Онегина – начало без окончания – тревожило его. Сам он себя ни в какой мере не сопоставлял с романтизмом, но определения кружились в голове и он прикидывал, как бы он мог себя понапыщеннее обозначить: «странник европейский», «паломник азиатский», «пустынник американский»?

Заработал наконец internet, первые дни, наверное, связь была еще не оплачена, и он смог выходить за пределы studio виртуально и понимать, где же он находится и, следовательно, чего еще можно ожидать. Он даже написал ей пространное письмо с изложением того, что обдумывал последнее время, но ответа не получил.

Дошел он однажды, пройдя несколько здешних миль, до местного небольшого университета, который ему сразу понравился. Вспомнил он сразу о своих научных занятиях, извлек из тайников своего чемодана академические документы, так что был допущен в университетскую библиотеку и ощутил себя полноценным членом сообщества знаний. Это придало ему уверенности в его потерянности в поисках незнакомой истины, которую по ее молчаливому указанию он должен был, видимо, добыть на новом и совершенно неизвестном для него континенте. Он стал приходить иногда в светлую прозрачную читальню университета, где было немного посетителей, но были книги, журналы со всего света, и он мог действительно погрузиться в забытые уже за эти месяцы бега состояния созерцания, покоя и того, что он называл внутренним музицированием. «Между муз», – так он шептал про себя. Он мысленно мог даже вернуться к своей полуфилософской работе, которую забросил по сути в своем непроходящем, как недуг, безделье. Думать о музе Урании, о ее соответствии с небесной Венерой (он даже произнес «Венера уранийная», но ему показалось, что в таком сочетании скрыт какой-то непонятный уже в нынешнем веке намек на тайную связь Венеры и Урании, что было совсем странно).

Постепенно он начинал понимать, где находится, в каком месте оказался, и какие пути открываются здесь во все стороны. Он разглядывал большие карты этих южных штатов, куда так не-

ожиданно был заброшен, доходил взглядом не только до Мобила, но и до Нового Орлеана, тянуло туда, на юг, но путь был заказан, потому что никаких его средств не хватило бы, чтобы добраться хотя бы даже в одну сторону, не говоря уж о том, чтобы вернуться.

Рассматривал он внимательно план Хантерсвилла, проникая все глубже в замысел этого странного города и его судьбу.

Видел он на окраине его гигантский парк или заповедник, восходящий, наверное, на холмы, которые были видны сквозь широкие прозрачные окна. Рядом с ними, у подножья, прямо у пограничья города находилось, по-видимому, городское кладбище, которого он собирался достичь, как только наберется сил. В этой части города находились старые кварталы, в основном одноэтажные особняки еще девятнадцатого века, он видел их белые колонны вдали краешком глаза и тоже собирался посетить по мере возможности.

Нынешние окружающие сооружения, постройки и дома говорили об изменении жизни здесь в веке двадцатом, потому что этот город вплоть почти до века двадцать первого являлся, по-видимому, закрытым городом, о чем свидетельствовала остроносая ракета, видимая изо всех частей Хантерсвилла, это была даже не копия, как он узнал позже, а именно та ракета «Сатурн-5», на которой американцы высадились на Луну. Где-то там, у подножья огромной светлой ракеты, напоминавшей сейчас остроконечностью рождественскую ель, находился музей. Но это было так далеко. Вокруг были какие-то все еще огражденные фирмы, институты и низкорослые предприятия, которые среди зеленых стриженых газонов и вековых дубов и буков были словно бы полуоткрыты, но все же недоступны.

На стене университета он увидел небольшую армию божьих коровок, гревшихся на солнце, отвел он взгляд и среди множества прикованных цепями велосипедов увидел и свой, что одолжил ему на время местный университетский студент, с которым он познакомился в здешней столовой.

Теперь он мог ехать в одиночестве, куда заблагорассудится, не ожидая скорого письма от Iry, забывая вообще, зачем он сюда прилетел, – а зачем он сюда прилетел? – надо было бы спросить «за кем?», он мог даже путешествовать по этому мирку, не пытаясь, правда, перевалить через холмы, не пытаясь даже в мыслях из-за дальности достичь Атланты по шоссе через Чаттанугу, но все же продлевая свое ощущение этой земли в своем велосипедном колесном движении по округе города.

Добрался он наконец до этих заброшенных холмов, где лес был несомненно настоящий, хотя люди сюда заходили в последнее время. Выбрался он с некоторой дрожью и к воротам городского, или – все ему хотелось сказать – сельского, кладбища. Он перед этим долго кружил по красным от кленового цвета и – солнечного света сквозь них – улицам, проезжая по некотором путям по нескольку раз, между особняков с деревянными колоннами и припаркованными машинами, среди газонов за железными косыми сетями, низкими деревянными оградами и осенними цветами; тени деревьев еще лежали на мостовой, но были уже на себя не похожи, превращаясь в оттенки штрихов и прутьев.

Он вышел на велосипеде к кладбищу, которое было все же на отшибе. Никого совершенно не было здесь сейчас, было послеполуденное время буднего дня. Он слез с велосипеда и, оставив его у ограды, не приковав, пошел внутрь по аллеям, читая с некоторым непонятным волнением имена и фамилии вокруг.

Рябина, раскаленно-красная, светилась сквозь редкую зелень, огромная птица, чьи очертания в полете показались ему знакомыми, пронеслась почти бесшумно над ним, но все же он видел вокруг мир совершенно незнакомый, который ему, протирая глаза, приходилось сейчас словно бы творить заново каждый день.

Он дошел до самого дальнего угла кладбища, где начиналось как бы поле одинаковых могил с низкими одинаковыми полукруглыми наклоненными плитами. Он разобрал на одной из гранитных плит уже стершуюся надпись «Unknown soldier of CSA». Что это означает, он сразу не смог понять. Но знал, что никогда прежде таких надписей не встречал, не видел и не мог бы даже представить. Почему-то вначале ему вдруг почудилось, не память ли это о погибших индейцах,

которые были изгнаны полностью из этих мест, где-то еще в середине девятнадцатого века, но тут же отверг эту странную мысль, хотя ощущение странности и некоторой нереальности оставалось. Он чувствовал словно бы слабый привкус этой странности на языке, привкус неведомой пряности или специи, которую нанесли на все поверхности всех блюд, и что бы ты не попробовал, едва уловимый оттенок специального приготовления останется. Он почему-то связал это с незримым присутствием Iгу, хотя она, забросив его сюда, совершенно, казалось бы, забыла о нем. Наконец, что-то стало проясняться: ведь «SA» – это почти наверняка означало «Соединенные Штаты». Что могла значить буква «C» он вначале никак не мог понять. Но повторив много раз про себя это сокращение и даже «C of States of America» он понял наконец: «Неизвестный солдат Конфедеративных Штатов Америки».

Больше он не мог ничего смотреть здесь, он вернулся ко входу и ушел вначале, даже забыв велосипед. Потом вернулся и, взяв его, как он сказал, под уздцы, он пошел по тихой дороге, наполненной пылью, не понимая сам, почему его так взволновало увиденное. Прошел мимо него человек в распахнутом пальто, полы которого поднимались на ходу. Ничего вроде бы особенного в увиденном на кладбище не было. Природа вокруг не удивлялась такому факту совершенно, иве вроде бы было все равно, кто лежит под ней. Но для него даже пейзаж несколько изменился. Он снова перестал его узнавать. И те знакомые вроде бы деревья, породы кустов предстали вдруг в незнакомом облике. Каждое дерево стало словно бы само по себе. Оно стояло незнакомое, не относимое ни к какому разряду, оно было отдельное, только не имело своего личного имени. Оно было безымянно. Ему хотелось даже каждое назвать, но у него не хранилось в голове столько имен, сколько здесь было деревьев, кустов и травинок. Конечно, он подумал, он мог бы пользоваться омонимами, называя одним и тем же словом разные деревья, но кто бы кроме него тогда понял смысл каждого названия, которое хранит в себе не только эту иву при дороге, но, может быть, и другую иву там дальше у невидимой отсюда реки.

Сам он не знал, почему он так чувствовал, когда стоял давно уже – или недавно, он не знал – неподвижно, держа велосипед за руль и словно бы впервые видя свои немного запыленные сероватые штаны, край выбившейся из брюк рубашки и другие детали, принадлежащие вроде бы ему, но которые были не столь знакомы, как раньше. Они требовали бы назвать их, но что он мог сделать для них, у него не было столько имен и столько сил для них.

Вроде бы он понимал теперь, или не понимал, почему это заброшенное сельское или городское кладбище заставило его начать чувствовать так, как он совсем не хотел и не предполагал. Неизвестный солдат здешних мест и здешнего времени почему-то предстал для него самым важным из того, что он здесь пока увидел и ощутил. Причем он вдруг с некоторым холодом и ужасом понял, что каждая плита несет одно и то же название или имя, о котором он только что думал. Но оно означает совершенного иного человека. Это название повторилось на каждой плите, но означало по сути неизвестного, но совершенно другого человека. Совершенно неизвестного, но другого. Он вдруг подумал, что оно могло бы обозначать и нечто другое, даже изменив слегка аббревиатуру, потому что теперь в ней хватило бы некоего простору даже для слов: «ISA», что означало бы «Indian States of America», то есть здесь под землей была та далекая, чаемая и недостижимая Индия, к которой стремились, но которую не обрели и которая хранила в себе индейцев, конфедератов, чернокожих и янки. Даже все вожди краснокожих, которые по осени где-то зачитывают мартирологи погибших за эти века, могли бы здесь, в этом имени уместиться. Это имя могло бы стоять незримо на всех вещах и предметах здесь, на отражении даже зыбком ивы в воде. Так опираясь на руль велосипеда в некоторой скорби, он пытался почувствовать мыслью здешние места, забыв об Iге на время.

5.

Но она напомнила о себе в тот же вечер, прислав сообщение, которое показалось пространным по сравнению со «жди» предыдущих, – она написала «Готовься». Сразу он почувствовал что-

то многообещающее в этом одном слове, он не обещающее ничего хорошего. К тому же почему-то чувство вины перед ней проснулось опять.

Не мог он, конечно, не улыбнуться – слово это звучало несколько торжественно, призывая готовиться к чему? Перерождению? Метампсихозу?

Психоза, по крайней мере, не избежать, – хладнокровно подумал он, решив, что готовиться (к чему?) начнет с нынешнего же вечера, после того как почистит зубы.

Значит, ждать оставалось недолго, хотя что могло означать такое «недолго»? Близилось Рождество, и все здесь приходило в движение. Даже он в своей неподвижности чувствовал приток и прилив свежих сил и перемещался по городу. Он уже освоил велосипед и добирался даже до далекого центра города, который состоял из нескольких похожих на европейские кварталы. Однажды он увидел афишу о том, что в городском театре состоится приуроченный к рождественским торжествам детский утренник. Никогда он не бывал на таких праздниках, но до получения ее последнего указания и в голову ему бы не пришло посетить что-то подобное. Но сейчас почему-то он воспылал энтузиазмом и захотелось ему почувствовать себя среди юных и свежих лиц.

В назначенный воскресный день он явился по назначенному адресу, правда, с запозданием, поскольку разыскивал нужную улицу в этом все еще незнакомом городе, так что увидел, что действие уже началось, и все взрослые и дети заняли свои места возле густой елки, а представление идет не на сцене, а между рядами, потому что часть стульев была вынесена. Сюжет представления он пытался быстро прочесть в программке, но было полутемно, к тому же действие не позволяло отвлечься. В нем должны были участвовать, как он все же разобрал, пастух, ангел, агнец, то есть ягненок и лев. Кто кого играл, в программе не было сказано, так что надо было понимать по ходу действия. Речь текла очень быстро, и его не очень уверенное знание английского не позволяло ему понимать отчетливо и не отрывочно, что же происходит. Поэтому он просто улавливал эффекты происходящего, не пытаясь глубоко проникать.

Пастуха играл, по-видимому, взрослый, хотя за слоями грубоватого грима и за длинной бородой установить все же достоверно это было почти невозможно. Ангела представлял или очень взрослый ребенок, или очень юная девушка. Ягненка играл несомненно ребенок, сам кудрявый и прикрытый еще курчавой черной шкуркой, причем временами он стоял на двух ногах, а иногда опускался на все четыре, так что копытца его звенели, – по-видимому, из-за специальных колокольцев, запрятанных там.

Но потом вошел лев, и все стало непонятно. Он вошел бесшумно, закутанный почему-то в какой-то восточный халат, но почти сразу стало ясно, какой он огромный. Причем показалось, что лев-то сам по себе не самых больших размеров, отнюдь. Может быть, он был даже маленьким среди соплеменников, если можно было бы так сказать. Но он двигался все время на задних лапах, не опускаясь на передние, и поэтому его величие, непридуманная мощь и какая-то нечеловеческая тоска в глазах сразу захватили всех. Даже волна хохота или ужаса прошла по передним рядам зрителей, и некоторые дети в страхе отшатнулись или вовсе отвернулись в страхе от этой сцены на полу. Но лев, плавно прошествовав, мирно улегся у самых ног агнца и, прикрыв лапой глаза, задремал. Пока шли диалоги персонажей, он изображал статую, неподвижную скульптуру льва, которая тем не менее мягко дышащими боками напоминала о какой-то подземной силе, которая может в любую секунду пробудиться.

Наступило, наверное, его время произносить свою речь, и курчавый ягненок еле заметно толкнул своего огромного друга. Лев пробудился, поднял голову и зевнул, причем наверняка он это сделал, чтобы все увидели его огромную роскошную пасть и подивились подлинности переодевания и грима. Затем он поднялся на задние лапы. Речь его полилась какими-то неровными толчками, она даже, можно сказать, двигалась вперед какими-то уступами, из-за какого-то странного и чудовищного акцента понять было почти ничего не возможно, взрослые вслушивались и крутили головами. Но вместе с тем в речи было какое-то величие, высота и какая-то все-таки непробудная тоска, так что никто не мог даже шевельнуться, хотя вначале все зашептались, когда стало совсем непонятно. Но потом махнули на это рукой и просто слушали, поскольку, очевидно, лев как при-

рожденный артист начал импровизировать и далеко превзошел размеры своего текста, который был в розданных программках.

Но никто не дышал, даже пастух и ангел перестали недоуменно переглядываться, понимая, что лев не дает им слова сказать – их предназначенного программкой слова. Лев забил всех. Он махал хвостом, вначале даже нервно, но потом, несомненно, дружелюбно, и в конце своей величественной, хотя и непонятной речи он обнял всех, причем объятий хватило и на ангела, и на пастуха, и на агнца. Бурные, хотя и беспорядочные аплодисменты завершили спектакль, хотя некоторые дети, да и взрослые, сидели в недоумении и не хлопали, хотя по лицу было видно, что им понравилось, но они сами не понимают, почему.

После представления многие бросились за кулисы, пытаясь пожать лапу льву, но он, смущаясь, почти сразу удалился, и другие актеры, игравшие пастуха, агнца и ангела раздавали за него и вместо него небольшие подарки, игрушки и конфеты детям. Кто был актер (или их было двое), так страстно и умело сыгравший величественного льва, так и осталось загадкой.

Пришла sms от Iry: «Завтра». Он вглядывался еще в экран мобильного телефона, когда его тронули за руку, и он увидел знакомые лица, которые принадлежали уже забытым им людям. Они назвали его по имени, а он не мог вспомнить имен этой семейной пары, – с ними он учился еще в институте в параллельных группах. После перечисления прошедших зим и лет они рассказали ему, что работают здесь в исследовательском институте уже очень давно. Занимаются новыми биотехнологиями и знают, кто такой лев.

Но когда он пытался спросить и выяснить подробности, они, улыбаясь, ничего не говорили, так что можно было заподозрить, что это коммерческая или даже военная тайна.

Сославшись на то, что ему надо собираться и готовиться к срочному отъезду, – и это было отчасти несомненной правдой, – он покинул своих давних знакомых, чье имя так и не вспомнил, а спросить не решился не столько из-за стеснения, сколько из-за нового ощущения, что и не надо все назвать «своим именем».

Он все же не сразу пошел домой, а долго шел по странным улицам без людей на них и, дойдя до холмов недалеко уже от дома, взошел на них впервые, кружась в подъеме по улице Julia. Он вышел на самую вершину холма рядом с телевышкой и последний раз взглянул на город, видя далекую вершину космического корабля на приколе.

6.

Завтрашним ранним утром возле его холма, где располагалась его квартира, остановилась просторная машина, которая тихо и гундосо позвала его на улицу, впрочем, к этому он был готов и через секунду с походным рюкзаком спустился по железным ступеням трапа на первый этаж и наконец на землю.

Ему сказали, что путь будет долгим, и он действительно был столь долгим, что его неожиданно укачало, и что-то вроде морской болезни дало несомненные признаки. Чтобы его отвлечь от болезни, да и отдохнуть, наверное, его сопровождающие, – а были это два молодых американца – завезли его в промежуточном городе, – впрочем, столице, кажется, штата – в «Opryland». Он не представлял, что это такое, и на вопрос ему ответили, но он плохо улавливал и понял только, что это вроде американской мечты в миниатюре, но то место, куда они его везут, гораздо лучше. Они раздавали ему улыбки, но он чувствовал себя, разбитый дорогой, настолько плохо, что мог воспринимать все только в мрачном свете. Они вошли внутрь гигантского многоэтажного здания, где супермаркет по краям был совмещен с зелеными разнообразными садами посредине, на верхних этажах боковых покоев были расположены номера гостиниц, так что жители их с балконов могли наблюдать, как внизу и посредине плывут на пирогах по протокам среди попугаев и бананов, как левее переходят через кривой японский мост, перекинутый через ручей, полный плывущих лепестков. Также сидящие внизу в многочисленных кафе могли поднять голову и видеть, что в гостинице на этажах и за освещенными шторами происходит, течет мирная и наполненная многими переживаниями жизнь.

Спутники его были в восторге, а он попросил стакан воды и стакан водки, ему принесли то и другое, и за столиком пережидал приступ неожиданной болезни. Его оставили на час, обещая непременно вернуться. Через некоторое время он все же почувствовал себя лучше и даже отошел от столика, чтобы осмотреться, но оглянулся, запоминая. Потому что здесь можно было потеряться в два счета, и потом искать два года именно то место, потому что таких же мест и людей здесь было огромное количество.

Он входил в сверкающие заемным блеском магазины, ничего не запоминая, и пошел в боковые входы, которые вели в просторные помещения на нижних этажах. Вот он прошел зал с коврами на полу, зал, наполненный белыми роялями, на одном из которых кто-то импровизировал. Вот он открыл дверь и очутился среди старых ажурных карет, наполненных до краев дамами и кавалерами. Вот еще шаг – и за двустворчатыми дверями открылся белоснежный сад с искусственными цветами, но так подсвеченный, что казался одновременно подвенечным платьем и каким-то неземным собором.

Все здесь должно было радовать, по-видимому, глаз, а не озлоблять его, но его снова стало мутить, и он снова вернулся к своему столику, проверив, что того не шатает на ножках. Когда вернулись спутники, он крепко спал, сжимая в руке стакан воды. Но его все же разбудили, тот, который вел перед этим машину, допил остаток водки из стакана, и они продолжили путешествие – теперь вел уже другой. Через много часов – двигались они куда-то на запад и, кажется, на север, а может быть, на юг – он не мог понять точно – день был пасмурный, – они достигли густого леса.

Они вошли в лес, который постепенно редел, и шли меж тонких темных стволов, словно мимо колонн. Впереди предстала вдруг темная, почти черная стена необыкновенного здания, которое он не сразу даже распознал. Но различил потом и длинные ступени, поднимавшие ко входам в эту стену или здание.

Они прошли словно бы через проходную, где им всмотрелись в лица и в документы, и они вышли в другое пространство. Здесь их ждал иной автомобиль, возможно, даже электрический, потому что он бесшумно разогнался по извилистой дорожке этого редкого уже леса, переходящего в парк. Было почти уже совсем темно, и он мало что смог разглядеть, но все же на перекрестке, где асфальтовая тропинка раздваивалась, он прочел, хотя долго не мог поверить, что взаправду: «Territory of UN (UNESCO)». Спутники и водители его были, видимо, также крайне уставшими, поэтому все они почти молча двигались через темный обширный парк. Он видел вокруг диковинные деревья, но черная вырезная зелень была видна лишь контурами. Наконец они остановились у прозрачного здания. Ему помогли достать его небольшой рюкзак, за что он был благодарен, потому что, хотя его морская болезнь уже прошла, вероятно, от привычки дороги, но был сильно утомлен. Они вместе с ним поднялись на лифте на следующий этаж и пошли по ночному коридору здания, было светло только в коридоре, но можно было справа и слева разглядеть за стеклянным дверями, по-видимому, классные комнаты и аудитории. Его провели в самый конец коридора, и наконец за поворотом они приблизились к светлой большой двери, на которой значилось «For visitors». Ему открыли дверь, вручили этот электронный ключ и распрощались – они еще утром назвали свои имена, но они почти растворились в вечернем воздухе, и сейчас он не мог их вспомнить, отчасти и из-за усталости. Он вошел и закрыл за собой дверь, подумав почему-то, что весь этот сад и эти здания, эти люди – созданы ее воображением, и вот он оказался среди образов ее замыслов, но что он будет делать здесь – он не чувствовал себя воображаемым. Он хотел увидеть ее живую, но наверное она ему сейчас намекала, что более реально сейчас пространство ее замысла, и предлагала войти в него и освоиться здесь.

За дверью, куда он проник, прихожая раскрывалась в две довольно большие комнаты – и становилось ясно, что здесь нечто вроде гостиничного номера для приезжающих в университетское пространство, – он понял, что это именно так, хотя, возможно, и совсем иной университет, потому что так хотело ее воображение. Одна комната была спальней, и там он зажег свет. Там был большой стол, над которым царил плоский экран компьютера. В тумбочке стола был расположен холодильник, как это бывает в отелях. И в маленьком холодильнике было поесть. Он упал почти

на свежую светлую постель, но все же нашел силы, чтобы заглянуть в другую комнату. Там он не зажег света, но отсвет из первой комнаты позволял все увидеть. То была несомненно комната для занятий, и на стене была темная доска, что странно было для университета, где в основном писали фломастерами на белых пластиковых досках. Да это была старинная аспидная доска, и внизу доски в желобке он увидел пунктир из мелков. Он взял один из них, и, потерев в руке, почувствовал пыль и едва уловимый запах мела. Он подошел к огромному окну, за которым было почти темно, и вдруг почувствовал себя почти как дома. Он наконец словно бы вернулся в те здания и те пространства в Москве, откуда он по ее воле, скорей, чем по своей, исчез уже так давно.

7.

Наутро, едва рассвело, он увидел сквозь матовое стекло его спальни – ему показалось, что оно отуманено утренней росой, – он увидел редкие ряды проходящих, идущих куда-то молодых людей с сумками и рюкзаками. Наверное ему показалось, что студенческий голос произнес ученическую китайскую фразу: «Wo bu shi lao shi, wo shi xuesheng», что означало, конечно, «Я не учитель, я ученик». Он отчетливо слышал это и со своего второго этажа. Но голоса как-то быстро прошли, схлынули, и когда он вышел наружу, проворно спустившись по лестнице, то увидел только хвост студенческой процессии, скрывающейся за поворотом дорожки, ведущей сквозь сад. Он сделал несколько шагов в том направлении и остановился: вокруг слышалось словно бы птичье пощелкивание.

Слышал он идущее из окружающего сада мелодичное и равномерное перещелкивание и думал, что оно, как и редкое птичье перекликиванье, не принадлежит людям. Но проходя мимо ветвистых деревьев, он увидел несколько людских фигур в соломенных конусных шляпах – они совершали сходящиеся движения руками, и он понял, что это звучат садовые ножницы, и от каждого звука шел также и острый запах свежесрезанных веток.

Чудилось, что где-то играет тихая гармоника, и голос в кустах повторял под музыку одну и ту же фразу, может быть, то была здешняя утренняя медитация.

Дорожки вели между тем его постепенно к открывающемуся не очень высокому зданию, скрытому в зимней зелени, но сквозь вечнозеленые листья оно вдруг предстало внушительным. По сути, оно возвышалось среди деревьев в лесу. Видимо, все молодые студенты и студентки вошли уже в него, поэтому он полагался просто на свою интуицию и желание. Высокие деревянные двери казались закрытыми, но он прикоснулся к одной створке, и она легко приоткрыла вход в темное пространство.

Он не увидел никого внизу, и вверх вела не лестница, а пологий пандус, который делал поворот, и на повороте светилось цветное стекло витража. Он стал подниматься, освещаясь цветным светом на каждом повороте, ему показалось, хотя он поднимался быстро и не мог разглядеть подробно, что в стеклах светились библейские символы и знаки, и были какие-то сцены жития, и он мог предположить, что здесь в христианские эпизоды вплетались сцены жизни Будды и его бодхисатв.

Наверху, на верхней площадке был поворот, и он оказался на верхнем ярусе огромной аудитории. Еще перед последним поворотом пандуса он уловил ее голос, наверное, он усиливался микрофонами, но не чрезмерно, так что он звучал с нужной необходимой и убедительной силой. На самом деле он был достаточно тихий и как бы матовый, даже слегка приглушенный, подсурдиненный, но именно поэтому заставлявший, немного напрягая слушателя, услышать в голосе все оттенки и обертона.

Он не мог не поразиться, насколько она овладела за это время искусством убеждения, хотя и не понимал, о чем она говорила. Может быть, волнение было слишком велико, и он пытался ориентироваться в этом совершенно незнакомом месте. Но как бы то ни было, он почувствовал, что хотел бы стать сейчас ее учеником и даже подданным.

Внимательная аудитория была заполнена, кое-где даже слушатели и слушательницы сидели на ступенях. Оттого, что он не мог сосредоточиться на смысле ее речи, а слушал только мелодию

ее интонаций, ему показалось, что он даже не может узнать ее – перед ним была незнакомая вдохновенная женщина в незнакомом месте.

Вдруг он встряхнул головой, – сам не понимая, почему он это сделал, и очнулся от наваждения. Смысл ее вещания он не понимал все равно, но теперь и не хотел этого. Она была внизу аудитории, и хотя он видел ее ясно, но она была сейчас недоступна. Он сделал шаг в сторону по верхней галерее, которой заканчивалась в высоте аудитория, и вошел в незаметную почти скромную боковую дверь. Там открылась стеклянная галерея, которая прозрачным мостом вела куда-то дальше, высоко над землей, среди цветов и зеленых листьев, заслонявших обзор.

Так тихо продвигаясь над землей, он оказался в совершенно другом здании. Если первое напомнило ему переделанную методистскую церковь, а может, таковой и являлось, то новое было иным. Возможно, оно служило для приема почетных гостей, – он отметил, что к нему это не относится, – и возможно, для торжественных церемоний.

Все здесь было пышно и создано, как по заказу, в смешанном и эклектическом духе, что даже превышало несколько вкусы здешних мест, – тут, казалось, были представлены стили всех континентов, включая Антарктиду, – он отметил, что в некоторых залах царила тщательно выверенная белая и ледяная атмосфера.

Он поднимался по мраморной лестнице, сужавшейся вверху к дверям, когда заметил сбоку на ступенях темную лежащую фигуру. Несмотря на то что света не хватало, он распознал в этой фигуре льва и, кажется, узнал его. Лев был с краю широкой еще в этом месте мраморной лестницы, что ниспадала вниз, словно бы каменными гладкими волнами. Лев полулежал в какой-то странной и не совсем удобной на первый взгляд позе, – он подумал вдруг, что лев каким-то непонятным подражательным образом застыл в позе лежащего на лестнице мыслителя из рафаэлевской «Афинской школы». Лев полудремал и не сразу заметил его. Он, поднимаясь по лестнице, остановился на несколько ступеней ниже льва.

Сейчас лев был – а то, что это именно тот рождественский лев, он нисколько не усомнился – настоящим зверем, не пытавшимся изобразить человека, надевшего львиную шкуру. Сейчас на льве – это он сразу уловил, но почти не удивился – были какие-то потертые полосатые штаны, обтягивающие его узкие бедра, и довольно-таки нелепая жилетка, не без изящества отделки, но сразу заставляющая вспоминать приказчика из позапрошлого века. Лев полудремал, прикрыв веки, но заслышав его шаги, открыл глаза. И он увидел печальный и сумрачный, несомненно человеческий взгляд зверя в людской одежде. Совершенно не испугавшись, – впрочем, он и заранее не мог ожидать здесь ничего страшнее оживших автоматов, – он сейчас стоял несколькими ступенями ниже, думая, протянуть ли руку для приветствия. Но лев сам сделал легкое движение лапой, словно бы милостиво и вместе с тем ласково и просто, приглашая его к совместному если не разговору, то пребыванию здесь на лестнице. Он сказал, что не хотел его будить, но лев тихим и не очень отчетливым – человеческим, несомненно человеческим голосом, более того, по-русски, произнес, что знал о его прибытии.

Он спросил, помнит ли лев об их встрече на детском рождественском утреннике? Лев ответил, опять так же тихо, что помнит смутно, потому что был слишком возбужден и почти не запомнил отдельные лица, но рад, что хоть что-то их связывает. Он не знал, что сказать льву, который несколько переменил позу, все же оставаясь в демонстративном положении древнего философа, застывшего для созерцания себя самого, но с некоторой дистанции. Он тоже присел на мраморную ступень, которая показалась ему теплой, словно хранила еще солнечное тепло. Так они сидели некоторое время – он и лев – он несколькими ступенями ниже в каком-то полусне, охватившем их, и молчали. Лев вдруг сказал, тихо, но понимая, что его слышат, о том, что здесь в самом дальнем углу территории находится святилище Великой Матери, причем это название – Greatmother Shrine – он произнес по-английски. «Велика ли эта территория?» – не мог не спросить он у льва, понимая, что улыбается, и лев чувствует эту улыбку вопроса. Лев ответил, тоже едва уловимо улыбнувшись, и он понял, что впервые видит львиную улыбку. Лев сказал: «Никто не знает, сколь велика». «Даже Ira?» – спросил он, понимая, что лев может не знать, кто это. Но лев несомненно

понял и ответил, что та, которую здесь принято называть Mater, может, и сама не знает, потому что эта область, находящаяся под эгидою ООН, велика.

Тут только во время разговора – на лестнице было полутемно – он заметил, что песочного цвета шея льва перевязана неровно грязноватым бинтом, который лев, по-видимому, носил с некоторым шиком, как артистический шарфик или платок.

Странно, но он ни разу не удивился, что разговаривает напрямую со львом, и не потому что мог предвидеть в месте обитания Iry разные чудеса вроде говорящих зверей, – он не удивился именно этому льву, потому что еще тогда, в Хантерсвилле на детском празднике почувствовал нечто большее, чем просто радость от хорошей игры артиста, изображающего льва. Он не думал потом об этом, но именно потому, что не думал, но хранил в глубине воспоминаний, смог воспринять все просто и узнать льва.

8.

Ira улетела на вертолете. Только вышли они из дверей этого храма науки, как взметнулись листья на вертолетной площадке. Лев, припадая на одну ногу, в каких-то странных травяных башмаках вышел туда, нервно подметая хвостом опавшие вслед за хвостиком вертолетика иссохшие кленовые листья. Лев стоял на задних лапах в своих странных башмаках и был огромен.

– Ты не сможешь ее уловить, – произнес лев. – Почти никому это не удается, она появляется так же неожиданно, хотя действует вроде бы по расписанию, но всегда опаздывает.

Они пошли по запутанным тропинкам этого леса-сада, и хромающий лев часто останавливался. Они остановились у груды камней, сваленных друг на друга в подобьи некоего порядка. От ветвей и листьев было почти темно, только пятно пробившегося сквозь гущу темной зелени солнца лежало на боку верхнего камня. «Это памятник Ниобее, – почти прошептал лев, – она и ее дети были расстреляны лучами солнечным богом – Аполлоном. Тут в парке есть много скрытых памятников женским образам». Он был поражен такой смутной символичностью, которую смог бы постичь только посвященный, но особенно его поразила тщательность приготовленного памятника.

Он не чувствовал голода, но лев все же привел его в студенческую столовую, где в поздний утренний час им предложили только почти остывший кофе из общего котла и хлеб с сыром, причем когда они сидели на простых деревянных скамьях, он заметил, что лев украдкой достал целую горсть таблеток и запил их коричневым кофе.

Он спросил: «Что это?», но лев молчал. Потом он все же произнес: «Рассказывать мне о себе нечего. Все равно никто не верит. Но я иногда пытаюсь. История моя слишком короткая, гораздо короче моего хвоста. Мне прицепили, надели на меня биографию, как этот хвост, который, некоторые думают, что он искусственный и крепится на особом крючке. А хвост между тем настоящий. История моя коротка, но через меня открывается история моих предков, которая длинна и темна, как моя память до того, как я научился – вернее, меня научили – думать, и у меня появилась память, которую я чувствую как некую тяжесть, и эта тяжесть становится все сильней».

Потом лев неожиданно сказал: «Представь, что мы пойдем с тобой вместе в кино, хотя бы в ближайший городок, что всего в десятке милей отсюда». Лев объяснил, в чем здесь фокус. И он представил, что со львом в автомобиле он поехал в городок с тем, чтобы с попкорном в кульке пойти со львом в кино, нарушая, может быть, законы этого Штата, где есть статья, гласящая, что запрещается ходить в кинотеатры со львом. Наверняка там нет дополнения о том, что льву во время сеанса запрещается аплодировать и разговаривать. А лев хотел именно такого эффекта. Он сказал: «Представь, что мы после кино, которое мы, естественно, не досмотрели, потому что смотреть было нечего, сидим вот, как сейчас, за низким столиком кафе. И входит наряд полиции, который вызвал кто? Ну, конечно же, я, потому что другие не удосужились посмотреть внимательно законы Штата. Я единственный закононепослушный лев, но который знает законы и готов ответить по всей строгости. Правда, наказание неизвестно. Скорее всего, мы отделаемся легким

штрафом, хотя незнание законов (они же не знают, что я знаю), незнание законов не снимает вину, но я думаю, в данном случае все же смягчает.

Так лев болтал, но потом загрустил и стал похожим на людей, которые умудрены настолько годами, что почти потеряли определенный внешний облик. Лев сказал: «Я расскажу тебе мою историю. Потому что кроме меня самого мне было рассказывать ее некому. А себе я ее рассказывал уже много раз».

Лев задумался, замолчал, потом взор его, обращенный в даль, принадлежавшую только ему, стал тускнеть. Лев прикрыл в глаза и впал в дрему, и затем опустил голову на свои лапы, лежавшие на столе. Видно было, что его бодрствование прерывается все время усталостью, которая, по-видимому, неизбежно переходит в краткосрочный сон.

Он смотрел на волнистую голову льва с невидимыми сейчас глазами и думал, что видит сейчас свое отражение в странном зеркале. Тогда – давно уж – он, собираясь только вновь стать юным и заново поступать в университет, он сидел перед зеркалом и увидел вдруг там женское лицо, которое, как ему показалось, когда он встретил Iru в университете, он узнал. Ведь тогда он уже подумал, что обычное зеркало обманывает нас. Мы думаем, глядя в него, что видим себя, но на самом деле видим то лицо, которое видят другие. Для внутреннего нашего образа и лица зеркало не придумано. Он думал, что приблизившись к Ire на расстояние шага в ее ашраме – или как еще назвать это место, – он ее не достиг. Она опять недоступна, а вместо своего облика предложила – конечно же, бессознательно – созерцать нечто странное и непредставимое, но несомненно реальное. Этот образ, словно бы в другом зеркале – дремлющего льва в студенческом кафе – намекал на что-то совсем иное, сквозь которое и можно будет попытаться все же найти ее.

Глядя сейчас на неподвижную тень льва на полу кафе, он вспомнил вдруг песню по-французски, которую слышал в машине по радио где-то на границе Бельгии и Франции, – сквозь шум помех, в ворохе слов он смог все же разобрать: «Не покидай меня, дозволь мне тенью стать твоей собаки», – но у Iry не было собаки, и ему некем было становиться, сейчас он подумал, что мог бы стать хотя бы на время тенью льва, но лев не принадлежал Ire.

9.

Через некоторое время лев пробудился и заговорил. Когда он говорил тихо, то речь его была отчетлива, хотя все же несколько искусственна. Когда же начинал говорить громко и страстно, то речь становилась несвязной и переходила в рычание. Лев сказал:

– Я расскажу тебе о себе. Это будет долгий рассказ. Нас будут прерывать, мы сами будем прерываться для обиходных дел. Так что не жди непрерывности. Но Ira мне говорила о тебе... и она говорила, что ты выслушаешь. Так слушай.

Лев начал.

Рассказ льва

Не жди от меня связного рассказа, сам я помню далеко не все или совсем не то. Мне – за меня – наверное, многое рассказали люди. Они подсказали мне, кем я был, и наверное, как надо говорить об этом. Но все же, хотя я не помню своих родителей, и себя почти не помню в детстве, все же попробую.

Да, я, урожденный лев, я был белым львом – у меня была и кличка в зоопарке, – но я не хочу ее повторять, впрочем, у меня было вначале даже несколько прозваний: толстяк, лежебока, ленивый и так далее, каждый норовил меня обозвать по-своему, потому что я по натуре был незлобивый и добродушный, как потом мне говорили, сам я этого не сознавал и не помню, зверь, – вечно валялся где-нибудь на траве – там зоопарк – в этом университетском зоопарке города Florence (что в переводе на европейский означало бы Флоренция, то есть можно сказать, что я родом из Флоренции) – зоопарк был огромный, за львицами бегал охотно, но все же как-то отвлеченно,

все отмечали – это потом же мне говорили люди – отмечали мою понятливость и как бы созерцательность, что для ленивых зверей, особенно львов, понятно, но во мне отмечали и что-то иное.

Я вырос нормальным взрослым львом, правда, с некоторыми задатками, которые, впрочем, остались бы втуне, если бы не начались опыты (возможно, успешные в их понимании) в университетской лаборатории. Я стал подопытным львенком, почти добровольно, – не шучу. Я привязался к некоторым тем людям, как собака. Я не кусался. Конечно, я мог их съесть, и они это знали, но всегда были начеку, к тому же потом мне расхотелось. Не только потому, что еды было вдоволь, просто это стало неинтересно.

Там было несколько пар белых львов. У меня тоже была львица, хотя для прайда возможностей не было. В зоосадах, в зоопарках тебя не особенно спрашивают. Были и львята. Ты знаешь, у меня была львица и львята. То есть с человеческой точки зрения я был нормальный женатый лев. Потом уже я видел свою львицу и львят там, в университетском зоопарке во Флоренс. Мне не рекомендовали этого делать, можно сказать, запретили, но я все же пошел. Я надвинул большую шляпу на глаза и пошел в толпе посетителей. Я видел их издалека. Я видел солнечную поляну, но они были в тени, только белые львята иногда выбегали на солнце. Я не мог сдвинуться, потому что не хотел, чтобы они меня заметили. Хотя мне хотелось туда устремиться, но не мог же я снова стать на четыре лапы. Мне предлагали вернуться и снова стать зверем, но я не захотел, хотя и хотел. Я правда хотел вернуться в то счастливое состояние, но и свое нынешнее сознание я не хотел потерять.

На меня давно обратили внимание. Меня вначале наблюдали, мне это тоже было заметно, это я сейчас припоминаю, иногда я даже видел далекие солнечные зайчики от бинокля, в который смотрели издалека за мной. Мне было даже приятно такое внимание (я пытаюсь сейчас перевести на человеческий язык те отрывочные, непостоянные и смутные ощущения, которые испытывал, которым не придавал значения и которые не запомнил бы, если бы не пришел в сознание, то сознание, которое ты видишь перед собой, то, что оно сродни человеческому, тебе понятно, но то, что оно иное, тоже, я думаю, понятно).

Меня, как я потом узнал, люди давно присмотрели для своих жестоких экспериментов. Там были и другие звери – это я узнал потом, когда меня перевезли уже в Хантерсвилл для опытов, продолжавшихся много лет. Меня не спрашивали. Мою подпись не требовали. Посадили однажды в вагон, в контейнер на колесах, и все.

Мог бы я предположить, если бы умел делать какие-то предположения и умозаключения, что готовят меня для бродячего цирка. Но я не сделал тогда такого предположения, потому что не умел, да и вообще не хотел заглядывать в будущее. Но все оказалось гораздо хуже, – я сейчас в полном своем львином сознании употребляю степени сравнений – в вашем языке, в грамматике вашего человеческого языка, которым все же владею, – но на самом деле то, что я чувствую сейчас, передавая те мои чувства, не поддается простому описанию. Собственно, отчасти потому я и стал писать стихи, чтобы рассказать всем, вам и себе тоже – не знаю, в первую ли очередь, то, что я переживал тогда. Ведь звери бессловесны. Рычать и плакать они умеют. Даже рисовать, – некоторым из них, например слонам, люди вручили кисти. Но что те же слоны запоминают из нарисованного? Думаю, мало что. Они мысленно возвращаются к своим творениям, когда жуют свои свежие веники, которые связали им люди? Думаю, почти нет. Но раз нет памяти такой, нет того, что вы (да и все мы) называем рефлексией, то и нет осознания происходившего и происходящего. Правда, нет и страдания постоянного, которое несет в себе человеческое – в моем случае не совсем человеческое – сознание.

Так вот, меня перевезли в научный центр в этом городе, чтобы проводить опыты, как над большой белой мышью, – эксперименты, как я узнал потом, имевшие и военное значение, но с утратой затем финансов на военные нужды превратившиеся уже в чисто научные, хотя тоже весьма секретные опыты. Они хотели создать, как я понял потом, группу зверей-шпионов, которые бы свободно проникали на враждебную территорию, – кто на них обратит внимание, – и затем возвращались с нужными сведениями.

Был ли я один лев там? Точно не знаю, знаю во всяком случае, что я единственный выживший лев, а остальные, если и стали полужертвами неудачных опытов и остались в живых, то их вернули по зоопаркам, развезли опять по волшебным стеклянным клеткам, может быть, чтобы показывать детям полуживого и полубессознательного льва.

Но я остался в живых, хотя в результате всех долголетних опытов, операций и приобрел сознание, осознание, по сути, что я теперь не зверь, хотя ясно, что и не человек, но приобрел также множество непонятных болезней, вот почему у меня больные глаза, например, мне говорят, не смертельных болезней, но я и не здоровый обычный лев.

Почему я говорю в основном по-русски, а по-английски с большим трудом? Да потому что обучали меня человеческому языку вначале русские ученые, которые работали в Хантерсвилле. Да, я думаю не так, как вы, и у меня есть своя непонятная для вас теория о том, что такое мышление, но все же вы меня иногда можете понять.

Мне вживляли нейрочипы, пытаясь расширить возможности мозга, добиться, чтобы во мне появилось то, что вы называете абстрактным мышлением, но все было напрасно. Львиные извилины были устроены, наверное, по-иному. Помню ли я это время полубессознания своего? Помню только страдание. Помню ли что-нибудь из счастливой звериной жизни? Не помню. Вернее, как что-то пересказанное мне кем-то другим.

Все что я говорю о своей жизни в зоопарке, я рассказываю со слов людей, поведавших мне о ней. Мне нет оснований им не доверять, и все же я отношусь недоверчиво, потому что сам почти ничего не помню. Нет, все же фрагменты какие-то смутные появляются, но я не могу сказать, не сам ли я нафантазировал их, видя какие-то человеческие фильмы или прочитав рассказы о животных?

Мне говорят, что я теперь мыслю неотличимо от человека, но я иной, это надо понимать по всему своему устройству, по физике (если не по химии), по своей истории и по истории своих предков, истории, которую я надеюсь когда-нибудь восстановить, рассказать ту долгую историю безымянных зверей, – правда, некоторые из которых носили клички и даже значились в каких-то реестрах.

Ведь не написана история животных, есть история видов зверей, но разве этого достаточно? Я хочу восстановить историю одного своего львиного рода. Вы в изучении того, что называете эволюцией видов, позабыли, впрочем, вы никогда так и не смотрели на нас, – об истории хотя бы одной звериной семьи.

Мы не имели своих прав, у нас были свои обязанности, – это правда, если некоторые из нас были домашними животными. Потом у нас появилась масса защитников, да, нам расписывали иногда родословные, например, породистых собак, но ни одна собака – ей не дали такого права – сама не написала историю своего рода.

Некоторые думают, что я – переодетый артист, да я и сам так иногда думаю, – какой-нибудь человеческий волк в львиной шкуре. Мне хочется иногда ее сорвать с себя, как шубу, – в ней тесно и жарко. И тоска постоянная от сознания... от самого сознания, но самая большая печаль от того, что расстаться я с ним не хочу.

Лев замолчал, а затем пробормотал: «Знания распространяются как инфекция. Словно зараза какая. Стоило мне что-то узнать – был вначале какой-то щенячий восторг, как я уже готов передавать эти знания другому. С львиной пеной у рта я готов защищать то, что только что узнал. Я становлюсь учителем, не перестав еще быть учеником, еще не придя в сознание. Я становлюсь просто передатчиком, просто придатком знания. Но где я? Где я сам? Эпидемия знания поразила всех и меня прежде всего как неофита». – Лев тут уже почти рычал и действительно брызгал слюною. Сонный вид его постоянный сохранялся, но в этой смутной глыбе разгорался опасный очаг. Видно было, что он много об этом думал, и повторял про себя такие речи, чтобы выплеснуть здесь ему.

Но он сказал:

– Успокойся немного, благодаря именно такому положению дел ты и стал тем, кем стал, – подозреваю, что только то, что ты был учеником и тут же – ты почувствовал – учителем – помогло тебе создаваться и создаваться быстро.

Лев произнес:

– Да, и примерно такими словами мне об этом говорила Ira, как ты ее называешь... я видел ее так редко... но как ни странно, помню все слова ее наизусть.

Он просил льва, почему тот препоясан веревкой? Причем вервие было смешно продето на штанах в петли для ремня, так что эти потертые, хотя когда-то, вероятно, модные полосатые штаны держались на честном слове. Вообще веревка, завязанная узлом на животе, выглядела вызывающе. Лев-поэт ответил, что это в знак нерушимой скорби о тех зверях, которых мучат, убивают и съедают ежечасно люди. «Мои болезни, – добавил он, – тому подтверждение, я и живу только, чтоб напоминать вам, людям, о том ужасном мире, в котором вы – мужчины и женщины – живете. Мало того, что друг друга убиваете, каждый норовит и себя убить. Может, и я этому научился у вас, вы заразили меня так же, как заразили, сами того не желая, множеством других болезней.

Я подаю постоянно петиции в ООН и другие организации, но мне не верят, считают, что я загримированный, а не истинный лев. Как доказать, если у меня нет документов, все документы по моему рождению, созданию сожжены или засекречены. Хотя проект закончен, но я все остаюсь под грифом “Секретно”».

Он взглянул на льва, и ему представилось, что некий секретный гриф незримо раскинул свои крыла над львиной спиной, так что перед ним явился удивительный зверь: тулово и голова льва с крыльями грифа – истинный грифон нашего времени.

Между тем лев продолжал:

– Я поверил Mater, потому что поверил, что она способна понять меня и нас. Каждый день я читаю изречение, выбитое здесь внутри центральной ротонды:

Аки Лев и там, о Мати, великА

Оно читается слева направо и справа налево одинаково, древнее какое-то изречение, и не знаю, кто его записал, но вряд ли Ira, – да там эта надпись замкнута кольцом – в ней я вижу нерушимость данного негласно ей слова о том, что Лев и Мати едины, что они связан неназываемым союзом, что новый мир и альянс между человеком и зверьми возможен.

Вы хотели бы держать меня за сервантесовскую обезьяну-предсказательницу. Но я прочел многие книги – ваши книги – и поэтому готов ко многому, я защищен от вас, хотя и болен постоянно. Правда, большую знаний ваших мне вживили, не знаю точно как. Поэтому и сведения о многих ваших книгах у меня отрывочные и неполные. Но иногда что-то всплывает – то, что я сам своими глазами не читал. Вы думаете, что я тот мудрец, на которого недостало простоты, а я думаю, что я простец, на которого недостало мудрости.

Вы говорите, мужчина выше женщины, и тут же – женщина выше мужчины, я говорю: есть лев, и противоречие снимается.

10.

Продолжение рассказа льва

– Наверное, я тебе напомнил Шахеразаду, которая ночь за ночью способна рассказывать свои истории, прерывая лишь для сна дозволенные речи, – в моем случае – день за днем, потому что я и днем все время впадаю во временный сон.

Но он сказал льву, что глядя на него вспомнил дремлющего льва в келье святого Иеронима.

– Да и много других лежащих окаменевших львов во сне. Но мне всегда помнится московская фотография, где два льва, правда, по-моему, не спящих – на верху ворот.

– «Львы на воротáх»? – спросил он. – Английского клуба?

– Мне все равно, английского или американского, – не понял или сделал вид, что не понял, лев, – я почему-то именно этих львов вспоминаю, может быть, потому, что мне не хватает товарища.

Он не стал говорить о парных львах, на которые опирается своими трехпалыми ступнями статуя Иштар. Он не стал говорить льву и о том, насколько удивительно внятно и чисто тот произносит слова, когда говорит тихо, но когда начинает говорить громко и страстно, то речь его становится невнятна и временами прерывается рычанием.

Лев между тем продолжал:

– Но все же много говорить не смогу и не буду. Многое надо сохранить в себе самом. На будущее. Мое прошлое столь глубоко, что не хочу его потрошить. Все это ради других зверей, жизнь которых несказанна и нерассказанна. Я первый, но я должен охранять сокровенность их жизни.

Никто меня не наставлял на путь, впрочем, их было много, но я дошел в своей неприкаянности до того, что стал выступать, как медведь, на ярмарках. И именно Ira вывела меня однажды, буквально взяв за руку, за лапу оттуда. Я помню, как мы отразились в многочисленных аттракционных зеркалах, на детских площадках. Я заметил две фигуры вдалеке в зеркале. Я не сразу понял, что это были мы с ней вдвоем. Я видел две наши фигуры: одну большую мою, а вторую ее, маленькую, – ее я держал за ручку. Словно отец уводит с детского праздника свою непослушную и разыгравшуюся дочку, забывшую о том, что у ней есть дом. На самом деле это я был ее ребенком, которого она уводила из призрачного мира в мир серьезных дел и мыслей. Я благодарен ей за то, что она привела меня сюда, где я стал учиться. И где я смог сам что-то начать писать, совершенно неожиданно для меня и для всех.

– Скажи, но неужели ты не был никому интересен, ты, единственный в своем роде лев, обретший человеческие черты? – спросил он льва.

– Опыты на мне внезапно прервались, – отвечал лев. – Финансирование закончилось, работы завершились, и я остался на обочине. Они не знали, что со мной делать. В клетку или в зоопарк я уже не хотел, а они все же – надо отдать им должное – не решились вернуть меня в прежнее звериное состояние. Да и не были уверены, что у них получится, ведь можно было убить меня ненароком, а они были отчасти гуманистами. Говорить обо мне публично они тоже не рисковали, – работы были секретные, – мог разразиться грандиозный скандал. Они предпочли отпустить меня с миром и в мир. Я пристроился к бродячим циркам, стал выступать перед детьми, на детских праздниках – ты меня видел тогда. Все так понимали, что во мне, то есть в шкуре льва, сидит артист, который настолько сжился со своей ролью, что не хочет оттуда вылезать. Что-то доказывать и рассказывать было бесполезно – никто мне не верил. Ведь в свое время, в далекие уже века существовали такие удивительные автоматы, которые были умнее людей и многих вводили – даже самых проницательных – в заблуждение. Но все же некоторые подозревали, что в глубине этого хитроумного автомата таится человек, и рано или поздно его там находили. Так же и про меня они думали, что где-то во мне спрятан человек, но распахивать мою львиную шкуру, как шубу, все же не решались. Только Mater поняла, кто я такой, и поверила мне. Она вывела меня за ручку из этой детской комнаты смеха, из прекрасного, обманчивого мира зеркал на открытую свободу.

Когда я тогда пытался обратить внимание на свое бедственное положение, я выстриг на шерсти ноги надпись «Prisoner of the USA» и посылал свои фотографии в ООН. Но меня заставили забрить это место и приказали прикусить мой львиный язык, потому что меня как человека-льва нет на свете. Ira вернула мне язык и вывела на свет из темноты.

II.

Продолжение рассказа льва

Лев пробормотал вдруг что-то вроде: «Ягне-агнец-смени свой гнев – праведный – я не гнев – но Ira-Mater и лев».

Он ничего не понял и переспросил, что лев имеет в виду. Лев ответил с некоторой важностью, что с тех пор, как он открыл в себе способности соединять слова нескончаемой цепью – писать стихи, – он произносит такие неразборчивые отрывки.

Лев пытался рассказать о своем нестройном и достаточно хаотичном образовании, хотя люди причастные к этому прилагали, по-видимому, большие усилия: «Немного я смог запомнить из того, что происходило со мной, когда мне подарили, вернее, вручили сознание». Знаю два типа, два образа обучения – тип перегонного куба и тип открытый, пришедший буквально из школы перипатетиков, – прогулки в открытом саду или лесу, что мне особенно нравится.

Лев стал рассказывать о тех, с кем ему довелось встретиться, прежде чем он добрался сюда. То были и кабинетные ученые и те, кого носило из конца в конец света, и потерпевшие кораблекрушение в бурях житейского моря и выброшенные на этот остаток суши. Он полагал, что его специально знакомили с ними со всеми, хотя все происходило словно бы невзначай, само собой – как любопытство, совершенно понятное, с их стороны, – наверное, полагали, что ему, новичку в мире людей, такой опыт будет важен.

Некоторое время он общался и с бывшими гражданами и гражданками из России, и это ему помогло, он думал, не только в узнавании русского языка, но и для узнавания новых сторон жизни. Был среди них даже и один писатель, который давно уж замыслил грандиозный роман, но записывал пока только отдельные фразы или отрывки, которых, впрочем, как утверждал лев, накопилось много. Он помнил некоторые фрагменты наизусть – так, по-видимому, писатель обучал льва письму, внушая ему, по словам льва, понятие о каком-то эпическом равновесии фразы, о звуковой ощутимости предложения. Лев запомнил, в частности, почему-то такую сентенцию, как он утверждал, дословно: «В наши больницы больной помимо своих болезней приносит – обязан приносить – часть домашнего гардероба, кухонную утварь и запас еды на неделю». Непонятно, собственно, из какого времени, из какой реальности был этот писательский опыт, но на подобных примерах лев осваивал стилистику. Писатель заразил его тягой к письму, так что лев вспоминал его с большой, можно сказать, с обильной благодарностью.

Лев учился многому понемногу, и у него было много – правда, непостоянных и случайных – учителей. Но все же ему было нелегко, потому что он один был такой ученик и товарищей у него не было. Эксперимент ведь, как ему говорили, удался до конца только с ним. Среди его учителей ему особенно полюбился один, историк, – а их перебывало за время его учебы несколько – довольно-таки молодой американец, профессор, который понял, как надо учить льва. Именно этого льва, который едва научился считать по-человечески до десяти, но оказался наделенным горячим и пылким воображением, поэтому картины истории его взволновали. Впрочем, справедливости ради, надо заметить, сам лев об этом, хотя и неохотно, говорил – поскольку данная область человеческого знания до поры была ему скучна – что он знал, конечно, что такое сто и даже тысяча – как же без таких скучных сведений понимать столетия и тысячелетия. Лев признался даже, что знает, что такое число «пи», и запомнил мнемонически одну магическую числовую формулу: «есть и пить, – добавить единицу, – получишь ноль», с трудом, но можно было все-таки догадаться, что речь идет о формуле Эйлера: «е» в степени «и»«пи» плюс один равно нулю.

Но как бы то ни было, лев погрузился, насколько мог, в события человеческой истории. Безусловно, в таком интересе сыграло свою роль то, что символическая фигура льва присутствует во многих людских событиях и на гербах и на полотнах знамен. Ричард Львиное Сердце и Святой Иероним со свои собеседником-львом были равно дороги ему.

И потом неожиданно – трудно сказать, сам ли он придумал, или друг его историк подсказал идею, – лев решил написать историю зверей.

Задача, как сразу стало понятно, предстала непомерно трудной и фантастической даже, потому что можно ли написать о чем-то, если нет письменных источников и рассказов очевидцев. Ни писания, ни предания в зверином мире не существовало, так что льву предстояло первому туда это внести, основываясь, конечно, лишь на ненадежных и пристрастных человеческих источниках.

Такая история, которую задумал лев, не должна была быть чем-то похожим на родословные породистых лошадей и собак. Потому что те истории создавали люди и только в своих людских интересах и для людских целей.

Лев понял, что должен писать, написать историю зверей, начав с истории львов. Как ему сказал его друг-историк – задача неразрешимая. Написать историю «изнутри» невозможно – ведь свидетельств почти нет – только твой опыт и следы памяти, которую ты перенес из звериной во «взрослую», как сам лев иногда называл человеческую – и уже его жизнь. Но лев все же на что-то рассчитывал: на себя самого, на призрачную память о «рассказах» других львов – своих родственников и друзей, и все же на свидетельства жизни животных в человеческом мире. Свою родословную лев надеялся восстановить, полагая, что это не более сложная проблема, чем найти следы своих предков в веках для простого человека, не из родовитой семьи, чья фамильная история запечатлена другими.

Лев попытался и сам писать что-то «литературное», поощряемый ироничными похвалами писателя. Непредсказуемо и неожиданно и для себя, и тем более для своего приятеля-писателя стал создавать работу под непонятным заголовком «Колесо эроса» – происхождение названия он не мог объяснить. Из той давней своей работы лев помнил лишь несколько отрывков – все остальное было осмеяно и уничтожено им совместно с писателем, который сказал ему, что нельзя писать о том, о чем не знаешь, а переносить свой львиный опыт в человеческую жизнь пока преждевременно. Что он имел в виду, писатель не пояснил, но лев запомнил эти слова надолго. Огромный по замыслу, этот трактат начинался словами (по сути, лев начало только и запомнил): «Женщина, полностью обнаженная, целомудренна. Целомудренность – это и есть обнаженность. Но обнаженность, открытость миру тайная, внешне же скрытая. Но стоит лоскутку, мотыльку материи пролететь рядом с нагой женщиной, пусть на миг, на нить одну, закрывая ее, как появляется соблазн. Соблазнитель поэтому всегда обнаженную женщину мысленно одевает, чтобы потом совлечь этот покров с тайны. Эрос – истинный эрос – там, где все обнажено, но есть малая часть скрытого – в чем двустворчатость тайны этого мира».

Все остальное лев уничтожил и по совету писателя постарался тщательно забыть, что, кажется, не совсем ему удалось. Писатель сказал, что все начинали с подражания. Лев спросил, кому же он подражал? Писатель справедливо заметил, что чем труднее в данном случае указать первоисточник, тем серьезнее есть основания считать, что ты собрал в своей стилизации со всех понемногу.

Он спросил все же льва:

– Что ты сам думаешь о том, как появилось, явилось твое сознание? И тем более, что ты научился даже что-то связное писать, ведь не только твой учитель-писатель, скажем так, повинен? Чувствовал ты этот переход? Может быть, как пробуждение?

– Ты просишь невозможного, – ответил с невозмутимостью лев. – Ты считаешь, что я как новичок-неофит мира людей лучше могу разобраться в том, в чем не разбираетесь вы... и что нащупали лишь опытным путем? Никто мне не объяснил, что значит, что я обрел сознание... то есть ваше сознание. Надо мной просто ставили эксперименты... так же и над другими львами... и некоторыми зверями... моими знакомыми из зоопарка. Но лишь со мной... к радости или к сожалению... опыт удался. Правда, я потерял белый цвет и стал каким-то пятнистым, словно надев какую-то маскировочную одежду, чтобы стать неузнаваемым. Сейчас эти пятна расплылись и побледнели, но о белоснежном льве осталось лишь мое воспоминание, которое почти некому подтвердить. Они сами не знали, радоваться или горевать... потому что ничего не поняли... не поняли, почему это удалось... единичный случай мало что для них значит... никакой закономерности вывести им не удалось... поэтому они на меня, кажется, даже обиделись... притом по ходу эксперимента я чуть не загрыз одного сотрудника... уже каким-то проблеском самосознания, как вы говорите, тогда я обладал... и притворился, что мне не больно... хотя на самом деле временами была дикая боль, когда мне вживляли в голову микрочипы и какие-то еще устройства... аппараты. Я хотел тогда разом все прекратить... я прикинулся тогда умиротворенным и задремал для виду... и они

расслабились на некоторое время... тогда они обсуждали... я немного уже понимал вашу речь... не пристрелить ли меня или усыпить... это было именно то, чего я тогда добивался... но потом они поняли, что эксперимент со мной был слишком дорогой... чтобы так прерывать его на полдороге...

– Но потом ты стал тише?

– Да... они подобрали средства для успокоения... да и боль почти прекратилась... угасла как-то... хотя все это продолжалось долго... я почти месяц жил в смирительной рубашке.

– Но ты понимал вообще, что происходит с тобой, чего от тебя добиваются?

– Ira сказала однажды мне: «Глядя на тебя, мы лучше себя понимаем, вернее, лучше понимаем бездну своего непонимания. Как ты меж людей, люди – меж ангелов, не понимая, чего от них хотят.

– «Ангел» ведь это «посланник»?

– Да, от мира высшего в мир людей, а я чувствую себя посланником среди вас из мира нижнего – мира зверей... точнее, я посол в человеческом мире... я хочу основать здесь посольство зверей.

Более удачной, чем все литературные опыты, – и здесь лев был неколебим в своей уверенности – он полагал попытку написания свода законов для нового существования и союза людей и зверей. Проект был, конечно, совершенно утопическим: там первым делом объявлялось перемирие на небольшой для начала срок между зверями и людьми, предполагавшее, что те и другие не будут друг друга убивать и поедать. Причем, что уж совсем комично, со стороны животных лев как царь зверей готов был выступить гарантом выполнения моратория на начальный срок. Со стороны людей, понятно, никто и не собирался предпринимать никаких шагов. Лев, правда, надеялся на отдельных вегетарианцев и общество защиты животных, но на его – львиные – петиции оно отвечало многозначительным молчанием, про себя, наверное, думая про него, что это какой-то очередной безумец, притворившийся львом.

Лев решил тогда, что первый шаг к тому, чтобы ему поверили и хоть в какой-то степени признали легитимность, – это учредить посольство царства зверей внутри мирового сообщества людей. И первым представителем и послом должен был стать именно он. Он разработал устав и с помощью знакомого художника, понятно, что человека, создал герб и флаг. Причем флаг, чем он гордился, он придумал совершенно самостоятельно, хотя в качестве прообраза, не скрывая это, взял картину Франца Марка «Судьба животных» с ее безумными разлетающимися цветными линиями – никаких звероподобных образов, по мнению льва, и не должно было присутствовать на флаге – здесь должно было быть представлено трагическое и радостное, невыразимое внутреннее чувство от вхождения зверей в мир людей и встречное чувство.

12.

– Что сказать о моем обучении писательству? – продолжал лев, – оно проходило почти одновременно с обучением письму и другой грамотности. Помню, Ira мне задала конспектировать толстейшую и скучнейшую книгу «Women, art and society», но я больше смотрел картинки – там они в основном нарисованы женщинами, и пытался им подражать рисунками. Выходило не очень хорошо, ведь я только учился держать карандаш лапой, пока мне не догадались сделать специальную перчатку на правую лапу. Мне казалось, что повторяя контуры картин, изображенных женской рукой, я следую мягкости их рук и лучше понимаю их. Когда я написал первое стихотворение – правда, ужасное, – Ira отнеслась к таким моим попыткам скептически, но прошел год – какое там – меньше, и я обрел, мне кажется, такую силу, что мне не хочется ей даже показывать. Я не нуждаюсь уже в оценке, – гордо сказал лев, – но лишь в том, чтобы меня слушали иногда.

– Наверное, Ira хотела, чтобы я становился ее секретарем из самой природы, так сказать, и чтобы я предстательствовал перед ней, например, в ООН, но мне интересней и важней была судьба зверей, хотя судьба женщин в истории тоже была показательной и в чем-то сравнимой, и все же совсем иной, чем наша.

– Все же помню некоторые высказывания – из той ли книги? – когда художник Дюрер снисходительно и удивленно восхищался картиной восемнадцатилетней Сюзанны Хорнебут, а эта кар-

тина была продана за один флорин, но с тех пор, а когда уж это было, ни один великий художник не ценил красоту, перенесенную женщиной на картину.

– Не буду вдаваться во все подробности моего обучения и литературных успехов, но с некоторых пор я стал чувствовать, что предлагается роль как бы придворного поэта. Не требовали от меня воспевать или хотя бы освещать все происходящее здесь, но я понимал, что от меня здесь чего-то ожидают, и это мне не очень понравилось.

Лев сказал, что все же решится прочесть свое стихотворение, – оно о нем самом, – написано извне, но и из внутри и, возможно, еще откуда-то. Лев раскрыл сложенный вчетверо листок и протянул ему, и когда он стал читать его глазами, лев начал читать стихотворение вслух со всеми неправильностями и выразительностью своей декламации:

Снежный лев (Leo, the poet)

Человекобез-образный
Человеко-бесподобный
Лев-поэт милостью божье-человечьей
тихий, смирный, грязный, как овечка,
Перед нами предстоит

Он устал на задних лапах
Душно в его старой шкуре

в глазах больных трахомой
вековая грусть зверей

Он пришел, некрасивый, сюда, хромая
с пыльной кистью, с бахромою
снежной пеною хвоста

Белый лев из Алабамы
из университета града Florence
распростясь с своею львицей
стал поэтом меж людьми

Речитативом он произносит прошенья
(с книжкою «Рейнеке-лиса»
на немецко-львино-русском
в молью траченной подмышке)

С флагом небывало-пестрым
он последний царь, предстательствует
от посольства всех зверей.

Он стоически
повторяет проникновенно
лапами помавая отнюдь не геральдически
Лево-агнец
но вдруг он оглянется огненно
Словно грозный ангел в уголках его глаз промелькнул

Он восстал из тысячелетней пены –
человеческий вассал
встал из снега
но в холоде человеческих взглядов будто бы скрылся

Не исчезнув, не истлев
в зимнем зоопарке
над вратами дремлет лев
в виде белой арки

Но не успел он оценить стихотворение льва, как небо над ними зашумело, оттуда вырвался маленький вертолет и пронесся над самым столиком, за которым они сидели со львом. Лев пробормотал только что-то вроде «Небесная инспекция». Вертолетик спикировал смело на площадку прямо рядом с ними, взвинтив маленький вихрь из кленовых остролистьев, и из кабины вышла в герметическом шлеме несомненная правительница здешних окрестностей. Это была Ira.

Геометризм каких-то стилизованных форм поразил странно его, и хотел он даже спросить, в роли ли она кино-Аэлиты или валькирии некой, но не спросил. Хотел он уже задать вопрос: «Не из Голливуда ли ты?» Он чувствовал, как губы его растягиваются в улыбку, которая со временем приобретает услужливый изгиб. Но лев смотрел как-то хмуро и в сторону. Но Ira почти не обратила внимание на их мимику и сказала, взглянув себе на запястье, что вернется к ним через полчаса. Ему показалась, что в воздухе блеснуло слово «PANDORA». Ira молниеносно удалилась, оставив в оставшемся воздухе некое ощущение головной или зубной боли, которое он и лев восприняли одновременно, но не признались друг другу – они хотели, чтобы она вернулась.

13.

Некоторое время они сидели молча.

– Думаешь, она появится здесь через полчаса? – спросил он.

– Не знаю... никто не знает... не думаю, что и она знает в сию секунду.

– Ты лучше все же понимаешь здешние порядки.

– Никто не может ничего предсказать... о ней, она может исчезнуть или появиться, когда ей только заблагорассудится, – витиевато отвечал лев.

– Ты нужен ей? Но зачем?

– Затем же, зачем и ты... без нас ее проект, как говорится, не может состояться...

– Я вовсе не собираюсь участвовать в проектах, вписываться в чьи-то планы.

– Ira говорила мне кое-что о тебе... она была некоторое время твоей студенткой...

– Не нужно говорить об этом...

– Не буду... только скажу, что ты теперь верноподданный студент ее универсума...

– Этого сада что ли? Зоосада отчасти... не в обиду тебе...

– Нет... я не обижаюсь... меня трудно обидеть, – медленно произнес лев, было видно, что он все же обиделся, – да нет, универсум – это для нее в некотором смысле целый мир... она то там, то здесь, то выступает в конгрессе США, то встречается с Папой Римским, то в каком-то совете Юнеско речь держит...

– Верится с трудом... ты веришь всему этому?

– Так говорят вокруг... я верю потому, что она об этом совсем ничего не говорит... она в непрерывных отлучках и движении...

– Но что здесь за место? Правда, что оно словно бы под эгидой ООН?

– Правда. Давно затевалась такая территория – то ли хотели создать место примирения, как мне довелось слышать, то ли нечто вроде культурной резервации индейцев, но в результате, по-моему, какого-то конкурса создалась совершенно неожиданно территория проекта мирового университета... или что-то в таком роде... универсума...

– И что Ira?

– Она из главных идейных вождей этого племени... если не главная... во всяком случае, ее прочат... скоро должна произойти ее вроде как тронная речь...

– Мне кажется, что это бред коллективный какой-то... она не могла за год всего так измениться... и так вознестись...

– История, насколько я слышал, началась давно... по крайней мере, десять лет назад... Ira была студентка какого-то престижного американского университета... потом участвовала в каких-то программах нового обучения... но она их быстро переросла... и у нее появились мудрые – так она говорила – покровители... но она несколько раз возвращалась в Россию... по-моему, тут есть привлеченные из Москвы студентки, но она занималась просветительской миссионерской деятельностью и перемещалась по миру – это был феминизм на новом уровне... и новые способы обучения, учения.

Он подумал, что никого из прошлогодних осенних студенток здесь пока не увидел, даже из самых продвинутых: Беренштейн, Скукогореву, сестер-близнецов Реву и Люцию.

– Пойми меня, – сказал лев, – то, что я тебе передаю, – все понаслышке, она не посвящала меня в свои планы и рассказывала о себе лишь крайне скупо, так что ты можешь думать, что я тебе рассказываю историю, придуманную львом-фантазером.

– Нет, все, что ты рассказывал, похоже на истину, хотя бы и не в последней инстанции... ведь ты много месяцев находился здесь и говорил со многими... меня, правда, смущает, что так легко все у ней получается... наверняка есть ее противники.

– Ну, конечно, где их нет, – тихо сказал лев, – но несмотря на международный характер всей этой области – а ты видел, что здесь студенты со всех концов света... и есть даже один зверь-студент... все же американская часть превалирует... и существуют разные партии, которые совершенно по-иному смотрят на будущее здешнего места, но я на самом деле все идеализирую, поэтому толком тебе тут не могу помочь...

Вдруг он решился спросить льва то, о чем никогда бы ни спросил никого из своих друзей и вообще никого из людей:

– Знаю, что ты и здесь мне не можешь помочь советом... и все же... хотя мой вопрос странно для тебя прозвучит... зачем я Ire?

Лев не выразил удивления, но надолго погрузился в свою привычную уже полудрему, хотя глаза под полуприкрытыми веками его светились:

– Некоторые философы, насколько я помню, назвали людей полузверями, а я, возможно, получеловек, поэтому вряд ли скажу что-то правдивое... в случае Iry... с ее безумной разорванностью между мильоном дел... любовь вряд ли может быть непрерывной... к тому же она, как и мы, должна хорошо играть свою роль или даже роли.

Он взглянул на часы – прошло уже больше получаса, отмеренного Iroi. Лев покачал головой:

– Теперь вряд ли она придет.

– Но она же сказала.

– Сказала не она, а та, что была полчаса назад... Она за это время изменилась и за слова той уже не отвечает... Так она ответит тебе... Если ей позвонить сейчас, она скажет, что она сегодня не человек, потому что ее разрывают на части сегодняшние обязательства... да и завтрашние... Тут, конечно, дело серьезное... завтра ей предстоит что-то вроде инаугурационной речи перед профессорами, тьюторами и студентами этого непонятного заведения. Но вообще в ней, действительно, есть что-то нечеловеческое – она иногда мне кажется скульптурной женской фигурой на носу устремленного вперед судна – все на этом корабле поклоняются ей, от нее зависит их судьба, но она ведь не женщина. Вроде бы они назывались кариатидными рострами – я, собственно, подумал о них, потому что увидел на картинке скульптурную фигуру льва на носу судна, правда, я не видел, чтобы, например, сирена и лев были вместе в одной упряжке и парно вели своими символами вперед корабли.

– Но завтра предстоят лишь формальности? Ее речь не имеет сама по себе значения?

– Не совсем так. Других кандидатов на эту непонятную должность вроде бы нет, но не думаю, что здесь одни ее доброжелатели. Вопрос идет о чем-то совершенно новом, о новой небывалой структуре. А ведь в первых университетах теологические факультеты главенствовали. И сейчас религиозная тема одна из главных.

– Для меня все это темный лес. Ты знаешь об этих вопросах гораздо лучше...

– Не думаю, что знаю что-то хорошо. Я уже говорил, что хотя я прочел сам много книг, но в основном все же пользуюсь тем, что в меня внесли когда-то без участия моего сознания. Так что нечто постоянно всплывает, но я не знаю, откуда что взялось. Я, наверное, реализую платоновскую идею о знании как припоминании. Но здесь в создании нового здания виртуального по большей части универса-университета не надо что-то особенно знать – ясно, что новое взаимодействие светского и религиозного знания, а также и веры – это важнейшее. И здесь некоторые считают, что у Iry не все с этим в порядке.

– Так что, они считают, что она хочет совместить в себе власть и светскую, и в некотором смысле религиозную? Но здесь же светское учреждение?

– Никто толком не знает, чего же хочет Ira, – завтрашняя речь это покажет.

– Зачем же ей я? Разве чем-то могу помочь.

– Она считала, что да. Но зачем, я не знаю.

14

Лекция ее была объявлена заранее и давно, но об этом, тем не менее, знали только посвященные. Однако их пришло несметное количество. Стянулись они сюда темными и светлыми неразговорчивыми в основном массами. В аудитории было не протолкнуться. Он со львом заранее расположился на самом верху, полагая, что с демократической галерки им будет виднее. Незаметно и непреложно все же проникли и заполнили все пространство внизу телекамеры, и микрофончики торчали, как ростки. Все светилось неким странным светом. Он не мог понять, в чем дело, но потом догадался: в обычное время огромные окна пропускали дневной свет, но сейчас была имитация его.

Он поразился вертикальной глубине аудитории, так что Ira находилась как бы на дне колодца, и голос ее взлетал гулко и как-то отрывисто. Он оглядывался вокруг, так же, как и лев, и видел в легком полусумраке позолоченные буквы, опоясавшие по кольцу на высоте аудиторию, но что там было написано, пока не мог разобрать. Ira начала откуда-то издалека, – и он отвлекся на внешнее, пытаясь разглядеть в матовой полутьме профили сидящих слушателей, но не мог сосредоточиться. Вдруг он уловил смысл очередного высказывания Iry и после уже не мог отвлечься. Она говорила, что эпоха мужской культуры – а до сих пор в мире была именно такая эпоха – в тяжелом кризисе. И выходом может быть только провозглашение новых женственных ценностей. Такое женственное знамя сейчас только поднимается, но оно будет невероятно сильным. И оно означает не только гибкость и мягкость, но и новую неизвестную ранее твердость.

Мужское начало подошло к окончанию (здесь она сознательно или невольно допустила нечто вроде каламбура), Ira сказала – с достаточной мрачностью, что ныне мужская культура способна только разрушать и угрожает самому существованию мира, ибо она себя исчерпала. Помочь может только женское, но понимаемое не как реваншизм за века принижения и не перенимающее в подражании мужские приемы. Должно явиться новое женское движение, – она даже использовала как синоним для этого слова «дуновение», – которое принесет нечто истинное всем и которое не стремится к вытеснению. То есть идея «женственности» не является плодом победившего феминизма, но некой общечеловеческой идеей, которая на время лишь принимает женовидные – как более важные сейчас – способы мышления и действия. При этом мужское, находящееся во фрустрации, – именно так она и сказала, – нуждается в помощи, чтобы сохранить настоящую твердость, а не истерическую агрессивность, свойственную сейчас мужскому началу. И здесь им тоже может помочь женщина. Она из глубины времен способна принести мужественность и твер-

дость духа, присущие древним богиням-матерям самых разных стран и культур: Астарта, Афина, валькирия, – весь свой непримиримый и непреклонный дух могут через нынешнюю женщину вдохнуть в ослабевшего и отчаявшегося в духе своем мужчину.

Поэтому женское сейчас – дважды женское, но и дважды мужское, с мужчинами они способны предстать в таком сияющем двойном облике, невероятно мягком, но при том неведомым для мужчин – не в подражании им – древнем женским и одновременно стальном, та неизвестная прежде женская сила вернет миру твердость.

Здесь он стал впадать – от повторов ли или какой-то странной атмосферы в аудитории, – ему казалось, что здесь веяло тихо какими-то благовониями, – он стал впадать в какое-то подобие сна и стал пропускать некоторые фразы, а может быть, и целые периоды ее высказываний.

Внимание внезапно опять вернулось к нему, когда Ira заговорила о красоте и сиянии. Что было связано, по ее убеждению, с женским началом. Пусть оно было в эпоху мужской культуры выставлено напоказ – женская красота мужским взглядом – взглядом из невидимых мужских глаз, скрытых в темноте. Он слышал много, множество слов, которое, как некое струение, лилось из ее уст – в этот миг он потерял способность критически слушать, да и вообще понимать смыл ее речи. Так длилось долго, в середине он сумел запомнить лишь одно ее слово и отрывок фразы – помянула она неведомую ему Елену Девочкину – первую, как она утверждала, настоятельницу Новодевичьего. Процитировала она невнятно о ней: «Преподобная мати Елена, московская игуменья, всеизрядная учительница девственного чина, вождь ко спасению известна». И только в конце периода ее речи он отчетливо разобрал – как потом сказали ему, из малоизвестного византийского источника: «Богородица – златоблистательная опочивальня слова».

Ему казалось, что весь воздух в аудитории не то чтобы несвежий, но наполнен каким-то едва уловимым туманом, который, как ему казалось, – может быть, только ему одному, – почти незримо клубился, и странный запах – тонкий и даже приятный – улавливался – это был, как он для себя потом определил, ностальгический запах – почти не чувствуемый дым, – дым далекого костра, далекого, как ему представилось не в пространстве, но во времени, – тот дым, что он слышал, когда шел от вечерней реки.

Дальше ему казалось, что он совсем не понимает ее речи, вернее, не слышит ее смысл, – еще вернее, на ощупь пробирается куда-то к основам речи, ловя лишь редкие отрывки, лишь блики, хотя временами они казались ему удивительными, но вместе с тем что-то чудилось в них кощунственно-комическое. Она говорила о красоте и сиянии и о мощи женской красоты. Он улавливал лишь некоторые образы, о которых она вещала. Очнулся он и вздрогнул на миг, когда услышал что-то знакомое: Ira произнесла «Лозунг “Piante leone” выражал идею венецианской победоносности и значил “Водрузительница льва” – на знамени – что означало “Венеция завоевательница”». Тут он припомнил, что из этого латино-итальянского лозунга родилось слово «панталоне», и невольно повернулся ко льву, затаившемуся рядом. Лев слушал, полуприкрыв глаза и слегка высунув язык – видно было, что речь его захватила, но все же дышать ему было нелегко, и лев был тоже в полудреме, как и он. Он подумал о том, каким невольным и жалобным иронизмом были пронизаны эти полосатые львиные штаны-панталоны.

Вдруг он понял и услышал в устах и словах Iry что-то несомненно и, как он произнес про себя, неминуемо знакомое. Тут он услышал странный звук, похожий на хрип, в их ряду, и понял, что это тихий храп, – кто-то из студентов, по-видимому, заснул на минуту. Он повернулся ко льву, и видимо своим движением нарушил покой целого ряда, и храп прервался. Он обратился ко льву со словами, но лев не разобрал их. Тогда он нарисовал в воздухе пальцем «Consonantia et claritas» – то, что год назад он провозгласил с кафедры, сам не понимая, о чем будет говорить – «Пропорция и сияние». И лев понял и спросил: «Mater читает по твоему конспекту?» И он ответил: «Да».

Редкая вспышка, дошедшая светом до самого верха аудитории, вдруг сделала явственной первое слово круговой надписи, и он разобрал, словно на гранитной плите, под углом зрения «ALMA». Далекий альпийский клекочущий, как горный источник, голос донесся несомненно и тихо: «На склоне Альмы светлый луч...», или, может быть, «луг»? Дальше в этой песне, знаки и

ноты из которой он различил и различал, было «где ждет мой Ганс, мой верный друг» – значит все-таки на склоне горы был луг.

В полутемноте по кругу он разобрал и следующее слово, которое, вероятно, по созвучию сложилось с первым: «ALMA MALER». Почти рифма, подумал он, и явственно увидел картину с названием, хорошо ему знакомым – «Невеста ветра». Вряд ли он мог бы его выдумать. Ему показалось даже, что он видел подпись художника в правом нижнем углу – нечто вроде, да нет, несомненно, «OK». Тут он стал думать, и все отчетливей, что таинственная Альма Малер (да кто она?) была замужем за художником OK? Но Малер была истиной, и истинным именем, так что музыка явилась так же услужливо. Да, сквозь наваждение он вспомнил, кто была та настоящая женщина и подлинная муза мужской музыки, живописи, архитектуры и литературы.

Но он понял все же, что это было наваждение и, повернув голову, сумел прочесть третье слово, мерцавшее темным чешуйчатым золотом у него за затылком, и тогда все три слова сложились в безошибочное «ALMA MATER STUDIORUM». Древний университетский лозунг, который, ему казалось, был единственный и принадлежал первому университету, но вот он и здесь.

По мере того как Ira все больше и все дальше говорила, карабкаясь в какие-то, быть может, только ей зримые выси, он чувствовал, что впадает в неизвестный и вместе с тем все же знакомый род забвения. Этому способствовали и редкие фотографические вспышки, которые равномерно и нежно даже перемигивались внизу, в котловине аудитории. А они со львом были словно бы на горе. Но несколько раз он выходил из блаженного, и однако несколько болезненного состояния. И опять осветилась при вспышке – он знал – кольцевая золоченая надпись сзади – в полуротонде огромной аудитории, внутри которой они были. И тихо, но несомненно, он словно бы оказался в той белой аудитории, где сам тогда читал лекцию, и где золотые изречения опоясывали верхний круг белой аудитории. Несмотря на какую-то, казавшуюся ему белесой полумглу, явственно всем зрением – ему казалось, что кольцевым зрением – он читал эту мерцавшую и слегка осыпавшуюся золотом надпись, и почудилось ему, что круговая эта надпись, словно обручем, тихо сдавила ему голову, и что он в какой-то матросской детской бескозырке, но слова написаны не извне по ленте, которую видят все, но по внутренней стороне, видимой лишь ему одному. Он почувствовал давящую боль от этого мягкого обруча и хотел его разорвать изнутри головы, понял, что не может, но потом понял, что смог, но тут он потерял сознание.

Очнулся он, как ему показалось, скоро – проснулся от легкого дуновения, от свежего воздуха, который проходил над его лицом в закрытой и замкнутой аудитории. Он открыл глаза – это лев тихонько дул ему в лицо и смотрел на него тревожно и ласково, а лекция, наверное, подходила к концу, слабо шумя, как река, внизу под горой белой аудитории. Некое умиротворение он почувствовал и видел глаза зверя, мирно смотревшего на него, во взгляде льва было что-то такое отрешенное и успокаивающее, что он впал в настоящую сладостную дремоту на плече льва.

15

Когда он очнулся, и фимиам вокруг – так он его назвал – почти весь был развеян, он увидел лицо льва над своим лицом.

– Аплодисментов не было, – произнес лев скорбно.

– Ira сама не хотела этого?

– Нет, так получилось.

– Все были настолько потрясены?

– Даже слишком.

– Где же она?

– Ушла с делегациями.

Он увидел, что в аудитории еще сохраняются редкие головы слушателей, окна кое-где раскрыты, и стало необыкновенно ясно в воздухе. Он видел, что кафедра внизу опустела. Лев тоже

смотрел туда. Он видел сейчас профиль льва, который, наверное, как сиделка, терпеливо сидел рядом с ним и ждал его пробуждения. Он спросил льва:

– Но какая-то реакция все же была?

– Некоторое шевеление-шелестение, перерастающее в ропот, все же было несколько хлопков, но их не поддержали и не дали перерасти им даже в подобие овации.

– То есть аудитория повела себя как животное, которое как-то реагирует на происходящее, сама не знает, почему, но инстинктивно точно?

– Истинно.

Тут он заметил, что лев держит перед собой, положив на крышку аудиторской парты, листок и нервно его разглаживает незаметно.

– Что это? – спросил он льва.

– Одно из твоих жизнеописаний. В стихах. Из того, что ты мне рассказывал о своих путешествиях. И мимолетных встречах с Mater. Остальное я довоображал.

Он взял листок из львиной лапы и прочел:

GreenLondon
(verses written by Leo, the poet)

«Green is a cuplike hollow of the down»
A.Tennyson. «Enoch Arden»
«I waited for the train at Coventry»
A.Tennyson. «Godiva»

Remember non-boring gardens of London

Green-park
and Hayd-gardens
without parking for the soul
China ceremony of violence of love in London

painting of green – green parking – in bed and in bad
despair of the ravening ravings
you are – GreenLand of GreenLondon

Forgive me, Lenore, o, my boring soul!
and save in lost, o
erroneous eros

Poor uncle Fred

he smoked in bed

breath of the breeze to breed
I rendered Diana and Pan in the
Green
(you remember, Godiva)
Greenland of London

Больше всего его поразило, что стихи были написаны по-английски – с явными грамматическими вывихами – хотя можно было объяснить это экспрессивностью стиля, но и также неуме-

лым владением языком, русский лев знал – что и пытался уже объяснить, – несомненно лучше.

– Почему по-английски? – спросил он льва.

– Потому что действие происходит в Англии.

– Понятно.

Все же самое главное, что он почерпнул из львиного опуса-опыта, что лев использует все возможности для восполнения знания человеческой жизни, и любой, даже смутный рассказ, преувеличивая, пытается превратить в стихи. Понятно также было, что лев доставал и читал том Теннисона с золотым обрезом с полки библиотеки.

Стало понятным ему через некоторое время, откуда появился «бедный дядя Фред» – безусловно, лев, сгребая своей лапой, все что попадалось ему на глаза, захватил и пепельницу на столике в студенческой столовой, когда они сидели под деревьями – там на керамическом блюдце улыбался череп дяди Фреда, неосторожно курившего в постели.

Но он был удивлен, когда лев достал еще один листок, на этот раз очень мелко исписанный, и подтолкнул к нему по деревянной крышке. Он прочел:

От Софии к Афине, – путь имени
(стихи, сочиненные львом-поэтом по мотивам рассказов о путешествиях)

Бросился ты от Софии к Афинам
Вослед за быстроглазой, – в бесполезной за богиней погоней
Но поздно – в кризис подземное забастовало метро,
Казалось бы от болгарской Софьи до столицы другой, что на нынешнем языке
зовется Αθηνα рукою подать, туда, понимаю, немного миль,
но автобусы замершие разбросали гирлянды свои по холмам
понял ты, что лишь на кобыле доедешь не минуя все городов имена
для нее для тебя дорогие

Статуи здесь – всё бегуны об одной ноге,
Фигуры – без одной головы

Черствый хлеб приграничной земли миновал, бросив им
несколько древних стертых монеток евро

Понимаю, ты впервые имена эти увидел,
Не поверив своим и чужим глазам
как созвездья, на теле – на карте
на мужском обнаженном торсе тату

Метнулся по карте, но по-видимому не туда
не тот это город, не та она «мета та физика»
и не те Тессалоники

Все же собравшись с силами зрения
Понял ты, что в Фессалониках оказался
Город Солунь, названный в честь женщины, а не солнца
Выбежал на морскую набережную площадь
Имени античной триады: материя, форма и правда,
Там с утра колыхается раздуваемый мыльный
радужный мир

за которым море имен – во все стороны мир
устремился ты не зная за ней во все стороны мира
оставляя шлейф вероятностей констелляцию женственную звездных имен

полуострова предстали – подумал, что полуостров Кассандра ты не миновала, но
уже не успел, от Сидонии повернулась ты на восток
на Агиос-Орос
но сюда на Афон женщине через Урануполис
путь запрещен.
Скоро минет тысяча лет и никакое животное женское женственное благородное
Даже львица не проникнет в этот «Сад Богородицы»
Да и ты оставил ржаную кобылу
За оградою вертограда
Ты отправил ее пастись по лугам
к граду МегалиПанагия
в путь где придорожные часовни ростом с ребенка

Но и ты не ступил на Афон
Потому что увидел и понял, что она в этот миг вошла в Метеора – в монастырь
воздушный на скале вознесенный

Ты направился в путь уж не чая догнать ее на прямом пути
хотя бы достичь у подножия храма Парфенос
снова море, путь мнимый мимо Олимпа
и все ниже на юг,
без сомненья что все города она не миновала:
Катерини, Ларисса, Ламия

Ум мужской – переносная мудрость, недоступно ему спокойствие и всеохватность
И глаза твои видящие уносились быстрее тебя за ее именами
Ты добрался уже до столицы, до Платийа Си́нтагма, но дальше

Ты ее уже не увидел
Но увидел под небесною балкою пошатнувшейся
Затылок кариатиды –
Складки тектоники и все убранство волос
И над ней спокойное, невзволнованное
Освобожденное небо над ней.

Ira появилась незаметно – они со львом вдруг заметили ее, поднимавшуюся по лестнице между скамьями в аудитории. Без вечных спутников – студентов и толпы – она удивительно скромно шла вверх по почти пустому пространству, и он узнавал в ней некоторые черты, которые были и тогда, когда он впервые увидел ее затылок и она быстро повернулась и оглянулась назад в первой той светлой студенческой аудитории. Он вспомнил, что она ему кратко проговаривала в телефонных обрывочных диалогах – когда ему удавалось дозваниваться до нее в долгих путешествиях: «Я не человек», имея в виду усталость и разрывающие ее дела. Сейчас в ней было что-то несомненно человеческое.

Ira поднималась, не глядя по сторонам, но подошла именно к их ряду и тихо стала продвигаться на их скамью, лев вежливо опередил ее движение, так что она оказалась между ними. Он

взглянул направо и увидел ее профиль. Она смотрела вперед, не глядя на него. Но никогда после Лондона он не видел ее так близко.

«Будет спектакль скоро», – произнесла она и замолчала, так что ему хотелось сказать, что произнесла она молча. Она смотрела отрешенно поверх редких голов и куда-то вдаль. И лев тоже смотрел параллельно с ней, так что они втроем, словно ученики за одной партой, на одной скамье слушали и видели что-то им одним и одно им ведомое.

О чем будет спектакль, Ira не сказала, но он как-то по намекам льва и по общему настроению понял, что это будет некое импровизированное представление в ее честь, в честь ее тронной речи, которая, однако, произвела не совсем то впечатление на слушателей, студентов и учеников, на которое она рассчитывала.

Но как бы то ни было, все они трое приготовились к чему-то важному, что могло посостязаться бы по значительности со многими событиями в их жизни, и он подумал, что и она волнуется, как студентка перед решающим экзаменом, хотя, казалось бы, что уж ей страшиться, если все профессора здесь по-видимому перед ней в преклонении, и любую просьбу ее выполняют, наверное, немедленно, но что-то сегодня произошло такое, чего никто из окружающих, и она в их числе, не ожидал. Он слышал, как лев прошептал, когда она еще поднималась к ним: «Напрасно она забежала так далеко в будущее».

16.

Вечер наступил. Все собирались в аудиторию, в которой они втроем безвыходно находились. Близилось время представления. Студенческая и преподавательская публика наполняла постепенно глубокое, как колодец, пространство аудитории. В самом низу была обозначена прозрачная сцена, где вырастали алюминиевые конструкции.

Взоры тем не менее поднимались сюда, где Ira словно бы находилась на вершине горы, рядом с которой расположилось все собрание. Не надо было ничего обсуждать, было понятно, что представление дается в ее честь и посвящено ей. Хотя никакого пиетета не ожидалось. Наоборот можно было предположить, что действо сведется к некоему слегка возвышенному и несколько утяжеленному мыслью капустнику.

Смех не только допускался, но подразумевался. Студенты и студентки постепенно переодевались и скапливались в центре зала, то есть на дне колодца. Между тем по рядам раздавали листовки с программой представления.

Все это напоминало какую-то студенческую сходку. К Ire все время тянулись лица снизу, ее пытались вовлечь в бесконечные и важные, наверное, дела, но она сидела отрешенно. Он и лев находились справа и слева от нее, образуя нечто вроде ее свиты. И действительно, по сторонам были пустые места, от них держались поодаль.

Он иногда с некоторой осторожностью оглядывался на Iru – ее профиль был неподвижен, она не поворачивала голову и почти не реагировала на головы и лица, появлявшиеся ниже их ряда, где они были втроем со львом.

Понять, что собираются представлять студенты, было совершенно невозможно: листовки были наполнены какими-то разрозненными словами и буквами. Он подумал, что можно различить здесь даже пушкинские строки.

Между тем алюминиевые конструкции росли, и среди них угадывались застывшие фигуры переодетых студентов и студенток.

Спектакль начался без объявления под пустые и разрозненные разговоры внизу: и вдруг голоса стали складываться во что-то определенное. Тихие голоса переросли в выкрики, и неожиданно стало казаться, что что-то знакомое сквозь акценты всех участников: русская речь зазвучала несомненно.

Первую фразу распевали с вариациями, наверное несколько минут, – тела студенток – в основном – хотя были и темными вкраплениями и студенты – и волнообразные эти движения

под диковатую, но едва слышимую музыку сопровождали строчку, которая несмотря на все искажения – сознательные и неосознанные – звучала все сильнее в ушах, повторяясь, как прибой: «Жил старик со своею старухой у самого синего моря». Тела студентов закачались на наклонных алюминиевых стержнях, словно вымпелы или матросы на мачтах. Он взглянул, скосив глаза, не повернув головы, на Iru – ее лицо было совершенно неподвижно и скульптурно, но глаза – ему хотелось сказать «очи» – были распахнуты и устремлены, хотя и вниз, но будто бы поверх видимого действа.

Он изумился, конечно, заслышав сквозь американский акцент пушкинские строки, но делать было нечего, приходилось погружаться дальше в это действо о рыбаке и рыбке. Не понимал он и не предполагал, каким образом появится золотая рыбка – много можно было делать предположений, и тревожное ожидание смущало его.

Вот студенты-артисты на дне аудитории, на сцене сплели над головами руки, сверху набросали алюминиевых жердей – получилось, прорисовалось нечто вроде шалаша, напоминающего отдаленно индейский вигвам – наверно, – подумал он, – изображающее ветхую землянку. Появились неприметно вначале и главные герои, студентка-красавица, грубо закамуфлированная косметикой под старуху, и студент с накладной бородой. Внесли откуда-то пластмассовый поддон, усадили туда старика и старуху и заколыхали их на руках, по-видимому, на волнах сине-моря. Гигантский этот поддон, как можно было догадаться, означал то разбитое корыто, с которого все начиналось и которое служило здесь не столько для стирки, сколько для охоты на рыбку.

Потом появилось неясное, но светлое сияние, идущее снизу, – пол аудитории раздвинулся словно бы и стал прозрачным – цвета моря, и там стала проступать какая-то поверхность, переливаясь золотистой чешуей. Рыбы золотой самой по себе и не было – старик протянул руки, понукаемый старухой, над водами – и прозрачная, едва блеснувшая сеть охватила это сияние. Скорее, это был помысел, сон мечты, пытающейся что-то в мире охватить и понять, – они со старухой на утлом корыте парили над морем, над миром, и пытались уловить то, что ускользало. И потом явился голос, шедший из глубины моря: некий нечеловеческий голос, словно бы потусторонний сигнал, но облаченный в человеческие сильно искаженные слова. И вот по первому старухиному кивку головы вырвался золотистый фонтан, и она была уже в его брызгах, и омолодившаяся, сбросив часть грима, сошла с борта корыта и начала свое возвышение.

Напрасно старик, так и оставшийся со своей бородой, взывал к ней и гонялся за бывшей старухой на своем корыте по бурному морю – она переходила все в более высокие слои аудитории, окруженная свитой, – изредка посылала ему сигналы по стилизованному сотовому телефону – ему в его корыто тоже был сброшен какой-то жалкий подвид – и в разрастающихся постройках, которые вздымались все выше, – был виден все же идущий из глуби золотой свет, в который временами она вглядывалась и влеклась, но занятая своими планами и делами – препоручала все секретарские дела безвольному в своей покорности и влечению к ней старику.

Наконец ее терпение лопнуло, и здесь ее громкий фальцет перерос весь гул морской: «Не хочу быть боярыней-царицей, а хочу быть папою римской». И вот старик на своем корыте поднимается вслед за ней по волнам – его несли уже множество молодых рук – но старуха, ставшая к этому моменту немыслимо-писаной красавицей, возвеличивается и поднимается еще выше и вот она оказалось на трибуне рядом почти с тем рядом, в котором сидели они трое в полутьме.

И отчетливый молодой голос с глубоким каким-то акцентом стал декламировать:

Перед ним монастырь латынский –
На стенах монахи
Поют латынскую обедню
Перед ним вавилонская башня.
На самой верхней на верхушке
Сидит его старая старуха,
На старухе сорочинская шапка,

На шапке венец латынский,
На венце тонкая спица,
На спице Строфилус-птица.

– Да это же чистый Пушкин, – прошептал удивленно, открывая Америку, лев.

И вот над старухиной головой не митра, но башня, уходящая ввысь, а на башне – спица, а на спице птица Строфилус. И вот старуха с балкона обращается к миру и городу, странно, как фарфоровая кукла, заторможенно подергиваясь, и вместе с тем механически-грозно поворачивается вокруг своей оси и, случайно или нет, остановилась прямо против их ряда и остекленевшими, некогда прекрасными очами уставилась в глаза Iry. Дальше шла нечленораздельная речь, состоящая из выкриков и истерических – хотя нельзя не отметить, что музыкально-оформленных – стенаний, среди которых можно было лишь разобрать несколько слов о всемирном счастье и власти. И вмиг померкло золотое сияние, и словно при землетрясении – вздрог реальный прошел по аудитории-театру – все стало качаться, рушиться – опрокинулась навзничь птица-строфилус, и шпиль, сиявший столь нестерпимо, померк, разломился и стал падать туда, в глубину уже темного и шумящего оскорбленно моря, и все гирлянды алюминиевых стяжей и молодых рук, поддерживающих все это, куда-то исчезли, и в окончательной темноте можно было разглядеть на страшной морской глубине, словно в перевернутую подзорную трубу, малую точку лодки-корыта, на которой едва были различимы согбенные фигурки старика и старухи. Все это закрыло море и морской тихий и постепенно нарастающий прибой, который как-то сам собой перерос в шум аплодисментов всей аудитории.

Шквал этих аплодисментов нарастал, и только сейчас в полутьме белого зала-аудитории он решился взглянуть вправо, где сидела Ira. Он увидел ее словно изваянные застывшие руки, и когда поднял глаза – позузакрытые в страдании глаза и неподвижное лицо, на щеке которого застыла стеариновая слеза.

17.

Шквал аплодисментов не утихал. Многие лица снизу поворачивались в их сторону. Очи и очки сверкали в постепенно разгоравшемся искусственном свете. Понятно было, что все взоры были обращены к Ire. Легкий свист поднялся и уже не утихал, было неясно – одобрения или осуждения. И тут он увидел, что Ira медленно поднялась со скамьи. «Хоть часть бы таких оваций после лекции», – пробормотал лев. Ira была совершенно спокойна, и он подумал, что это спокойствие статуи. Вдруг ему показалось, что она покачнулась.

И действительно, левая рука ее дернулась, и она оперлась на нее. Она перевела впервые на него взгляд. И он увидел в нем словно бы просьбу. И подтолкнул льва, и они молча и осторожно взяли Iru под руки и тихо повели ее через расступившиеся ряды зрителей к выходу – к верхнему выходу из аудитории, который открывался в прозрачном и светлом фонаре-куполе, откуда можно было попасть на внутреннюю особую лестницу. Двери за ними затворились. Предполагался торжественный ужин, но было не до него.

Только вышли они в длинный и далекий коридор, Ira разрыдалась. Никогда он не видел ее такой, и представить не мог. Она почти кричала и бессвязно все упрекала во всем происшедшем какого-то Мориса. Если бы не лев справа, а он слева, она наверное бы просто упала. Стройная, сейчас она была как сломленная мачта. Несколько испуганных юных, почти детских лиц мелькнуло за матовыми стенами.

Вдруг двойные двери, мимо которых они проходили, распахнулись, и они увидели за ними множество студентов, которые подались вперед, но остановились, ожидая, наверное, что Ira выйдет к ним, но вышел к ним лев и затворил за собой створки двери. И все услышали его нарастающий голос и затем настоящий львиный рык.

Шли они дальше, и пытался он неуклюже утешить ее и сказать, что все что было – просто студенческий капустник, переросший свои размеры. Что пародия только подтверждает то, на что

и против чего она вроде бы направлена. Он даже произнес не совсем к месту нечто – так ему показалось – напоминающее афоризм: «Тяжесть жизни и легкость бытия». Но был – он чувствовал – неубедителен – лев, вновь присоединившийся к ним, молчал, Ira, правда уже тише, продолжала рыдать.

Вдруг лев, не произнесший во время представления и потом почти ни слова, произнес: «Несколько капель чудодейственного алкоголя, – то, что нужно... у нас же есть там... в нашей конуре... виски и еще что-то...»

– Ты можешь пойти и сказать устроителям банкета, что Ira больна, – обратился он ко льву, чуть не произнеся «сказалась больной», – что она сожалеет и все такое?

– Слушаюсь и повинуюсь, – произнес лев без улыбки, – хотя, думаю, они теперь просто разбегутся, меня завидев, – и как-то бесшумно отдалился от них и почти грациозно, на задних лапах, – а он сказал бы «на цыпочках» – скрылся в боковую дверь коридора.

Хотел он пойти вместе с ней в гостиницу, но она указала ему куда-то вдаль коридора, и они через переходы вошли в какую-то боковую пристройку, что было, вероятно, местом, где она здесь пребывала. В ее комнате, куда они добрели с Iroi, в «келье», как он назвал почему-то сразу эту комнату, вероятно, из-за узких окон и высоты помещения, комнаты, терявшейся где-то в темноватой высоте, она просто без сил опустилась на диван и указала ему на встроенный в стене маленький холодильник. Он оттуда извлек и смешал в чашке вместе виски и водку – для «чудодейственности», по словам льва, наверное – и дал ей выпить. Ire почти сразу стало лучше. Она полуприлегла на кушетку в комнате, и он подложил ей подушку под локоть. Печально смотрела она на него и молчала.

Он молчал тоже и все же попробовал что-то сказать, хотя не был уверен, что она вообще ответит:

– Мы так давно не говорили с тобой...

Она молчала и лишь смотрела на него из полутени, а свет колпаком от лампы падал в сторону. Чувствуя, что произносит слова невпопад, он все же пытался продолжать:

– Зачем ты согласилась участвовать в сегодняшнем действе?

– Я ни о чем не знала, – тихо ответила она, – у меня было слишком много дел... Я почти не готовилась.

– Но это же было обставлено, как твоя тронная речь...

Она молчала. Чувствуя, что говорит не совсем то, но все же не пытаясь оправдываться, он произнес с твердостью:

– Тебе не надо было сегодня здесь вообще появляться.

– Но я не принадлежу уже себе во всем.

– Ты могла переждать, сказаться нездоровой...

– Я не могу тратить время на ухищрения...

– Но ты должна быть дипломатом... тут ты выпустила вожжи...

– Ты мало знаешь обо всем этом... и обо мне сегодняшней... меня ввел в заблуждение... обманул... мой помощник Морис...

– Ты не можешь все контролировать, я понимаю, но ты и в своей речи нарушила какое-то равновесие... ты что-то нарушила... не знаю точно, что... и все стронулось... и дальше покатилось, нарастая...

– Перешла от слов к делу... этого боятся... даже в мыслях...

– Но в реальности получилось, что ты перешла от софийности к софистике...

– Мне не нравится, что ты играешь словами... Как наш один бывший знакомый... хотя что-то здесь есть все же. Быть чем-то между всеми известными силами, собирая их к себе, собирая все стремления, именно женщина должна была совершить это сейчас... я для меня такую давно пройденную и очевидную вещь хотела сказать...

– Ты такая же несгибаемая... твердая, как твоя стальная тетка из Аргентины.

– Нет, я хотела тебя натолкнуть, подтолкнуть, наоборот, к мягкости, проницаемости... я по-

няла, что ты ищешь повторения... ты хочешь быть снова юным... но при этом не теряя своей... найденной уже зрелости... повторение... вот что в тебе меня привлекло.... И влекло тогда... раз ты способен стать тем, кем ты был, но и новым... Значит ты юн, ты мал и свеж... ты спускаешься по ступеням к своему младенчеству... ты слышишь шепчущие материнские губы, которые обучали тебя первым слогам... ты – повторение... но вечно новое... светлое... и зеленое... мне казалось, что ты понял это мое...

– Ты повторяешься...

– Опять играешь словами...

– Нет, но что повторять... хотя я сам, как завороженный, так и делал... повторять... значит нового ничего нет? Или только припоминание?

– Ты ничего не понимаешь... ты ничего не понял в этом мире... пока... Но я тебя ждала...

– Ты хотела, чтобы я был... как бы это сказать... транслятор? Диктор? Говорит «Радио пифии»?

– Ты не понимаешь... хотя, может, это и хорошо... и поможет делу...

– Да какому делу? Ты хочешь, чтобы я тебе помогал припоминать? Вспоминать?

– Женщина, рождая, припоминает... Мужчина, создавая... как бы создавая, является лишь акушером.

– Но что тебе нужно? Ограниченная монархия? Ограниченный матриархат?

– Разве власть... разве она так важна... важно, чтобы ты понял... нет, просто пришел к этому: я рождаю тебя, именно я рождаю тебя в себе... и ты становишься иным вовне...

– Ничего я не понимаю... или только смутно...

– Ничего не надо мыслить... просто очутись во времени... ты видишь, такой же декабрь... и лекция... неуспешная... но только не твоя, но моя...

– Да, все так же, но только у нас теперь есть лев.

Чувствовал он, что она устала говорить. Лицо ее перестало быть напряженным и стало тихим. И внезапно для себя самого он приблизил свое лицо к ее.

18.

Бриз ее дыхания у себя над плечом, и ее сон, и он сам без сна – и только умиротворенное и печальное зрение изнутри тела, словно бы лишенного оболочки, – зрения, восходящего вверх к темной высоте, где светился лишь в ночном свете разбитый витраж, и, кажется, оттуда тоже доносилось легкое и печальное теплое дуновение. Темный и бледный осколок стекла в высоте, он видел его и знал иным – почти бесцветным, он не помнил, какого цвета он был, сейчас он видел его из глубины, он вспомнил то лето, которое у него прошло в тщетной погоне за Iroi, которая и не знала, что ускользает от него, он вспомнил зеленый витраж светлого июньского листа в дороге, когда однажды он остановился, и спокойное вечернее солнце проходило сквозь листья.

Пристройка к зданию университета, с новыми художественными проектами и идеями, частично воплощенными, но оставшимися в основном незавершенными, – все эти постройки и пристройки были превращены в помещения для общежитий и гостиничных простых комнат, в которых они и жили со львом и где они сейчас были с Iroi, а лев лег у дверей, словно вспомнив свое давнее предназначение, чтобы охранять их сон или сон самой архитектуры, жизнь без сна храмов, музеев и соборов, вспомнив словно бы свои же строки «во времени зазеленев, у ног Софии ляжет лев» – здесь он, окаменев во сне, спал, завернувшись в суконное солдатское одеяло, у дверей комнаты, где были они и куда сверху сквозь несостоявшийся и забытый витраж проникал ночной свет.

Следить за созвездием пылинок в утреннем воздухе, различая каждую, подвижную и подверженную своим мимолетным движениям. «Почему, ну почему, – думал он, – я не мог не приблизиться к ней, не прикоснуться, не проникнуть, почему? что словно бы заставляет меня?» – думал он, следя за совершенными безмолвными пылинками.

Вспомнил он «Alma Mater» на троне – скульптуру перед зданием болонского университета, которую он видел во сне, хотя то был почти отпечаток с присланной ему кем-то фотографии,

посреди многоступенного каскада, в середине волн и морщин ступеней, ведущих к колоннаде у входа, – со всеми атрибутами власти – застывшая статуя, величественно сидящая над всем замершим и замерзшим миром, хотя на фотографии были видны профили студентов и студенток, которые были здесь, на самом деле не менее монументальны в запечатленном мгновеньи, чем сама «Mater», которая ничем была не величественней других – ее мнимых учеников и учениц, только тем, что провела на троне в полной отрешенности от жизни несколько веков – со всеми атрибутами власти, – сейчас, не подозревающий ни о чем, кроме себя, профиль юной студентки – в зимней шапочке над заснеженными частично страницами этих ступеней – был не менее значим и величествен – так внушил ему из своей склянки своего снотворного невиданный снимок. Но вспомненный неожиданно здесь сон, – студентка, такая же почти, как он увидел ее тогда в сентябре первый раз, которая явно не читала еще труд под названием «The Idea of a University». Сейчас из-за темноты он почти не видел ее во сне, и только тихий шелест и гармонический шум ее дыхания доносился слева над его плечом, и он понимал, что не может он пока преодолеть ни свою, ни ее земную тяжесть, которая склонила их друг к другу, как два дерева над водой, куда оба они заглянули, но она закрыла глаза, и он увидел ее лишь отражение ивы в затоне, запрокинутой ивы в счастье в темноте и глубине залива, в воде, непроглядной для зрения и светлых ее глаз.

Тут он понял, что не помнит, какого цвета у нее глаза, то есть он не знал цвета ее глаз и никогда не задумывался над таким праздным вопросом, но сейчас в темноте, когда цвет их был скрыт в глубине ее закрытых глаз, он подумал, что и не смог бы ответить на этот вопрос, потому что просто не имел на него ответа.

Он видел проблески ее платья, лежащего темным холмом на металлическом стуле рядом с их изголовьем, и шов, неясной грядой проходивший по темной материи платья, и он протянул руку, чтобы ощупать едва уловимую в темноте ткань, и вспоминал об их той последней зимней ночи. Собственно, он непрерывно возвращался к ней, он настолько постоянно был в этом повторении, что не замечал даже, и все блуждания его по миру в погоне были словно бы за призраком той ночи, – чтобы вернуть ее, но он сам был соткан из нее, а сейчас, когда все это вернулось в неповторимом и неясном для него инстинкте, он почувствовал, что мир опять возвращается, что не надо мир больше преследовать. Теперь будто бы вернулось его имя с историей его семьи и им самим.

Он вытянул руки и ощупал шов, этот проблеск, закрыв глаза, и впервые слово, забытое им, появилось, – он слышал позабытую музыку, и откуда-то из глубины его юности, которую он носил и, словно опасаясь расплескать, носил в себе на уровне лица, и забытая любовь появилась, которую он мог произносить теперь и вспоминать.

Своим поцелуем он словно распечатал и раскрыл ту московскую ночь, когда они были с ней вместе, и не понимая там ли он или здесь он проник лицом в это темное время, которое предстало сразу вместе. Он видел в темноте ее лицо и словно не узнавал его оно с закрытыми глазами отдалялось от него и он не понимал почему он все это делал и совершал почему и кто кроме него влечет и был вместе с другими и ночи потеряли свои стены и перегородки и тот голос под отдаленную мандолину и гитару и кажется шум троллейбусов совсем из глубокого детства прошел дождем в ушах и древняя ночь вся в содрогании тяги к ней и непонимания для чего и почему он совершает все вместе с другими и тянется к ней и отдаляется и снова вблизи увидел ее лицо сквозь свои закрытые глаза и жалость к ее слабости пронизала и пронзила его всего и ее всю и непонимание – всеохватное непонимание равное этой маленькой ночи вместившей все его и ее непомерные ночи в одиночестве на перекрестке памяти о ней и о нем... демоны юности отступили и ушли и множество лиц явилось перед ним и перестало его беспокоить своим отсутствием но он не был с ними сейчас он слышал временами дуновение лишь из высокого осколка воздуха из витража – и ветерок холодил ему спину когда он плыл и уплывал над волной.

Вспомнил он и свой сон – хотя ему показалось, что в него были занесены его воспоминания о его путешествиях, но различить и понять, где это было, он не мог: белый двор с высокими боковыми стенами до самого верха, покрытыми и увитыми плющом, и две женские белые статуи, отрешенно смотрящие выше любого нашего взгляда.

На руках одной он различил что-то похожее на руно, но потом понял, что это пряжа, поскольку за спиной ее различил колесо прялки – это вероятно была Пенелопа, вторая статуя опиралась горделиво на молот с длинной ручкой, и что она символизировала, было во сне не различить. Ему показалось, что за спинами этих неприкосновенных женских образов уместились приниженные маленькие скульптуры, и вряд ли это было совсем вымыслом – на них были привязаны бирки с цифрами – очевидно, то был скульптурный двор, где что-то менее значительное и монументальное выставлялось на продажу. Была там извитая муза с обрубленными – словно бы безрукавками – руками. Рядом стоял – совсем уж низко к земле – взлохмаченный скульптурный козел – с ценой на шее, но бирку нельзя было разглядеть. По другую – правую сторону стоял, как-то странно скосившись к земле, рогатый мотоцикл, так что в окне они отразились вместе с козлом, как два приравненных зеркалом образа. Различил он и красную надпись справа над входом, где рядом с девушкой-молотобойцем стояли парные маленькие китайские львы: там значилось отчетливо «ArtMarkt», что объясняло частично смысл виденного белого двора во сне.

Не знал он, зачем так отчетливо и подробно всплыло это видение в череде других, и потом почему-то явилась Минерва грозная с атрибутами наук и искусств в руках. В светлое здание его провели, и увидел он огромное златотканое панно, на котором некая величественная женщина вручала эти атрибуты, взятые у женовидных же фигур науки и искусства, мускулистому мужчине, по-видимому, достойному нести их всем людям. Прозвучало и имя этой властительницы, по-видимому, это было название страны, с женским же именем: Италия, Испания, Индия, Россия, Германия, Венгрия? Или даже название целого материка, облаченного, как известно, в женское имя: Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия, Антарктида? Вот он сам на этом панно и вроде бы не там, – смотрит на себя самого, сдерживая смех сквозь сон. И тут он очнулся.

«Не хватало еще, чтобы меня провели сквозь страницы и буквы некой книги, – например, “Книги о граде женском” Кристины Пизанской, – подумал почему-то он, не совсем пробудившись. – Мимо рабыни, возведенной мужчинами на пьедестал и трон. Мимо правительницы, чье первенство несомненно и призрачно».

Тут он действительно пробудился и снова услышал ее дыхание. Почти невидимая в темноте улыбка им все же угадывалась в ее темном и глубоком лице. «Страх связан с незнанием», прошептал он, вспомнив ее давние слова. «Знание и познание – это любовь».

Но тут ему пришли и чьи-то иные слова: «Любовь вселенной – это грусть».

Тут он вдруг задумался над странной задачей, о которой он и думать забыл в своих заботах последнего года. Эта отвлеченная проблема, которая стояла когда-то перед ним как практически неразрешимая, вдруг настолько удивила его вновь, что он даже почувствовал, как приоткрыл рот в темноте. «Догонит ли Ахиллес свою черепаху? Это не так важно. Важно то, что он не сможет ее обогнать». Ахиллес остановится рядом с ней, со своей черепахой-лирой или музой. Нуль здесь сравняется с бесконечностью. Отвергнутый, свернутый ноль. Не надо никуда спешить. Все просто в такой отрешенности. Разбитый цветной витраж, который уронил лунное отражение на ее призрачное, утомленное, но уже не усталое лицо во сне. Он смотрел на нее. И у ней проступали новые, незнакомые и словно забытые, но узнаваемые черты. Он узнал ее.

Лев-гонец перед тем как остаться снаружи у двери, чтобы охранять их сон, успел шепнуть ему, что организаторы праздника обескуражены и смущены произошедшим. И передают Ire если не извинения (характерно было это «не»), то, во всяком случае, глубокие сожаления. Лев, как смог, высказал это по-английски, хотя получилось неуклюже. Понятно было, что ситуация вышла из-под всякого контроля и пошла как бы бродить сама собой, и раздуваемый скандал вовсе никем персонально не раздувался, все получилось как бы само собой по странному и несчастному вдохновению участников, которые выражали просто затаенную реакцию всего студенческого и профессорского сообщества, а дальше все развернулось как некое знамя потаенного протеста.

Он думал в прерывающихся видениях и мыслях в полусне, кем для них должна была предстать и явиться Ira. Кем она хотела, чтобы они ее узнали, и кем они хотели ее представить. Чтобы опершись (или хотя бы опираясь) на мифологию, возвести современный образ женщины-во-

ительницы, призванной спасать род человеческий. Так им пыталась внушить через все каналы и пути Ira, сама того не желая или желая и вожделея. Власть иная. Не женщина – учительница церкви, тут он вспомнил, что канонических таких было всего две и, кажется, обе Терезы, но фамилии или прозвания этих Терез уже он вспомнить не мог. Быть между всех образов, но ни земной, ни неземной, а самой сутью, что было прославлено философами – имя Софии им было самим произнесено.

Все, что он знал о ней, сошлось сейчас в тени этого университета, который она решила создать и преодолеть. По намекам – для тех, кто хочет понять – было ясно, что она полагает, что мир летит в бездну – она заглядывает в эту бездну и, как бы опережая его в его падении, подхватывает его. Мужское начало подошло к краю – оно может только разрушать и уже начало самоубийственный поход – поход против себя самого – против рода людского. Только женское – пусть даже облеченное в слова, выдуманные мужчинами – «женственное» – может сейчас остановить, прервать путь страшного колеса мысли и неминуемой логики, ведущей к непрерывному противостоянию и убийству. Женское сейчас опередило, но не для того, чтобы первенствовать – оно общее, оно для всех.

Все возможные образы – женственной силы и духовной власти – какими бы они архаичными, нелепыми и даже смешными ни казались – все можно внести в новое здание, в это основание и фундамент. Он стал вперемешку припоминать имена – из образов женской силы: «Матер Матута, Ма́тит, Эпона – мать этрусков», – повторял он в полусне про себя. Ма́тит – это же, кажется, в древнеегипетском предании – богиня-львица. Mater Matuta – в мифологии римской – несомненно – богиня женщин. Все эти образы должны были вновь возникнуть и пережиты Iroi, чтобы выйти на свободу в новом – по ее прозрению – мире и освободить всех – мужчин и женщин нынешних. Не во власти беспредельной древних богинь дело, но в том, что они сохраняли и охраняли жизнь.

Матер Матута ведь ведала родами. В ее честь женщины праздновали матренимии. Потом ее, по-видимому, соединили в образе и представлении с Ино-Левкотеей, и она сделалась также покровительницей мореплавателей. Слово «Метроон» мелькнуло перед его взором, когда он лежал с закрытыми глазами. Ведь это, вроде бы, древнее святилище Метер (правда ли, что «матери богов»?) в Афинах на Агоре, которое, похоже, использовалось и как драгоценный архив. Тут ум его почему-то приплел и Materia Prima Аристотеля. Вспомнил он и Ма́три индийскую – божество матери, являющее это восточное двойственное дыхание природы – и созидательницы, и губительницы. Все они, пусть и созидательницы, наделенные немыслимой властью, требовали поклонения, но сейчас, наверное, надо было извлечь для всех не их власть без обсуждения, но приверженность земле и жизни – того, что дает идеальный путь – именно сейчас – захватывая, – нет, перенимая и принимая правление у ослабевших и жестоких мужчин.

Но добрая богиня – Bona Dea – все же наставляла и его в его сомнениях и страхе потерять себя через испытание учительством – материнское – лишь связующее – звено не исчезнет, если оно зазвенит, зазвучит среди других, повторенное и во встречном контрапункте, где есть прирастание, но убыли почти нет или не будет.

Ira сказала:

– Женщина, рождая, приносит в этот мир другого. Дитя – это ее продолжение, но ребенок – он и совсем другой, неизвестный. Она порог иной, неизведанной в мире души. Я тебе благодарна, что ты заронил в меня слово. Но потом я тебя опередила. В этом мое, именно мое было предназначение: вырастить в себе слово и внести его в мир.

– Не слишком ли ты самоуверенна... разве тебе это удалось?

Она шевельнулась в темноте, и он увидел контур ее лица.

Она тихо произнесла:

– Ты настиг меня, но не догнал.

Ira произнесла в почти непроницаемой темноте:

– Ты решил путешествовать, решился... по времени своей жизни, чтобы узнать себя... узнать себя, которого ты уже не узнавал... но без пространства... без странствия в пространстве... без другого... ты никогда не найдешь и не узнаешь себя.

Он сказал:

– Сказав «а», надо говорить «б», а я считаю: надо еще раз сказать «а».

– Да, но если ты не скажешь и другое, не увидишь другого, не произнесешь его, то ты не узнаешь и это «а», тебе не с чем будет сравнивать.

– Мы пустились с тобой в какие-то абстракции, причем в полнейшей темноте, я вот до сих пор не могу поверить, что рядом со мной действительно ты... Мне не хотелось бы, чтобы эта ночь с тобою кончалась... вернее, хотелось бы, чтобы она не кончалась...

– Ты усни, и все пройдет...

– Я не хочу, чтобы я засыпал...

– Ты совсем как ребенок... «не хочу, чтобы все вокруг было не так, как я хочу»...

– Ребенок чувствует, что он все может.

– Потому что он самый слабый, – и она прикрыла, смеясь, его веки. – Спи, хотя знаю, что не заснешь...

Он открыл, улыбаясь, глаза и сказал почему-то:

– Знаешь, я только сейчас перестал тебя бояться... это нельзя было назвать страхом, но я словно бы не знал тебя, а теперь знаю... и поэтому не боюсь.

Он хотел заснуть с открытыми глазами, но незаметно смежил веки и увидел внутренними глазами удивительно яркие образы, сменявшие друг друга, – что-то было правдой из произошедшего с ним, а что-то чудесным преддверием сна, но что, он не знал... ему казалось даже, что он способен управлять этим сном, сознание его жило рядом с сонмом картин, которые появлялись как будто бы вблизи него. Вот он в каком-то городе, – был ли он там в реальности, он не помнил – вечерний город с темными зданиями и необычайно ярким солнцем, которого он почему-то почти пугался, когда он выходил из-за тени зданий – низкое закатное и огромное солнце... и он в поисках Iry, но какое-то невероятно радостное чувство охватывало его – оно было совсем не таким, каким было возможно в реальности, и была ли вообще та реальность, да и что это такое... он был сейчас в поиске, он искал ее, зная, что обязательно найдет, но ему надо было обязательно к назначенному ей сроку отыскать площадь, где она назначила ему свидание, – но город был ему неизвестен, хотя он вобрал, собрал в себе все вечерние города, в которых он побывал и в которых не был – «Радостный город», вдруг появилось само собою название, всплыло, как титр, и он его смог прочитать – название места, – то было имя города, которое существовало и отдельно от этого места и все же несомненно ему принадлежало. У него в руках была карта, необычайно отчетливая, но с названиями на незнакомом языке. Но ему казалось, что он язык понимал, во всяком случае, мог прочесть названия улиц, и почему-то шел не в том направлении, которое вело бы к площади, о которой сказала Ira, и где она его ждала – но он знал, что только до определенного часа – он двигался, так он думал, в правильном направлении, но названия улиц на стенах домов не совпадали с теми, что он видел на карте. В отчаянии – хотя всеохватывающее чувство радости не проходило – он было внутри – а отчаяние рядом – он вгляделся в карту и увидел, что на той площади стоит театр, названный женским именем, но которое он не мог произнести или выговорить сейчас. На проспекте с огромным бульваром посредине, со множеством хотя и редких, но обильных машин не было видно людей, не было ни одного человека, хотя был еще не поздний вечер и закатное солнце заливало все светлым светом.

19.

За дверьми утром он льва не обнаружил. Пошел он по светлому коридору к выходу, свернул за поворот и увидел впереди согбенную сидящую фигуру. Лев перенес зачем-то легкий столик и стул из кафе и сидел у выхода, почти на самом пороге. Подперев по-человечески подбородок лапой и глядя без движения в зеленый пейзаж вокруг.

Лев за столом не казался таким огромным, и он положил ему руку на плечо, почти по-отечески, вместе со львом глядя в линии неуловимого светлого пейзажа и контуры гор, но лев

качнул плечом, сбрасывая как бы руку его с плеча, показывая, наверное, что не склонен сейчас к сантиментам, а скорее к какой-то утренней туманной рассеянной мысли.

Они вместе вышли в этот сад, где росли низкорослые мандариновые деревья, и после тихого утреннего дождя воздух был туманный. Он видел, что лев хочет что-то произнести и не может. Стояли они совсем рядом с деревом, на котором у их лиц висели зеленые еще плоды с невысохшими каплями дождя на поверхности их кожи.

– Не думай, что ты уже не с нами, – сказал он.

Лев ничего не сказал. Лев хотел что-то произнести, но словно бы давал понять, что любое сказанное им слово может быть истолковано не так или не в его пользу. Но он пытался дать понять льву, что все не изменилось после ночи. Что лев сейчас, может быть, главное для них. То, что связывает не только их, но и все здесь и совсем по-новому.

Рядом с лицом льва увидел он иные продолговатые зеленые еще плоды и дальше – фигурку Iгу, входящей в главное здание.

– Понятно, что идеи ее здесь совершенно чужды, – сказал вдруг лев, – да и риск потерять работу для них постоянно...

– Да уж, университет как универсум... Только мы с тобой это понимаем, – сказал он, – и станем первыми студентами там.

– И станем первыми учениками, – сказал лев.

– Поскольку других может пока не оказаться, – сказал он, – впрочем, она, наверное, считает, что в другом штате, а может быть, в другой стране такое возможно.

– На острове?

– Ну, если думать, что, например, Россия на острове, то да, – сказал он, – но куда приведет моя безнадежная любовная история, не знаю, но я готов... почти ко всему... готовности моей можно позавидовать.

– Ты что, забыл? – вдруг тихо произнес лев, словно очнувшись, – что мы на острове, ведь эта территория – под эгидою ООН, она выделена специально для первопоселенцев, – здесь не расставлены везде указатели, но это так... какой штат, нет тут никаких штатов... здесь я думал основать посольство зверей. Ты забыл?

– Нет, я не забыл, – сказал он, – но для меня все это слишком быстро, я не могу так перемещаться быстро в сознании... для меня история вся наша слишком сильна...

– Впрочем, – сказал важно лев, – здесь ничейная территория, ничья земля – земля для всех, пока ее попыталась захватить Ira, но после вчерашней лекции, боюсь, что придется ей отложить ее замысел на поздний срок, если только над ней не возьмут опеку, кто-то из нейтральных представителей...

– Ты, что ли?

– Например, я.

Он вспомнил зачем-то и увидел буквально перед глазами выцветший (ему хотелось назвать его «увядший») от времени листок из серо-голубой папки. В нем Irinym почерком было написано несколько строк о формулах женской логики и значимости их для всех. Он вспомнил их дословно, хотя и приблизительно. Tertium non datur? – писала она, – нет, «третье дано» – дано в женском сознании. Третье тоже дано, но дано по-разному каждый раз. – Последнюю фразу он запомнил дословно, но смысл ее от него ускользнул. – Вы говорите обычно, – он вспоминал уже приблизительно ее записи, – что, если $a < b$, то несомненно $b > a$. Но в ж.л. (он вспомнил, что она использовало такое сокращение для «женской логики») если $a < b$, то может быть и $b < a$. Почему? Пока не знаю. Но, возможно, множественность признаков каждого предмета или субъекта такова, что по некоторым признакам он меньше другого предмета или субъекта, а по другим – больше. Здесь запись ее, как он помнил, обрывалась. Но он подумал сейчас, впрочем, почти так же, как и тогда, что все эти логические разработки хорошо известны еще с XX века, но только никто их не называл ж.л.

Он спросил льва:

– Она говорила что-то о женской логике и необходимости ее формализации, буквально насущности для всех?

– Что-то говорила, – пробормотал лев, – но обошлось без математики, – лев не слишком любил царицу наук, потому что почти не узнал, с чем ее едят. – Но зато она, продолжал лев, – говорила долго о необходимости преодоления кошмара повторения.

– При обучении?

– Нет, при повторении само себя в бытии. Выйти из этого порочного круга бесконечности, который пугает нас сильнее смерти сейчас. О мировой скуке, которую не излечить даже мировой скорбью. Только женское способно преодолеть это сейчас и сказать о том новом, что рождается, способно родиться каждым... каждый это способен родить и создать в себе.

– Что-то смутно, – с улыбкой сказал он, хотя понимал, о чем идет речь.

– И еще, – продолжил лев, – что-то понять в мире можно, только став учителем в тот миг, как ты становишься учеником... или, вернее, чуть позже... мгновением позже, этот миг решает все, сможешь ли ты как ученик родить в себе учителя и удержать в себе их обоих, иначе либо ты ничего не поймешь... либо распадешься на несоединимые части...

Iга велела им забрать, предварительно, конечно, найдя (что, наверное, предполагалось нелегким занятием), одну рукопись из ее комнаты. Они со львом стояли перед огромной запертой дверью, тщательно подбирая ключи. Все электронные замки уже сработали, но оказалось, что дверь все еще заперта, и надо подобрать железный ключ для скважины из большой связки разнообразных и частично заржавелых уже ключей. Лев очень тихо и шепеляво прошептал: «Если найду здесь портрет Блаватской, я убью ее». Он не стал уточнять, кого лев имел в виду, и фраза так и осталась раздвоенной угрозой. Когда они вошли наконец, им предстала неожиданно пустынная солнечная комната, с листами рукописей по полу, с брошенной шляпой сомбреро на столе с тяжелыми от пыли полями.

Здесь наверное был тайный офис Igy-Mater, и ясно, что здесь она бывала только, когда работала, понятно также было, что рукопись она имела в виду виртуальную, которая была скрыта здесь в компьютере. Но на всякий случай она велела им забрать и все листы, что они найдут в комнате. Они стали собирать разлетевшиеся по всей комнате страницы, лев хотел примерить на себя мексиканскую шляпу, но, возможно, из уважения к Mater оставил ее на столе, куда отправил ее, наверное, последний небрежный бросок женской руки. Видно было, что в этой комнате никто давно не бывал. Здесь было хранилище мыслей Igy, сама комната являла собой, вероятно, сейф ее предполагаемо несгораемых мыслей. Из этого хранилища им надо было все же что-то найти и извлечь.

20.

Они сидели на полу среди разрозненных Irinyh листков, что-то перебирая, не чая найти ее рукопись. Лев рассматривал, играя, листочки, делая вид, что не понимает, что там написано, а лишь как подопытная обезьянка бормочет первое попавшееся по поводу увиденного.

Вдруг лев отчетливо произнес:

– Она хотела бы стать в едином лице и Терезой Авильской, и Фомой Аквинским, но это ей не очень удалось.

Он спросил льва, понимая, что тот не просто хочет блеснуть эрудицией, но в голове неофита так много всего было нового, что оно поневоле спуталось:

– Что ты имеешь в виду?

Но лев, словно не слыша, продолжал:

– Другая Тереза – Тереза из Лизье – напрасно добивалась аудиенции Папы Льва XIII.

Фраза была уж совсем загадочной, и он спросил льва:

– Ты почему упомянул этого Папу, тебя его имя привлекло?

– Нет, оно всплыло само – я думаю – если ты мне позволишь так говорить, надеюсь, ведь я смею думать, что умею думать, хотя ты своими вопросами хочешь меня все время иронически сбыть с панталыку – когда я думаю об Ire – о ее вчерашнем неуспехе... который, быть может, дороже многих побед.

– Так что ты хотел сказать о папе Льве?

– Лев XIII не помог сразу Терезе, но она стала все же одной из трех Матерей Католической Церкви.

Он не ответил льву, потому что не знал, о чем идет речь, и можно ли словам льва вообще доверять, именно потому что лев сейчас говорил важно и непреклонно, словно ребенок, которому, наконец, дали право голоса и поневоле заслушались его как оракула, устами которого несомненно глаголет истина.

Лев продолжал, хотя в мысли своей уже, кажется, метнулся в сторону:

– Его предшественником был Папа Пий IX, а преемником – Пий X... Лев был одним из самых пишущих Пап – вспомни хотя бы Rerum Novarum.

После довольно долгой неизбежной паузы лев сказал:

– Потом, кажется, этот манифест неотомизма был дополнен другим Папой тоже вроде бы XXIII... или нет, все же XXIII Иоанном, назывался он «Mater et Magista»...

– Откуда ты все это знаешь? – спросил он льва.

– Сам не знаю, – почти неожиданно почти испуганно пробормотал лев, – мне кажется, я этого не читал... во всяком случае, не помню где и когда... значит это мне передалось как поветрие...

– Думаешь, Ira читала эту энциклику?

– Не знаю... возможно, она склонна к заражению знанием даже сильнее, чем я, что кажется невозможным... ты знаешь, как меня инфицировали при создании льва-человека...

– Что означает название того послания Папы, знаешь?

– «Мать и учительница» или более торжественно «Мать и наставница»... не сомневаюсь, что, готовясь к своей тронной речи, она изучала ее, но затем будущее ее повлекло и унесло...

– Но ведь там матерь и наставница в определенном смысле...

– Да, конечно, то, что имеет в виду церковь... римско-католическая церковь, – быстро произнес лев, – понятно, что Ira должна была смягчить все ассоциации... но если в той энциклике спокойно говорится о простых вещах... о том, что основой нормального общества является стремление к истине... справедливость и ее движущая сила любовь... то, что и предложила Ira... хотя и неявно, конечно...

– Что же? Ведь я как бы отсутствовал...

– Да, ты был во сне золотом... Она говорила, по сути, о сверхженском... о новой Еве... и о сверхнечеловеческом, если можно так сказать... чем напугала почти всю аудиторию.... Помню почему-то отчетливо одну фразу – перевод с латыни на английский, хотя помню, что ее не читал... «Social Conditions in Leo's Time».

Лев замолчал, а потом вдруг перепрыгнул на другую тему, хотя все же связанную со всем прежде сказанным:

– Схоластики ведь сгрудились тогда вокруг университетов... что Дунс Скотт Эриугена, что Фома Аквинский... и пытались синтезировать новое учение... что они дали миру и граду... как алхимики до алхимии сплавили веру и знание... писали свои «Суммы», а затем заставили учеников с этой писаной торбой, точнее, писаной суммой-сумой ходить по свету. Цель их была доказать, что рациональное ограничено и в том доказательство бытия Бога.

Потом лев замолчал и неожиданно продолжил:

– Дали ему такое название или имя, впрочем, может быть, я путаю... «Фома верующий»...

– Ну, во-первых, ты спутал Дунса Скотта и Иоанна Скотта Эриугену, что значит, по-видимому, «зимний»... ведь Иоанн был эмигрант... был ведь спор между томистами и скоттистами, но это было уже через много веков после Скотта зимнего...

– Может, я что-то и путаю в ваших веках, но кое-что все же знаю, думаю, не я это выдумал, хотя ты можешь думать по-другому... знаю... или догадываюсь, что Ira пыталась использовать подход Дунса Скотта, который путем повторения практических истин пытался подойти к Medicina mentis, то есть к врачеванию духа...

– Ты говоришь что-то мудреное... но ты считаешь, что она все смешало в какой-то дремучей смеси, чтобы по-новому учительствовать... и врачевать при этом и строить университет на новом, но подвижном основании?

– Мне все равно, мне важны лишь слова Терезы Авильской о том, что восходящий в духе не поднимается на вершину один, а как вождь ведет за собой целое воинство, не знаю, имела ли Ira это в виду, но она потащила и меня за собой...

21.

Тут они вдруг заслышали некое движение и, взглянув, увидели Iru, стоявшую в светлом проеме дверей – она неслышно вошла и сейчас смотрела на них, сидящих на полу и что-то громко обсуждавших.

Несомненно она слышала последние слова их разговора, но ничего об этом не сказала. Без улыбки она смотрела на них, и лишь произнесла:

– Мы должны немедленно уходить... сворачивайте все дела, – и исчезла за дверями...

– Что собирать? – спросил наивно лев.

– Я не знаю, – ответил он.

Лев начал собирать листочки, рассеянные по всему полу и складывать в сейф.

– Может, что-то надо взять с собой? – спросил лев.

– Только самое важное, – ответил он.

Лев стал рыться, быстро перебирая лапами и отбрасывая, как ему казалось, ненужные листы.

– Ну, вот,– произнес лев, – здесь есть какие-то смутные наброски об университете, почти слово в слово, что я говорил... здесь и о папском университете святого Фомы Аквинского есть... об университете под названием Angelicum... она думала об этом... и хотела создать, быть может, что-то подобное, но новое...

– Да уж понятно, что новое... она, наверное, и мое раздвоение на лекции приняла за чисто виртуальный эффект. Сейчас, когда в каждом доме, в каждом компьютере свой университет, что можно предложить? Но она все же захотела такой новой власти... рассеянной по всему миру... но то, что она принимала за благо, другие сочли за вызов.

– Но не суди ее, – снова сказал лев, – ты же не знаешь, чего она хотела... она же тебе не все поведала... она и для себя не все определяет... чтобы не проговориться...

Она, наверное, хотела бы создать мир такой мягкий в каждой частности... но твердый невероятно, если все собрать вместе... вот допустим, я держу в пальцах монету... твердую монету... и вдруг она становится мягкой, словно нагретая в огне... но не обжигает пальцев... и профиль королевы на монете становится мягким... На самом деле мы не знаем, что она задумала... и куда она собирается отправиться... мы только гадаем, как оракулы... а она все уже решила...

Ira появилась так же бесшумно, но была на этот раз быстра необычайно, ее шаги словно бы сами собой заполнили комнату, и льву и ему она не давала остановиться.

– Мы уходим... срочно... – быстро произнесла она.

– Куда? – почти хором произнесли лев и он, сидящие на полу.

– На эту гору, – она показала рукой за окно на зеленую солнечную гору, – а затем за нее... в соседний штат... нам надо как можно быстрее попасть в ту территорию... пока принадлежащую мне... пока ее не заняли.

– Но если ты так спешишь, почему бы не поехать туда? – спросил он ее, – у тебя же есть вертолет.

– Прямой дороги нет, а объезд занял бы целый день... да и ничего я не хочу у них брать... мой вертолет... но я не могу даже прикоснуться к нему сейчас... они пришли сегодня с петицией... просили остаться... но после того, что произошло, как я останусь... я буду их презирать... я не могу работать с такими людьми... собирайте этот хлам.

– Мы кое-что нашли важное, – произнес лев.

– Берите только немногое, остальное – в сейф... или сожгите, – на ходу уже произнесла Ira, – у вас на сборы девятнадцать минут.

– Как можно это сжигать, – произнес тихо лев.

Он разбирал листки, как цветные камешки, – среди бумаг обнаружились картинки, и одну лев тут же прижал к груди, – там оказалось много львиных изображений – почему-то Ira скопила их, и на одной картинке лев, сидящий на ветке, играл на маленькой скрипочке, среди лозы и побегов растений.

– Ты знаешь, что лев там исполняет? – спросил он льва.

– Нет, но догадываюсь, – отвечал лев, – не сомневаюсь, что что-то из Баха... некоторые простенькие вариации, тему какой-то фуги, которую он изучил до полной обглоданности... и только ее, но он ее повторяет всегда в вариациях.

– Ты не можешь этого знать, – сказал он, к тому же это средневековая миниатюра, написанная задолго до Себастьяна.

– Я имел в виду баха с маленькой буквы, – после недолгой паузы сказал лев, – «бах» ведь по-немецки – «ручей», – лев играет то, что напевает ему горный ручей, то, что воздушный источник подсказывает.

– Ты совсем какими-то романтическими красивостями заговорил? Где учился?

Но внезапно возникла Ira и прекратила их речи. Они теперь так торопились, что даже не заперли двери ее офиса. Но она сказала им, что это уже не важно. Они вышли на абсолютно пустой и прямой проезд («drive» – произнес по-английски лев), рассекающий пространство в конце странного этого места, и направились к зеленой горе.

Лев и он пытались что-то узнать у Iry, – спросить, куда они движутся, но она была слишком непреклонна в своей стремительности сейчас и постоянно обгоняла их, так что им, отставшим, приходилось гадать и обсуждать между собой цель их путешествия. Лев предположил, что они собираются успеть до темноты перебраться через гору и попасть в ту девственную долину, которую лев много раз видел на карте, – она была обозначена пунктиром, и Ira на нее часто смотрела, – то была «резервация мысли», как лев пытался ее для себя назвать, там было все приготовлено для какой-то новой жизни, и Ira стремилась туда всегда, и сейчас спешила, чтобы никто ее не захватил. Впрочем, лев предположил, – лев сейчас был очень говорлив, вырвавшись на простор природы, – что для Iry сейчас важно само движение, что найдет ли она цель в этой долине или нет, не так важно, – смысл для нее представляло движение, которое приводило в движение всю ее сущность, и их, как поток, тоже влекло за собой. Они подчинялись такому движению, просто потому что было новое свежее утро.

Они шли втроем быстро по солнечным полянам, переходящим в леса, но уклон был пока небольшой, и можно было двигаться, не теряя сил. Все же он со львом постепенно отставали, хотя, конечно, не теряли Iru из виду.

– Дело не в том, что сейчас возможен виртуальный университет или даже университеты, – сказал он на ходу льву, вспоминая их разговор, – это их не могло испугать, просто Ira решил предложить совсем новое, и они увидели в ней волшебницу. Причем то была какая-то невольная реакция, что и выплеснулась в нелепый спектакль. Никто не хотел ее обидеть, все к ней хорошо относятся, и все же решающая речь их довела до предела. Но ведь она не хотела создавать новую религию.

– Разве? – наивно спросил лев.

– Нет, не хотела. Но они подумали, но тоже как-то все вместе... что она пытается вернуться в какие-то языческие времена, и они остереглись ее как новую Ипатию.

Они миновали уже солнечные поляны и подошли к самому подножью большой, можно сказать великой горы, поросшей диким лесом, это были почти джунгли, хотя туда все же вела тропинка, видно, что там проходили люди, и от основания горы начиналась поросшая мхом крутая лестница, вырубленная когда-то в скале. Они трое остановились у подножья и решили отдохнуть в некоем подобии каменной хижины, похожей отдаленно на дольмен, почти без крыши и с покосившимся каменным столом посредине.

22.

Они долго уже шли. Нелегко было подниматься в гору по заросшим быльем, старым и высоким ступеням, особенно тяжело было льву. Ноги его напомнили о том, что это львиные задние ноги, и они не приспособлены, чтобы держать на них весь вес своего тяжелого тела. И, наконец, лев опустился на все четыре лапы, и перестал быть геральдическим львом, а стал зверем снова, но зверем, который оглядывался с человеческой усталостью. Но все равно он часто отдыхал, и Ira и он, обогнав льва, ожидали его.

Потом они достигли некоего прибежища, сложенного из каменных стен – это подобие беседки находилась за завесой воды, падавшей с невидимой высоты.

Он увидел, что вода, ниспадая с такой высоты, не распадалась на капли, как обычно бывает, но шла вниз тонким, словно бы отшлифованным потоком, сквозь который можно было разглядеть и лица других, и скалы, – изогнутый в полете поток воды казался огромной линзой, изменявшей все масштабы.

Лев снова поднялся на задние лапы и затряс передними лапами, отдыхая, – он вытянул язык, было видно, что подъем был для него нелегок, глаза покраснели, и он некоторое время ничего не мог сказать, видимо, возвращение временно в звериный облик помогло ему, но было нелегко. Однако хвост его изогнулся лебедем и взмахивал кистью.

Лев первым и опустился на деревянную рассохшуюся скамью под ивой.

Он, Ira и лев склонились лицами своими над полотнищем прозрачной воды, казавшимся неразделимым, – вода пропускала свет, и были видны камни, поросшие зеленым мхом за ней, и что-то еще. Влажность воды почти не чувствовалась, но над ней стояло радужное марево, и они словно бы вошли в него, очутились все втроем и видели этот призрачный павлиний диск уже у себя за спиной, – они были между переливавшимся на свету воздухом и линзой воды, которая стала невероятно прозрачна и глубока, но глубина не темнилась колодцем по мере вглядывания в нее, но освещалась еще новым каким-то светом.

За прозрачное полотно воды Ira зашла и оглянулась, вода спадала вниз, как сплошная пелена, лишь веяло свежестью от гибкой и широкой стены воды. Ira стояла у скалы за водопадом. Он видел ее лицо, и при этом казалось, что и его лицо отражается, как во влажном зеркале, в тонкой ниспадающей стене воды.

Ira стала говорить ему и льву, и голос ее изменился по сравнению, что он слышал всегда. Она говорила о том, что если им кажется, что все вернулось в прежнее состояние, что и год назад, то правы они лишь частично. Тут ему подумалось, что она оправдывает свой неуспех создания Универсума-Тета. «Вы правы лишь частично, – повторила она, – вся наша жизнь – повторение – каждый миг мы воспроизводим и, значит, возвращаем себя – даже на физическом уровне – без этого жизнь невозможна».

Лев что-то пробормотал, и он подумал, что лев не очень доволен начавшейся проповедью, – лев пытался напомнить о «кругах своих» и все такое, но бесполезно было шептать или кричать, звуки, очевидно, в ту сторону сквозь стену не доходили до Iry. Но он все же успел прошептать льву, чтобы он пока не прерывал ее, ведь она считает себя отчасти самой Премудростью и поэтому выше и умнее всех печальных, хотя и справедливых афоризмов. Но лев все же был не очень спокоен. Между тем Ira, словно бы не замечая их шевеления по эту сторону прозрачной стены, продолжала речь.

Она говорила о том, что мы входим дважды и трижды, и четырежды в одну и ту же реку, которая есть жизнь каждого. Но тождество – лишь идеальность, потому что всегда происходят малые изменения, и они плодотворны – без них невозможны новые знания, но они и разрушительны, – они приводят, способны приводить к деградации и смерти. Но здесь нет неизбежности и неотвратимости, ведь разрушительные отклонения – следствия греха – и материального, и самой мысли. Если мы поймем, как, повторяя себя, обновляться, но истинно, следуя устремлению к высшему, мы преодолеем такие разрушительные отклонения заблуждения.

Лев тут пробормотал тихо, но отчетливо:

– Ну, о грехах ей лучше было бы не упоминать... кому-то говорить... но уж не ей, точно...

Он, слушавший Iru завороженно, оторвался от слушания и прошептал льву:

– Кто без греха, пусть бросит первый камень...

– Я без греха, – так же тихо произнес лев.

– Ты? Да покинув райский мир зверей, ты перебрался в людской мир... чудовищный... где все грешны.

– Не хочу обратно, – глухо и замирающим голосом проговорил лев.

Ira, почувствовав, что они стали перешептываться, на секунды прервала речь, но потом все так же продолжала говорить сквозь стену водопада:

– Но невозможно истинно повторяться – в высшее, а в материальном – в мир – и здесь материя – не враг – она становится порождающей, становится формой. Однако для раскрытия в других, в другого, другое – надо пройти путь движения во множественность – это путь Эроса – собирания из множественности. Но где же ее обрести, как не в мире, не идя по ми́ру и даже по́ миру, не открываясь Матери-материи-Земле...

Он, слушая все так же завороженно, ощутил внезапный иронический укол – голос незабвенного Переулкова вдруг вмешался и спросил «по́ миру – это что же, “помирать” или “помирить”»? Ira, словно почувствовав, сказала:

– Пере-мирие, при-мирение – вот, пусть временный, союз с высшим началом, не умирать – хотя бы на мгновенье, но миг надо повторять.

Лев временами слушал тихо, но все же что-то бурчал временами. Лев произнес:

– А короче никак нельзя?

Получилось грубо, и он думал, что Ira разгневается, но вдруг она засмеялась, прервала свою речь и вышла к ним от скалы.

Она прошла сквозь стену водопада и омытая водою предстала перед ними. Он удивился, что она не порезалась об эту воду, которая падала тонкой летящей стеной, прозрачной и без разрыва сверху. Но тут он увидел, что вода перестала спадать непроницаемой гладкой, прозрачной как бы стеклянной стеною и разбилась на струи, на косы воды, которые стали радужными, брызги летели к ним, и водяная пыль покрыла их лица.

Ira вышла из-за завесы воды, разом разбившуюся на водяные капли, в руке у ней сверкнул кристалл, и он не сразу понял, что это осколок горного хрусталя.

Лев, который демонстрировал всячески, что утомлен Irinoi проповедью, да и на самом деле он, видимо, очень устал от невыносимо долгого подъема в гору, вдруг совсем по-детски и несвойственным ему тоном промолвил:

– Дай поиграть.

Ему показалось, что лев сейчас завиляет хвостом, чего и представить нельзя было, но львиный хвост тяжело и устало лежал на влажном и мшистом камне. И Ira протянула сверкающий хрусталь в протянутую лапу. Лев не поверил своей радости и долго любовался на сверкающий гранями, но довольно гладкий осколок, и потом поднес его к глазам, чтобы взглянуть на солнце, все же проглядывавшее сквозь высокие и густые ветви деревьев.

– Осторожно, – сказала Ira, – это ведь линза, – ты можешь обжечь глаза.

Лев не послушался, но хотя смутное солнце только угадывалось сквозь листья вверху, почувствовал боль в глазах, стал тереть их свободной лапой, потом смочил водой из водопада, и вновь

поднес кристалл к глазам, и стал смотреть уже вниз в долину, которая совсем уж была скрыта от них непролазными стволами и лианами, и все же на глубине виделось то плоскогорье, от которого они поднялись наверх.

– Там что-то шевелится, – растерянно и опять словно бы по-детски произнес лев.

Он тоже взглянул в эту часть кристалла, выгнутую, как линза, но ничего не увидел. Но Ira, только на мгновение заглянувши туда, сказала серьезным голосом:

– Попробую дать вам получше прибор для зрения.

И она подошла к водопаду и протянула к нему обе ладони. В это время лев успел что-то почти испуганно прошептать, но он разобрал только: «шэн, шестая гексаграмма, мы ведь идем, поднимаемся на юг».

Ira отошла от водопада, и они увидели, что в руках у нее прозрачный шар – это была вода, но Ira каким-то образом удерживала на ладонях его так, что он не разделялся на части – это была цельная и прозрачная вода. Она взглянула сквозь шар в долину. Он тоже попробовал, но ничего не увидел, лишь по поверхности скользили отражения легких облаков, иногда похожие на лица. Лев взглянул в шар и произнес восторженно – за то, время, что они были здесь, он сменил несколько интонаций и не был похож на себя прежнего, он напоминал какого-то ребенка-переростка, попавшего в мир взрослых:

– Это же потешное войско.

Он тоже взглянул внимательно, и долго смотрел вслед за львом почти до боли в глазах, и вдруг стал различать в самой глубине долины какое-то едва уловимое движение, мелкое и пестрое мельтешение. Но все же все это роилось и создавало ощущение мелькание почти невидимых молекул, смотреть на которые глаз не создан.

Ira тоже вглядывалась и, возможно, различала что-то отчетливей, но все же, встряхнув головой, полностью доверила только льву смотреть в прозрачную линзу, сквозь которую обозревалась долина.

Лев же смотрел туда все с большим вниманием, лицо его неуловимо менялось, и глаза двигались быстро, как движутся глазные яблоки под веками у спящего, только глаза его были открыты. Ira и он тоже вглядывались в этот шар, но им сейчас на расстоянии от шара почти совсем ничего не было видно, но казалось, что шар стал испускать свет.

Лицо льва, внешне некрасивое, озарилось, по нему проходили свет и огонь, и им казалось, что они видят отражения в львиных глазах того, что тот видел в прозрачном шаре.

– Они движутся из будущего в прошлое, – произнес лев.

Он хотел спросить льва: «Там что, указатели есть», но не стал, и даже не стал уточнять, о ком идет речь, – лев бы не ответил.

– Они движутся в разные стороны, – удивленно произнес опять лев. И они видели какое-то огненное мелькание в белках его глаз, и им казалось, что они все же понимают, что лев видит там, – он хотел им сказать, но не мог выразить, о каком-то переселении народов, то, как он его видел, «во времени» и при этом «в разных направлениях».

Он и она тоже вглядывались, но было понятно, что только лев видит что-то по-настоящему и настолько захватывающее, что не может говорить, наконец, они стали смотреть только на льва.

Лев оторвался от линзы водяного шара и смотрел куда-то поверх:

– Описать это невозможно...

– Надо видеть...– пытался он продолжить слова льва.

– И видеть не надо, – тихо и мрачно сказал лев.

Ira все еще держала прозрачную сферу в ладонях и смотрела на льва с удивлением и сомнением.

– Ты меня научишь этому? – спросил лев.

– Чему?

– Этим фокусам.

– Это не фокусы, – Ira разжала руки, шар распался на капли и впитался в траву.

Лев присел на камень и долго вглядывался вперед, хотя, казалось бы, впереди ничего не было, кроме путаницы лиан и редких белесых цветков.

23.

– Я прочитаю вам свое стихотворение, – неожиданно сказал лев, отдыхавший на теплом, нагретом на солнце камне, и произнес:

– Где я? Когда я?

Он и Ira ждали, что лев, по своему обыкновению стремившийся к обширным опусам, будет продолжать, но лев молчал.

– Грандиозно, – произнесла Ira.

– Правда? – доверчиво спросил лев.

– Нет, не правда, – засмеялась она, и он впервые увидел, что Ira попыталась ободряюще потрепать львиную гриву, но лев уклонился.

Поднялись они на последние огромные лесные ступени, и вдруг, буквально раздвинув лицами и руками плети перевитых ползучих мягких ветвей, вышли на альпийский луг. Пологий склон поднимался к перевалу, но открылось солнце, и вокруг вдруг распахнулась такая широкая – «широкоплечая» – хотелось ему сказать, даль, что он захотел в эти синеющие дали сойти и там оказаться. Показалось ему, что пахнуло даже морем, и он закрыл глаза, чтобы почувствовать яснее тихий ветерок. Вспомнил он, как давным-давно ночевал в мастерской знакомого художника в Феодосии, и запомнил навсегда те запахи темперы и моря. Сейчас над лугом шли волны теплых запахов незнакомой страны.

Что-то толкнуло его под ногу, и он чуть не упал – он понял, что наступил на львиный хвост. Лев, явно усталый, тоже покачнулся:

– Ex coda leonem, – пробормотал лев.

– Что ты бормочешь? – спросил он льва.

– По хвосту – льва, – ответил лев.

– Ты что имеешь в виду? То что я тебе наступил на хвост? – не понял он.

– Я только переиначил известное «Ex ungue leonem» – «По когтям узнают льва»... но у меня ведь когти закруглены... в целях безопасности не только вашей, но и моей... чтобы можно было ходить в мягких этих башмаках... ну а хвост не спрячешь... если только специально не отстричь. Хвост только и остался мне... чтобы можно было узнать меня как такового...

– Он мог бы полезное дело делать – заметать за нами троими следы...

– Зачем, – сказал, отдышавшись и помедлив лев, – мы же ни от кого не бежим... и мир не гонится за нами... Может быть, наоборот, надо было хвостом перед нами мести, как буддисты, чтобы даже малых сих не затронуть... Но, – подумав и помедлив еще, сказал с некоторой горделивостью лев, – мой хвост... пусть с пыльной кисточкой... это то немногое, что связывает как-то еще меня и не только меня со всем, что есть.

– Непонятно, – сказал он и подумал, что от некой выспренности и риторической торжественности он его не отучил.

– Не надо, – словно бы понял его внутренние слова лев, – меня ни от чего отучивать... надо все брать с собой... словно школьные принадлежности, все пригодится в учебе. И неожиданно тихо запел. Он впервые видел и слышал его поющим, вернее мелодически гундосящим какую-то незнакомую, но постепенно все же смутно угадываемую, волнующую и возвышенную песнь.

Солнце выступило, наконец, и светило сильно на них справа. Ira споткнулась о камешек на пути и остановилась.

Лев сказал ему тихо, чтобы споткнувшаяся и отставшая Ira не слышала:

– Мы взобрались сюда, наверное, потому, что ей, как одному великому китайскому поэту, привиделось во сне, что она гуляет по горе Матерь Небес.

– Выдумщик ты, лев, – сказал он. И добавил:

– Ну а флаг свой ты что, хочешь водрузить на вершине?

– Пока не думал, – ответствовал лев, тяжело ступая, но все же идя к гребню горы. Потом лев спросил:

– Ты дашь мне имя?

– Да, когда спустимся с горы.

– А свое назовешь тогда?

– Да.

Лев шел в стороне от них по невидной почти тропинке, лев перешел опять на четыре лапы, и он услышал, что лев сейчас пел, вернее, мурлыкал что-то тихое и гундосое: «О, Mamy, о Mamy, Mamy, blue, о, Mamy blue».

– Что ты бормочешь? – спросил он льва.

– Рассказать, какой мне приснился сон этой ночью у вашей двери? – спросил его в ответ подошедший лев.

– Львы же не видят снов.

– Мне приснилось, – не отвечая, продолжал лев, – что за горой, куда мы идем, в ручье оказался маленький бумажный кораблик, и мы поместились в нем втроем, мы не были маленькими, но все же смогли плыть на маленьком корабле. Но по мере того, как ручей спускался все ниже и превращался в речку, рос и корабль, и вот мы уже на речном огромном судне, а речка вошла в Миссури, а затем в Миссисипи, и мы все втроем плывем на бумажном корабле в Россию. Мне виделись светлые дали, и небо над Южным Орлеаном, и выход в залив, и наш океанский корабль готовился выйти уже в Атлантику, но он так разросся, что стал тонким, и бумажные стены начали промокать и плакать, и вот буквы стали проступать на бумажных стенах, и корабль наш стал опускаться на дно, и я, словно якорь, вырвался с ним из светлого дна этого сна и опустился в обычную жизнь.

– Выдумщик ты, лев, – невольно повторяясь, сказал он.

Лев ничего не ответил, качнул головой и стал грустный.

– Где же она задержалась? – спросил лев, оглядываясь назад на Iru, которая, отстав, завязывала сандалий в отдаленьи, и добавил: – наша Гера, – причем он нарисовал греческие буквы имени в воздухе хвостом.

– Ты сегодня много говоришь, чего сам не знаешь.

Ira, уставшая и немного отставшая, догнала их вскоре, и он вдруг сказал ей почему-то очень торжественно, хотя вовсе не хотел пафоса:

– Дозволь мне выйти из моей старой формы и вновь в школьную форму войти.

И Ira, улыбаясь, но не шутя, сказала ему:

– Дозволяю.

Лев их догнал и обогнал, вернулся и догнал снова. Согбенный, он нарвал каких-то диких цветов и вручил их ему, запыхавшись и высунув язык.

И он, вспомнивший свое имя, а имя его было Лев, шагнул вдруг, как тогда в первый школьный класс первого сентября с цветами в руках, идя, не веря себе и своим шагам от счастья предстоящего знания, вниз по родному переулку.

И они все втроем рядом вступили на гребень перевала, чтобы пройти через

Денис ЛИПАТОВ

***

Вот самовольное сиротство,
оно ничьих не ищет уз,
милей родства ему уродство,
во лбу горит бубновый туз.

Гуляет с девушкой такое
или меж юношей сидит –
ему и небо голубое
о чём-то низком говорит.

Или проснётся среди ночи,
садится с головой в руках,
что твой покойный тамагочи,
кончину лютую приях,

а всё чего-то фанфоронит,
всё ходит по цепи кругом
глядишь – и век свой проворонит,
а всё емелит языком.

***

Заполошная какая-то птичка
запела ещё в феврале.
Всё это, знаешь, водичка,
протухшее крем-брюле.

На самом-то деле всё проще:
так пишут славянский «Покой»,
а рядом бесёнок тощий
всё вертится под рукой:

смотри, это всё фантомы,
наплюй на них да разотри –
полезут из них саркомы,
созреют на них волдыри.

Денис Липатов родился в 1978 году в г. Горьком. Окончил инженерно-физико-химический факультет НГТУ им. Алексеева. Стихи и проза печатались в журналах: «Нева», «Континент», «День и Ночь», «Крещатик», «Волга», «Новая юность», «Графит», «Новая реальность», «Ликбез» и др. Автор книги стихов «Другое лето» (2015).

А сам ты, скажи – реален?
В глаза себе посмотри.
Так к Павлу приходит Пален
и говорит: умри.

***

Хотел бы сказать пару слов.
Ну что же, попросим, попросим.
«Не надо ни слов, ни ослов!
Мы этого не выносим!»

Да ты, брат, у нас психоло́г –
такую толкнул нам речугу:
монгол говорит монолог –
славяне потеют с испугу.

«Да чёрт вас поди разбери –
монголы, славяне, татары!
Набить табаком газыри,
податься, как Пушкин, в гусары».

«Погибнуть, как Петя Ростов,
в толстенной такой эпопее,
побыть персонажем без слов –
уж точно не будешь глупее».

***

Половецкие эти пляски
ныне сызнова входят в моду –
запрягай не коней, но хаски,
и айда курощать воеводу.

Не за службу, а смеха ради
мы посадим собаку на кол.
Запиши в допросной тетради:
как ребёнок старик заплакал.

Знаю, знаю – везде некстати:
что ни город – дыра да яма –
ни ясак не собрать, ни рати,
и ни страха у них, ни срама.

Завиляла хвостом собачьим
по казённым делам судьбина,
а к иному – глухим и незрячим
хан велит тебе быть, детина.

Но с каким бы ни жил народцем,
а от них наберёшься всё же:

не ходить в табуне иноходцем,
вдруг поверишь их боженьке тоже.

В ягдташе – ярлыки да басмы –
промеж ябед и недоимок
вдруг случается приступ астмы,
этих песенок жалкий суглинок.

***

Один мой друг – он стоил двух,
Он стоил трёх и четырёх,
Он надевал зимой треух,
И вовсе не был пустобрёх.

Под поезд прыгал не шутя –
Вот остолоп!
А поезд ехал несмотря,
Что все кричали: стоп!

Проехал поезд, все бегут,
Боятся и смотреть,
А он стоит, дудит в дуду,
Помолодев на треть.

***

мы сидели на батумской
пили водку в три горла
почтальонша с толстой сумкой
телеграмму принесла

где-то в дальнем захолустье
средь лесов полей и рек
от тоски или от грусти
умер тоже человек

мы его совсем не знали
нам по сути всё равно
те кому ту смерть прислали
с хазы съехали давно

но как будто кто незримый
положил конец гульбе
жизни ход неотвратимый
вновь напомнил о себе

так вот где-то околеешь
и не скажешь никому
как ты здесь овечкой блеешь
волком воешь на луну

Анна ГОЛУБКОВА

ЦИКЛ О НЕПИШУЩИХСЯ СТИХАХ

1 сентября
не пишутся стихи
не начинаются
не возникает первой строчки
слова не хотят становиться
друг за другом
бродят врассыпную
без всякого порядка
как разбросанные детские кубики
следует сложить их вместе
применить небольшую степень
актуального насилия
и призвать слова к порядку
но они не слушаются
бродят где попало
прячутся по углам
исчезают с линии взгляда
изо всех сил избегают
тюремных клеточек
словосочетаний и предложений
вернитесь хотя бы на пару минут, слова
постоим чуть-чуть вместе
исключительно для приличия
а потом я отпущу вас на свободу
не надо смысла
не надо строгих грамматических конструкций
к чорту синтаксис и лексику
оставим только фонетику
[слава где вы
пъкажитис´ пъжалуjстъ
хатjа бъ нинадолгъ]
ведь я по вам
очень соскучилась

2 сентября
пропущенное стихотворение
может быть каким угодно
может быть самым замечательным
а может – необыкновенно ужасным
может быть гладким и ритмичным
а может – подчеркнуто немелодическим

Анна Голубкова родилась в 1973 году в Твери, окончила исторический факультет ТвГУ (1995), филологический факультет МГУ (2002), кандидат филологических наук, автор нескольких книг стихов и прозы, а также монографии «Литературная критика В. В. Розанова: опыт системного анализа» (Кострома, 2013). Множественные литературно-критические публикации в журналах: «Октябрь», «Знамя», «НЛО», «Новый мир», «Волга» и др. С 1997 года живет в Москве.

массу возможностей
содержит в себе лист бумаги
на котором так ничего
и не было написано

5 сентября
День был без стихотворения.
Какая досада!
Видать, мирозданию
стихов от меня не надо.
Или у меня самой
стихи в голове не заводятся.
Мешают суета и прочие дела.
Так уж это водится
в этом гребаном мире.
Раз, два, три, четыре,
и возникают семейные отношения.
И тут уж никакого стихосложения.

7 сентября
это бесконечное стихотворение
о том как не пишутся стихотворения
у него нет ни начала ни конца
потому что стихотворения
не пишутся постоянно
каждый день проходит
без стихотворения

8 сентября
в тот день не было написано
ни одной строчки
и даже подумано
ничего не было
день был без слов
и без мыслей
безмолвие и пустота
пустота и безмолвие
нет ничего прекраснее
безмолвия и пустоты
и огромного неба
с кокетливыми пушистыми
облаками

10 сентября
утро занятое неотложными делами
между которыми не поместилось
одно маленькое стихотворение
совсем незначительное
стихотворение
состоящее из нескольких слов
стихотворение
совершенно не получилось
сегодняшним утром

11 сентября
и опять не пишется стихотворение
встала, прошла по комнате
и снова села за стол
не пишется
сходила вскипятила чайку
и вернулась
не пишется
помахала руками и поприседала
не пишется
подошла к окну
и долго смотрела вдаль
все равно не пишется
видимо, это тоже будет
день без стихотворения

12 сентября
стихотворение вдогонку
чтобы успеть достать ухватить
пропущенное мгновение
безнадежно скрывшееся за поворотом
остановись, мгновение
ведь ты было прекрасно
но я тебя совершенно не заметила
поэтому и приходится
сочинять стихотворение
вдогонку

13 сентября
стихотворение состоящее
из намерения написать стихотворение
так сказать интенции
к стихотворениеписанию
чистое целеполагание
направленное в сторону
трансцендирования
своей несложной сущности
намерение написать стихотворение
рождается спонтанно
появляется словно бы ниоткуда
раз – и оно уже есть
намерение написать стихотворение
и с ним приходится как-то жить
выносить его незамутненную
пристальную чистоту
его бескомпромиссность
и невыносимую целеустремленность
не каждый может удержать
в рамках свое намерение
написать стихотворение
не каждому дано умение
спустить намерение на тормозах
мягко и нежно

никого не нагружая
и ничего не повреждая
это особое искусство
оставить намерение намерением
и не дать ему завершиться
каким-то банальным
стихотворением

13 ноября
непременно надо написать
стихотворение
такая стоит задача –
писать в день по стихотворению
чтобы не терять практики
чтобы не ушло умение
выстраивать слова друг за другом
в единственно правильном порядке
чтобы не пропустит удачную фразу
или сочетание звуков
вот для такой тренировки
необходимо каждый день
писать по стихотворению

14 ноября
написать стихотворение
нужно обязательно
написать стихотворение
ведь как же это так –
жить без стихотворения
это же просто невозможно
оставить день пустым
день без одной строчки
так сказать моностиха
неужели этот день
опять будет без стихотворения?
в это просто не верится
такого быть не может
чтобы день остался
без стихотворения
и потому будем стараться
немедленно сосредоточимся
возьмем себя в руки
и напишем наконец
это гребаное стихотворение

22 ноября
опять не пишется стихотворение
никак не пишется стихотворение
наверное это от усталости
замученности бытом
и прочими делами
а может быть
стихотворение не пишется

просто потому что
не пишется
и сделать тут
нельзя ничего
и даже если постоять
на голове
это вряд ли поможет
написать очередное
стихотворение

23 ноября
написать стихотворение
надо обязательно
написать стихотворение
иначе опять день будет
без стихотворения
а это очень грустно
это очень неприятно
когда день без стихотворения
как будто именно стихотворение
и становится стрежнем
этого обычного
немного суматошного
и не очень внятного
времяпрепровождения

2 декабря
чтобы делать что-то хорошо
надо делать это постоянно
вот почему приходится
каждый день
сочинять стихотворение

5 декабря
нужно обязательно
каждый день писать
по стихотворению
пусть не пишется
пусть мучают усталость
или похмелье
все равно нужно
напрягаться и заставлять
себя писать
ведь ежедневное
сочинение стихотворения
держит в форме
не позволяет расслабиться
не дает с головой
погрузиться в рутину быта
в его проклятую трясину
ежедневное написание
стихотворения –
хорошая тренировка

вроде зарядки
приведение в порядок
своих чувств
и порывов воображения
вернее тех их незначительных
остатков которые
продолжают работать
вот для чего нужно
это ежедневное
черт бы его побрал
стихотворение

6 декабря
опять день
без стихотворения
грызет нарушенное
чувство долга
не слишком впрочем
настоятельное
а стихотворение
опять не пишется
не появляется в голове
ни строчки
ни ключевого образа
скучен и пуст
день без стихотворения
и к сожалению
он уже ушел
и догнать его
не представляется
возможным

14 декабря
нет, этот день нельзя тоже
оставить без стихотворения
нельзя ни в коем случае
иначе этот день будет
совершенно бессмысленным
проскочившим как скорый поезд
мимо пустынного полустанка
мимо мимо мимо
мимо всего самого интересного
мимо всего неподуманного
и непрочитанного
мимо всего недоделанного
мимо ненаписанных писем
мимо несказанных добрых слов
мимо неслучившихся прикосновений
мимо меня и мимо тебя
так пусть от этого дня
останется хотя бы
стихотворение

Евгения НЕКРАСОВА

НЕСЧАСТЛИВАЯ МОСКВА

Комедия в 7 действиях

Всеобщая жизнь неслась вокруг нее таким мелким мусором, что Москве казалось – люди ничем не соединены и недоумение стоит в пространстве между ними.

Андрей Платонов. Счастливая Москва

У меня два права на Москву: право Рождения и право избрания.
Марина Цветаева. Из письма В. А. Меркурьевой

Я же в кольцах и с понтами и на левой три мозоли...
Земфира. Румба

О.

А охраняется город четырьмя кругами: Бульварным кольцом, Садовым кольцом, Третьим транспортным и МКАД. Ещё одно кольцо метро вторит почти Садовому, но что важно, оберегает город под землей. Другое, новое кольцо железной дороги укрепляет на поверхности Третье транспортное или просто усиляет общую защиту. Есть ещё один круг, самый сердечный, малый и древний, зубастый и из красного кирпича. Более всего обезопасен тот, кто находится внутри его – но таких людей наперечёт и там они не ночуют, то есть не живут. Поэтому среди горожан самые защищенные – это те, чьи дома втиснуты в Бульварное и Садовое. Кто внутри Третьего транспортного тоже не сильно волнуется. Тот, кто за Третьим транспортным до МКАД уже, бывает, вздыхает тяжелее, но все равно остаётся под защитой. А всем, кто дальше – за МКАД – тому только пропадать.

Не всегда кольца спасают при угрозах, в городе случаются трагические события, но всё же внутри колец люди чувствуют себя безопаснее, а главное – счастливей и правильнее. Нина приехала в Москву и сумела вселиться в хмурую набекрень-хрущевку, стоящую прямо у самого Третьего транспортного, но зато внутри ещё этого кольца. То есть Нина оказалась оберегаема сразу двумя кольцами, не считая МЦК.

Город Нина любила и мозгом, и животом, и сердечной мышцей, как и все люди, приехавшие в неё из какого-нибудь пункта, название которого можно прочесть только при максимальном увеличении гугл-карты. Без Москвы Нина тревожилась, приехав к родственникам, сидела в дурном настроении и начинала беспокойно глядеть в окно местной квартиры и телефон. Нина зажмуривала глаза и видела, как серебряной стружкой рассыпается Новый Арбат, как ласково отражаются

Евгения Некрасова родилась в 1985 году в городе Капустин Яр Астраханской области. Выросла в Подмосковье. Окончила сценарный факультет Московской школы нового кино (МШНК). Печаталась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Урал», «Волга», «Искусство кино», «Сценарист». Финалист фестиваля молодой драматургии «Любимовка» (2014), лонг-листер (2015). Лонг-листер конкурса «Первая читка»-2015 в рамках X Фестиваля им. А. Володина. Лауреат литературной премии «Лицей» (2017). Живет в Москве.

боками друг в друге Чистые, как благословляют на пьянство Патрики, как тычут небо сталинские высотки, как манчестерит район Сыров, как каруселью катится мимо Садовое, как велики глаза от рек выпитого кофе у посетителей московских кафе, как втридорога переоцененная паста лениво заползает на дрожащую вилку, как поют горлышки винных бутылок, сложенных вместе в одну глубокую тележку в Ашане, как кринолином из кустов или снега раскланивается с Яузой Лефортовский парк, как умничает Стрелка и другие подобные ей места, как всасывает в свой тоталитарный газон посетителей Парк Горького. Нина любила Москву.

У Нины было всё что, должно было быть у двадцатидевятилетнего бессемейного человека, снимающего однокомнатную квартиру в ста метрах от Третьего транспортного кольца. Смесь дальне-ближних друзей, лучшая подруга Люба – коренная москвичка, с детства перестрадавшая множество всего, мерцающий физически-близкий человек – воплощающийся в разных людях, и, конечно же, дело жизни.

Нина ходила каждый день не на какое-нибудь зарабатывание денег или деланье карьеры, а на миссию. Та прилагалась к музею классика литературы XX века и одновременного авангардиста, которого Нина считала единственным писателем на свете. Её взяли на работу в качестве прогрессивного кадра и платили почти рыночную зарплату, которой хватало на аренду однокомнатной квартиры без ремонта в ста метрах от Третьего транспортного кольца и ещё на что-нибудь. Музейная миссия Нины разворачивалась в двух направлениях: 1) популяризация классика-авангардиста современными способами; 2) борьба с людьми-прошлого, которые навязывали трухлявый образ классика-авангардиста или не трудились над навязыванием вообще, просиживая штаны, а чаще юбки, за минимальную зарплату от одного дачного сезона к другому.

Нине платили больше всех в музее, Нину любили меньше всех в музее. Она тащила свою миссию одна. Врага Нины, лидера людей-прошлого, человека с круглой гулей на голове и директора музея классика-авангардиста звали Инной Анатольевной. Она способна была отменить вечернюю встречу с дизайнерским бюро (что после Нининых ухаживаний соглашалось всё сделать бесплатно) – только из-за собственной необходимости забрать внука из детского сада. Нина презирала семейные интересы, они мешали миссии. Она считала, что людям с детьми нечего делать в тех местах, которые можно было спасти только миссией. Нина знала, что чем лучше она станет трудиться, тем быстрее отвалится сочный, разветвлённый гнойник людей-прошлого. А сейчас Инна Анатольевна поправляла высокую причёску и часто лишала Нину премии, но боялась её уволить. Нина верила, что победит и город поможет ей в этом, потому что он – для людей-будущего.

Подруга Нины – Люба – служила юристом в банке и первая перебивала, уверяя, что нет, у неё не сводит скулы от такого безвоздушного занятия. В детстве она пережила серьёзную передрягу, когда отец выгнал их с матерью из квартиры, купленную на общепроданную от всех бабушек жилплощадь. Выгнал в самую середину 90-х потому, что влюбился заново и зачистил место под новую семью. Две женщины – маленькая и старше – пропахали по тёрке жизни. Мать – низенькая и тощая – сделалась героем труда и заработала на новое жилье в пределах последнего кольца. Повзрослев, Люба безопасно любила только женатых и квартирных людей. Нина завидовала детской Любиной трагедии. Нинины родители никогда бы не думали разойтись, даже на самой тлеющей стадии их брака. Они тянули его дальше и дальше, потому что так было принято. Новая любовь в Нинином пункте никогда не являлась причиной перемен.

1.

Нина тискала Москву через свою-несобственную квартиру с небывалым ремонтом. Стены обнажались спадающими обоями, ванная текла ржавыми слезами, а плинтуса и наличники присутствовали половина на середину. Но Нине нравилась и однушка, и район, и дом, и даже белый акульный бок Третьего транспортного, видимый из окна. Раздражал только сосед-алкоголик снизу, который жил один в своей собственной квартире и, как уверяли, пропивал вторую. Недревний ещё, он организовывал пьяные вечера и, одновременно, Нинины бессонные ночи, а когда она поднималась по лестнице, он высовывал из помятой двери свое заплывшее, цвета гнилой картош-

ки лицо, вытягивал в подъезд обнесённые белёсым налётом губы и производил ими столь мерзкий звук, что Нину начинало тошнить. Другие соседи её не беспокоили вовсе, не считая семью за дверью напротив, где глава семьи бил всех себе подчиненных, но делал это тихо, и Нина редко о них всех вспоминала.

Так Нина, её друзья, враги и равнодушные к ней люди – существовали, охраняемые из года в год московскими кольцами. Вне колец – где-то далеко, а иногда даже в них самих происходили разные неприятные события, доходило даже до смертей, но Нина и все её остальные продолжали жить как они хотели и умели.

То, что произошло дальше, трудно изложить или растолковать. Ясно только, что началось это во вторник, когда Нина проснулась от будильника – в терпимое для всех время – девять тридцать утра, пошла в туалет по привычке на ощупь, не включая света, и почувствовала что-то не ладное и не чёткое, будто конечности её загрязнились, руки покрылись вовсе ошмётками грязи, живот раздуло, а унитаз стал выше. Запах висел тоже странный, и Нина подумала, что у соседей прорвало трубу. Что касается её самой, Нина, действительно, выпила вчера, возможно, лишнего в одном из этих уютных заведений со слабым освещением и мощными деревянными столами. Она решила, что разберётся со всеми сложностями своего тела в ванной. Когда она оказалась там, то обнаружила, что раковина ей только по грудь. Нина начала злиться, отправилась на кухню за табуретом и не заметила своего отражения в коридорном зеркале, а зеркало между тем само по себе задрожало от того, что ему пришлось коротко показать. На кухне Нина услышала бродячие крики за стенками – сначала от соседей сверху, потом от соседей с обоих боков. «Почему они – не на работе?» – задумалась она, снова отразившись в коридорном зеркале, протаскивая мимо табурет. Правым пределом правого глаза она уловила что-то неправдоподобное в отражении и остановилась. Поставила табурет и лениво посмотрела прямо на стекло. Вдруг Нина принялась тащить ртом воздух, странно вытянула ладони вверх, как это обычно делают в аэропорту в сканируемой капсуле, и заорала. Дом вокруг замолк и погрузился в печальную, понимающую тишину.

Нина лежала какое-то время на полу без памяти. Потом открыла глаз, следом второй и уперлась в взлохмаченную шнуровку замшевого ботинка, приподнялась на руках и увидела, что лежит на груде своей обуви. Она встала на ноги, держась за дверь и стенку и заметила, что руки её серо-жёлтые, кривопальцые с висящими кожными подушками, без ногтей и с кустиками волос на выпирающих косточках. Нина дернулась без подготовки, она никогда не тянула со страшным, и поместилась прямо в раму зеркального отражения. Красота для Нины, человека с миссией, значила ноль, но всё же её каждодневная внешность гарантировала ей ровное взаимодействие с обществом. Сейчас же голова её перекосилась и сильно поднималась вправо, а опускалась влево, на лице для дыхания вместо носа сидели две мертвецкие дырки. Из скул торчали пучки волос, из всего того, что находилось вместо лица – гноящиеся бородавки и чирии. Разноцветные – синие, зелёные, жёлтые, рыжие и седые пряди – росли на сине-зелёном черепе как попало, кожные складки щёк свисали на грудь. Глаза наполовину выпирали из кости и представляли собой два мутно-синих шарика с еле различимыми икринками зрачков.

Движимая непонятно чем, Нина решила раздеваться. Она стала снимать с себя пижамную рубашку через голову. Долго не удавалось, будто что-то мешало сильно на уровне живота, Нина потянула что есть силы, и стало больно до слёз, как во время колик. Когда она стащила с себя рубашку, что-то вдруг дернулось впереди, подлетело, зацепилось о рубашку и опало обратно. Колики кончились. Нина глянула себе на живот и на нижней его части увидела связанные вместе и болтающиеся сардельки серого цвета. Она вспомнила, что такой неаппетитный цвет для мяса естественный, а магазинно-розовый и алый – свидетельствует о ненатуральности продукта. Нина прямо сейчас захотела избавиться от сарделечной связки, схватила за одну из самых толстых из них и резко потянула от себя. Страшный колик смял ей живот.

Нина, не снимая руки с сардельки, подняла медленно голову и посмотрела в зеркало. После известной уже головы шла морщинистая и волосатая шея, потом две отчего-то очень круглых груди – правая из которых достигала нормального, даже великоватого размера, левая же была не

больше мандарина. Из длинных и острых сосков тоже торчало по негустому пучку волос, дальше вниз шел почти нормальный живот, не считая его общего серо-желтого цвета, а ближе к низу выпирала вперёд здоровая связка тех самых сарделек. Она свисала до пояса пижамных штанов и пряталась в них дальше. Нину вырвало на обувь.

Она напялила на себя великанский банный халат, осторожно запахнула его и обвязалась поясом. На улице закричали. Нина надела на голову целлофановую кухонную скатерть с оранжевыми цветами, потом сняла с себя ее, трясущими лапами проделала ножницами две дырки и снова нацепила. В скатерти-маске она тихонько подошла к окну в комнате. Что-то скрылось за колонной эстакады. Тишина московского воздуха слышалась страшно неправильной. Третье транспортное прочно молчало. Из дома напротив, край которого соотносился с серединным, то есть Нининым уровнем её дома, из окна квартиры, где обычно жила одинокая пенсионерка, прямо в Нинины глаза пялилось широкое, красноватое существо, вроде огромного барабана, обтянутого кожей. Нина, всматриваясь, лбом прислонилась к стеклу, служебно зашуршал целлофан.

Вдруг двор разорвало от драного, комканного крика. Из-за одной из дальних колонн Третьего транспортного вышло что-то горизонтальное. Оно хрустяще терлось боками о сырой тёмный асфальт и покрикивало. Двигалось прямо на Нинин подъезд. Ей сильно хотелось убраться от окна, но не сходилось с места, будто кто приковал её к батарее за ноги. Горизонтальная тварь оказалась уже совсем во дворе, и стало понятно, что это что-то вроде толстой змеи коричневого цвета, только вместо обычной плоской головы у неё бестолково болталась человеческая. Она, а также нацепленные на спину и бока недоразвитые ступни и ладони количеством десять-двенадцать мешали хорошо ползти. От монстра, по мере того как он полз, отваливались и оставались на земле неживые слизни. Он ругался страшным матом, и Нина узнала шалтайскую, нетвёрдую интонацию соседа снизу. Вдруг чудовище остановилось и задрало, как подбросило, вверх голову. Оно пялилось прямо на Нину. Барабанное существо дернулось от окна напротив в глубь своей комнаты. Тварь выругалась и устремилась прямо в подъезд.

Сталкиваясь со стенами, Нина побежала в коридор, открыла внутреннюю дверь, затем внешнюю. Из подъезда вдарило холодной сыростью и разрывающими воздух звуками: грохотом распахнувшейся двери, грохотом захлопнувшей двери и настойчивым, приближающимся елозаньем о ступени и стены. Всё это сопровождалось сиплой звериной одышкой и колючими матюгами. Нина отряхнулась от захватившего её ступора, задрала скатерть, закрыла внешнюю дверь на два замка – в том числе на ключ, и внутреннюю на три – в том числе на ключ тоже. Звук ползущего и ударяющегося о стены тела надвигался вперемешку с грязнословием. Нина положила свои бывшие ладони на тяжелый коридорный комод, уперлась ступнями (на ступни не похожими) в пол и принялась толкать мебель к двери. Лапы скользили, халат раскрылся, и кишки повисли над полом под прямым углом. Нина закрыла глаза, чтобы их не видеть, и что есть сил толкнула комод сильно вперёд. Тот свистнул, подпёр дверь и выплюнул ящик, полный всякой мелкой ерунды вроде батареек и засохших губок для обуви. Нина поправила выпавшего, затем свой халат и медленно присела прямо на зимние сапоги. Тварь уже заползала на третий и продолжала сильно материться. Нина натянула шуршащую скатерть себе на глаза и перевернула её бездырочной стороной. Дальше сидела так, не двигаясь. Делалось жарко и душно под целлофановыми цветами. Вдруг зазвучала соседняя, через лестницу дверь.

– А ну-ка Серёжа – домой, иди домой к себе! – послышался голос высокой и бледной соседки. Никто не знал, как она выглядит сейчас. Это у неё было двое разнополых детей и поднимавший на них всех руку муж. Нина, человек с миссией и человек-будущего, пыталась когда-то носить ей листовки специальной защищающей организации, но женщина не понимала, что от неё хотят. Нина осознала тогда, что соседка – тоже из людей-прошлого, и не общалась больше с ней.

– Кому сказала, к себе давай! У нас – топор! – проорала соседка. Полз замолк вместе с матюгами. Чудище помедлило, потом хрустнула дверь прямо под Ниной и что-то тяжёлое провалилось в иное, необщее со всем подъездом пространство. Нина сняла скатерть и подвигала несуществующими ноздрями. Дверь через лестничную клетку захлопнулась.

Нина оставалась так ещё какое-то время, потом поднялась на ноги, прошаркала в комнату и нашла телефон. Высветился единственный пропущенный звонок из банка. Нина постаралась дозвониться Любе, та не брала трубку, а потом сбросила. Нина написала о необходимости поговорить. Люба ответила: «У меня две головы». Нина подумала и ответила: «А у меня кишки наружи и нет носа». И Люба тогда дописала: «Ко мне едет мама». Нина подумала, что нет в мире человека сильнее, чем мама Любы, женщины, прошедшей через тёрку жизни. Нина написала на всякий случай: «Я – ОК».

Она открыла фейсбук и бутылку джина, которую берегла для какого-нибудь счастливого дня. Ещё и не было времени обеда, а лента тянула уже своё отчаянное состояние: люди, в том числе известные, описывали подробно уродства свои и своих близких. Нина расплакалась и удивилась себе, что она не осознаёт себя попавшей в общее несчастье. Детей до 17 лет уродство не коснулось. Некоторые СМИ постили комментарий правительства, что всё это – примененное неопределенными пока врагами биологическое оружие.

Телефон зарычал, Нина ответила, даже не посмотрев на экран. Оказалась по среднему встревоженная мама. По телевизору ей сказали, что в Москве эпидемия, но не разъяснили чего. Нина её успокоила, что это слухи и она чувствует себя ОК. Мама пришла в спокойствие и отключилась от Нины. А лента орала, что всё творилось только в Москве, и чем центральней оказывался район, тем сильнее выражалось уродство. Люди за кольцами бодрили москвичей, командировочные и вахтовые отчаянно проклинали несвоевременность своего приезда. Другие за кольцами изъяснялись вроде «попили нашей крови, так вам и надо». Некоторые москвичи желали таким, например, смерти, и тогда некоторые немосквичи желали тем её в ответ. Говорили, что город на карантине и что из него не выпускают переброшенные из региона неуродливые военные. Говорили, что все не выходят из дома. Писали о взрыве химического завода, о каре Божьей, снова про биологическое оружие, применённое внешними врагами. Кто-то осмеливался помещать своё фото, кто-то в ответ желал ему опять смерти, кто-то желал смерти желающему смерти. Бутылка утекла в Нину до середины. Из-за отсутствия тоника она разбавляла джин водой. Нина своими глазами видела в инстаграмме конкурс уродств, и фотографии участников собирали тысячи лайков. Она решила, что её случай не такой страшный. Она смеялась и повторяла время от времени: «Да все нормально! Все ОК!» Даже отправила дословно такое сообщение Любе, но её не оказалось в сети. Снизу проорал сосед.

Когда за окном затемнилось, появились скопленные сведения о жертвах: кому-то сделалось плохо с сердцем от собственного вида или вида родственников, кто-то из страха убивал оказавшихся рядом близких, кто-то просто сходил с ума. Ленту трясло, что из квартир выносят трупы неуродливые военные, некоторые ветви намекали, что увозят живых, прежде неугодных власти людей, пользуясь несчастьем. Кто-то писал о прежде незнакомой боли. Призывали молиться, постили молитвы. Писали, что многие приспосабливают к своему телу разные закрывающие уродства костюмы и маски, и так выходят на улицу. И что вечером, в темноте, это сработает особенно удачно. Предлагали собраться и пообщаться где-нибудь при слабом освещении. Люди за кольцами объявили, что собирают волонтёрские отряды. Снова позвонила мама, но Нина не хотела совсем разговаривать. Она влезла на кровать, легла ровно и на спину, аккуратно разложила кишечник по животу и накрылась одеялом.

2.

Когда Нина проснулась, с её головою играло хилое похмелье. «Хе!» – подумала она. Вчерашнее перемоталось перед глазами страшным графическим романом. Нина испугалась и свалила всё на сон. Подушка, в которой тонуло Нинино лицо, ковром-самолётом тянула её голову кверху. За стенами то тут, то там подвывали сквозные ветры. Почувствовалось, что болит живот, и Нина вспомнила, что вчерашний день – реальность. Ей стало безнадёжно, но не из-за настоящести вчерашнего, а от того, что лежит она на животе, а значит на собственных кишках, которые теперь располагались снаружи. От этого так болело. Что стало с ними? Наверное, она повредила какую-

нибудь из серых сарделек и ещё вчера внутрь всей связки попала зараза. Нина осторожно приподнялась на руках и села на кровати. Собственная белость ослепила её. Мягкие, гладкие ладони с ровными пальцами и круглыми ногтями вернулись обратно. Нина развязала халат и увидела нормальных пропорций грудь и человеческого цвета живот. Последний лежал как обычно гладко, мягко выпирая в мир. Нина погладила его рукой и тут внизу обнадеживающе заныло.

Нина, покачиваясь, дошла до зеркала, зажгла в коридоре свет и принялась любоваться. «Нет никого красивей человека, особенно женского пола», – решила она. Хотелось растанцеваться, но что-то сильно мешало. Внизу живота вдруг зарядил барабан и мелко затряс всё Нинино тело много повторяющихся одинаковых раз. Волынки или ветры за соседними стенами и на улице завыли чётче и сделались похожи на людей. Нина снова присела на обувь, покрытую вчерашней рвотой. Поход в уборную совершенно не помог. Сидя, она наконец распознала природу окружающих звуков и своей боли. Двор затрясло от искренних и восторженных криков, которые повторялись много раз. Нина, шатаясь, дошла до окна. На лавке во дворе делали что-то такое, что казалось невозможным в мартовской Москве посреди улицы. Слева, у стены пятого дома происходило то же самое. С разных сторон от соседей тоже стонали. Нина дернулась в комнату. Стало ясно, что что-то нужно было делать. «Кого-то, кого-то, кто-то...» – теребила она местоимения, а потом схватила свой телефон. Он был темен и гладок. Нина поняла вдруг, что он сел. Руками, будто слепая, обыскала кровать и пол. Зарядка нашлась внутри рюкзака. Экран затрясся и зажегся. «Кого-то, кого-то...»

Люба писала так: «Хорошо, что мама уехала. Я с Петей». Нина не знала, кто такой Петя. Любиного женатого человека последних четырёх лет звали Алексеем. Лента стонала. Кто-то уверял, что это радиация, потому что только от неё бывает так нестерпимо. Другие утверждали, что всё лучше вчерашнего уродства. Времени дня уже набежало за одиннадцать. Радовались, что мания почти не задела детей младше 14 лет. Нина в течение последующего получаса оставила сообщения семи молодым людям и трем девушкам. Ответил только один парень, что уже совсем занят. Да и как можно было осуществить эту логистику? Потная, задыхающаяся от ужаса непричастности Нина попыталась позвонить им всем и даже Любе, но никто не брал трубку. В ленте спрашивали, как объяснить происходящее детям. Кто-то пил специальные таблетки. Нина вспомнила, у Пети черные волосы и голубые глаза, и что с ним и его толстоватым другом они встречались в понедельник в кафе. Петя навязался Любе, а толстоватый лениво волочился за Ниной. Последней глупостью теперь казалось ему отказывать и не брать его номера.

Нина принялась писать совсем незнакомым людям, но фейсбук прекратил работать. Она попыталась справиться как-нибудь сама, но выходило совсем безрезультатно. Во всей нижней части страшно трещало. Нина, бормоча «Кого-нибудь, кого-нибудь...», поволоклась в коридор и уперлась там в дуру-комод, баррикадой у двери. Нина толкнула – препятствие не поддавалось. Она нахлобучила пальто поверх банного халата и сползла спиной на пол. «Кого-нибудь, кого-нибудь...» – колотилось во всех её внутренностях. Нина вскочила на ноги и набросилась на комод. Тот, елозя по полу, уступил и съехал в сторону от двери. Нина не знала, куда направилась. Она выскочила из своей квартиры и врезалась в мягкую обивку двери на другой стороне площадки. Подергала ручку. В квартире то ли стонали, то ли плакали, в любом случае обходились очень тихо.

Весь остальной подъезд, жирная сточная труба для звуков, громко постанывал. Нина, обнимая стенки, спускалась вниз. Холодный пол стрекотал её босые пятки. Серый дневной свет сыпал в глаза. Нина рукой задела у рамы жестянку, на которой рассказывалось про оливки без косточки. Банка запрыгала по лестнице вниз, и окурки разбежались по ступенькам. На шум вышел пьяница-сосед. Вдобавок к его обычному шторму, его трясло сегодняшней общей напастью. Нина запахнула вокруг себя пальто и поднялась выше на две ступеньки. Сосед склизко и одновременно очень счастливо улыбнулся. Никто и никогда не улыбался Нине так приветливо. Она спустилась на третий, и сосед затащил её в свою квартиру.

Далее восемь часов подряд Нине создавалось мятое, растрепанное, инстинктивное, пахнущее воспоминание, не совместимое со стандартной жизнью, но обычное для состояния людей, пере-

шедших какую-нибудь черту – например, ограбивших или убивших. Нинино пальто и халат упали по разным сторонам комнаты. Пижамные штаны закатились под разложенный диван. Нина ничего не думала, кроме той радостной мысли, что водка не кончалась и хорошо дезинфицировала. Кроме хозяина в комнате с красноватыми мясными обоями появлялась другая плоть разного возраста и пола, видимо однобутыльники соседа, хотя Нина узнала одного или двух непьющих людей с пятого этажа. Потолок трясся, стены кидались своими мясными розами. Воздух не знал, куда деваться от количества непотребных стонов и запахов, ближе к вечеру кто-то придумал открыть форточку, и всё намешанное вырвалось наружу. После десяти Нина в натянутом на голую кожу пальто вернулась к себе домой, приняла горячий душ и растеклась по постели. «Лучший-лучший в жизни день!» – оперой запел дежурный демон в Нинино левое ухо. Да она уже спала.

3.

Утро отличалось от трёх предыдущих тем, что рычало. Третье кольцо снова вертелось. Выли моторы, орали сирены, об асфальт скреблись тяжелые шины. Выхлопы лезли в форточку и ноздри. Движение теперь было менее могущественным, чем до начала несчастия, но всё равно жило. Нина удивилась, что ничего сегодня не болело. «Неужели – всё?» Нина сама расслышала в этом своём мысленном вопросе разочарование и застыдилась. «Я прошу прощения», – вслух попросила она. В доме сидела хитрая тишина. Нина смочила язык слюной, и тут же вспомнилось, что два дня не ела. Ещё одно похмелье чуть-чуть попискивало в голове. За несколькими квартирами справа кричали. Нина вытащила из-под подушки телефон. Фейсбук не открылся ни через приложение, ни через браузер. Никакой вид интернета не работал. От Любы ещё час назад пришло смс: «Я в порядке. Ты как? Позвони мне». От мамы оказалось сообщение похожего содержания. Нина вытянулась на кровати. На часах торчало без четверти полдень. «Нет, ну правда, неужели наигралось?» – подумала Нина и подняла руки, чтобы рассматривать татуировками набитые на них синяки.

Телефон захрюкал вибрацией.

– Ты чего молчишь? Что случилось с тобой? – из голоса Любы вроде как выжили соки.

– Да всё нормально, – Нина начала вставать с кровати и вдруг, не получив привычной опоры слева, рухнула на пол. Не выпуская телефон, она решила собрать себя вместе. Принялась подниматься на руках, подтягивать к себе колени и снова крикнула.

Пока Люба ехала, Нина сменила несколько настроений. Сначала она плакала, потом лежала с равнодушными пустыми глазами, потом вспомнила, что это всего лишь на день, и весело запела. Затем стало ясно, что так лежать и без одежды сильно холодно. Нина решила забраться обратно на кровать, села, подтянула себя на руках близко к её краю. Стала щупать ладонями одеяло, простыни, цепляться было не за что. Подумала, отдышалась. Согнула правую ногу в колене и, вытягивая себя на руках, затянула себя на кровать. Полежала, отдохнула, влезла под одеяло, затащила его на голову и принялась осматривать культю. Левая нога отсутствовала почти доверху, сантиметров на двадцать только длясь от бедра. Дальше она прерывалась затянутым в кожный мешок обрубком. Нина подвигала им в воздухе. Выглядело всё так, будто Нина не родилась такой, а словно ей отрезало ногу несколько лет назад.

Позвонила мама, которая волновалась сильнее обычного, но Нина уверила её, что с ней всё хорошо и уйма работы. Сигнал ослабел, Нина пообещала перезвонить завтра. В дверь постучались, звонок был неисправен с самого начала жизни здесь. Любин голос прошёл сквозь двери и стену. Нина по-банному завернулась в простынь и, придерживаясь за книжный шкаф, спустилась вниз и поползла в коридор. Люба понимающе ждала и больше не стучалась.

Поперёк коридора раскорячился комод, который будто тошнило двумя верхними ящиками, преграждающими путь. Нина снова села на свою грязную обувь, оперлась спиной на стену и, отдышавшись, затолкала ящики обратно. Позвала Любу, та откликнулась через двери. Нина заползла совсем близко к выходу, протянутыми вверх руками повозилась с первым замком, потом со вторым. Дверь при открывании уперлась в комод, Нина вспомнила, что свободно зашла вчера

домой, но отодвинула его сюда, чтобы пройти в ванную. Зачем ей было не вернуть его на прежнее место к зеркалу?! Нина прикрыла дверь, оперлась на неё спиной и что есть силы уперлась уцелевшей ногой в комод. Тот постонал-постонал и поехал по полу.

Провозившись так восемь минут, Нина открыла все двери и отползла назад, за комод. Люба, увидев Нину на полу голую, безногую и в чёрных синяках, расплакалась. С собой она принесла две огромных рогатки, пахнущих смолой и деревом. Они оказались свежевыструганными костылями. Люба помогла Нине подняться, принять душ и одеться (не комментируя синяки-отпечатки на бедрах, животе, груди и шее), закрутила узлом левую Нинину штанину, помыла обувь и полы в коридоре, задвинула комод к зеркалу, сварила картошку и потушила овощи. После еды они учились ходить на костылях. Те не были обработаны и царапались. Люба обвязывала подмышники тряпочками и рассказала Нине, что купила костыли у Киевского вокзала за 35 тыс. рублей. Такси туда от Любиной Юго-Западной стоило 6,5, а от Киевской досюда 2,5. Пока они ехали до вокзала, одноглазый водитель хохотал и просил её следить за дорогой справа. Нина говорила это не для упрёка и жалобы на траты, а только сухо делилась информацией. Команды волонтеров, приезжавших днем в Москву из регионов и спешивших убраться из неё затемно, раздавали костыли, протезы, еду, медикаменты, но за всем была гигантская очередь. Дети и старики попадали в приоритеты. По желанию родственников им, особенно детям, делали уколы со снотворным, чтобы те не увидели своих и чужих увечий. Сегодняшнее несчастье не тронуло никого младше 14 лет.

Интернет и телевидение отключили в городе, мобильная связь булькала и квакала. Люди тысячами бросились уезжать из Москвы на личных легковушках, специально запущенных автобусах и электричках. Обычный общественный транспорт не работал. Платного и бесплатного такси не хватало, многие машины участвовали в эвакуации. Люди забирали с собой друзей, родственников и соседей. За руль садился не владелец автомобиля, а тот, чьё состояние позволяло водить. Любину маму, у которой не доставало правой руки по локоть, вдруг увёз на машине вместе со своей второй семьей её бывший муж, Любин отец. У него нашлись родственники в Воронежской области и не оказалось обеих ног. За руль сел его 13-летний сын, которого он любил очень и научил водить. Карантин отменили, выпускали всех. Сотни тысяч людей не хотели покидать город и решились оставаться здесь, даже с маленькими детьми и старыми родителями. «Например, его тупая жена», – это очень зло сказала Люба, и Нина поняла, что она про своего женатого человека.

Всё это время, пока Люба готовила, убиралась и говорила, Нина, стыдясь, рылась по подруге глазами, чтобы понять, чего не достаёт у той. Пересчитала даже количество пальцев на её руках – вся десятка находилась на месте. С ножными было неясно, Люба надела свои обычные в Нининой жилье тапки. С большим телом, крупным лицом, скулами и носом, да ещё с трудной детской судьбой – Люба всегда казалась старше, но сегодня из неё как будто ушла вся недорасходованная молодость. Заметив поисковые взгляды, Люба молча стянула непривычный на ней широкий свитер и расстегнула мнущуюся под ним белую офисную рубашку. Нина теперь заплакала. Её собственная фигура всегда была такова, будто её недодержали, остановили развитие одной мощной кнопкой ещё в подростковом возрасте – оставили недоокруглившиеся бедра и грудь. Люба же ходила со всем большим и выпирающим женским. Сейчас на месте обеих грудей у неё было гладкое, пустое кожное пространство с зажившими продолговатыми шрамами – линиями отреза.

– Всё равно лучше, чем две головы, – это сказала Люба, оделась и села к Нине на кровать. Они молча принялись сидеть.

– Это всего на день, – это решила успокоить так их обеих Нина.

– Нет, это на всю жизнь, – сказала уже совсем старая Люба.

– Да нет же. И послушай. Думаю, это всё логично. Ну то есть, что это должно было случиться давно – то, что происходит.

– Что должно было? – это не поняла Люба.

– Ну всё...

Люба вдруг вскочила и принялась кричать про родителей, насиловавших вчера своих детей, про детей, насиловавших родителей, про тела, найденные сегодня без нижней или верхней части

туловища или без голов – в крепостных стенах, про беременных в самый первый день – день уродств, и про другие несчастия. Нина завернулась в одеяло, снова помолчала и спросила, откуда Любе всё это известно. Та ответила, что Петя – ловкий журналист, который, кроме всего журналистского, налаживает работу волонтёров. Люба сразу ещё сильнее устала, узнала время из своего телефона и засобиралась. Нина уговаривала её остаться, выпить вина и встретить завтра. Но Люба сказала, что не может пить вина, когда так много людей в городе мучается, и что поедет помогать дальше по этому району.

– Я вписала тебя через волонтёрское приложение в очередь на эвакуацию, но там сотни тысяч. Думаю, только на послезавтра... – Люба обняла Нину и ушла в город.

Нина проводила её, закрыла за ней двери, дотащила своё тело на костылях до кровати. Сделалось очень досадно, что Люба отправилась волонтером к своему женатому человеку и его семье – потому что те жили в одном с Ниной районе, но только за пределами Третьего транспортного кольца. Нину пилила мысль, что Люба до сих пор не эвакуировалась только из-за него, Нину пилила ещё одна мысль, что даже к ней Люба заехала, только чтобы улучшить себя перед тем, как поехать изображать волонтера к семье своего любовника. А последняя мысль, самая гадкая мысль лезла к Нине – что Люба дружила с ней только из-за того, что Нина жила рядом с её женатым человеком. Нина принялась вспоминать те случаи, когда давала им ключи от своей квартиры, когда Люба не дожидалась их встречи в каком-нибудь районном баре и приходила к ней. Тут Нина заметила свою культю, запертую под штанинным узлом, и поняла, что это всё – всё равно.

Двери вдруг зашатались от стука и крика.

– Ниииинннна, Ниииинннна! АААААртой...– это заунывно плакал и мешал буквы сосед с третьего этажа.

«Фак, откуда он знает моё имя!?» – это в панике спросила себя Нина, но тут же решила, что и это тоже – всё равно.

Когда сосед устал кричать и ушёл, Нина впервые расслышала, что Третье транспортное зарычало ещё сильнее. Она приподнялась с кровати, разместила себя на костыли и с деревянными звуками приблизилась к окну. За белесым изгибом бетонного заграждения медленно тянулась процессия из автобусов и машин. Они везли на себе терпение с отчаянием. Небо на фоне лежало серо-бетонное и вовсе без признаков какого-либо движения. Под кольцом, на дороге за колоннами, Нина заметила ещё один парад. Навьюченные вещами, укутанные в одежды, более похожие на тряпки, без рук или без ног на костылях, как и Нина, люди абсолютными французами тысячавосемьсот-двенадцатого уходили из Москвы. Многие несли на себе спящих детей, кто-то вёл их бодрствующих рядом. Внизу, под единственной Нининой ногой зычно засвистело.

– Ну и вааааалиите! Влаааттттее, вааааалиттте! – это прокричал сосед с третьего этажа из своего окна и снова засвистел.

Нина хотела закрыть уши ладонями, но вспомнила, что руки заняты. Она, подпрыгивая, чуть сместилась вправо – к столу и вытащила из карандашника чёрный маркер. Попробовала его на бумажке, он процарапал только сухой слеповатый след. То же самое случилось с красным. И только розовый был полон молодого, сочного цвета. Нина, забыв, что передвигается на двух деревянных рогатках, быстро подошла к окну и нарисовала прямо на стекле – сначала одно розовое кольцо, потом поверх него другое, потом третье, потом заключающее в себе все предыдущие – четвертое. За розовым рисунком убегали из города машины и люди. Нина вгляделась в четыре кольца и увидела, что это мишень.

Остаток своего безногого дня она провела в убаюкивающем покое, не подходя к окну и не прислушиваясь к улице и окружившему её дому. Лежала в кровати и листала книги, до которых не доходило раньше, смотрела любимые фильмы, которые смогла найти в компьютере, – все как на подбор guilty pleasures. Нина сама теперь сделалась героиней кино и старательно работала на камеру. Смеялась над шутками полным голосом и ахала в страшные моменты, хотя тем не сравниться было с её последними тремя днями. Запивала всё это красным. Жизнь катилась своим чередом. Никогда ещё Нина не чувствовала такой спокойной радости. Перед сном она затушила

лампу, растянулась на простыне, но потом ввернула кнопку света обратно, присела и развязала узел левой штанины, понадеявшись на следующий день.

4.

И он не подвёл. Нина проснулась в очень преждевременные для себя семь часов двенадцать минут. Запустила руки по своему телу, сначала проверила правую, потом аккуратно поехала ладонью по левой. Та – к превеликому счастью – не закончилась, а продолжилась до колена, потом ушла ниже в голень и завершилась ступнёй с пятью пальцами. Костыли – музейным экспонатом – опирались на шкаф. Нина встала на ноги, протопталась на месте подобием ирландского танца и направилась к зеркалу. Кожа походила на человеческую, ни один из органов не выпирал наружу, рост равнялся своему обычному. Нина послушала себя и не обнаружила никаких чрезмерных, невыносимых желаний. Даже похмелье не давило на голову.

И на улице не творилось ничего совсем недопустимого. Третье транспортное двигалось, даже вертелось. Машин было меньше чем вчера, но катились они стремительнее, даже истеричнее. Автобусы показывались совсем редко и выглядели рассеянно, словно не знали своего маршрута. Под эстакадой между колоннами тянулся уже не парад, а вереница людей, которые скорее прогуливались, чем убегали. Нина попыталась стереть сначала пальцем, а потом мокрой тряпкой мишень со стекла – ничего не выходило, и она решила оставить это на потом.

Такое обычное утро нуждалось в праздновании. Нина долго и сложно готовила омлет, варила в турке кофе, разогревала в печке хлеб, с торжеством завтракала в одноместной кухне. Потом основательно и с наслаждением мылась, старательно расчёсывалась, тщательно замазывала позавчерашние синяки на шее и запястьях, нестандартно долго выбирала одежду. Отправила маме предупредительную смс, что всё прекрасно.

Нина украшала себя оттого, что решила пойти на работу. Удивлённый стыд всё портил: в предыдущие дни она ни разу не вспомнила про миссию, музей и писателя-авангардиста, будто этого никогда и не существовало. В пальто и коридоре Нина осознала, что в Москве не действует общественный транспорт. Она переменила пальто на куртку, а юбку на штаны. В углу под коробками, висящими сумками и рубашками она нашла велосипед и с виноватой нежностью погладила его руль. Широко улыбаясь, Нина вытащила его на лестничную клетку и встретилась с соседкой-напротив, которая ощупала их с велосипедом страшно отчаянным взглядом, но тут же потухла, не найдя нужного ей соответствия, и тихо закрыла дверь. Квартиру соседа на третьем бетоном залила тишина. Нина вдруг решила пошутить, позвонив и убежав с велосипедом на плече, но вспомнила, что она в кольцах и у неё миссия.

Ехалось, несмотря на побитые окна дорогих магазинов на Кутузовском проспекте, хорошо и радостно. Москву уже принялось осторожно лапать мартовское солнце. Машин набиралось немного, и все они двигались скромно и небыстро. А крутить педали было что лететь. Наверху мимо Нины как раз пролетел вертолет, разгрызая лопастями воздух. Нина помахала ему рукой. Иногда она выезжала с края на середину шоссе. Она гордо поглядывала на присутствующую левую ногу, не менее сильную и работящую, чем правая. Дома сонно выстраивались вдоль. Нина не любила этот район до самой реки, считала, что его нужно перетерпеть, но сегодня даже он ей нравился. Ничего необычного не обозревалось, кроме того, что на пешеходных линиях попадались время от времени грузовые машины гуманитарной помощи, облепленные людьми. Неподалёку от «Пионера» Нина остановилась, чтобы покрепче завязать шнурки на левой ноге. Из стеклянных бликов остановки вдруг выплыла женщина с набухшим лицом и сунула велосипедистке под глаза фотографию мальчика лет 9. Нина отметила только, что просящая года на два-три всего её старше и одета опрятно, даже недёшево, а просит деньги на лечение или что-то вроде того. Нина, как это было у неё принято в таких случаях, размягчённо улыбнулась и была такова.

На мосту ей в лоб вдарил обычный плакатный ветер. Парламент бумажным макетом торчал над водой и путанно глядел на «Украину». Над головой снова прошелестел вертолёт. После круглой несуразицы слева по обеим сторонам Нового ожидаемо случилась мешанина эпох. Эта

улица была лишь предвкушением следующей важной части. Здесь Нину чуть не сбила тачка с московскими номерами, и она, переждав пару автомобильных сгустков, сделала что-то невозможное в обычной жизни – переехала эту улицу поперек на свою сторону и продолжила движение по пустому тротуару.

Там, где Новинский с Новым Арбатом изображали крест, Нина заволновалась от того, что пересекает второе от центра кольцо – Садовое. Дальше Новый Арбат притворялся библиотекой с книжками, а внизу, в нижних сроках держал магазины и рестораны под вывесками. Удивительно, но некоторые заведения на той стороне улицы в длинном ангаре как будто работали. Нине навстречу попадались пешеходы в волонтёрских наручных повязках. Щит у длиннющего, как авторский полный метр, «Октября», рекламировал «Квартиры в Москве всего от 1 млн. рублей» со счастливой, в светлое одетой семьей. Проезжая по смычке с Борисоглебским, Нина, как и всегда, полаяла, приветствуя уничтоженную Собачью площадку. У церкви-многоглазки толпились люди, от них выпала женщина в светлой куртке, слетела с холма как раз под Нинины колеса и забилась в истерике. Нина остановилась. За припадочной из толпы вышел мужик с красным лицом и потащил женщину вверх. Нина поправила шапку и отправилась дальше.

В присутствии неожиданно находились многие. И охранница, и половина хранителей, и полный научный отдел, и выставочный на три четверти, и экспозиционный на две трети, и учёный секретарь с директором. В доме Нине снова сделалось стыдно, что она сразу позабыла дело из-за общемосковского несчастия. Неудачно покрашенные в двухтысячные стены встряхнули миссию заново.

Нина существовала сама по себе, но размещалась на чердаке со смесью научного, экспозиционного и хранительского отдела и сохраняла с этими людьми терпимые отношения. Она ворвалась под крышу и усиленно со всеми поздоровалась. Двоих недоставало. Оставшиеся двое подняли лица от компьютеров как от горького супа, непонимающе посмотрели и снова провалились в суп обратно. Тонкий и длинный Дмитрий Павлович был мастером путанных и чувственных экскурсий, очень не подходивших их писателю-авангардисту. На жёлтую сливу похожая Ольга Дмитриевна хранила фонды и отказывала Нине в подлинниках для выставок, объясняя, что подлые и сальные взгляды посетителей обязательно испортят предмет. Нина решила не расстраиваться из-за их неприветливости, а начать миссию. Она взяла папку со стола и направилась продавливать концепт новой выставки, который подготовила ещё в прошлой жизни. Нина всегда ходила к начальнице без предупреждения. У той до сих пор обнаруживалось только три варианта занятий: подпись документации, бесполезное чаепитие или телефонные решения семейных дел. Из внешнего – ласкательный визит в департамент. Нина знала, что все люди-прошлого в Москве и, видимо, в других городах вели свою работу только так и не умели по-другому.

Инна Анатольевна сдулась за эти несколько дней и плохо виднелась в своём грандиозном кожаном кресле. Волосяной пучок её беспомощно болтался на затылке, морщины неглаженного пиджака переходили в шейные и заползали на лицо. Директриса испуганно посмотрела на ворвавшуюся Нину. Без примененной помады губы директора просто не просматривались до открытия рта. Нине потребовалось семь минут для детальной, блестящей и не стоящей того презентации. Инна Анатольевна плохо понимала, о чём с ней говорят, и сползала глазами в трубку. «Фак, опять семейные дела», – это поняла Нина. Телефон действительно вдарил по воздуху. Инна Анатольевна затряслась, как при спиритическом сеансе, схватила гаджет и выбежала из кабинета. Нина разозлилась и села в её кожаное кресло.

– Вы разве не знаете? – это в кабинете вдруг возникла древняя смотрительница Елена Витальевна.

Нина вышла из кресла.

– Ну как же? – Ванечка... – это договорила смотрительница и выдвинулась из комнаты, шаркая паркетом.

Нина беззвучно вернулась на чердак и поняла, что все вокруг не живут, а так – мучительно пережидают день. На одном из экранов она заметила открытый фейсбук и поняла, что интернет

вернули. Она тихо влезла за свой стол и включила компьютер. Даже её собственная лента не переставая улыбалась детскими фотографиями. Все дети возрастом до 17 лет, находящиеся ещё вчера в пределах Москвы, исчезли без следа. Люди проклинали себя, что не уехали. Их успокаивали люди вне колец и спасшиеся из колец, что это всего лишь на день. В комментариях печатали слухи, что детей просто увезли на специальных поездах в Хабаровск и никто не знал, почему именно в Хабаровск. Кто-то говорил, что это правительство, не предупредив родителей, устроило ночную эвакуацию и отправило детей на автобусах в подмосковные санатории и что они уже там питаются четырёхразово. Кто-то уверял, что видел сегодня семь разновозрастных детей в заказнике «Сетунь». Появилась новость и даже видео, что какие-то автобусы с детьми появились в Калуге, но скоро стало ясно, что это были эвакуированные воспитанники детских домов, которых увезли ещё вчера, но везли просёлочными в обход пробок, и поэтому так припозднились, – то есть это были не те дети, а дети без родителей или не тех родителей, которые волновались и писали в фейсбук.

Оказалось, пока Нина мылась, завтракала, а потом ехала на велосипеде – родители ходили на Кремль. Внутрь красно-кирпичного кольца их не пустили полицейские, но некоторые очеловеченные из них шептали, что того, кого они требуют, давно там нет и нет в Москве вовсе. К родителям приехал кто-то от мэра со стороны МКАДа, поговорил с ними и, видя их отчаянный настрой и недоверие, сдал некоторые позиции и, например, пообещал включить интернет, так как он очень помогал в поисках. Организовывались поисковые отряды из волонтёров-приезжих и родителей, но многие надеялись, что это – как обычно, несчастье-однодневка. Все боялись, что исчезновение – это только первая часть несчастья, и никто не знал, какими им завтра вернут детей.

Нина тайно глядела на коллег. Они авиадиспетчерами изучали экраны компьютеров и телефонов. Ольга Дмитриевна воспитывала одна красивого шестнадцатилетнего сына. Он приходил год назад таскать фонды и нагло понравился Нине. У Дмитрия Павловича была десятилетняя дочь, такая же высокая, тонкая и дурно одетая, как и он. Нина встретила их в Парке Горького прошлым летом. Ну а Ванечка был пятилетним, пухлым, визжащим и вымоленным внуком Анны Анатольевны. Вдруг зазвонил Нинин телефон. Дмитрий Павлович и Ольга Дмитриевна не мигая смотрели на него. Нина ответила незнакомому номеру. Звонил диспетчер из волонтерского центра, ей предлагали эвакуацию с Щелковской или Южной сегодня в 17.00 или 18.00 часов соответственно.

– Так скоро? – это спросила Нина.

Ей объяснили, что «из-за детей» освободилось много автобусов. Нина вышла в коридор, сказала, что уедет потом своим ходом и попросила вычеркнуть её из списка. Люба не отвечала на звонки и сообщения. Когда сделалось время обеда, Нина выползла из своего угла и, не глядя на оставшихся, убежала из музея. На Большой Никитской она нашла многолюдный паб и сразу заметила таких же, как она – бездетных, единственных в семье, ещё молодых, не имеющих друзей-родителей, не работающих с детьми. Они смотрелись виновато, но милая радость лилась из их глаз. Они вырвались из съемных площадей своей революции и соскучились по самим себе, украшающих московские улицы. Нина не знала, были ли они людьми-будущего и заказала себе джин с тоником. Один взрослый человек с широкой, как у капиталиста, шеей, пытался угощать всех подряд, плакал, смеялся и кричал, что его сыну только вчера в 23.40 исполнилось 17, когда у него ещё не было трёх пальцев на правой ладони, и что сегодня вечером он улетает в Лондон на спецрейсе из Внуково, за билет на который он – папаша – отдал полмиллиона рублей. Кто-то слева за стойкой рассказывал, как из соседней с его многоэтажки выбросилась из окна мать девочки-младенца.

Люба не брала трубку. С Ниной пытались познакомиться люди-мякиши, но они легко отваливались от одного мотка её головой. Наконец принесли Нинин джин. Она рассматривала его с болезненной нежностью, как может делать это только тот, кто понимает красоту стакана с джином и тоником. Потом отпила немного, потом вдруг поставила стакан, взяла рюкзак и принялась уходить.

– Что, допивать не будете? – это поинтересовался полноватый человек с жеваным жёлтым лицом.

Нина покачала головой и неловко поглядела на стакан.

– Заразная, что ли? – запросто спросил дальше жеваный. Он вовсе не был пьян.

– Я не знаю, – это честно ответила Нина.

– А ну, позавчера мы все так... неловко. Ну, как закончится, проверимся, – он пододвинул Нинин стакан себе и проглотил его залпом.

На чердаке оставалась одна Ольга Дмитриевна. Экскурсовода в Марьино ждала жена, а хранительнице не с кем было пережить остаток бездетного дня в Новых Черёмушках. Она выверяла сегодня старые каталоги – давнее задолженное дело. И Нина принялась возиться с залежавшимися актами и договорами – дело бухгалтеров, которые редко его делали, а сегодня не пришли в музей. «Мне настолько нечего терять, что я могу наказать себя только неинтересной работой», – это спокойно подумала Нина и нахлобучила на файл казённую шапку.

Музейных, к Нининому удивлению, разобрали по машинам молчаливые офисные, которым нужно было в те же стороны. Дом сразу запылился и постарел без оживляющих его людей. Около девяти Нина закончила бумаги. Над головой в потолочном окне торчал черный квадрат.

5.

Нина страсть как боялась старости. Но обычно старели только люди-прошлого, такие как она – люди-будущего – тоже старели, но гораздо медленней. Тридцать-сорок для людей-будущего – молодость. Пятьдесят и шестьдесят – взрослые и самые производственные годы. В семьдесят и восемьдесят работу они уже сокращали на три четверти, но продолжали исследовать мир. В девяносто и даже сто отдыхали и рефлексировали. И ни в каком возрасте не находилось на телах людей-будущего мест для гуль и шуб, только для рюкзаков, удобных стрижек и курток.

Нина боялась, что новым московским несчастьем станет старость в морщинистой кожаной упаковке с болезнями и слабостью внутри. Но сегодня Нина догадывалась, что старость уже случилась с исчезновением детей. Она просто не задела Нину.

Против старости Нина обычно боролась сном. Он ровнял морщины, утешал нервы и накачивал тело силами. Люди-будущего спали много, Нина точно знала. Она отдавала ему 10 часов своего времени посуточно. Успешные неспящие являлись чем-то несерьёзным, временным, недлящимся, стареющим, словом, человечеством-прошлого. С сегодня на завтра, напротив, Нина решила не спать нисколько, чтобы не пропустить момент наступления нового несчастия, заметить и понять – как и почему это происходит.

За Ниной пришла охранница с рыбьим от плача лицом и сказала, что ей пора ставить помещение на сигнализацию. Женщину звали Светланой, она навещала кольца вахтами из Балаково. Её сестра Вера, тоже из Балаково, охраняла торговый центр в Тушино и привезла в воскресенье свою дочь десяти лет гулять по Москве. Все они не снимали жилье в кольцах, а размещались прямо на объектах. Вера и дочь спали вместе на уложенных один на другой трёх матрасах. Девочка, как и остальные дети, сегодня нигде не нашлась. Женщины не бежали из города, потому-то им пообещали увольнение. Нина сказала, что последит за Домом и никому не скажет. Светлана высморкалась, накрасила глаза, показала Нине, где чайник и разводная лапша. Не снимая формы, она уехала к сестре в Тушино и обещала вернуться утром. Уже заперев за Светланой музей, Нина поняла, что не знает, как та доберётся на северо-запад города.

Девятиэкранник показывал затемнённые пространства. Нина листала изображения и рассматривала комнаты по отдельности. Светлана не спросила, умеет ли та пользоваться системой наблюдений, снимать музей с сигнализации или вызывать омон. Нина умела. Она, как и всякий человек-будущего, могла быть кем угодно в музее и немузее: арт-директором, дизайнером, пиарщиком, экспозиционщиком, архитектором, рабочим, экскурсоводом, бухгалтером, директором и вот охранником. Нина съела похожую на парик моментальную лапшу со вкусом курицы. От еды подло захотелось спать, и Светланин продавленный диван завертел кручеными подлокотниками.

Нина снова вскипятила чайник с известковыми снежинками на дне и растворила в воде кофе с сахаром. У Светланы в клетке ящика нашлись конфеты «Ласточка» и сигареты со спичками. Нина проглотила четыре ласточки и снова выпила кофе. Музей молчал. Исполнилось два с половиной часа ночи. Диван обнажал потертую обивку. Нина выбросила не выпитые снежинки в раковину и набрала новую воду. Третий кофе принялся пощипывать сердце и мять виски. Нина сложила подбородок на кулаки и засмотрелась в девятиэкранник. В комнатах еле читались слабоосвещённые через окна интерьеры. Вдруг Нина заметила мужской силуэт в гостиной. Он по-хозяйски обогнул комнату и скрылся в чёрном углу. Нина теперь выучила, что можно, например, на один день превратиться в монстра с устроенными за пределами брюшной полости кишками, но в призраков она не верила. Силуэт, видимо читая мысли, вышел из темноты.

– Скажи мне, почему это с нами происходит? – это вслух спросила Нина.

Он поднял голову и посмотрел в сторону камеры. Нинин локоть соскользнул со стола, и недопитый кофе улетел на пол. В гостиной оказалось пусто. Нина пролистала все комнаты три раза, цепляясь глазами за все видимые силуэты, – человека здесь больше не было. Не вытирая карей лужи, она оделась, взяла сигареты и вышла из музея, заперев все его четыре замка. Нина думала пройтись по бульварам, но побоялась растерять силы. Деревянная скамейка торчала под толстым дубом его приёмным потомком. Нина села курить, холод пинал её. Часы показывали три десять.

– Можно к вам? – от этого Нина дернулась к дубу.

На скамейку села девушка без шапки. За домами пропела скорая. Девушка стащила со спины рюкзак и посадила его рядом. Локон с затылка зацепился за лямку. Нина носила шапку с шестнадцатого сентября по одиннадцатое мая. Она не понимала людей без шапок.

– Если вы со сном сражаетесь, вот что у меня есть, – это девушка показала Нине мелкий прозрачный пакет с двумя круглыми, как выдранные глаза, таблетками. Фонарь, росший у дуба, подсветил юное лицо в кудрявых, как растворимая лапша, локонах. Девица назвала цену. Нина ответила, что у неё столько нет. Девушки без шапки попробовала торговаться. Нина решила вернуться к призраку и встала.

– Вот ещё что есть! Проверенное! – это девушка без шапки показала Нине энергетик в банке и назвала цену – в пять раз выше рыночной. Нина поделила на два, и девушка согласилась.

– Откуда вы? – это спросила Нина, вливая в себя напиток. Девушка назвала крупный город на границе московской и другой области. Нина спросила её, как там.

– Да москвичи замучили, едут и едут, – лицо девушки без шапки задергалась от смеха, но быстро замерло, – у меня сестра-волонтер. Она фельдшер и ездит по квартирам. Я с ней была, и мы нашли человека без плеч.

– Он живой был?

– Нет.

– Вам самой тут не страшно? – это спросила Нина и вгляделась в окна музея.

– Меня мой парень каждое утро в пять забирает. На машине. Мы сняли жилье на Щербинке. Там такой частный дом, и все удобства внутри. Я успеваю до трындеца. Трясет только потом, и сил нет. Сплю целыми дня, потом снова сюда.

Нина допила напиток и потерла глаза.

– А вы идите потанцуйте! Тут рядом совсем, – и девушка без шапки назвала адрес.

Нина вдруг послушалась и двинулась по замазанным желтым светом переулкам. Мимо провизжал мотоцикл. По названному бесшапочной адресу из подвала новоарбатской высотки действительно ползла танцевальная музыка. Нина толкнула холодную чёрную дверь и сошла по жидкоосвещённой лесенке. Следующая дверь была бывшебелой. Вместо ручки на замковом уровне зияла круглая дыра, из которой под танцевальный бит струилась мигающая темнота.

– Сколько? – это спросила Нина у низкого парня с рыжей бородой, который крючился с компьютером на мелком стульчике при входе.

– Нисколько, – это ответил он и показал на стол у стены, заваленный верхней одеждой и сумками.

Нина оставила куртку, шапку и, подумав, рюкзак. В футболке и джинсах вошла в толпу. Помещение было накачено потным воздухом. Освещение мерцало в такт музыке и показывало людей порционно, откусывая у темноты то щеку с носом, то спину, то взъерошенные пряди, то каскад жировых складок, то лайкровую икру, то острую джинсовую коленку. Спустя три десятка миганий Нина рассмотрела и поняла всю толпу. И мужчины и женщины танцевали здесь. Юные, средние и совсем взрослые танцевали здесь. И люди-будущего и люди-прошлого танцевали здесь. Нина видела мальчиков и девочек в одежде из фотосессий, взрослых женщин в гипюровых юбках и брюхатых мужиков в белых рубахах. И родители и бездетные танцевали здесь. Всех этих будто вытащили на пробу из час-пикового вагона московского метро, перенесли в подвал, попросили снять верхнюю одежду и объяснили, что всё давно уже у них отобрано и ничего, стало быть, не осталось и делать ничего не нужно, кроме того что танцевать.

Нина двигалась в груде человеческих тел, которая то ли падала куда-то, то ли просто торчала в невесомости. Каждый тут был за себя и вместе с другими. Нина и остальные в подвале не глядели друг на друга в танце, не заботились о красоте и правильности своих движений, не хотели произвести впечатление, вызвать зависть или привлечь сексуально. Они только танцевали, как люди обычно пьют или чего хуже, чтобы отвлечься или скоротать день или жизнь.

Когда Нина поднялась на улицу, с Москвой уже случилось раннее утро. Небо давно драили, и чернота слезала с него клочками, оголяя там-сям белые бреши. С Нового тянулся автомобильный гул. В двадцати шагах от многоэтажки стоял дом красного кирпича, похожий на корабль. Дверь его вдруг отворилась, и оттуда выбежала взъерошенная и сосредоточенная семья из мужчины, женщины и ещё одного пожилого мужчины. Нина не смогла определить, к людям-прошлого или будущего они относились, но это не имело значения. В руках мужчина моложе нес сонную семилетнюю девочку и сумку. Женщина и старик тащили какой-то незначительный багаж. Игнорируя их спешку, можно было бы решить, что едут на дачу. Семья быстро погрузилась в синюю машину, та резко сдала назад, задела бампер припаркованной машины побольше и убежала из переулка.

Нина сразу почувствовала, усталость и боль в ногах. Улыбаясь, она села прямо на асфальт, пачкая одежду, перевернулась и легла на локти, опустив лоб на шершавую поверхность так, как обычно молятся. Под ухом бешено забибикали. Нина подняла голову и увидела перед собой справа фасад автомобиля. Из дверцы высунулся молодой мужик и крикнул крайне оскорбительную фразу. Нина встала и отошла на бордюр к зелёной помойке. Автомобиль проехал, почти коснувшись Нининых колен. На заднем сиденье её ровесница стиснула в руках ребёнка не старше двух лет. Нина хотела перейти улочку, на которой чудом умещались машины, но тут из-за многоэтажки выскочила ещё одна легковушка, потом следующая и дальше ещё три. Через минуту или две, улучив промежуток в потоке, Нина пересекла дорогу, обогнула высотку и вышла на Новый Арбат.

6.

Он, как обычно, сразу навалился сверху своим белым, бессмысленным воздухом. Совсем уже сделалось серо-светло. Утро было временем Нового Арбата и сильно шло ему. Трасса еле ехала и пухла от машин. Все гнали от Кремля, левую полосу тоже заняли, чтобы уезжать из Москвы. Редкий транспорт, которому надо было в другую сторону, двигался прямо по куску тротуара, оставленного под автостоянки.

Нину больно толкнули в плечо и матно обругали. Она обернулась и заметила только спину, волочащую за собой чемодан на колёсах. Нина поглядела налево и увидела спешащих слева направо людей. Бежали или быстро шли с сумками или без, с детьми или без. Нина вспомнила, что дальше по прямой к области – эвакуационный пункт.

В глаза влез биллборд у книжного магазина, и Нина удивилась, что не может понять его. Она помнила, что там была дурно отредактированная семья в светлых нарядах, многоэтажки и что-то про дешевые квартиры в городе. Люди, их светлый облик, спальный район за плечами – висели на месте. Но что-то неясное и непоправимое случилось с текстом: он состоял из неясных символов, будто у него заменили кодировку. Нина направилась против потока пешеходов, уйдя к обочине,

где было свободней, и не снимала с биллборда взгляда. Тут изображение поползло, светлая семья уплыла наверх, и её заменил портрет эстрадной дивы с датой, очевидно, концерта. Нина остановилась не месте и, щурясь до азиатских черт, продолжила выжимать из текста смысл. Цифры, обозначающее дату, читались, но уже очевидные месяц, имя и название музыкальной программы – оставались зашифрованными. На Нину заново страшно посигналили и покричали – машины и тут поехали по приобоченной стороне тротуара, им не хватило проспекта. Она отошла в сторону, к людям. Перед ней метнулась фигура с волосами, Нина решила, что она сталкивается с кем-то, идущим из города, и приготовилась слушать ругательства. Она знала, что необходимо вернуться в пустые переулки, а ими – в музей. Она попыталась обогнуть фигуру, но потянулась вслед за электризованными волосами. Нина подняла подбородок и увидела девушку без шапки. Та плакала всем своим недоросшим лицом и заглядывала Нине в глаза. Её уши налились холодным красным.

– Он не приехал... – это пожаловалась девушка без шапки. Нине расслышала у неё акцент.

Девушка без шапки потянула к Нине ладонь, в которой на боку лежал смартфон.

– У меня что-то с телефоном... – договорила с ещё большим и чудным акцентом девушка. Нина взяла гаджет и удивилась оттого, что на заставке в позе вазы стояла девушка без шапки в коротком черном платье. Нина полазила по меню телефона, и там кроме цифр ничего не было ясно.

«Мы разучились читать? Новое несчастье в том, что мы не способны читать?» – подумала она.

Девушка без шапки молча вытащила из Нининой руки телефон, шагнула в толпу и поплелась к МКАД вместе с остальными. Нина вспомнила, что семейство из дома-корабля, и водитель машины, и человек с чемоданом на колесах – все говорили с разными и отличающимися друг от друга акцентами. Она достала из кармана телефон и принялась перебирать тамошнее меню – тут всё читалось букварем: Люди, Фотографии, Настройки... Нина задрала голову, на неё пыталась соблазнительно глазеть несвежая дива, по-прежнему окруженная непонятными словами. Люди уже привыкли считать Нину чем-то вроде столба и привычно огибали её. В сообщениях снова началась абсолютная белиберда из набора чудных значков. Многие буквы были как буквы, например «а», «е», «в», или «х» – хотя и использовались бессмысленно, а иные и вовсе походили на тараканов или рыбьи скелеты.

Маленькая, крохотная догадка зашептала, запела Нине. Она спрятала телефон, ловкими зигзагами обогнула каждого идущего и скрылась с Нового Арбата. Безлюдными переулками она бегом добралась до музея. Здесь тоже никого не было, охранница (Нина вдруг не сумела наскрести в памяти её имя) не вернулась. Нина открыла двери, выключила сигнализацию, взбежала вверх по лестнице и остановилась на втором, промежуточном этаже, где висел стенд с цитатами, которые Нина знала наизусть. Она их сама подбирала из книг и сама занималась вёрсткой. Нина приблизила глаза к тексту так близко, что лбом покатилась по гипсокартону. Ничего не получалось, буквы не объединялись в слова, те не набирались в предложения. Великого текста будто никогда не существовало.

Интернет ползал, но работал. Нина перебрала одиннадцать версий одной и той же страницы онлайн-магазина, с которого два раза в год заказывала одежду. На русском, украинском, немецком, французском, испанском, итальянском, португальском, голландском, польском, чешском она не сумела понять ничего. Зато англоязычное описание новой коллекции, подробности размеров, достоинства тканей и материалов, правила доставки – читались с лёту. Нина захохотала и забила об стол руками.

Радостная, запотевшая, она выудила телефон из кармана и разыскала диктофон: «Меня зовут Нина. Мне двадцать девять лет. Я работаю в музее». Звучание удивило её неясным образом. Нина послушала запись четырнадцать раз, прежде чем разобрать, что это английский, и английский – по-настоящему британский. Прогнала ещё три раза. Не лондонский, не posh, вовсе не южный, не brummie, не scouse, не шотландский, не ирландский, не йоркширский и не midlands, а скорее манчестерский. В соцсетях многие сказали, что определяют у себя американский. Некоторые гордились собственным британским (Нина вместе с ними). Ходили слухи про австралийские и южно-африканские случаи. Шутили, что ждут видео или аудио-заявление президента об амери-

канском заговоре и лингво-биологическом оружии массового поражения. Оставшиеся в кольцах писали, что это кусок торта по сравнению с другими несчастьями прошлых дней. А по сравнению с исчезновением детей и вовсе ничто.

Люди в кольцах излагали свои мысли легко, изящно, без русского английского, без неуместных или, напротив, потерянных артиклей и прочих стандартов ошибок. Люди вне колец честно комментировали на жалком русско-английском, что завидуют и хотят в кольца. Англоносители и просто жители других стран – знакомые, а чаще незнакомые, тысячами дежурившие теперь в русских соцсетях, заваливали людей в Москве восторженными стикерами. Но многие комментаторы разных национальностей советовали спасаться и бежать из города.

Сон попятился перед свежим, радостным возбуждением. Нина прыгнула к шкафу, куда они с коллегами вешали куртки, оттопырила дверцу и принялась таращиться в прикреплённое зеркало на свое говорящее лицо. Повторяла много трудных слов (мама, спасибо, один, фургон, мужчина, мужчины...), всматриваясь в свой рот. Время от времени пританцовывала, радуясь исчезновению своего толстого акцента. Внешность Нины тоже незначительно поменялась, нижняя челюсть стала немного шире и вытянулась вперед – как часто бывает у людей, много произносящих звук “th”. Но это не уродовало её, а делало новее и интереснее.

Зазвонил телефон. Это оказалась Люба, и первые две минуты Нина вовсе не могла понять, что та говорит, а потом загоготала и завыла от счастья. Успокоившись, она объяснила подруге, что та разговаривает на scouse, редком наречии, которое распространено исключительно в городе Ливерпуле графства Merseyside.

– Скажи «автобус»! – это сильно попросила Нина.

– Нина, мы...– это начала Люба.

– Ну скажи! – не отцеплялась Нина.

Люба сказала. Нина услышала долгожданное «u» в средине слова вместо « » и заново восторженно захохотала, а потом закричала, что на scouse говорили The Beatles, и что хоть он и считается просторечием аж до того, что в Лондоне тебя могут не взять с ним на работу, это всё равно чарующее лингвистическое явление. Дальше Нина отправилась в рассуждения, что, видимо, сорта английских языков раздавались совершенно случайным образом, ведь при наличии логики в распределении это Нине говорить на scouse, а Любе, например, на cockney.

– Нина, мы с Петей (она сказала Petya) уезжаем. Только что сели в тачку. Давай заедем за тобой, ты дома?

Нина помнила, что со scouse главное уловить эту заваливающуюся, как подтаивающий ледник, интонацию. Если Люба едет с Петей (Petya), то женатый человек убежал из города с семьёй сразу после возвращения детей. Нина ответила, что на работе, и Люба решила, что та шутит, а потом поругалась на своём невыносимо прекрасном, похожем на азиатский, языке. Нина заявила, что сегодня останется, чтобы впервые читать Диккенса, Шекспира, Твена, Бронте (Эмили, разумеется), Кэрролла и Сильвию Платт без посредника-переводчика или собственной языковой очередности. Люба заново поругалась и попросила быть на связи. Фоном к Любиному телефону давно с вязким американским акцентом (южным, предположила Нина) канючил Петя (Petya). Нина и Люба простились.

Интернет тащился медленно, Нина терпеливо скачала в компьютер множество классических английских текстов. С детства она не справлялась с языками, в том числе с русским. Бралась учить немецкий, французский и испанский, переживая, что читает множество великих книг, провернутых через мясорубку перевода. Вынянчить сумела только недоношенный английский, и даже сейчас, во взрослости, она продолжала употреблять странные ошибки даже в русском письменном. В Англии Нина сдала положительный тест на дислексию, но не посчитала это поводом для самооправдания.

Сейчас она беспрепятственно шагала по вереску английских предложений. Они, как им и было положено, оживали, колыхались от ветра при чтении. Все dales описаний, hills метафор, stone walls смыслов – отчётливо просматривались на всех страницах без обычного тумана чи-

тателя-захватчика. Никаких недосчитанных, недопонятых, ненайденных овец. Yan Tan Tethera, Yan Tan Tethera, Yan Tan Tethera. Нина соглашалась с кем-то из соцсетей, что сегодняшнее несчастие больше походило на благодать. Юмор, игры слов, стоны, крики, цвета, объемы, свет и тени, страхи и угрозы, understatement и overstatement – все поступали напрямую в её органы чувств. Но через два-два с половиной часа чтения ей вдруг сделалось скучно. Закаченная в рабочий компьютер литература без сомнения была великой, но уже более сорока минут Нина делала перед собой вид, что ей нравится читать. Диккенс равнялся по тяжеловесности самому себе на неродном английском, Вульф получалась слишком запутавшейся и запутывающей, а Кэролл и вовсе оказался детским автором, а «Weathering heights» – почти женским романом. Куда им всем до её любимого писателя-авангардиста. Быть может, Нине не нужно было скакать от одного великого текста к другому, а остановиться только на одном шедевре, но ведь ей хотелось перечувствовать всех. Ведь это только на сегодня. Нина телом поняла, что от чтения на родном английском она получает гораздо меньше удовольствия, чем от того же на родном русском.

Означало ли это, что сегодняшняя напасть ненастоящая, не столь мощная, как предыдущие, или отступает так рано? Ей дали язык, но не дали культуры? Но отчего же ей тогда так понятен контекст? Она знала Королевство, но никогда до таких шелковых тонкостей. Тут Нине всё надоело. На неё навалился массивный, задолженный её организму сон. Его догнал внезапный и очень злобный голод. Нина хорошо посмотрела, у охранницы – имя которой она так и не могла вспомнить (разве только то, что оно как происходило от light), так вот – у security woman совсем не осталось моментальных noodles и какой-либо ещё еды. Нина закрыла музей на замки и отправилась искать. Паб, в котором она была в день исчезновения детей, закрыли, хотя тут бы он пришёлся кстати. Ни магазина, ни кафе, ни ресторана – не работало на бульварах, в переулках и на этой большой «новой» улице, название которой Нина теперь тоже не могла воспроизвести.

Ещё на уровне книжного магазина Нина разглядела у кинотеатра раздающий фургон. Подошла ближе: врачи-волонтеры осматривали людей, остальные кормили людей. Из фургона на пластиковых тарелках протягивали Нина-не-помнила-название-этого-коричневого side dish с canned meat. Нина съела две порции. Нуждающиеся в еде и пище являлись чаще всего аккуратно одетыми стариками – местными жителями центра, не пожелавшими покинуть кольца. Волонтёры объяснялись с ними на шатком, нервном английском с бетонным русским акцентом. Почти все старики говорили по-американски. Один волонтёр с громкоговорителем – не врач и не кормилец – уговаривал их эвакуироваться и обещал, что автобусы приедут за ними прямо сюда. Но пожилые люди в кольцах – мужчины и женщины – повторяли, как клин белых, американских орлов, что они никуда не поедут, потому что они тут родились, прожили всю жизнь и собираются тут остаться, что бы ни произошло. Один старик закричал, что не никогда оставит квартиры, потому что там две комнаты антиквариата, но быстро замолчал и принялся испуганно вертеть седой головой. У него во рту сидел шотландский акцент. Как и у одной старухи, которая попросила положить для своей собаки на отдельную тарелку «wee of» раздаваемой еды. Агитатор разъяснял сообществу, что ситуация, скорее, ухудшится, а волонтёры не сумеют снабжать оставшихся ежедневно. Старики молчали.

Нина получала masters в университете Манчестера, а потом ещё три года жила в Королевстве, переезжая с места на место, стажируясь, работая, вглядываясь в совсем не похожий на заранее упакованный для неё в стереотипы – мир. Он был не лучше и не хуже её ожиданий. Начинало как-то выправляться с работой и тем самым английским, но Нина не выдержала без Москвы. Она успела прожить тут пять лет до Манчестера и любила город всем сердцем. Остальным людям, особенно маме, такое бы стало непонятно. Нина решилась на чудовищный подлог. В один из московских приездов она сделала вид, что чрезвычайно влюбилась в одного человека, которому она тоже показалась «ничего так». Нина принялась много улыбаться и делать набор усилий, чтобы человек этот, поначалу не сильно заинтересованный, влюбился в неё очень крепко. Он сам инициировал и даже осуществил её возвращение в Москву.

Мама и остальные, согласно Нининому плану, понимающе списали камбэк на любовь и даже обрадовалась. Через неделю, найдя ту самую однушку в ста метрах от Третьего транспортного кольца, Нина съехала от вернувшего её на родину человека. Он не был ей нужен, ей была нужна Москва. Для оставленного она безыскусно сочинила фразу про разницу характеров и поленилась толком объясниться. Хороший и чуткий человек, он сразу догадался, что послужил нарядным гужевым транспортом, почти конём или ослом, для красивого появления Нины в городе. Через год, оправившись, он счастливо женился в своём родном Петербурге и сейчас растил двоих детей. Нину он не вспоминал, а услышав про неё от общих знакомых, он начинал морщиться, как от запаха пропавшей еды. Нина жила с тех пор одна со своим любимым городом и своей миссией. С другими людьми она связывалась только, чтобы успокоить физиологию и эмоции.

Сегодня, в день шестого несчастия, Нина поняла, что вернулась не из-за Москвы или миссии, или не только из-за Москвы или миссии, а из-за языка. Не того, который language, а того, который – tongue. Выжила бы вне колец, как выживают без любви, выжила бы без дела-жизни, как выживают без смысла, но сдохла бы, закончилась как человек без материнского языка, как умирают без воздуха или движения крови. Нина сидела на затертом чердачном паркете, выложив рядом полное собрание сочинений писателя-авангардиста, и пыталась вернуть себе язык. Она гоняла туда-сюда страницы, цеплялась за слова, начала параграфов, названия рассказов и гадала – этот – вот этот текст или – тот, другой? Нина наизусть знала последовательность шедевров, по которой можно было легко и механически соотнести слова и значения. Нина наизусть знала тексты. Нина наизусть знала сюжеты. Нина наизусть знала речевые обороты. Нина водила языком, покачивалась, трясла тома, как чернокнижник. Слова цеплялись, но срывались, как запачканные маслом, выпадали из её сознания обратно в книгу, не успев приобрести смысл. Речевые обороты были утрачены уже с самого утра – с потерей языка. Полотно бесценных текстов разорвалось, распалось на обрывки в течение дня. Сюжетные каркасы плавились и растворялись прямо сейчас.

Весь шестой день несчастья, догадалась Нина, это deleting process. Язык не возвращался, он уходил, не оборачиваясь, уводил за собой культуру и саму Нину. Она кричала и била руками паркет, книги и собственную голову. «Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck», – это Нина наговаривала, ощущая собственный исход. Говорить на родном языке, читать на нём, писать на нём – это как смачивать слюной любимую еду, как водить опять-языком по любимому телу.

Нина на коленках доползла до рюкзака, нащупала в нём паспорт. Любой человек способен произнести своё имя. Нина – это просто, это как Nina Simon. А вот дальше, а вот теперь дальше. Крайне длинное слово. Нина набрала воздуха и попыталась прочесть собственную фамилию. Та не давалась. Нина подтащила деревянный стул, на котором обычно принимали посетителей, вскарабкалась на него и открыла потолочное окно. Это из-за духоты ей ничего не читается. Нина подышала в окно. Холодный поток вдарил ей по лицу. Она вернулась на пол и попыталась скопировать свою фамилию на отдельную бумажку. Заглавная «Т» – ok, но получался рисунок, где была буква-букашка и одна оскандинавенная «е» с глазами, а может родинками. Нина некоторое время подвигала еще ртом, пыталась озвучить свою фамилию, дальше просто молча глядела на неё. Нечитающееся слово мертвецом лежало на бумаге, завалившись влево.

Зазвонил телефон, экран сообщил, что звонила мама, это слово легко читалось из-за полного совпадения тут английских и русских букв. Нина подняла трубку и не поняла ничего из того, что мама говорила. Нина принялась кричать в трубку, что с ней всё в порядке и что она скоро приедет в пункт, но мама не знала никаких иностранных языков, она почти сразу принялась плакать, и Нина заплакала в ответ. Мама закричала. Поняв, что делает только хуже, Нина успокоилась и объяснила им двоим, что сейчас положит трубку и напишет смс, которое можно будет, разумеется, перевести с помощью словаря. Нина попрощалась, сбросила разговор и написала маме самое ласковое за долгие годы письмо на 4 смс, понимая, что та не уловит этой нежности, но хотя бы поймёт смысл. В тексте Нина говорила, что с ней всё хорошо и что она точно доберётся до дома к завтрашнему вечеру. Через двадцать минут ей пришло ответное «Ok». И в пункте уже знали, что вся Москва говорит теперь только по-английски.

Нина крутила колёса велосипеда, аккуратно объезжая появляющиеся на пути спины. Она ехала по самому краю дороги, стараясь двигаться и не вместе с машинами, и не вместе с пешеходами. Силы тоже уходили, Нину обогнали уже четыре велосипеда. Пробки ни среди людей, ни среди машин не было – это самые остатки эвакуировались из колец. После большой высокой гостиницы велосипед вдруг споткнулся, и Нина повалилась вместе с ним на тротуар. Вдвоём они проехали на своих боках десяток метров. Нина полежала недолго, а потом ощутила, как велосипед отсоединили от её тела. Поначалу подумалось, что ей так помогают, и она полежала ещё немного, но никто не начал поднимать её. Нина подняла сама себя на коленки, потом, развеваясь на ветру, на ноги. На её велосипеде сидел мальчик лет двенадцати и глядел с ненавистью. Нина ощутила ревность, двухколёсный, хоть и не новый, был салатовым красавцем. Рядом, гоняя тяжелую одышку, на Нину злобно смотрел взрослый человек.

– Ты уже покаталась, а моему сыну нужнее! – провыл он Нине на американском английском.

Некоторые спины шли мимо, некоторые остановились и даже окружили, но спинами-спинами, готовые повернуться и идти дальше. «Теперь он будет убивать ради своего ребёнка, особенно после вчерашнего», – это поняла Нина про человека, забравшего у неё велосипед. Тут она вдруг очень сильно возненавидела его и особенно его мальчика, но не из-за двухколёсного, а из-за того, что эти существа могли просто вежливо попросить её остановиться, но сделали по-другому. Не натягивать лесок, а просто объяснить ей, что мальчик устал и не может идти пешком дальше. Нинино новое чувство очевидно выпало у неё на лице. Человек установил перед собой кулаки. Нина двинулась к своему велосипеду. Подросток запятился вместе с двухколёсным назад, а Нина получила тяжелый удар в грудь и повалилась на асфальт.

Со стороны дороги послышались голоса, которые зло орали на смеси, очевидно, русского и совсем поломанного английского. Отец мальчика отвечал им с приглушенной грубостью. Нина снова подняла себя сама и села, покашливая. У кричащих полицейских были пистолеты, они оба показывали их велосипедному вору. Кроме того, они объясняли ему, что до эвакуационного пункта остался от силы километр и его сын, не выглядевший больным или слабым, точно преодолеет его пешком. Когда Нина снова встала на ноги, один из полицейских уже подвёл к ней велосипед. Она кивнула в знак благодарности, пощупала свою спину – на ней, как и прежде, висел рюкзак, – взобралась на салатового и поехала.

Лицо исходило жаром, Нина думала, что она вся полностью сгорит прямо на дороге. Жар происходил не от злобы или страха, а от стыда за собственную небывалую ненависть и готовность под ней действовать. Нина представила, что едет в одном автобусе с этим человеком и его сыном, и свернула в сторону своей однокомнатной квартиры перед Третьим кольцом. В подъезде Нина встретилась с трезвым соседом. Он нес вниз две спортивных сумки, и Нина удивилась, что у него нашлись вещи. Сосед бросил сумки на лестнице и помог ей затащить велосипед на четвёртый. Нина поблагодарила, но сосед не уходил, переминаясь, полуглядел на неё. «Не такой он уж и противный», – это подумала она, употребив слово gross. Сосед вгляделся в неё, осторожно схватил за плечо и развернул к лампочке.

– Что случилось? – это неожиданно спросил он на антикварном южно-британском.

Нине стало смешно и приятно, что все, кто с ней связан, говорит на британском, а этот человек и вовсе – на языке аристократов, университетских профессоров и богатых промышленников. Сосед таращился на её правую сторону. Она тоже поглядела туда же и увидела джинсовое рванье на ноге и лезущий из плеча синтепон. Нина ответила, что упала с велосипеда.

– А поедем со мной? Там внизу мой друг на машине. Мы собираемся в деревню к его тётке. Я же вижу – тебе податься некуда, – это проговорил сосед, – я бы раньше уехал, но не мог из-за дочки – весь день провёл у бывшей жены.

Нина удивилась про себя, что у таких людей бывают дети и бывшие жены. Тут раскрылась дверь напротив её квартиры. Человек в полицейском форме и человек с волонтерской повязкой вынесли тело чёрном пакете. Сосед рассказал, что живущие рядом с ними старики вызвали полицию из-за запаха, который начал лезть к ним через потолочную дыру в ванной.

– Наверное, это она тогда, в тот день, – сосед засмущался и снова перестал глядеть на Нину, – он видимо приставал к ним... У неё топор был. Хорошо, что она успела уехать с детьми.

С улицы просигналили. Сосед заново вцепился за Нину глазами.

– Послушай, давай поедем. Ты не бойся – ни меня, ни его. Нечего бояться, мы не будем пить или приставать. Зачем тебе здесь сидеть? Видишь, что здесь происходит? Думаешь, мне не тяжело?! Я тут родился и вырос. Поехали! Москва – это уже в прошлом.

Нина распахнула руки и обняла соседа. Он, смущаясь себя, аккуратно поместил ей руки на спину, а получилось что на рюкзак. На улице опять взвыл сигнал. Нина попрощалась, завела велосипед в квартиру и закрыла двери. Сосед постоял рядом, подумал ещё немного и спустился к машине. Дома Нина разделась, замыла куртку, штаны, вытерла мокрой тряпкой велосипед, приняла душ и намазала водкой царапанные ногу, руку, плечо и щеку. Ещё было далеко до вечера, а в кровати Нина заснула мгновенно.

7.

Следующим утром через окно и нарисованную на нём мишень в квартиру постреливали солнечные лучи. На Третьем транспортном и под ним не появлялось ни людей, ни машин. Солдатом или заводским рабочим Нина проделала ряд последовательных и обязательных действий, которые придумала сразу, как открыла глаза. Она взяла с полки книгу своего любимого писателя-авангардиста и принялась читать её вслух – текст вился и понимался обычным образом. Нина читала бы весь день, но необходимо было исследовать дальше. Она ощупала себя от макушки до пяток – ничего не исчезло и не прибавилось, она наговорила текст на диктофон телефона – тот звучал как обычный Нинин русский, она осмотрела себя в зеркале – и не нашла ничего необычного, кроме прежних царапин и громадного разноцветного синяка, за которым, внутри груди, делалось больно при вздохе. В окне Нина не увидела ничего страшного, кроме полного отсутствия кого-либо. Квартиры вокруг молчали – видимо разъехались теперь совсем все. В фейсбуке писали только люди вне колец, спрашивая, ну что же сегодня?

Нина позавтракала яичницей и консервированным горошком, присмотрелась к пальто, вернула его в шкаф и заклеила куртку коричневым скотчем. Она сложила в рюкзак пачку печенья из гречихи, термос с чаем, компьютер, электронную книгу, зарядки, документы, кошелёк, свитер, футболку, две пары носков, трусы белые и чёрные, карманную аптечку, крем для рук и крем для лица, расчёску, рулон туалетной бумаги и влажные салфетки. На волонтерском сайте говорилось, что количество эвакуационных пунктов сократилось с 14 до 4, и что из ближайшего к Нине забирать сегодня будут только в 13:00. В запасе оставалось больше двух часов, но она решила ехать сейчас на случай очереди.

Нина прошлась по пятилетне-своей квартире и погладила её руками по полосатым стенам. Плотно затворила окна, форточки и шторы. Вторую пачку печенья оставила открытой на столе для домового, на тот случай, если он действительно собирался тут остаться. Посидела-помолчала на дорогу. На развязке под Третьим транспортным Нина вспомнила, что не закрыла вчера потолочное окно в музее и вовсе не поставила его на сигнализацию. Волонтерский сайт говорил, что можно будет эвакуироваться с Ярославского вокзала в 16.00 и из Новогиреево в 19.00. Вместо права Нина свернула налево и поехала в центр.

За весь сорокаминутный путь: ни одного пешехода и только пять машин – скорая по направлению к центру, три обычных в сторону МКАД и одна на запад у Белого дома. После набережной солнце задавили серые облака и с неба на Москву полился дождь. Нина надела капюшон и быстрее замотала педалями. На Собачей площадке от куртки отвалился скотч. В музее потолочное окно со вздохом закрылось, вылив Нине ушат за шиворот. Она нашла ключ от хозблока, достала швабру и вытерла всю нападавшую на пол воду, а потом замыла кофейное пятно в охранницкой.

Нина обошла музей. Экспозиция рассеянно молчала – мол, зачем вы меня сделали, а потом оставили? Да и зачем вообще вы меня сделали, да так плохо и бездумно? Нина заплакала, что за три года работы так и не смогла добиться перемен. От мамы и Любы пришло по сообщению оди-

накового содержания, Нина им быстро одинаково ответила. Она заново проверила все окна, все двери, включила сигнализацию, вышла с велосипедом из музея и закрыла двери.

Дождь закончился, и по бульвару заползали широкие солнечные лучи. Нина даже сняла шапку, так вдруг стало тепло. Ей сильно захотелось прокатиться на велосипеде по бульварному кольцу. Она решила, что доедет так до Чистых и повернёт до пункта на Комсомольской. Москва сделалась невыносимо женственной и уязвимой без людей. Дома с засунутыми в них кафе, офисами, кухнями, туалетами, курилками, лифтами, подземными парковками – встревоженно стояли вдоль улиц, пробуя свои жилы, пытаясь осознать новообретённую лёгкость. Не только здешние дома, но и многоэтажки, хрущевки, сталинки, особняки и дачи, а также улицы, дороги, парки и скверы во всех четырёх кольцах знакомились с новым своим состоянием. Нина крутила педали и шептала, что по себе знает-понимает, как трудно определить – свобода это или пустота. Город подумал, прислушался к себе от Марьино до Лианозово, от Митино до Новокосино и решил, что это пустота. Нина ехала шептала, что ничего-ничего, потому что сегодня несчастье явно взяло передышку, а может, и вовсе оставило город и все они совсем скоро вернутся назад. Yan Tan Tethera. Все вернутся, все вернутся. Yan Tan Tethera. Все вернутся, все вернутся.

На Страстном бульваре Нина остановилась, потому что заметила маленькую оранжевую уборочную машину, которой управлял маленький человек. Он работал, счищая через машину накопившуюся на бульваре грязь. Нина задумалась, что неужели его привезли из другой страны, например, вчера, и не сказали, что здесь происходит, и неужели он не узнал этого из интернета, или (Нина вспомнила охранницу Свету) остался в городе и выехал сегодня на бульвар, потому что боялся увольнения. Но, наблюдая за тем, как размеренно-обыкновенно он работает, Нина поняла, что этот маленький человек, точно так же и как она, почувствовал, что сегодня и дальше в Москве не случится ничего необычно страшного. Нина помахала человеку в оранжевой машине, но он не заметил её, а проехал дальше вперед или дальше назад, что было одно и то же, потому что они находились на кольце.

На Чистых Нина не свернула до Комсомольской, решив, что должна прорисовать полный круг вокруг самого центра. После завершения она подумала переместиться на Садовое, но подумала, что одного круга на Бульварное будет недостаточно и проехала второй, затем начала третий... Она катилась, не ощущая усталости, шептала Москве, что незачем мучиться своей пустотой, потому что люди точно вернутся все до одного. Уже давно эвакуировались на Комсомольской и стекались остатки в Новогиреево, а Нина всё крутила педали своего салатового велосипеда. Кольцо замыкалось на себе, не заканчивалось, с него незачем было сворачивать, потому что оно и предназначалось для того, чтобы по нему катились до конца московских времен. Ничего-ничего. Yan Tan Tethera. Все вернутся, все вернутся. Yan Tan Tethera. Все вернутся, все вернутся. Все до последнего вернутся.

А охраняется город четырьмя кругами: Бульварным кольцом, Садовым кольцом, Третьим транспортным и МКАД. Ещё одно кольцо метро вторит почти Садовому, но что важно, оберегает город под землей. Другое, новое кольцо железной дороги укрепляет на поверхности Третье транспортное или просто усиливает общую защиту. Есть ещё один круг, самый сердечный, малый и древний, зубастый и из красного кирпича. Более всего обезопасен тот, кто находится внутри его – но таких людей наперечёт и там они не ночуют, то есть не живут. Поэтому среди горожан самые защищенные – это те, чьи дома втиснуты в Бульварное и Садовое. Кто внутри Третьего транспортного тоже не сильно волнуется. Тот, кто за Третьим транспортным до МКАД уже, бывает, вздыхает тяжелее, но все равно остаётся под защитой. А всем, кто дальше – за МКАД – тому только пропадать.

Михаил КУЗНЕЦОВ

ЗАЦЕП

Рассказ

Мальчик ловил рыбу, стоя по пояс в воде. В правой руке он держал удочку, крепко прижимая её локтем к обнаженному торсу, а левую закинул за спину, так что под острой лопаткой повисла тень. Я увидел его издалека, с холмистой насыпи, отделяющей реку от поймы заливных лугов, и сразу узнал.

Река несла снасти так, что удилище гнулось дугой, а поплавок дрожал на леске, не касаясь потока. Колко шпарила морось, стегал ветер, но мальчик был неподвижен. Только светлые волосы его взвивались холодным огнем и тут же гасли.

Я соскользнул по насыпи и подошел ближе к реке, пока мои следы не начали заполняться водой. Мальчик стоял ниже по течению, и путь к нему преграждали кусты ивы. Я развел пахнущие болотом и рыбьими потрохами ветви и окликнул мальчика. Потом ещё, и громче, но он не ответил и даже не повернул головы. Тогда я решил обогнуть заросли и вновь выйти к реке.

В половодье все поля здесь тонут и пойма превращается в цельное озеро. В этом озере детьми мы ловили щуку, а летом, как сходила вода, искали в зарослях потерянные снасти. Я без спросу брал блесны у отца, Денис воровал их у деда. Не вернуть блесну на поролон означало... только от мысли этой делалось худо. Если случались зацепы, мы часами оставались на воде, спасая отцовскую снасть. Чтобы не потопить плот, способный на вид выдержать только чайку, мы осторожно подплывали к месту, куда влекла нас леска, рвали осоку, ныряли ко дну, а потом спорили до драки – резать или пробовать под другим углом. Я срезал десяток, и ту, золотую, с каплями пунцовой эмали на лепестке. По макушкам ветлы, по солнцу и другим приметам мы запоминали место зацепа, чтобы тайно возвратиться и найти блесну в молодой траве. На полу чулана, в котором хранилось все отцовское, и запах его, и тайны, я распутывал бороду на катушке и ждал схода воды. И думалось только о том, как несчастливо это лето и как душно мне в чулане. Ни одной оборванной блесны мы так и не нашли.

Тропинка вела вдоль плотных зарослей, ныряла в них, но, наткнувшись на корягу или увязнув в хляби, поворачивала назад. Наконец ивняк поредел, и я смог отыскать подход к берегу. Я вышел к месту, где удил рыбу мальчик: рогатина, воткнутая в песок, бревно и выжженный след рядом с ним. Но здесь было пусто. Я стоял, озираясь и хмурясь от холода, потом присел на край бревна. И только оно качнулось под моим весом, я почувствовал затылком чье-то присутствие и услышал, как о сухое дерево разбиваются капли. Он стоял за спиной. Странное, не детское лицо.

– Денис?

– Сиди-сиди... – сказал мальчик.

– Когда ты утонул, я не мог спать.

Денис переступил через бревно и, подойдя к старой иве, прислонился к мокрому её стволу, всё глядел на желтую полоску пены и долго молчал.

– Ты прости, Динька, что не спас.

Кузнецов Михаил Сергеевич родился в 1986 году в Великом Новгороде. Учился в Первой университетской гимназии имени академика В.В. Сороки и Московском государственном университете леса. Работал в рекламе и маркетинге в крупных российских компаниях и малом бизнесе. В качестве участника литературных мастерских Creative Writing School публиковался в альманахе «Пашня».

Я вспомнил, как щелкнул и переломился его спиннинг, и он, ловя руками опору, повалился с порога на камни. И я бежал за течением, и звал его. Река сужалась под натискам обрывистых берегов, мчалась все быстрее и злее. Полные сапоги скрипели – и я бросил их. Полез на глубину и, наглотавшись воздуха, нырнул под дрожащие облака. Как долго пробыл я под водой, стараясь отличить от гудящей тьмы любое движение? Я хватался за водоросли и рябые блики, дышал и снова опускался на дно. Потом я вылез на мысок, густо поросший рогозом. Измотанный и голоногий, по ослизлым корням и камням, по вязкой глине я карабкался все выше и выше. И поднявшись на увал, я в последний раз сипло позвал на помощь. Легкие свистели на вдохе. И я ревел без звука, глядя в пустое поле. Когда я обернулся, то увидел, что всё было обычно, и река стала совсем тихой, урчала сыто под низким солнцем, в мирном потоке её ходил непойманный жерех и играл хвостом.

Вспомнил, как летел по деревне и бил ногой в калитки, как блажили и гнались за мной собаки. Как плавали по дому отрешенные взрослые лица, и отец, опустившись на колено, больно прижимал меня и шептал в плечо: «Никуда теперь не отпущу». А я каменел, не в силах избавиться от мысли, что вот-вот умру и сам.

Дениса отыскали через неделю, далеко-далеко, в канале под Холыньёй.

– Домой вернулся? – наконец спросил Денис.

Я запрокинул голову. Алюминиевое небо опускалось все ниже.

– Вернулся.

– А нету дома твоего. Лет пять уж.

Не было, правда. Когда в доме стало тихо, я его продал. Избу спешно разобрали бодрые, громкие с обгоревшими шеями. Я сидел на её костях и видел гадкую эту возню. Один рабочий взвалил на спину и потащил снятую с петель дверь чулана, и вместо двери остался черный прямоугольник. Из черноты сквозило прошлое. Представилось, что я ребенок и вновь там, в своей молитвенной яме среди бамбуковых удочек, заколенников и сетей. Горит тусклая лампочка, от которой липкий свет, как от спички, и болят глаза. А снаружи давно ночь, и родители спят, но нужно подготовить снасти к утрянке. И вот я вытягиваюсь к лампе, чтобы продеть леску в ушко крючка, и вздрагиваю, испугавшись своего отражения в маленьком ночном окошке. Тьма все гуще и гуще, и нет сомнений, что прежний страх никуда не делся, но обернулся дикой тоской.

– Ты ночне без дома да совсем один остался.

Денис всё глядел, щурясь, на воду, и становилось неспокойно от неподвижности его взгляда.

– Пусть и один. Огазло мне в городе, Динька, не могу... Взял вчера билет на поезд и всю ночь горел без сна.

– А хочешь, со мной пойдем? – спросил Денис.

Окоченевшими пальцами я развязал шнурки, снял туфли. Еще раз взглянул наверх – было ли вообще на том небе солнце? – и поднялся, приняв его слабую помощь.

Мы зашли в реку, и ноги больно свело судорогой.

– Погоди, – услышал я свой голос, – дай попривыкнуть.

Но Денис хищно тянул меня глубже.

– Обожди!

Посыпался крупный дождь. Смыло цвета, закипела река, и края ее растворились за парной завесой. Воздух вмиг пропитался этим паром и свежим запахом земли. Я вбирал его жадно и часто, пока дыхание не остыло и грудь не начало саднить.

– О-о-о, – застонал я. – Отпусти! Да что это я?!

Рывком я освободился от его хватки, удивившись, как легко Денис выпустил мою руку. Мертвое лицо его скривилось от непонимания.

Я вышел на берег, поднял туфли, и, отряхнув их со стуком, затолкал в карманы пиджака.

– Отстроюсь! Заживу! – крикнул я высоко.

И побрел отчего-то счастливый, озираясь на речку, на берег с рыхлыми стогами ветлы, на белесую, тающую на пару фигуру мальчика. Перескочил через насыпь, сбежал в поле и уже не сбавляя ходу несся по своим заливным лугам, по единственно верной узкой тропе, изрезанной змейками велосипедных шин. Мои ладони ласкали метелки ежи, и поле приятно звенело под ливнем.

Внезапно я почувствовал укол. Все мускулы сжались от боли, и я хромой повалился в траву. Я задрал ногу к лицу. Из ступни, ласково побрякивая, свисала ржавая блесна. Крючок глубоко ушел под кожу, и вытащить его без муки было невозможно. Я смахнул со лба капли и громко, радостно засмеялся. Жерех клюет хорошо на такую блесну.

Марта АНТОНИЧЕВА

ТЫСЯЧА ТРЕТИЙ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Рассказ

– Придется съесть ее, если хочешь выйти отсюда. Таков закон: убил – съешь.

По словам адвоката, Алексею очень повезло, буквально год назад за то же самое ему светила бы только пуля в затылок. Сейчас появилась возможность остаться в живых. Всего-то пара деталей. Вам интересно?

Он подсел поближе. Ворот розовой рубашки украшал значок, на нем вилка протыкала насквозь жирный кусок мяса.

– Все из-за моды на мумификацию голов. Каждый теперь решил, что будет жить вечно, – продолжил адвокат.

По крайней мере, он так считал. Теперь в делах об убийствах, особенно в случае Алексея, предлагалось два варианта развития событий, на выбор обвиняемого: либо привычный вышак, либо... – Тут он стал говорить немного тише и отстраненнее. – Либо вам придется съесть 5% тела жертвы за трое суток.

– Чего? – Такого поворота Алексей не ожидал.

– Пять процентов тела, – медленно, словно дегустируя каждую букву, повторил адвокат. Его рот при этом немного подергивался влево.

– Труп, что ли, жевать? – переспросил обвиняемый.

– Да, – ответил адвокат. – Сырой, – зачем-то уточнил еще он.

После стал сбивчиво нести совершенную околесицу: мол, Лехе еще повезло, если бы он убил ребенка до 5 лет, то пришлось бы его съесть целиком, от 5 до 12 лет – половину, и только после 12 положено съедать всего пять процентов тела.

– А если утопленник? – непонятно зачем поинтересовался Алексей.

– Тогда бы вам очень не повезло, – заметил адвокат. – Зато вы не представляете, как сильно упала статистика убийств на воде, – он как будто даже тихонечко хмыкнул, но постарался замаскировать смешок под кашель. – Так вы согласны?

Адвокат еще раз повторил вводные данные: Алексею предстояло провести три дня в камере с телом жертвы, и в течение этого срока съесть 5% тела. Если все пройдет как надо, он окажется на свободе.

– Есть небольшие ограничения – вы не сможете выезжать за границу и работать с детьми, но ценой тому свобода, СВОБОДА! – в финале адвокат почти перешел на крик, капельки слюны

Антоничева Марта родилась в 1981 году в Баку. Окончила факультет филологии и журналистики и аспирантуру Саратовского госуниверситета, кандидат филологических наук. Литературный критик, режиссер документального кино, драматург. Первая публикация – в журнале «Континент» (2005). Печаталась в журналах «Урал», «Знамя», «Октябрь» и др. Живет в Саратове.

изо рта разлетались во все стороны, словно победный салют. – Вы согласны? – И, не дожидаясь ответа, сунул Алексею под нос кучу листков и ручку. – Подписывайте бумаги. Тут, тут и тут. За вами придут вечером.

Получив все необходимые закорючки, он резко вышел, захлопнув дверь камеры и оставив парня одного.

На следующий день Алексея раздели догола, помыли, и отвели в плохо освещенную камеру, в углу которой лежал труп без головы. Койки не было, туалета тоже. С него сняли наручники, и охранники молча ушли, не отвечая ни на один вопрос. Железная дверь захлопнулась. Пол был холодным.

На стене висели электронные часы, которые отсчитывали оставшееся время.

– Ну, привет, Галя, – поздоровался Алексей с трупом.

Присел рядом и прикоснулся пальцами к туловищу. Оно было прохладное и очень гладкое, как будто мраморное. Алексей не мог представить, как его грызть, раньше он только обнимал и целовал это тело. Сел в другой угол камеры и закрыл глаза. Не мог понять, зачем он вообще на это согласился.

Однажды в отпуске они попали на незнакомый пляж. Галина предложила купаться по очереди, боялась, что украдут сумку, там лежали фотоаппарат и телефон.

Он заплывал далеко, и холодное течение скручивало ноги, словно тянуло на самую глубину. Страшно не было, хотелось плыть дальше, туда, где белый пароход проходит под мостом и скрывается за его тенью.

Алексей почти доплыл туда, пока не услышал оглушительные крики. Вдалеке парни прыгали с моста в воду. Он посмотрел в их сторону: как только один коснулся телом воды, то, как марионетка из сувенирной лавки, резко дернулся, обвис, как будто сломался, и пошел ко дну. То же самое произошло со вторым, – словно кукловод отпустил крестовину с веревкой.

Сверху кричали, и третий бросился на помощь друзьям. Позвоночник парня хрустнул от удара воды, и голова запрокинулась набок. Он увидел, как за долю секунды тело сгибается под неестественным углом, и, кажется, даже услышал треск ломающегося льда, когда дышавший, здоровый человек превратился вдруг в пустую оболочку.

Галина махала руками на берегу, на плече висела сумочка. Отчаявшись, она подняла полотенце и решила использовать его, как флаг. Вскоре песок попал в глаза, она зашла в воду и начала умываться одной рукой, а другой продолжала махать: возвращайся.

Алексей поднял голову. Тело так и лежало в дальнем углу камеры. Подошел. Это мог быть кто угодно, перевернул. Узнал Галю по родинкам: на животе они располагались в виде треугольника. Вспомнил, как в шутку жена сказала, что по ним будет проще всего опознать ее после аварии.

Попытался приподнять ногу, трупное окоченение вроде прошло. Стоя жевать как-то нелепо, что же теперь, сидя грызть мясо, как собака?

В течение дня охранники сунули в окошко только две полторашки воды в пластике, еды не приносили. Одну он успел выпить и использовал тару для малых нужд, вторая пока стояла нетронутой.

Интересно, 5% – это сколько? Допустим, она весит 70 кг, без головы пусть будет 65. Делим на 100, умножаем на 5, выходит 3 с лишним кило. В день по килограмму, вот почему еда не предусмотрена, разумно. Что ж, пора начинать.

Ночью не мог заснуть: лампа над трупом предательски моргала. Казалось, вот-вот, и потухнет, но прошло несколько часов, она отключилась на пару секунд, но снова зажглась, свет стал слабее.

Алексей пытался погрызть зад, в какой-то момент представил себя со стороны, рассмеялся, выпил немного воды и сел у стены на корточки. Возможно, отключился на пару часов, он перестал следить за временем.

Два года назад у Гали нашли рак. Он затронул те очаги мозга, которые врачи сочли неоперабельными. Срок поставили полгода, протянула она гораздо больше, почти три.

– Я не хочу возрождаться с раком в голове, – повторяла жена в те дни. – Не хочу жить с постоянной головной болью, вспышками мигрени, падать в обмороки. Страдать бессонницей, забывать, что делала утром, и в прошлые дни. Отпусти меня, пожалуйста.

Алексей старался ее переубедить. Ведь придумали способ, как проснуться потом, без боли, без страха, как жить вечно. Он знал, это неправда, просто хотел сохранить ее голову, вдруг еще есть шанс.

Врач только покачал головой: Галя была права, если она и проснется после, то только с раком.

– Отпусти меня, – просила Галя. На самом деле требовала большего: чтобы Алексей помог ей уйти, самой было страшно. Перебирали разные способы. Она отказалась от веревки – негигиенично, от таблеток – непредсказуемо, от огнестрельного оружия – был шанс промахнуться, от крыш – вдруг дети увидят, от воды – не хотелось разбухать и превращаться в корм для рыб.

Теперь она – корм для Алексея.

Прошли сутки, надо было что-то решать. Грызть начал на этот раз со спины, впиваясь зубами в холодную плоть. Старался не жевать, а сразу глотать. После вырвало непережеванными кусками. Воды пока не приносили. Лампочка, мигнув на прощанье, окончательно потухла. Алексей постучал в стену, позвал дежурного, но никто не откликнулся. Где-то на потолке моргнула красным камера слежения.

Приходилось перемещаться на ощупь, свет от часов не помогал – были видны только контуры трупа. Это напоминало камеру флоатинга, куда он ходил с женой в прошлой жизни: маленькая комната, внутри – здоровенный ящик. Забираешься в него, а там – вода с регулируемой температурой и темнота. Сверху ящик накрывают крышкой и оставляют тебя в невесомости плавать в тишине, иногда включают музыку. Говорят, помогает расслабиться и сконцентрироваться.

Здесь, рядом с трупом, на холодном полу, без еды и воды было о чем поразмышлять. Алексей подтянул Галю за ногу и продолжил грызть. Воду в тот день так и не принесли.

На третий день дверь открылась, лучи яркого света ослепили Алексея до боли в глазах. Он попытался встать, но поскользнулся на моче, и шлепнулся обратно в лужу. Голый, замерзший, весь перемазанный в собственных фекалиях, подошел к охраннику, улыбнулся, дополз до трупа, отгрыз кусочек и сожрал, тщательно пережевывая.

– Я знал, что вы справитесь, – услышал сверху голос адвоката, который хотел было подойти, но, начав опускать носок дорогого кожаного ботинка на пол камеры, заметил, что тот полностью залит мочой, отдернул его, поморщился и решил дальше стоять в проеме широкой металлической двери.

– Поздравляю вас, – произнес адвокат громогласно. – Теперь вы – свободный человек!

Алексей прыгнул на него, попытался откусить ухо, но получил кулаком в висок от охранника, отключился и упал.

– Почему они всегда рвутся именно к ушам? – недоуменно заметил адвокат, отряхиваясь. Дал знак охраннику, и тот добил Алексея несколькими точными ударами в висок. – И никогда, никогда не читают то, что написано в договорах мелкими буквами, – продолжил он уже устало, выковыривая непонятно откуда взявшуюся грязь из-под идеально отполированного ногтя.

– Тысяча третий. Готовьте печь, – произнес он, глядя в камеру слежения, и вышел.

На полу лежал худой, голый, мертвый мужчина и здоровенный кусок мяса, отдаленно напоминавший человеческое тело. Охранники унесли трупы, за ними пришли уборщики и стали отдраивать помещение, чтобы вскоре принять нового посетителя.

Евгений СТРЕЛКОВ

Шлюз

1.

Тяжка равнине пленных вод обуза.
Промокшая до маковок церквей
страна – как субмарина в клетке шлюза,
как цепь застрявшая в разбитом жерле клюза
как результат поспешного союза
Земли и Дела.
Вес восьми морей
срывает это тело
с якорей
добра и разума. И тенью груза
сомнений на открытое чело
сидельца шлиссельбургского легло
стремление создать здесь равелин
наук естественных, чтобы един
язык
возник.
И хляби вавилонской
строитель тут постиг
урок:
промок
сей дивный мир.
Пунктир
ручьёв затёк.
Реки извив
– залив.
И ток
Иссяк.
И море
– горе.

2.

Вода к воде.
Набралось на лохань

Евгений Стрелков родился на Урале в 1963 году, окончил радиофизичесий факультет университета в Нижнем Новгороде. Художник, литератор, редактор альманаха «Дирижабль». Публикации в журналах «Волга», «Неприкосновенный запас», «Звезда», «Урал», «If» (Марсель), «Missives» (Париж), Автор книги стихов «Молекулы» (2015); книга эссе «Фигуры разума» (2015), соавтор (вместе с Эдуардом Абубакировым и Вадимом Филипповым) книги краеведческих этюдов «Ниже Нижнего» (2014). Живёт в Нижнем Новгороде.

бетонную – и без размера лужу.
Легла под эту лужу Пошехонь
и где тот Моисей, что вытащит наружу
ту сушу вновь, раздвинет воду,
порушит (суть – осушит) гимн нимроду.

3.

О вавилоне водном пели птицы:
безумный воду лил, очнулся и затих.
Уже не рассмеяться и не прослезиться
над горьким делом малых сих.
В пространство протянулись провода
– гора воды рождает напряженье
полощутся пустые невода
в глубинах исполинского пруда
ища остатки водонаселенья.

4.

При Угличе была возведена
углом торчащая ребристая стена
и рядом створ с торцовой аркой.
И будучи в воде отражена
та арка обретает себе пару –
словно яйцо гигантское
притоплено в корыте шлюза.
В яйце, как водится, запрятана игла,
проткнувшая пузырь той нуждной,
и полной, радужной, натужной
и гулкой жизни города полу-
разрушенного волею кащея.
Кащей вещал: нельзя мол от природы
ждать милостей и малостей нельзя
простых ценить. И поглотили воды
окрестности – огромности итог.
Воплощена жестокая затея.
Клепсидра шлюза отмеряет Волги ток.
На берегу стоит упорный городок
Лежит кащеева на дне игла, ржавея.

5.

Монотонный азан огромного поплавка, тот
скребет по стене шлюза – синхронно уровню вод,
кораблю, пришвартованному к поплавкам,
что подвижно висят рядами
над бездной воды,
сгруженной в шлюз кубами
узлами, комодами, ящиками, сундуками

тех кто жил когда-то опасно близко к воде:
в Мологе, Корчеве, Калязине, Васильевой слободе.

Вода, настоянная на их «жили-были-добра-наживали»
обжата теперь в полом бетонном ларе.
Бурлит, томится
живой махиной
чтоб потом, как раскупорят шлюз,
уже за плотиной
вне обручей-оков
пролиться широко и длинно
вдоль раскованных берегов.

Речная газета

Нити пара сочатся из дюжины труб
балахнинского бумкомбината
– белые на грозовом.
Сплетаются, подбиваются волокном
тумана, раскатываются над водой...
Мошек шрифт впечатан в рыхлое полотно,
их дрожащую черноту
ласточки схватывают на лету
строчку за строчкой.
Мелкий дрожащий текст
рыбакам-подписчикам недоступен,
лишь нотабене – ласточки на полях,
ибо мельчит. Но у каждого
рыбака на полях
шляп и на полах
плащей дождевых набрякли
крупные капли
росы – левенгуковы верные линзы
для летнего чтения на воде
объявлений
о продаже моторов, поновлений
в расписаньи парома, погодных явлений.
Передовицы не столь любопытны рыбацкому глазу
передовицами заткнуты пузыри
стеклянные под передними банками
– пробки набухли от влаги,
что внутри и снаружи,
текст потёк, заплыли шпации, смазан петит
на воде разгуливается аппетит
посолить горбушку, вытащить, отхлебнуть,
вновь запузырить – но все это на потом
когда сетка обрыбится первым за утро хвостом.

Подорожная

1.

отягчали калоши
от талой грязи.
в шапокляке от мокши
в зипуне от эрзи
в экипаже промокши
прячешь спичку в горсти
к пахитоске потухшей
чтоб огонь поднести.

ветер в поле просушит
дым печной прослезит
коркой хлеба засохшей
воробья угости.
затяни по-хорошему
макинтош прорези-
ненный в сторону мокши
заспеши от эрзи.

2.

в нехороших калошах
скользя по грязи
на перроне продрогши
сам себе поднеси.
и езжай по пороше
гром тебя разрази
в плоскошария мокши
азимутом эрзи

ВАДИМ ЯРМОЛИНЕЦ

Три рассказа

КРЫЛАТЫЕ РЫБЫ ЗАЛИВА БОНИ

Мы стоим с дедом у борта яхты. Океан неподвижен. Дед в сюртуке, черной фуражке, по случаю круиза его седая борода коротко подстрижена, трубка во рту делает его похожим на старого шкипера. Глядя на блики солнца на воде, он щурится, и тогда мне кажется, что он дремлет. Отец и мать обедают за столом, который им накрыли возле капитанской рубки. Парус над ними заслоняет полнеба. Официант наливает им шампанское, ставит бутылку в серебряное ведерко со льдом и, чуть-чуть поклонившись, отступает в тень.

Отец и мать поднимают бокалы. До меня долетает их звон и смех матери.

– Смотри, вон-там, – говорит дед. – Это – летающие рыбы!

Действительно, небольшая стайка рыб вырывается из воды и, трепеща плавниками, которые похожи на узкие и длинные стрекозиные крылья, несется над водой, потом снова исчезает в ее толще. Я вижу, как несутся их узкие тела в сине-зеленой толще. Секунда – и они снова вылетают из нее, взмывают так высоко, что их можно коснуться рукой.

– Смотрите! Смотрите! – другие пассажиры подходят к борту, отчего палуба приближается к воде.

Кто-то пытается поймать рыб, протягивая к ним руки. И вдруг я слышу крики – один, другой. В двух шагах от меня – пассажир с бледным, растерянным лицом. Он смотрит на свои пальцы, но одного не хватает. Из места, где он только что был, бьет кровь.

– Она откусила его! – кричит стоящая рядом с ним женщина и дико озирается вокруг, как будто кто-то может напасть на нее сзади или сбоку.

– Кто? Кто? – слышны испуганные голоса.

– Рыба! – отвечает взволнованное многоголосье. – Это была рыба! Она подпрыгнула и откусила! Маленькая, да удаленькая! Знай наших! Ему надо срочно обратиться к доктору! Иди знай, может быть, она ядовитая! Рыбы бывают разными! А ты не балуй!

Я вижу, как кровь стекает с палубы в воду, и тут же черные спинки бросаются к ней. Мы провожаем взглядом кипящее на волне пятно и замечаем, что среди преследующих нас маленьких рыб появляются более крупные особи. Выпрыгивая из воды, они теперь подолгу летят рядом, громко треща крыльями и рассматривая нас большими круглыми глазами. У них длинные рты, и если бы не острые зубы, казалось бы, что открывая их, они улыбаются.

Потом одна из рыб делает в воздухе внезапный поворот и бросается на деда.

Он страшно вскрикивает, падает на палубу, хватается за голову. Рыба, кажется, откусила ему ухо! Она бьется о палубу, но отец, наступив на ее длинный плавник, бьет ее бутылкой от шампанского до тех пор, пока она не замирает. Яркая, с радужными разводами чешуя меркнет.

Вадим Ярмолинец родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского университета, работал в газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации в журналах «Октябрь», «Новая юность», «Новый журнал», «Вопросы литературы», «Новый мир» и др. Автор трех книг прозы. Постоянный автор журнала «Волга».

Крики, которые теперь слышны отовсюду, перекрывает команда капитана: «Всем пассажирам немедленно уйти в каюты! Команде приготовить брандспойты!»

Стоя у иллюминатора, мы видим, как матросы сбивают струями воды пикирующих на яхту рыб, и те, переворачиваясь в воздухе, падают в океан.

Дед с перебинтованной головой сидит на койке. Мать, устроившись рядом, гладит его темные, в узловатых венах руки.

– Как ты себя чувствуешь?

– Черт с ним, с ухом, – вздыхает он. – Слуховой аппарат жалко.

– Пусть это будет наша последняя потеря! – говорит мама.

Ужин в кают-компании проходит в тишине, прерываемой негромкими стонами и вздохами. У многих что-то перебинтовано. На некоторых бинтах – пятна крови. Капитан – полный мужчина в белом двубортном кителе с золотыми пуговицами, постучав вилкой о бокал, сообщает, что число раненых превысило все допустимые нормы. Нескольким пассажирам и членам экипажа пришлось делать ампутации. Десятки нуждаются в срочном переливании крови.

– Мы еще легко отделались, – говорит многозначительно мать.

– Ближайшая больница – в Бау-Бау-Пассарваджо, – продолжает капитан. – Мы будем там через 14 часов.

От его слов на душе становится еще тревожней – за 14 часов много чего может случиться!

Устроившись возле иллюминатора в каюте, я смотрю на дробящуюся световую дорожку, соединяющую нас с луной. Мы плывем или стоим? Я засыпаю, так и не получив ответа на этот вопрос.

Мне снится, что в целях безопасности яхта превращена в подводную лодку. Мы лежим на грунте. Я вижу, как из темноты, обступившей голубоватое пятно света, появляется большая темная рыба. Стремительным рывком она приближается и замирает в сантиметре-другом от разделяющего нас стекла. Ее брюшные плавники едва заметно трепещут, желтый с черным зрачком глаз устремлен на меня. Вероятно, она хочет упредить любое мое движение собственным смертоносным броском. За ней я вижу другие отделяющиеся от мрака тени. Кажется, рыбы берут нас в кольцо. Замерев, я думаю: заметит ли это хищница, если я только чуть-чуть скошу глаз, чтобы увидеть часы на стене? Отец, я знаю, просыпается ровно в семь.

ПО ГРИБЫ

Однажды мой брат Антон отправился в лес по грибы. С недавнего времени он стал употреблять их в пищу. Хотя ему этого не советовали. Сначала грибы были совсем мелкими, и поскольку лукошко он забыл дома, он клал их в рот. Он думал выплюнуть их, когда найдет большие. А если не найдет, то у него хоть эти останутся. Пусть даже с небольшими следами зубов.

Грибы были самыми разнообразными. Чтобы обнаружить в палой листве самые неброские, нужен был, конечно, многолетний опыт грибника, поэтому он довольствовался самыми яркими – с ярко-красными в белую крапинку шляпками.

По мере углубления в лес Антон обнаружил, что его расчет верен – грибов становится больше, и они крупнее тех, которые он подобрал на опушке. В очередной раз освободив рот, он уже не смог вместить в него только что найденного великана и понес его в зубах, как собака несет палку. Это была находка дня, да такая большая, что с непривычки челюсти побаливали. Но он знал, что такую добычу отпускать нельзя.

К полудню он зашел в чащобу с грибами такой величины, что их уже не то что вырвать из земли – даже обхватить за ствол было невозможно. В одном месте, чтобы протиснуться между двумя грибами, пришлось сбросить пиджак. Потом края гриба, который он держал в зубах, застряли между двух стволов. Едва вырвав свою добычу, он попытался обойти препятствие, но снова застрял. То ли его гриб продолжал расти, то ли лес становился гуще. Продолжая борьбу,

Антон теперь видел себя героем трагикомического фильма, играющего перед объективом кинокамеры роль обессиленного путешественника. Он карикатурно закатил глаза и обнаружил, что шапочки, венчавшие вековые грибы, полностью скрыли небо. И, тем не менее, в этом интересном лесу было светло. Все вокруг излучало чудесный золотистый свет, который пропитывал и мох под Антоном, и грибные стволы, и его ноги, и руки, – которые стали растворяться в нем, пока не исчезли. Он забарахтался от неожиданности, пытаясь восстановить свое место в пространстве, но пространства тоже не было.

– Так, главное, сохранять самообладание, – сказал он себе, пытаясь как-то вписать положение своего невидимого тела в такую же невидимую кривую штопора, по которой его несло.

Твердо сформулированное намерение дало искомый эффект. Скорость движения стала падать.

Антон остановился.

Теперь главное было не шевелиться. Он осторожно осмотрелся, чтобы понять, где теперь находится.

Он нигде не находился.

Вокруг ничего не было, и его не было тоже. Он закрыл глаза, но ничего не изменилось. Открыл – никаких перемен!

– Я есть мысль, – констатировал Антон. – Мое дальнейшее существование может прервать лишь сон, с которым я буду бороться до конца.

ТЕАТР

– В театр надо одеваться нарядно, – говорит мама, поправляя мне галстук и застегивая пиджак.

В костюме немного тесно, но приятно. Мама надела туфли на высоких каблуках и облегающее платье. Оно серебрится на ней, как чешуя. Ее волосы собраны в высокую прическу.

– Идем, – она протягивает мне руку.

В коридоре темно. В столовой, мимо которой мы проходим, тоже выключен свет. Мы входим в гостиную. Вчера весь день отец с дедом что-то мастерили здесь. Каждый раз, выходя из комнаты, они сообщали, что туда заглядывать нельзя, потому что меня ждет сюрприз.

Верхний свет в комнате выключен, все погружено в темноту, в центре которой словно открыто окно в ночное небо. Я вижу точки звезд.

– Садись, – шепчет мама и подталкивает меня к креслу. Мы садимся, и она берет меня за руку. Сердце замирает от тревожного ожидания.

– Когда начнется? – шепотом спрашиваю я.

– Смотри, – она показывает в сторону звездного неба и, действительно, я вижу, что его нижний край начинает светлеть. Поначалу узкая, как нить, полоска света разрезает нижнюю часть ночи и робко начинает теснить синеву, гасить звезды. В невидимых садах пробуют голоса птицы. Где-то далеко-далеко раздается звук, в котором я постепенно узнаю стук колес приближающегося поезда. Теперь нижняя треть неба окрашена в легкую голубизну, и я вижу откос железнодорожной насыпи, по которой кто-то поднимается – это девушка. Она останавливается. Утренний ветерок шевелит ее волосы. Звук приближающегося поезда нарастает. Громче, громче, громче! Я вжимаюсь в кресло, опасаясь за девушку, но мама крепко сжимает мою руку, давая понять, что она рядом, и значит, ничего дурного не случится.

Поезд стремительно врывается в окно, обдавая нас густым запахом горячего мазута. В страшном грохоте череда желтых окон разматывается передо мной, как кинопленка, в каждом кадре которой я вижу лица людей. Они разговаривают друг с другом, читают, дремлют, играют в карты. Только один пассажир стоит у окна, всматриваясь в темноту. И вдруг он кричит:

– Аня! Аня!

– Саша! – вскрикивает девушка на насыпи и взмахивает рукой.

– Остановите поезд! – дружным хором кричит наше купе: я, мужчина в тирольской шляпке с пером и две монашенки, вяжущие в четыре руки полосатый шарфик.

– Что такое? – машинист опускает багет с моцареллой, вялеными помидорами и базиликом на разложенную на коленях газету и, приподнявшись, выглядывает в окно. Опытный железнодорожник мигом оценивает сложившуюся ситуацию. Ухватившись за рычаг тормоза, он опускает его к полу. И чем невыносимей становится скрежет колес, тем краснее становится его лицо в обрамлении бороды и фуражки с кокардой в виде крылатого колеса.

От резкого торможения пассажиры отрываются от своих сидений и вылетают в открытые окна. Восстановив баланс, они начинают обгонять замедляющий движение поезд. Они несутся подобно стае вольных птиц, плавно взмахивая руками и деловито посматривая по сторонам. Они знают, что если будут продолжать свое движение строго над рельсами, то рано или поздно доберутся до места назначения. А чемоданы и саквояжи, что ж, их конечно жалко, но Бог даст, они не пропадут, и их привезут им в гостиницу или домой днем-двумя позже.

Только один пассажир – Саша, это он недавно выкрикнул в ночь имя своей знакомой, – не вылетел в окно. Преодолевая невидимые силы инерции и притяжения, он продвигается к двери. Ухватившись за перила, он выбрасывает свое мускулистое тело из вагона. Галька шуршит и разъезжается под его ногами, он чуть не теряет равновесие, но какой все-таки, молодец, удерживается на ногах и бежит к своей Ане. А та бежит к нему, пока они не оказываются друг у друга в объятиях.

– Нет, вы только посмотрите, просто голуби! – говорит растроганно машинист. Отпустив тормоз, он утирает рукавом мокрое лицо. Поезд, чьи стальные колеса были уже в секундах от полной остановки, начинают двигаться быстрее, и вот уже недавний их истошный визг заменяет деловое постукивание.

Набрав скорость, состав нагоняет стаю выпорхнувших из него пассажиров, и те, уже наловчившись передвигаться в воздушных струях, ловко залетают в свои купе. Некоторые мастера еще умудряются сделать перед возвращением мертвую петлю, а последний, взмыв в посветлевшее небо так, что превращается в едва заметную точку, устремляется вниз широким штопором – ах, какое это захватывающее зрелище! Когда он влетает на свое место, пассажиры устраивают ему овацию. Ее останавливает проводник с подносом, на котором стоят высокие узкие бокалы и серебряное ведерко, из которого выглядывает оранжевая этикетка «Вдовы Клико».

Пассажиры чокаются и смеются, вспоминая пережитое приключение. Постепенно они возвращаются к своим обычным занятиям: чтению газет, вязанью, карточной игре.

Утром я просыпаюсь от голосов за дверью моей комнаты. Я бегу в гостиную, где отец и дед пакуют ящики, забивают крышки. На голове у деда фуражка с кокардой в виде колеса, из центра которого растут два крыла.

– Так это был ты?

– Ну, а кто еще? – он привлекает меня к себе.

Зажмурившись, я прижимаюсь щекой к колючей ткани его куртки и делаю глубокий вдох, чтобы еще раз ощутить аромат горячего мазута.

Феликс ЧЕЧИК

***

здесь не был я давным-давно
хоть жил невдалеке
где неба илистое дно
отражено в реке

а возвращение сюда
как если бы вдали
исчезло небо и суда
ржавеют на мели

***

Позднее лето,
как бабочки смерть?
Можно на это
и так посмотреть:

нет, не последний,
а первый, да-да,
бабочки летний
полёт в никуда.

***

за столько лет
за столько зим
стал белый свет
невыносим

улыбкой ты
как летний дождь
из темноты
меня вернёшь

Феликс Чечик родился в Пинске (Беларусь). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор нескольких поэтических книг и многочисленных журнальных публикаций. Лауреат «Русской премии» (2011). С 1997 года живет в Израиле.

***

не угодно ли угодно
дым отечества отца
сигареты марки «гродно»
не выветриваются

а лежат на батарее
и не высохнут никак
дым отечества скорее
струйка дыма в облаках

***

футбольный мяч на пустыре пылится
дырявый мяч и рядом никого
как будто пациента психбольница
безвременье опутало его

лежит забытый никому не нужен
быть может только ветру одному
взошла луна и остывает ужин
и время погружается во тьму

***

Ночь тиха. Собака рядом,
непонятная ежу.
Я отсутствующим взглядом
долго на небо гляжу.

Ёж в растерянности, – нету
или есть собака, а?
Снова выгорела к лету
левантийская трава.

Я читаю в небе знаки,
прерывая забытьё,
об отсутствии собаки
и присутствии её.

Нет её давно, конечно.
Но от радости дрожа,
звонко лает, безуспешно
наезжая на ежа.

***

Забивали на труд, выпивали на «Правде»,
огурец малосольный по-братски деля,

и не праздника ради,
а веселия для.

Посылали гонца в тридевятое царство
и смотрели вослед с золотого крыльца.
А гонец испарялся:
ни винца, ни гонца.

Ничего, – говорили себе, – возвратится.
Не беда, – говорили себе, – подождём.
А весенняя птица
похмелялась дождём.

Ждали час, ждали день, ждали век – утешенье
в тишине разговоров ночных находя,
под земное вращенье
и песню дождя.

И смотрели на Пину, уехав из Пинска,
где сирень отцвела и белел краснотал.
А гонец возвратился,
да нас не застал.

***

не дети но внуки
бориса и анны
возьмём на поруки
луга и поляны
октябрьскую осень
без птичьего хора
марина и осип
которой опора
сергей и елена
не ведая сами
январского плена
холодное пламя
георгий и мирра
и желчь владислава
воздушная лира
июльская лава
владимир и снова
владимир навеки
и красного слова
весенние реки
лекарство от муки
и средство от фальши
не дети но внуки
и правнуки ваши

Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ

ТЕРЯЮЩИЙ ВРЕМЯ

Ницца, музей Шагала

Хорошо бродить по свету,
Лучше, чем бродить по тьме –
Сцены Ветхого Завета
Наблюдая на стене.
Вход, считай, почти что даром –
Каждый чуждый этим чарам
И не чуждый этим чарам
Удовлетворен вполне.

Вот Адам бежит с долгами,
Моисей лежит с рогами,
Спит Иаков в поле маков,
Режет курицу Юдифь.
Чудо-дерево в садочке
Светится в особой точке,
И вползает по спирали
Змея редкий экземпляр.

Гнать, держать, дышать, обидеть,
С горя ничего не видеть,
И зависеть от погоды,
И смотреть на облака.
И о том, что выйдет в муках,
И о прочих этих штуках
Будто бы совсем не ведать,
Будто бы не знать пока.

Снова сон: бежит Иосиф,
У колодца платье бросив,
И у жертвенника Каин
Ищет челюсть подревней,
Льется вольный свет на сцены –
Те, что украшают стены,
Бродят, бродят человеки
В виде девиц и парней.

Рафаэль Шустерович родился под Москвой, до 1993 года жил, учился и работал в Саратове, затем – в Израиле. По профессии инженер-физик. Поэт, переводчик стихов с английского и других языков. Публикации в журнале «Волга» с 2010 года.

Что ни ров – во рву фашина,
Лезет воин из кувшина,
С тыла грозно подкрепляем
Надвиженьем колесниц.
С кем-то пьют, кого-то грабят,
Делят чей-то виноградник
И присматривают сверху
За купанием девиц.

Так ходить по этим залам
И довольствоваться малым –
Цветом талым, светом палым,
Дряхлым призраком легенд.
Что осталось в старом рае,
В Руфи дровяном сарае,
И в кустарнике, где козлик
Вряд ли вызволит рога?

аромат

аромат нарочит
дразнит душит горчит
кажется угадал
сандал

запах чужих древесин
корица жасмин апельсин
приближается музыка
альт орган клавесин

футляр боевых вееров
пернатых из тех миров
кисть сырцового шелка
узкий витринный покров

фиалка герань бергамот
пчелиный гудящий свод
лицом повернешься к лицам
переплывая проход

лаковый треск мотылька
у щеки у виска
тяжеловатая нота
неразличима пока

вздрагивание вееров
горок хрустальных даров
пир храм хлев

где держат овец коров
перепелиный трепет
доходящий без слов

розовое

миграция фламинго
полпуда нежного пуха
подвешенные на ножке
над священным болотом

заря опустилась на воду
дышит неровно сухо
выгибая бесконечные шеи
иероглифом распростертым

(куличок невеличка
в стороне от главных событий
погоня за водомеркой
примерка стычка)

наблюдение за поведением предметов
наблюдения целиком занимает
пространство время сознание
понимаемые превратно

напоминая аполлинерам
о том что время уходит
даже когда замирает
или идет обратно

***

двое с шестами
на узкой бронзовой лодке
с бронзовыми шестами
на узкой бронзовой лодке
выгнутой бронзовой лодке
в бурном бронзовом море
бронзовом
расплавленном и застывшем
узком бронзовом море

теряющий

теряющий время
теряющий уйму времени

торопливо
не зная что делать с сокровищем

теряющий время
невзначай повторяя пройденное
перебирая
словно оно возвратимо

теряющий время
терзающий вымя времени
в котором последние капли
звездного млека

нерест

Пара пепельных скатов по технологии stealth
компланарными ромбами днесь пластает глубины,
огибая дуэт бесшумно-придонных тел,
выверяющих полноту своей половины

бирюзового мира на иглах морских ежей,
притянувших сверху пузырчатые цепочки
для обозначения временных рубежей,
где призыву положены временные отсрочки.

Каждый смертный из двух глядит сквозь прозрачный овал:
хвостокол, рыба-камень, скорпена, конька осанка,
уходящий за шельфовый край бездонный провал,
где не выживет и тренированная русалка.

Плоский окунь дрожит на ребре. Отсутствует дискобол –
прислонив снаряд к невидимой стенке,
он ненадолго, недалеко отошел
дать освоиться сумеречной мизансценке.

Молодые кораллы, насельники списанных катеров,
напоминая лучшее из цветников Риджентс-парка,
разворачиваются согласно розе подводных ветров,
пошевеливаясь пламенно, но неярко.

На сегодня и это – фон перелетных угрей, –
тучи стрел, неведомым войском выпущенной на нерест
в отдаленную цель горячих карибских морей,
почитаемых родиной, что объясняет нервность

мобилизованной стаи, выдерживающей курс
по реликтовым линиям палеомагнитного поля,
низовым чутьем определяя, где скунс
равнодушной судьбы отметил границы воли.

Погостить бы им над развалинами атлантид,
над чудесами опалесцентного света,
где, опутанный илом, языческий бог стоит,
маскируясь под прямодушного анахорета.

Так пирует в Адриатике, Балтике и Бискае
и проводит лучшие, плодотворнейшие годы –
вечный угорь, смутные обязательства в себе таская
возвратиться в некую точку природы,

в гущу водорослей первоначальных, в хордовый срок
заведенного некогда коловерченья.
Легионы недорослей повторят этот путь на восток,
увлекаемые силой кровотеченья,

чтобы трал поденный обременить рыбакам Комаккио,
трепетать в руке в последнем торжественном жесте
в дельте Падуса, где мастерят карнавальные маски
правнуки беженцев от жестоких степных нашествий.

Двое смотрят, прощаясь, на оцифрованные запястья:
подниматься время из протоплазм конечного моря,
оставляя маяться оккупационные власти,
отвечающие за всё, что не ведают верхние мойры.

Михаил БАРУ

ПРЕЛЬЩЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ЧЕЛОВЕК

Сергач

Каждому писателю хочется начать свой рассказ или повесть или роман с какой-нибудь особенной, эффектной фразы, после которой читатель уже ни за что не сможет оторваться от повествования. Хорошо, если ты рассказываешь о Париже или о Мадриде. Про Париж и говорить нечего. Просто берешь в качестве эпиграфа строчку Бродского «В Париже, ночью, в ресторане...», и она за собой сама дальше потащит твой рассказ, как на веревочке. Да и с Мадридом ничуть не сложнее. «Ах, наконец достигли мы ворот Мадрита! Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой». Да будь ты хоть бритый бухгалтер преклонных годов в засаленном халате и шлепанцах, а все равно подкрутишь вверх несуществующие усы, залихватски заломишь бровь, запахнешься халатом и полетишь за автором по незнакомым улицам. Ты найди такую фразу, когда станешь рассказывать о райцентре Сергач в Нижегородской губернии. Тут хоть наизнанку вывернись, хоть всего Бродского перетряси и всего Пушкина...

Хотя... Если уж зашла речь о Пушкине, то в одной, всем известной с детства пушкинской повести, написано, что «Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя...». Здесь заинтригованный читатель непременно должен спросить – причем здесь сельцо Кистеневка, если автор завел речь о городе Сергач и... Всему свое время, отвечу я, будет и про сельцо Кистеневка, а пока начну с самого начала.

С самого начала надо сказать, что Сергач – столица. Его называют столицей Припьянья. Такие слова с двумя мягкими знаками надо, конечно, произносить на трезвую голову. С другой стороны, как его еще назвать, если это единственный город, расположенный в бассейне реки Пьяны. И реку эту тоже никак по-другому не назвать – она течет, точно пьяная. От устья до истока чуть больше шестидесяти километров, а общая длина почти в семь раз больше. Ее по этому поводу даже занесли в книгу рекордов Гиннеса как самую извилистую реку в мире[1]. Во времена доисторические, когда в этих местах никто, кроме медведей, рысей, волков, кабанов и лосей не проживал, росли здесь липовые и дубовые леса. Теперь их почти все извели. Остались лишь небольшие участки того самого леса в трех или четырех местах, да возле села Крутец, что в тридцати километрах от Сергача, растут несколько трехсотлетних дубов[2].

Во времена, близкие к историческим, сюда заниматься земледелием охотой и рыболовством пришли эрзяне и мокшане, которых пришедшие позже славяне стали называть мордвой. С тех времен остались стоять на окраине Сергача курганы, которые местные жители старались, особенно в сумерки и по ночам, обходить стороной. Молва приписывала курганы Ивану Грозному. Дескать, шел он брать Казань и велел насыпать курганы. Ну, а кому же еще их приписать, если не царю? Это же курганы, а не куличики из песка. Думали так долго, пока в конце девятнадцатого века археологи их не раскопали. Оказалось, что это древнемордовские могильники второго века. Нашли в них бронзовые браслеты, железные мечи, наконечники стрел и все, что полагается находить в таких случаях.

Следующую тысячу лет в предыстории Сергача можно пропустить. Кроме обычной жизни не происходило ничего, и это ничего было лучшим из того, что могло происходить. Ловили рыбу, пахали землю, ходили на медведя и уносили от него ноги, били белку, куницу, охотились на рысь и кабана, собирали мед и варили пиво, которое текло по усам.

В начале тринадцатого века время пошло быстрее. Припьянье начинает заселяться русскими. Заселяли осторожно, поскольку опасались близкого соседства с мордвой, а заселив, стали уже вме-

сте с мордвой опасаться монголов, которых приводили в эти места Батый и Субэдэй. Пришлось построить целую оборонительную линию, состоявшую из маленьких острогов, стоявших по левым берегам Пьяны, Теши и Суры. Остроги были не столько оборонительными, сколько сигнальными. Гарнизоны в них были небольшие. Как увидят неприятеля – так посылают гонца в другой острог, расположенный верст за десять от этого. Гонец скакал по специальной дороге, минуя защитные завалы из подсеченных деревьев и частоколы из заостренных бревен в районах бродов. Скакал быстро. Весть о появившемся неприятеле доходила до Нижнего и Мурома в тот же день, а до Москвы – на следующий. В сторожевые дозоры ходили круглосуточно. Состав гарнизонов был многонациональный – русские, мордва, татары. И по сей день, спустя восемь веков, вдоль этой оборонительной линии расположены русские, мордовские и татарские деревни.

Весной 1337 года в эти места двинулся с большим войском татарский хан Арапша, состоявший на службе у Мамая. Судя по описанию русских летописцев, это был татарский Бонапарт «карла станом, но великан мужеством, хитр на войне и свиреп до крайности». Строго говоря, полчищ Арапши никто пока не видел, но слухи поползли упорные. Нижегородский князь Дмитрий Константинович, известившись об этих слухах, послал гонца в Москву, к своему зятю, великому князю Дмитрию Ивановичу. Московский князь незамедлительно прибыл на помощь нижегородцам с большим войском, постоял, постоял... и убыл в Москву обратно, не дождавшись Арапшу. Князь, однако, оставил муромские, владимирские, ярославские, юрьевские и переяславские полки вместе с их воеводами. Нижегородский князь присоединил к этому войску суздальцев и нижегородских дружинников. Вся эта соединенная рать выдвинулась за реку Пьяну и стала ждать Арапшу с его войском. Тот, однако, и не думал появляться. Ходили слухи, что он далеко, на притоке Донца. Дело было в середине июля. Ходить дозором в кольчуге, в шлеме, в кольчужных рукавицах, с боевым топором, щитом, луком, копьем, да еще и волочить за собой тяжеленный меч... Короче говоря, все расслабились и «аки в бане растрепахуся». Еще и пить начали так, точно Арапшу с его войском уже победили. Летописец, обливаясь слезами, отмечал: «Любляху же пьянство зело, когда где находили пиво, и мед, и вино упивахуся без меры. Глаголили, что каждый из них с сотней татар справится».

И доглаголились. На исходе второй недели этого ожидания, Арапша, проведенный мордовскими князьями к месту стоянки русских войск, ударил сразу с пяти направлений. Полуголые и пьяные, русские полки бросились врассыпную. Один из новогородских князей был зарублен, самый главный нижегородский князь Дмитрий Константинович бежал со своими боярами не останавливаясь до самого Суздаля, а татары, через три дня после Пьянского побоища, объявились под стенами Нижнего Новгорода. «И бысть на всех ужас велий и страх мног, и изнемогоши вси...».

Какое это имеет отношение к городу Сергач, спросит читатель? А такое, отвечу я, что по преданию вдовы и дети нижегородских воинов, погибших в битве, вернулись на место их захоронения и основали село с говорящим названием Кладбищи, а уж рядом с этим селом и вырос впоследствии город Сергач.

Как и у всякого уважающего себя русского города, у Сергача есть не одна и не две легенды, рассказывающих о происхождении его названия. По первой легенде на месте деревни, из которой потом вырос Сергач, стояла часовня во имя Сергия Радонежского. От часовни пошло название деревни Сергиевка, а от деревни города. Вторая легенда говорит о том, что первым жителем будущего города был человек по имени Серга, названный так потому, что носил в ухе серьгу. Серга вообще не собирался быть первопоселенцем, а жил отшельником, но не один, а с медведем. Медведь был обучен разным смешным фокусам и редких гостей отшельника потешал, как мог, поскольку, в отличие от отшельника, очень скучал в этой глуши. По третьей легенде... Впрочем, она, скорее, не третья, а разновидность второй. Так вот, по ней, первопоселенцем был не Серга с медведем, а мордвин Сергас. Был он бортником, то есть, отбирал мед у диких пчел[3]. Жил без медведя. Медведь в такой профессии не помощник. Это, получается, сначала отбери мед у пчел, а потом у медведя... Сергас дал свое имя не только городу, но и речке, которая теперь называется Сергачкой. По третьей легенде название города тюркского происхождения и означает желтое дерево – Сарыагач.

Как раз на южной стороне холма, где начинался Сергач, в сильную засуху вся листва желтая уже в середине лета – почвы там мало, и близко к поверхности подходит известняк. Местные татары, особенно те, кто плохо говорит по-русски, нет-нет, да и назовут Сергач Сарыгачем. Четвертая легенда уже ближе к фактам. В Никоновской летописи, в «Повести о прихождении Тохтамыша на Москву» Сергач упоминается под именем Сернач. Почему Сернач... Должно быть в четырнадцатом веке, в том месте водилось много серн, на которых охотились местные жители, или было месторождение серы – ценного сырья для производства пороха. Может, просто летописец перепутал одну букву. Впрочем, это уже будут пятая и шестая версии. Куда их девать... Остановимся на Никоновской летописи, по которой Сергач ведет свое существование с 1382 года. Скорее всего, город был тогда маленьким острогом, выполнявшим сторожевую службу. После взятия Казани войсками Ивана Грозного нужда в Сергаче отпала и он... исчез. То ли был архивирован и перемещен из корневой папки в какую-нибудь подпапку, то ли бревна частокола, которыми он был окружен, были растащены местными жителями, то ли просто сгнил на корню – так или иначе из летописей Сергач на какое-то время пропал.

Второй раз он родился как деревня боярина Бориса Ивановича Морозова. В 1649 году он упоминается в наказе, который был выдан Любиму Осанову, приказчику, посланному управлять этой частью обширных морозовских владений. Борис Иванович был ~~первостатейным скопидомом~~ хозяйственным боярином, и перво-наперво наказывал Любиму «переписать в деревне Сергач с починками и деревнями крестьянские и бобыльские дворы, и во дворах людей, и их детей, и братей, и племянников, и внучат, и зятей, и приемышев, и соседей, и подсоседников, и захребетников, всех по именам с отцы и прозвищи, и что под каждым крестьянским тягла». Будь воля Морозова – он велел бы не только приемышей, но и мышей переписать, чтобы потом их обложить податями. Мало того, велено было Любиму следить, чтобы «вотчины моей в деревне Сергаче с деревнями и починки крестьяне мои и бобыли на продажу вин не седали, табаку б не держали, и не пили, и не продавали, и зернью и картами не играли, и на кабаках не пропивались». Пьяниц, самогонщиков, курящих, в азартные игры играющих приказано «бить батоги нещадно, и давать на поруки, а будет хто не уймется, и его бить кнутом».

Какие там карты и зернь... Покурить Морозовскому крестьянину было не на что и некогда. Семнадцатый век в истории России назовут бунташным, а в истории Сергача – поташным. Тысячи и тысячи крестьян в приволжских владениях боярина с утра и до ночи валили и жгли лес, добывая из древесной золы поташ. Сергач был центром поташного производства, больше похожего на добычу, чем на производство – так было оно примитивно. И все же, лучше сергачского поташа в тогдашней России не делали. Десятками тысяч пудов везли его в Нижний, из Нижнего в Вологду, из Вологды в Архангельск, а оттуда морем в Голландию, Германию и Англию. Людей не хватало, и потому в эти края присылали пойманных беглых, ссыльных и крестьян из других морозовских вотчин. Одно время Сергач и его окрестности даже называли «ближней Сибирью». В каком-то смысле это была даже и не Сибирь, а Крайний Север, поскольку все необходимое для жизни, а точнее, для существования, «работных людей», включая муку, сухари, одежду, овес для лошадей, привозилось со стороны. Пахать землю, сеять рожь и овес на месте сведенных лесов стали гораздо позднее. В 1672 году поташа было продано на экспорт семьдесят тысяч пудов. Даже страшно представить себе, сколько ради этого количества поташа было вырублено леса. Про диких пчел и мед можно было забыть. Впрочем, это уже было в те времена, когда вотчины Морозова после смерти его самого и его жены перешли обратно в казну. В семидесятых годах семнадцатого века даже была организована Сергацкая поташная волость.

Был, однако, и еще один промысел у сергачан. Его ни Морозов, ни власти не поощряли. Еще при Иване Грозном архиереи на Стоглавом соборе жаловались на сергачан, говоря, что они «поганскими обычаями кормяща и храняща медведя на глумление и на прельщение простейших человек...[4] велию беду на христианство наводят». Жаловались, жаловались, а все без толку. Приносили сергачане из лесу медвежат и дрессировали их долгими зимними вечерами, когда в поташном промысле наступал перерыв.

Дрессированный медведь мог дать целое представление. Не один, конечно, а с помощью своего поводыря, его прибауток весьма рискованного свойства, которыми он сопровождал медвежьи номера, бубна, и мальчонки, изображающего козу. Мальчонка был обряжен для такой роли в белый балахон с рогами. Помимо танцев с бубном показывал медведь, как малые ребята горох воровали, как у мишки с похмелья голова болит, как поп обедню служил, как теща зятю блины пекла, угорела и повалилась, как девки в зеркало смотрятся, как от женихов закрываются, как их же из-под ручки высматривают. Медведь мог представить даже сложносочиненное – как бабы в баню ходили, на полок забирались, на спинке валялись, веничком махали, животы протирали. И это не все. Еще ходили, как карлы и старики, изображали хромых, умели приволакивать ногу, подражать судьям, когда они сидят за судейским столом[5], и показывали, как жена милого мужа приголубливает. Поднесут медведю жбан с пивом ли вином – он выпьет, жбан отдаст и поклонится.

С этим нехитрым репертуаром ходили сергачане по деревням, селам и ярмаркам всей Центральной России, доходили до Урала и Кавказских гор, а в Европе добирались до Италии и даже до Англии. Вернувшись из заграницы, мог медведь показывать, как английские лорды в парламенте дерутся, как итальянцы спагетти друг другу на уши вешают, как толстые немецкие бюргерши книксен делают, как... Воля ваша, но во всех заграничных гастролях удивительно мне не то, что мужик с медведем добирался до Англии или Италии, а то, что он возвращался домой, чтобы снова быть крепостным боярина ли Морозова, царя ли Алексея Михайловича или Петра Алексеевича.

Занимались медвежьим промыслом в Сергаче очень многие. В некоторых семьях было не по одному, а по два медведя. На городском рынке даже был ряд, где торговали медвежатами. Девять месяцев в году ходили по миру медвежатник[6] со своим медведем и мальчиком, представляющим козу, а на десятый, ближе к зиме, начинали домой собираться. Шли осторожно – города, тем более, столичные, обходили десятой дорогой. Не дай Бог нарваться на станового пристава. Зарабатывали хорошо. Часть денег уже из дальних стран посылали домой, опасаясь не совладать с собой и пропить, прогулять, а часть приносили сами. Тех денег, что зарабатывали за сезон, хватало бы надолго, кабы... нет, не водка, а страсть к вольной жизни, к бродяжничеству. Как начнет таять снег – так и начнет медвежатник собираться в дорогу.

И еще. В обширной программе медвежьих номеров был один «военный». Медведь брал палку на плечо и с ней маршировал, подражая солдатам-новобранцам, которых учат ружейным приемам. С этим номером связана история, без которой не обходится ни один рассказ о Сергаче. Рассказал ее Мельников-Печерский в своем романе «На горах». Может, этого и не было вовсе, а Павел Иванович все выдумал, но «когда французы из московского полымя попали на русский мороз, забирали их тогда в плен сплошь да рядышком, и тех полонянников по разным городам на житье рассылали. И в Сергач сколько-то офицеров попало, полковник даже один. На зиму в город помещики съехались, ознакомились с французами и по русскому добродушию приютили их, приголубили. Полонянникам не житье, а масленица, а тут подоспела и настоящая весела, честна Масленица, Семикова племянница. Сегодня блины, завтра блины – конца пированьям нет. И разговорились пленники с радушными хозяевами про то, что летом надо ждать. “Не забудет, говорят, Наполеон своего сраму, новое войско сберет, опять на Россию нагрянет, а у вас все истощено, весь молодой народ забран в полки – не сдобровать вам, не справиться”. Капитан–исправник случился тут, говорит он французам: “Правда ваша, много народу у нас на войну ушло, да это беда еще невеликая, медведей полки на французов пошлем”. Пленники смеются, а исправник уверяет их: самому-де велено к весне полк медведей обучить и что его новобранцы маленько к службе уж привыкли – военный артикул дружно выкидывают. “Послезавтра милости просим ко мне на блины, медвежий баталион на смотр вам представлю”. А медвежатники по белу свету шатались только летней порой, зимой–то все дома. Повестили им от исправника, вели бы медведей в город к такому–то дню. Навели зверей с тысячу, поставили рядами, стали их заставлять палки на плечо вскидывать, показывать, как малы ребята горох воровали. А исправник французам: “Это, говорит, ружейным приемам да по-егерски ползать они обучаются”. Диву французы дались, домой отписали: сами-де своими глазами медвежий баталион видели. С той, видно, поры французы медведями нас и стали звать».

Вот вы, прочитав, эту историю, небось, только усмехнулись да подумали, что Мельников-Печерский на то и писатель, чтобы сочинять, а мне экскурсовод Наталья Николаевна Сидорова[7] в Сергачском краеведческом музее только что не поклялась, что это факт исторический, и даже потом показала место на Базарной площади, где этот медвежий парад проходил.

К концу девятнадцатого века медвежий промысел почти прекратился. Церковь и правительство его искореняли, искореняли и искоренили совсем. Да и уходить из дому и бродить с медведем по Российской империи, и даже доходить с ним до Англии, было не в пример сложнее, чем по Московскому царству. В декабре 1886 года Высочайшим повелением окончательный срок прекращения промысла был указан в пять лет. Означало это одно – всех медведей нужно было... Их и убили, свезя в овраг за городом. Правда, в самом Сергаче к тому времени было уже немного медведей – больше по окрестным деревням, но и тех, что жили по деревням, тоже истребили.

Однако, мы забежали слишком далеко вперед, пропустив восемнадцатый век, в котором Сергач 5 сентября 1779 года из села превратился в город по указу Екатерины Великой. Не то чтобы Сергач в это время бурно развивался, и в нем процветали ремесла и науки – вовсе нет. Просто был он казенным селом, а не принадлежал какому-нибудь помещику. Вот и сделали его уездным городом, а на гербе поместили медведя, стоящего на задних лапах. Означало это, что «того рода зверей в окрестностях города довольно».

Новорожденному городу была дана такая характеристика, которую, ей-богу, лучше было бы не давать. «Новоучрежденный в Нижегородском наместничестве город Сергач, преобразованный из села бывшего ведомства поташной конторы: купцов – 69, мещан – 37, крестьян поташного ведомства – 827 душ. Деревянного казенного строения: корпус присутственных мест, кладовая для денежной казны, колодничья тюрьма, соляные магазины всего числом три амбара, для поставки казенного вина подвал. Торгов, промыслов и рукоделий никаких не имеется, а посему так же и по строению своему, настоящим городом назвать не можно. К дальнейшей торговле особых способностей не имеется».

Ни рукоделий, ни способностей к торговле... Между тем рукоделия в Сергаче были, и не одно. Местные лапти были отменного качества и славились на все Поволжье. Если бы русский царь был из крестьян – то и к царскому столу такие лапти не стыдно было бы поставлять. Плести их умели все от мала до велика. Девочки еще и ходить не умели, а уже слабыми своими ручонками сплетали себе и братьям лапоточки «на первый шажок». Зимой лапти плели даже ученые медведи, которых мучила бессонница. На женскую ногу лапти плели прямые, а на мужскую – кривые. Из бересты плели ступанцы, а из веревок – «шептуны». Были лапти из прядок конопли и назывались «оборы». Лаптей плели столько, что их возами везли на Нижегородскую ярмарку. Кроме лаптей вязали, в свободное от полевых работ время, носки и варежки. Те, кто не вязал носки и варежки – те валяли валенки. Вообще брались за любые ремесла, поскольку с полевыми работами были сложности. Полевые работы, как известно, хорошо проводить в поле, а вот с полями-то у местных крестьян все было плохо. Вернее, с полями хорошо, а без них плохо. Большая часть земель в уезде принадлежала помещикам. Поташный промысел к началу девятнадцатого века захирел, и надо было заниматься земледелием, а земли для этих занятий у крестьянина в достаточном количестве как раз и не было. От такой жизни не только медведей начнешь дрессировать, но и сам будешь смотреть на всех медведем.

В двенадцатом году сергачанам удалось пройтись по Европе без медведей, но с оружием в руках. Дошли они до Германии и принимали участие во взятии Дрездена. Шли под своим знаменем, на котором был вышит медведь, держащий в правой передней лапе боевой топор. Это знамя потом долго хранилось в городском Владимирском соборе, пока в тридцатых годах прошлого века собор не был закрыт. Тогда знамя из собора и пропало.

После того как ополченцы вернулись домой, снова начались бесконечные лапти, вязаные носки, валенки и дрессировка медведей. Сергач жил жизнью обычного русского уездного города – пыльного, затканного по углам паутиной, сонного и до того скучного, что в нем, случалось, даже мухи дохли от недостатка развлечений. Одно время городская шестигласная дума по предложению

городского головы даже решала вопрос, а не впасть ли в спячку всем городом до лучших времен, и многие горячо поддержали это предложение – особенно медведи, жившие почти в каждом доме. Впрочем, от этой идеи отказались, во-первых, потому, что представлялось невозможным уложить спать всех малых ребят разом – кто-нибудь из них неровен час не заснет, станет бегать с другими такими же сорванцами по городу, да, не приведи Господь, у них в руках окажутся спички... Во-вторых, боялись того, что скажет по этому поводу губернатор в Нижнем Новгороде, не пойдут ли кривотолки, не усмотрят ли в этом вольтерьянства, не захотят ли соседние уезды присоединиться к такому начинанию, не пришлют ли комиссию из самого Санкт-Петербурга разбираться, не выяснится ли, что подряды на ремонт городских улиц давно взяты, а булыжных мостовых как не было, так и... И в третьих, никак не могли между собой договориться о том, что считать лучшими временами и на какой срок надо засыпать. По всему выходило, что столько проспать не только человек, но даже и медведь не в состоянии.

Между тем город, хоть и в полудреме, но рос. Образовались три новых улицы – Зайчиха, Острожная и Перекувырдиха. Они и сейчас есть, только называются по-другому. Перекувырдиха теперь Театральная, потому как в первые годы Советской власти на ней стояло здание народного театра. Здания давно уж нет – оно сгорело в конце двадцатых, но улица с тех самых пор Театральная. Не Урицкого, не Свердлова – и слава Богу. Зайчиха теперь Горького. Не знаю почему. Может потому, что Горький... потому, что Свердлов, потому, что Урицкий, потому, что Калинин и Ленин. Что же до Острожной, то она носит название Пушкинской и не просто так.

В 1830 году Александр Сергеевич проезжал через Сергач по пути в Болдино. Ну, скажет читатель, таких городов, через которые проезжал поэт, много. Небось проехал не останавливаясь или остановился на часок, съел в местном трактире «щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком», напился чаю, выглянул в окно, засиженное мухами, увидел там свежую, как розан, уездную барышню, обходящую огромную лужу, в которой плескались утки и лежала бревном свинья, вздохнул, цыкнул зубом и поехал себе дальше. Из этого факта, конечно, можно вывести примечание к десятому тому полного собрания сочинений и писем Пушкина или даже написать отдельную статью, если подробно разобрать, из чего состояли щи в трактире, и какой породы была свинья, валявшаяся в луже, но мы оставим это филологам, которых хлебом не корми, а дай написать статью в ученом журнале.

Пушкин приезжал в Сергач два раза. Местный житель или экскурсовод в музее сказали бы «неоднократно». Было у него дело в Сергачском уездном суде, от которого самым прямым образом зависело его семейное счастье и благополучие. Отец поэта выделил ему две сотни душ в сельце Кистеневе, которые Александр Сергеевич намеревался как можно быстрее заложить, чтобы на вырученные деньги заказать Наталье Николаевне свадебное платье, фату, свадебного художника, карету с кольцами на крыше, оплатить банкет в Яре, цыганский хор... Короче говоря, надо было Кистенево срочно закладывать, а прежде чем заложить, необходимо было вступить во владение, а чтобы вступить, надо оформить бумаги, бумаги и еще раз бумаги. Было от чего прийти в отчаяние. Тут наступает болдинская осень, тут Кистенево, тут крестьяне, у которых надо принимать присягу, тут черт ногу сломит в этих бумагах, гори они огнем. Когда, спрашивается, без пяти минут новобрачному этими скучными делами заниматься? Пушкин поручил это поверенному – писарю болдинской вотчинной конторы Петру Кирееву и выдал необходимую доверенность, но, как человек неопытный в таких делах, совершенно упустил из виду, что доверенность надо заверить, а вот для этого необходимо было приехать в Сергач. От Болдина до Сергача в те времена, да и сейчас, было около полусотни верст. Два раза приезжал Пушкин в Сергач – в конце сентября и в начале октября. Мог бы и больше, принимая во внимание ту скорость, с которой рассматривают дела уездные суды в те времена... да и сейчас. К счастью, соседка Пушкина, Пелагея Ивановна Ермолова, была тещей председателя уездного суда Александра Федоровича Дедюкина, и потому все оформили быстро.

Доподлинно известно, что в один из приездов показывали Александру Сергеевичу ученого медведя. Теперь берем этого медведя, складываем с сельцом Кистенево, с Сергачом и получаем деревню Кистеневку, медведя, которому выстрелил в ухо француз Деформ, помещика Троекурова, играющего с медвежатами, и, наконец, роман «Дубровский».

Во время своих приездов в Сергач Пушкин останавливался в доме помещика Приклонского, своего дальнего родственника и предводителя уездного дворянства. У того было в Сергаче три дома. Тот, в котором останавливался Пушкин, до наших дней не достоял. То есть он мог бы, если бы ремонт, если бы замена сгнивших бревен и новая крыша, если бы штукатурка... Дом развалился бы и сам, но в семидесятые годы его снесли, чтобы построить общежитие. Те же самые власти (только это была уже другая рука властей – не левая, которая сносила дом, а правая) некоторое время спустя захотели повесить мемориальную доску на доме, в котором останавливался великий поэт. Дома не было, но рука, которая хотела повесить доску, чесалась немилосердно. И повесили. Правда, на другой дом, построенный через двадцать лет после смерти Пушкина, но тоже принадлежавший семье Приклонских. Так она там и висит, и на ней все как следует быть – и барельеф с кудрявой головой, и гусиное перо, и раскрытая книга, и открытая чернильница. Кстати, улица, на которой этот дом стоит, не Пушкинская, а Гайдара.

Не то мне удивительно, что доску повесили не на том доме, а то, что за много лет ни один сергачанин, ни одна сергачанка, ни даже маленькие сергунчики, которым всегда до всего есть дело, не приписали частицу «не» к глаголу «останавливался». И висит-то доска довольно низко. Возьми фломастер и... Не берут. И это, как мне кажется, даже хуже, чем доску сорвали бы вовсе.

О Сергаче времен Пушкина рассказывать долго нечего. Дворцов, многоглавых соборов, домов с колоннами там не было. Была одноэтажная кирпичная больница на десять коек, одиннадцать улиц, полторы дюжины попов, четыре казенных здания, пять магазинов, три церкви, два с половиной десятка дворян, винный погреб, семь кирпичных заводов, двести военных, кожевенный завод, ни одного учебного заведения, семьдесят пять купцов, три с половиной сотни мещан и около двух тысяч дворовых и крестьян.

Ближе к концу девятнадцатого века к кирпичным и кожевенному заводам прибавился пивоваренный, который построил в Сергаче немец Г.К. Дик. Воду для приготовления пива брали в роднике, а родник находился аккурат на том самом месте, где в незапамятные времена стояла часовня во имя Сергия Радонежского, с которой, по легенде, и начался Сергач. Был еще и мыловаренный...

Честно говоря, я с гораздо большим удовольствием рассказал бы не про мыловаренный завод, а о том, что жил в то время в Сергаче какой-нибудь чудак, построивший воздушный шар и запустивший в первый полет ученого медведя, который не только ел мед на протяжении всего полета, но и записывал в специальную книжку показания термометра и барометра, или о том, что в пиве, произведенном на заводе Дика, все пузырьки были шампанскими и оно обладало таким тонким и неповторимым вкусом, что получило большую золотую медаль на выставке в Париже, или о том, что местные ювелиры делали яйца ничуть не хуже, чем в мастерской Карла Фаберже, и даже умудрились изготовить яйцо с двумя желтками, которое подарили царю на Пасху, но... не делали, не изготовляли, не умудрялись и не дарили. В Нижегородских губернских ведомостях от 20 мая 1887 года о Сергаче было написано: «Особенность Сергача – это на каждой трубе дырявый горшок производства купцов Белодуриных». Уж лучше бы просто обругали, ей-богу.

В тех же губернских ведомостях через два года в «Росписи прихода и расхода» записано, что на содержание тюрьмы в Сергаче из городского бюджета было отпущено 575 руб., на народное образование 160 руб., на благоустройство города 50 руб., на ремонт общественных зданий 25 рублей. Если пересчитать все это на стоимость офицерских са-

пог в то время, то выходило, что на народное образование отпускали восемь пар сапог, а на благоустройство две с половиной пары. Если считать в хороших лошадях, то образование стоило всего одну лошадь или около двух с половиной коров. Зато на тюрьму отпускали две лошади, два парадных офицерских мундира, две пары парадных сапог, две пары золоченых офицерских эполет, две сабли и полторы пары шпор.

Мыла и пива в Сергаче было достаточно, а вот хлеба не хватало. То засуха, то голод. А хоть бы и не голод – земли у крестьян было с гулькин нос. В среднем по семь десятин на семью. В сто раз меньше, чем у местных помещиков, и в шестьдесят четыре раза меньше, чем у купцов. У половины крестьян земли и вовсе не было. Неудивительно, что в девятьсот пятом году по всему сергачскому уезду усадьбы помещиков запылали как свечки. Крестьяне жгли даже то, что могли взять себе – скот, сельскохозяйственную технику. Вывозили только хлеб. Помещики бежали в город, но и в Сергаче спокойствия не было. Откуда ни возьмись, объявился сапожник, руководивший местной группой РСДРП. Осенью бастовали рабочие и служащие местного телеграфа. Местный исправник исхитрился отправить в Нижний Новгород шифрованную телеграмму с просьбой прислать две роты солдат или одну роту казаков. Прислали роту солдат. На местную полицию было мало надежды – случалось, она переходила на сторону крестьян. Часть сергачских полицейских арестовали и мгновенно, без суда, сослали в Нарымский край на каторжные работы. К концу девятьсот шестого года беспорядки утихли. В девятьсот седьмом было всего два крестьянских выступления. Большевики затаились.

За год до начала первой мировой стали строить железную дорогу. Уездные власти обратились с просьбой к правлению общества Московско-Казанской железной дороги перенести станцию поближе к городу, но их не стали и слушать. Строили в чистом поле целый городок – вокзал, паровозоремонтное депо, пакгаузы, склады топлива, дома железнодорожников. В масштабах Сергача и уезда это была стройка века. На нее стекались тысячи безработных крестьян. Рабочий день длился пятнадцать, а то и шестнадцать часов с полуторачасовым перерывом на обед. Большая часть дороги пролегала в болотистых местах. Со всем тем качество строительства было никуда не годным. Шпалы клали не пропитанные креозотом, да и сами они были не из клена или сосны, как полагается настоящим шпалам, а из липы, березы и осины. Срок службы таких шпал не более пяти лет. Местами шпалы с рельсами укладывали просто на грунт, без подсыпки гравием и песком. Еще и рельсы брали облегченного типа. Еще и воровство на строительстве никто не отменял. Скорость пассажирских поездов была не выше тридцати пяти километров в час, а товарные поезда просто еле тащились. В год начала войны построили красивый вокзал по проекту Щусева. Он и сейчас стоит. Окончательно все достроили, включая паровозное депо, только в восемнадцатом году, уже при новой власти. Железнодорожная станция увеличила население Сергача за десять лет с шестнадцатого до двадцать шестого года почти в два раза. И это притом, что с четырнадцатого года и до двадцать второго страна беспрерывно воевала.

Новая власть пришла в Сергач быстро. Быстро разогнали местных меньшевиков и эсеров, быстро упразднили земские управы, волостные земства, быстро, в январе восемнадцатого, провели уездный съезд Советов, избрали исполком, учредили сельские советы, понаделали красных знамен, написали на них лозунги и пошли на демонстрацию. Вместе с новой властью на демонстрацию пошли голод, разруха и эпидемия тифа. Начавшие трезветь от революционного угара крестьяне стали разгонять комитеты бедноты и расправляться с активистами. Уездный совет депутатов думал, думал... и отправил своего председателя, Герасима Родионова, к Ленину. Вождь принял Родионова, спросил его – не преувеличивает ли он трудности, поворочал в черепе губерниями, записал что-то в блокноте, обещал помочь с деньгами, велел создать красногвардейский отряд и не церемониться с буржуазией. Большевики и не церемонились. Четвертого сентября во-

семнадцатого года, через четыре дня после покушения на Ленина, в Сергаче был объявлен красный террор. В местной газете «Думы пахаря» председатель Сергачского укома ВКП(б) М.И. Санаев под заголовком «Да здравствует красный террор!» писал, что «Третьего сентября, в Сергаче по постановлению военно-революционного штаба расстреляны пять человек в отмщение за покушение на наших вождей». Расстреляли помещицу Приклонскую (из тех самых Приклонских, в доме которых останавливался Пушкин), протоиерея Никольского, спекулянта Фертмана и двух офицеров – Рыбакова и Рудневского[8]. Ровно через двадцать лет, в тридцать восьмом, расстреляли как врага народа организатора расстрела Санаева.

Потом была гражданская, потом два года засухи, потом продразверстку заменили продналогом, потом в уезде открыли две сотни школ ликбеза, две сельскохозяйственные коммуны, дюжину изб-читален, а в самом Сергаче благодаря одному энергичному художнику открыли один театр и один музей. Художник взял да и уехал в скором времени в Москву, а музей закрыли. Театр даже закрывать не пришлось – он, как я уже говорил, сам сгорел в конце двадцатых. Зато в бывшем пивоваренном заводе открыли кинотеатр, а в корпусах мыловаренного устроили городскую электростанцию. Правда, с ее помощью освещалась только центральная часть города и только до полуночи. Кирпичом разрушенной соборной колокольни замостили улицу Советскую, открыли парк культуры, и в нем заиграл духовой оркестр. Музыка играла весело и бодро. Хотелось жить. Началась коллективизация... Музыка играла еще веселей и еще громче, когда коллективизацию совместили с репрессиями. Арестовали врача, построившего новую районную больницу. Александр Августович Саар оказался «эстонским шпионом». К счастью, другом одного из председателей колхозов сергачского района был Валерий Чкалов. Он и выпросил у кого надо Саара. Его отпустили. Правда, без зубов, которые выбили на допросах. Удивительно, но местные власти были так рады его возвращению, что не побоялись устроить по этому поводу банкет.

За Александра Леонидовича Ященко, учителя географии педагогического техникума, путешественника, написавшего книгу о своем путешествии по Австралии, члена русского Географического общества, этнографа и краеведа, завещавшего все свои коллекции Сергачу, заступиться было некому. Зато было кому написать донос. Его, семидесятилетнего старика, арестовали в ноябре тридцать седьмого и в январе тридцать восьмого расстреляли. Погиб и его домашний музей, экспонаты которого просто выбросили в овраг неподалеку.

В предвоенном Сергаче проживало пять с половиной тысяч жителей. Девятьсот из них не вернулось с фронта. Не вернулся и мобилизованный на фронт единственный в городе автобус, который ходил между городом и железнодорожной станцией. Сергач представлял собой тогда что-то вроде атома водорода, который отдал свой единственный электрон и теперь отрывает от ядра то, что отрывать нельзя – протон и нейтроны. Жившие впроголодь жители города и района сумели за годы войны собрать для фронта сорок восемь миллионов рублей, построить на свои деньги эскадрилью самолетов, приютить эвакуированных из Прибалтики, выходить детей из блокадного Ленинграда, день и ночь перевозить на восток раненых, оборудование эвакуированных заводов, помочь освобожденному Подмосковью семенами и отправить двадцать тысяч посылок с теплыми вещами на фронт. И еще шили солдатам ватники, полушубки, рукавицы, ботинки, валяли валенки, делали взрыватели для мин и проволочные сети заграждения.

После войны... нет, не построили ни вавилонской башни, ни цирка, ни оперного театра, ни картинной галереи на тысячу картин. Зато построили хозмаг и гастроном. К дому культуры пристроили зрительный зал, замостили булыжником несколько улиц и по ним пустили внутригородской автобус. В шестидесятом году на окраине Сергача выстроили электрическую подстанцию, и жители города, а особенно района, поняли, что

до коммунизма они вряд ли доживут, а вот до электрификации своих домов все же дожили. И, наконец, открылась столовая-ресторан. По вечерам в ней убирали объявление «Пальцами и яйцами в соль не тыкать!», запах духов «Красная Москва» смешивался с запахом щей из квашеной капусты, и на столы ставили салфетницы с целыми бумажными салфетками, а не с разрезанными, по-столовски, на треугольнички. Впрочем, водку, как ни боролись, все равно приносили с собой.

В семидесятых построили водопровод и канализацию. Этим водопроводом и этой канализацией сергачане гордятся до сих пор. Они были построены, можно сказать, на вырост. Взять, к примеру, соседние Лысково, Лукоянов или даже Семенов на другом берегу Волги, в которых народу живет куда как больше, а канализация у них просто плюнуть и растереть по сравнению с той, что в Сергаче. Зря вы, между прочим, ухмыляетесь. Это Лондон с Парижем сравнивать легко, а вы попробуйте Сергач с Лукояновым сравнить. Вот я посмотрю тогда, как вы будете выкручиваться.

Промышленный комбинат, который во время войны шил ватники, телогрейки и рукавицы для солдат, перешел на выпуск... ватников, телогреек, рукавиц, но уже для рабочих, а кроме того, стал выпускать кнопки и мебельные гвозди. Не было такого школьника в нашей тогдашней стране, который хоть раз не подложил бы эти кнопки соседу по парте, не говоря об учительнице. Одно время кнопок стали выпускать так много, что из министерства канцелярских принадлежностей даже пришла официальная бумага в министерство образования с просьбой увеличить количество учительниц и школьников, чтобы не допустить кризиса перепроизводства кнопок.

В шестьдесят седьмом построили в Сергаче сахарный завод – один из самых крупных в Союзе. Ежесуточно завод производил сотни тонн сахарного песка. В пересчете на барханы это составляло два крупных и пять мелких. За месяц завод мог произвести сахарную пустыню небольших размеров. Несмотря на то, что производство сахара на заводе было полностью автоматизировано, в городе началась эпидемия кариеса, очаги которой с огромным трудом удалось локализовать и ликвидировать. Через восемь лет рядом с сахарным заводом построили дрожжевой. ~~Люди плакали от счастья и обнимались на улицах.~~ Оба завода объединили в один комбинат. ~~Третий завод строить не стали. Да никто и не жалуется. Справляются подручными средствами.~~

Комбинат, кстати, и теперь работает. Не всем работающим на нем сладко, но он жив, а вот мясокомбинат, птицефабрика, колбасный, рыбокоптильный и кондитерский цехи при районной потребкооперации умерли. Рыбы в Пьяне, тоже, кстати, сильно поубавилось, но медведи еще есть. По крайней мере, в Сергаче они почти на каждом углу встречаются – где деревянные, где гипсовые. А вот живых уже и не водят. В начале двухтысячных на ярмарках молодые парни еще рядились в костюмы медведей, а теперь и этого нет. Вот только на день города музей выходит на улицы со своей коллекцией медвежьих фигурок. Оно, конечно, и понятно – двадцать первый век на дворе. Промысел был дикий, изуверский по отношению к животным, а с другой... Пришел бы медвежатник, и давай его медведь показывать, как депутаты голосуют, как на заседаниях спят, как чиновник прячет конверт в карман, как пилят бюджет, а мужикам не дают даже и опилки подбирать, как девки по мобильному телефону разговаривают, как президент ближним боярам привилегии раздает, как жены министров на яхтах загорают, как малые ребята за компьютерами день и ночь сидят, как футболист не может по мячу попасть, как гаишник в кустах с радаром сидит, как на таможне не отдают добро, как богатые тоже плачут, как бедные смеются, но сквозь слезы.

---

[1] Пьяна – очень живописная река. Неподалеку от Сергача, на ее берегу есть село Игнатово. В 1897 году там несколько месяцев прожил С.В. Рахманинов. После провала Первой симфонии у него был нервный срыв, и врач посоветовал Рахманинову отдохнуть и успокоиться. Он и поехал успокаиваться в Игнатово, в усадьбу своего родственника, отставного генерала Скалона. Когда экскурсовод в крае-

ведческом музее, рассказывая о пребывании композитора в Игнатово, сказала «Каждый день Рахманинов по Пьяне катался на лодке», я подумал, что эту фразу, лучше читать, чем произносить вслух. Мало ли как могут ее понять.

[2] В разгар перестройки, когда от громадья планов кружились головы, власти думали для привлечения своих и особенно иностранных туристов наковать красивых златых цепей, закупить ученых котов да посадить их на эти цепи, чтобы днем и ночью... Составили смету, выпросили денег в области на одну, хоть и не золотую, но позолоченную цепь и одного ученого кота, которого планировали закупить в специальном питомнике, при одном из немецких университетов. Составили комиссию, в которую вошли компетентные фелинологи, а проще говоря, котоведы из районной и областной администраций, купили специальную клетку для перевозки ученого кота, сборник сказок, которые он должен будет выучить, раздали членам комиссии командировочные в валюте, купили билеты в Париж и улетели[*].

[*] Это, собственно, вся история. Продолжения у нее не было. Правда, еще какое-то время искали цепь, но ее тоже не нашли. Было еще, кажется, письмо из-за границы с просьбой прислать хоть немного денег, поскольку обучение кота встало в копеечку, а жизнь в Париже больно дорога.

[3] Надо сказать, что здешний липовый мед был такого отменного качества, что его даже поставляли к царскому столу.

[4] Оруэлл лишь через четыреста лет придумает своих пролов, а тут уже простейшие. Про рентген, про Грозного, который всех насквозь видел, и говорить нечего.

[5] Как уж они изображали судей – ума не приложу. Может, изображали, как судья спит во время заседания, а может, как берет подношения от родственников.

[6] Тех, кто ходил с медведями, называли сергачами. Даже в тех случаях, когда медвежьи поводыри были и не из Сергача и уезда.

[7] Пять поколений Наташиных предков прожили в Сергаче. Попробуйте в Москве, в Петербурге или в Нижнем Новгороде найти такого экскурсовода, пять поколений предков которого... Даже и не мечтайте.

[8] Спустя некоторое время выяснилось, что Николая Рудневского расстреляли лишь только потому, что его студенческий мундир инженера-путейца кому-то показался офицерским. Коля незадолго до расстрела поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения и приехал на побывку к отцу – учителю городского училища.

Спасск-Рязанский

История Спасска-Рязанского, который на самом деле всегда был просто Спасском, и лишь в двадцать девятом году прошлого века стал еще и Рязанским, чтобы отличаться от дальневосточного Спасска-Дальнего, формально начинается в восемнадцатом веке с Екатерининского указа, плана города, расчерченного на ровные квадратики, и герба с черным крестом на красном поле. Если же подойти неформально, то надо будет отступить на пять с половиной веков назад и километра на три в сторону, чтобы... Чуть не забыл. Хорошо бы, конечно, рассказ о Спасске предварить эпиграфом. Эпиграфов, как и новостей в старом анекдоте, есть два. Первый принадлежит бывшему члену организации «Земля и воля» и спасскому мировому судье А.Н. Левашову: «Я приехал в Спасск осенью 1870 года и сразу был поражен свежестью и яркостью впечатлений. Обширная приочная луговая полоса, бесконечные леса в северной части уезда, простор с перспективою заманчивой дали, такие пункты, как горд Спасск, с его озерами, Старая Рязань... поражающие естественной красотою, все это захватило душу». Второй я нашел в письме писателя Сергеева-Ценского, который писал своему другу из Спасска: «Скука здесь страшная; общественной жизни совсем нет... Тоска! Тоска!» Сергей Николаевич в самом конце позапрошлого века служил в Спасской мужской гимназии преподавателем истории и в свободное время от занятий время писал ужасно мрачные рассказы с говорящими названиями «Лесная топь», «Тундра» и, конечно, «Скука». Еще и населял некоторые из этих рассказов людьми, похожими на жителей Спасска. За это не помнящие зла жи-

тели Спасска назвали его именем улицу[1]. Впрочем, кто теперь помнит Сергеева-Ценского со всеми его рассказами... Вернемся лучше к Спасску, вернее, в те времена, когда он родился в первый раз.

Собственно Спасска тогда еще не было, но на высоком противоположном берегу Оки, как раз напротив того места, где сейчас расположен Спасск, стояла Старая Рязань – столица Рязанского княжества. Именно стояла на высоком обрывистом берегу, окруженная земляными валами, на которых были возведены деревянные, рубленые стены с башнями. Стояла, но не выстояла. В декабре 1237 года ее разрушил, разграбил и сжег Батый со своими бесчисленными татаро-монголами. От Спасска к Старой Рязани ведет наплавной мост. Со стороны города у моста стоит несуразный двухэтажный дом, в котором помещается гостиница, кафе, бильярд и русская баня. Называется все это «У Беды» потому, что хозяин всего этого – мужчина по прозвищу Беда. У Беды, кроме гостиницы, есть еще две старинных пушки времен войны с Наполеоном, которые палят по праздничным дням холостыми, конечно, зарядами.

Так вот, про Старую Рязань. Теперь от нее осталось только ровное поле, поросшее травой, в которой торчат три колышка с прикрепленными к ним табличками «Успенский собор», «Спасский собор» и «Борисоглебский собор», да еще стоит одиноко чудом сохранившаяся кирпичная арка от церкви, построенной в начале прошлого века, рядом с которой фотографируются туристы, поскольку думают, что она домонгольских времен. Еще и пишут на ней все то, что пишут туристы. Трава на поле не так давно растет – еще совсем недавно здесь росла картошка с капустой и паслись коровы, из-под копыт которых нет-нет да и выбивались остатки средневековой керамики. Самое интересное здесь то, что лежит под травой, на глубине около полуметра или даже меньше. Самое интересное называется кладами[2]. Золотыми и серебряными. Их находили на территории городища, начиная с девятнадцатого века. Директор Спасского краеведческого музея – Марина Михайловна Ершова рассказывала мне, как в девяносто втором году...

...денег на раскопки не давали. Их, понятное дело, не давали и в девяносто первом. Их вообще не давали с семьдесят восьмого года. У начальника старорязанской археологической экспедиции Владислава Петровича Даркевича не то чтобы руки, а даже лопата чесалась что-нибудь где-нибудь раскопать и выкопать. Где копать, он знал. Археологи такие места определяют просто – копают там, где до них никто не копал. Неопытные, конечно, сначала найдут высокое дерево, забираются на седьмую ветвь, потом стреляют из левого глаза мертвой головы на пятьдесят футов в юго-восточном направлении и только потом, отослав домой слуг и носильщиков, начинают копать, а опытные, такие как Даркевич, просто приходят в Спасский краеведческий музей и говорят:

– Девчонки, тут есть одно место на городище – там еще никто не копал. Справа копали, слева копали, а вот там еще никто. И надо всего-то снять дерн, да посмотреть, что под ним. Если что-то и есть, то оно лежит... Ну, а не лежит – так и не лежит.

Девчонкам, конечно, интересно. И они, обливаясь потом на адской жаре, долбят лопатами землю, снимая самый верхний, самый каменный слой почвы. Копают, между прочим, без всякого открытого листа. Какой же лист, когда денег на раскопки нет от слова совсем. Навстречу им едет мальчишка на велосипеде, которому тоже страсть как охота побыть археологом. Ему говорят, чтобы приходил завтра утром копать. Сначала находят остатки кухни, а в ней чешую и позвонки рыб. Марина Михайловна не рыбак и даже удочки ни разу в руках не держала, но размеры чешуи она мне показывала двумя руками. Вот какая рыба ловилась тогда в Оке. Потом находят закрытый замок, и становится ясно, что в дом этот никто с тринадцатого века так и не заходил. Потом начинают открываться контуры соседней комнаты, потом устают и уходят спать. Потом наступает утро, потом в восемь утра приходят девчонки на раскоп, потом приезжает мальчишка на велосипеде, потом ему дают лопату и указывают где копать, потом раздается его крик, потом все подбегают к нему и понимают, что до прихода Даркевича еще часа два. Найденные золотые бусы, подвески и серьги блестят так, что любой, кто посмотрит из деревни Старая Рязань, что находится под горой или даже из самого Спасска на том берегу, на них, освещенных этим блеском, возьмет большой мешок, засунет острый нож за голенище сапога и пойдет, не мешкая сюда, чтобы...

Когда Даркевич увидел всю эту груду золотых украшений, то он... нет, не пустился в пляс, не стал кричать, что это большой успех сов... нет, российской археологии, а посмотрел на своих чумазых копателей и тихонько сказал:

– Одну бусинку продать бы вам, девчонки... и вашим внукам хватило бы.

Сказав это, он собрал все предметы, до единого, в большой мешок, приказал всем строго-настрого молчать и пошел вызывать милицию, чтобы отвезти клад в Рязань. Открытый лист на раскопки оформили задним числом и даже немного заплатили тем, кто копал. Две недели все молчали как партизаны на допросе, а потом вдруг по радио передали, что в районе Рязани нашли какой-то клад, но что за клад, и кто его нашел...[3]

Мы, однако, совсем забыли про Спасск, который, в отличие от Старой Рязани, мало кто знает. Разве что археологи, которые, как Даркевич, приезжают из Рязани на время раскопок. А ведь он существовал уже и в старорязанские времена. Только назывался Зареческ, но находился как раз на том месте, где сейчас расположен Спасск. Зареческ упоминается в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях под 1136 годом. Сам Дмитрий Иванович Иловайский, большой знаток истории Рязанского княжества, в середине девятнадцатого века писал, что спасские старожилы еще помнят остатки земляных валов на месте городского сада, в котором иногда находили мечи, бердыши и средневековые монеты. В тринадцатом веке Зареческ прекратил свое существование. Теперь сложно сказать – кто его разрушил. Конечно, можно все свалить на Батыя и татаро-монголов, но, если быть честным, то придется вспомнить, что за двадцать девять лет до Батыя приходил воевать Рязань суздальский князь Всеволод Большое Гнездо – не любитель, но профессионал по части разорения чужих гнезд. Он, конечно, был не татарин и не монгол, но Рязань разрушил так, что и Батый бы позавидовал. Оставшиеся в живых рязанцы были переселены им на другой, лесистый берег Оки – как раз в те места, где тогда был Зареческ. Кто разрушил Зареческ – суздальцы или татаро-монголы – неизвестно. Документальных свидетельств об этом мы не имеем. Как, собственно, нет ни одного документа, подтверждающего существование этого города. Первый документ появился лишь в 1535 году – в одной из писцовых книг Рязанского края упоминался Спас-Зарецкий монастырь. Из документа этого выходило, что монастырь существовал с 1483 года и имел обширные земельные угодья, в которые входило село Спасское. Если быть точным, то в писцовой книге Спасское было вторым в списке названий этого села, а первым было Васкина поляна. Тут надобно немного отступить и рассказать – почему село Спасское называли Васкиной поляной.

Жил в тринадцатом веке епископ Рязанский Василий. То есть сначала-то он был епископом в Муроме, но там его одолели происки врагов, распускавших слухи о нецеломудрии Василия. Простодушные муромцы, поверившие наветам на епископа, собрались его изгнать. Некоторые из простодушных даже хотели его убить. Епископ, не долго думая, бросил свою мантию на окскую воду, встал на нее с иконой Богородицы в руках, и поплыл против течения по направлению к Рязани. Простодушные муромцы, увидев, с какой скоростью Василий рассекает Оку против течения, тут же раскаялись и закричали Василию – вернись, мы все простим, но было поздно – мантия с Василием уже причаливали под стенами Рязани.

Василий в Рязани без дела не сидел – принялся за крещение проживавшей в окрестных лесах муромы, мордвы и мещеры. Место, где он любил это делать, и называли Васкиной поляной. И только после того, как село Васкина поляна отошло к Спас-Зарецкому монастырю, его стали называть Спасским. Впрочем, названием Васкина поляна пользовались еще до середины семнадцатого века.

Никаких событий в Спасском, пока оно было за Спас-Зарецким монастырем, не происходило. Крестьяне сеяли хлеб и все, что полагается сеять крестьянам, плели лапти, собирали полные лукошки грибов с глазами[4], ходили на медведя с рогатиной и плавали с ней же на многопудовых осетров и белорыбицу с такой огромной чешуей, о которой мне рассказывал директор Спасского историко-археологического музея. Монастырь между тем хирел и в 1764 году был упразднен. К тому времени богатое село Спасское успело от монастыря откупиться. И вовремя – через четырнадцать лет Спасску был пожалован статус уездного города. Новоиспеченному городу был дарован герб – черный крест в кроваво-красном поле. Черный – в память о том пожаре, который уничтожил

Старую Рязань в тринадцатом веке. По случаю обретения селом городского статуса были устроены трехдневные празднества. По тому же случаю городу была пожалована небольшая сумма денег на то, чтобы селу Спасскому придать, сколько возможно, городских черт. Городской голова голову себе сломал, думая – что на эти деньги можно сделать. В конце концов, было решено... расширить, теперь уже городское, кладбище и обнести его каменной оградой. На оставшиеся деньги выстроили богадельню и по случаю прикупили в соседнем селе Селезенове церковь, которую зимой, на катках, перевезли в Спасск и сделали кладбищенской. Так случилось, что эта деревянная церковь и теперь единственная в Спасске. Строили, конечно, и после нее церкви и даже построили огромный каменный собор на центральной площади, но все сами же и разрушили. Преображенский собор строили уже в девятнадцатом веке. Его колокольня высотой почти семьдесят метров была одной из самых высоких в Рязанской губернии. Висел на ней десятитонный колокол, который слышно было за пятнадцать верст от Спасска. Долго строили собор – семнадцать лет. Разрушали еще дольше – почти двадцать. В тридцать седьмом году стали разбирать купол собора, чтобы перестроить его во Дворец Труда с кинозалом на шестьсот мест и ложами для спасского начальства. И как только начали – так Спасск, который до этого был в составе Московской области, передали Рязанской. Новому областному начальству было не до дворцов с кинозалами, и полуразрушенный собор бросили. Так он и простоял почти до конца пятидесятых годов, пугая в сумерках проходивших мимо него прохожих черными провалами окон. Теперь и следа от собора не осталось. На его месте чахлый садик и аллея Героев Советского Союза. В садике, несколько в стороне от аллеи, стоит небольшая гранитная плита, на которой выбиты контуры собора и написано несколько слов о его недолгой и печальной истории. Еще остался рисунок собора на магнитике, который я купил в местном краеведческом музее. Кирпичи еще остались. Ими замостили ямы на дорогах.

Вернемся, однако, в новорожденный уездный город Спасск. Что нужно было делать с самим селом, чтобы превратить его в город, не знал никто. Кривые улицы никак не хотели выпрямляться, покосившиеся избы – стоять ровно, а камышовые крыши, даже если смотреть на них с противоположного берега Оки, никоим образом не походили на черепичные. Денег на выпрямление улиц никто давать не собирался. Помогло несчастье – пожар лета 1795 года уничтожил восемьдесят процентов всех построек в городе. Стали строить по линейке[5]. Географ Баранович в середине девятнадцатого писал о Спасске «Город оборонительных укреплений не имеет. На рубеже XIX века население в нем составляло 1353 человека. Полностью деревянный. Город разбит правильно, но дурно отстроен. Каменные здания отсутствуют. Главная площадь имеет правильную форму осьмиугольника. Просторна, но пуста. Маленькие домики расставлены согласно плану под углом друг к другу, как будто тяготятся своим положением».

Ровно через год после пожара на Спасск обрушилась новая напасть. Рязанское наместничество преобразовали в губернию и по этому случаю Спасск вывели за штат и лишили статуса города. И это при том, что дома уже стояли в линию, хотя и были дурно отстроены. Оказывается, некто Стерлигов, местный помещик, обратился в губернское собрание с предложением переименовать Спасский уезд в Борисоглебский и уездным городом сделать село Старая Рязань. Имение помещика Стерлигова[6] находилось аккурат... Не вышло ничего у Стерлигова. Спасская городская общественность, которая успела за несколько лет образоваться, добилась возврата в 1802 году статуса города Спасску. Навсегда.

И все же... новоиспеченный город как был селом – так им и оставался. Даже в середине девятнадцатого века, в сборнике географических и статистических сведений о Рязанской губернии было написано: «Жители Спасска главные средства свои основывают на занятии, вовсе не свойственном горожанам... Они сеют гречиху чуть ли не в самом городе, не думая тщеславиться почетным званием горожан. От этого Спасск с первого же взгляда поражает своей чисто деревенской наружностью...». Город из деревни вывезли, но деревню из города вывезти не смогли.

И все же... в Спасске и уезде начала развиваться промышленность. Развитие это поначалу напоминало внутриутробное. К примеру, было в 1820 году в городе два салотопенных завода. Один завод принадлежал мещанину Миронову, а другой купцу Мелешкину. Если сложить всех рабочих

и мастеров, которые работали на этих индустриальных гигантах, то получится ровно шесть. Даже не шесть с половиной. Зато в уезде было целых пять фабрик по производству зеркального стекла. Первую фабрику завел близ села Кирицы немец Боленс еще в 1780 году. Работали на ней крепостные и выписанный из-за границы мастер. Делали зеркала и каретные стекла. Между прочим, очень хорошего качества. Правда, кроме своего песка, все остальное надо было привозить. Глину и известняк везли из Тульской губернии, а фольгу и вовсе из Англии. Продукцию поставляли в обе наших столицы и на три ярмарки: нижегородскую, ирбитскую и харьковскую. Кирицкая фабрика была лучшей в России и в конце девятнадцатого века производила тридцать шесть тысяч пудов зеркал в год.

Рабочие одной из фабрик, которая принадлежала Тимофею Мелешкину, в честь окончания строительства городского собора, отлили из зеркального стекла его макет. Жаль, что макет до нас не дошел. Правду говоря, может, они его и вовсе не отливали, но легенду такую жители Спасска рассказывают. Достоверно известно только то, что купец Мелешкин пожертвовал на строительство собора сто с лишним тысяч рублей. Значит, производство зеркального стекла было прибыльным.

Прибыли и само производство закончились практически в одночасье. В начале двадцатого века правительство, которое до этого запрещало ввоз из-за рубежа зеркального стекла, разрешило его. Английское зеркальное стекло стоило в полтора раза дешевле. Последний хозяин кирицкой фабрики, барон С.П. фон Дервиз, приказал разломать ненужные фабричные корпуса и битым кирпичом замостить дорогу к железнодорожной станции.

От тех зеркальных и стеклянных времен в музее осталось несколько старых фотографий и шарик размером с кулак, изготовленный в конце восемнадцатого века на Кирицкой зеркальной фабрике. Внутри прозрачного шарика виднеется что-то белое, зеленое и красное, но что – не разобрать. И еще. Есть в Спасском районе поселок, в котором когда-то была одна из пяти фабрик, на которых делали зеркальное стекло. Фабрики, конечно, давно нет, а вот поселок до сих пор называется Старостеклянным.

Купец третьей гильдии Афанасий Панкрашкин, не отставая о купца Мелешкина, завел в 1823 году кожевенное производство. Завод Панкрашкина по сравнению с фабрикой Мелешкина и салотопней Миронова был просто гипермаркетом среди ларьков – на нем в разное время работало от пяти до четырнадцати человек! Самое удивительное, что этот завод и до сих пор жив. Панкрашкин был не очень богатым купцом. Основать завод у него хватило капитала, но развивать его денег уже не было. Пошел завод по рукам и ходил по ним, пока перед самым семнадцатым годом его не купила виленская компания «Рубинштейн, Ительсон, Бройдо и Гурвич». Завод, который до этого не имел названия, стал называться «Прокож». Не то чтобы это название было красивым, но после семнадцатого года «Прокож» и вовсе стал кожзаводом имени Ленина. Выпускал он гамбургские шагрени и черный хром, из которых в рязанских обувных мастерских делали дорогую обувь и сапоги. В семнадцатом году, после февральской революции, передовые рабочие «Прокожа» вышли на демонстрацию к зданию городской думы, чтобы высказать все, что у них наболело. Наболели у них: восьмичасовой рабочий день, повышение зарплаты, политические свободы и далее везде. В первых рядах демонстрантов шел... Рубинштейн, который понимал, что раз уж задушить рабочее движение не получится, то лучше его возглавить. Шел и пел: «Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил. Черные дни миновали, час искупленья пробил». Когда час искупленья пробил, истомленного голодом Рубинштейна летом того же года сменил Гурвич, который управлял заводом первые годы после прихода к власти большевиков. Потом... долго рассказывать. Кожевенное производство сложное, вредное и непонятное – отмочно-зольное, дубильное, красильное, мездрильные и строгальные машины, глянцевый и стелечный полувал... Черт ногу сломит. Еще и отравится. В советское время выпускал завод, среди прочих видов продукции, кожу, из которой делали велосипедные сиденья. Наверное, и сейчас выпускает. Так что многие из нас заочно знакомы со Спасском. Ну, не совсем заочно, а... Короче говоря, знакомы.

Мы, однако, слишком забежали вперед. Вернемся в девятнадцатый век и закончим обзор промышленности Спасска и уезда. Кроме производства зеркальных стекол и обувных кож в Спасске

работали уж и вовсе крошечные крахмалопаточный и железоделательный заводы. Меньше них были только кустари-одиночки, которые плели лапти, делали деревянную посуду, ковали гвозди и тачали сапоги.

Работы, однако, всем не хватало. Крестьяне традиционно занимались отходничеством. Тогда не было такой нужды в охранниках, как сейчас, и крестьяне шли в города работать извозчиками, плотниками, каменщиками, землекопами и домашней прислугой. При этом крестьяне с правого берега Оки шли в основном в фабричные разнорабочие, а левый берег поставлял каменщиков, извозчиков и прислугу. Между прочим, крестьяне Спасского уезда из села с удивительным названием Деревенское, своими руками замостили брусчаткой Красную площадь. Хорошо замостили, на совесть.

Богатых купцов первой гильдии в Спасске не было. Никто не строил себе каменных особняков с колоннами и лепными украшениями. Мещане строили небольшие деревянные домики, богато украшенные резьбой, а купцы жили в традиционных каменно-деревянных домах. Спасск, по меткому замечанию искусствоведа Г.К. Вагнера, напоминал Суздаль. Теперь от этого Суздаля мало что осталось – что-то сгнило и развалилось, что-то перестроено так, что и узнать нельзя, где-то убраны резные наличники и вставлены пластиковые окна, а где-то и вовсе все обшито сайдингом до полусмерти. И все же... Нет-нет, да и встретится на улицах Спасска домик с резными наличниками, с геранью в окошке, с кошкой, сидящей рядом с этой геранью и намывающей гостей, при виде которого хочется сказать:

– Ну, вот, наконец-то я и дома. Дальше без меня. Какая, к черту, Москва... Надо георгины выкапывать, грядки в теплице готовить к зиме и капусту квасить.

На одной из улиц показала мне директор музея когда-то красивый и большой, по меркам уездного городка, заброшенный двухэтажный кирпичный дом без крыши и без окон. Раньше в нем был Дом пионеров, а еще раньше Зимний театр, построенный перед первой мировой. До Зимнего театра в городе был Летний, деревянный, случайно сгоревший, а до Летнего ставили спектакли в актовом зале городского училища. Удивительно, но маленький, не очень богатый, мещанский, купеческий и вместе с тем интеллигентный Спасск был городом завзятых театралов.

В девятисотом году Комитет народной трезвости Рязанской губернии постановил организовать во всех уездах театры. В этом же году в Спасске была создана театральная труппа, костяк которой составляли земские врачи и учителя. Через два года состоялся первый спектакль в актовом зале городского училища. От одного из спектаклей той поры осталась афиша, которая теперь висит на стене одного из залов музея[7]. Обычный спектакль в обычном любительском театре обычного уездного города. Комедия-фарс под названием «Как кур во щи». Билеты в первых трех рядах стоят несусветных денег – три рубля. Стоячие места – всего полтинник. На генеральную репетицию билеты тоже продавали. Вследствие недостаточной приспособленности помещения зрительного зала и в интересах общего удобства публики дамы благоволят занимать места партера без шляп. В антрактах и во время танцев играет духовой оркестр. После спектакля танцы до четырех утра. Если позволит погода, то будет фейерверк.

Удивительно и то, что даже в двадцатом году, когда фейерверк, устроенный большевиками в семнадцатом, вовсю еще чадил, дымил и плевался огненными искрами, в Спасске работало два кинотеатра и две самодеятельных театральных труппы. Силами этих трупп были поставлены две оперетты: «Ночь любви» и «В волнах страстей». Это в двадцатом-то году. Это в Спасске, в котором тогда жило немногим больше шести тысяч жителей.

...Ветер хлопает пустыми, полусгнившими рамами, сквозь щель в досках, которыми забиты окна на первом этаже, в дом пролезает рыжая кошка, а ты стоишь и повторяешь про себя: «Дамы благоволят занимать места партера без шляп. В антрактах и во время танцев играет духовой оркестр». Кстати, об оркестре. Он до сих пор играет. Он давно не военный, он просто духовой и просто замечательный. Жаль только, что дамы теперь не носят шляп, которые нужно снимать в интересах общего удобства публики.

Вообще культурная жизнь в начале прошлого века в Спасске была насыщенной. Мало кто знает, что спасский земский врач С.П. Казанский перевел «Песнь о Гайавате» едва ли не раньше самого Ивана Бунина. Понятное дело, что перевод Бунина... но Казанский все равно раньше. В восемнадцатом году, когда в уезде все кипело и пенилось, когда бушевала продразверстка, когда большевики подавляли выступления поздно опомнившихся крестьян и эсеров[8], когда в пустующих и разграбленных дворянских усадьбах организовывались первые коммуны, в Спасске открылся музей. Туда свезли все то, что успели спасти от революционно настроенных масс. Инициатором создания музея и первым его директором был Александр Федорович Федоров, местный почтмейстер. Советская власть в восемнадцатом еще не успела упразднить почтмейстеров. В прихожей музея, там, где продают билеты, магнитики с видами Старой Рязани и глиняные свистульки, висит огромный портрет Александра Федоровича в форме, со шпагой, со «Станиславом» и медалями «За усердие» на груди[9]. Взгляд у первого директора до того строгий, усы так велики... Однажды, уже после того, как Советская власть приказала долго жить, зашел в музей посетитель, взглянул на портрет Федорова и робко спросил у Марины Михайловны:

– Это что теперь мода такая – у входа в музеи портреты царей вешать?

Между прочим, спасенного из дворянских усадеб было не так уже и мало. Были, на минуточку, картины Кипренского и Серова. Теперь-то их забрала Рязань, в свою художественную галерею. Чтобы вернуть их обратно, надо идти брать приступом Рязань, как Батый. Татар на это дело, наверное, еще можно подбить, а вот монголов...[10]

Когда от военного коммунизма население готово было завыть волком и уже начало потихоньку подвывать, начался НЭП. В Спасске он привел к невиданному расцвету артелей. В них записались кустари-одиночки без моторов и с моторами. Даже со швейными машинками. В двадцать седьмом девять храбрых портных объединились в артель «Игла», шестьдесят пять сапожников объединились в артель «Красный кустарь», восемь жестянщиков образовали артель «Смычка». Артель «Игла» после войны, в пятьдесят шестом, стала фабрикой, артель сапожников превратилась в комбинат бытового обслуживания, а вот «Смычка», в которой после войны работали инвалиды, в шестидесятых стала выпускать санки. Те самые, с разноцветными желтыми и красными деревянными планками, на которых мы все катались – мальчишки на тех, у которых не было спинки, а девчонки на санках со спинкой. Была еще одна артель «Красный весовщик», которая выпускала многотонные весы. Теперь нет ни артелей, ни фабрик, ни санок с многотонными весами, и только сапожник в комбинате бытового обслуживания прибивает, как и прежде, оторвавшиеся подметки и набивает новые каблуки взамен стершихся.

В тридцать восьмом на экраны вышел фильм Эйзенштейна «Александр Невский». Его в Спасске смотрели все и по нескольку раз потому, что роль кольчужного мастера Игната в нем играл их земляк – Дмитрий Орлов, который в тридцать девятом сыграл рабочего Коробова в фильме «Ленин в 1918 году», а в сорок втором замечательно играл Кутузова, в спектакле «Давным-давно» и еще во множестве фильмов и спектаклей, которые теперь никто, кроме директора Спасского музея, и не упомнит.

Война до Спасска не дошла, но была рядом. Сапожники тачали солдатские сапоги, портные шили солдатские ватники и меховые жилеты, и даже артель жестянщиков выполняла военные заказы. Из тех тридцати двух тысяч человек, которые ушли из Спасска и района на войну, не вернулось двадцать две. Из тех, которые ушли – восемнадцать героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы.

Если говорить о демографии, то от войны Спасск и район так и не оправились. На фронт ушло тридцать две тысячи, а теперь проживает в городе и районе двадцать шесть тысяч. Зато после войны стремительно стала расти в Спасске длина водопроводной сети. Если сравнить данные семьдесят восьмого года с тринадцатым, то получается интересная картина. В тринадцатом году на каждого жителя Спасска приходилось по нескольку сантиметров водопроводной сети. Это если на всех разделить, а если не делить, то и говорить вообще не о чем. В семьдесят восьмом в Спасске было уже девятнадцать километров водопровода, то есть на каждого жителя приходилось по два

метра и пять сантиметров труб, кранов, вентилей и сантехников с гаечными ключами. Еще раньше, в шестидесятом, начали дороги внутри города мостить камнем. Впервые в истории Спасска появились асфальтированные тротуары. Больше всех этими дорожными усовершенствованиями были возмущены спасские куры и петухи. Их можно понять – клювы у них не казенные. Заработал изо всех сил молочный комбинат неподалеку от Спасска, в селе Ижевском, производивший концентрированное молоко, которое поставляли даже на Кубу и в Нигерию.

В шестьдесят седьмом стали восстанавливать историко-археологический музей. Его бы, может, и не нужно было бы восстанавливать, если бы еще раньше его не решили закрыть. Советская власть, хлебом ее не корми, любила все укрупнять. Вот и решила она, что нет никакого смысла содержать маленькие районные музеи. Достаточно тех, которые есть в областных центрах. Кому страсть как охота в музей – тот сядет на автобус, или на поезд, или на пароход и поедет в область. В областном музее и будет все самое ценное из того, что забрали в музеях районных. Что же до не ценного, то его можно раздать желающим. Не говоря о том, чтобы просто выбросить. Поплакали в Спасском музее и стали пристраивать экспонаты по разным учреждениям. Чучела животных раздавали даже в детские сады. Потом, когда все же власти... нет, не одумались, но разрешили воссоздать музей, пришлось давать объявление в местную газету с просьбой вернуть то, что осталось. Кое-что вернули...

Кстати, о чучелах. Есть в музее зал, посвященный природе. Вернее, Окскому природному заповеднику, который в тридцать пятом году организовали в Спасском и соседних с ним Клепиковском и Касимовском районах. Создали его с целью сохранить почти истребленную к тому времени выхухоль. Когда-то в здешних местах ее было так много, что лошади отказывались пить воду из некоторых водоемов – так она пахла мускусным секретом этих водяных кротов. В местном музее, в зале природы, есть два чучела выхухолей – маленьких, серых и незаметных. Они теряются на фоне огромных бивней мамонта, рогов доисторических туров, чучел кабана, волка и серой цапли. В свою очередь, и бивни, и рога, и кабан с волком теряются на фоне чучела обыкновенной рыжей лисы, которой мастер чучельник исхитрился сделать такую морду и такие умоляющие глаза, что мне все время хотелось сказать ему (чучелу, а не мастеру):

– Выйдет сегодня Колобок, выйдет. И не один, а с братом.

Впрочем, может, это чучело долгое время стояло в детском садике. Если каждый день к тебе подходит маленький мальчик или маленькая девочка, чтобы пальцем или палочкой, или гвоздиком... Тут даже и чучело не выдержит.

В перестройку и особенно после нее Спасску пришлось туго. Концентрированное молоко было где угодно – и в Москве, и на Кубе, и в Нигерии. Только в Спасске его не было. В Спасске и неконцентрированного... До Кубы и Нигерии далеко, а потому за ним и за всеми остальными продуктами пришлось ездить в Москву. Летом было проще – когда на Оке открывалась навигация, то приходили плавучие магазины. Их так и называли «плавучки»[11]. Там можно было купить даже колбасу. Не языковую или телячью, а колбасу. С работой тоже стало не очень. За ней, как и за продуктами, надо было ехать в Москву. Даже после того, как продукты в Спасск вернулись. Впрочем, однажды Спасску повезло. Сгорела в Москве итальянская мебельная фабрика. К счастью, только фабрика. Восстанавливать ее решили уже не в столице, где все дорого и мебельных фабрик хоть пруд пруди, а в Спасске, где за все и всем можно платить меньше. Особенно всем. Тем не менее, поначалу, когда была сдельщина, было хорошо. Можно было заработать и тридцать и даже сорок тысяч, что по меркам Спасска очень даже хорошие деньги, если учесть, что огурцы, картошка, грибы, клюква, куры, яйца, окуни и караси свои. Потом, когда незаметно подкрался кризис, когда перевели на оклад, стали штрафовать за опоздания, когда разрешили курить только спустя два часа после начала рабочего дня, да еще и повесили в каждом углу камеры... А куда пойдешь? Опять охранником в Москву ехать и вахтовым методом там есть пластмассовую китайскую лапшу? То-то и оно.

И все же... есть в Спасске одно предприятие, которое работало всегда и всегда его продукцией все жители города были довольны. Это – хлебокомбинат. В магазине, что при комбинате, продают такие булки с маком, такие пироги с капустой и такие ромовые бабы, вкус которых, даже после того, как ты их съел, остается во рту чуть ли не до самой Рязани.

---

[1] Конечно, если бы в Спасске поселился Толстой или Чехов, то с большим удовольствием жители Спасска назвали бы улицу или даже площадь их именами, но они не жили и даже не проезжали мимо. Хотя... Чехов как-то проезжал Серпухов и написал: «Был в Серпухове, ел там биток с луком. Больше ничего не могу сказать об этом городе». И все. И навсегда. Нет, уж лучше тоска и скука в рассказах Сергеева-Ценского, которые, кстати, ругательски ругал Блок, и правильно делал.

[2] Батый подступил к Рязани в середине декабря и взял ее к исходу пятого дня осады. Закапывать в декабре, в мерзлую землю, когда вокруг все горит и рушится, мягко говоря, не очень удобно – потому-то и лежат эти клады почти у самой поверхности.

[3] Висит в Спасском историко-археологическом музее карта Рязанского княжества. Красивая – на цветном холсте блестящие бусинки-города. Нынешняя Рязанская область против тогдашнего княжества... И говорить нечего. Спрашивал я у директора музея:

– Не пробовали ли Рязанские власти хотя б заикнуться насчет того, чтобы Зарайск или, к примеру, Коломну вернуть. Уж ладно, про Тулу не вспоминаем.

Нет, не заикаются. Какая там Коломна... Даже Елец, основанный Юрием Рязанским и теперь принадлежащий не Московской, а и вовсе Липецкой губернии, даже село Дубки, которое буквально в двух километрах от границы с Рязанской областью, бывшее когда-то городом Дубок в составе Рязанского княжества, не отдают. Нечего и говорить о Коломне и Зарайске.

Между прочим, есть в Спасской церкви Вознесения Христова, что на городском кладбище, деревянная скульптура Николы Зарайского. Не из Зарайска, а из села Исады, что на противоположном берегу Оки. Не дай Бог, про нее узнают в Зарайске...

[4] В те далекие времена почти все рязанские грибы были с глазами. Мало того – с разноцветными. Палеомикологи пишут в своих статьях, что в средние века рязанские грибы могли быть и с зелеными, и с серыми, и даже с голубыми глазами. Сейчас, в связи с плохой экологией, нередки случаи, когда один или оба глаза на грибе закрыты бельмами, а то и вовсе их нет. В тех же случаях, когда удается найти гриб с глазами, то они, как правило, карие, разных оттенков – под цвет шляпки. Да и те смотрят, не мигая, в то время как раньше срезанные грибы еще часа три, как минимум, подмигивали.

[5] И так прямо строили, строили и строили полтораста лет и даже чуть больше, пока, уже на излете советской власти в восьмидесятых, все равно не сбились на кривые улочки, перегороженные домами, как Бог на душу положит. Отчего-то не любим мы ничего прямого, а любим загогулины. Не в одном, между прочим, Спасске такое я видел. Тут, конечно, хорошо бы теории подпустить, почему так и отчего, но... нет. Это пусть теоретики размышляют. Я все же склонен думать, что городской архитектор где-нибудь в Н-ске или в М-ске, если подойти к нему с правильной стороны, да не с пустыми руками... может подписать... да все, что нужно подписать, то и подпишет. Еще и печать поставит.

[6] Пройдет ровно сто тридцать два года, и в тридцать седьмом году потомок помещика Стерлигова, Иван Дмитриевич Стерлигов, человек крайне неуравновешенный, шизофренического даже склада характера, сообщит куда надо о том, что в Рязанском краеведческом музее созрел «эсеро-террористический заговор». Двадцать пять человек отправятся по его доносу в лагеря. Впрочем, и он сам, как «чистосердечно» во всем признавшийся, попадет в ту же мясорубку. Среди тех, кто отправился из-за Стерлигова на десять лет на Колыму, а потом еще на пять лет в ссылку в Красноярском крае, был Георгий Карлович Вагнер – искусствовед, выдающийся специалист по древнерусской архитектуре, именем которого и назван Спасский историко-археологический музей. Георгий Карлович родился в Спасске-Рязанском и детство провел в имении дедушки, в Спасском уезде. О «заговоре» и о том, какую роль в нем сыграл Стерлигов, я узнал из воспоминаний Вагнера, которые он написал уже тогда, когда можно было об это вспоминать – в девяносто втором году. Частью эти воспоминания были опубликованы в нью-йоркском издании «Нового журнала», частью в «Московском курьере». Печатались они в Спасской газете «Знамя». Та часть, в которой описывается детство Георгия Карловича, проведенное в селе Исады возле Спасска в имении дедушки, вызвала, мягко говоря, неоднозначный отклик среди его земляков. Вот что пишет по этому поводу сам Вагнер: «...хочу сказать, что публикация моих детских воспоминаний о “земном рае” у дедушки в Исадах, доброжелательно встреченная в центральной прессе (“Русский курьер”), подверглась неприязни со стороны некоторых читателей моего родного города Спасска. Основание: как это человек, родители которого жили “не своим трудом”, мог предложить

газете свои воспоминания? Читатель настоящих воспоминаний, вероятно, догадается, с чьей стороны была выражена классовая неприязнь. Увы, дух большевизма в провинции очень силен»*. С тех пор прошло почти четверть века, а дух большевизма все никак не ослабнет. И не только в провинции.

*Дедушка Георгия Карловича, Владимир Николаевич Кожин, называл Спасск не иначе как Свинском. На подаренном внуку альбоме с репродукциями Айвазовского, в конце дарственной надписи он сделал приписку: «Город Свинск». Мы, конечно, спишем этот Свинск на счет обиды выгнанного новой властью из своего дома дедушки.

7 Под афишей на полу стоят три швейных машинки «Зингер». Швейные машинки «Зингер» для наших провинциальных музеев все равно что бивни мамонтов. Без них не обходится почти ни одна экспозиция. Одна из музейных швейных машинок до недавнего времени была на ходу, и на ней даже подшивали все музейные шторы до тех пор, пока один из посетителей не украл из нее челнок.

8 Спасский уездный комитет бедноты в ноябре восемнадцатого телеграфировал Ленину: «Сознавая всю важность и ответственность дела организации городской бедноты по снабжению хлебом и предметами первой необходимости, а так же сельскохозяйственными орудиями, бдительно стоит на страже трудящихся масс и неукоснительно проводит в жизнь все правила по созданию новой жизни. Убирая с пути капитал и приспешников его по всем правилам искусства Советской власти, комитет глубоко верит, что дорогие вожди Российской революции в лице Вашем доведут дело до желательных результатов, опираясь на силу комбедов и Красной Армии...». Вот оно – самое важное из всех искусств Советской власти, а вовсе не кино с цирком, про которые нам так долго рассказывали.

9 В музее я только сфотографировал портрет, а дома стал внимательно рассматривать фотографию, чтобы определить, какие награды были у Федорова. Довольно легко определил, чем он был награжден. Смутило меня только то, что она из медалей «За усердие» была на голубой ленте, а вторая на красной. Стал я искать, на какой ленте она должна быть, и выяснил, что лента должна быть бело красной – в точности такая же, как на ордене Св. Станислава. Наверняка писал художник этот портрет по черно-белой фотографии, и голубая лента между двумя красными показалась ему красивее, чем все три красных. Написал я о своих сомнениях директору музея, и она мне ответила, что так оно и было. В девяностом году приехал из Москвы художник, которому власти велели написать картины прекрасной советской действительности, портреты передовиков производства, а заодно и на исторические темы. Он и написал одним махом два десятка картин. Где уж тут было ему выяснять – какого цвета были ленты на медалях.

10 Из того драгоценного, что было вывезено из дворянских усадеб и на что не позарилась Рязань, остался в музее огромный, трехметровой высоты, дубовый книжный шкаф из имения Луниных. Стоит он в комнатке, где работают сотрудники музея, и забит до самого верха краеведческими и другими книжками. Даже и глаза закрывать не надо, чтобы представить, как маленький Миша Лунин привставал на цыпочки или залезал на стул, чтобы взять книгу или альбом из отцовского шкафа.

11 «Плавучки» причаливали к пристани. Была в Спасске красивая нарядная деревянная пристань. Дебаркадер, как сказали бы речники. Долго была, а потом... сплыла. Уже когда появились губернаторы, какой-то из них утащил ее к себе в имение. И то сказать – не причаливать же ему свою яхту просто к берегу или к сколоченным из досок мосткам.

Александр РОМАНОВ

ЗА ПРЕДЕЛАМИ КНИГИ

От редакции: *В Саратове вышла* ***книга Александра Романова «Воспоминания»****, подготовленная к печати и изданная Алексеем Голицыным. Воспоминания саратовского диссидента «Время собирать камни» более 20 лет назад были записаны Олегом Роговым и публиковались в «Волге» (1996, № 5-6). Нынешняя книга представляет читателю вариант уточненный, дополненный, в том числе архивными документами; издание снабжено именным указателем. На обложке – портрет Александра Романова работы Виктора Чудина (1993).*

Статья 70 – антисоветская агитация и пропаганда – появилась в Уголовном кодексе РСФСР 1 января 1961 года. В Саратовской области первый политический процесс прошел в 1962 году, за 10 лет по этой статье было осуждено 18 человек. Из них шестеро проходили по делу Группы революционного коммунизма, трое осужденных были студентами саратовского университета, причем мы с Фокеевым были одноклассниками по математической школе № 13. С 1972 года вплоть до отмены в 1991 году статья больше не применялась. Эти данные были представлены главой местного КГБ Анатолием Трегубом по запросу московского «Мемориала».

Самый старший осужденный в Саратове по 70-й статье – Петр Гречкин – родился в 1900 году и в 1963 году скончался во Владимирской тюрьме. Последний – Валерий Белохов – родился в 1947 г., выпускник авиационного техникума, арестовали его, когда он учился на истфаке. Ему дали пять лет, из которых он отсидел около трех. Умер в 1987 г. в Саратове. Его письма публиковались в «Волге», № 1, 2008.

Фамилии оставшихся десяти саратовских осужденных за инакомыслие известны, краткие биографические штрихи приводятся в книге «58/10. Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде» и в базе данных «Мемориала», но о судьбе их еще предстоит узнать.

Деятельность Группы революционного коммунизма была реакцией на ресталинизацию. После 1964 года вместо дальнейшего развития оттепели руководители государства пытались вернуться к дохрущевским временам. А это означало возвращение сталинизма со всеми его прелестями. Поэтому закономерна была и наша ответная реакция – распространение литературы о репрессивной политике 1930-х годов. Предшествующие периоды мы не захватывали, считая, что действия советской власти диктовались чрезвычайной обстановкой. А затем началось превышение необходимой обороны со стороны партийно-государственного аппарата. В 1934 году на 17-м партсъезде был избран 141 кандидат и член ЦК. К 1939 году 98 человек из них были уничтожены. Красноречивая пропорция: треть руководителей страны уничтожила две трети своих соратников.

Участников Группы революционного коммунизма судили за враждебную деятельность и размножение антисоветской литературы. На самом деле мы сочинили только текст устава, это буквально одна страничка, составленная на основе материалов аналогичных организаций в России XIX и начала XX века. Также в деле фигурирует рецензия на статью рязанца Юрия Вудки «Закат капитала» и материал Георгия Федорова «Пропаганда и психология». Это не более полутора десятков копий, распространенных в Саратове и Киеве. Тогда же житель Ашхабада Семенов читал их своим друзьям совершенно открыто, без оглядки на ситуацию. И если бы не наш процесс, это осталось бы незаметным эпизодом общественной жизни в Советском Союзе.

При исследовании истории саратовского процесса 1970 года следует учитывать информационное поле, в котором тогда находились советские граждане. Наиболее массовыми изданиями были газеты «Известия» и «Правда», о которых сами вышеупомянутые граждане говорили: не ищите в «Известиях» правды, а в «Правде» – известий. В саратовских киосках можно было купить в конце 1960-х годов английские и австрийские коммунистические газеты, но любителей читать на английском и немецком было немного. Помню, как Валентин Кириков попросил свою жену, студентку на инязе, перевести статью о В. Аксёнове из австрийской газеты «Голос народа». Статья называлась «Новый голос советской литературы». Жена Кирикова после первой попытки перевода сказала, что там что-то не то написано. «Не то» это означало, что написано об Аксёнове не то и не так, как в советских газетах и журналах. В советской литературе того периода Пастернак был «сорняком», а Ахматова и Зощенко – недобитыми врагами. О Цветаевой и Мандельштаме вообще предпочитали не упоминать. «Элита» имела возможность выписывать журналы «Англия» и «Америка», а тогдашняя читательская масса имела о соответствующих странах представления не более ясные, чем у нынешних обличителей «пиндосов». О «Бюллетене ТАСС», которым в качестве дозированной информации снабжали сотрудников столичных вузов, в Саратове никто и слыхом не слыхивал...

Самый старший из нас – Валентин Кириков – скончался в 2000 году в Саратове, прожив 58 лет.

Дмитрий Куликов с 1996 года живет в Хайфе, он тренер по спортивной гимнастике. С ним связан забавный эпизод. Когда Куликов вернулся из лагеря, ему потребовалось встать на военный учет. И в военкомате он с удивлением обнаружил, что за время заключения его из лейтенантов произвели в старшие лейтенанты. Из чего следует, что какой-либо координации с исправительными учреждениями не было. Кто-то пошутил, что пробудь Куликов в лагере не три года, а 30 лет, вышел бы на свободу генералом. Сейчас государство Израиль выплачивает Куликову пенсию как осужденному по политической статье.

Олег Сенин живет в Туле, он пенсионер, в недавнем прошлом был депутатом Тульской областной думы. В качестве хобби читает проповеди в местных православных храмах.

Виктор Бобров живет в Москве, занимается изучением того, что академик Вернадский называл ноосферой, перспективами развития планетарного разума.

Михаил Фокеев по возвращении из заключения закончил биологический факультет саратовского университета и несколько лет работал в НИИ озерного и речного рыбного хозяйства. Сейчас он продолжает профессию отца, который управлял трестом «Саратовстрой».

Я живу в Саратове, занимаюсь воспитанием детей, внуков и изучением философской и религиозной литературы.

После того, как нас отправили в лагерь, вместе мы ни разу не встречались. Однако 31 октября 1992 года у меня на квартире мы собрались вчетвером и отметили 22-летнюю разлуку. Я по-прежнему поддерживаю отношения со всеми, кроме Боброва, хотя раньше, когда он жил в столице Киргизии, мы даже переписывались. Думаю, все участники этого процесса сохранили друг к другу доброжелательное и уважительное отношение. И если бы была возможность встретиться в какой-то точке планеты, мы бы, наверное, встретились за круглым столом.

В книжном издании моих воспоминаний впервые полностью напечатано обвинительное заключение и приговор участникам Группы революционного коммунизма. И сейчас уже можно понять, что представляло собой судопроизводство 1970 года.

Следователя, прокурора и даже судью я встречал после освобождения в самых разных ситуациях. Никаких кооперативных, солидарных компаний у нас не возникало, но и попыток конфронтации тоже не было. Судью Теплова я видел в начале 1990-х на процессе о защите чести и достоинства, который он вел против газеты «Совфакс». Ее редактор Николай Яковлев напечатал статью, где называл деятельность судьи антизаконной. В ответ Теплов подал иск и прислал в редакцию письмо, в котором упоминал и Группу революционного коммунизма. В частности, приписывал нам деяния, которые мы не совершали. Нас с Куликовым вызывали на слушания в качестве свидетелей, дело тянулось годами и так ничем и не кончилось.

В 1993 году я встретил прокурора Петра Федорова и спросил, как он в нынешней ситуации относится к творчеству Солженицына. Он ответил: «То, что Солженицын писал о лагерях, ***нам*** и раньше было известно. А как писатель он никудышный». Жаль, что товарищи из Нобелевского комитета к этому мнению не прислушались и не лишили автора незаконно присужденной премии.

Стоит сказать, что, по сравнению с судьей на нашем процессе, прокурор выглядел достаточно либерально. Он предложил дать Сенину семь лет, а Кирикову, Куликову и Романову – по пять лет. Боброву и Фокееву, которые принимали минимальное участие в группе, прокурор запросил четыре и три года, соответственно. Если взять средний срок всех осужденных в Саратове по 170-й статье – он всегда был пять лет. Но судья дал Боброву и Фокееву четыре и три года, Куликову – пять, мне – шесть, Кирикову – шесть лет и два года ссылки, а Сенину – семь лет и два года ссылки.

Мы не знаем, какими побудительными мотивами руководствовались судьи и заседатели – внутренними или внешними. Однако нарушение законодательства с их стороны было очевидным: сомнительно, чтобы они в течение трех дней до вынесения приговора находились в одном помещении и с посторонними не общались.

Конечно, уголовные дела политических заключенных нужно предавать гласности. Ведь известно, что оперативные материалы не хранятся. Так, например, десятки томов наблюдений за академиком Сахаровым были просто уничтожены. А они, безусловно, представляли общественный интерес. Существуют нормы, которые позволяют привлекать к ответственности за действия против невиновных людей. Все это должно решаться в правовой плоскости. Во всем мире каждый последующий режим оценивает деятельность предыдущего. И если не давать оценки незаконным действиям, не будет никакого развития правовой мысли. Мы каким-то боком относимся к европейской цивилизации, и у нас веками существует такая вещь, как римское право. Его нормы должны соблюдаться, и мы должны оценивать события XX века и может быть даже XIX-го.

Не знаю, возможно ли государственное устройство без преследования инакомыслящих. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы рукописи не горели, а сёла не пылали.

Лев ОБОРИН

ЛЮБОВНОЕ НЕРАЗЛИЧЕНИЕ ЦВЕТОВ

Хельга Ольшванг. Голубое это белое. – М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2017. – 96 с. – (Поэтическая серия журнала «Воздух»).

Новую книгу Хельги Ольшванг вы не найдете в большинстве магазинов, она вышла крошечным тиражом – но в наступившем году это одно из самых заметных поэтических событий. Стихи этой книги можно было бы определить как «стихи о любви», если бы такое определение не было занято дурновкусными компиляциями классики, которые сейчас в изобилии водятся на магазинных полках. Однако «о чем» всегда оттенено и подсвечено многочисленными «как». Новое обращение к древнейшей лирической теме требует смелости и обновления архаики. Естественное желание говорить о любовном чувстве не гарантирует оригинальности, но сила поэтического осмысления и переосмысления способна проницать, осваивать, взламывать и преображать те коды, о которых говорит в своей книге «Фрагменты любовной речи» Ролан Барт. Эмпатия любви, заставляющая ощутить окружающий мир причастным к вашим переживаниям, – тема новых стихов Хельги Ольшванг. Вопрос о природе этой причастности, развиваемый вплоть до радостно-тревожного сомнения в ней, – то, что оттеняет тему.

Любовь часто ассоциируется с аффектами и безрассудством, но она не противоположна уму: когда любящий осмысляет то, что с ним происходит, он вступает в зону такого опыта, который одновременно универсален и глубоко индивидуален. В этом состоянии сказать, например, что «голубое это белое» означает и подметить некий зрительный закон, и выразить только свое восприятие. Стоп: только ли свое? В стихах Ольшванг есть адресат – или соавтор? – этого восприятия, фигура, без которой стихи невозможны.

Один из центральных образов книги Ольшванг – платоновский андрогин, составленный из мужчины и женщины; только любовные объятия помогают разделенным половинам соединиться вновь: «но мы – те, кто сейчас из ног и ног и языков и спин составит зверя, / знали, что будет так темно»; «а я едва иду на четырех ногах, / медленно обнявшись на ветру». Это единое существо смотрит на мир, «не разнимая нас».

Фольклорное сравнение любовной пары с животным о двух спинах встречается и у Рабле, в начале одной из самых радостных книг на свете, – а несколькими главами позже Рабле объясняет, что означают белый и голубой цвета: «радость, удовольствие, усладу и веселье» и «все, что имеет отношение к небу». Одно и другое, по мысли Ольшванг, нераздельно, как любовная пара. Два цвета могут занять место в конце потока образов, завершить цепь переживаний:

> можно что-то бессмысленное оставить
> болото автобусы ты не сплю
> к лесу кафе работаю над от да ведь
> способы арка белое
> blue blue.

Этот перечень кажется разрозненным, нам не показаны связующие звенья, временные связи, – но важно то, что он приводит к заполняющему все сдвоенному цвету. Сдвоенному – но все же не слившемуся в один, не какому-то «голубелому». Может быть, острую ценность слиянию двух любящих придает возможность разъединения. В еще одном стихотворении местоимение «мы» раскрывается парадоксально тройственно: «я и ты и я». Две составные части и новое «я», получившееся из них. Но далее звучит «ты и я и снова ты» – итак, единство не разучилось удивляться самому себе, не отказалось от анализа.

Современная поэзия часто вспоминает о невозможности коммуникации, о травме и насилии, и взгляд на мир изнутри любовного чувства остается той константой, к которой в итоге мало кто подступается по-настоящему,

той вехой, которую мало кто переставляет на свой участок. Этот взгляд, между тем, способен уподобить круговращение облаков самой обыкновенной стирке, притязая на хотя бы недолгое обживание «чего-то большего»:

Кипячение перистых и кучевых,
нежный цикл тёмного – туч,
отжим, гроза, второй отжим,
наизнанку стирается ночь...

Здесь есть место не только нежности, но и, как выясняется в конце стихотворения, гневу. Перед нами не глянцевая идиллия: напротив, мы присутствуем при усложнении гармонии.

Сама по себе метафора, о которой мы только что сказали, не так хитра, как синтаксис. Ряд назывных предложений в начале стихотворения – лучший способ сразу развернуть большую картину. Мастерство, далекое от непосредственности, чувствуется тут везде. В смысловых различиях между парными стихотворениями, как бы вариациями на одну тему. В отсылках – для которых нужна серьезная смелость после той поэтической ситуации, когда от цитат некуда спрятаться, – к Цветаевой, Пастернаку и Пушкину:

Нет мест, а есть где быть.
Нет воли и покоя,
а есть сам свет и счастье видеть в нем
родных и птиц, растения и буквы,
и два-три города –
их, верно, тоже нет,
но я пока что этого не знаю.

Наконец, в работе со звуком, подчас настолько тонкой, что она почти неописуема – чем описывать, лучше читать и слышать:

Приближенное ты, прощай,
скала искромсанная –
ни глаз, ни носа, ни виска, ни шеи
нам со мною
там нет, скорее, это шрам
с изнанки стянутых
пространств, где больше не стоим –
ни я (мы) и ни ты (не ты).

Вся эта игра местоимений у Ольшванг подводит к вопросу: можно ли считать то единство, которое составляют любящие друг друга люди, их простой суммой? Этот вопрос – земной отзвук богословских споров о Троице и платоновской концепции троичности души. Слово «отзвук» принципиально: все стихи книги «Голубое это белое» построены на тонком, не оглушительном и не назойливом звучании. У воссозданного платоновского человека не только четыре ноги и четыре руки, но и четыре уха – аппаратура, позволяющая уловить эту музыку, едва намеченную, протягивающуюся от одной легкой опоры к другой: «Слышишь – играют, / но музыки словно бы нет – / так и висит на смычках, / на подпорках».

Александр КОТЮСОВ

МОШЕ ХОРОШИЙ

Моше Шанин. Места не столь населенные. – М.: РИПОЛ классик, 2016. – 306 с. – (Что почитать?)

Так уж случилось, что за один календарный месяц мне довелось одну за другой прочесть три книги, повествующие о жизни русской деревни, причем не деревни просто, а именно затерянной в далеких таежных (сибирских, карело-финских – ненужное зачеркнуть) лесах, труднодоступной для обывателя и не сильно интересной власти. По их поводу можно лишь с удивлением пожимать плечами – как они живут до сих пор. Впрочем, не это вовсе является темой рецензии. «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова, «Головастик и святые» Андрея Филимонова и «Места не столь населенные» Моше Шанина – такова была моя абсолютно случайная выборка из длинного списка премии «Национальный бестселлер». Новиков восхитил своим слогом, красивейшими пейзажами. Филимонов в своем романе шутил над убогим деревенским бытом, дурачился с собственными персонажами, веселился, а потом вдруг резко повернул сюжет в сторону сталинских репрессий и стал абсолютно серьезным. Юмор

отступил, читатель обнаружил себя соучастником бед, обрушившихся на советского человека в далекие тридцатые годы прошлого века. Моше Шанин начал смело и самобытно, расположив к себе читателя правдой жизни, нарисованной сильными, уверенными мазками, а потом как-то неожиданно и резко... я хотел вначале написать «разочаровал», но потом сдержался, не сумев подобрать правильный эпитет нахлынувшим ощущениям, пришедшим где-то на стопятидесятой странице. «Не ругай Моше, – сказали мне ценители рассказов Шанина, –Моше – хороший». Я задумался, вынес автора за скобки собственного разочарования и начал искать виноватых. Они нашлись быстро.

Премия имени Ю. Казакова, премия «Дебют», премия имени В. Астафьева с первой минуты задали акценты: Шанин – писатель хоть и молодой, но очевидно заметный. Да еще и автор не московский, из глубинки, из Архангельской области, поморский парень (не мужик, конечно же, как охарактеризовала его Ольга Славникова на тыльной обложке – до мужика еще возраста не хватает). Что тогда не так?

Книга представляет сборник рассказов, написанных в разные годы. Объединены они в три главы, в первой про деревню Правоплосское, во второй про другую, на противоположном берегу расположенную – Левоплосскую. Третья глава про северный городок. Даже про улицу одну – Советская, где и живут герои.

Прочитав несколько рассказов, сразу подмечаешь некое несоответствие между ожидаемым и реальным. С самой первой страницы читателя в заблуждение вводит предисловие Юлии Качалкиной, руководителя редакции «РИПОЛ классик». «Рассказы этой книги – это лубок, изящная потешка», – пишет она. Осознавая собственную субъективность, позволю себе с ней не согласиться. Рассказы Шанина к лубку не имеют никакого отношения. Википедия трактует значение слова «лубок» (в применении не к литературе, правда, а к рисованию), как «изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов. Для лубка характерны простота техники, лаконизм изобразительных средств (грубоватый штрих, яркая раскраска)». Безусловно, Шанин пишет простым (где-то даже нарочито деревенским языком). Вот только не стремится он к этому упрощению осознанно. Рассказы Шанина есть адекватное отображение современной деревенской жизни. Лубком его рассказы могут показаться лишь тем, для кого сама деревенская жизнь – лубок. Для москвичей (не для всех конечно) все, что находится за третьим транспортным кольцом – и есть лубок. А Шанин пишет то, что видит из окна своей северодвинской квартиры. Где Москва, а где Северодвинск. Вот и вся разница.

Нельзя назвать привлекательной чертой определенную разбалансированность (несобранность вместе) рассказов. Они очень разные, и порою несостыковки видны невооруженным взглядом. Вообще, по замыслу автора рассказы сшиты друг с другом. В них есть сквозные герои (и если бы на месте Шанина был, скажем, Захар Прилепин, то он бы, пожалуй, назвал «Места не столь населенные» романом о русской деревне, так же как «Грех» был объявлен им романом в рассказах, имея на это весьма сомнительные права).

Одно из объяснений дробности книги лежит на поверхности и располагается во временной зоне. Рассказы, собранные Моше, различаются по времени их написания. Между ними годы. Я бы сказал – десятилетие (в единственном числе, но звучит величественно). Самый первый опубликован в журнале «Октябрь» в 2006-м году. Последние там же в 2016-м. Десять лет – срок немалый, особенно если учесть возраст автора. На время первой публикации ему было 24.

Рассказы Шанина неравноценны. От одних захватывает дух, а при прочтении других возникает ощущение, что попали они в сборник лишь только для того, чтобы позволить книге набрать необходимый объем в триста страниц. К тому же при чтении «Мест не столь населенных» градус симпатии к автору как будто постоянно снижается. То ли по иронии судьбы, то ли по осознанному редакторскому решению самые сильные рассказы вынесены в начало. Не думаю, что это правильная схема построения. Кстати, словно в подтверждении моих слов и краткая аннотация к книге: *«В мире Моше Шанина, где герои живут на двух берегах реки, постоянно происходят чудеса и нет места скуке: здесь шьют штаны*

из бархатного советского знамени, спасаются от волков на деревьях, а дети в школе могут плевком разбить лампочку на спор». А теперь внимание – про штаны Шанин написал во втором рассказе первой главы своей книги, про волков – в первом рассказе этой же главы, про плевок и лампочку... снова во втором! А так-то вообще в книге 32 рассказа и три главы. Неужели в оставшихся тридцати не было ярких сюжетов, позволивших вынести фрагменты из них в аннотацию?

Минусом книги является попытка подать пару рассказов, используя своего рода печатный авангардизм. Вообще Шанину свойственен подобный подход к литературе. Википедия повествует о так называемом «треугольнике Шанина» (рассказ «Сначала запретили»... сначала запретили букву «ы», потом запретили букву «а» и так далее, продолжать не буду, кому интересно, посмотрите в интернете). Новаторство «Мест не столь населенных» заключается в каскадных сносках (именно так Качалкина характеризует метод, используемый в книге автором). Попробуем объяснить, что это: в тексте над тем или иным словом появляется цифра 1 (см. стало быть сноску внизу страницы). Сноска написана мелким шрифтом, но непривычно велика. Она словно забирает себе содержание рассказа, переводя в себя читателя. Все бы ничего, но в тексте самой сноски появляется другая, уже с цифрой 2, дальше сноска номер 3, 4 и так далее. Автор уводит тебя в этот мир сносок. Хорошо, хоть каждая новая не написана более мелким шрифтом, иначе пришлось бы дочитывать рассказ под микроскопом. Не знаю, известен ли подобный метод или его придумал Шанин, но такого рода новаторство, с моей точки зрения, подменяет качество рассказа способом его подачи.

Наверное, на этом можно было бы и закончить рассказ о книге Моше Шанина. Но это было бы несправедливо. Ибо на самомто деле Моше и правда хороший. Отдельные рассказы в его книге не просто достойны похвалы, они оставляют при прочтении яркую вспышку, которая долго не может погаснуть. В многочисленных рецензиях на книги автора стиль его уже сравнивали со стилем Шукшина и Бабеля. Я, пожалуй, соглашусь (снова акцентируя внимание на то, что касается это лишь определенной части его рассказов), добавив лишь, что порою сквозь строки мне видится и Андрей Платонов, и Аркадий Аверченко. Русский язык Шанина свеж и самобытен. Важно отметить, что Шанин пытается своим ярким языком вовсе не впечатлить читателя, а в сотый, тысячный раз уже, вслед за тем же Новиковым, Филимоновым, Дмитриевым, Сенчиным и многими другими писателями донести до него простую мысль: погибает самобытная деревня. «Мы как плесень тут, от сырости завелись, не более», – подводит страшный итог один из героев.

Да и в городе она ничем не лучше. «Север – здесь жить нельзя... На север от столицы – приличному человеку – делать нечего. Жизни нет, природы нет, ничего нет. Черемуха единственный фрукт». Такая вот в книге Моше Шанина жизнь. Что в городе, что в деревне. Читаешь, и, как Василий Ротшильд, хочется надеть белый костюм, галстук, подстричь ногти и утопиться в ближайшей реке. Ибо нет из этой безнадежности выхода. А нет, потому что «брать русского человека уже практически не за что, истончился русский человек, обтрепался, обветшал». А раз нет человека, то и говорить нечего. Тут собственно и точку надо ставить. Вот такая вот у Моше Шанина потешка. Вот такой вот, понимаешь лубок.

Леонид ФИШМАН

ЭТО УЖЕ СЛИШКОМ

Ильф И. и др. Из черновиков, которые отыскал доктор филологических наук Р.С. Кац и опубликовал Роман Арбитман. – М.: Панорама, 2017. – 96 с.

Сенсация, сенсация! Обнаружены неизвестные фрагменты черновиков известных произведений знаменитых авторов – Ильфа, Петрова и Булгакова! А что они лежали в од-

ном сундучке, так даже и не удивительно. Видно, права была Ирина Амлинская, когда доказывала, что «12 стульев» написаны Михаилом Булгаковым.

На самом деле, конечно, никаких черновиков не обнаружено. Это известный своими литературными мистификациями (и не только) Роман Арбитман, в очередной раз прикрывшись доктором Кацем, решил повеселить читателей, а заодно вытащить из кармана фигу и показать... кому? Но не будем задаваться этим скользким вопросом и перейдем к собственно книге.

Итак, около года назад Р.С. Кац обнаружил старинный железный сундучок на чердаке купленной им дачи. Ларчик оказался с секретом. Если его потрясти, а затем засунуть руку, то вытащишь фрагмент черновиков Ильфа, Петрова или Булгакова. Но не в случайном порядке, а непременно тот, который по содержанию созвучен какой-нибудь популярной новости из интернета. Объяснить такие мистические совпадения оказалось невозможным; осталось только опубликовать параллельно современные новости и черновики. Поэтому структура книжки такова: вначале идет новость, потом – фрагмент черновика, в котором на эту новость содержится якобы намек.

Например, так:

На форуме «Территория смыслов» премьер-министру России Дмитрию Медведеву был задан вопрос: почему учителя получают в четыре раза меньше, чем работники силовых ведомств? Медведев ответил, что работа учителя – это призвание, а если кому хочется деньги зарабатывать, пусть ищет другую работу. Идет в бизнес, например.

Остап и Ипполит Матвеевич

– Возмутительно, – забормотал Ипполит Матвеевич, – форменное безобразие! Эти учителя совсем обнаглели. Если им так хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше, например, в бизнесе.

– Да, – деревянно сказал Остап.

Он подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.

– Вот тебе учительская зарплата! Вот тебе прекрасные места для бизнеса! Вот тебе «держитесь там»! Вот тебе айфоны! Вот тебе покемоны!.. Ну, теперь пошел вон!

И так вот вся книжка. Очевидно, вынимая свою фигу из кармана, Арбитман хочет сказать нам – наша действительность стала настолько абсурдна и фантасмагорична, что ее уместно описывать в духе магического реализма или даже плутовского романа. Ибо такой бред, издевательство над здравым смыслом уместны в устах обитателей ада, жуликов и воров, а вовсе не уважаемых чиновников, высших лиц государства, депутатов и прочих статусных лиц.

Более того, даже для жуликов и инфернальных созданий поступки и слова, навеянные мистическим проникновением Ильфа, Петрова и Булгакова в далекое будущее, кажутся несколько чрезмерными. Это слишком даже для них, что видно из комментария к одному из черновиков:

Авторы романа не симпатизируют Коробейникову. И все же понятно, почему в окончательную версию романа этот фрагмент не попал: желать хорошего настроения человеку, которого ты только что ограбил, – это слишком цинично даже для Остапа.

К слову, о комментариях. Автор в них проявляет чудеса изворотливости, чтобы рационально объяснить содержащиеся в «черновиках» анахронизмы. Откуда в бумагах примерно начала 1930-х могли появиться айфоны и покемоны, Эрдоган и «пятая колонна»? Объяснения эти доставляют отдельное удовольствие.

Ближе к концу книжки в голову приходит бредовая мысль: не хочет ли автор сказать, что мы и сами живем в каком-то из текстов Ильфа, Петрова или Булгакова, и притом не в окончательном варианте, а в черновике?

Нет, нет, это даже для Романа Арбитмана было бы слишком.

Александр ВЕРГЕЛИС

ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ

Александр Леонтьев. Пределы. СПб.: Коста, 2017. – 120 с.; Алексей Машевский. Живое. СПб.: Коста, 2017. – 112 с.; Алексей Пурин. Седьмая книга, СПб.: Коста, 2017. – 100 с.

Не успел пропеть Красный Петух, а в Петербурге практически одновременно вышли книги трех петербургских поэтов – петербургских не столько по месту жительства, сколько по принадлежности к определенной поэтической школе, близость к которой обнаруживают лирики из самых разных мест на земном шаре. Кстати, презентация этих книг состоялась в Екатеринбурге – городе, рифмующемся с Северной столицей и в прямом, и в переносном смысле. Новые книги были впервые представлены читающей публике 8 апреля в екатеринбургском Музее архитектуры и дизайна в рамках литературного фестиваля с интригующим названием «Зачем нужны стихи?».

Полиграфической плотью облеклись порядки слов, отобранных Александром Леонтьевым, Алексеем Машевским и Алексеем Пуриным. Каждый из них узнаваем по интонации, стихи каждого обладают лексическим и стилистическим своеобразием, и вместе с тем – и по проблематике, и по эстетическим позициям все трое близки друг другу. Объединяет их ни в каких манифестах не записанная, но явная исходная посылка, согласно которой поэзия – это прежде всего традиция, дисциплина и по преимуществу разговор с теми, кто был до нас, а не с теми, кто придет после. И – все та же мандельштамовская «тоска по мировой культуре» – без нее современная поэзия «петербургской ноты» едва ли представима, и говоря о стихах этих поэтов, приходится слишком часто произносить слово, слыша которое, коекто снимал с предохранителя свой браунинг. Постоянное присутствие обозначаемой этим словом рукотворной и мыслетворной реальности, составляющей, собственно, единственно возможную среду человеческого обитания, обеспечивает читателю эстетическое и интеллектуальное насыщение. Разумеется, читателю понимающему.

> Всё осязаемое – остов,
> скелет безжизненный. Зато
> нас увлекли ездою в остров
> Тредиаковский и Ватто.

Так в стихотворении Алексея Пурина утверждается вневременная реальность «второй природы» и иллюзорность первой – поэт делает это на спринтерской дистанции, попутно успевая окликнуть Гомера, Лермонтова, Георгия Иванова, Мандельштама и даже Маяковского. Окликает он их с радостью, ибо:

> Езда в незнаемое – сладок
> нам только узнаванья миг.

Поводом для лирического высказывания у Пурина и его ближайших собратьев по перу может послужить совершенно любое сиюминутное душевное движение, любой всплеск житейской суеты, между тем едва ли не чаще всего механизмы поэтической мысли запускает искра, высекаемая между двумя реальностями: сиюминутной и пребывающей под знаком вечности: например, во время встреч с тенями предшественников, со старинными городами, с шедеврами живописи и музыки – со всем тем, в чем зафиксирован бытийный момент, обозначено присутствие уже не только души, но духа. Это потрясение передается просвещенному читателю и автоматически вводит его в расширенный смысловой контекст, подключает его к трансцендентному, находящемуся за пределами «здесь и сейчас». И действует тут уже не индивидуальное сознание, но всечеловеческое, на читателя работает вся мировая история.

Этот скачок, это моментальное расширение ментального пространства – проявление некоего синергетического, а точнее, симфонического эффекта – когда вслед за одинокой лирой вступает сводный оркестр эпох, огромный хор, состоящий из узнаваемых голосов – Сапфо, Данте, Пушкин, Баратынский – список имен слишком длинен, чтобы продолжать. Этот симфонизм – пожалуй, одна из важней-

ших черт современной петербургской лирики, берущей свое начало во временах акмеизма, но по большому счету гораздо раньше – в эпоху пушкинской «школы гармонической точности», кроме всего прочего занимавшейся освоением европейского культурного наследия.

Общее для всех троих обилие имен, прямых и косвенных отсылок, закавыченных и полурастворенных в аутентичном тексте цитат – все это отнюдь не постмодернистского поля ягоды, не россыпи кнехтовского бисера. Эти петербуржцы не по Барту живут, утверждавшему, что писатель «может лишь вечно подражать тому, что написано прежде». Впрочем, в самом этом утверждении нет ничего крамольного, ведь подражание у писателя, не ушибленного постмодернизмом – процесс естественный, но не механический, а индивидуализированный, творческий. Тем более что в поэтическом мире Пурина, Машевского и Леонтьева «есть ценностей незыблемая скала», и подражание в их случае скорее не бартовское, а платоновское: художник подражает не чужому тексту, а тому, что душа созерцала до своего воплощения в этом мире.

Список имен собственных, введенных в поэтический оборот, существенно расширился благодаря Алексею Пурину, из-под пера которого вышла «Седьмая книга», если же считать по порядку – двадцать седьмая. Этим легким пером стерта пыль веков с профилей эллинистических царей, правивших в Сирии и знакомых разве что узким специалистам. Кто из нас знает биографию Деметрия Сотера? Или Антиоха VII Эвергета? Ариобарзана Филоромея? Александра Баласа? Знать это, пожалуй, не обязательно, однако дотошному читателю рядом с книжкой Пурина придется положить учебник истории или на худой конец залезть в Википедию. А можно этого и не делать, потому что в стихах финального цикла «Ад» сказано все, что нужно. Бесчеловечное, выжигающее душу излучение власти, торжество насилия как способа существования. Происхождение цикла, скорее всего, нумизматическое: поэт как бы перебирает монетки с царскими профилями, и за этим невинным занятием его застает Клио – в случае и Пурина, и Машевского, и Леонтьева – не просто родня Евтерпе, но и ровня. Опыт мертвых царей, претендовавших не только на власть, но и на божественность этой власти, повергает в уныние. Но не эта коллекция страшных судеб завершает книгу, а стихотворение, посвященное древнему торсу Аполлона (а возможно – Сатира). Азарт борьбы за трон, взрывы страстей не стоят этого куска мрамора, красноречиво свидетельствующего о подлинно божественном в человеке:

> И плоть его слепящая чиста,
> как благодать воскресшего Христа,
> как лепестки опять раскрывший ирис.

Пожалуй, только Алексей Пурин способен так ясно увидеть свет христианства в расширенных зрачках язычника. Борьба за власть – это не только ад, это – глубокая архаика, в какие бы времена эта борьба ни происходила – в первом или двадцать первом веке. Произведение же безвестного гения, напротив, в любом столетии предстает вечно новым, как будто только что созданным, всякий раз преодолевая притяжение Хроноса как вневременная ценность. Так проступает подлинно живое – в мертвом камне.

Различение живого и мертвого – одна из главных задач искусства. Разумеется, при условии принадлежности к категории живого самого произведения – ведь за живое в современном мире слишком часто выдается его противоположность. Алексею Машевскому, не только поэту, но и культурологу, это хорошо известно. Его новая книга так и называется: «Живое». Между тем открывается книга циклом стихотворений о смерти, вернее, на смерть. Цикл, посвященный памяти петербургского поэта Василия Русакова, вынесен в начало не случайно. Смерть Русакова сама по себе – как метафора внешней бессмысленности и вечной несвоевременности всего происходящего с человеком. Мыслящее существо не совпадает с этим миром и с самим собой, его жизнь ускользает, и нет, кажется, ничего достаточно прочного, за что могла бы зацепиться исчезающая тень. Что будет *там?* Логично предположить, что ничего. Во всяком случае,

нечто, земному воображению недоступное. И желанное свидание с дорогим мертвецом мыслится лишь в земных координатах:

Если свидеться снова, то только в Афинах...

Впрочем, эти Афины все равно – рафинированные, идеальные, существующие как бы вне времени и пространства – в области опять-таки платонического.

Конечность и тщета земного существования – сквозная тема книги. Для человека новой эпохи, ставшего свидетелем разрушения Пальмиры, не остается иллюзий насчет долговечности чего бы то ни было. Что там шедевры ассирийского искусства в Мосуле, даже слово поэта – материал портящийся, со временем тускнеющий или вовсе исчезающий под гнетом веков.

Где те песни, что Сапфо пела,
Виноцветным любуясь морем?
Чем встревожена филомела –
Мы не помним уже, не спорим...

Между тем смерть выглядит фикцией при столкновении с подлинно живым. В отлаженном механизме земных несовпадений случаются сбои – когда человек вдруг ощущает, что совпал с собой и миром. Чаще всего в случае Машевского это происходит в картинных галереях или музеях. Исчезающий хлам культуры – и есть самое актуальное, самое волнующее, самое живое.

Знаешь, искусство – такие перила,
Чтобы заглядывать к вечно живущим.

Законченный, казалось бы, пессимист, лирический субъект меняется до неузнаваемости, прикасаясь к этим перилам:

Верь же: нам всем уготована встреча
Здесь, в этом зале – не там, за Порогом.
Впрочем, быть может, искусство –
предтеча
Тайной беседы с улыбчивым Богом.

Впрочем, минутное просветление может наступить и в системе повседневных координат, в черте обыденности – например, на даче под Петербургом. Дачный цикл с яблонями и шмелями занимает в книге заметное место, и пожалуй, стихи этого цикла – самые счастливые.

В десять вечера свет в июне
Так спокоен, так бархатист,
Что ты знаешь: не канет втуне
Даже самый последний лист.

«Живое» – девятая книга стихов Алексея Машевского. Первая – «Летнее расписание» – была издана еще в другую эпоху, почти что на другой планете – в 1989 году. С той поры поэт заметно эволюционировал. В своих ранних книгах Машевский отдал дань формальным поискам – например, экспериментировал с ритмами, размерами, длиной строк или же вовсе покидал пределы силлабо-тоники, интересуясь возможностями силлабо-метрического стихосложения. Главным же в ранних книгах поэта было постоянное присутствие страсти: любовь, жажда познания себя и мира, тревожное ожидание будущего. В книгах последних лет как будто достигнуто равновесие: между чувством и мыслью, между отчаянием и надеждой. Плата за этот просветленный гомеостаз – освобождение от страстей. Впрочем, осталась одна – главная страсть, собственно, делающая человека человеком – тяготение к подлинному, вневременному или, апеллируя к названию книги – живому.

Возможно, подлинно живое особенно отчетливо можно различать, когда пространство человеческой жизни покрывает смертная тень, когда никакой надежды не остается. Книга «Живое» в известном смысле – прощальная. Это – прощание с людьми, которых больше нет, с прежними иллюзиями, с гибнущей цивилизацией. Главная черта лирического субъекта – мужество, свойственное не столько герою нашего времени, сколько человеку из античной трагедии.

Оба Алексея – Машевский и Пурин идут по полю русской словесности параллельными курсами, правда, в неэвклидовом пространстве поэзии параллельные прямые пересека-

ются – зачастую в конкретных точках на географической карте. И в «Седьмой книге», и в книге «Живое» центральное место занимает Рим – туда ведут все дороги, прежде всего поэтические. Два цикла (у Машевского – «Рим», у Пурина – «Римские дни») изобилуют топографическими и ономастическими совпадениями, хотя Рим все же у каждого свой. Прах, оставшийся от былого величия, как нельзя красноречивее свидетельствует о тщете земного существования. Развалины Рима – универсальная метафора гибели цивилизации, символ обреченности человечества, и в то же время возможность полакомиться слоеным пирогом культуры. Впрочем, не без сомнений, что эта пиршественная снедь пойдет впрок:

Нет, здесь не дышит Дух. Искусство –
пустота.
Убогому уму оно – подмена Бога.

Так пишет Пурин в стихотворении о Палатине, а так – Машевский о веке Антонинов – относительно благополучном, сравнительно комфортном, но тоже обреченном:

И всей накопленной, отлаженной веками
Культуры не хватило, чтоб спастись.

Рим как амбивалентная метафора смерти-жизни, прошлого-настоящего в поэтическом универсуме обоих поэтов, действительно, вечный город:

Здесь прошлое себя забыть
Не может, но и настоящим
Не в силах стать...

Там, где у Машевского и Пурина – Рим, у Александра Леонтьева – Венеция. Сердцевина книги «Пределы» – цикл сонетов «Венецианская весна». Вообще, к Италии все трое питают особое пристрастие, и уже этим продолжают традиции русского художества. Невыездной Пушкин даже сподобился отдельной книги «Итальянская пушкиниана», чего уж говорить о тех, для кого Апеннины стали местом постоянного паломничества – у них италийские краски и «звуки италианские» льются через край. Причем благоприобретенная родина при скромности своих географических размеров столь обширна, вмещает в себя столько миров, что каждому достается свой: кому Pax Romana и Ватикан, кому Флоренция, а вот лирический субъект Александра Леонтьева в своем предпочтении солидаризируется с автором «Набережной неисцелимых». Кстати,

Той набережной нет давно.
Лишь мост Неисцелимых аркой
Над памятью чумной и жаркой
Навис, решетчатый, черно.

Как и у Рима, у Венеции вполне трагическая маска: уходящий под воду мираж, неправдоподобной красоты фантом, она вечно соблазняет, как сама жизнь, как юность, как мечта.

Здесь карнавально расплавлена смальта
В зеленоватой волне.
Запахи рыбного рынка Риальто...
Рай ли то, данный вчерне?

Стоит ли говорить, что писать в наше время стихи о Венеции – чудовищный риск. Пролитые по ее поводу чернила (не считая типографской краски) по суммарному объему вполне могут соперничать с водами лагуны. Леонтьев это, разумеется, понимает, но не пасует, продолжая плетение русской венецианы. От уклонов в открыточные красивости, от пафоса спасает внимательность к божественному сору деталей, спокойная интонация, бытовая сниженность метафор.

Фуникулер туда, где молоко
Везувия сбежало, нас поднимет...

Это – уже о Неаполе. Гастрономические сравнения продолжаются: с высоты вулкана город выглядит как

Морской водой надкушенная пицца.

Сквозь Италию то и дело просвечивает Петербург, в стихотворении об италийском городе – и тень Евгения, и «Аничкова моста полу-

кентавры» (вездесущие кони Клодта, которые так любил дарить венценосным коллегам Николай I). Это – тоже национальная литературная традиция: уезжать в Европу, чтобы оттуда лучше видеть Россию. А заодно и самого себя.

Противоречить самому себе – обычное дело для поэта, в отличие от философа или ученого не пытающегося выстроить стройную систему тезисов, последовательную цепочку доказательств. У Леонтьева в одном стихотворении утверждается, что земная жизнь – единственная, что другой не будет, а рядом – заявляется обратное. На самом деле никакого противоречия тут нет: на этом контрапункте у автора «Пределов» (равно как Машевского и Пурина) выстраивается вся книга. Никакого рая, конечно, нет, и Бога, возможно, тоже, но посмотрите-ка сюда, на пыльные солнечные лучи у окна, разве это не доказательство обратного! А теперь, пожалуйста, взгляните на этот холст:

Черемуха как бы распалась
На белый – махом – и зеленый,
Сосредоточенную завязь
Взорвав ступенчатою кроной,
За край холста – всей кистью, хвостиком,
Мазком зайдя, – и стала воздухом.

Это ли не чудо? Это ли не торжество живого? И все-таки преобладающая леонтьевская интонация – интонация печали. Без иллюзий лирический субъект «Пределов» смотрит на мир, в котором даже сотворенное Спасителем светлое чудо – событие невыносимо горькое, трагическое. Воскрешенный Лазарь страдает, понимая, что пот и кровь земного пути предстоят ему вновь, и смертная тоска перед встречей с небытием – повторится. Чудо Господне – это бремя, ибо понимается оно в человеческих, слишком человеческих координатах.

И тихо плачет Лазарь, что опять –
Страданье, смерть, небытие шеола.

Трагическое мироощущение, присущее всем трем поэтам – еще одна отличительная черта петербургской ноты – минорной par excellence, хотя в сердцевине своей совершенно чуждой прямолинейности профессиональных пессимистов. Даже когда все трое умозрительно или «в реале» собираются в открытом кафе за кружкой пива насладиться июльским вечером и неторопливым дружеским разговором, мысль о том, чем придется заплатить за все дары жизни, присутствует – как горчинка, оттеняющая вкус напитка:

Ни в пивном янтаре на дощатом столе,
Ни в приятельском трепе – ни в чем нет
Золотого забвенья тому на земле,
Кто все время о ценнике помнит.

Между тем тот, кто пребывает в «золотом забвении» или просто боится думать о «ценнике», едва ли может быть поэтом.

Стелла ЧЕБОТАРЁВА, Вячеслав ЛОПАТИН

РАССКАЗЫВАЙТЕ О СЕБЕ

Разговор по поводу выставки «Будьте как дети!», открывшейся 20 мая 2017 года в Музее нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге (Михаил Аржанов, Николай Гущин, Вячеслав Лопатин, Юрий Машков, Людмила Перерезова, Владимир Солянов, Виктор Чудин)

С.Ч.: Ваше отношение к собственной выставке? Не вы один, отнюдь, выставка в Питере открылась 20 мая 2017 года, представляет шесть саратовских художников, пресловутый «круг Гущина»?

В.Л.: Надеюсь, ваше выражение не имеет подтекста – *набивший оскомину пресловутый круг Гущина?* Конечно же, радуюсь – теперь и в Санкт-Петербурге нас знают. А там Париж, выставка в Лувре, – Франция просит!

С.Ч.: Неудачно выразилась – у вас есть основание осердиться! Но, действительно, за полвека существования ваша группа – Аржанов Михаил, Солянов Владимир, Чудин Виктор, Машков Юрий, Перерезова Людмила, Лопатин Вячеслав – получила известность. По материалам коллекции СГХМ имени А.Н. Радищева отдел современного искусства нашего музея подготовил выступление на московской конференции 2012 года по проблеме неофициального искусства в СССР 1950–1980 годы. Конференция «своей целью ставила исследовать периферийные, нейтральные территории». На круглом столе по итогам конференции Анна Константиновна Флорковская, заведующая кафедрой теории и истории искусства МГАХИ имени Сурикова, отметила особенность «саратовской ситуации... мы увидели совершенно другую картину, там был целый куст художников, который совершенно не связан был с московским нонконформизмом. У них был другой источник». Приемлемым по ситуации источником оказывается Николай Михайлович Гущин. Справедливо к понятию «периферия» в саратовском обиходе добавить к Гущину Юстицкого, Боголюбова. Их объединяет европейский уровень культуры, патриотическая национальная приверженность. На местных корнях возросло отторгнутое «периферией» явление Борисова-Мусатова, «Голубой розы». К 1903 году Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов разочаровался возможностью Саратова стать одним из центров современного искусства...

В.Л.: Ну, конечно! Такая возможность появилась через пятьдесят лет – явились не запылились художники «круга Гущина»!

С.Ч.: Сколь вы язвительны! Хочу сказать о закономерности организации питерским Музеем нонконформистского искусства выставки «Круг Гущина». Хочу добавить о запоздалости вашего официального признания – из шести художников в живых остаются только вы и Юрий Машков. Рассказывайте о себе!

В.Л.: Да я бы рад – непричёсано получается, кому-нибудь понадобится знать, как мы прожили.

Юра Машков – колдун русский, кто бы сомневался, глянув. Как Савелий Ямщиков, только не купец, а крестьянин – тех ещё крепостных, возрождённых властью к советской жизни. Сидит – маятник качается над линейкой. – *Какое у Славы давление? – Норма. – А сахар какой у Славы? – Нормальный. А вот холестерин, как у меня, восемь! Ну, может, и ошибаюсь...* – Истинный колдун: себя не лечит, в больницах свой – врачей удивляет, давление мерит.

А что за художник Машков Юрий? И тут колдовство – слова жены Валентины – С*остояние своё, да в картину!* – Картину? Не сказать – размер мал. Наша компания – *круг Гущина*, – через тридцать лет обозваны шесть человек: выставком на свои выставки не пускает, домашние стены располагают к небольшим размерам. Из нас один Чудин – однако же так и не пустили в Союз художников: упасся стадного сектанства – профессионал, то есть стал жить трудом художника. Наша группа поневоле кучковалась – «групповщина», ругательное слово усугубляло вину – жить помогало.

Талант несомненный – Юра в своём райцентре Красный Кут, где – *тётка, глушь, Саратов,* – добавить надо «граница с Казахстаном», – в Доме пионеров получил азы, необходимые для поступления после семи классов в Саратовское художественное училище. Окончил его с Чудиным, таким же «семиклассником» из села Донгуз, в 1956 году – дальше армия, всё как у людей.

Репутация – из-за Гущина – неподходящая: сокурсники на выставки не берут. Персональной выставки дождался сорок лет спустя в Радищевском музее: главный хранитель Михайлова Люда хвасталась – *Машков наше открытие!* – Поздно хватились? Как сказать! Самому художнику поздновато, но работам предстоит людям открываться. Валентина правильно говорит – *жуёт, жуёт!* – вечно недовольный Юра свои вещи переписывает – *угождать: себе лишь самому!* – так Пушкин сказал?

Людмила Перерезова. Моя жена – пятьдесят лет прожили. Детей не было – ни кола, ни двора – зарплаты на жизнь хватало. Раза три от меня уходила – а куда деваться?

Живописец она – как и все в нашей группе. Я рисовальщик – с папкой так и ходил, она тоже, но ещё и тексты писала, собрал я их после её смерти больше двухсот страниц, журнал «Волга» взял в печать тридцать, я не согласился разрознить тексты – поэма нашей жизни.

У Люси слух хороший – в школе пела, покровительствовала младшей школьнице из детдома, Лиля Логинова запела, стала солисткой Саратовского театра оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского. Имя то сняла передовая общественность – хлопочет теперь имя Радищева с нашего музея снять. А то? Вот уже книга вышла «Декабристы – заговор против России». Провидица Екатерина II не зря сказала – *Радищев – бунтовщик хуже Пугачёва!* – Теперешние остерегают – *знай меру! Язык придержи,* – а мне каково? Встретил людей старше – они напуганы, мне передалось – их нет, я жив, во мне их страхи. Один Щеглов – чего стоит его опыт? Тридцать лет учил студентов – десять лет тюрьмы получил тончайший живописец, молился Борисову-Мусатову и Сезанну. Люсю «за подражание» Мусатову директор Просянкин за летнюю практику 3-го курса хотел исключить из училища, смилостивился, назначил пересдачу практики. За летние этюды – зелени больше, синего меньше – перевёл на 4 курс: со стипендии слетела, но доучилась. Елизавету Ивановну Макарову – преподавателя, ориентировавшую нас на Мусатова, – изгнал Просянкин из училища, хотя к тому времени Радищевский музей уже вернул в экспозицию Мусатова и «голуборозовцев». Но свежо воспоминание – став директором, в 1950 году Завьялова Валентина Фёдоровна сняла со стен музея и Мусатова, и Павла Кузнецова. В архиве музейном сохранилась стенограмма её выступления на собрании художников – сняты за безыдейность, Мусатов, к тому же, воспевает дворянский быт, а мы этот класс эксплуататоров трудового народа ликвидировали. Объясняет задачу советским художникам отрицательным примером Серова: художник-то хорош, ничего не скажешь, что «Девочка с персиками», что другие работы – а если спросить, чем его картины помогают строительству коммунизма? Вот некоторые слушающие думают – пройдёт двадцать лет, и опять повесят Матисса – пусть не надеются: – *Произведения искусства, извращающие действительность, не являются произведениями* (Завьялова, архив музея имени А.Н. Радищева).

Кстати вспоминать – в 1947 году в Москве сняли из экспозиции импрессионистов, на их месте до 1953 года располагался музей подарков товарищу Сталину. Импрессионисты давно уже висят – казалось бы, чего? – а в 1973 году на собрании саратовской интеллигенции записал я слова из выступления Гурова – *Искусствоведы виноваты, искусствоведы! Выставлены Матисс, Пикассо, а*

их не разоблачают! – Сам Гуров, наш преподаватель, в 1959 году на общем училищном собрании по поводу объявления Саратова закрытым для иностранцев городом разоблачил Гущина: ходит по улицам Саратова якобы музейный реставратор, а сам идеологический диверсант, эмигрант, из Франции приехал. Донос в обком – саратовский Союз художников информирует: директор Завьялова потеряла бдительность, переродилась – держит на работе под видом реставратора Гущина, идеологического диверсанта, организовавшего в музее кружок формалистов, Аржанов Михаил испорчен окончательно, а за молодого художника Виктора Чудина ещё можно побороться.

Не зря Гущину Франция медаль дала: во время войны, проживая на Лазурном берегу, в Монако организовал «Союз советских патриотов», поддерживал его своими средствами. Оказалось, Гущин не лыком шит – в 1962 году отбилась Завьялова: Гущина велено не трогать, досрочно сменили Бородина, Председателя саратовского СХ, организовавшего коллективный донос. На общем собрании художники приняли резолюцию, что в Саратове нет формализма – *Вот был Аржанов Михаил,* – сказал председательствовавший на собрании Гуров, – *но мы его пресекли.* –

Рассказываю, как нашей группы художники жили, учились, работали – не в безвоздушном пространстве, как можно подумать, читая аннотации выставок. Наше время было такое, что, по словам Ирины Владимировны, дочери Миловидова, когда к нему приходили братья Леонтьевы, они о Мусатове – *разговаривали шёпотом.*

Мне посчастливилось на людей – от младшего Леонтьева Виктора Владимировича узнал, что Борисов-Мусатов неоценённый крупнейший художник XX века. Он говорил, если бы вышла в издательстве Кнебеля, подобно книгам о Серове и Врубеле, подготовленная к изданию монография о Борисове-Мусатове с текстом Тугендхольда, вся бы русская живопись пошла другим путём. Началась Первая мировая война, прошли немецкие бунты – типография Кнебеля была разгромлена, текст Тугендхольда считался утерянным и обнаружился уже в XXI веке в Третьяковке. Отчего не возобновить издание о Борисове-Мусатове с текстом Тугендхольда к какому-либо совместному юбилею Третьяковки и Радищевского музея?

В продолжение мысли Леонтьева о значении Мусатова сказано на седьмых Боголюбовских чтениях, посвящённых 130-летию со дня рождения Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова, основоположника современного русского искусства: 11–14 апреля 2000 года, Саратов, выступления – Гофман И. М., Флорковская А.К. Слова тонут в последующем забвении.

Содержательность опыта Мусатова актуальна XXI веку поздними его произведениями, где он, работая в изобразительном искусстве, использует приёмы композитора музыкального, открывая дорогу к созданию цветовой грамоты, подобной музыкальной письменности. Основа будущей цветовой грамоты – «Формула цвета Чудина»: наглядность понятия «цвет», геометрия абстракции «свет».

Справка: многообразие проявлений «Формулы цвета Чудина» сводится к двум вариантам. Первоначальный 1965 года – спектральный вариант: «падение» света в материю – «цветность» (В.В. Бычков. Малая история византийской эстетики. Киев. «Путь к истине», 1991). Этот спектральный вариант устремлён в будущее: носитель цвета не природные пигменты и химические красители – длина волны шкалы электромагнитных колебаний. Второй вариант «Формулы цвета Чудина» – практика сегодняшнего дня: использование чёрной краски и белил (соответственно Кандинский). Ритм «Формулы цвета Чудина» принципиально организован цветовым интервалом, эквивалентом понятия звуковой ступеньки «минор, мажор» («меньше, больше») музыкальной октавы. Суть «Формулы цвета Чудина» явлена небесной радугой, традиционным народным творчеством, иконой (классика – ступенчатый колорит), интуицией самодеятельного художника, рисунком неучёного ребёнка.

Необходимое звено создания цветовой грамоты – мысль Гущина: *Игра материальных сущностей может быть содержанием произведения искусства. Игру организует ритм – линейный, цветовой, объёмный не обязательно.* –

Я отвлёкся от картин Перерезовой? Ничего подобного! Необходимое обобщение находим у

Эмилия Арбитмана (заметка «Темперамент по наследию»), в газете города Энгельса, когда там в 2001 году в краеведческом музее проходила, после Радищевского музея, персональная выставка Людмилы Перерезовой. – *Художник такого масштаба и дарования, как Н. Гущин, обладавший высоким профессиональным мастерством и чувством внутренней свободы, очутившись в провинциальной среде в годы, которые отнюдь не были временем расцвета советского изобразительного искусства, вынужденно оказался в духовном вакууме.*

Будучи «необычным» художником, он вызывал к себе интерес, который подогревался атмосферой полузапрета. К нему тянулась молодёжь, работы Гущина ценились художественной интеллигенцией, вокруг него сложился круг учеников. И сейчас лучшими художниками Саратова мы считаем тех, кто испытал влияние его искусства – прямое или опосредованное. –

Возвращаясь в прошлое: любили мы ходить на концерты в консерваторию, собирали долгоиграющие пластинки. У Гущина дома проигрыватель «Рекорд», набор пластинок серьёзной музыки, любимый композитор Шуман. – *Почему у вас нет Бетховена?* – спрашивает Людмила Николая Михайловича. – *Бетховена у меня не может быть!* – Слова Гущина – самохарактеристика, подтверждаемая в литературе информацией – Бетховен обращён ко всем сразу, а Шуман к каждому отдельно.

Владимир Солянов. 1916 год. Музей К. Федина проводит круглый стол – тема «Демон» в творчестве Лермонтова и Врубеля. «В начале было Слово» – Лермонтов; наглядность образа Демона – Врубель. Предложено традицию тематики русского варианта «Демона» XIX века продолжить XX-м веком на материале В. Солянова: духовный, знаковый уровень – перевёрнутый крест. Отвлекаясь от оценочного значения Лермонтова, Врубеля, Солянова, в том числе обвинения всех троих в «сатанизме», – очевидна необходимость участия в обсуждении соответствующих теме специалистов.

Георгий КВАНТРИШВИЛИ

«И ПРОСНУТЬСЯ ИМ НЕЛЬЗЯ»[1]

Литераторы Среднего Поволжья в тридцатые годы

Вытянув в хронологическую ленту имена, публикации и события, относящиеся к литературе региона Жигулёвской Луки, нетрудно заметить её неравномерность. Густота одних периодов контрастирует с пустотой других. Кипение имён, публикаций и событий сменяется затишьями. Тридцатые годы на этой ленте примечательны не только своей событийной и текстовой бедностью, но и тем, что после них устанавливается долгое затишье вплоть до конца пятидесятых.

Тем больший интерес представляет этот период для любознательного читателя и исследователя. Если о причинах катастрофы можно догадываться заранее, то её предчувствия, хронику и постсобытийные рефлексии по её поводу предстоит суммировать.

На пути штудий такого рода оказывается несколько препятствий. Чуть ли не главное из них связано с проблемами понимания.

Читательский опыт понуждает сопоставлять публикационный мейнстрим с современными ему эмблематичными произведениями. По отношению к ним остальные поневоле воспринимаются по пословице «тех же щей, да пожиже влей». Те же проблемы, темы и конфликты, но менее ярко выраженные. К тридцатым этот шаблон неприменим. Дух эпохи, которым мы прониклись благодаря Мандельштаму, Пастернаку, Ахматовой, обэриутам, Платонову и Шаламову – внятен сегодняшним нам. Но словно бы никак не запечатлен в текстах, опубликованных на Средней Волге. Читатель вынужден ступать по иной планете, где сам состав почвы и воздуха отличается от привычного, планете, вырастившей иные формы жизни.

Саморастворение автора в тех или иных внеличностных сущностях в диапазоне от Бога до языка, от идеи до государства, нам не в диковинку. Но мы привыкли и в этом видеть персональную позицию автора. Когда персональные позиции причёсаны под одну гребёнку, они перестают быть персональными.

Пафос деиндивидуализации, безоговорочного повиновения передовой (как представлялось тогда) идеологии стратегически, и текущей линии, оглашаемой уполномоченными на то органами, тактически – понятен ли он нам? С чем его сравнить? Как ни кощунственно это соотнесение, но в самоумалении и самоуничижении авторы этой эпохи сродни книжникам допросвещенческой эпохи.

Нужно обжиться в этом мире, в мире плоскостей, лишённых перспектив, чтобы научиться различению оттенков, отграничению одного от другого. Свыкнуться с мыслью, что и тут есть жизнь и она дышит каким-то невероятным образом. Медленное чтение, погружение в контекст, компаративистика – как ни странно, практики, связанные ситуациями и текстами совсем иного характера, могли бы помочь ощутить это дыхание.

По сравнению с этим сложно и туго преодолимым препятствием, прочие отступают на задний план.

.....

Действительность не всегда идеально втискивается в прокрустово ложе календаря. Для того края, о котором идёт речь, тридцатые годы начались в конце двадцатых. От вожделений аборигенов это никак не зависело, судьбоносные для них решения всегда принимались не ими. Решение

[1] *Цитата из стихотворения Виктора Багрова «Переправа на Сакмаре».*

об образовании Средневолжского края принималось в 1928 году, в ходе политики укрупнений административных единиц.

Вытянувшись в широтном направлении на тысячу с четвертью километров, от десяти-двенадцати до 330 километров по меридианам, новый край ровно посерёдке пришёлся на Жигулёвскую излучину Волги. Столицей стал город, прижавшийся к этой излучине. В Самаре проживало к этому времени 215 тысяч населения, в крае – менее семи с половиной миллионов. Восемьсот пятьдесят тысяч из них не вернутся с войны, которая начнётся через чёртову дюжину лет.

Площадь края была лишь немногим меньше нынешней Великобритании, превышая площади Австрии, Бельгии, Венгрии и Голландии, вместе взятых. Как видим, с точки зрения европейской плотности населения – полупустыня. По числу грамотных край оказался на предпоследнем месте. Наименьшее их число было у мордвы (вообще-то двух этносов, объединяемых под единым именем), менее четырёх процентов. Немногим лучше дела обстояли у чувашей и татар. Русское население края составляло немногим больше двух третей. Некоторые ещё помнили своих необрусевших предков.

В таком виде край просуществовал недолго. Уже в конце 1934 года выделилась в самостоятельную единицу Оренбургская область. В 1936-м – Мордовия. В 1939-м – Пензенская область. Последнее разукрупнение, разделение Куйбышевской и Ульяновской областей, состоялось в начале 1943 года. Но волей-неволей значительную или большую часть тридцатых годов судьбы писателей пяти из нынешних субъектов РФ оказались теснейше переплетены.

Центр и восток края свою интеллигенцию растеряли в Гражданскую войну. Образованное сословие волжан чаще испытывало симпатию к неонародническому Комитету Учредительного Собрания, нежели к большевикам. Эта симпатия привела к массовому трагическому исходу на восток. Мало кто вернулся. Кому-то удалось покинуть страну, кто-то осел по пути следования, кто-то погиб от пули, голода и эпидемий. Оставшимся и вернувшимся предстояли испытания ещё более серьёзные – самые трагические события в истории края – голодные годы. Литературная жизнь затихла. Писатели, те в том числе, чьими трудами мы реконструируем жизнь края в двадцатые годы, вроде Александра Неверова или Артёма Весёлого, край покинули. Впрочем, провинциальная интеллигенция ещё в девятнадцатом веке получила от областников заслуженный эпитет «летучая».

Пишущая братия новообразованного края и те, кто публиковался здесь же несколькими годами раньше, несходны не только поимённо. Изменились типажи. Типичный писатель предыдущего десятилетия – земский учитель, бывший эсер, мучительно и неуклюже приноравливающийся к новой власти. Теперь же – комсомолец, почти наверняка принимавший активное участие в хлебозаготовках. То есть в принудительном изъятии продовольствия у населения с последующей транспортировкой в указанном руководством направлении.

Теперь руководство указывало менее брутальное (как казалось) направление, оно именовалось «культурная революция». Литературные силы надлежало: имеющиеся – поставить на учёт, недостающие – воспитать. В соответствии с классовой теорией, принятой на вооружение государственной элитой, первыми на очереди стояли пролетарии.

В 1929-м году была создана Самарская ассоциация пролетарских писателей, 24 марта проведён 1-й краевой съезд с делегатами от ассоциаций Самары, Пензы и Ульяновска. Ассоциация, включив в себя татарскую и чувашскую секции, стала краевой, подразделения учреждались в Оренбурге, Саранске и Сызрани. 42-й завод г. Самары назначается своего рода экспериментальной кузницей кадров. Литкружок предприятия ведут лучшие писатели и литературоведы города. Люди с писательскими амбициями трудоустраиваются на заводе.

Год спустя, 15 марта 1930 года, собирается уже съезд писателей крестьянских. Некоторые, стоит признать, к крестьянству отнесены номинально: на основании того, что в своё время стали сельскими корреспондентами. Накануне съезда на учёт ставятся не только селькоры, но зачастую вовсе неграмотные исполнители фольклора. Деревенские частушечники и сказители официально учтены и взяты под контроль. Идеологически выверенные переводы с национальных языков

Поволжья для местной прессы оказываются традиционным заполнением печатной площади, для писателей – постоянным источником заработка. В этом принимают участие и поэты Андрей Алдан-Семёнов и Павел Кузнецов, чуть позже вставшие у истоков легенды – акына номер один Джамбула Джабаева.

В июле 1930 формируется краевая ассоциация ещё одного всесоюзного литературного общества – ЛОКАФ (Литературного объединения Красной Армии и Флота). Основу составляют корреспонденты и культмассовые работники Приволжского военного округа. Конечно же, входит редакция газеты ПриВО «Красноармеец» (ныне «За Родину»). Сама организация базируется при штабе ПриВО. Впрочем, часть членов – военнослужащие, не чуждые литературных занятий. Самарское отделение, с восемнадцатью участниками, одно из крупнейших в стране. Биографии авторов именно этого объединения – настоящие головоломки для исследователя. Почти все писатели пролетарские и крестьянские, пропавшие в библиотечных каталогах послевоенных изданий, отыскались. Или в «мемориальской» базе репрессированных, или в базе потерь Великой Отечественной войны. Писатели ЛОКАФ, отметившись публикациями и выпустив по книге-другой, массово и загадочно исчезли с радаров. Министерство обороны умеет хранить тайны.

Итак, в 1930-м году писатели организованы в три объединения. Три кита, на которых через два года будет поставлена институция, у которой есть шанс пережить нас всех. Объявляется призыв рабочих, крестьян, красноармейцев в литературу.

На кончике языка, полагаю, уже вертится вопрос: а эти... как их... «бывшие»? Ну, буржуазные и мелкобуржуазные, «попутчики», как их тогда называли? Ведь почти вся литература того времени, которую можно читать не из познавательных побуждений, а просто потому, что это обладает способностью читаться – она почти вся написана теми самыми «попутчиками». Отвечаю: «бывших» и «попутчиков» в нашем крае не водилось. Буде и водились бы, напечататься у этой разновидности писателей просто не было бы возможности.

Вот, для примера, расставляющий акценты отрывок из резолюции пленума КрайАПП: «*Отталкиваясь в своем творчестве от левопопутнических поэтов, Осин имеет несомненные значительные формальные достижения. Но вместе с тем в его творчестве часто проявляются признаки эстетства, любования словом, показа современности в экзотическом освещении, с неправильным иногда анализом и обобщениями. Формальная изощренность стиха и рассудочность, также присущая Осину, часто прикрывают собой неумение диалектически осмыслить идею произведения. Углубление наметившихся в его творчестве срывов может привести к отходу от основной линии пролетпоэзии*».

Выходящий в крае толстый литературный журнал (издавался с 1930 по 1936, в 1931-1932 гг. – под титулом «Штурм», в остальные годы – как «Волжская Новь») прокламирует насущные задачи (далее текст дан без правки, по оригиналу): «*борьба за решительное овладение литературными кадрами мировоззрением пролетариата воинствующим марксизмомленинизм единственным методом пролетарской литературы – методом диалектического материализма – Маркса-Ленина.*

Боевая мобилизация пролетарских литературных сил края за активное участие в борьбе рабочего класса и коллективизирующегося крестьянства за социализм, за генеральную линию партии, за пятилетку в четыре года, за большевистскую пятилетку Средней Волги.

За консолидацию (объединение) пролетарских литературных сил, за гегемонию пролетарской литературы.

Против чуждых влияний и вылазок в литературе, против правых и "левых" загибов, против правой опасности, как главной на данном этапе.

За большевистские темпы ленинской культурной революции. За немедленную действительную перестройку всех организаций пролетарской литературы края лицом к производству, лицом к ударнику, за выращивание новых пролетарских литературных кадров из масс ударников с предприятий, колхозов и Красной армии массовой организацией призыва ударников.

За повышение мощи Красной армии и обороноспособности нашей страны строящегося социализма».

Поиск «чуждых влияний и вылазок» превращается в своего рода хобби истинно пролетарских писателей. Тексты, вполне правоверные на наш не натренированный взгляд, оказывается, могут заиграть неожиданными нюансами. Дискуссии по их поводу сродни средневековым схоластическим спорам о количестве ангелов, умещающихся на кончике иглы. Не каждая из дискуссий заканчивается наказанием виновных, но, если виновным не удаётся отбояриться, совершается их порка. Очевидно, из санитарно-педагогических соображений.

Литературовед Борис Бялик, впоследствии специализировавшийся на литературе дореволюционного периода, в эти годы ещё молодой студент Самарского пединститута. В «Штурме» №№ 7 и 8-9 за 1931 год он публикует статью «Переоценка ценностей». Первые две части, «Плеханов как основоположник меньшевистского литературоведения» и «Пути ленинского разрешения литературоведческих проблем», завершает теоретическая выкладка: «*...до сих пор ещё не уяснили, что основная задачи критика-ленинца – вскрытие противоречивой сущности литературных явлений и что оно заключается не только в выяснении сущности противоположных тенденций, но и в выяснении того, как изменяется соотношение этих тенденций*».

Последняя часть посвящена приложению теоретических выводов к практике. Объектом оказываются самарские литераторы. В частности, молодой поэт Виктор Багров, ранее уже попавший под критический обстрел пленума пролетарских писателей. Фабула попавшего под раздачу стихотворения «Не кончена война» вполне могла быть взята «из жизни» непосредственно. Автор-комсомолец сам принимал активное участие в хлебозаготовках.

Итак, изымающий у кулака продуктовые излишки большевик узнаёт в нём человека, находившегося в Гражданскую войну по другую линию фронта. Воевать его давно уже не тянет, он лишь убеждает не изымать зерно. Какой толк от разорённого? А разбогатей он, и власти будет чем поживиться. Разумеется, классовый враг неубедителен. Зерно отправляется туда, куда велит партийный долг. Большевика классовый враг подстерегает и убивает, убийца задержан и расстрелян.

И всё? И всё. Трудно понять, почему за публикацию этого стихотворения необходимо было расформировать редколлегию журнала. Юному же литературоведу в почти протокольном изложении рядового в практике хлебозаготовок случая интересно отыскать диалектику:

«*С одной стороны, призыв исключительно к физическому уничтожению кулака, а с другой – нотки жалости к нему – разве это не то единство противоположностей, которое определяет существо поэзии Багрова на данном этапе его развития и которое дает нам право говорить о* ***расстоянии*** *еще отделявшем его от пролетарской литературы (****ибо ни одна из вскрытых тенденций*** *не может быть названа пролетарской)*».

Но вот в первом номере того же журнала за следующий год появляется статья, подписанная аж тремя авторами. От названия сердце способно взволнованно дрогнуть даже сейчас: «Против троцкистской контрабанды и гнилого либерализма в борьбе за марксистко-ленинское литературоведение».

Статья писана в рамках «*строгого выполнения практических указаний т. Сталина о борьбе против троцкистской контрабанды и гнилого либерализма*».

Главный партийный и комсомольский органы края, а вслед за ними и секретариат КрайАПП уже вынесли оценку исканиям юного теоретика.

«*Секретариат КрайАПП, отвечающий наряду с другими за материалы журнала “Штурм”, уже признал в своем постановлении от 29/XII – 31 г. правильность указаний “Волжской коммуны” и “Средневолжского комсомольца” об ошибках журнала “Штурм”, в особенности в вопросе о статье Б. Бялика, опубликование которой секретариат признал сугубо ошибочным, политически вредным*».

Претензии выражены с обескураживающей непосредственностью. Ну, хотя бы вот эта: «*Неподготовленного читателя буквально ошарашивает нагромождение сверхкнижных слов*». Для придания обвинению убийственной тяжести авторы добавляют: «*...это общий отзыв ударников АПП*».

А вот здесь внимательно следим за руками:

«*Рассуждения Бялика о прогрессивном и регрессивном началах в идеологии пролетариата, а значит и о раздвоенности марксистско-ленинского мировоззрения насквозь классово-враждебно, контрреволюционно*».

Сейчас будет выложен козырный туз. Критикуемого уже должна бить мелкая дрожь.

«*Мы считаем, что из рассуждений Бялика об обязательном наличии в идеологии "любой классовой группы" начал антагонистически-противоречивых, прогрессивных и регрессивных, вытекает неприглядное идеологическое родство с аналогичными "теориями" контрреволюционного троцкизма, противопоставляющего в вопросах партии, например, ленинскому учению о монолитности партии, свое, насквозь гнилое "единство" – существование в партии различных течений, свободу фракций*».

Резюме: «*...в редакции свил себе гнездо тот самый гнилой либерализм, который надо расценивать как «головотяпство, граничащее с преступлением, изменой рабочему классу» (Сталин)*».

Бялик, сам того не ожидая, теперь в одной «беспринципной» компании с Багровым.

Не далее как в следующем номере Бялик пытается отвести удар молнии, отыскав для ее удара более подходящий объект: «*В издательстве "Федерация" вышла книга избранных стихотворений Есенина...*».

Тон с вкрадчивого срывается на крик уже на анализе предисловия: «*Предисловие... как и вся книга – яркий пример троцкистской контрабанды*».

«*Не случайно в книге не указаны ни автор предисловия, ни редактор*».

Бялик вовремя покинет край. Судьба одного из троицы соавторов разоблачающей статьи, И. Плескова, неясна. Два других, писатели Николай Чибураев (писавший под прозрачным псевдонимом Ник. Чибуренко) и Иван Фролов будут расстреляны, так же, как и поэт Виктор Багров, шесть лет спустя.

Ещё одна серьёзная «вылазка» пресечена чекистами 4 ноября 1932 г. Редактор краевого издательства Иван Михайлович Пронин арестован ОГПУ по статьям 58-10 (контрреволюционная пропаганда или агитация) и 58-11 (контрреволюционная организационная деятельность).

Иван Михайлович начал писательскую карьеру в середине двадцатых в качестве драматурга. Постепенно перешёл в разряд литераторов, пишущих для детей. В средневолжском издательстве курировал издание книг в серии «Библиотека школьника первой ступени». Знал ли о том, что среди авторов «Библиотеки» были экс-члены небольшевистских партий? Например, Налетов Павел Федосеевич, закоренелый меньшевик?

2 декабря по тому же делу арестован Николай Илюхин, молодой коллега и соавтор Пронина, писавший под псевдонимом Жданский.

Чрезмерных строгостей не последовало: оба были выпущены уже в середине апреля следующего года. Пронин ещё успеет издаться на следующий год в столичной серии «Юношеская научно-техническая библиотека». Далее упоминания о нём теряются. Биография молодого коллеги печальна. Вторичный арест в 1937-м и восьмилетний приговор. Дальнейшее требует осмысления: человек с данными, полностью совпадающими с нашим героем, гибнет на фронте в июле 1941 года. Не прошло и полтора месяца войны. Человек с неотбытыми четырьмя годами за контрреволюционную пропаганду или агитацию и погибший в самом начале войны сержант – одно с другим увязать я не берусь.

Первый номер толстого журнала Средней Волги за 1932-й год разоблачал литературоведа, первый номер следующего, 1933-го года, будет изыматься из библиотек. За весь 1933-й год лишь три литературных произведения в стране будут удостоены этой чести. Одно из них – как раз журнальная публикация Алексея Тверяка «Такая жизнь». Псевдоним Алексея Артамоновича Соловьева красноречив и позволяет легко идентифицировать малую родину писателя. Алексей Тверяк был добровольцем-красноармейцем, учился в Ленинградском технологическом институте. К моменту публикации в главном литературном органе Средневолжского края ему немногим больше тридцати, он автор нескольких романов и повестей, его упоминают в одном ряду с Шолоховым. Всё рухнуло в одно мгновение. Из статьи «Выше революционную бдительность!»: «*На участке*

художественной литературы в нашем крае <...> было допущено преступное отсутствие большевистской бдительности, выразившееся в напечатании в журнале "Волжская Новь" в №№ 1-2 за 1933 год, контрреволюционной "новеллы" Тверяка "Такая жизнь", представляющей собой ловко сработанный контрреволюционный шифр. Эта тема требует обстоятельного анализа...».

Ах, как хотелось бы владеть утраченным умением разгадывать «контрреволюционные шифры»! Увы... Как и в случае со стихотворением Багрова, речь в «контрреволюционной новелле» идёт всё о том же – о хлебных изъятиях и о сопротивлении этим изъятиям. Сопротивлении, разумеется, успешно подавленном. Тогда эта ситуация описывалась терминами, взятыми из теории классовой борьбы. Сейчас привычнее было бы описать её как рутинную работу людей государевых, предающих огню и разорению податное сословие. Первые несут бремя службы, вторые хотят богатеть и огорчаются, когда их разоряют. Всех можно понять, всем посочувствовать. Возможно, о чём-то подобном думалось и Алексею Тверяку. Во всяком случае, революционного энтузиазма в его новелле не чувствуется, а вот уныние, а то и скепсис, нет-нет да и померещатся.

А унывать надо было над самим собой. Раньше писатель издавал ежегодно по несколько книг. Отныне и вплоть до года, когда пишется эта статья, не выйдет ни одной. Через пару лет в докладной записке, положенной на стол Жданову от управления НКВД по Ленинградской области «Об отрицательных и контрреволюционных проявлениях среди писателей города Ленинграда» Тверяк будет упомянут. Да как! «По вопросу о фашистских настроениях ряда ленинградских писателей обвиняемый Тверяк показал»... Здесь стоит сделать паузу и выдохнуть, потому что сказанные писателем (или приписанные ему) слова не для слабонервных: «...По своим политическим убеждениям я национал-социалист». Казалось бы, фраза из разряда «часовню тоже я... развалил?», но если тут уместен смех, то жуткий, замогильный. Ещё через два года Тверяка расстреляют.

Что же мы всё о кнуте? Не всё секли, был и пряник. Пряником манили. Уже в 1932-м все три вышепомянутых организации писателей радостно готовятся к самоликвидации. Чтобы, подобно птице Феникс, из их пепла появился единый и единственный Союз писателей. Сказать, что писатели всё это придумали сами, было бы несправедливо. За всё благодарим ЦК ВКП(б) и его постановление от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций».

Не прошло и месяца, 20 мая был образован организационный комитет по созыву съезда советских писателей края. Решение принял Средне-Волжский крайком партии.

Через пять лет двое из его членов, писатели Алексей Кузнецова и Николай Морозов, и назначенный председателем критик, редактор «Волжской Нови», ректор средневолжского комвуза Иосиф Вайнер – будут расстреляны.

В центре создаётся комиссия по изучению краевой и областной литературы, возглавляемая уроженцем Средневолжского края Федором Панферовым. Он руководит восемью бригадами. Бригаду, курирующую Среднюю Волгу, сначала возглавляет Надежда Чертова. Несколько старожилов помнили её молодой поэтессой, ещё до отъезда успевшей перейти на прозу. Вскоре Чертову сменяет Анна Караваева. Ей вскоре предстоит участие в главном литературном проекте своей жизни: редактировании романа слепого дебютанта Николая Островского.

Зачастили московские гости. Впрочем, некоторых гостями можно назвать с долей условности. Уроженец Самары, проживший в ней значительную часть жизни, Артём Весёлый и раньше часто навещал родной город. Теперь легче стало совмещать приятное с полезным. Не просто погостить, но поделиться опытом, дать ценные указания. В год созыва учредительного съезда Союза писателей Весёлый приезжал дважды. 19 июля на совещании Крайкома с участием писателей края Весёлый держал речь, стенограмма сохранилась. До расстрела оратора оставалось три года. От перспектив захватывало дух.

«Вопросы гонорарной политики. Не знаю, как обстоит здесь дело. Но я с целым рядом товарищей говорил по этому вопросу и считаю, что у вас все же очень жидкий, низкий гонорар. Об этом будем говорить не на таком широком совещании. Тут важно установить принципиальную линию. Но основное в том, что издательство не должно экономить на шкуре писателя, если даже иногда книжка не окупается. Строго коммерческого подхода, особенно по отношению к стихам, не может

быть. Надо дать возможность писателю жить, работать. У нас ведь нет писателей, которые имели бы свои усадьбы, коров и д. д. Наши писатели – пролетарии, и поэтому не будет большой беды, если тысяча, другая перепадет ему в карман за его труд. Эти 1-2 тысячи рублей пойдут на улучшение его дальнейшей продукции, так что строго коммерчески нельзя подходить...

Не малую роль играют, конечно, и бытовые вопросы. Какой-то группе писателей, наиболее выявленных уже, или которые в потенции обещают быть писателями, которые еще не печатают ничего, но работают честно, талантливо, нужно создать условия для работы, потому что при бесконечных заседаниях, если не будет у писателя отдельной комнаты для работы, если не будет у него минимального хотя бы обеспечения продовольствием, если он не будет обеспечен хотя бы на месяц вперед, благодаря чему все время будет думать, что он должен писать, чтобы выколотить копейку, дело не пойдет. Надо создать какую-то комиссию (здесь опять не обойдется дело без комиссии) из представителей Оргкомитета, Культпропа, врача, которая посмотрела бы как живут наши писатели в домашней обстановке. Если условия, в которых они живут, очень плохие, надо изменить их в хорошую сторону, в известной степени поднять их авторитет на фоне самарской общественности. Это совершенно необходимое дело».

Не прошло и месяца, с 8 по 12 августа писатели Средневолжского края встречались в Самаре уже на Учредительном краевом съезде. Были избраны делегаты на съезд Всесоюзный. Из пяти делегатов с правом решающего голоса два, Багров и Морозов, будут расстреляны. Об их судьбе я уже упоминал. Иван Куликов умрёт своей смертью на следующий год. Влас Иванов-Паймен, классик чувашской литературы, будет арестован в 1938-м и вернётся в город лишь через семнадцать лет. Пятого, Александра Савватеева, в конце тридцатых будет разыскивать Анна Караваева. К тому времени Самара уже несколько лет как переименована в Куйбышев, край – в область, из двадцати одного местного члена Союза писателей двадцать уже казнены и арестованы. Караваева найдет Савватеева мертвецки пьяным. Возможно, таков был его способ самозащиты. Как ни странно, он сработал. Испортил печень, не биографию. Выслушав отчёт Караваевой о поездке, Александр Фадеев резюмирует: «Самара – белое пятно на литературной карте».

Это белое пятно закрыло от нас не только тех, о ком заходила речь. Оно припорошило и Михаила Досова, и Павла Дорохова, Георгия Венуса и Якова Брауна, Михаила Глухова и Василия Кузьмина, Евгения Охитовича и Степана Птицына... Увы, мартиролог писателей, журналистов, издательских работников края по сию пору не составлен.

Погибли не только люди, погибли рукописи. Написанные и ненаписанные, действительные и воображаемые нами. Остались многократно просеянные цензурой писательские крохи. Своего рода промывка золотого песка в обратной последовательности, когда отбрасывается всё, что хотя бы намекает на блеск, на выразительность, на весомость. Тусклость, невыразительность, несвобода. Представьте, что от Булгакова осталась только пьеса «Батум», от Ахматовой – только стихи, написанные, когда она «кидалась в ноги палачу», от Введенского – только самые идеологически выверенные стихи, вроде «Гитлер спит, бандиту снится...». Уверяю, здесь, на средневолжских страницах, опубликовать что-либо, кроме этого, они вряд ли бы смогли.

Значит ли это, что нам стоит ждать чего-то, кроме того, чем мы уже располагаем? Ох, разве ж только по этому поводу мы задаёмся таким вопросом?

Выражаю благодарность авторам двух книг, давших достаточно подробное представление (в том числе когда-то и автору статьи) о литературе края в тридцатых годах.

Л. А. Соловьева. Литературное краеведение: Пособие для учителя. Факультативный курс. – Самара: Издательство «Самарский университет», 1994. (Благодарность также за первую публикацию стенограммы речи А. Весёлого на совещании Крайкома 19 июля 1934 г.)

М. Я. Толкач. В одном строю: Сборник очерков. – Самара: Самарское отд-е Литфонда России, 2004.

Контакты:

Анна Сафронова *(гл. редактор, проза)*: safronova-volga21@yandex.ru
Алексей Александров *(зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru
Алексей Голицын *(документальные исследования)*: agolitzin@yandex.ru
Олег Рогов *(архивные публикации, критика)*: rgv@mail.ru
Алексей Слаповский *(проза)*: slapovsky@yandex.ru

*Персональный сайт журнала: http://*volga-magazine.ru/
Кирилл Преображенский *(автор сайта, модератор)*: kirill.preo@gmail.com

Подписано в печать 10 июня 2017 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/
Персональный сайт:
http://volga-magazine.ru

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.